



Лидия Ивченко

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

РУССКОГО ОФИЦЕРА ЭПОХИ 1812 ГОДА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ







ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



ПОВСЕДНЕВНАЯ

Лидия Ивченко



МОСКВА

ЖИЗНЬ

РУССКОГО
ОФИЦЕРА
ЭПОХИ 1812 ГОДА



УДК 94(47)+355.342.2-055.1
ББК 63.3(2)521+68.49(2Рос)23
И 17



*Серийное оформление
Сергея ЛЮБАЕВА*

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«КУЛЬТУРА РОССИИ»*

*Издательство и автор выражают глубокую признательность
за содействие в подборе иллюстраций
Государственному Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику,
Музею-панораме «Бородинская битва», Государственному музею А. С. Пушкина
и особенно художнику-баталисту А. Ю. Аверьянову.*

ISBN 978-5-235-03107-4

© Ивченко Л. Л., 2008
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2008



В эпоху 1812 года ремесло военных считалось в России самым почетным; русский офицер — «дворянин шпаги» — стоял в глазах общества чрезвычайно высоко. Тот, на кого «промыслом Небесным» была возложена обязанность служить в армии, ощущал себя избранником Божиим. «Теперь я чувствовал себя уже в другой сфере, светлой, просторной, высокой; я уже воин, я защитник отечества, говорил сам себе. О! Может ли быть что лучше военной службы?»¹ — вспоминал один из офицеров той поры. Атмосфера всеобщего обожания, окружавшая военных, запечатлена в полушутливом стихотворении знаменитого в те годы поэта и ветерана Наполеоновских войн С. Н. Марина:

Их вид и поступь всех прельщает;
Их подвиг — души восхищает!
Спасителей всяк видит в них.
Велит им долг — умереть готовы!
Велит им честь — прервут оковы!
Избавить царство — нужен миг!

Традиция почитания «детей Марса» складывалась на протяжении всего XVIII столетия, а в XIX веке, в период Наполеоновских войн, престиж человека в мундире лишь укрепился. В эти годы Россия, впрочем, как и все западноевропейские государства, придерживалась активного баланса во внешней политике. «Человек с репутацией пацифиста» (выражение английского историка Д. Чандлера) был вообще не в моде. Так, главу военного

ведомства тогда ни в коем случае не называли министром обороны, а военным министром. В душе, конечно, все понимали, что самая справедливая война — это «война национальная», за собственные владения, но кто бы захотел увидеть неприятеля под окном своего дома? Да и набираться боевого опыта, воюя в своих «пределах», откровенно считалось нерасчетливым. «Метода ведения войны в собственных границах вообще не выгодно», — утверждал генерал П. И. Багратион в 1812 году. Поэтому свои интересы каждый старался отстаивать как можно дальше от рубежей Отечества. И это сделалось тем более необходимым с той поры, как на престол во Франции вступил великий полководец и государственный деятель Наполеон Бонапарт. «Видит Бог, он не был голубем мира!» — восклицал французский писатель А. Кастелло. Стендаль, знаменитый современник «неистового корсиканца» и один из первых его биографов, заметил, что Наполеон был сыном своего времени и «осчастливить человечество не входило в его намерения». Внешнеполитическое кредо «горделивого властелина Европы» выражалось лаконичными фразами. Одну из них он позаимствовал у Фридриха Великого: «Большие батальоны всегда правы». Вторая — была сформулирована и приведена в действие им самим: «Государство, которое не приращивает территории, теряет их».

В этих условиях русская армия, располагавшая «большими батальонами», вопреки первоначально миролюбивым устремлениям Александра I, встала под ружье. Помимо французской экспансии российский император был побуждаем к войне Англией, заверившей русское правительство, что заключит мир с Наполеоном, если Россия не выполнит долг союзника и не вступит в войну на континенте. В этом случае европейский «эквивибр», нарушенный в Западной Европе, поставил бы Россию, лишь недавно «прорубившую окно» к соседям, в затруднительное положение: Англия, и без того господствовавшая на морях, была для русских основным торговым партнером. Ввиду того, что в те времена главным условием внешней политики было «дружить не с кем-то, а против кого-то», император России

не мог не оценить пугающей перспективы англо-французского союза.

Кроме того, включенная в систему большой европейской политики, Россия не могла остаться безучастным зрителем того, как Наполеон, по образному выражению современника, «разделявал королей» по соседству, тем более что династические интересы короны были тесно связаны с рядом фамилий владетельных домов Германии. Отказаться от владений короны, пусть даже за пределами Российской империи, означало по тем временам расписаться в собственном бессилии и навлечь бедствия на свое собственное государство и подданных со стороны более предприимчивых соседей, а их у России хватало: Польша мечтала вернуть себе земли «по Днепру и Западной Двине», Швеция — Балтийское море и Прибалтику, Турция — Крым, Персия — Грузию.

Именно в эти беспокойные годы, когда «горизонт, по обыкновению, был покрыт тучами», и сформировался особый тип русского офицера, вынесшего на своих плечах одновременно несколько войн: Русско-персидскую (1804—1813), Русско-турецкую (1806—1812), Русско-шведскую (1808—1809), Русско-французские (1805, 1806—1807, 1812—1814), не считая Русско-австрийской кампании 1809 года и «похода во Французские земли» 1815-го. Как видим, времени на «мирные досуги» у русских военных практически не оставалось, а отпусков в военную страду брать не полагалось. Впрочем, их и в мирное время представляли только в исключительных случаях. Каждому из наших героев, явившихся на действительную службу, сразу же давали понять: «Солдат должен быть более, нежели человек! В этом звании нет возраста! Обязанности его должны быть исполняемы одинаково как в 17, так в 30 и в 80 лет»². Солдатами же, со времен Устава Петра Великого, тогда считали себя все чины «в войске от вышнего генерала даже до последнего мушкетера конного и пешего». Бесспорно, самыми тяжелыми и кровопролитными были войны России и Франции: Отечественная война 1812 года была третьим по счету с начала века военным столкновением между армиями обеих держав. Войны 1805,

1806—1807 годов не принесли России успеха, однако опыт тяжких поражений под Аустерлицем и Фридландом явился незаменимым приобретением и не прошел бесследно. Кампания 1812 года в России ознаменовалась полным разгромом Великой армии Наполеона. От этого удара он так и не смог оправиться: «великий корсиканец» потерял сначала Европу, а затем и корону Франции. Русские войска во главе союзников вступили в Париж: отныне они принадлежали к поколению победителей. «О, как мы были славны тогда и любезны всему свету!» — вспоминал офицер, прошедший путь от Бородин до Парижа. Видеть себя любимцем общества — это ли не лучшая награда для тех, кто рисковал жизнью? Именно этими настроениями наполнены воспоминания участников долгого и славного похода. Юный прапорщик-пехотинец эпохи 1812 года, принявший боевое крещение под Смоленском в возрасте 15 лет и считавшийся ветераном под стенами Парижа в 17 лет, Д. В. Душенкевич признавался: «Не престану до конца дней моих ставить себе щастием величайшим, что судьба удостоила меня быть в рядах защитников Отечества; сей чести ничем заменить не допускаю; всякий раз, когда вспоминаю о том, внезапно радостная гордость, подобная чудному восторгу, озаряет дух и сердце, не забывающее тех славных событий, в коих и я, право имею сказать, участвовал, — как капля в бурном океане»³. Реликвии той поры сохранялись в семьях как самое дорогое достояние, что видно из завещания одного из представителей офицерской династии Мариных. Один из братьев, А. Н. Марин, так распорядился своими бесценными сокровищами: «Сюртук, который был на мне в Бородинском деле, а потом бывший на мне и в Лейпцигской битве, обогранный кровию и во многих местах простреленный, хранится у меня как святыня, и должен достаться, как святыня, сыну моему Александру на память. <...> Из офицерского знака, бывшего на мне в Бородинской битве, вылито распятие, которое хранится у меня так же как святыня. Образ угодника Божия Чудотворца Николая — благословение генерала Владимира Семеновича Дихтерева — в то же время был со мною. Ранец, на мне тогда бывший, также известен моим детям»⁴.

Именно об этих людях, до конца дней живших дорогими для них воспоминаниями о минувших боях и походах, о их начальниках, сослуживцах, друзьях, павших в сражениях, эта книга. Ее главный герой — офицер эпохи 1812 года. Автор не старался строго придерживаться хронологии в рассказе о событиях, потому что книга не о событиях, а о главном предмете истории — людях, их судьбах, характерах, образе мыслей, поступках, привычках. Одним словом, автора интересовало то, что «и в научном арсенале, и в обиходном словоупотреблении в последнее время обозначают понятием ментальности»⁵. Следует заметить, что до сих пор не предпринималось попыток более-менее обстоятельно вникнуть в менталитет русского офицера начала XIX столетия, отслеживая «магму жизненных установок и моделей поведения, эмоций и автоматизированных реакций, которая опирается на глубинные зоны, присущие данному обществу и культурной традиции». Обращаясь к давним временам, автор не ставил себе целью оценивать поведение людей прошлого с позиций сегодняшнего дня. «Вечное всегда носит одежду времени», — заметил Ю. М. Лотман в «Беседах о русской культуре». Пытаясь прикоснуться к вечности, автор обратил особое внимание на письма, дневники и воспоминания участников Отечественной войны 1812 года, так как именно в этом виде источников присутствует сильное личностное начало, позволяющее увидеть за далью времен особый тип военных той эпохи (притом что армия сама по себе — «специфическое военное сообщество»). «Сфера поведения — очень важная часть национальной культуры, — говорил известный ученый, — трудность ее изучения связана с тем, что здесь сталкиваются устойчивые черты, которые могут не меняться столетиями, и формы, изменяющиеся с чрезвычайной скоростью. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать себе две противоположные вещи: “Он такой же как ты. Поставь себя на его место”. — И: “Не забывай, что он совсем другой, он — не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перево-

плотиться в него»⁶. Эта «рекомендация» Ю. М. Лотмана может быть существенно дополнена замечанием исследователя наших дней, характеризующего современную познавательную ситуацию: «Историческая антропология принципиально меняет логику и стратегию познания обществ прошлого еще и в том отношении, что акцент исследований смещается с диахронических изменений в “большом времени” на синхронию»⁷. Свидетельства людей, принадлежавших к эпохе 1812 года, автор воспринимает как послания из прошлого, заслуживающие того, чтобы быть прочитанными с пониманием и сочувствием. «Память — в истории, по существу, всегда значит в какой-то мере мысленно поставить себя на место тех, о ком пишешь, — рассуждает французский исследователь А. Про. — А это предполагает определенное расположение, готовность это сделать... <...> Историк не может быть безразличным, иначе он напишет мертвую историю, которая ничего не поймет и никого не заинтересует. После продолжительного знакомства с людьми, которых он изучает, историк не может не испытывать к ним симпатии или любви...»⁸ Автор и не скрывает, что ему очень симпатичны его герои, в каких бы жизненных ситуациях они ни оказывались, поэтому он далек от того, чтобы ставить им оценки по поведению. Здесь представляется уместным привести суждение А. Конан Дойля: «Так они и жили, эти простые, грубые, однако честные и справедливые люди — по-своему веселой, здоровой жизнью. Возблагодарим же господу Бога, если мы уже освободились от присущих им пороков. И попросим Бога, чтоб он даровал нам их добродетели»⁹.

Автор не стремился переместить героев книги в наш мир, заставив их жить по нашим понятиям: источники позволяют нам самим мысленно отправиться в ту эпоху. Для того чтобы знакомство с ней состоялось не посредством рассказов и рассуждений исследователя, а благодаря документам той поры, автор предлагает использовать исторические источники в качестве путеводителей во времени, а их творцов — в качестве спутников в дороге. Мы постараемся взглянуть на людей и события их глазами, всецело доверяясь их суждениям.

Некоторые лица возникают в повествовании однажды, многие «кочуют» из главы в главу, и мы можем проследить их путь с того дня, как они покинули свой дом, решившись стать военными, до того дня, как им довелось вступить победителями в Париж. Различные виды письменных источников позволяют нам пронаблюдать за тем, как наши герои определялись в службу, получали образование (в те годы первое почти всегда предшествовало второму), зачислялись в полки, собирались в поход, сражались, получали повышения в чине и награды, отдыхали от бранных трудов, влюблялись, дружили, теряли друзей на войне и на дуэлях, — всем тем, из чего складывалась повседневная жизнь офицеров эпохи 1812 года. На страницах книги встречаются имена павших в первых войнах с Наполеоном, без опыта которых невозможно представить себе офицера времен «русской кампании». Погибшие друзья постоянно жили в памяти своих сослуживцев; следовательно, шли вместе с ними победным маршем к Парижу. Отечественная война 1812 года никогда не рассматривалась русскими офицерами в отрыве от Заграничных походов 1812—1814 годов. Отчасти это объяснялось тем, что русские воины не сомневались в том, что «рано или поздно пожар Москвы осветит им путь к Парижу». С другой стороны, по повелению императора Александра I было принято считать «войну с французами в три кампании: 1812, 1813 и 1814 годов». Знаменитый историк Наполеоновских войн и их участник А. И. Михайловский-Данилевский философски заметил: «В походе 1814 года довершено начатое в Отечественную войну сокрушение ужасного и неслыханного могущества Наполеона; потомству предоставлено судить, благодетельны или вредны для человечества были последствия оно́го»¹⁰.

СОЛДАТАМИ РОЖДАЮТСЯ!

..Я начал службу и науку, благодаря Господа, что нашел пристанище благородное.

А. Н. Марин. Из бумаг А. Н. Марина

При Петре I государственная служба являлась обязательным условием для всех мужчин благородного сословия. Коль скоро во главе вооруженных сил России находился сам государь император, военная карьера считалась, безусловно, престижнее, чем гражданская. В армию не попадали только слабые телом или духом. При преемниках венценосного создателя регулярных войск обстоятельства переменились. В царствование Екатерины II — в этот период формировалось старшее и среднее поколение офицерского корпуса эпохи 12-го года — благородное сословие, будь то родовая аристократия или потомственное дворянство, получило возможность само распоряжаться судьбами своих сыновей, официально именуемых грубоватым, с нашей точки зрения, словом «недорослями». Таким образом, дворянское происхождение, будучи в тот золотой век как никогда почетным, уже не обрекало своих представителей в обязательном порядке на личное мужество.

Покорность перед суровой царской волей уступала место таким понятиям, как дворянская честь и офицерский долг. Историко-психологический склад эпохи ярко передан в рассказе М. М. Петрова, повествующего о намерении своего отца «предать нас всех, четырех сынов своих, истинному боярскому жребию». Неизбеж-

ность разлуки с детьми вызвала ужас матери, разразившейся горькими слезами. «Но отец наш сказал ей: “Ежели судьба сделала тебя из купеческой дочери женою дворянина, которых сословие не платит податков государственных деньгами, владея вотчинами, то ты должна знать, что взамен того и в заплату за почет по неоспоримой справедливости и дети наши обязаны будут наряду с другими заплатить за свое почетное звание трудами военными, потоками крови на поле чести и, может быть, утратою которого-нибудь из них жизни: иначе же они были бы чистые тунеядцы, могущие размножением себе подобных на беспрекословной от совести льготе задушить свое Отечество, а не защищать. В целом свете дворянские поколения пользуются правом высшего уважения от всех иных сословий, но за то они, истаивая в военных трудах и огнях битв, защищают свои государства, прославляя их и себя”»¹.

Понятие дворянской чести, обнаруженное отцом четверых сыновей, было актуальным в период Наполеоновских войн, когда офицерский корпус более чем на 90 процентов состоял из потомственных дворян. Впрочем, столь возвышенное суждение о чести не исключало, но существенно облагораживало другой не менее важный побудительный мотив к выбору воинского ремесла — материальный. Статистические данные указывают на то, что большая часть «детей Марса» принадлежала к дворянским семьям весьма скромного достатка, поэтому офицерское жалованье нередко являлось главным и даже единственным средством к существованию как для самого офицера, так и для членов его семьи, включая родителей, сестер и младших братьев, до того времени, как последние смогут сами продолжить семейную традицию. Обратившись к письменным свидетельствам эпохи, мы заметим, что возвышенность понятий большинства наших героев все же преобладает над материальным интересом, что нетрудно объяснить, во-первых, сословной принадлежностью, а во-вторых, — христианским сознанием, отдающим предпочтение духу над материей. Типичная история зачисления в службу дворянского сына из малоимущей семьи изложена в воспоминаниях прапор-

щика Ревельского пехотного полка Александра Зайцева: «Родился я в Москве и помню одну только мать, бедную вдову, да еще брата, который был старше меня двумя годами (в возрасте 16 лет погиб в битве при селе Бородине. — *Л. И.*). мать, по бедности своей, не могла нам дать больше образования, как только выучить читать и писать, да внушить страх Божий и обязанности честного человека. Этого, говорила она нам, довольно для нас. Когда мне минуло 11, а брату 13 лет, мать начала думать, куда бы нас определить, и вот однажды, в воскресный день, пошла она с нами в Кремль к обедне, и на ту пору, там на Царской площади, происходил развод. Услышав звуки военной музыки, мы отпросились у матери посмотреть; пробившись сквозь толпу народа, мы увидели марширующие войска, впереди которых нес знамя подпрапорщик, летами почти ровесник нам, и старший брат сказал мне: брат! пойдём и мы служить, авось и мы будем носить знамя! И тут же условились с братом упрашивать мать определить нас в военную службу. Нам не много было труда уговорить мать; она заплакала и благословила нас, сказав: служите верою и правдою: Бог и Царь вас не оставят»².

Прославленный полководец генерал от инфантерии князь Петр Иванович Багратион в письме к императору Александру I весьма эмоционально поведал о том, что привело его в ряды русской армии. «С млеком материнским влил я в себя дух к воинственным подвигам», — признавался генерал³. По-видимому, все именно так и произошло, потому что отец полководца, вопреки всем биографиям, ни дня не служил в русской армии. Он приехал с семьей из Персии, из «города Испагани» (так тогда называли Исфаган), поселился в городе Кизляре, где «был со всем домом окрещен» в православную веру, попросил у русского правительства подданства, «двойного жалования ради своего иностранства» и сразу же вышел в отставку по незнанию русского языка. Перефразируя Л. Н. Толстого, как тут не выразить изумления: где, как и когда впитал в себя «грузинский князек» знание русского языка (у отца не было средств к обучению), обычаи и нравы российской армии, без которой не мыслил себя? Но язык, и обычаи, и нравы были

те самые, благодаря которым спустя годы его величали не иначе как «львом русской армии». Он прошел в этой армии, «истаивая в военных трудах и огнях битв», все ступени службы от низшего чина до генерала от инфантерии. Не имея образования, он записался в Астраханский гренадерский полк рядовым, 16-летним юношей попал с полком в засаду у селения Алда на реке Сунже, где на его глазах «был разнесен по частям кинжалами» чеченцев весь отряд, сам Багратион был тяжело ранен, чудом выжил и снова вернулся в строй, чтобы служить, служить и служить, до самого дня своего смертельного ранения на Бородинском поле. Строки из последнего в его жизни письма, продиктованного князем за день до смерти, показывают, что старый воин с годами не изменил своего отношения к избранной им однажды стезе: «Сколь ни мучительна для меня моя рана, но я лобызаю ее, получив на поле сражения для славы Августейшего Монарха и для защиты любезнейшего Отечества»⁴.

Ровесник Багратиона, потомок удельных князей В. В. Вяземский, начавший действительную службу с 15 лет, счел нужным в своем дневнике дать более пространные указания касательно выбора профессии: «С самых малых лет чувствовал я чрезвычайную страсть к военной службе. В детских летах каждый ребенок чувствует некоторую как бы склонность: он беспрестанно играет ружьем, барабаном, палочками, — но сие происходит от игрушек, а входя в лета страсть его уже обнаруживается, у иных — к торговле, у иных — к художеству. Но я, вступивши в службу, счел себя совершенно благополучным...»⁵

Этому свидетельству «совершенного благополучия» созвучны по духу воспоминания известного поэта и партизана Отечественной войны 1812 года — Дениса Васильевича Давыдова: «С семилетнего возраста я жил под солдатскою палаткою, при отце моем, который командовал тогда Полтавским легко-конным полком <...>. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и маршировании, а верх блаженства — в езде на казачьей лошади с спокойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска. Как резвому ре-

бенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря?»⁶ Перечисленных будущим «певцом-гусаром» детских забав было вполне достаточно, чтобы увлечь живого и резвого ребенка военным ремеслом, но к этому прибавился еще и чудесный случай, которому в те времена придавалось немалое значение. Однажды ночью все семейство Давыдовых проснулось от шума и сумятицы в лагере. Оказалось, что из Херсона прибыл сам Суворов, приказавший всем полкам поутру прибыть на смотр и на маневры. Следом за полком, во главе которого выступил отец семейства, отправились и его домочадцы: кроткая, но не чуждая воинственных зрелищ матушка Дениса Давыдова, его старший брат Евдоким и, конечно, сам Денис. «Я помню, что сердце мое упало, — как после падало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг...» Встреча с великим полководцем не состоялась бы, если бы Тищенко, любимый адъютант Суворова, не закричал: «Граф! Что вы так скачете? Посмотрите, вот дети Василья Денисовича!» — «Где они? Где они?» — спросил он, и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подзвав нас к себе еще ближе, он благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нем все, и солдаты, и победа, и слава!» — «О, помилуй Бог, какой удалой! — сказал он. — Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе!» С этими словами он вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке»⁷.

В «век славы военной» с раннего детства упорно следовали за своей звездой не только юноши, или, как их нежно назвала М. И. Цветаева, «малютки-мальчики». Под знаменами русской армии в 1812 году сражалась женщина, имя которой впоследствии сделалось известно всей России — Надежда Андреевна Дурова.

Вот ее рассказ: «Отец тоже говорил часто: “Если б вместо *Надежды* был у меня сын, я не думал бы, что будет со мною под старость; он был бы мне подпорою при вечере дней моих”. Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные — *любовь к отцу и отвращение к своему полу*, — волновали юную душу мою с одинаковою силою, и я с твердостью и с постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаем женскому полу»⁸.

«Русская амазонка» решила покинуть родительский дом без документов, подтверждавших ее принадлежность к дворянскому сословию, в то время как в России действовал Указ Военной коллегии «О принятии в военную службу недорослей из дворян не иначе, как по представлении ими от дворянских представителей законных о дворянстве доказательств»⁹. Офицеры подчас очень трепетно относились к документу, удостоверявшему их благородное происхождение: «В 1788 году, в марте, отец наш, принеши из Дворянского собрания депутатов данную нам на дворянство грамоту, сказал матери нашей и нам: “Посмотрите — этот пергамент обложен кругом рисовкою по большей части полковыми знаменами, штандартами и корабельными флагами, обставленными военным оружием, и атлас, его покрывающий” — прикрепленный золотым шнурком висячей большой печати — “предназначает огненно-кровавым цветом своим уплату за эту честь огнем и кровию войн под знаменами Отечества”. Мать наша перекрестилась и поцеловала вензель Екатерины, и упавшие слезы ее скрепили обет отца нашего, сделанный по чистой совести дворянина»¹⁰.

При наличии подобного документа, предъявленного в надлежащем месте, «действительный» дворянин, добровольно поступавший на военную службу, должен был отслужить в чине рядового три месяца, после чего его надлежало произвести в первый унтер-офицерский чин. Надежда Дурова, конечно, без труда могла бы доказать, что она принадлежит к благородному сословию, но кто бы выдал ей документ, подтверждающий,

что она — мужчина? Не имея свидетельства о дворянстве, она вынуждена была ходить в рядовых бессрочно. Но и это неразрешимое обстоятельство не отвратило Дурову от побега из отчего дома: «Я встала, <...>; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. <...> Остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию; я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой. Сильный шелест листьев и храпенье лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я в последний раз простерла руки к изображению Богоматери, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла! Наконец дверь отцовского дома затворилась за мною, и кто знает? Может быть, никогда уже более не отворится для меня!.. <...> Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом и, окруженная мертвою тишиною леса и мраком осенней ночи, погрузилась в размышления: Итак, я на воле! свободна! независима!»¹¹

Неукротимая страсть служить в армии превозмогла все: Надежда Андреевна Дурова, в замужестве Чернова, отказалась до конца своих дней от «преимуществ женского пола», от мужа, сына, привычного круга общения, именуясь в документах сначала Андреем Дуровым (по отцу), а потом Андреем Александровичем Александровым (в честь императора Александра Павловича, даровавшего ей исключительное право служить в армии в чине офицера). Если бы сердце женщины-воина дрогнуло перед неизбежностью утрат, тяжелых трудов и опасностей, ее военное приключение оказалось бы кратким фарсом, но она (или все-таки он — воин?) стойко двинулась по избранной стезе: «Мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надеюсь, однако ж, привыкнуть: но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть, так это к тиранским казенным сапогам! Они как железные! <...> я точно прикована к земле тяжестью моих сапог и огромных бряцающих шпор!»¹² В литературно обработанных «Записках кавалерист-деви-

цы» начало ее военной стези запечатлено так: «Наконец мечты мои осуществились! я воин! коннополец! ношу оружие! и, сверх того; счастье поместило меня в один из храбрейших полков нашей армии!»¹³ В действительности же, разговорный стиль и образ мышления отважной провинциалки был менее изящным, о чем позволяют судить начальные строки ее автобиографии, не «облагороженные» рукой А. С. Пушкина: «Родился я (sic!) в 1788 году (на самом деле в 1783 году. — Л. И.), в сентябре. Которого именно числа не знаю. У отца моего нигде это не записано. Да, кажется, нет в этом и надобности. Можете назначить день, какой вам угодно. На 17-м году от роду я оставил дом отцовский и ушел в службу»¹⁴. Что ж, в жизни Надежда Дурова изъяснялась менее изящно, чем литературная героиня, но зато подлинный слог ее сочинений наглядно убеждает в том, что, по словам Суворова, «с нами говорит солдат».

Отметим, что во всех перечисленных случаях возгоранию страсти служить Отечеству, и особенно на военном поприще, способствовали примеры соседей, родственников, родителей и, наконец, самого монарха. Вернемся опять к рассказу о воронежском детстве М. М. Петрова и о его отце, сыгравшем столь значительную роль в воспитании своих сыновей: «Отец наш, наслушавшись в его малолетстве от самовидцев о трудах “первого императора”, часто приводя нас на опустелую верфь и к домику его и рассказывая о всем, что, где и как было там, говорил нам: “Дети! Вы родились на священных следах Великого Петра, трудившегося тут до изнеможения на верфи корабельной и приносившего в этом храме молитвы Царю царей, повергая в них под благословение Его свои благотворные думы и горести сердца, терзанного исчадиями крамол и заматерелого суеверства. Ежели и простой случай дал нам прозвание Петровы, то и тогда примите его святынею, по имени Великого Петра, и идите путем военной чести Отечества, любите просвещение, будьте праводушны, не бойтесь говорить правду по присяге, ибо правде помогает Бог”»¹⁵.

Не менее значительным для четырех братьев Петровых оказалось появление в их медвежьем углу под

Воронежем многочисленных родственников, всемерно «содействовавших воинской славе России»: «Прибытие в домовый отпуск родных братьев отца нашего, одного в красивом мундире инфантерийского офицера, а другого в казистом гусарском наряде, восхитило нас о будущей участи нашей; возвращение же в отставку поручика Алтухова, двоюродного им по матери их брата, объяло души наши и повлекло к полному разумению военных бурь, шатающих, возвышающих и освящающих честь и сокращающих неутомимое человечество. Этот мужественный стройный старец-герой 1-го гренадерского полка Елизаветы I и Екатерины II, без правого глаза от пули с проткнутым скулом той же стороны и без левого уха, сдернутого картечью, имел необыкновенный дар слова для выражения военных картин. Он был еще и крестным отцом одного из нас — Николая — и приезжал к нам гостить из деревни своей Никоновой, находящейся от Воронежа в 35 верстах на реке Усмани, и рассказывал отцу нашему и особенно двум старшим братьям моим, готовившимся отправиться в армию, о штурмах и полевых битвах войн: Семилетней, прусской и турецкой графа Румянцова, им испытанных; и мы, два меньших кантониста воронежского дворянства, быв около седьмых годов жизни, таращили глаза на выразительные высказывания истерзанного лица дяди нашего; и порывы победоносного голоса его усвоились слуху нашему по жребию, ожидавшему нас»¹⁶.

А как счастливы были те дворянские семьи, которых царственные особы удостоивали собственным посещением! Так, С. Н. Глинка, спустя много лет, живо вспоминал проезд в их имение императрицы Екатерины II, единым росчерком пера решившей судьбу мужского потомства славного рода смоленских дворян. «И теперь еще помню то очаровательное мгновение, когда брат мой Николай <...> резво и смело плясал перед царицей, звонким голосом заводя родную нашу песню: “Юр Юрка на ярмарке”. Вижу теперь, как она, нежная мать отечества, посадила его на колени; вижу, как брат играл орденской ее лентой; слышу, как смело сказал ей:

— Бабушка, дай мне эту звезду!

— Служи, мой друг, — отвечала Екатерина, — служи, милое дитя, и у тебя будут и ленты, и звезды; и тут же собственноручной рукой записала его и меня в кадетский корпус»¹⁷.

«В блаженном 18 (веке) любая жизнь была романом», — утверждал М. Ю. Лермонтов. И с этим нельзя не согласиться, обратившись к воспоминаниям тех, кто жил или, по крайней мере, помнил те времена. Это был, безусловно, век сильных личностей, встреча с которыми могла перевернуть жизнь, определить судьбу, оставить в ней неизгладимый след. Встречу с Екатериной Великой или с кем-нибудь из ее сподвижников-«орлов» современники расценивали как веху на пути, своего рода определяющий знак, запечатленный в семейных преданиях. Сам за себя говорит исторический анекдот, рассказанный чиновником А. Л. Майером, другом семьи полководца М. Б. Барклая де Толли: «Однажды бригадирша Фермелеен прогуливалась по Петербургу в карете с трехлетним Барклаем. Мальчик, прикоснувшись к дверцам кареты, которая отворилась, выпал. В это время мимо проезжает князь Потемкин. Увидев вывалившегося из кареты ребенка, князь вышел из экипажа, поднял его и, найдя его совершенно невредимым, предал его г-же Фермелеен, сказав: “Этот ребенок будет великим мужем”»¹⁸. Стоило ли после этого удивляться, увидев в Военной галерее Зимнего дворца портрет фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли в полный рост на фоне покоренного Парижа?

Кстати, воспоминание А. Л. Майера не единственное упоминание о решительном влиянии «блистательного князя Тавриды» на судьбу будущих героев 1812 года. Обратимся к рассказу артиллерийского офицера Ивана Степановича Жиркевича, земляка вышеупомянутого С. Н. Глинки: «Я родился в Смоленске 1789 года, мая 9-го дня, поутру, в половине шестого часа, в тот самый момент, когда князь Потемкин имел въезд в сей город и был приветствован, как фельдмаршал, пушечными выстрелами; бабушка, принимавшая меня, тогда же изрекла пророчество матери моей, что я буду губернатором, — и эта идея, с самого юного возраста моего, была для матери моей постоянною, так что я более ста раз слышал от нее

слова сии, и, так сказать, надежду, что оное пророчество сбудется тогда, как сам я вовсе и помышления о себе не имел.

Едва исполнилось мне пять лет, в 1795 году, без малейшего, особого ходатайства, по одному прошению отца моего, записан я был в Сухопутный Шляхетный кадетский корпус и, как рассказывали мне, был последний недоросль, помещенный в корпус распоряжением добродетельного графа Ангальта, — чему я очень верю, ибо зачисление мое значится в актах 12 июля, а смерть графа последовала в том же месяце. В сентябре сего года привезли меня в Петербург и с этого дня я начал жить, так сказать, сам собою»¹⁹.

Кстати, почти в это же время к воротам того же детского корпуса подвезли и другого малолетку из дворянской семьи скромного достатка — Павла Христофоровича Граббе. Вот что он сообщал о своей «первоначальной молодости»: «Я родился в 1789 году 21 декабря, на Ладожском озере, где отец мой, в чине титулярного советника, занимал какое-то гражданское место. Ранняя женитьба заставила его, кажется, оставить военную службу еще в чине поручика какого-то, кажется, Симбирского гренадерского полка. Только первые четыре года младенчества провел я в родительском доме; потом отвезен в Петербург, в дом друга отца моего, инженер-генерала Степана Даниловича Микулина, который определил меня в Сухопутный Кадетский корпус в 1794 году, где уже застал я старшего моего брата Карла, за два года перед тем туда отданного. Здесь провел я одиннадцать лет, от нянек, которые меня приняли, до эполет артиллерийского подпоручика, с которыми выпустили. Этому периоду принадлежат важные впечатления, оставленные в душе отрока видом Екатерины, Павла, Суворова — различно бессмертных в истории России и человечества. Граф Ангальт умер в год моего определения в корпус, но благодарная и нежная об нем память детей, конечно, долго еще способствовала к развитию в них благороднейших побуждений»²⁰. Заметим, что для выпускников кадетских корпусов стаж военной службы начинался со дня зачисления в корпус, что впоследствии было

очень важно для производства в следующий чин и получения наград.

Из рассказов И. С. Жиркевича и П. Х. Граббе явствует, что будущие офицеры далеко не всегда были причастны к выбору предстоящего им поприща. Многие из них не становились, а рождались солдатами по воле Провидения в семьях, где родители покорялись суровой необходимости, с пользой для государства избавляясь от лишних ртов. Исследования последних лет убедительно подтверждают, что на рубеже XVIII—XIX веков русская армия состояла в основном из беспоместных офицеров-дворян, что объясняется обеднением значительного слоя поместного дворянства, «в частности, из-за дробления родовых имений, так как детей в дворянских семьях было довольно много»²¹. В качестве примера «массовых» определений на военную службу сыновей из «недостаточных» семейств можно привести историю известной офицерской династии, представитель которой, Аполлон Никифорович Марин, подробно поведал об обстоятельствах своего вступления на военное поприще. Судьба была довольно сурова по отношению к малолетнему столбовому дворянину: «В один зимний день священник отслужил на путь молебен; нас с братом родители благословили, мы оделись, а Никита (извозчик. — *Л. И.*) уже стоял с повозкой на паре лошадей у крыльца. Мы вышли. Отец и матушка стояли на крыльце. С молитвою усадили нас, и мы без человека, без прислуги, напутствуемые молитвою родителей, тронулись с Никитой и скоро доехали до Елецкой деревни Колодезек. Там омылись в прекрасной бане, ночевали и отправились через Елец в Москву. В Москве меня водили смотреть колокол Ивана Великого и большую пушку и купили мне игрушку, чтобы я не грустил. <...> Из Москвы, на пути, я помню город Валдай, <...> где мне очень понравились баранки. Еще мне купили куколку, чтобы утешить, и так мы добрались до Санкт-Петербурга в Преображенские казармы <...> к старшему нашему брату Сергею Никифоровичу <...>. В это время гвардия собиралась в Москву, на коронацию Государя Павла Петровича.

<...> Гвардия и братья мои Сергей и Евгений отправи-

лись в Москву, а меня оставили на руки пьяного человека Игната Захаровича, который в пьяном виде возил меня по трактирам и поил водкой. Я схватил сильную горячку, но попал под покровительство одного благодетеля Василия Кузьмича Выдрина, офицера Лейб-гренадерского полка. <...> А 9 марта я уже лежал при смерти у Выдрина. Я помню 9 марта потому, что мне для утешения в болезни принесли печеного (из теста) жаворонка. От воспоминания, как меня в этот день утешали дома печеными жаворонками, мне сделалось полегче, и меня перевезли к Измайловскому полку в дом Ланских. <...> Вскоре возвратилась гвардия в столицу обратно. Брат Сергей Никифорович имел квартиру в первом батальоне Преображенского полка, что подле Зимнего дворца, и я туда же был взят весь оборванный, почти без сапог. Вот меня кое-как придели и на Святой неделе отвезли в первый Шляхетный, что после был первый кадетский корпус. <...> Я поступил в малолетнюю гренадерскую роту <...>. Меня подхватили кадеты и потащили в большой сад; однако я не скоро привык быть в толпе. Меня нарядили в Павловский мундир, в гренадерскую каску, и я начал службу и науку, благодаря Господа, что нашел пристанище благородное»²².

Много можно почерпнуть трогательных детских подробностей из рассказа о далеко уже не детской жизни дворянского сына, еще не вышедшего из самого «нежного» возраста: тут и игрушка, и куколка, «чтобы не грустил», и баранки, и даже печеные жаворонки «для утешения в болезни». И при всем том нет ни малейшего сетования на судьбу: ни на родителей, снарядивших в дальнюю и трудную дорогу, ни на старших братьев, доверивших мальчика нерадивому слуге! Более того, спустя несколько лет, сам Аполлон Марин воспользуется счастливой возможностью пристроить в кадеты и своего брата-малолетку! Об этой неслыханной удаче он с удовольствием вспомнит в старости: «В этом 1799 году, когда я был на ординарцах у Его Высочества, меня начальники мои научили просить Его Высочество о принятии в корпус меньшего брата моего Николая Никифоровича, и он удостоил мою просьбу, приказав принять брата, которому в то время было еще только

пять лет. Он поступил в малолетнее отделение к Марье Ивановне Боньет»²³.

В те годы, когда росли и мужали будущие защитники Отечества в 1812 году, к детям не принято было относиться с излишней мягкостью, чтобы «не отбить от дела». Педагогическая система той поры приучала видеть в детях прежде всего «маленьких взрослых». Следовательно, родители видели в мальчиках будущих слуг Отечества, поэтому и сами дети воспринимали себя именно в этом качестве. Но во все времена дети все же оставались детьми: далеко не всякий с одинаковым пониманием и кротостью стремился поскорее «начать службу и науку». Так, С. Н. Глинка, по благодному распоряжению Екатерины II определенный с братом Николаем в кадетский корпус, признавался: «Отец мой, сопровождавший нас в Петербург, вынес меня на руках из-под благословения матери: я задыхался от слез и рыданий»²⁴.

Там, где «недоросль» Сергей Глинка не разглядел своего счастья, иным оно представлялось сказочной мечтой, завораживающей звездой, на свет которой можно было стремиться, не отвращая взора, не обращая внимания на тернии, устилающие путь. Именно к числу таких «завороженных» следует причислить не кого-нибудь, а самого могущественного сановника александровского царствования графа Алексея Андреевича Аракчеева. Среди всех «невыдуманных историй» его рассказ о выборе пути выглядит, пожалуй, наиболее впечатляющим. «Отец мой, бедный дворянин, — рассказывал впоследствии Аракчеев, — не прочил меня в военную службу. У нас был родственник в Москве, к которому меня хотели выслать, потому что он обещал меня записать в какую-то канцелярию. Из меня хотели сделать подьячего...» Пришлось нанять местного священника, который взялся «за четверть ржи и две четверти овса» научить мальчика чтению, письму и арифметике. Вскоре выяснилось, что в умении складывать, вычитать, делить и умножать ученик превосходит своего учителя. Отца огорчало другое — Алексею не давалось правописание. Андрей Андреевич не мог не сокрушаться по этому поводу: «Какой

он будет канцелярский чиновник, когда пишет, точно бредут мухи».

Однажды Андрей Андреевич с 11-летним Алексеем отправился в гости к соседскому помещику, к которому прибыли в отпуск его сыновья — кадеты Инженерно-артиллерийского шляхетского корпуса в Петербурге. Сосед устроил званый обед, куда пригласил и Аракчевых. Это-то событие Алексей Андреевич и запомнил на всю жизнь: «Лишь только я увидел Корсаковых в красных мундирах с черными лацканами и обшлагами — сердце мое разгорелось. Я не отходил ни на минуту от кадет, наблюдал каждый их шаг, каждое движение, не проронил ни одного слова...» Вернувшись домой, мальчик ни словом не обмолвился о том, что творилось у него в душе: он боялся огорчить родителей, готовивших его в писари. Еще бы: «четверть ржи и две четверти овса» уже перекочевали в закрома наставника! Но чувства свои он скрывал недолго: не выдержал и бросился с рыданиями к отцу в ноги, повторяя сквозь слезы, что умрет от горя, если его не отдадут в кадеты. Отец обнял заплаканного сына, пытаясь объяснить ему, что у них нет ни денег, ни высоких покровителей для осуществления его мечты. Тогда Алексей попросил отца: «Позвольте мне пойти пешком, я дойду как-нибудь, брошусь в ноги Государыне, и она, верно, сжалятся надо мной». Тут уж заплакал и отец: «Если уж идти пешком, так идти вместе, да и терпеть вместе». Собрали деньги на поездку, продав на базаре все, что можно было продать: с пятьюдесятью рублями в кармане засобирались в путь. К самому отъезду пригласили священника, помолились всей семьей, присели на дорогу, как водится. Спустя 40 лет всесильный граф Аракчев вспоминал: «Я был в восторге, и тогда только призадумался, когда пришлось прощаться с доброй моей матерью. Рыдая, благословила она меня образом, который ношу до сих пор и который никогда не сходил с груди моей, и дала мне одно утешение: молиться и надеяться на Бога. Всю жизнь мою я следовал ее совету!»²⁵ Похвального желанья маленького дворянина оказалось недостаточно для того, чтобы сразу определиться в кадетский корпус: канцелярский писарь под разными предложениями в течение

полугода (!) отказывался принимать прошение, вымогая деньги, которыми родитель нашего героя не располагал. Без благодетелей, без средств к существованию отец и сын Аракчевы оказались в Северной столице совершенно беспомощны: «...Нам пришлось заpastись терпением, пока наше прошение рассмотрели. В ответ не было ни слова, и каждый день мы ходили с Ямской на Петербургскую сторону и дожидались у лестницы Директора корпуса Петра Ивановича Мелиссино, чтобы поздороваться с ним и напомнить о своем прошении. Пока мы ждали, небольшой запас денег у моего отца таял и, наконец, иссяк: у нас не осталось ни копейки. Положение было безнадежным. Мой отец слышал, что митрополит Гавриил оказывает помощь бедным, и наша нужда побудила его обратиться за помощью. Мы отправились в монастырь. У входа толпились нищие. Мой отец попросил, чтоб его святейшеству доложили, что его хочет видеть дворянин. Нас ввели внутрь. Отец описал свое бедственное положение и попросил о помощи. Его святейшество послал нас к казначею, и нам дали рубль серебром. Вышед на улицу, отец мой поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал. Я также плакал, смотря на отца. Одним рублем мы прожили втроем, то есть с служителем нашим, — целых девять дней. Потом рубль кончился! Мы снова пошли на Петербургскую сторону и снова заняли наше место у лестницы. Появился Мелиссино, и, прежде чем отец заговорил, я выступил вперед и сказал в отчаянии: “Ваше превосходительство! Примите меня в кадеты! Мы ждать более не можем, потому что нам придется умереть с голоду. Вся жизнь буду благодарен вашему превосходительству и буду молиться за вас Богу! Батюшка мой не вытерпит и умрет здесь, а я за ним!” Слезы текли по моему лицу. Мелиссино испытующе смотрел на меня. Я всхлипывал, а отец беспомощно рыдал. Мелиссино спросил, как меня зовут и когда подали прошение. Потом он пошел в свой кабинет, попросив нас подождать. Через несколько минут он вышел и, протягивая мне записку, сказал: “Ступай с этим в канцелярию: ты принят в корпус”. Я бросился целовать ему руки, но он отстранился, сел в экипаж и уехал. Перед тем как пойти в кан-

целярию, мы с отцом зашли в храм и, не имея денег на свечи, помолились, кладя земные поклоны; мы вышли из храма с радостью на сердце». Впечатляющий рассказ о начале своего военного поприща граф А. А. Аракчев закончил признанием: «Этот первый урок бедности и беспомощности произвел на меня сильное впечатление». Впоследствии многие в России гадали: каким собственно способом так высоко вознесся по служебной лестнице граф Аракчев? На наш взгляд, достаточно прочесть его рассказ — и недоумение рассеется.

Непреложную волю к воинскому ремеслу обнаружил в 17-летнем возрасте и малороссийский дворянин Яков Осипович Отрощенко. «Ни отец, ни мать не имели достаточного состояния, чтобы дать мне воспитание, приличное дворянскому достоинству, а материнская любовь не решилась и на то, чтобы отдать меня в кадетский корпус, когда Великая Екатерина приглашала родителей отдавать сыновей своих матернему ее попечению. “Как можно, говорила она, отдать дитя на чужую сторону, кто там о нем позаботится, когда он заболит”. Отец хотя имел твердый характер, но, видно, и он побежден был этими же чувствами»²⁶. Однако юноша дождался своего часа: «К величайшему моему удовольствию Император Павел I воззвал к молодым малороссиянам, предлагая им идти в военную службу, кто пожелает. Когда только объявлен был при открытых дверях Высочайший указ, я встал с своего места и торжественно сказал: желаю идти в военную службу. Товарищи мои до того испугались, что некоторые нырнули под стол»²⁷. Следует отдать должное родственникам: «...Он (отец) не препятствовал уже пламенному моему желанию. Матушка и бабушка согласились также». Безусловно, они сознавали, что путь их «воинолюбивого» дитяти будет непростым: без протекции, без особого образования, ему оставалось рассчитывать на собственное усердие и на Промысел Божий, которому отводилась тогда главная роль в любом предприятии. Спустя много лет генерал Отрощенко, с сердечным трепетом, будто заново переживал свой отъезд из родного дома: «В назначенный к отъезду день, получив напутственное благословение от родителей, я бросился на колени перед святыней, усер-

дно молился Богу, прося благословение свыше на предприятие мое. Потом со слезами простился с матушкой, братом и сестрами и отправился с отцом <...>. Сколько блистательно представлялось новое поприще моей жизни, но неизвестность будущего имела сильное влияние на душу: тяжела первая разлука! Проходя через сад, мысленно прощался я со всеми любезными предметами, свидетелями детских лет моих. Старец вековой дуб возносил главу свою ровно с главами храмов Божьих. С грустью думал я: “Не буду уже больше засыпать под шестом листьев твоих, не буду уже взором искать кудрявой главы твоей из полей далеких, я иду далеко в чужую сторону. Прости и ты, роскошный смородинный куст, приют весеннего певца над могилой брата моего, и березка, посаженная моей рукой, и ты, храм святой, прости, благослови меня в путь неведомый, ты видел мое усердие к тебе”. Выехав <...> в поле, я оглянулся назад, дабы еще сказать: прости, родина моя; взор мой встретил вчера взнесенный крест на Рождественскую церковь. С благоговением преклонил главу мою пред сим знамением и потом уже не оглядывался более назад, дабы не огорчить себя тревожными чувствами»²⁸.

Спустя несколько дней жизнь нашего героя, действительно, полностью переменялась: «13 января 1801 года прибыли в местечко Волчин (в имение князя Чарторыйского) безо всяких приключений достойных замечания. Здесь была штаб-квартира 7-го егерского полка. <...> Шеф этого полка, генерал-майор Миллер 3-й имел от роду не более 20 лет. Он был из гатчинских любимцев Императора Павла I. <...> Капитан поручил меня в особенное попечение фельдфебеля Кузнецова; дядюшка этот полюбил меня за прилежание к учению и трудам, а еще более за то, что я покупал ему водку каждый день; но при учении ружейных приемов, по заведенному тогда порядку, бил из усердия палочкой по икрам. Более всего трудно было для меня и даже невозможно было сделать выгиб кисти правой руки, чтобы большой палец был наравне с дулом штуцера, потому что я был высок ростом, а штуцера коротки»²⁹.

Начало военной службы другого малороссиянина, Н. И. Лорера, выглядит более оптимистичным:

во-первых, он отправился не в город Волчин, а в Санкт-Петербург, а во-вторых, семейные связи и образование позволяли ему претендовать на место в гвардейском полку. Причем посредником в этом важном деле выступил сам брат императора Александра I, великий князь цесаревич Константин Павлович. Соответственно, и день вступления в службу запомнился ему иными подробностями: «С страшным замиранием сердца подъезжал я к Мраморному дворцу. По большой лестнице, показавшейся мне грязною, не быв встречены ни швейцаром, ни даже лакеем, вошли мы в огромную залу. Тут мы нашли уже многих адъютантов великого князя, знакомых брата, которые все обступили нас, и помню, что Кудашев между прочим сказал мне:

— Я знаю, что ты знаком со многими иностранными языками, но ежели Его Высочество спросит тебя, чему ты учился, то скажи — русскому.

Вскоре все засуетились, водворилась тишина, и великий князь вошел. Он прямо подошел к брату, хриплым, но отрывистым голосом поздоровался с ним, сказал, что давно с ним не видался, взглянул на меня, наморщил свои огромные брови и спросил:

— Это брат твой?

Тогда брат мой представил меня Его Высочеству и изложил свое желание и просьбу. Великий князь, окинув меня своим быстрым взором, тотчас же решил: “В конную гвардию! Дмитрий Дмитриевич Курута, посадить его на барабан и обстричь эти белокурые кудри” — и пошел. Скоро вернувшись, однако, <...> промолвил: “Я раздумал: полк в походе, на него надеты кирасы, каску, переходы большие, он пропадет, наживет себе чахотку <...>, потому что, кажется, вскормлен на молоке... Я определю его в Дворянский полк к полковнику Энгельгардту и даю слово, — сказал он, взяв брата за руку, — через 5 или 6 месяцев, когда он втянется немного, произведу его в офицеры гвардии”.

Брат мой благодарил Его Высочество и поцеловал его в плечо. Великий князь тогда спросил меня: “Чему ты учился?” — и я, помня наставление Кудашева, скромно сказал: “Русскому...” — “Довольно”, — сказал В<еликий>

К<князь>, поклонился и удалился в свои апартаменты. И вот как решилась моя будущая судьба»³⁰.

Заметим, что поступить на службу в гвардию было несравненно труднее, чем попасть в кадетский корпус или в армейский полк. Достаточно вспомнить анекдот о том, как для определения в привилегированную часть войска некий юный офицер решил использовать протекцию дочери М. И. Кутузова: он явился к фельдмаршалу, предварительно заручившись рекомендательным письмом. Но не тут-то было! Письмо от дочери Кутузов, конечно, прочитал, а затем вежливо осведомился у самого молодого человека, чего он хочет, и получив ответ, что хочет быть в гвардии, князь Кутузов, погладив его по головке и потрепав по щеке, сказал окружающим: «Молодой человек желает хорошего», а обратясь к нему, проговорил: «Послужи, отличись и будешь в гвардии»³¹. Следует оговориться, что боевые отличия были далеко не главной причиной зачисления в гвардию. Вышеприведенный пример — скорее исключение, чем правило.

Сравнив воспоминания о зачислении на военную службу кадетов или армейских офицеров, приобретающих навыки своего ремесла по месту службы, и тех, кто начинал служить в гвардии, мы заметим, что внутри российской армии существовало как бы два мира, так различны были мысли и впечатления людей, принадлежащих к одному и тому же сословию. В гвардию не приходили «с улицы», без надежной рекомендации влиятельных знакомых или родственников, известных при дворе. Среди офицеров-гвардейцев встречаются, как правило, представители родовитых фамилий или же новой знати (например, Меншиковы, Орловы, Столыпины), чьи нажитые верной службой имения и богатство уравнивали аристократическую гордость «Рюриковичей» и «Гедиминовичей». Служба гвардейцев протекала на виду у двора, каждый офицер-гвардеец был лично известен императору. Наконец, столичный образ жизни требовал значительных издержек и был просто не по карману «грешной армейщине». Неспроста посланник Пьемонта Жозеф де Местр восклицал в одном из своих писем на родину: «Ведь в Петербурге гвардейс-

кого офицера освищут, и он будет принужден выйти из службы, если выедет в экипаже об одной лошади»³².

Воспоминания декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского, невзирая на постоянное декларирование демократических идеалов, полны аристократического снобизма и барской вальяжности, которых нипочем не встретишь в рассказах его более скромных по социальному статусу сослуживцев: «Вышел из института на 18-м году моей жизни и в начале 1806 года я поступил в Кавалергардский полк поручиком. Тогда начался общественный и гражданский мой быт. Натянув на себя мундир, я вообразил себе, что я уже человек, и, по общим тогдашним понятиям, весь погрузился в фронтовое дело»³³. За этими строками само собой угадывается раздольное, не омрачаемое никакими мелочными материальными расчетами житье, полное осознания собственной значимости. Вспомним, как трепетали сердца у смоленских дворян Глинок при виде матушки-императрицы. Для кавалергарда же Волконского созерцание всей императорской фамилии не более как обыденная служебная повседневность. Все тот же Жозеф де Местр, размышляющий, в какой полк пристроить своего собственного сына, перечисляет почетные обязанности одного из самых аристократических по составу полков: «Кавалергарды несут службу только внутри дворца; они следуют за Императором по торжественным дням, проходят через посольскую залу и стоят вместе с фрейлинами и статс-дамами. Их поочередно приглашают в Эрмитаж. Одним словом, это уже положение в свете»³⁴.

Обратившись к свидетельству офицера Конной гвардии Ф. Я. Мирковича, мы вынуждены будем признать, что ни Багратион, ни Денис Давыдов, ни Надежда Дурова, ни даже Аракчеев не сталкивались с проблемами, возникавшими перед «обдумывающим житье» гвардейцем: «Желая служить в кавалерии и оставаться в Петербурге при моих родителях, мне приходилось выбрать один из двух полков: Кавалергардский и Конногвардейский. Общество офицеров в первом состояло из чванливой знати и богачей, к которым я не имел никакого сочувствия, во втором же состоянии офицеров более соответствовало моему, и как родители мои пре-

доставили мне самому выбор полка, то я решился поступить в лейб-гвардии Конный полк, шефом которого был великий князь Константин Павлович»³⁵. Совершив непростой выбор, юный конногвардеец, выпускник Пажеского корпуса, принялся изучать тонкости военной службы с «фундамента», сравнительно быстро добившись зримых успехов: «С первых дней, после моего производства, я с особым прилежанием начал учиться строевой службе конной и пешей, о которой не имел никакого понятия. И это было не легко, потому что уставов печатных не было, а ходила по полку по рукам рукописная тетрадь под заглавием: “Эволюции Конного полка”. Верховой же езды я знал только то, чему обучал камер-пажей придворный берейтор Пьянов, для езды возле кареты Императрицы. Однако, с помощью добрых товарищей и при большом старании, я настолько успел в продолжение зимы, что с наступлением весны я был в состоянии выехать в фронт»³⁶.

Как видим, обычай XVIII столетия — записывать своих сыновей в полки в младенчестве, с тем чтобы к 15—16 годам у них за спиной накопилось столько лет службы, сколько требовалось для производства в офицеры, — в царствование Александра I себя изжил. Но и в эпоху 12-го года офицеры гвардии имели значительное преимущество перед армейскими служаками в скорости продвижения по службе. В то же время при Александре I и среди генералов, и в штаб-офицерской среде все еще немало оставалось тех, кто поступал в армию проверенным «дедовским» путем и о которых, по пословице, говорили, что им по службе «бабка ворожит». Для того чтобы понять, о чем идет речь, достаточно обратиться к запискам выходца из аристократической фамилии князя А. Г. Щербатова: «Я родился в Москве 23 февраля 1776 года. На шестом году записан по тогдашнему обыкновению в гвардию унтер-офицером (капралом или сержантом). До шестнадцатого года жил я в отцовском доме в Москве и летом в подмосковной деревне селе Литвинове; у нас была псовая охота, я занимался ею, но страстным охотником никогда не был. Осенью 1791 года отец и мать мои повезли в Петербург меня и брата, князя Николая, потому что нам наступило производс-

тво в офицеры и следовало несколько месяцев прослужить сержантом. Я два раза был наряжен в караул в числе уборных сержантов (так назывался маленький караул, состоящий из двенадцати сержантов из дворян в гренадерских шапках, из коих ставилась пара часовых у дверей перед кавалергардской комнатою), и 1 января 1792 года произведен был с братом в прапорщики гвардейского Семеновского полка, но как мы еще были слишком молоды, чтоб вступить в действительную службу и чрез то прервать усовершенствование в воспитании, то мы, по обычаю тогдашнего времени, легко получили отпуск на год и вскоре после производства отправились с родителями обратно в Москву...»³⁷

Не менее яркий пример — судьба графа М. С. Воронцова, чьи детские и юношеские годы прошли в Англии, где он получил замечательное домашнее образование. Родившись в 1782 году в семье генерал-аншефа и посла в Лондоне, «Мишинька», как называл его любящий отец, в 1786 году был записан в лейб-гвардии Преображенский полк капралом. Его действительная служба началась в 1801 году в чине подпоручика; при этом он имел придворный чин камергера, что, по Табели о рангах соответствовало чину полковника. Заметим, что юный Воронцов не пожелал воспользоваться преимуществами «гвардейца» и «придворного» и отправился в 1803 году служить в чине поручика волонтером (добровольцем) на Кавказ. Естественно, что его блистательный общественный статус не позволил его мужеству и доблести остаться незамеченными и неоцененными начальством и императором. Кроме того, формальная выслуга лет позволила ему при первом же «прямом военном подвиге» (граф Воронцов вынес на себе из боя раненого офицера) получить высокую награду — орден Святого Георгия 4-й степени, о котором в течение долгих лет службы могли только мечтать офицеры, для которых служба начиналась не со дня записи, а со дня их вступления в полк. Но следует признать, что граф Воронцов не жалел жизни, чтобы оправдать преимущества «породы». То же самое можно сказать и о сыне знаменитого фаворита Павла I, турка-брадобрея И. П. Кутайсова, который милостью государя стал гра-

фом и одним из высших сановников империи — графе Александре Ивановиче Кутайсове. Служебный путь, «усыпанный розами», не мог предотвратить его смерти в Бородинском сражении в возрасте 27 лет. Будущий начальник артиллерии Российской армии вступил в службу полковником в возрасте 15 лет, а в 21 год он был уже генерал-майором! Последний пример даже в те времена был скорее исключением, чем правилом. По словам Л. Н. Энгельгардта, граф Кутайсов героической смертью при Бородине дорого «заплатил за фавор отца своего», притом что сослуживцы всегда отзывались о молодом генерале в превосходных эпитетах: «красивый», «образованный», «благородный», «отличный».

Довольно значительную прослойку среди офицеров эпохи 1812 года составляли «остзейцы»: уроженцы Лифляндской, Курляндской и Эстляндской губерний. Один из них, Вольдемар Левенштерн, мог похвастаться тем, что оказался в детском возрасте свидетелем настоящего сражения, причем находился он в самой гуще битвы, где, по-видимому, в детском уме и родилась мысль стать военным. Первые годы жизни нашего героя не предвещали, казалось, подобной «энергической» развязки событий: «Я появился на свет при самых счастливых обстоятельствах и родился в один год и в один день с блаженной памяти Императором Александром. Все предвещали мне счастливую и благополучную жизнь. Я увидел свет в замке Разикс в Эстляндии, который принадлежал моему отцу, богатому землевладельцу этой губернии, бывшему несколько лет подряд предводителем дворянства. <...> Моя мать, женщина весьма умная и обладавшая прекрасным характером, заботилась преимущественно о моем нравственном воспитании. Чувствительность была, по ее мнению, величайшим сокровищем, каким может обладать человек»³⁸.

Однако предусмотрительные и степенные родители, к тому же стремившиеся привить чувствительность своему и без того кроткому и послушному ребенку, все же допустили оплошность в воспитании, однажды не уследив за его времяпрепровождением: «Когда мне было 12 лет, благодаря счастливой случайности я был свидетелем морского сражения, в котором адмирал

Чичагов разбил близ Ревеля шведский флот, коим командовал герцог Зюдерманландский, потерявший при этом два линейных корабля, из коих один взлетел на воздух, а другой был взят неприятелем. Граф Бобринский (внебрачный сын Екатерины II и графа Г. Г. Орлова, отличавшийся буйным нравом и своевольным характером. — *Л. И.*), живший в то время в ссылке в Ревеле за проказы, учиненные им в Лондоне и Париже, часто посещал дом моего отца; он встретил меня 2 мая на улице, усадил в свои дрожки и повез меня в гавань, где мы сели с ним на маленькую лодку и отправились на батарею, защищавшую вход в гавань. На нем был его роскошный мундир Конногвардейского полка, в коем он числился капитаном, так что никто и не подумал воспрепятствовать нам сойти на батарею; я следовал за ним с искренне детской радостью. Шведские ядра долетали до нас; свист, который они производили, пролетая над нашей головой, приводил меня в восторг; некоторые ядра попали в стену этой старой деревянной батареи, и я заметил, что окружающие нимало не разделяли мое радостное настроение; некоторые старые воины даже побледнели. Их ужас и еще более величественная картина сражения произвели на меня глубокое впечатление; с тех пор я только и мечтал о сражениях и ничего так не желал, как еще раз быть свидетелем битвы. Это желание было впоследствии вполне удовлетворено»³⁹.

Безответственный, если не сказать, дикий поступок «бастарда», из озорства или по глупости потащившего ребенка в сражение, решил судьбу этого мальчика. Вскоре родители пришли к единодушному выводу, что наилучшим применением способностей их сына отныне может стать только военная карьера. Ни о чем другом Вольдемар Левенштерн и думать не мог: «Морское сражение, виденное мною в Ревеле, воспламенило мое воображение, и я никогда не мог отделаться от этого впечатления. Гром орудийных выстрелов всегда был для меня самой приятной музыкой. Какое-то предчувствие вселило во мне уверенность в мою счастливую звезду, поэтому моя заслуга была не так велика; впоследствии я всегда преклонялся перед теми из товарищей, которых угнетало предчувствие противополож-

ного свойства и которые, тем не менее, шли в сражение хладнокровно и с покорностью судьбе»⁴⁰. Правда, мать юноши сочла нужным принять со своей стороны некоторые меры: «...В тот день, когда я должен был ехать в армию, моя мать призвала деревенскую гадалку, которая, дав мне проглотить какого-то зелья из ствола ружья, уверяла, что после этого меня не может постигнуть никакая беда. Я не особенно верил в действительную силу этого снадобья, но проглотил его, чтобы сделать удовольствие моей матери. <...> Я всегда избегал как бы каким-то чудом самых серьезных опасностей, и воспоминание об этой старой и отвратительной колдунье поддерживало меня в те моменты, когда ядра и пули свистели над моей головой»⁴¹.

С немалым энтузиазмом приобщился к военному сословию уроженец Курляндской губернии Иоганн Рейнгольд (Иван Романович) фон Дрейлинг. Он также получил домашнее образование, «усиленное» посещением местной школы в Якобштадте, будучи тем самым избавлен от необходимости пребывания в кадетском корпусе на казенный счет, хотя благосостояние семьи Дрейлингов в значительной мере уступало материальному благополучию Левенштернов, что явствует из рассказа самого Иоганна: «Теперь я должен был вступить в то звание и на тот путь, куда меня влекло мое стремление к серьезной и суровой жизни, а именно на военную службу. <...> 11 декабря 1808 года от великого князя Константина прибыло утверждение в моем приеме юнкером в Малороссийский полк. Все то, что только могла дать материнская забота и любовь, все было ею уже заранее предназначено для последнего приданого из родного дома. Богатым оно не могло быть, так как мое военное звание мне не разрешало ничего лишнего. Ограниченные средства моего отца не позволяли ему снабдить меня наличными деньгами в такой сумме, как бы это ему хотелось; он мог мне дать всего 15 рублей. Мои старушки тетки одарили меня после долгого прощания деньгами по мере своих сил, так что в моей кассе оказалось около 100 рублей. Так покинул я <...> дорогой, мирный отчий дом со всеми милыми мне обитателями, вещами — свидетелями и товарищами счастливой юности, чтобы вступить на су-

ровый путь самостоятельной жизни в чуждом и враждебном мне мире»⁴². Забегая вперед сообщим, что этот новоиспеченный юнкер на удивление быстро освоился «в чуждом мире», который оказался к нему далеко не так враждебен, как можно было решить, читая эти трогательно-сентиментальные строки. Неутомимый служака — он всегда был на хорошем счету у начальства, обладатель красивой наружности, — он легко кружил головы девицам, вдовам, замужним дамам, одним словом, был неотразим. Он прошел невредимым через все опасности войны, чтобы вернуться в «мирный отчий дом», где терпеливо ждала его верная подруга, которую он осчастливил законным браком.

И все-таки основной костяк Российской Императорской армии составляли не гвардейцы, а именно малоимущие армейские офицеры, подобные братьям Петровым, отец которых был твердо уверен в том, что единственной, достойной дворянина судьбой является служба в армии. Волю отца они выполнили, о чем свидетельствует само название воспоминаний одного из братьев: «Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о военной службе и жизни своей и трех родных братьев его». Начало своей долгой военной карьеры в Псковском гарнизонном полку Михаил Матвеевич Петров запомнил на всю жизнь: «Там под знаменами произнес я клятву в обязанностях воина, долженствующего приносить в жертву спокойствие, кровь и жизнь свою во охранение царского трона, Отечества и Святой Веры»⁴³. Именно с ними, с армейскими офицерами из многодетных обедневших семей, чуть ли не в младенчестве покидавшими родительский кров, случались подчас невероятные истории, подобные тем, что произошли с братьями Петровыми на их долгом служебном поприще. «Ко мне подошел навстречу офицер в общем армейском сюртухе, с курьерскою сумкою на груди, — рассказывал М. М. Петров. — Принимая мою руку, он сказал: “Ежели вы полковой адъютант Петров, то вы родной брат мне, поручику Алексею Петрову”. Мы обнялись с кровным чувством радости, и трехчасовое свидание, чрез девять лет разлуки, принесло нам незабвенную мне поныне радость». Во время это-

го радостного свидания Михаил Петров узнал от своего брата Алексея о судьбе их третьего брата — Ивана, с которым тот совершенно неожиданно встретился в дороге: «Поручик Иван Матвеевич Петров около четверти часа соучаствовал в разговорах с курьером суворовской армии, <...> но в это время пришел к ним от задней части колонны командир дивизии Старобыховского гарнизонного полка штабс-капитан Быков, давний знакомец этого курьера по служению с ним в одном полку армии Потемкина-Таврического. Взглянув на курьера и узнав его, Быков закричал: “Здравствуйте, Алексей Матвеевич! Иван Матвеевич! Ведь это брат ваш!” Два единокровных брата бросились в объятия друг друга, пролив радостные слезы. Все предстоявшие тронуты были чувствительным удивлением о милости Провидения, определившего, после девятилетней разлуки, двум братьям свидание на чужбине, открывшееся случайно и едва не минувшее их. Пробыв вместе около получаса, <...> они расстались на 30 лет. Два колонновожатых австрийских офицера, <...> видевшие это свидание, крайне тронуты им и по прибытии в Мюнхен пропечатали в тамошней газете, описав это свидание искусно от доброго германского сердца. И вот старший брат повидался со мною — на 20 лет — выросшим из семилетнего ребенка почти с него и имевшим равный его чину чин, в должности, уважительной везде, служившим»⁴⁴.

Глава вторая ОБРАЗОВАНИЕ

...Меня растили и учили по обычаям края и тогдашнего времени...

Д. В. Душенкевич.
Из моих воспоминаний

Начало царствования императрицы Анны Иоанновны было ознаменовано указом от 23 ноября 1731 года, постановлявшим «впредь <...> безграмотных из солдат и капралов в унтер-офицеры, а из унтер-офицеров,

которые не умеющие же грамоте, в обер-офицеры не производить, дабы который по обучению грамотному попечение имел неленостное»¹. Плоды просвещения дали о себе знать почти незамедлительно: через три года после упомянутого указа «научный спор» между двумя морскими офицерами едва не закончился поединком на шпагах. Один из них, Михаил Плаутин, доносил на своего сослуживца Григория Скорнякова-Писарева: «Сего ноября 11 дня Писарев рассказывал мне, будто бы он сочинитель геометрии и механики, и на то я ему сказал, что науки геометрии сочинитель Евклид, на что он сказал, что будто ему, Писареву, в честь оная геометрия напечатана на имя его <...>. И на оное он, Писарев, с великим сердцем мне закричал, что ты-де не веришь за своей спесью, отчего-де потерял свой смысл, не зная ничего, и знаю-де, какой ты человек! На что я ему говорил, что я беспорочный человек и не унижаюсь...»² Известный историк Н. Я. Эйдельман справедливо заметил по этому поводу: «Разве лет за 50 до того дворянин взялся бы за шпагу, доказывая, что геометрия и сами фигуры — не евклидовы, а его собственные?»³

Однако приведенный пример отнюдь не означает, что все офицеры русской армии в равной мере имели представление о «евклидовых фигурах». Статистические данные, полученные методом компьютерной обработки формулярных списков, куда вносились сведения об образовании, показывают, что к 1812 году 52 процента офицерского корпуса недалеко продвинулись от образовательного минимума, обозначенного в указе от 1731 года. Это означает, что знания большинства наших героев определялись формулировкой «читать и писать умеет». С одной стороны, можно сделать оптимистический вывод: на рубеже XVIII—XIX столетий безграмотность в офицерской среде себя полностью изжила. С другой стороны, мы вынуждены признать и другой факт: половина русских офицеров в эпоху Наполеоновских войн была малограмотной, но упрекать в этом их самих или даже их родителей — не исторично. Для многих потомственных дворян элементарная грамотность была тем рубежом образования, которого они достигали, героически преодолевая материальные

затруднения. Вспомним рассказ Аракчеева про «четверть ржи и две четверти овса», уплаченные его родителями местному священнику за обучение навыкам чтения и выполнения четырех простых арифметических действий. Причем почти сразу же выяснилось, что маленький Аракчеев делает все вычисления быстрее и точнее, чем его учитель.

Лишь в исключительных случаях знания, приобретенные дома, оказывались даже основательнее тех, которыми располагали лица, принимавшие у «недоросля» экзамен на чин офицера. Это в полной мере относится к братьям Муравьевым — свитским офицерам, отцом которых был основатель Школы колонновожатых, прообраза Академии Генерального штаба. Естественно, Муравьев-старший сделал все от него зависящее, чтобы «образовать» своих сыновей, невзирая на ограниченность денежных средств. Николай Муравьев рассказывал: «Родился я 14 июля 1794 года, воспитывался и учился в родительском доме. В феврале месяце 1811 года отец привез меня в Петербург для определения в военную службу. <...> Брат Александр был годом меня старше в службе. В день приезда моего в Петербург он возвратился из Волыни, куда был командирован для съемки. Увидев его в офицерском мундире, я сердечно порадовался при мысли, что скоро сам его надену. <...> Наступил страшный день, назначенный для экзамена. Полковник Хватов и подполковник Шефлер, которые меня экзаменовали, первый в фортификации, а второй в математике, знали менее моего; я хорошо выдержал экзамен, они остались довольны и донесли о том князю (П. М. Волконскому. — *Л. И.*), который поздравил меня колонновожатым и приказал мне немедленно явиться в Семеновский полк к полковому адъютанту Сипягину для обмундирования»⁴. Не менее серьезно подошли к проблеме образования в семействе В. И. Левенштерна: «Я получил воспитание настолько тщательное, насколько позволяли обстоятельства и местные условия. Я должен отдать справедливость моему отцу, что он не пренебрег ничем, не щадя ни денег, ни забот, чтобы я получил самые разносторонние и основательные познания».

Ограниченность познаний не всегда была связана с отсутствием денежных средств и узостью кругозора провинциального дворянства. Таким же «проверенным» домашним способом обучал своих пятерых сыновей (из которых четверо к 1812 году вышли в генералы) инженер-генерал-поручик Алексей Васильевич Тучков, столичный житель, сенатор, человек довольно ученый, именем которого назван мост через Неву. Второй из его сыновей, Сергей Алексеевич, описал в записках характер своего родителя, изобразив тем самым психологический портрет служивого дворянина-отца в контексте того времени, когда будущие герои 1812 года разными путями пытались овладеть знаниями: «...Отец мой был всегда занят предприятиями по службе его, был несколько угрюм и не всегда приветлив; такова была большая часть военных людей того времени; притом не любил много заниматься детьми своими в малолетстве их. Но он был совсем иначе к ним расположен в другом нашем возрасте»⁵. Суровость отца объясняется присущей XVIII столетию традицией смотреть на детей, как на маленьких взрослых (о чем выше говорилось). Тучков-старший попросту не знал, чем занять детей в малолетстве, когда от них нет никакой пользы Отечеству, и терпеливо дожидался их взросления, чтобы направить затем по стезе чести и доблести. «Он хотел, чтобы все дети его служили в военной службе», — вспоминал С. А. Тучков. Раннее детство четверых братьев-генералов, из которых старший и младший лишились жизни при Бородине, мало отличалось от детства большинства их сверстников: «На третьем году возраста начали уже меня учить читать по старинному букварю и катехизису, без всяких правил. В то время большая часть среднего дворянства таким образом начинали воспитываться... Итак, первый мой учитель был дьячок, а второй солдат. Оба они не имели ни малейшей способности с пользой и привлекательностью преподавать бедные свои познания...»⁶

Совершенно очевидно, что в ту эпоху во множестве дворянских семей даже и не стремились к высотам академических знаний, считая начальное образование вполне достаточным для успешного несения какой

бы то ни было службы. На рубеже XVIII—XIX веков «педагогическая система» большинства отцов благородных семейств соответствовала общим правилам, описанным в воспоминаниях И. М. Благовещенского: «На одиннадцатое лето рождения моего в городе Юрьеве родитель мой, имев влияние в чувствах сердоболия и устройству меня в ходу щастием, решился расстаться и отделяет от груди своей и Отчизны; привез в Москву и отдал на попечение своего брата родного, с тем чтобы образовать меня в качествах приличных и свойственных благоразумному воспитанию в нравственности. Следы оных постепенно открывались мне в другом виде — и в скором времени я чувствовал себя другим, готовым служить»⁷.

К тому же родители не слишком доверяли казенным заведениям, не решаясь отпускать своих детей в кадетские корпуса. Так, Якова Отрощенко отец сам обеспечил «начальными сведениями»: «Среди роскошной малороссийской природы я увидел Божий свет под скромным кровом родителей моих, и в тумане простоты рос под строгим надзором отца моего, отставного поручика, служившего прежде в казачьих малороссийских полках. Он хорошо знал грамоту и по тогдашнему времени был краснописец; почерк руки его был чистый и четкий, литеры наклонны были к правой руке; знал также польский язык, изучив его, находясь на форпостах в Подолии <...>»⁸. Из рассказа Я. О. Отрощенко, успешно дослужившегося до генеральского чина, явствует: многие родители пребывали в совершенной уверенности в том, что их знаний и педагогических способностей вполне хватит на то, чтобы обеспечить своим детям необходимый уровень образования: «В то время мало еще было таких людей, которые понимали, что познание наук молодому человеку необходимо; для них достаточно казалось и того, если он умеет читать и писать; чтение церковных книг было изучаемо рачительно; чтение в церкви Апостола составляло уже половину учености, а сочинить просьбу в суд — крайний предел образования. Итак, остался я дома, слушал сказки, чудные действия малороссийских ведьм, русалок и проч., и проч. Учителем моим был сам отец и занимал-

ся неутомимо первенцем своим; не щадил ни трудов, ни прекрасных березок, осенявших фронт нашего домика. Признательно сказать, я был очень туп к наукам <...>. Я любил резвость, однако же время все преодолевает, и я наконец добрался до таблицы, стал писать мелом, а потом на бумаге чернилами, но и тут дело шло медленно; я любил более чертить человеческие фигуры и животных, нежели писать литеры; мне строго запрещено было тратить время на рисунки, и часто я получал за это наказание. В арифметике я далее умножения и сложения не знал ничего. Об иностранных языках я не имел никакого понятия, кроме польской азбуки, которую преподавал мне отец»⁹. Как видим, «набор наук», с которым вышел в большую жизнь наш герой, обширен, но довольно своеобразен — от сказок о ведьмах и русалках до простых арифметических действий и польской азбуки...

Заметим, что Отрощенко «засел за науки» по первому требованию строгого отца, передавшего своему сыну и непростое искусство начертания «литер», что в немалой степени способствовало его продвижению по службе. Среди «недорослей» были дети, которым требовались «особые знамения» для того, чтобы пробудить в них охоту к знаниям. В записках С. Н. Глинки описывается случай необыкновенного озарения свыше: «Не стану хвалиться напрасно, у меня не было никакого стремления к учению. Я был и без книг непрестанно занят. Летом то в рощах гонялся за бабочками, то ходил за ягодами и грибами, то спешил в орешник; зимой — то катанье на салазках, то в комнате волчки, веревочки и мячик. Словом, я был занят, мне было весело. Но людей все учит, даже скука и досуг. <...> Но вот какой случай захотил меня к учению. 25 июля 1780 года (этот день помечен был в святцах, почему и помню) поехал я с бабкой моей в Сутоки; день был жаркий. Отец мой, отправляя исправничью свою должность в Духовщине, приехал после обеда и привез оттуда баранок. Гостинец разошелся по рукам. Я подошел к окну, где стояла тарелка с отравой для мух. Я начал обмакивать туда баранки и преспокойно глотал ядовитую влагу. Дядька братьев моих, как только это увидел, тотчас побежал за

молоком, и меня отпоили. Услышав о беде, грозившей мне, бабка моя в беспамятстве и слезах схватила меня на руки, велела запрягать лошадей, и мы возвратились в село ее. Приехав домой, мы тотчас пошли в церковь, отслужили молебен об избавлении меня от смертельной опасности. Пришел туда и дядя мой. С живым чувством ласкал он меня, и я как будто из нежной его заботливости вдохнул в себя охоту к учению. На другой день я проснулся гораздо ранее обыкновенного и, схватя азбуку, побежал в сад, где уже прогуливался мой дядя-наставник. “Что ты, Сережа, — спросил он, — здоров ли ты?” — “Я здоров, — отвечал я, — и хочу учиться”. <...> И можно ли было подумать, чтобы то, что грозило мне смертью, открыло путь к новой жизни»¹⁰.

Предубеждение против кадетских корпусов существовало и в аристократическом семействе князей Щербатовых. Генерал А. Г. Щербатов так вспоминал о «золотых годах» своей жизни: «Родители наши нежно пеклись о всем, что могло быть для нас полезно и, когда настало время воспитания, они употребили к тому все зависящие от них средства, следуя общему обыкновению и просвещению. Публичных учебных заведений тогда в России почти не было, был только в Петербурге Кадетский корпус и в Москве университет, но ни в тот, ни в другой высшее дворянство детей своих не отдавало, основываясь на предрассудке или на некоторых предубеждениях против сих заведений, может быть, и несправедливых, ибо Кадетский корпус вначале совершенно соответствовал благой цели учреждения его. И так почти все дворянство воспитывалось дома, кроме весьма малого числа богатейших, посылаемых в чужие края. Русских наставников вовсе не было, почему все юношество вверялось иностранным, по большей части французам, бродягам, безнравственным и даже невеждам, но часто умным пришлецам, которые вкрадывались в доверенность родителей <...>. Получив хотя поверхностное образование в науках, я старался потом в молодых годах усовершенствоваться сам собою чрез чтения и занятие»¹¹.

Действительно, многие родители были снисходительно настроены по отношению к «умным пришле-

цам», занимавшимся воспитанием благородного юношества в России. Декабрист С. Г. Волконский, в 1812 году генерал, вспоминал: «Начало моего воспитания было домашнее и, хоть не жалели денежных средств на это, должен сознаться, было весьма неудовлетворительно. Я 14 лет возраста моего поступил в общественное, частного лица, заведение — в институт аббата Николая, заведение, славившееся тогда как лучшее; но по совести должен опять высказать, хоть и уважаю память моего наставника, что преподаваемая нам учебная система была весьма поверхностна и вовсе не энциклопедическая»¹². Упомянутый аббат Николая родился близ города Руана и с ранней молодости посвятил себя делу воспитания. Революционные события во Франции вынудили его покинуть мятежное Отечество, и он в 1793 году прибыл в Петербург. Слух о его необыкновенных способностях быстро распространился в высшем обществе Северной столицы, в 1794 году аббат Николая открыл на Фонтанке частный пансион. Знатные родители наперерыв стремились передать на руки приезжей знаменитости своих сыновей, отчего учебное заведение с годами только процветало, заслужив самые лестные отзывы императрицы Марии Федоровны. Сам же аббат признавался, что *en elevant de jeunes Russes il avait travaille pour la France*^{*}.

В числе воспитанников пансиона был и Михаил Сергеевич Лунин, приятель Волконского и сослуживец по Кавалергардскому полку. В 1826 году лишенный по суду полковничьего чина и дворянства как участник движения декабристов, он высказал впоследствии довольно оригинальную точку зрения на образование: «Нравственность педагога не должна производить на нас впечатления. У меня был такой преподаватель философии — швед Кирульф, который позже был повешен у себя на родине, — конечно, нравственная сторона есть первенствующее качество, но ее можно приобрести в любое время и без знаний, но для умственного развития и приобретения положительного знания существуют только одни годы. Добродетели у нас есть, но у нас не хватает знания...»¹³ Как видим, Лунин никак не связы-

* ... воспитывая русских юношей, он работал для Франции (*фр.*).

вал нравственность с образованием, явно отдавая предпочтение последнему. Вероятно, это и было причиной, по которой он оказался в рядах первого поколения русских революционеров. Подавляющее же большинство офицеров эпохи 1812 года воспитывались иначе: их родители, как свидетельствуют воспоминания, также не соединяли в одно целое нравственность своих детей с уровнем их образования. Но, в отличие от Лунина, главное место в воспитании они отводили нравственности, то есть религиозности, полагая знания делом второстепенным, наживным. К середине XIX века картина начнет меняться, наличие серьезного и систематического образования станет едва ли не основным доказательством способностей военного человека, но для «незабвенной эпохи 1812 года» подобное явление было не характерным, что явствует из дневниковой записи А. И. Михайловского-Данилевского, одного из самых образованных участников Отечественной войны 1812 года: «В России государственный человек должен образовывать себя сам в зрелых летах, ибо, кроме обыкновения, которое в самом лучшем возрасте нашем для учения влечет нас в службу, у нас не достает и заведений, где можно бы было приготовиться к высшим военным или гражданским местам»¹⁴.

Известный историк Наполеоновских войн, закончивший Гёттингенский университет, был, безусловно, прав. В качестве примера приведем рассказ А. Н. Марина о старшем брате, стихами которого на рубеже веков зачитывалась вся гвардейская молодежь: «Обыкновенное домашнее образование того времени, какое получил Сергей Никифорович Марин, не могло быть достаточным для полного развития прекрасных его способностей; но благоприятное стечение обстоятельств или, лучше сказать, сама судьба помогла этому. По воле отца своего был он определен с 1790 года в лейб-гвардии Преображенский полк и поручен покровительству и заботливости капитана того полка Федора Николаевича Соловова. Этому умному и просвещенному человеку Сергей Никифорович Марин обязан окончательным своим образованием. <...> С 1790 года февраля 16 дня, находясь в службе в Преображенском

полку, бывши еще фельдфебелем во 2-й егерской роте, он занимался изучением словесности и чтением французских книг. И в 1798 году написал первые стихи, потом переложил другие и так удачно приноворил их к тогдашнему образу мыслей, что стихи его с необыкновенной быстротою разнеслись по столице, каждый желал иметь их»¹⁵.

Тем же путем добивались образования, синонимом которого в те времена было слово «воспитание», двое из четверых братьев Петровых — Михаил и Николай: «Шеф наш, полковник Липнинский, любил мою прилежность к должности, а притом, желая дать способ поправить сколько-нибудь недостатки моего воспитания, позволил мне употреблять несколько часов в неделю на обучение себя от городских учителей танцеванию и еще кое-каким познаниям, нужным офицеру, особливо при возвышении его в капитанский чин, что мы с братом и находили еще и чрез соучастие в нас незабвенного благодетеля нашего, бездетного Томина, в домах: знаменитого семьянина Исаака Абрамовича Ганнибала, имевшего библиотеку отборных классических книг, из которых творения Лоррена, Бюффона и Боннета привлекали особенно наше внимание, доньше благотворное душе моей; статских советников Алексея Степановича Валуева и Павла Ивановича Тиньковского, благоприятствовавших нашему, вполне, нравочению у них, образцовых нравами бояр»¹⁶. Как разительно могут не совпадать взгляды на одного и того же человека! Петров назвал двоюродного деда А. С. Пушкина — И. А. Ганнибала — «знаменитым семьянином» и «образцовым нравом боярином», поэт же впоследствии писал о разгульном поведении и буйном характере своего родственника. Роль наставников для своих подчиненных во всех отношениях подчас выполняли их начальники. Так, Петров с нескрываемой теплотой упоминает о шефе Елецкого мушкетерского полка генерал-майоре Александре Яковлевиче Сукине 2-м: «Он знал совершенно языки, кроме отечественного — немецкий и французский, математику, артиллерию, историю войн и иных событий мира нравственного и материального»¹⁷. На примере братьев Петровых можно убедиться

в том, что в офицерской среде было немало тех, кто, в силу природной любознательности, всячески стремился приумножить знания, полученные «домашним» путем: «Во время пребывания Елецкого полка в Нарве я и брат мой каждую осень после маневр и смотров езжали на несколько дней из Гатчины в Петербург. Великолепие Северной столицы нашего царства и изящности, произведения художественные, виденные нами в Академиях, Кунсткамере и Эрмитаже, сильно поощрили нас к познаниям подробностей их; но этому доброму стремлению нашему было препною строгое занятие всех службою полевой и гарнизонною близ лица императорского»¹⁸.

Прославленный русский военачальник князь П. И. Багратион не стеснялся признаваться в том, о чем многие по возможности умалчивали: «Я худо воспитан». На страницах записок А. П. Ермолова, запечатлевших психологический портрет генерала, сказано: «Багратион пренебрег своею молодостию и счастливыми своими способностями, не учился...» Главной причиной подобного «пренебрежения», по словам того же автора, являлся все тот же «недостаток состояния». Неудивительно, что, пребывая на виду «в сиянье славы, блеске почестей», полководец старался скрыть недостатки своего воспитания, хотя «военные заботы» оставляли ему мало досуга для самообразования «в зрелых летах». Свои усилия любимец русской армии первым делом направил на изучение французского языка, без которого жизнь в высшем свете представлялась ему весьма затруднительной. Путь князя к знаниям был прост, но эффективен: он овладевал иностранной речью «со слуха». Так, Ф. Я. Миркович рассказывал: «Все почти начальники этих войск ежедневно собирались по вечерам в доме моих родителей. В числе этих постоянных посетителей был и князь Петр Иванович Багратион, бывший тогда шефом имени своего егерского полка. Узнав, что матушка приискивала нам в дядьки иностранца, князь рекомендовал ей эмигранта Бальзо, которого он нашел в Варшаве скитающимся без места и пригласил к себе для разговорной практики на французском языке. По рекомендации князя Бальзо поступил к нам в 1796 году,

по условию, за 40 червонцев в год. <...> Он был дворянского происхождения и в 1789 году находился в числе лиц, провожавших Людовика XVI, когда он покусился бежать из Парижа за границу. Король был узнан и арестован в Варенне...»¹⁹ Эмигрант Бальзо был не единственным «собеседником» князя: в 1812 году при нем стоял другой француз — Мельхиор Моатье (в России его называли Мутью) — «прекрасный, седовласый, высокого роста старик, настоящий представитель доблестного французского дворянства прежних времен». Судьбы обоих скитальцев, с помощью которых князь Багратион совершенствовал свои познания во французском языке, оказались поразительно схожими, если мы сопоставим вышеприведенный рассказ Ф. Я Мирковича с повествованием А. П. Бутенева: «Он (Моатье. — Л. И.) служил некогда одним из телохранителей несчастного Людовика XVI и находился при нем в Версале в злополучные октябрьские дни 1789 года. Со своими сослуживцами он защищал покои Марии-Антуанетты против разъяренной парижской черни, ворвавшейся во дворец... Вместе с другим лейб-гвардейцем сидел он на козлах кареты, в которой король с супругою и детьми были везены пленниками в Тюильри, посреди пьяной и яростной толпы, осыпавшей их проклятьями, угрозами и всякого рода оскорблениями. <...> И он же сопровождал королевское семейство во время злополучного бегства в Варенн. Мутье в другой раз, каким-то чудом, спасся от смерти в роковой день 10 августа, когда остальные лейб-гвардейцы и швейцарская гвардия пали жертвами приверженности своей к несчастному государю. <...> Подобно многим своим соотечественникам-эмигрантам, Мутье был отлично принят в Петербурге и получал от Двора пенсию. Он привязался к князю Багратиону...»²⁰ Как видим, военачальник был очень притязателен в выборе наставников, предпочитая французских аристократов, принесших ему, вероятно, немалую пользу в навыках «светского общежития», которые генерал демонстрировал не только в России. Записки В. И. Левенштерна свидетельствуют о том, что князь Багратион, исправляя изъяны «худого воспитания», неуклонно добивался успеха не только на полях сраже-

ний: «Проездом через Регенсбург я был приглашен на обед к княгине *de la Tour Taxis*, я был свидетелем того, как она любезничала с тогдашним героем, князем Багратионом, и присутствовал при уроках французского языка, которые ему давал генерал Хитров. <...> Окончательно поправившись, я поехал в Прагу, где намеревался провести Масленицу. В это время в Праге блистали графини Клам, Шлик и Колловрат; за ними ухаживала наша молодежь: Милорадович, Хитров, Шепелев, князь Багратион и иные; балы следовали за балами»²¹.

Впрочем, не следует чрезмерно доверяться «самокритике» военных: в ту пору было не принято обнаруживать особые познания. Так, М. А. Милорадович поведал французской писательнице Ж. де Сталь, что Суворов скрывал свою образованность, «стремясь выглядеть вдохновенным». К. Н. Батюшков сообщал о своем боевом товарище: «...Он питал в груди своей честолюбие благородной души, желание быть отличным офицером и полезным членом сословия храбрых, но часто, по излишней скромности своей, таил свои занятия и хотел казаться рассеянным. Но нам известно, что посреди рассеяния, мирных трудов военного ремесла и балов он любил уделять несколько часов науке...»²² Кстати, сам генерал Милорадович прошел курс гуманитарных наук в Кенигсбергском университете, изучал артиллерию и фортификацию в Страсбурге и Меце, отлично играл на клавикордах, что не мешало ему слыть человеком невежественным, лишенным всякого образования. Не исключено, что, повинувшись моде, «наш Роланд и наш Боярд» (В. А. Жуковский) старался выглядеть и «вдохновенным» и «рассеянным» одновременно. Вероятно, по этой же причине князь Багратион не стремился порадовать окружающих знанием «азиатических» языков — персидского, турецкого и грузинского, которыми владел его отец, проживший большую часть жизни в Персии и не говоривший по-русски. Лишь из раннего послужного списка Багратиона явствует, что в юности, в чине сержанта, по повелению светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического, он находился «с посланником аги Магомет-хана Персидского»²³. Более того, 20 мая 1807 года военачальник отправил с театра боевых действий

любопытное письмо вдовствующей императрице Марии Федоровне. Вот что сообщает о содержании этого письма биограф полководца: «Оно показывает Багратиона с неожиданной стороны. Он пишет... о своих рисунках. Багратион сообщает императрице о том, что он уже высылал рисунки Екатерине Павловне (сестре Александра I. — Л. И.) и вот теперь высылает свой новый рисунок самой Марии Федоровне. Петр Иванович даже выразил в письме надежду, “что труд слабого искусства” его “перейдет в позднейшее потомство”»²⁴. Далее автор делает основательное предположение: «Надо полагать, что рисовал он неплохо, иначе вряд ли он рискнул бы послать свои рисунки Марии Федоровне, которая слыла строгой ценительницей искусства».

Показательно, что за «знания в зрелых годах» некоторые русские офицеры в полном смысле слова сражались. Так, граф Василий Васильевич Орлов-Денисов, «покрывшийся славою в войнах 1808, 1812, 1813 и 1814 годов, — человек весьма замечательный не одними военными подвигами и храбростью, он был искренним любителем просвещения и литературы. Прежде на Дону чуждались школьного образования, и граф В. В. Орлов-Денисов, сын войскового атамана Орлова и внук знаменитого Федора Петровича Денисова, возведенного императором Павлом за заслуги в графское достоинство, вступив на службу на двенадцатом году от рождения, не знал ничего, кроме русской грамоты. Будучи уже войсковым старшиною и находясь в Петербурге, граф Василий Васильевич, получая скудное содержание от богатых своих родителей, начал учиться в частном пансионе (на Кировочной улице, близ Аннинской лютеранской церкви). Вместе с другими воспитанниками прошел весь курс школьный и изучил языки французский и немецкий. Пример единственный благородной страсти к образованию! Державин любил графа В. В. Орлова-Денисова и, узнав, что он не в состоянии платить учителям на дому, присоветовал ему вступить в пансион, сказав, что *учиться никогда и нигде не стыдно*»²⁵.

Безусловно, обстоятельства менялись. С воцарением Александра I возникла мода на образование, поставив-

шая в затруднительное положение тех офицеров, кого на 1812 год можно причислить к «среднему возрасту» — от 25 до 45 лет. Их «лучший возраст» пришелся на те времена, когда, выучившись читать и писать, получить так называемое среднее образование было решительно негде потому, что только в 1803 году император утвердил «Предварительные правила народного просвещения», по которым гимназии или губернские училища открывались в каждом губернском городе. Но согласно данным «Статистического изображения городов и посадов Российской империи», даже в конце царствования Александра I в 1825 году «из 533 штатных городов, 102 заштатных и 51 местечек и посадов не имели ни одного учебного заведения 131 штатный город, 81 заштатный и 47 посадов и местечек»²⁶. Тем же, кому было на 1812 год от 15 до 25 лет, приобретать знания стало легче. Например, Дмитрий Васильевич Душенкевич, происходивший из семьи дворян Херсонской губернии, как раз достигший ко времени вторжения Наполеона в Россию своего пятнадцатилетия, получил знания в соответствии как со старыми, так и с новыми веяниями в системе образования: «Я родился 1797 года, до 1807-го меня растили и учили по обычаям края и тогдашнего времени, то есть, когда сделался я в состоянии оказывать шалости и непослушание, меня стали посылать к нашему сельскому дьячку, где обучался церковному чтению и приноравливался подтягивать клиросному гласу. Потом к учителю деревенскому в дом соседа отдан; откуда в уездный город к учителю детей генеральского шефа и казначею Елисаветградского полка поручику Сугакову; потом в дом генерала Орлова в селе Матасове; с его детьми малое время учился, потом в пансион и Елисаветградское уездное училище <...>»²⁷.

Тем, кто был немногим старше Д. В. Душенкевича, выйти за пределы начального образования оказалось несравненно труднее. При отсутствии учебных заведений соответственно не существовало и строгой системы «среднего образования». Неудивительно, что знания по отдельным предметам многие офицеры 12-го года также получили на дому. В этом случае вопрос о том, что надлежит знать офицеру, решался родителями

индивидуально, в соответствии с их вкусами и понятиями. Вернемся к запискам С. А. Тучкова: «...как у него было несколько учителей: лютеранский пастор, который обучал его немецкому языку, затем в Санкт-Петербурге отец нанял своему сыну учителя-датчанина, со свидетельством Академии наук, который преподавал без методы, как он находил лучше: мучил выписками из Священного Писания и речами своего сочинения, которые заставлял выучивать на память, а <...> тот, кто преподавал мне русский язык, ни малейшего понятия не имел ни о грамматике, ни о правописании, а старался бегло научить меня только читать и чисто ставить буквы...» Далее Сергей Тучков вспоминает, что отец его имел в доме своем большую чертежную мастерскую, в которой занимались составлением и отделкою планов разных инженерных работ многие офицеры и унтер-офицеры. Он склонял некоторых из них обучать Сергея и его братьев арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии и рисованию. С. А. Тучков следующим образом описывает воззрения своего отца на то, какие науки нужны будущему офицеру: «Физику и химию, наипаче механику, хотя почитал он нужными, но не имел случая преподавать нам сии науки. Словесность, а наипаче стихотворство почитал он совершенно пустым делом, равно как музыку... Отец мой не хотел также, чтобы кто из нас учился латинскому языку, и говорил, что он нужен только для попов и лекарей. О греческом мало кто имел тогда в России понятие, да и теперь немногие. Теология и философия казались ему совсем неприличными науками для военного человека»²⁸.

«Приличным наукам» будущие офицеры могли обучиться в первую очередь в кадетских корпусах, куда поступали обыкновенно в возрасте семи-восьми лет. Однако многодетные родители отправляли своих детей «в люди» в возрасте пяти лет. Их принимали в отделение для малолеток, вверяя попечению воспитательниц. В конце XVIII столетия в России существовали: Сухопутный шляхетный (1-й кадетский), Артиллерийский и Инженерный (2-й кадетский) корпуса, Морской кадетский корпус, а также Шкловский графа Зорича (впоследствии Смоленский, затем Гродненский)

кадетский корпус. Кроме того, существовал еще и Императорский Военно-сиротский дом, а с 1793 года фортификацию и артиллерию стали преподавать в Казанской гимназии. В 1802 году был образован Пажеский Его Императорского Величества корпус, готовивший офицеров в Свиту Его Императорского Величества и в гвардию.

Казалось бы, наилучшим образом можно было подготовить себя к военной карьере в кадетских корпусах, находившихся в Санкт-Петербурге. Однако и там система образования во многом определялась пристрастиями руководства корпуса. Например, выпускники 1-го кадетского корпуса в пору, когда директором там был граф Ф. Е. Ангальт (в 1812 году им примерно от 35 до 40 лет), явно отличались даром красноречия и великолепным знанием античности. Ф. В. Булгарин вспоминал: «Главное правило графа Ангальта состояло в том, что первый признак хорошего воспитания есть умение объяснять мысли свои словом и пером; что воин и гражданский чиновник должны непременно писать правильно на родном языке, и даже выражаться щегольски, и знать притом основательно хотя один из иностранных языков, особенно французский <...>. Это же самое повторяли нам офицеры и некоторые учителя, особенно Железников и Лантинг.

«Какая польза в учености, в познаниях, если человек не может употребить их в дело, не умея объяснить или передать того, что у него в голове! — говорил Лантинг. — <...> Чем живут Рим и Греция? Писателями! — Кагул, Римник важнее Фермопил и Марафонской битвы, и переход Суворова через Альпы затмевает славу Аннибала; но подвиги древности кажутся выше, потому что изображены красноречиво. Безбородко, бедный армейский офицер, стал известен Государыне по реляциям, которые он сочинял, и Безбородко стал графом и канцлером! Не каждому дан авторский талант, не каждого природа создала поэтом; но каждый может и должен уметь излагать мысли свои правильно, ясно, даже красноречиво <...>». Так говорил Лантинг и упражнял нас в грамматических и эстетических разборах русских писателей и в сочинениях на заданные темы»²⁹. Так, сам

Ф. В. Булгарин блестяще справился с сочинением на произвольно заданную тему стиха из псалма Давида «На реках Вавилонских тамо сидехом и плакахом».

Стоит ли удивляться тому обстоятельству, что, когда на смену графу Ф. Е. Ангальту в 1795 году в корпус прибыл М. И. Кутузов, он обнаружил следующее: «...кадет учили всему: астрономии, архитектуре, рисованию, танцам, красноречию, бухгалтерскому делу (!), однако они не умели стрелять в цель, не были обучены штыковому бою и совершению маршей, имели смутное представление о боевых порядках...» «Это был светский университет, — писал В. Ключевский, — где преподают все, кроме того, что нужно офицеру»³⁰. Поистине «уморительно» было смотреть на то, как будущие воины выполняли ружейные приемы. «По команде “Вынь патрон!” кадеты звонко ударяли ладонью правой руки по большой наполненной соломой патронной сумке, изображая при этом, что они будто бы вынимали из нее патрон. Затем при очередной команде “Скуси патрон!”, забавно жестикулируя, подносили несуществующий патрон к зубам, обозначая этим скусывание»³¹.

В то же время именно кадетские корпуса в наибольшей степени способствовали развитию духа дружбы и корпоративного единения, заменяли семью и дом своим воспитанникам, нередко встречавшим в лице наставников гораздо большее, нежели просто людей, добросовестно выполнявших служебные обязанности. Можно усомниться в правильности педагогических воззрений графа Ангальта, но не в искренности и доброте по отношению к «птенцам, изъятым из отеческого гнезда». Трепетная память о нем навсегда сохранилась в их сердцах, а строки воспоминаний свидетельствуют о безмерной любви и привязанности: «В корпусе началась новая жизнь. С графом Ангальтом вступил в него и начальник, и отец, и наставник. Он один желал бы заменить всех, если бы можно было; но зато все шли по следам его нежной заботливости о кадетах <...>. Сердце графа Ангальта всегда жило в стенах корпуса, хотя граф Ангальт жил за Невою <...>. Но, несмотря на свист бури ноябрьской и напор льда от Ладоги, он спешил в корпус. Дневальный у Невы говорил: “Нельзя”. Граф пока-

зывает свою генерал-адъютантскую трость и возражает: “Можно”. Настилают доски, и он первый переходит по зыблущейся поверхности льда. Вот он уже в корпусной зале кадетской; вот он и в торопливом кружке кадет, и говорит: “Дети мои, любезные дети! Товарищи, любезные товарищи! Еду к вам, выхожу из кареты, спускаюсь на Неву; меня останавливают, говорят: ‘Темно!’ Приказываю принести фонарь: говорят: ‘Лед чуть стал!’ Приказываю настилать доски, и я у вас, я с вами. Ветер воет, знобит мороз, но мне не холодно. Любовь все согревает, труд побеждается трудом. Для вас мне все легко. В мире вещественном нет света без тени; в мире нравственном наши обязанности — наше солнце; при блеске его лучей мы идем с душой, чуждой гордости; а если бы и встретилась тень, то скромность ее отдалит. Одушевливайтесь величием сих нравственных обязанностей, знайте их, понимайте; выражайте их делами, сердцем, умом”»³². В саду при корпусе существовала «говорящая стена», на которую заносились поучительные изречения знаменитых людей прошлого, русские пословицы и поговорки, которые очень любил граф Ангальт. Он оставил на «говорящей стене» собственноручную надпись, в которой отразилась душа этого не слишком озабоченного преподаванием воинских наук, но твердого в нравственных правилах человека: «Солнце светит не для себя, но для вселенной. Все дружбою, все для дружбы и везде дружбою. Заниматься наукою и не любить человечества все то же, что зажечь свечу и зажмуриться. Безумец на высокой чреде подобен человеку, стоящему на вершине высокой горы. Все кажутся ему оттуда карликами, а он сам карлик. Чваниться породой предков значит дорываться плодов в корнях, забыв, что они растут на ветвях цветущих, а не во мраке подземельном. Зажигательное стекло воспламеняется огнем небесным; добродетель и просвещение — светильники жизни. Убедитесь, дети мои, в этой мысли. Добрая воля — душа труда. Не расточайте времени, оно ткань жизни»³³. Кадеты называли графа Ангальта «живой библиотекой». Безусловно, он обладал энциклопедической образованностью и старался передать страсть к знаниям своим питомцам: «Огонь гаснет, если под него что-

нибудь не подложат; гаснет душа, если мысль дремлет в праздности. От праздности до порока один шаг. Вы в корпусе учитесь, а выйдя из него, доучивайтесь». При этом он полагал, что детей не следует через силу перегружать науками, чтобы не отпугнуть от них навсегда. Воспитание «называл он нежной матерью, которая, отдаляя тернии, ведет питомца своего по цветам».

В этом, вероятно, крылась большая опасность, признаваемая даже преданными почитателями графа Ангальта. Так, С. Н. Глинка признавал: «Были также и такие кадеты, которые, выйдя из корпуса с полным курсом *классического* (выделено мной. — Л. И.) учения и став наряду с обыкновенными офицерами, упали под бременем учебным и, хватаясь в унынии духа за Бахусову чашу, исчезали прежде времени и для службы, и для света. Были и такие, которые, напившись свободой Рима и Афин, оставляли службу, сами не зная, для чего. Но если кому удавалось переломить себя и свыкнуться со шпагой, тот, исполнив обязанности мира существенного, переходил с новой бодростью духа в мир римский и греческий»³⁴. В числе выпускников графа Ангальта был генерал-майор Яков Петрович Кульнев, первый военачальник, погибший в Отечественной войне 1812 года, о котором писали, что он «шел по следам Фабриция и Эпаминонда. Подобно фивскому Эпаминонду, любил он мать свою и делился с нею жалованьем и, подобно Филопемуну, был прост в одежде и в быту общественном. <...> Кульнев дорожил своей бедностью и называл ее “величием древнего Рима”. Когда сослуживцы его напрашивались к нему на обед, он говорил: “Щи и каша есть, а ложки привозите свои”. Плутарх был с ним неразлучен: с его “Жизнями великих людей” отдыхал он на скромном плаще своем и с ними ездил в почтовой повозке, и у них перенял то чувство, которое находило величие в нуждах жизни и бедности. В чудесную войну 1812 года на берегах Двины взят был в плен раненый генерал Сен-Женье; Кульнев собственными руками и собственным бельем перевязывал ему раны. Услышав о его смерти, Сен-Женье сказал: “В полках русских не стало героя и человека”»³⁵.

Граф Ангальт управлял корпусом на протяжении се-

ми лет и скончался в 1795 году. Он не желал расставаться со своими воспитанниками и после смерти, поэтому при жизни его в саду кадетского корпуса была установлена мраморная плита «с надписью, кто под ней лежит». Перед смертью он полушутя-полусерьезно сказал своим «любезным детям»: «Кадеты попросят своих кроликов подрыться под мой надгробный камень; а старшие сержанты положат меня под него, и дело будет в шляпе!» (Судя по всему, в кадетском корпусе существовал и «живой уголок».)

Екатерина II была явно недовольна состоянием дел в кадетском корпусе. Разностороннему образованию выпускников корпуса не доставало главного: подготовки к несению воинской службы, то есть именно того, ради чего и создавались кадетские корпуса. Активная внешняя политика России к концу XVIII века представляла офицерам русской армии неограниченные возможности для приложения своих сил: конец екатерининского царствования ознаменовался войнами с Турцией (1787—1791), Швецией (1788—1790), боевыми действиями в Польше (1794). Наконец, вся монархическая Европа «встала под ружье», сражаясь с революционной Францией, и Российская Императорская армия в любую минуту могла выступить в поход. Мир становился иным, и войны становились иными, и к ним необходимо было готовиться...

В 1-й кадетский корпус прибыл новый директор — генерал-поручик Михаил Илларионович Кутузов, «герой Измаильский», участник почти всех войн, которые Россия вела при Екатерине. Немаловажным было и то обстоятельство, что Кутузов в свое время сам с отличием закончил Артиллерийский и Инженерный корпус (2-й кадетский) и даже преподавал там в юные годы. От императрицы он получил распоряжение произвести ускоренный выпуск офицеров в армию (в результате вместо положенных трех лет кадеты старшего или «среднего» возраста проучились два года). Встреча бывших питомцев Ангальга с будущим великим полководцем была нерадостной: «Войдя в нашу залу, Кутузов остановился там, где была высокая статуя Марса <...>. Если бы какая-нибудь волшебная сила вскрыла тогда звезду

будущего, то тут представилась бы живая летопись всех военных событий 1812 года. Но тогда в нашей великой России никто об этом не думал; все в ней пирило и ликовало, только мы были в унынии. Кутузов молча стоял перед Марсом, и я через ряды моих товарищей подошел к нему и сказал: «Ваше высокопревосходительство! В лице графа Ангальта мы лишились нежного отца, но мы надеемся, что и вы с отеческим чувством примете нас к своему сердцу»<...>. Кутузов, окинув нас грозным взглядом, возразил:

— Граф Ангальт обходился с вами, как с детьми, а я буду обходиться с вами, как с солдатами»³⁶.

Можно было себе представить чувства многих кадет, услышавших эти слова! Он отнюдь не показался им добрым «дедушкой», как девочке Малаше из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Однако все было далеко не так печально. Сдержанно и даже враждебно относились к новому директору кадеты «старшего возраста», полностью «сформировавшиеся» при графе Ангальте; младшие же воспитанники не имели подобного предубеждения. Так, И. С. Жиркевич (мать которого была уверена в том, что ее сыну на роду написано стать губернатором), поступивший в «малолетнее» отделение, вспоминал Кутузова с явной теплотой: «Вид грозный, но не пугающий юности, а более привлекательный. С кадетами обходился ласково и такого же обхождения требовал и от офицеров. Часто являлся между нами во время наших игр, и в свободные наши часы от занятий, и тогда мы все окружали его толпой и добивались какой-нибудь его ласки, на которые он не был скуп»³⁷.

Программа же обучения будущих офицеров переменилась: на выпускном экзамене по русской словесности им было задано сочинить письмо, «будто бы препровожденное к отцу раненым сыном с поля сражения». С. Н. Глинка, будущий «первый ратник Московского ополчения» в 1812 году, издатель патристического журнала «Сын Отечества», вспоминал, что во время этого экзамена Кутузов безошибочно определил его истинное призвание: «Два первые сочинения Кутузов слушал без особого внимания. Дошла очередь до меня. Я читал с жаром и громко, Кутузов вслушивал-

ся в мое чтение. Лицо его постепенно изменялось, и на щеках вспыхнул яркий румянец при следующих словах: “Я ранен, но кровь моя лилась за Отечество, и рана увенчала меня лаврами! Когда же сын ваш приедет к вам, когда вы примете его в свои объятия, тогда радостное биение сердца вашего скажет: “Твой сын не изменил ожиданиям отца своего!” ” У Кутузова блеснули на глазах слезы, он обнял меня и произнес роковой и бедоносный приговор: “Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писателем!”» Эта сцена ярко характеризует и Кутузова, и Сергея Глинку, и время, в которое они жили. Заметим, что среди русских офицеров эпохи 1812 года были и поэты, и писатели (например, брат того же Сергея Глинки — Федор), однако военачальник очень тонко уловил за строками сочинения нечто, что помещает экзаменуемому им юноше нести военную службу. Так же безошибочно он «угадал» среди множества кадетов тех, у кого было особое призвание к военному ремеслу. Так, Карлу Федоровичу Толю (в 1812 году — полковник, генерал-квартирмейстер Главного штаба при Кутузове) Михаил Илларионович решительно сказал: «Послушай, брат, чины не уйдут, науки не пропадут. Останься и поучись еще». Толь остался, и Кутузов ознакомил его со своими военными правилами и познаниями»³⁸. Заметим, что в 1812 году К. Ф. Толя считали самым образованным офицером в русской армии, в 1815 году французские историки называли его «первым русским тактиком». Среди выпускников Кутузова 1796 года был и Федор Федорович Монахтин, в Отечественной войне 1812 года — начальник артиллерии 6-го пехотного корпуса, смертельно раненный при Бородине. Кстати, С. Н. Глинка позже недоумевал по поводу своих товарищей по корпусу: «Скажу только, что ни Монахтин, ни Толь <...> не занимали ни в одном из корпусных классов первых мест». Думается, в этом и проявились недостатки системы образования графа Ангальта.

После экзаменов шестеро кадетов были выпущены из корпуса капитанами, остальные — поручиками. Кутузов приказал корпусным офицерам выяснить, кто из кадетов «не в состоянии обмундироваться», но сделать это тайно. «Наши юноши пресамолюбивые, они явно

ничего от меня не возьмут», — сказал генерал. Мерки с мундиров кадетов, чьи родственники не могли предоставить средств, были сняты ночью, а через три дня обмундирование уже пошили и вручили им, «будто бы от имени их отцов и родных». В час расставания, как и в час первой встречи, Кутузов снова стоял в кругу кадетов. Он сказал им: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны; но лучшую наградою почитаю то, когда обо мне говорят: он настоящий русский солдат»³⁹.

Принимая во внимание особенности педагогической системы в 1-м кадетском корпусе, уделявшей особое внимание искусству красноречия, не следует удивляться тому обстоятельству, что именно среди выпускников этого учебного заведения впоследствии «образовалось» наибольшее число мемуаристов, способных с чувством и с толком отразить впечатления детской и юношеской поры в своих воспоминаниях, из которых явствует, что в те годы навыки светского общепития занимали в обучении не меньшее место, чем учебные предметы. Многие офицеры эпохи 1812 года пережили в стенах корпуса «три цвета времени»; то есть они начинали обучение при Екатерине II, продолжили его при Павле I и закончили курс наук при Александре I. Каждое царствование придавало кадетским будням свой неповторимый колорит. Так, С. Н. Глинка с умилением рассказывал в записках: «...Екатерина нередко посещала это заведение, а граф Григорий Григорьевич Орлов еще чаще. Обходясь с кадетами, как с детьми своими, они отведывали их пищу и брали с собой кадетский хлеб, говоря, что очень, очень хорош; и это сушая правда. Когда Императрица прекратила посещения свои в корпус, тогда по воскресным дням, зимой, человек по двадцати малолетних кадетов привозили во дворец для различных игр с ее внуками, между прочим в веревочку. На этих играх не видно было Екатерины, царицы полсвета; в лице ее представлялась только нежная мать, веселящаяся весельем детей своих. В тот вечер, когда довелось мне быть на играх, у шестилетнего товарища моего, Фирсова, спустился в игре в веревочки чулок, и

упала подвязка. Императрица посадила его к себе на колени, подвязала чулок и поцеловала Фирсова. Отпуская нас в корпус, Екатерина раздавала нам по фунту конфет и говорила: “Делитесь, дети, делитесь с товарищами своими! Я спрошу у них, когда они ко мне приедут, поделились ли вы с ними”»⁴⁰.

Не менее внимателен и ласков с кадетами был император Павел, требовавший, однако, от кадетов некоторого знания службы. «Восьми лет я был ловкий и исправный кадет, — вспоминал А. Н. Марин, — и меня, малютку, посылали на ординарцы к Государю Павлу Петровичу и нашему шефу — цесаревичу великому князю Константину Павловичу. <...> Когда Государь вышел, я уже выученный подошел к нему и сказал: “К Вашему Императорскому Величеству от первого кадетского корпуса, от Гренадерской роты на ординарцы прислан”. Государь взял меня, гренадера, под мышки, поставил на стол, поцеловал меня и изволил сказать: “Славный гренадер!” и обласкал меня донельзя. Он был в веселом расположении духа. Меня накормили, давали конфект (так в тексте. — *Л. И.*) и отвезли в придворной карете в корпус. Кадеты обступили меня, много было вопросов»⁴¹. Сколь ни грозен был император для своих подданных, какой бы суровой ни казалась при нем военная служба, но кадеты неизменно пользовались его монаршим благоволением, что явствует из случая, приведенного в воспоминаниях Ф. В. Булгарина: «Император Павел Петрович несколько раз посещал корпус, и был чрезвычайно ласков с кадетами, особенно с малолетними, позволяя им многие вольности в своем присутствии. — “Чем ты хочешь быть?” — спросил Государь одного кадета в малолетнем отделении. — “Гусаром!” — отвечал кадет. — “Хорошо, будешь! А ты чем хочешь быть?” — промолвил Государь, обращаясь к другому малолетнему кадету. — “Государем!” — отвечал кадет, смотря смело ему в глаза. — “Не советую, брат”, — сказал Государь, смеясь. — Тяжелое ремесло! Ступай лучше в гусары!” — “Нет, я хочу быть Государем”, — повторил кадет. — “Зачем?” — спросил Государь. — “Чтоб привезти в Петербург папеньку и маменьку”. — “А где же твой папенька?” — “Он служит

майором (не помню в каком) гарнизоне!” — “Это мы и без того сделаем!” — сказал Государь, ласково потрепав по щеке кадета, и велел бывшему с ним генерал-адъютанту записать фамилию и место служения отца кадета. Через месяц отец кадета явился к сыну в корпус <...>»⁴².

С неменьшей теплотой вспоминал о «павловском» периоде в стенах кадетского корпуса и И. С. Жиркевич, в самом нежном возрасте покинувший родительский кров: «Обращаясь к малолетству моему, я не могу без признательности вспомнить первых моих попечителей. Поступил я в отделение малолетних, в камеру к *madame* Савье, а по увольнении ее, к *mademoiselle* Эйлер; как в первой, так и в другой, и особенно в последней, я нашел истинную материнскую заботу и нежность, и, по малому возрасту, пробыл у нее годы более положенных. Два случая этого времени врезались в мою память; первый из них — приезд в корпус Государя Павла Петровича. Мы все были в классах и нас учили, когда приедет Государь, приветствовать его: “Ваше Императорское Величество, припадаем к стопам вашим!”, но этот возглас было приказано делать только тогда, когда Государь будет в зале, а не в классах. Павел I приехал во время классов и, войдя к нам в класс, с самой последней скамейки взял на руки одного кадета (Яниша, теперь, в 1841 году, служащего в артиллерии полковником), взнес его сам на кафедру и, посадив на стол, своими руками снял с него обувь; увидя на ногах совершенную чистоту и опрятность, обратился к главной начальнице с приветом благодарности. Теперь еще не могу забыть минуту бледности и страха, а потом душевного успокоения и слез на лице этой начальницы, г-жи Буксгевден, и, как она, упав на одно колено, целовала руку монарха. По окончании класса, когда Государь прибыл в залу, мы его встретили, как научены были, а он, не расслышав, что мы кричали, спрашивал: “Что такое они кричат?” — и был весьма доволен и с нами разделил полдник наш, скушав две булки, так что двоим не достало оных, а затем приказал всем дать конфект»⁴³. Будущий император Александр I в те годы показался Жиркевичу не в меру насмешливым: «Великий князь Александр Павлович ущипнул меня за щеку и сказал: “Купидон!” А я закричал:

“Больно, Ваше Высочество!” Потом, когда мы прошли в столовую для утреннего завтрака, где обыкновенно я читал на кафедре вслух предстольную молитву, наследник, узнав меня, обратился к Адамовичу и сказал: “Из него славный будет поп!”»⁴⁴

На исходе царствования Павла Петровича в стенах 1-го кадетского корпуса вдруг причудливым образом возродилась память об ушедших годах екатерининского правления: «В феврале 1801 года, за несколько недель до своей кончины, Государь возвысил графа Зубова (Платона Александровича, последнего фаворита Екатерины II. — Л. И.) в звание шефа корпуса, а Ф. И. Клингер, произведенный в генерал-майоры, назначен директором. Мы знали графа Зубова потому только, что видели множество слуг его, одетых богато и распудренных, на галереях, и что он приказывал иногда призывать к себе лучших кадетов и раздавал им плоды, которыми всегда были наполнены его комнаты, потому что верил, будто испарения от свежих плодов сохраняют свежесть лица»⁴⁵.

Жизнь кадетов зависела не столько от внимания высочайших и знаменитых особ, сколько от нрава и педагогических взглядов директора корпуса, которому было вверено воспитание благородного юношества. Даже благоухание плодов, пожалованных графом Зубовым, не защищало от неотвратимости строгого наказания, на которое был так щедр очередной директор кадетского корпуса: «Клингер был высокого роста, имел правильные черты лица и неподвижную физиономию. Ни одна душа в корпусе не видела его улыбки. Он был строг в наказаниях и не прощал никогда. С кадетами он никогда не разговаривал и никогда никого не ласкал. Он только тогда обращался с вопросом к кадетам, когда хотел узнать, наказаны ли они по его требованию. “Вам розги дали?” — спрашивал он обыкновенно. — “Дали”, — отвечал кадет. — “Вам крепко дали?” — “Крепко!” — “Хорошо!” — Этим оканчивалась беседа»⁴⁶. Суровость Ф. И. Клингера, сын которого получил смертельную рану в битве при Бородине, была памятна многим его воспитанникам. О том же сообщал в своих записках И. С. Жиркевич: «...Клингер суровостью вида и непри-

ветливостью характера навлек на себя общую нелюбовь воспитанников и слыл не только строгим, но даже жестоким человеком».

Тем не менее И. С. Жиркевич однажды удостоился милостивого расположения грозного начальника, хотя в этом случае не обошлось без курьеза: «Накануне выпуска нашего, директор корпуса, генерал Клиnger, при собрании всего корпуса, вызвал меня вперед, погладил по голове и сказал: “Вот вам пример, господа: ему не более 12 лет от роду, а завтра он будет гвардии офицером!” На что я отозвался, что я 11 лет уже как в корпусе... Но обстоятельство это показывает, как я был мал ростом и моложав при выпуске»⁴⁷. С изрядной долей самокритики офицер объяснил причину подобного благоволения к себе: «Память я имел всегда скверную, а объем умственный достаточно быстрый, так что, без особенного усилия, слыл умным и хорошим учеником; но при этом, страннее всего было, что я слыл хорошим учеником и по классу черчения и рисования, тогда как рука моя не провела никогда ни один прямой штрих, не нарисовала ни одной правильной головы или даже уха или глаза, — по другим же предметам я шел хорошо и был из первых учеников»⁴⁸. Впрочем, и ему однажды досталось в соответствии с принятой в корпусе системой наказаний: «Я только один раз был наказан розгами полковником Пурпуром за то, что был записан в классе географии учителем Спироком за леность; но и этот раз несправедливо, в чем и сам Спирок впоследствии сознался, оправдываясь лишь тем, что он это сделал, получив выговор от директора, что он ничего не пишет в ленивом списке и что, таким образом, один только жребий, пав на меня, был виною моего наказания». Одним словом, жизнь кадетов была весьма далека от идиллии. В этом особенно убеждает и рассказ С. Н. Глинки, из которого явствует, что пресловутая «дедовщина» существовала даже в привилегированных учебных заведениях среди потомственных дворян: «При графе де-Бальмене было грозное восстание старших кадет против офицеров. В то же время геркулесами-забияками того же старшего возраста избит был и изувечен кадет Михаил Иванович Полетика. Его гнали в корпусе за то, за что

Анаксагор был гоним в Афинах: его называли философом или умозрителем».

Не менее показателен в этом случае пример графа А. А. Аракчеева, который с восторженной надеждой переступил порог 2-го кадетского корпуса (кстати, это учебное заведение с отличием закончил М. И. Кутузов, в числе его выпускников — более 60 процентов офицеров, служивших в 1812 году в артиллерии). Для провинциального и небогатого мальчика-дворянина, страстно мечтавшего стать кадетом, поначалу пребывание в стенах кадетского корпуса оказалось очень непростым. Ему нечем было задобрить ротного каптенармуса, и тот выдал ему, вместо нового красного мундира с черными отворотами, о котором грезил кадет Аракчеев, сильно поношенный мундир, едва прикрывавший колени и локти. Можно себе представить, как потешались одноклассники над нескладной фигурой «переростка»! Спустя десятилетия всесильный вельможа вспоминал, как товарищи-кадеты ненавидели его за нелюдимый характер, как жестоко били его, и он каждую ночь «орошал слезами свою бедную подушку». Мальчик плакал, страдал, а... учился лучше всех! Преподаватели и офицеры-воспитатели стали ценить его не за подарки и подношения, а за исполнительность и успехи в учебе. Причем эти успехи были столь впечатляющие, что уже через семь месяцев Аракчеев был переведен в «верхние классы» и произведен в капралы. Спустя год он был уже сержантом и получил исключительное по тем временам право прогуливаться в Директорском саду. Директор корпуса генерал П. И. Мелиссино, увидев в мундире унтер-офицера того самого заплаканного мальчика из своей прихожей, смог только удивленно воскликнуть: «Как скоро!» Нам остается тоже удивляться, но по другому поводу: каким образом первый ученик кадетского корпуса, впоследствии имевший одну из самых значительных библиотек в России, в обществе которого находили удовольствие М. М. Сперанский и Н. М. Карамзин, ухитрился прослыть необразованным и невежественным человеком!

Заметим, что родители, как правило, не вмешивались в воспитательный процесс, даже если их детям

приходилось очень туго в стенах казенных заведений. Более того, многие вообще были не склонны потакать шалостям своих сыновей: отец прославленного партизана 12-го года А. С. Фигнера в стенах 2-го кадетского корпуса однажды жестоко избил своего сына за незначительный проступок в присутствии самого директора, которому «не удалось отвести вспышку родительского гнева». В результате кадета вынесли из кабинета директора на простыне.

Какие же предметы преподавались в кадетских корпусах? «Обычно это были Закон Божий, русская грамматика, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, иногда химия, естественная история, политическая история, география. В Пажеском корпусе, 1-м и 2-м кадетских корпусах преподавались и специальные дисциплины: статистика, архитектура, механика, гидравлика. Следует особо отметить, что только два последних года, реже три, уделялось внимание обучению военным наукам: артиллерии, топографии, фортификации и тактике, а удельный вес военных дисциплин в общем объеме военных часов этих лет обучения не превышал 25 процентов», — сообщает исследователь. Чем еще были заняты дни пребывания юных дворян, предназначенных к несению военной службы? А. Н. Марин вспоминал: «Зимой нам позволяли кататься на коньках перед корпусом в саду; но в одно утро отобрали у всех коньки и уже не позволяли этого рода гимнастики, летом же обучали в разных видах, и мы все любили играть в мячи и прыгать через барьер. В большом саду в куртинах нам раздавали грядки, чтобы мы занимались посевом овощей и знали хозяйственную часть; там же, в саду, устроено было земляное укрепление со рвом. Мы сами под управлением фортификационного учителя и офицеров строили это укрепление. В одной из куртин поставлены были качели и кто хотел всегда в свободное от науки время мог заниматься и этой гимнастикой. В саду был большой пруд, над прудом была большая беседка, куда летом по воскресеньям собиралась публика и много дам, там играла корпусная музыка, пели песни и танцевали, в танцах участвовали и кадеты. Нам было очень весело, потому что кадет редко выпускали из кор-

пуса. <...> В корпусе у нас был манеж и верховые лошади»⁴⁹. В начале XIX века политические отношения в Европе все чаще сводились к военному противостоянию, что не могло не повлиять на характер обучения в военных корпусах. «При Императоре Александре Павловиче в полках заведена музыка, и Цесаревич доставил это удовольствие корпусу. В это время кадетов стали обучать стрельбе холостыми зарядами. Прежде знали только ружейные приемы, но не умели заряжать ружье порохом», — свидетельствовал Ф. В. Булгарин⁵⁰.

Заметим, что о каникулах в кадетских корпусах в ту пору не ведали, а родители не могли забрать своих детей из корпуса до окончания срока обучения, да и встречи с ними были явлением не совсем обычным. А. Н. Марин вспоминал: «Когда мой батюшка вышел в отставку, то матушка приехала пожить в Петербург и жила в Коломне. Я часто хаживал к ней по праздникам. Она давала мне иногда несколько медных монет, из которых половину я всегда отдавал бедным и всегда был счастлив, когда мог кому-нибудь помочь, но матушка скоро уехала в Воронеж на житье». Заметим, что автору этих воспоминаний повезло: у него была возможность встречаться со своими родственниками. Например, И. С. Жиркевич, который после 11 лет пребывания в корпусе прошел затем через две военные кампании 1805—1807 годов, сообщал о себе следующее: «...Я приехал в Смоленск, где, так сказать, познакомился с моей матерью, — ибо, будучи отдан в корпус пяти лет, я совершенно не знал и не помнил ее...»

Безусловно, самым привилегированным учебным заведением считался в те годы Пажеский корпус, но его выпускники были подготовлены к придворной жизни гораздо в большей степени, чем к военному поприщу. В этом убеждает свидетельство Ф. Я. Мирковича: «В марте 1805 года брат и я, достаточно подготовленные, были приняты в Пажеский корпус. Мне было 15 лет и 4 месяца, а брату 13 лет и 2 месяца. Он поступил в 4-й класс, а я в 3-й. Пажеский корпус в то время был лучшим учебным заведением в Петербурге. Преподаватели все пользовались особенною репутациею в ученом мире. Так как тогда не было никаких программ, ни пе-

чатных курсов (кроме курсов математики Войцеховского) <...>, то каждый учитель читал нам свой предмет, не стесняясь ничем, и развивал свободно наши умы. Мы сами, со слов учителя, составляли записки, которые им исправлялись. Таким образом каждый преподаватель уяснял нам свой предмет с той точки зрения, как сам его понимал, с полным развитием своих собственных идей, а не по чужому толку обязательных курсов. Слушатели должны были внимательно следить за преподаванием, чтобы понять смысл излагаемого для составления собственных записок. От этого все изучаемое оставалось тверже в памяти»⁵¹. При всем усердии пажей к наукам, постижение азов придворного этикета занимало значительное место в учебной программе: «Большая часть пажей училась отлично, прилежно; они в этом поставляли свое самолюбие. Очень немного было ленивых или тупых, которых между товарищами называли “черненькими”. Правда, что к соревнованию было сильным двигателем то обстоятельство, что камер-пажи и пажи могли выходить офицерами первые в гвардию, а последние в армию, сообразно со своими успехами в науках тремя чинами: поручика, подпоручика и прапорщика. <...> С 1811 года всех стали выпускать из корпуса первым офицерским чином, камер-пажей в гвардию, а пажей в армию.

<...> Для службы при Дворе камер-пажи были разделены следующим образом: на половине государя и царствующей императрицы было четыре камер-пажа, которые дежурили только по большим праздникам, во время выходов и на балах; при вдовствующей императрице Марии Федоровне было восемь камер-пажей, разделенных на четыре очереди, для ежедневных дежурств, по два; наконец, при великих княжнах Марии и Екатерине Павловнах было при каждой по два камер-пажа, дежуривших через день, но только с трех часов пополудни до вечера. Очередные камер-пажи Марии Федоровны, после утренних классов, причесывались, пудрились и одевались в вицмундир. В 12 часов они отправлялись на дежурство во дворец, где возле камердинерской ожидали выезда императрицы, для сопровождения Ее Величества, верхом, возле кареты.

Императрица ежедневно посещала которое-нибудь из заведений, состоявших под ее попечением, тот или иной институт или одну из больниц. <...> Дежурный камер-паж сопровождал ее повсюду, неся ее шаль или меховое боа. Салоп же или шуба отдавались гусарам, которые стояли на запятках кареты. Карета эта была всегда четырехместная, окрашенная под золото и запряженная шестернею, цугом. По возвращении императрицы во дворец камер-пажи переодевались в галунные мундиры и казимировые панталоны, для службы у стола за Ее Величеством. Стол ежедневно накрывался на 24 или 30 кувертов; к оному приглашались по очереди все столичные вельможи»⁵².

Императорская фамилия уделяла внимание всем военным корпусам, но лишь пажи постоянно находились в орбите придворной повседневности: «Императрица выходила из своих покоев в 3 ½ часа, в залу, где все приглашенные уже были собраны <...>, обходила их всех, приветствуя каждого несколькими словами, и в 4 часа следовала с гостями к столу, в сопровождении великих княжон, графини Ливен, нескольких дам и дежурных фрейлин. Обеды эти были для нас высшей степени интересны: присутствовавшие на них лица представляли собою остатки двора Екатерины II и разговоры их были замечательны. Речь шла то о заграничных вояжах, то о политических новостях, или об известиях из внутренних областей России, то об ученых или литературных предметах, а иногда рассказывались и анекдоты. Говорили всегда отличным французским языком. Замечательнейшие из рассказчиков были: герцог Ришелье, граф Александр Сергеевич Строганов, князь Кочубей, граф Николай Петрович Румянцев, Александр Львович Нарышкин, граф Ланжерон. Приезжавшие в столицу генерал-губернаторы, корпусные командиры и знатные иностранцы тоже приглашались к столу. Стоя за стулом Императрицы, мы с жадностию вслушивались во все разговоры, которые знакомили нас с кругом высшего общества и служили нам огромною пользою, для перехода со школьной скамьи в большой свет. Императрица была постоянно весьма благосклонна к своим камер-пажам, и так как многие из них состояли в

этом звании два года (с целью достигнуть после двухлетнего пребывания в классе высшего чина при выпуске), то она почти всех знала по фамилии и при производстве в офицеры сама жаловала карманными часами. Служба камер-пажей при Императрице в мое время была отменна приятна. <...> В 18 и 19 лет такое развлечение имеет свою прелесть: праздники, прогулки, театры, танцы и волокитство кружили нам головы. Но замечательно, что, по миновании дежурной недели (похожей на постоянную Масленицу), мы, возвратившись в корпус, предавались ученью с полным самоотвержением и проводили иногда ночи за книгами и учебными тетрадями. Так было сильно чувство честолюбия. Никто из нас не хотел выходить из корпуса с чином прапорщика. Это соревнование имело для нас огромную пользу, и мы можем сказать без хвастовства, что в эту эпоху, когда на учебные заведения не было обращено особого внимания со стороны правительства, воспитанники Пажеского корпуса выходили с лучшим того времени образованием, а многие из них заняли впоследствии высшие в государстве должности»⁵³.

Таким образом, Пажеский корпус целенаправленно готовил не только офицеров гвардии, но и «государственных людей». Для тех же, кто по окончании этого учебного заведения выбирал для себя карьеру военного, успех по службе был обеспечен. Например, среди выпускников Пажеского корпуса был И. Ф. Паскевич, в 28 лет получивший чин генерал-майора, в 1812 году — начальник 26-й пехотной дивизии, в 47 лет — генерал-фельдмаршал. Однако «на войне — все случайность, а самая большая случайность — жизнь и смерть». В 1796 году из Пажеского корпуса был «выпущен поручиком» в лейб-гвардии Измайловский полк И. Ф. Буксгевден, в 1800 году он был уже полковником, а в 1812 году в битве при селе Бородине «Астраханского гренадерского полка полковник Буксгевден, несмотря на полученные им три тяжкие раны, пошел еще вперед и пал мертв на батарее с многими другими храбрыми офицерами»⁵⁴.

При всем несовершенстве системы обучения в имеющихся учебных заведениях, их было явно недостаточно, чтобы обеспечить армию образованными офице-

рами. «Пропускная способность» кадетских корпусов была очень невелика: в 1812 году 1-й кадетский корпус выпустил в армию 180 офицеров, 2-й кадетский — 184, Военно-сиротский дом — 128. В Пажеском корпусе накануне войны общее число воспитанников составляло всего 66 человек. Неудивительно, что Александр I, отвечая на упреки адмирала П. В. Чичагова в пристрастии к иностранцам, заметил: «Могу ли помочь тому, что образование у нас еще так отстало, и — до тех пор, покуда не сознают нужды, чтоб родители поболее о нем заботились — если бы я не прибегал к содействию известных иностранцев, дарования которых испытаны, число способных людей и без того малое, еще уменьшилось бы значительно. <...> Все это я сказал вам для того только, чтобы доказать, что в данную минуту нельзя взять за правило не употреблять на службу иностранцев»⁵⁵. Но, кроме нехватки учебных заведений (военных и общеобразовательных), в армии накануне Отечественной войны 1812 года не хватало уже и самих офицеров: непрерывные и ожесточенные войны сопровождались значительными потерями в офицерском корпусе. В этой ситуации «обычным порядком» — после кратковременной выслуги в офицеры производились дворяне, определявшиеся в службу в унтер-офицерском чине. Традиционному убеждению, что науки не только не нужны, но даже вредны для настоящего военного, способствовало и массовое производство в обер-офицерские чины за отличия на войне. «Дети Марса» по-прежнему с бою брали повышение по службе.

Однако изменившийся характер боевых действий привел к тому, что сами родители уже не торопились отправлять своих сыновей в армию из опасения, что их дети, в юном возрасте и без малейших навыков в военном деле, сразу же после определения в полк могут оказаться на полях жестоких битв. Наконец, было найдено радикальное для того времени решение: Высочайшим рескриптом от 14 марта 1807 года при 2-м кадетском корпусе был создан Волонтерный корпус, спустя год переименованный в Дворянский полк, в котором малоимущие дворяне за казенный счет могли в ускоренном темпе (в течение двух лет) подготовить себя к военной

службе. Общеобразовательные предметы программой этого учебного заведения не предусматривались: «...грамотой и счетом занимались только не знавшие их вовсе или знавшие очень слабо, да и то при помощи товарищей по полку»⁵⁶. Многие дворяне поспешили воспользоваться этой возможностью заслужить офицерские эполеты. В 1812 году среди офицеров, получивших военное образование, почти половина обучалась в Дворянском полку. Только в предвоенный год это учебное заведение направило в армию 1 139 своих выпускников. Причем юноши, овладевшие дома «первоначальными знаниями», могли посещать занятия во 2-м кадетском корпусе. Об этом вспоминал в своих записках Д. В. Душенкевич: «Благодаря учреждению Дворянского полка, дабы родители имели радость скорее видеть сына офицером, отец повез нас в Петербург и 1808 года старшего брата определил в тот полк, а меня в кадеты 2-го корпуса, где под благодетельным попечением начальствовавших я учился порядочно; в первый год шагнул через два класса, во второй год — один, в третий также, и стал в первом верхнем (офицерском); по фронту казался расторопным, за что нередко был удостоиваем одобрения и ласки блаженной памяти его высочества цесаревича Константина Павловича. <...>. Никогда не допустил себя ни до какого наказания, не будучи чужд шалостям, свойственным летам. Время, проведенное в кадетском корпусе, и теперь для меня вспоминать утешительно; наконец, последними днями 1811 года, с товарищами своими, выдержавшими артиллерийский экзамен, в Зимнем дворце получили от обожаемого императора-благотворителя Александра поздравление подпоручиками вместо Конной артиллерии, куда я себя прочил, нас всех одели на казенный счет в армейские мундиры и поспешно отправили в Москву для формирования там 27-й пехотной дивизии»⁵⁷. Отметим, что в те годы не существовало единых требований к экзаменам на офицерский чин нигде, кроме как в артиллерии, где они были разработаны по инициативе графа А. А. Аракчеева. Образовательный уровень артиллерийских офицеров был довольно высоким: конногвардеец Ф. Я. Миркович неспроста отмечал: «...В общественном

мнении армейские артиллерийские офицеры стояли выше гвардейских пехотных». Вместе с тем артиллерийский офицер П. Х. Граббе рассуждал о своем образовании так: «Прилежно учился я всего года два, последние до выпуска, и занял первые скамьи в высшем классе по всем предметам преподавания. Но от всей этой кадетской учености не с чего было с ума сойти. — Главные мои воспитатели были древние; Плутарх, в особенности, рано попавшийся мне в руки, открыл мне в своих простодушных рассказах новый мир, идеалы значения и величия человека, чудные судьбы его. Между тем я жадно читал все, что попадало мне в руки хорошего, вредного, развратного. Присмотр в этом отношении был слабый. Впрочем, хорошее, кажется, превозмогло. Я оставил корпус, несмотря на нежную мою молодость (мне было пятнадцать лет), с телом здоровым, с пламенной любовью к Отечеству; хотя с неопределенными понятиями о вере, но с чувством потребности в ней, особливо в счастливые минуты. Это противоречит общему поверью. Гораздо позже я научился все относить к небу: и страдания, и радости»⁵⁸.

В обыденном сознании неизменным атрибутом офицера царской армии издавна является французский язык. Насколько реальность соответствовала этому воображаемому образу? Для корректировки наших представлений об эпохе обратимся к «сухой» статистике, приведенной в работе современного историка, исследовавшего данные об образовательном уровне наших героев. Из них 51,2 процента владели только навыками чтения и письма; 22,3 процента получили образование в военных корпусах, из которых половина — выпускники Дворянского полка с ускоренным курсом обучения. Остальные обучались в иных учебных заведениях (включая заграничные) или «на дому», что не исключало основательного знания военных дисциплин: родители, обладавшие значительными средствами, вполне могли нанять для своих детей преподавателей военного искусства. Однако на первом месте среди изучаемых предметов — все-таки французский язык, на котором говорила примерно третья часть русских офицеров! В кадетских корпусах, как правило, обучали сразу двум языкам —

французскому и немецкому (по-немецки говорило примерно 25 процентов), в то время как английским языком владело всего 0,8 процента. Большая часть «полиглотов» была сосредоточена в гвардии и в Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части — 91,4 процента, притом что общий процент офицеров, закончивших «казенные» военно-учебные заведения, среди гвардейцев был сравнительно невысоким: в пехоте — 21,2 процента, а в кавалерии — 10,5 процента, но именно в гвардии было сосредоточено наибольшее число лиц, получивших «тщательное» домашнее образование. Более всего выпускников кадетских корпусов было в артиллерии — 67,6 процента. В числе «популярных» наук следует отметить арифметику (23,2 процента), географию (15,5 процента), историю (12,8 процента); только у 10 процентов офицеров в формулярных списках отмечено знание шести—десяти предметов. Таким образом, наличие военного, а тем более разностороннего образования у «детей Марса» в эпоху 1812 года — не закономерность, а скорее исключение. Для корректности заметим, что в армии Наполеона были примерно те же самые показатели числа выпускников учебных заведений. Что касается общего уровня культуры, то, при вступлении российских войск в Париж, в обществе покоренной столицы признавали приоритет за русскими офицерами. По словам одной светской дамы, французские офицеры наполеоновской армии слишком «отдавали казармой». Пожалуй, в это можно поверить, если вспомнить, что знаменитый французский писатель Стендаль утверждал, что дворцовые приемы при Наполеоне «напоминали вечер на биваке».

К 1812 году времена существенно изменились, армии требовались «ученые воины». После введения экзаменов на чин честолюбивые замыслы многих русских офицеров оказались ограничены чином «вечного майора». Неслучайно в это время в «Военном журнале» было опубликовано «программное» письмо за вымышленной подписью майора Простова, сокрушавшегося о том, что по бедному состоянию своих родителей он не смог получить образования, «соответствовавшего званию дворянина». Автор констатировал печальный

факт, что на сороковом году ему уже трудно было заниматься самообразованием: «Я не могу уже быть генералом: прослужив 26 лет, грустно не иметь в цели возвышенного своего звания»⁵⁹. Перед теми же, кто нашел силы и средства обзавестись знаниями, возникали заманчивые служебные перспективы.

Но для успеха в военном ремесле во все времена решающим было совершенно иное обстоятельство, нередко вступавшее в противоречие с возрастающим требованием к образовательному цензу «человека войны». Серьезнейший военный теоретик эпохи Наполеоновских войн генерал Карл фон Клаузевиц, в 1812 году сражавшийся на стороне России, констатировал в своей фундаментальной работе «О войне» непреложный факт: «...Выдающиеся полководцы никогда не выходили из класса много знающих или ученых офицеров, но из людей, которые жили в обстановке, в большинстве случаев не соответствующей приобретению большого количества познаний». Один из наших героев, выпускник 2-го кадетского корпуса Д. В. Душенкевич, похвально, в духе времени, отозвавшись в воспоминаниях о пользе наук, заметил: «Как бы ни был школьно образован юноша для военного поприща, он всегда является совершенным новичком в поле против неприятеля»⁶⁰. В качестве наглядного подтверждения к этим словам можно привести одну из многочисленных «микроисторий» той эпохи. Так, И. С. Жиркевич, один из лучших выпускников 1-го кадетского корпуса, прошедший через все войны между Россией и Францией, сообщал о своих первых военных впечатлениях: «Я же, с своей стороны, от роду не слыхал пушечного выстрела вблизи, а в бытность мою в корпусе во время парадов и пальбы с крепости затыкал уши, едва не падая от страха: так был пуглив! А теперь пришлось быть в настоящем деле!..» Но удивительное дело! Оказавшись под выстрелами, пятнадцатилетний «малоросток» в битве под Аустерлицем, вместо того чтобы «затыкать уши», бестрепетно встал к артиллерийскому орудью: «Здесь-то в моих ушах раздались первые пушечные выстрелы и на них французские отзвы, и здесь впервые увидел я кровь и смерть, но страха во мне как будто вовсе не бывало!»⁶¹

Глава третья

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

*Мне сердце говорит, я чувствую и верю,
Что нас ведущая рука в сей темноте,
Конечно, не отдаст нещастию в добычу...*

И. М. Благовещенский. Из воспоминаний

Примерно с середины XIX века отечественные историки почти перестали обращать внимание на такую важную особенность мировоззрения русского человека эпохи 1812 года, как «бытовая религиозность», а в советской историографии, да и во всей европейской историографии «индустриального» периода, эта черта и вовсе перестала «прописываться» в психологических портретах героев той поры. И хотя теперь каждый из нас знает, что люди в те времена верили в Бога, однако далеко не каждый человек, с «секуляризированным сознанием» и многие десятилетия проживший в «светском» обществе, может представить, как проявляла себя эта вера в повседневной жизни. Нам, привыкшим везде и во всем рассчитывать главным образом на себя, трудно приблизиться к внутреннему состоянию наших предков, находившихся в твердой уверенности, что все человеческие усилия бесполезны в тех делах, на которые нет Божьего соизволения. Впрочем, о том, что пути Господни неисповедимы, известно было во все времена, но, пожалуй, военные всегда знали об этом чуть больше, чем кто бы то ни был. «На войне — всё случайность, а самая большая случайность — жизнь и смерть», — заметил однажды один из кадровых офицеров русской армии. На эту тему сосредоточенно размышлял после Бородинской битвы юный артиллерийский подпоручик Н. Е. Митаревский: «В одном месте со мной, в Петербурге, куда я первоначально поступил на службу и где нас находилось человек пятьдесят, был юнкер; мать его, вдова небогатого военного чиновника, имела свой домик, получала небольшой пенсион и этим жила, кроме того, что сын ее каждый праздник отлучался к ней, и

сама она часто заезжала его навещать. Все мы знали эту почтенную и ласковую даму. Часто привозила она сыну лакомства, которыми он делился с нами. Независимо от этого все мы его любили за добрый нрав. Учился он хорошо и по экзамену был назначен к производству. Матери хотелось оставить его на службе в Петербурге, о чем она и просила; но ей сказали, что сын ее очень молод, к тому же небольшого роста, это может броситься в глаза начальству и потому может повлести (повлечь. — *Л. И.*) замечание. Особенно боялись тогдашнего строгого военного министра, графа Аракчеева, обращавшего внимание на наше заведение. Таким образом сын ее поступил в действующую бригаду и в Бородинском деле, в ту минуту, когда он наводил орудие, ему сорвало ядром череп. Когда я узнал об этом, то подумал, как часто судьба или предопределение странно, несправедливо распоряжается людьми. У моих родителей, кроме меня, было еще три сына; лишись они меня, им было бы чем утешиться, а тут мать лишается единственного утешения!...»¹ Чем успокаивали себя люди в эпоху почти нескончаемых войн? В чем, несмотря на все сомнения, искали утешения в печалях? Отчего дворянские сыновья, имея возможность выбирать — служить или не служить, все равно шли в военную службу?

Отправляясь на войну, где их поджидали тысячи самых невероятных случайностей, защитники Отечества привычно веряли себя Провидению. Так, поступивший на службу в ополчение прапорщик И. Благовещенский вспоминал о тягостной минуте расставания: «...Слышим команду похода, все перекрестились, и ряды воинов двинулись; и что тогда каждый чувствовал, с какими мыслями боролся о родстве, семействе с малютками оставшимися, оставляя грудь своей Отчизны, но имели твердую надежду благословенную на путь — Бог и вера!

Мне сердце говорит, я чувствую и верю,
Что нас ведущая рука в сей темноте,
Конечно, не отдаст нещастию в добычу,
Хоть и надежда нас обманет иногда;
Но веры никогда не надобно лишаться:
В одно мгновение все может премениться»².

Полковник А. А. Закревский, привыкший к войнам и сражениям в походах 1805—1807 годов, высказал те же самые мысли в письме генералу М. С. Воронцову в более приземленных выражениях, но с неменьшей верой в промыслительные силы: «Видите, что Бог нас еще помнит, и теперь вся надежда на него, а без того пропадем, как собаки»³. Не иначе как «в теплом уповании на помощь Всевышнего» главнокомандующий русскими армиями светлейший князь М. И. Кутузов готовился к Бородинской битве, накануне которой генерал от инфантерии князь П. И. Багратион отправил письмо своему приятелю московскому генерал-губернатору графу Ростопчину. Это письмо от 22 августа 1812 года, дошедшее и до нас из той эпохи, раскрывает перед нами внутренний мир русского офицера в лице военачальника, олицетворявшего в те годы «красу и гордость русской армии»⁴. Обратим внимание на то, сколько раз прославленный полководец упомянул Бога в тексте своего послания: «Дай Бог вам здоровья, будь мой благодетель русский. Ей-богу, Бог всегда с нами, то есть: Бог с тем, кто любит веру, отечество и непоколебим. Прощайте, с нами Бог. Слава в Вышних Богу и на земле мир с честью воспоем. Господи, силою Твоею да возвеселится Царь. Я так крепко уповаю на милость Бога, а ежели Ему угодно, чтобы мы погибли, стало мы грешны и сожалеть уже не должно, а надо повиноваться, ибо власть Его святая»⁵.

Адъютант Наполеона Ф. де Сегюр, вспоминая о том, как вся русская армия во главе с Кутузовым накануне Бородинского сражения отслужила молебен, рассуждал так: «Русских должны были воспламенить различные небесные силы. Французы же искали эти силы в самих себе, уверенные, что истинные силы находятся в человеческом сердце и что именно там скрывается небесная армия!»⁶ Французский генерал объяснял религиозность русских невежеством крепостных рабов. Однако привержены Богу были не только нижние чины российской армии. Так, кавалерийский офицер И. Р. Дрейлинг описывал молебен на Бородинском поле в следующих словах: «Около полудня наша армия стала под ружье для общей молитвы перед иконой Смолен-

ской Божией Матери, которая на всем пути следовала за армией, прикрепленная к пушке, заменяющей аналой. Вся армия стала на колени, и все вместе вознесли свои молитвы к тому, который склоняет победу на ту или другую сторону; а каждый в отдельности сводил свои счеты с небом, покорно склоняясь перед смертью или жизнью грядущего дня»⁷. К той же самой иконе после сражения, в надежде вновь увидеть своего брата целым и невредимым, обратился офицер 1-го егерского полка М. М. Петров: «...Я, увидев образ Смоленской Приснодевы Марии, сошел с боевого коня моего. При образе стояли два гвардейских гренадера на часах от офицерского караула главнокомандующего. Усердно, да, усердно я молился пред ним. Сел на лошадь — и вдруг увидел гренадер, несущих в манерках воду; по шифрам на эпюлетах их видно было, что они Аракчеева полку. Я перекрестился и спросил их: “Гренадеры! Жив ли ваш майор Петров?” — “Жив, ваше высокоблагородие”. — “А полковник Княжнин?” — “Жив и он”. — “Где бивак вашего полка?” — “Вон на том бугорке”. Что есть духу понес меня конь туда, и я увидел любезных мне: брата и Бориса Яковлевича Княжнина. Пожалел о большой потере их полка и, попивши с ними чайку, поскакал гораздо шибче того, как к ним, обратно в арьергард. Карпенков, увидя меня, по лицу моему догадался, что брат мой жив остался от Бородинского побоища, и вскрикнул: “Слава Богу, вы благополучно возвратились”»⁸.

В рассказе М. М. Петрова органично слились в одно целое молитва, гренадеры с манерками, чаепитие, так же как и в сознании русских офицеров в нераздельном единстве сосуществовали мысли о мирском и духовном. Артиллерист Н. Е. Митаревский, описав свои переживания в битве при Бородине, тоже совместил «на равных» два измерения: «Тут приходила мне мысль, что, пожалуй, ни при осаде города Трои, ни на Куликовом поле не было таких страстей. <...> Опершись на палку, стоял я в таком безвыходном положении. Кругом французы, со всех сторон ядра... Вспомнил я о Боге и думаю: “Господи! Неужели мне здесь назначено умереть?” — и, кажется, заплакал. В двадцать лет с небольшим, при здоро-

вье, умирать не хочется. Мгновенно у меня в голове как будто просветлело и явилась решимость: Бог даст, — поплетусь прямо к Горкам, по направлению неприятельских выстрелов. <...> Возблагодарив Бога, я встал и побрел по возвышенности, где мы ночевали. Вся она была изрыта ядрами, кое-где торчали остатки наших бивуаков. В правой стороне от меня шли и строились наша пехота и артиллерия в длинную линию. Снаряды неприятельские опять стали сыпаться по месту, где я шел, по остаткам наших бивуаков, направляясь на наши строившиеся линии. Мысль, что я только что избавился от явной смерти, возродила во мне уверенность, что эти ядра уже не для меня; я о них не думал и ковылял преспокойно к Горкам»⁹.

Было бы ошибкой думать, что, полагаясь во всем на волю Божью, русские офицеры становились пассивными и беспомощными перед опасностью, в том числе перед Великой армией Наполеона. Напротив, вера делала их всесильными. «Не руки, не ноги, не брненное человеческое тело одерживает победу, — говорил А. В. Суворов, — а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, — и если душа воина велика и могуча, не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна, а потому и нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности, — и всегда было неустрашимо и бестрепетно»¹⁰.

Одним из современников, волею судьбы оказавшихся в России на весь период Наполеоновских войн, был сардинский посланник граф Ж. де Местр. Он пристально и без предубеждения вглядывался в обычаи и нравы окружавших его людей и от души сопереживал неудачам и успехам русской армии, в рядах которой в 1812 году служил и доблестно сражался его сын — Р. де Местр. В бурном водовороте исторических событий религиозный философ де Местр усматривал столкновение двух сил. Одна из них была представлена Наполеоном, олицетворявшим «энергию разбойника», распорядившегося в Европе по праву сильного и до поры не встречавшего препятствий своей воле. Однако иност-

ранный дипломат считал, что «фатализм мудрости» заключается совсем в другом: «Человек должен действовать так, как будто способен на все, и смиряться так, как будто не способен ни на что»¹¹. Следует отметить, что именно эта «схема» составляла основу исторического характера офицера эпохи 1812 года. Таким образом, Отечественная война 1812 года, кроме военного противостояния, в глазах современников знаменовала собой еще и противостояние двух мировоззрений.

Вероятно, к большинству наших героев можно отнести слова, высказанные в адрес графа А. А. Аракчева: «...он стоял на позициях неподвижного православия». Действительно, мало кто из русских офицеров возносился до таких высот веры, чтобы вести богословские споры, но они верили сердцем, и это, безусловно, поддерживало их в самые трудные времена. Н. А. Дурова, выбравшись невредимой из очередного сражения, рассуждала так: «Ах, верно молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных, кровавых сцен»¹². Впрочем, русские военные вспоминали о Боге не только на войне. «Бытовое православие» пронизывало все сферы их жизни, постоянно присутствуя в «рассуждениях о человеке». Так, Я. О. Отрощенко навсегда запомнил встреченное им однажды на природе утро как весьма важное событие в своей духовной жизни: «В одно светлое утро, в то время, когда выходящее солнце озарило первыми своими лучами весеннюю нежную зелень, я ходил, углубившись мыслями сам в себя, рассуждая о человеке, о жизни его и для чего предназначен он. Внезапно вырвался из груди моей тихий вздох. Я взглянул на лазурное небо и потом на окружающие меня предметы. В это время мне казалось, что меня окружает какой-то кроткий свет. Капли росы, висевшие на оконечностях трав, в листьях сияли разноцветными огнями, дрожа и изменяя беспрестанно свой блеск. Я остановился и видел жизнь, движущуюся по всей природе. Мне казалось, как наяву, что во всякой травке присутствует живой дух, производящий растительность. Я созерцал благоговеино таинства природы и во всем видел чудные непостижимые дела Божьи. Это было видение единственное в

моей жизни и не долговременное. Я обратился в другую сторону в восхищении, чтобы насытить свой взор, но увы! Очарование исчезло; я видел те же деревья, те же капли росы, блестящие на них, но все это казалось уже в обыкновенном виде»¹³. Автор этих строк сообщил в записках подробности, относившиеся к поре его детства, которые с большим основанием могут быть отнесены к подавляющему большинству русских офицеров с той разницей, что, если Отрощенко на протяжении всей жизни занимался самообразованием, большинство его сослуживцев в армейских полках остались с этим багажом знаний на всю жизнь: «Жития святых отцов, Апостол, пророчества и Евангелие были те книги, из которых я черпал понятия о духовной жизни. Других книг не было у нас в доме...»¹⁴

Возникает искушение, вслед за графом де Сегюром, приписать религиозные убеждения отсутствию общего образования. Однако не менее образованный, чем Сегюр, европеец Ж. де Местр, следивший за ходом кампании 1812 года, убежденно восклицал: «Я полагаю, что никогда еще Господь не говорил людям так громко и внятно: “ЭТО Я!”». Заметим также, что статистические показатели уровня образованности русских и французских офицеров примерно одинаковы. Следовательно, рассуждения о том, кто из них умнее и образованнее, не совсем корректны: русский и французский офицеры эпохи Наполеоновских войн, при равной сумме знаний, отличались своим мировоззрением. Ф. де Сегюр в своем знаменитом сочинении, часть которого под названием «Поход в Россию» не раз издавалась в нашей стране, относился к числу наиболее расположенных к русским мемуаристов. К тому же русский читатель помнил о том, что сочинитель с аристократической фамилией являлся племянником того самого француза, который сопровождал Екатерину II в ее путешествии по Тавриде. Философское восприятие действительности позволяло автору мемуаров взглянуть на события «русского похода» не только глазами офицера Великой армии, чье «сердце было безнадежно ранено французским орлом», но и соотнести последствия этого похода с крахом всей Наполеоновской империи, по-

этому на примере графа де Сегюра разница в мировоззрениях офицеров обеих армий становится особенно заметной. Рассуждая о том, во имя чего шли на смерть французские солдаты, современный историк В. Н. Земцов пишет: «Деизм, рожденный революцией, постоянно смешивал бессмертие души с бессмертием славы. Небо являло собой своего рода невидимый Пантеон, где обитал Бог, но ключи от него — в руках Революции, и она открывает двери тем, чье чело она сама отметила знаком бессмертия. Эти представления не только сохранились, но и усилились благодаря власти и общественным настроениям в годы Империи. Культ героев, павших за Францию и Империю, воплотившийся в торжественных церемониях погребения, в сооружениях памятников и речах, утвердил в умах и сердцах многих солдат образ Елисейских Полей, где непременно встречаются бессмертные души героев»¹⁵. Французский генерал в своем сочинении уподобляет религию «игре ума», полностью отождествив духовную и интеллектуальную жизнь, что характерно для человека с «секуляризированным сознанием», пережившим Великую французскую революцию, консульство, времена Империи. Но из писем, дневников, воспоминаний русских офицеров явствует, что для них чтение книг светского содержания, изучение различных наук, посещение театров, знакомство с музейными достопримечательностями и так далее составляло «невинные удовольствия» и «наслаждения ума»! Все эти занятия превращались в торжество духа только в том случае, если способствовали укреплению веры и выполнению долга перед Отечеством, в противном случае «все способности человека были мертвы». Духовная жизнь предполагала преодоление трудностей и всевозможных искушений ради вечной жизни. Артиллерист Г. П. Мешетич рассуждал об этом так: «Путь веры России тесен, но велик; сыны Севера, живущие в стране железной, но доблестию сильны; рассеянные по обширным степям и пустыням необозримого пространства границ своего государства, но слышат глас, призывающий за их веру и царей; народ, воспитываемый не на прохладе стран теплоюжных, но в северном суровом климате, привязан к ски-

петру своего правления, под оным их беспомощный находит покровительством закон, заслуги в уважении, собственность каждого священна. Так чего пожелала почти вся Европа от такого народа? Свободы? Нет, он за свой железный кусок хлеба положит живот и не имеет зависти на роскошь иноземных народов»¹⁶. В наши дни многие, безусловно, содрогнутся перед перспективой пребывания в «суровом климате» с «железным куском хлеба»: но в данном случае речь идет не столько о материальном положении, сколько о духовном состоянии.

В доказательство того, что религия в России отнюдь не была уделом людей малограмотных, приведем строки из письма М. И. Кутузова к дочери Е. М. Тизенгаузен (впоследствии Хитрово), написанного вскоре после того, как она лишилась своего мужа в битве при Аустерлице. Дочь предавалась отчаянию, и тогда Кутузов, на глазах которого погиб со знаменем в руках его зять, обратился к ней со словами утешения, за которыми угадывается историко-психологический облик военного, принадлежащего к числу самых образованных в России: «Лизанька, решаюсь наконец порядком тебя пожурить: ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькой, где ты ей объявляешь о дальнем путешествии, которое ты намереваешься предпринять и которое мы все предпримем, но желать не смеем, тем более, когда имеем существа, привязывающие нас к жизни. Разве ты не дорожишь своими детьми? И какое бы несчастье постигло меня в старости! Позволь мне, по крайней мере, тебя опередить, чтобы там рассказать о твоей душе и приготовить тебе жилище. Не думаю, чтоб тебе было приятно видеть маленькую Катеньку плачущую, — я никогда не мог видеть своих детей в слезах»¹⁷. О том, что долг перед семьей, как и долг перед Отечеством, для Кутузова, не всегда отличавшегося строгими правилами морали, — высший нравственный закон, свидетельствует другое письмо к дочери, раскрывающее старого воина с неожиданной стороны: «Рассказом про бедную О... вы растерзали мое сердце. Кто из родителей может впасть в такое заблуждение, чтобы проклясть детей своих. Сам Господь Бог, как олицетворенное милосердие, отверг бы столь преступное желание. Не на несчастное

дитя падет проклятие, а на неестественную мать. Природа не назначила родителей быть палачами своих детей, а Бог принимает лишь благословение их, до которого только простирается их право над ними. Родители отвечают воспитанием детей за пороки их. Если дитя совершает преступление, родитель последует за ним как ангел-хранитель, будет его благословлять даже и тогда, когда оно его отвергает, будет проливать слезы у дверей для него запертых, и молиться о благоденствии того, кого он произвел на этот развращенный свет. Вот какая проповедь. Это оттого, Лизанька, что твое письмо меня растрогало»¹⁸. Читая эти строки, невольно ловишь себя на мысли: нет, не случайно в 1812 году при назначении главнокомандующим всеми российскими армиями выбор пал именно на этого человека, не случайно именно он стал спасителем Отечества.

Конечно, можно предположить, что Кутузов в то время был уже достаточно стар, и его мировоззрение не имело ничего общего со взглядами на жизнь более молодых русских офицеров, которых в армии в эпоху 1812 года было большинство. Приведем в качестве примера «преемственности поколений» запись из дневника юного офицера-семеновца А. В. Чичерина, принадлежавшего к высшему петербургскому обществу и получившего отличное европейское образование: «После сдачи Москвы я был очень несчастен. Лишась всего, не имея ни где спрятаться от непогоды, ни чем укрыться, оставшись без всяких запасов, я оказался в положении солдата и даже в гораздо худшем, потому что у меня не было ни начальников, которые бы заботились обо мне, ни необходимых пожитков за спиной.

Родительская заботливость спасла меня. Батюшка помог мне, сколько можно было, — и вот у меня теперь великолепная палатка, теплое одеяло, я хорошо одет. А главное — я имел счастье получить все это из рук любимого отца. Когда батюшка давал мне все сии вещи, я думал о том, чего мне еще не достает, и вспомнил про образок, который носил в своей дорожной суме и собирался хранить так бережно. По совести говоря, он не имел для меня особой цены: я нашел его совершенно случайно. Правда, он охранял, наверное, покой мо-

ей невинности, перед ним возносились молитвы моих соотечественников; но соотечественники эти мне были незнакомы, и я почитал его, лишь поскольку я почитаю всякое изображение божества. В ту минуту, как я сожалел об этой утрате, батюшка достал из своего бумажника этот образок, коим его благословила мать, и подал мне, советуя всегда носить его при себе. В порыве чувства я бросился к ногам обожаемого отца и, поцеловав его руки, почтительно принял из них эту священную эгиду, залог счастья, обеспеченного родительской заботливостью, — и казался себе богаче, чем когда-либо. Вот я и получил возмещение за все утраты и больше не жалею о пропавшем образке, а буду молиться перед батюшкиным — за его благополучие и покой, которые моя привязанность, все возрастающая от его благодеяний, хотела бы сделать беспредельными»¹⁹.

Юный лютеранин прапорщик И. Р. фон Дрейлинг, вставший на ноги после ранения, сразу же отправился в церковь: «Господь помог настолько, что я с помощью кирасира мог передвигаться, я первым делом пошел в церковь поблагодарить Творца за дарованное мне исцеление и причастился Святых Тайн из рук священника моей веры, что меня очень подкрепило»²⁰.

Не будем идеализировать офицерскую среду эпохи 1812 года: в повседневной жизни наши герои зачастую были весьма далеки от преодоления соблазнов и строгого соблюдения христианских заповедей. Среди русских офицеров той героической поры встречалось немало казнокрадов и взяточников, сквернословов и развратников, наконец, бретёров, убивавших своих ближних на дуэлях из-за сущих пустяков, которые, однако, перед лицом Всевышнего каялись, а не искали себе оправданий. Потому что и для грешников, и для праведников в мундирах, при всем многообразии их поступков, нравственный идеал, пусть недостижимый, был один — тот, который прописан в Евангелии. Эту определенность сознания русского человека той эпохи вообще и военного в частности князь П. А. Вяземский выразил так: «Может быть две морали, два частных интереса, но нравственность всегда одна». Русским офицерам на рубеже XVIII—XIX веков, безусловно, бы-

ли свойственны многие недостатки. Нельзя, например, не согласиться с несколько «экстравагантной» характеристикой, которую дал всей российской гвардии на рубеже столетий Ю. М. Лотман в монографии, посвященной дворянскому быту тех времен: «Гвардия аккумуляровала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом»²¹. Императоры Павел I и Александр I приложили немало усилий, чтобы искоренить в гвардии дух барского своеволия, но, обратившись к запискам князя С. Г. Волконского или Ф. В. Булгарина, мы убедимся, что в мирной жизни они не слишком в этом преуспели. А на войне сама профессия приближала «детей Марса» к истинному благочестию, «к последней и вечной истине, какая только есть на свете, божественной истине о человеческом духе, попирающем самую смерть»²². Каждый из них знал и надеялся на то, что тот, кто нашел свою смерть в бою, в другой и лучшей жизни «сопричтется мученикам».

«Мир иной» в их воображении представлял на удивление реальным, населенным «любимыми тенями» друзей и близких. Вот строки из воспоминаний А. Н. Марина о страшном по кровопролитию Бородинском сражении: «Я смотрел на главную батарею, с которой летел губительный огонь; я замечал, как он показывался из медных жерл смерти. В эти роковые минуты невольный трепет пробежал по всему моему составу. Прочитав одну молитву, благословение покойного моего родителя, я сбросил с себя все земное и перенесся в лучший мир, куда переступили уже многие милые моему сердцу. Страх меня покинул, когда я вообразил, что одна минута, один миг, одно мгновение ока может соединить меня на век с теми, у которых в эти минуты гостила душа моя. Сладостные были для души моей эти минуты!..

— Колонна в пол-оборота направо! Беглым шагом марш! — И мечты мои разлетелись, а душа опять заняла тесную свою квартиру»²³.

Перед началом похода 1812 года офицеры 1-го егер-

ского полка обратились за помощью к Суворову, «из горней сени» наблюдавшему за подвигами «своих сынов»: «Суворов, Суворов! Приникни духом твоим к нам из обители небесной и благослови нас, твоих возлюбленных питомцев. Вера, надежда и любовь в сердце воинов Отечества твоего, чрез тебя навеки водворенные, потрясут ад и разженут сонмы презиранных тобою богомерзких нечестивцев. Во славу государя и Отечества нашего и в память бессмертного имени твоего ура-ура!»²⁴

В силу того что военные, по роду своей деятельности, чаще, чем кто бы то ни был, «ходили под Богом», думается, была еще одна важная причина их высокого общественного статуса, определяемого не только красотой мундира и романтическим ореолом военной славы. Никого в эпоху 1812 года так часто и горячо не поминали в общих молитвах, как военных. Так, один из многочисленных адресатов графа А. А. Аракчеева, перед войной отбывшего в армию вместе с государем, сообщал всесильному вельможе новости из Северной столицы: «За мир (с Турцией. — *Л. И.*) еще не благодарили Бога в ожидании решительного известия, а об успехе войны начали уже молиться и молиться умиленно. Обыкновенно при каждом новом действии открываются новые суждения и заключения, но то верно, что нашим военным пространное поле отличиться, а духовным — помолиться. При настоящих военных хлопотах Бог обещает нам хорошую жатву и изобилие плодов земных»²⁵. И, конечно, не о ком так не дрожало материнское сердце, как о сыновьях, ушедших на военную службу, чтобы выполнить «священную обязанность дворянина». Впоследствии М. М. Петров вспоминал: «Здравый рассудок матери нашей постиг вполне эту святую истину, и она, перекрестясь, сказала: “Всевышний Отец и Ты, Матерь Господа! Услышьте меня: пред вами отрекаюся быть матерью Вредных Отечеству сынов, пусть будут они усердными воинами, я молиться буду пред вами о помощи вашей им исполнить долг свой Отечеству”»²⁶.

Было бы не исторично не упомянуть о некоторых духовных парадоксах, которые наблюдались среди офицеров-гвардейцев, вращавшихся в аристократических

кругах. Так, в следственном деле будущего декабриста, а в 1812 году штабс-ротмистра Кавалергардского полка М. С. Лунина, православного вероисповедания, оговаривается: «воспитан в римско-католической вере». Действительно, иезуиты с последней трети XVIII века всемерно старались распространить влияние католицизма, сражаясь за души российских подданных, в особенности молодежи. Многие русские офицеры имели наставников в науках католического исповедания, эмигрировавших из Франции в период революции. Некоторые русские офицеры (православные и лютеране) обучались в пансионе аббата Николя (в их числе, кроме М. С. Лунина, — С. Г. Волконский, А. Ф. и М. Ф. Орловы, А. Х. и К. Х. Бенкендорфы, П. Д. Киселев и др.). Моде на католичество в России, думается, в немалой степени способствовал император Павел I, принявший на себя звание магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимского, возбудив среди русской знати сочувствие к «рыцарям-крестоносцам». В годы революции вера французских аристократов, подвергшаяся жестоким гонениям, ассоциировалась при русском дворе с приверженностью монархическому принципу. Мученическая смерть королевской четы — Людовика XVI и Марии-Антуанетты — способствовала проявлению духа аристократической солидарности.

Впрочем, этому увлечению можно дать и другое объяснение. Подавляющее большинство русских офицеров — и это важная примета эпохи — в качестве своих духовных наставников называли родителей, в то время как священники присутствовали на ранних этапах их жизни в качестве преподавателей грамоты или арифметического счета, что означало, что дворянство в ту пору не доверяло духовное воспитание своих детей местным священнослужителям. Это вполне объяснимо: в начале XIX столетия между ними не было социального равенства. 90 процентов офицеров — потомственные дворяне, в то время как 90 процентов священников — выходцы из других сословий. Только представители высшей духовной иерархии, включая военных, — дворяне. К середине XIX века картина изменилась: выходцы из духовного сословия заняли значительное место

среди военных и в особенности гражданских чиновников. Но в 1812 году, согласно «Учреждению для управления большой действующей армией», главная забота полкового священника, выполнявшего все требы по приказу командира полка, — «духовное окормление» нижних чинов²⁷, за нравственность же господ офицеров «по всей силе данных ему полномочий» отвечал все тот же полковой командир. В то время священник-католик в глазах многих представителей российского дворянства имел то преимущество, что принадлежал к благородному сословию и, как правило, находился на более высокой ступени образованности, так как система образования служителей церкви, как и офицеров русской армии, в ту пору еще только складывалась.

Отметим, что при большинстве православных, немалом числе католиков-эмигрантов в русской армии служило значительное количество офицеров-лютеран (М. Б. Барклай де Толли, К. Ф. Багговут, В. И. Левенштерн, И. Р. Дрейлинг и многие другие). Собратья по оружию, невзирая на разницу вероисповедания, они сражались за торжество веры против безверия. Следует признать, что это значительно укрепляло их силы в самые трудные дни военной кампании 1812 года. Сами за себя говорят воспоминания М. М. Петрова: «Один Бог всемилостивый, тайно и неисповедимо предвещавший душам нашим благодать свою, был невидимым утешителем и подкрепителем скорби, сохранившим полки русские от всеконечного расторжения чрез благодатную покорность солдат офицерам их и в ту язвенную годину преткновений, когда померкал луч всякой надежды в душах наших»²⁸. Действительно, и офицеры, и солдаты русской армии сохраняли мужество в суровых бедствиях в то время, как мужество их неприятеля, носившего «небесную армию в своем сердце», исчезало, по мере того как угасала счастливая звезда Наполеона. Торжество России в Отечественной войне 1812 года, вступление русской армии во главе союзников в Париж в глазах современников имели значение не только военной, но и нравственной победы над всеми колеблющимися и отпавшими от веры. Обращаясь памятью к тем дням, Н. В. Душенкевич записал в своих воспомина-

ниях: «Да устыдятся все, не признающие чистой истины — полного величия народа русского, непобедимого дотоле, пока оный остается в постоянной, неподражаемой покорности православной вере своей...»²⁹ Торжество православной веры признавалось тогда многими. Так, Ж. де Местр в очередной раз констатировал: «Российский Бог велик!»

Французы же сразу отметили существенную разницу в психологии офицеров двух армий — русской и наполеоновской. Поведение русских военных по отношению к населению завоеванной столицы привлекло внимание местных жителей: «Мы слышали, как молодые русские офицеры <...> рассказывали в самый день их торжественного вступления в Париж о подвигах своих от Москвы-реки до Сены как о делах, в которых они были предводимы помыслом Божиим; себе они представляли только ту славу, что они были избраны орудием его милосердия. Они описывали победы свои без восторга и в таких простых и ласковых выражениях, что мы думали, что они на сие условились из особенной учтивости. Они нам показали серебряную медаль, которую генералы и солдаты носят как знак отличия. На одной стороне сей медали изображено око Провидения, а на другом — слова из Священного Писания: “Не нам, не нам, и имени Твоему”»³⁰. Естественно, что у парижан были все основания опасаться возмездия за сожженную Москву, но когда этого не случилось, то у многих возник вопрос: почему русские не стали мстить? А. И. Михайловский-Данилевский процитировал в своем дневнике строки из *Journal des débats* от 8 апреля 1814 года: «Спрашивают, что внезапно отвратило от нас грозу, которая по собственной вине нашей должна была грянуть над нами, что смягчило сих храбрых воинов, которых мы ожесточали и восставили против себя? Надобно сознаться, что это религия; она образовала священный союз их для блага человеческого рода, все воины носят знаки ее на своей одежде. Никакая другая человеческая причина не могла подвигнуть их к тем жертвованиям, которым нет примера в истории народов». Когда к Александру I явились на прием члены Института (Академии наук), в котором состоял и Напо-

леон, то «председатель одного сказал в речи своей: “Щастие наше есть плод ваших благодеяний и ваших побед. Вы научили героев новому способу торжествовать. <...> Отныне не будут удивляться величию, сопутствующему ужасом, оно тогда только справедливо, когда соединено с любовью. Удивление наше совершенно; мы не хвалим, Государь, но мы благословляем”»³¹.

Думается, что было глубоко символично, когда армии всех национальностей, включая французскую, собрались в Париже в день Пасхи на грандиозный парад и молебен, чтобы принести благодарность Всевышнему за мир, водворившийся в Европе. Войска построились на площади между Елисейскими Полями и Тюильрийским садом. Об этом событии рассказывал в записках И. С. Жиркевич: «На этом самом месте, в 1793 году, казнен король Людовик XVI. В Светлое Христово Воскресенье 1814 года воздвигнут был амвон в несколько ступенек и на нем был поставлен аналой для Евангелия и стол для прочей принадлежности к водосвятию. Я в это время стоял на террасе Тюльерийского сада, противу самого амвона, в числе зрителей. Прежде всего Государь с прусским королем объехали линию войск, расположенную около сада и по смежным улицам, а потом войска стянулись в колонны и построились в каре на площади. 1-я гвардейская пехотная дивизия стала спиной к дворцу Элизе-Бурбон, где жил Государь; прусская гвардия — спиной к Тюльерийскому саду, 2-я гвардейская пехотная дивизия — спиной к Сене, а вся кавалерия — вдоль главной аллеи Елисейских полей, спиной к Нельисской заставе. А так как дорога по этой аллее к самой заставе подымается все вверх, в гору, то из сада можно было видеть последний ряд кавалеристов, что производило прекрасный вид. Середина площади, на большое пространство, оставалась свободной, но шагах в ста от амвона расположена была цепью французская национальная гвардия. Когда войска построились и стали на предназначенные им места, Государь и прусский король одни вошли на амвон, а свита их осталась в довольно почтительном отдалении. Любопытство и вольность обращения французов на этот раз не уважили приличия. Лишь только началось богослуже-

ние, вся цепь национальной гвардии, как будто по условию, сомкнулась к самому амвону, так что оба государя очутились окруженными одним неприятелем и отделенными совершенно от своих. Никогда не забуду этих величественных и истинно драгоценных для русского сердца минут! Благоговение так было сильно и для своих и для чужих, что на террасе Тюльерийского сада, где я стоял, удаленный почти на 200 саженой от амвона, не только было слышно пение певчих, но каждый возглас дьякона или священника доходил до нас. Пока происходило передвижение войск, меня осыпали расспросами, чтобы я указал Государя, великого князя, главнокомандующих и других значительных лиц, но началась служба, все смолкло и все присутствующие, а их была несметная толпа, обратились в слух. Когда же гвардия русская, прусская и с ними вместе стоящая близ амвона национальная гвардия преклонили колена, то весь народ бросился тоже на колена, вслух читал молитвы, и многие утирали слезы. Необыкновенную картину представляла кавалерия, на лошадях, с опущенными саблями и обнаженными головами. Государь и прусский король все время без свиты, вдвоем, с одними певчими, сопровождали священника, когда он проходил по рядам войск и кропил их святой водой; наконец пушечные выстрелы возвестили об окончании этой необыкновенной церемонии, дотоле невиданной парижанами»³². Будущий знаменитый историк, описавший в своих трудах все войны александровского царствования занес в дневник охватившие его чувства: «Праздник Святой Пасхи. Государь и все окружавшие его, равно и маршалы, преклонили колена, где за двадцать лет пролита была кровь добродетельного монарха. Молитва всегда возвышает душу, но какими чувствами она исполняла нас, когда мы праздновали победы среди завоеванного города, почитавшегося столицей вселенной? И вдревле и в новые времена покоряли народы, но когда и где среди плененной столицы победитель именовал себя только орудием Провидения и успехи свои приписывал одному Богу? Мы столько были упоены торжеством минувших дней, что для сердец наших сделалось необходимостью смириться перед Создателем»³³.

Глава четвертая

ГОСУДАРЬ И АРМИЯ

*Как поехал Александра свою армию
смотреть,
Свою армию смотреть, свою армию
смотреть.
Обещался Александра
К Рождеству дамой поспеть.
Скоро празднички подходят,
Александра дома нет.
Как пойду я на ту гору,
Посмотрю я в ту сторонку,
Не идет ли пыль столбом...*

Солдатская песня

Непоколебимая уверенность в «богоугодности» царской власти составляла основу мировоззрения офицеров эпохи 1812 года. Они видели в особе императора не только главу государства или «отца нации», но помазанника Божьего, чье право располагать их жизнью определялось не «мирскими установлениями», а Промыслом свыше. Для русского воина слова «государь» и «государство» не просто сводились к одному корню, но первое слово предшествовало образованию второго. Принцип организации власти в России был четко сформулирован еще в Воинском артикуле Петра I: «Его Величество есть Самодержавный монарх, который никому на свете о своих делах не должен дать ответа, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять»¹. Современному человеку с «секуляризированным сознанием», вероятно, не просто представить отношения между царем и подданными, коль скоро эти отношения осмысливались не столько в сфере политической, сколько в сфере духовной. Можно согласиться с мнением современного исследователя: «Для наших героев в понятии “Государь” сливалось то, что можно назвать тайной престола, тайной самодержавной власти, и тот, кто в данный момент являлся носителем, воплощением этой тайны. Царь — живое олицетворение России. В известном смысле она персонифицирована

в нем»². К этому остается добавить, что «защитник Отечества и трона» в ту эпоху одновременно ощущал себя и «защитником веры».

Дворянин, избравший для себя воинское поприще, присягал на верность государю и становился частью Российской Императорской армии, поэтому неудивительно, что в письмах, дневниках, воспоминаниях того времени словосочетание «военная служба» часто заменяется «царской службой», «государевой службой». Достаточно вспомнить знаменитые строки из знаменитого стихотворения Д. В. Давыдова:

Я люблю кровавый бой;
Я рожден для службы царской!

Соответственно, определение «слуга царю» не заключало в себе, по понятиям того времени, ничего оскорбительного, несовместимого с честью благородного сословия. Напротив, это служило источником гордости и самоуважения. Так, Ф. В. Булгарин привел в воспоминаниях случай из повседневного опыта армейского общения: «...Старшим остался адъютант Его Высочества, подполковник Ш. Он взял меня к себе в должности адъютанта. Казалось, что он любил меня — но мы никак не могли с ним ужиться. <...> Однажды, на дневке, в какой-то деревне уже за Нарвой, Ш. осматривал трубачей, в новых мундирах, присланных из Петербурга. Он махнул рукой — и шинель упала с плеч его, в грязь. Я подозвал улана, стоявшего в шагах двадцати, и велел поднять шинель. Ш. окинул меня взором, с головы до ног, и сказал с иронической улыбкою: “Не велика была бы услуга!” Ему, видно, хотелось, чтоб я подал ему шинель. — “Я слуга Божий и Государев!” — отвечал я хладнокровно, а пришед домой, оседлал лошадь и уехал в эскадрон, объявив через писаря, что не возвращусь в штаб»³.

Немец Э. М. Арндт, служивший в 1812 году в русской армии, видел причину победы над Наполеоном в национальном характере, обусловленном способом правления: «Им пришлось испытать великую и тяжкую судьбину, и они честно испытали ее. <...> Страх и удивление внушает эта самоуверенная сила — не назову ее величием, выражение это слишком высоко, но эта ре-

шительность и непоколебимость, даже независимость. <...> Именно независимость. Отчасти это обуславливается именно народным характером, но еще более способом правления. Люди кажутся несокрушимыми и непоколебимыми, как железная судьба. <...> Какая разница там, где действуют более свободные силы! Как в Англии, во Франции, в Германии, даже самый энергический характер, самая могучая воля должны дробиться и размениваться в своей деятельности! Со сколькими лицами и вещами приходится считаться, с какою уступчивостью и гибкостью обходить осторожно всякую позицию! Как редко можно штурмовать ее прямо! В странах, где поклоняются лишь одному Богу и одному самодержавному Государю, где до Бога высоко, до Царя далеко, всегда можно идти прямо напролом. Ибо там, где господствует рабство, отдельные лица всегда более независимы»⁴.

В повседневной жизни подобная независимость проявляла себя в соответствии с моралью того времени. В записках С. Н. Глинки приводятся яркие примеры бескорыстных и возвышенных отношений между царскими особами и верноподданными. Так, отец мемуариста в бытность свою в Петербурге при Екатерине II удостоился «высочайшей аудиенции», последствия которой оказались для него необратимыми: «Когда отец мой отклонялся, то Лев Александрович Нарышкин вышел за ним и, потрепав его по плечу, спросил:

— Ну что, Николай Ильич, доволен ли ты приемом Государыни?

— Доволен, — отвечал мой отец, — при ней жить рад, а ее не переживу. Если не умер от радости, то умру с тоски.

И он сдержал слово. Весть о смерти Екатерины свела его в гроб»⁵. Не менее показательна историческая зарисовка, заимствованная из жизни потомственного дворянина генерал-лейтенанта Н. П. Лебедева, более полувека состоявшего на «царской службе»: «Служа ревностно, он никогда ни на что не набивался и ни от чего не отказывался. Один только раз он испросил милость и вот какую: при вступлении на престол Павла I, Лебедев писал к нему: “Государь! Я двадцать пять лет служу в Сибири; приближаясь к старости, я испрашиваю у вас одной милости: дозволейте мне приехать

в Петербург единственно для того, чтобы увидеть вас, услышать царское слово и навсегда запечатлеть его в душе моей". Государь удовлетворил его просьбу; он приехал в Петербург, явился к Императору и снова возвратился в Иркутск <...>⁶. В добавление к этому рассказу С. Н. Глинка счел нужным заметить: «Душевную пламенную любовь к человечеству и благородную свободу мыслей сохранил он до гроба». Человеку с рациональным мышлением XXI века, конечно, непросто понять, отчего один потомственный дворянин преждевременно сошел в могилу, а второй не поленился добратся из Сибири в Петербург «единственно для того», чтобы услышать царское слово.

Царствование Александра I пришлось на переломную эпоху, когда христианское отношение к идее легитимности (законности) монархической власти переживало серьезную проверку на прочность. «Большая европейская война» воспринималась современниками не только как борьба за политическое могущество на континенте, но как борьба веры с безверием. Понятия «служить государю» и «служить Отечеству» все еще составляли в сознании русских офицеров в начале XIX века единое целое, хотя опыт дворцовых переворотов XVIII века, казалось бы, позволял усомниться в нерасторжимости этих понятий, что следует из суждения М. С. Воронцова, высказанного им как раз в 1812 году: «Приятно жертвовать жизнью, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и ничто иное, как одно и то же»⁷. Следует признать, что Александр Павлович неоднократно возбуждал смятение в душах подданных пристрастием к либеральным идеям века: ученик республиканца Ф. С. Лагарпа неоднократно пытался реформировать «внутреннее устройство» России. Ропот соотечественников сопутствовал ему и во внешнеполитических начинаниях: по мнению многих, государь не всегда твердо отстаивал собственные интересы России, увлекаясь, по выражению В. Ключевского, «голодной идеей всечеловечества». Военные неодобрительно отзывались и об известной, даже мучительной для них страсти императора к «парадной» стороне ратного ремесла: погоня за «вне-

шной красотью» нередко вредила боевым качествам войск.

Александр I, в лице которого Россия «впервые узрела человека на троне», в силу этого, действительно, был «нетипичным» монархом. Как строилась при нем линия отношений «государь — армия»? Мы должны будем признать, что в душе императора оставался потаенный угол, куда воспитатель Лагарп со своими «общечеловеческими ценностями» так и не добрался, или же «державный воспитанник» сам не допускал своего наставника туда, где дело шло об армии. В вопросах «внутреннего обустройства Империи» Александр Павлович мог сколько угодно предаваться либеральным мечтаниям, которые В. Ключевский едко называл «конституционными похотями». Царь мог строго выговаривать своим сенаторам, что Сенат — не «Наш», а «Правительствующий», но армия как была «Императорской», так ею и осталась. Государь никому не собирался уступать легитимного права быть «отцом» для своих «возлюбленных чад», как со времен Петра I принято было величать тех, кто сражался и погибал за своего царя. Случай, рассказанный М. М. Петровым, показывает что Александр I существовал в той же самой иерархии сословных ценностей, что и его предшественники на троне: «Пред восходом солнца я вошел <...> посмотреть уборных часовых унтер-офицеров, стоявших у дверей пред спальни Государя. Там служители Его Величества были — уже на ногах, готовя платье для одежды Императора <...>. Все они исполнены образцового учтивства, ведомого мне еще и по службе моей в Петербурге, особенно в звании генеральского адъютанта, мигом подали в зал на столик чудесного кофею и бисквитов. Я не удивлялся и не удивляюсь, что у Государей наших пристойная их благоприятству прислуга, ибо известно мне и то еще, что однажды в Петербурге Государь Александр Павлович, увидев нечаянно, что камер-лакей, зазевавшись, не успел отворить двери шедшему из гербовой к аванзалу армейскому подпоручику, бывшему во дворце для выписки приказов, велел позвать к себе гофмаршала графа Толстого и при всех гневно соизволил сказать ему: “Сейчас, неожиданно, я видел здесь невежество,

оказанное офицеру армии *моей* (выделено мной. — *Л. И.*) забывшимся дворцовым служителем. Оставляю это для первого раза без строгого наказания, но поручаю вам объявить всем прислужным штатам дворцов *наших* (выделено мной. — *Л. И.*), что всякий офицер гвардии и армии равно есть член моего семейства, ибо они в самые дорогие дни жизни их оставляют по долгу своему и усердию отца, мать и весь родной круг, нередко навеки, чтобы служить со мною Отечеству, принося на жертву спокойствие и жизнь. И потому священная истина требует, чтобы я заменил им все эти утраты неразлучным с нами всегда и везде сообществом моим, как с своекровными детьми *моими* (выделено мной. — *Л. И.*), любезными моему сердцу. Но это неудобно даже до невозможности, так, по крайней мере, пусть хоть тогда, когда случай приведет кого из них быть в жилище моем, всякий из них видит и чувствует, что он не на чужбине, а в доме своего отца, вполне его благоприсягающего. Скажите им, что впредь за всякое невежество, офицеру оказанное, я отомщу, как за оскорбление собственного дитя моего, а не то что накажу, но погублю преслушников *моей воли*”. И с того времени особенно во дворцах Государя всякому прапорщику дверь настезь, до тронной и внутренних половин дворцовых покоев, занимаемых семейством Императора»⁸. М. М. Петров не был очевидцем этого происшествия, по его словам, он услышал эту историю от третьего лица. Следовательно, нам неведомо, в каких именно словах выразилось негодование императора на «невежество, оказанное» армейскому подпоручику. Важно отметить другое: в рассказе другого армейского офицера сохранены привычные словосочетания, произносимые в ту эпоху, не задумываясь, но обращающие на себя внимание спустя почти два столетия: дворцы — «наши», но армия — «моя», дети — «мои». Может быть, офицерская молва, подхваченная М. М. Петровым, принимала желаемое за действительное, приписав Александру I, черты ему не свойственные? Приведем другой пример, относящийся к эпохе 1812 года. Н. И. Лорер вспоминал о традиционном представлении государю бывших кадетов Дворянского корпуса, пожалованных в офицеры

вскоре после Бородинского сражения: «Вскоре вышел и Государь, которого здесь я в первый раз имел счастье видеть и разглядеть. Он был в мундире Семеновского полка, столь им любимом, и показался мне грустным, печальным. Да и было отчего, ибо в то время Наполеон гостил уже в Москве, будущность была неизвестна, а Государь уже сказал себе: *<to be or not to be>* — быть или не быть?

Государь осмотрел нас и тихо своим приятным голо-сом поздравил нас офицерами, прибавив:

— Вы заместите ваших павших братий, служите же *мне* так же ревностно, с тем же неукоризненным отличием, как и они служили»⁹.

Безусловно, связь императора с войском — особая связь, превратившаяся за годы Наполеоновских войн в боевое содружество, порой омрачаемое обидами и неудовольствиями, но от этого не менее прочное. Достаточно вспомнить, что со времен Петра Великого после многолетнего «женского правления» Александр Павлович был первым монархом, решившимся возглавить войска на театре военных действий и принимавшим участие в боях и походах. Пользу это приносило или вред войскам — вопрос второй, но государь, в силу своих убеждений, не мог поступить иначе. Он болезненно относился к насмешкам, особенно у себя за спиной, поэтому его безотказное чутье подсказывало ему, что носить военный мундир, но избегать военных действий в ту эпоху, когда он жил и царствовал, — смешно. Сражения, в которых участвовали его войска, не шли ни в какое сравнение с «баталиями» XVIII столетия: потери отныне исчислялись не сотнями, а десятками тысяч. И он отправился на войну.

Можно, конечно, предположить, что ему не давали покоя лавры Наполеона, но характер Александра — «человека на троне» — позволяет в этом усомниться. Вероятно, Александру-царю лучше было бы остаться в Петербурге, заниматься гражданскими преобразованиями, отдавать приказы, но Александру-человеку следовало отправиться на войну, чтобы доказать своим «детям», что он не трус. Убедить всю армию в том, что ее государь не боится смерти, было отнюдь не празд-

ной затеей в эпоху героев. «Сколько солдаты любят того офицера, который разделяет вместе с ними опасность и бережет их, столько и ненавидят того, кто в таком случае оставляет их. Некоторые, заметив своего офицера далеко назад, сказали: “Мы пустим ему пулю”»¹⁰, — отмечал офицер русской армии. Представим на месте этих офицеров царя, отдающего не всегда удачные распоряжения из Зимнего дворца, у которого уже существовала серьезная проблема, касающаяся взаимоотношений с подданными: его дед и отец пали жертвой дворцовых переворотов, где военные сыграли главную роль. В этой непростой ситуации внутренний голос подсказывал Александру I, что военный человек не поднимет руку на венценосца, оказавшегося собратом по оружию. Императорская гвардия, не становившаяся инструментом в руках заговорщиков, превращалась Александром I в гаранта собственной неприкосновенности. Психология поступков русского императора привлекла внимание австрийского дипломата К. Н. Меттерниха, отозвавшегося так о его манере поведения: «Он действовал только по убеждению, а если иногда и предъявлял какие-либо претензии вообще, то рассчитывал гораздо больше на успех светского человека, чем властителя»¹¹. Так оно и было: несмотря на все потрясения этого бурного царствования, когда некоторым казалось, что судьба монарха висит на волоске и под сомнение брались качества «властителя», на помощь тотчас приходили свойства «светского человека», и положение Александра Павловича в обществе выравнивалось.

Приведем в качестве примера довольно «неровные» взаимоотношения царя с морским министром П. В. Чичаговым, о которых упоминал в переписке Ж. де Местр: «Позавчера приехал адмирал Чичагов и незамедлительно послал за мной. Я поспешил к нему, и он в совершенном отчаянии кинулся мне на шею. Тело его жены лежит в соседней комнате. Что только не говорил он мне о безнадежной тоске своей, и о той стране, откуда приехал! Я дословно предсказывал ему все те чувства, которые будут у него от Парижа: он прямо говорит, что совершенно переменялся, поелику видел там од-

но лишь дурное. Под величайшим секретом показал он мне собственноручное письмо Императора в ответ на письмо его, написанное по прибытии. К моему великому удивлению, только адрес на нем русский, все остальное по-французски. Что за письмо, Государь! Самый нежный и деликатный друг не мог бы написать лучше. Какая мудрость! Каким спокойствием духа должен обладать Император, дабы не ожесточиться от тех ужасных речей, которые адмирал тысячу раз говорил против правительства, а ценить своего министра лишь по талантам его и преданности! Прочитав сие письмо, я сказал адмиралу: «Любезный друг, вы должны умереть за Государя, написавшего это». — «О, — отвечивал он, — вы не знаете мою к нему привязанность. Кроме того, у меня есть на то и последняя воля жены моей. Умирая, она велела мне незамедлительно возвратиться и ни о чем ином не помышлять, кроме как о службе Императору и Отечеству. Вы же знаете, порицая иногда Царя, я всегда любил в нем Человека». Я убеждал его в невозможности такого расчленения, настаивая, что надо любить Государя всего, как он есть, и не производить сей смертельной вивисекции»¹².

Действительно, в те времена мало кто способен был произвести в своей душе подобное «расчленение» по отношению к своему государю. Особенно это относилось к военным старшего поколения. Наглядное свидетельство тому сложный мир отношений Александра I и М. И. Кутузова, по поводу которого генерал А. Ф. Ланжерон заметил: «Император никогда не выносил его». Кутузов, олицетворявший военные победы предыдущего царствования, напоминал Александру о его собственных неудачах в войнах с Францией в 1805 и 1807 годах, в которые царь так неосторожно втянул Россию. Старый полководец, в свою очередь, не одобрял царя за его абстрактные стремления к общему счастью и благоденствию. Он видел в этом пренебрежение геополитическими интересами России, несовместимыми с ее благополучием. Но «тайна престола», связавшая государя и подданного, всегда оказывалась выше «частных неудовольствий». У государя было право недолюбливать Кутузова, а у Кутузова, по его понятиям, этого права не

было. В 1812 году полководец, узнав о заговоре генерала Мале в Париже, направленном против Наполеона, произнес: «Вот что значит не законная, а захваченная власть!»¹³ Под законной властью Кутузов понимал венчанного на царство монарха. «Волю нации», провозгласившей императором Франции Наполеона Бонапарта, фельдмаршал подверг осмеянию в разговоре с пленным французским интендантским чиновником в 1812 году. Пюибюск вспоминал о диалоге, состоявшемся после освобождения Смоленска армией Кутузова: «Известно также, присовокупил я, что Наполеон никому не позволял противоречить своим военным предприятиям и что он не менее согласовывался со мнением дел гражданских <...>».

— Итак ваши образованные французы выбрали себе сокола из басни! — это колкое замечание (Кутузова. — *Л. И.*) довершило наш разговор»¹⁴.

«Кровный союз» Александра I с армией был заключен в 1805 году в Австрии, где русские воины сражались пока на территории союзника. Первый блин, как говорится, всегда комом. Молодой государь был самонадеян и неосторожен, он фактически «перехватил» командование войсками у пожилого и оттого казавшегося ему «допотопным» М. И. Кутузова, следствием чего был сокрушительный разгром союзников под Аустерлицем. В Европе считали, что все кончено и для царя, и для его союзников. «Господин граф, мы пропали, и смертельный удар нанесен нам российским Императором. На сего доброго и превосходного монарха нашла дурная минута: по совету молодых своих царедворцев и вопреки мнению генералов и министров он дал 2 декабря генеральную баталию и проиграл оную. Это непоправимая беда: может быть, сохранялась бы еще надежда, если бы он оставался во главе своей армии, однако, скоропостижно возвратившись в столицу, он потерял все. Пал престиж русского оружия в Европе, и надо всем воспарили французские орлы <...>»¹⁵, — сообщал из Петербурга своему, как тогда говорили, «конфиденту» Жозеф де Местр. Об этом же в частном письме осмелился написать государю один из его друзей — князь Адам Чарторыйский: «...приучая солдат видеть Вас постоянно

и без всякой необходимости, Вы ослабили очарование, производимое Вашим появлением. Ваше присутствие во время Аустерлица не принесло никакой пользы, даже в той именно части, где именно Вы находились, войска были тотчас же совершенно разбиты, и Вы сами, Ваше Величество, должны были поспешно бежать с поля битвы. Этому Вы ни в коем случае не должны были подвергать себя. <...> Надо отдать справедливость генералам, что еще заранее до катастрофы, они, чувствуя, насколько Ваше присутствие, Государь, затрудняет и осложняет их действия, непрестанно упрашивали Ваше Величество, во-первых, удалиться из армии и, во-вторых, не подвергать себя ненужным опасностям»¹⁶. «Ненужными опасностями» императора попрекала мать — вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она же заклинала сына «следить за тем, чтоб Вас не могли обвинить в предательстве интересов и славы России». Помня о трагической гибели своего мужа Павла I, Мария Федоровна считала, что ее сыну грозит равная с отцом опасность со стороны екатерининских ветеранов. Однако вдова убиенного царя отказывалась видеть очевидное: в глазах гордых и своевольных «ветеранов» именно ее старший сын был законным, по завещанию, наследником трона Екатерины Великой, который по недоразумению достался его отцу. «Обломки славы и побед» минувшего царствования, не раздумывая, подняли руку на отца, чтобы передать престол любимому внуку Екатерины, память о которой была для них священна. Эти люди могли на него обижаться, сетовать, поучать, но убить — никогда! Вспомним слова Кутузова о государе, по вине которого он немало страдал, сказанные в откровенной беседе с адмиралом А. С. Шишковым: «...Скажу тебе про себя откровенно и чистосердечно: когда он доказательств моих оспорить не может, то обнимет меня и поцелует; тут я заплачу и соглашусь с ним»¹⁷. А вот отзыв об Александре генерала Л. Л. Беннигсена, относящийся к 1812 году: «Император удостоил принять меня в своем кабинете. Не буду повторять здесь всего, что этот добрый Монарх сказал мне любезного о прошлом; человек менее чувствительный, нежели я, был бы тронут до глубины души; мне ничего не оставалось, как ответить, что

я готов пролить последнюю каплю крови ради спасения Его Империи»¹⁸. В «цареубийстве 11 марта 1801 года» Беннигсен сыграл едва ли не главную роль.

Сохраняя честь своего императора, его старшие сослуживцы нашли оправдание Аустерлицкой катастрофе. «Этот случай, подобно тревожному сну, поразивший лишь слегка их мысли и чувства, не мог поколебать еще высокого их о себе мнения. Самолюбие их, вознесенное вековою непобедимостью, приписало несчастье это несоразмерности числительной силы неприятеля с силою нашей армии и слабым действием союзников...» — вспоминал много лет спустя Д. В. Давыдов¹⁹. Предательство австрийцев вообще было одной из любимых тем разговоров в армии со времен Швейцарского похода Суворова. Даже когда обстоятельства переменились и русские войска, разгромив Наполеона, в 1814 году вступили «во французские земли», в отношении к давним союзникам мало что изменилось: «Мы были в гораздо превосходном числе, но нас обуревали несогласия, производимые большею частью Австрийским двором. <...> Поведение австрийцев было для Государя столь неприятно, что он, который нелегко обнаруживал, что происходило в душе его, не мог однажды скрыть своего негодования против них. Это случилось 9 марта поутру, когда мы собирались напасть на неприятеля под Арсисом. Армия стояла в боевом порядке, колонны к атаке были уже готовы, и Государь, окруженный обыкновенной своею свитою, ходил взад и вперед с фельдмаршалом Барклаем-де-Толли и, говоря об австрийцах, сказал следующие слова, которые я сам слышал, ибо я тут же стоял: “Эти австрийцы сделали мне много седых волос”»²⁰. Армия с удовольствием слушала слова императора, свидетельствующие о полном его с ней единении.

Возникло же это единение, как ни странно, на поле сражения под Аустерлицем. Он видел кровь и смерть, страдал вместе с армией и даже еще больше. Но его «возлюбленные чада» убедились в том, что их император не трус. Они видели, как в опасную минуту он поднимал войска в атаку. Так, генерал Ланжерон свидетельствовал: «Напрасно Кутузов со своей свитой, Им-

ператор Александр и его адъютанты делали все, что могли, чтобы исправить столь ужасное поражение, которое, в сущности, было непоправимо, и восстановить порядок в войсках; им не удалось этого достичь. Император кричал солдатам: «Я с вами, я подвергаюсь той же опасности, стой!» — все было бесполезно; неожиданность и панический страх, бывший ее результатом, заставили всех потерять головы»²¹. Однако за «прямой» офицерский подвиг — под неприятельским огнем бесстрашно побуждал войска идти вперед — по приговору кавалеров Георгиевской Думы государь был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени, который с гордостью носил любой офицер его армии. Не будь в его жизни Аустерлица, разве эрцгерцог Карл, брат австрийского императора, произнес бы в 1806 году в адрес Александра I эти знаменательные слова: «Его Величество, будучи сам солдатом, принимает участие во всех лицах своего звания»²²? Разве в 1812 году, пожалуй, в самое тяжкое в своей жизни время, когда Наполеон находился в Москве, царь мог бы дать жесткую отповедь своей сестре, великой княгине Екатерине Павловне, упрекнувшей его в трусости: «Я не могу поверить, что в Вашем письме идет речь о той личной храбрости, которой может обладать любой простой солдат, и которой я не придаю никакой ценности»²³.

«Кислый для России 1805 год» остался в памяти у воинов русской армии по обстоятельству, показавшему, по выражению князя П. И. Багратиона, «великость духа нашего Государя». Так, Ф. В. Булгарин вспоминал: «Тогда был обычай, что взятый с боя город отдавался на грабеж. Если бы только брали пожитки... но тут и жизнь, и более еще — честь отдавалась на произвол рассви-репелого солдата! В русском войске это называлось: “поднять на царя”. Император Александр приобрел неопровергаемое право на бессмертие в веках и на благословение народов уничтожением этого правила. Однако ж, однажды в жизни, в первый и последний раз, сам Император Александр прибегнул к этому средству. На другой день после Аустерлицкого сражения Государь увидел несколько гвардейских батальонов и толпы армейских солдат почти без огней, лежавших на

мокрой земле, голодных, усталых, измученных... Верстах в двух была деревенька, но в ней нельзя было занять квартир и достать помощи обыкновенными средствами. <...> Император Александр, тронутый положением своих воинов, позволил им взять все съестное из деревни. — “Ребята, поднимай на царя!” — раздался голос флигель-адъютанта — и солдаты устремились в деревню, и выбрали все, что можно было взять, и что было даже не нужно, для потехи. Государь записал название этой деревни, и после вознаградил вдесятеро за все взятое. После этого случая “поднимай на царя” — исчезло в русском войске»²⁴.

Так или иначе, в 1805 году образ царя-воина прочно укоренился в сознании его «любезных сослуживцев», о чем свидетельствует стихотворение С. Н. Марина с патетическим названием «К русским»:

На глас Царя мы соберемся,
Исторгнем меч — стеной сомкнемся,
Ударим — сокрушим колосс.
Нам Александр — пример средь бою.
Отец Отечества! С тобою
Дерзнет на все усердный росс.

Поражение при Аустерлице было далеко не последним испытанием для императора и его армии. Война неумолимо приближалась к границам России. В 1806—1807 годах боевые действия между русскими и французами велись уже на сопредельных территориях Польши и Восточной Пруссии. Император Александр I обратился к своим подданным с Манифестом, где впервые прозвучали настораживающие слова: «Меч, извлеченный честью на защиту союзников России, <...> с большею справедливостью должен обратиться в сторону собственной безопасности Отечеству». Очередная неудача, постигшая русскую армию в битве под Фридландом 2 июня 1807 года, поставила царя перед необходимостью заключить сначала мир, а затем согласиться и на заключение военного союза против Англии со своим грозным противником. Он вынужден был признать все завоевания «генерала Буонапарте» в Европе, а его самого — императором Франции. По-видимому, Алек-

сандру I нелегко далось это решение, но он мужественно прошел через новое испытание. Денис Давыдов вспоминал, каким он увидел своего государя в дни душевной опустошенности и «банкротства надежд»: «Государь сел близ окна, лицом ко входу. Он положил свою шляпу и перчатки на стол, стоявший возле него. Вся горница наполнилась генералами, с ним приехавшими и близ коляски его скакавшими. Мы, адъютанты, вошли вслед за нашими генералами и поместились на дне картины, у самого входа. Я не спускал глаз с Государя; мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостью духа различные чувства, его обуревавшие и невольно обнаруживавшиеся в ангельском его взгляде и на его открытом, высоком челе. <...> было необходимо отвлечь силы, внимание и деятельность Наполеона на какое-либо предприятие, которое, по своей отдаленности, могло бы дать Европе время, хотя несколько, освободиться от покрывающих ее развалин; России же приготовить средства для ниспровержения покушений его на ее независимость, чего Государь рано или поздно не мог не предвидеть. Вот что волновало душу Александра и вот что было им достигнуто, вопреки мнению света, всегда увлекающегося лишь наружным блеском. В этом случае победа несомненно и неоспоримо осталась за нашим императором. <...> Не прошло получаса, как кто-то вошел в горницу и сказал: “Едет, Ваше Величество”. Электрическая искра любопытства пробежала по всех нас. Государь, весьма хладнокровно и нимало не торопясь, встал с своего места, взял шляпу, перчатки и вышел с спокойным лицом и обыкновенным шагом из горницы»²⁵.

Перед сильным неприятелем, гордившимся своими победами, русский царь был весел и обворожителен, но Надежда Дурова запомнила императора Александра, удрученного поражением своих войск: «“Что это, Дуров! — сказал он (ротмистр. — *Л. И.*), дотрагиваясь слегка до плеча моего саблею, — время ли теперь вешать голову и задумываться? Сиди бодро и смотри весело. Государь едет!” Сказав это, поскакал далее. Раздались командные слова, полки выровнялись, заиграли в трубы, и мы преклонили пики несущемуся к нам на прекрасной

лошади в сопровождении многочисленной свиты обожаемому Царю нашему! Государь наш красавец, в цвете лет; кротость и милосердие изображаются в больших голубых глазах его, величие души в благородных чертах и необыкновенная приятность на румяных устах его! На миловидном лице молодого Царя нашего рисуется вместе с выражением благости какая-то девическая застенчивость. Государь проехал шагом мимо всего фронта нашего; он смотрел на солдат с состраданием и задумчивостью. Ах, верно отеческое сердце его обливалось кровью при воспоминании последнего сражения! Много пало войска на полях Фридландских!»²⁶

Безусловно, «грустный» Александр был ближе сердцу своих подданных, чем тот, «веселый», называвший Наполеона «своим другом» и «сюзереном». Ему скорее простили бы поражение, чем этот унижительный, по мнению роптавшей армии, союз. Генерал-лейтенант граф П. А. Толстой с раздражением сказал царю: «В России не привыкли радоваться таковым невыгодным мирам». В обществе ходили анекдоты, связанные с «ратификацией постыдного договора». Так, генерал-лейтенант князь Д. И. Лобанов-Ростовский, подписавший статьи Тильзитского соглашения, сетовал в обществе: «Странная судьба моя! Живу себе спокойно на своем винном заводе и занимаюсь хозяйством. Вдруг получаю Высочайшее повеление явиться в армию и тут же подписываю прелиминарии Тильзитского мира». В ответ он получил острую реплику: «Да, в самом деле очень странно, если после подписания этих прелиминарий сослали бы вас на завод, то оно было бы понятнее»²⁷. Наверное, никогда за всю историю Наполеоновских войн память о победах екатерининского царствования не была так мучительна для тех, кто в них участвовал. Там, в Тильзите, князь Лобанов-Ростовский, сам не свой от горя, позволил себе вопиющую бестактность: за обедом у Наполеона он заговорил с императором Франции о Екатерине Великой. «Наполеон его много расспрашивал о ней. Князь Лобанов уже в ее царствование был действующим лицом, — он, как все современники и сослуживцы его, признательно и горячо предан был ее памяти. У него при расска-

зе навернулись слезы на глазах. Наполеон это заметил и сказал: «Видишь, Бертье, как русские любят и помнят своих царей!». При подписании мирного договора потомок удельных князей, как мог, старался «сохранить хорошую мину при плохой игре»: увидев, что французский уполномоченный, маршал Л. А. Бертье, подписался титулом, дарованным ему Наполеоном «Бертье, князь Нефшательский», он подписался «Лобанов, князь Ростовский». Кстати, в разговоре с российским уполномоченным Наполеон проявил удивительную проницательность. «Созданные» им маршалы предали его, как только счастье отвернулось от «горделивого властелина Европы», в то время как русские генералы оказались верны своему монарху. «Тайна престола» и верность завещанию Екатерины оказались сильнее всех обрушившихся на Россию бедствий.

В Тильзите Россия поклялась Франции в вечной дружбе, в продолжительность которой мало кто верил. «1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть!» — так выразил Денис Давыдов настроения русской армии, с неудовольствием наблюдавшей за тем, как их государь обменивался рукопожатиями и знаками отличия со вчерашним «генералом Буонапарте», отныне признанным императором Франции. Военные роптали, но не переходили дозволенных границ.

Впрочем, с государем у каждого офицера были свои отношения. В особенности близки к его особе были ученики Пажеского корпуса, будущие офицеры гвардии. «Камер-пажем поступил я на половину Императора Александра I, который, по необыкновенной доброте своей, полюбил меня, а я обожал его и всю Царскую фамилию. <...> По окончании стола приказывали нам брать при себе конфеты и фрукты, все это поступало в наши треуголки», — рассказывал будущий офицер лейб-гвардии Семеновского полка И. М. Казаков²⁸. Чувство беззаветной привязанности к царю лишь окрепло в его камер-пажах в годы военных бедствий: «Когда пришла весть, что Наполеон вынужден был оставить Москву, и Император вечером вышел уведомить об этом Императрицу, дежурными камер-пажами были я и О.; он

расцеловал нас, тогда мы кинулись на колени просить его приказать сделать выпуск, чтоб иметь возможность участвовать в войне; но он сказал на это — “Погодите, вы еще молоды и вам нет еще и семнадцати лет”. Мы со слезами продолжали умолять его...» Самое главное, что И. М. Казаков своего добился и успел в армию к сражению у стен Парижа, где и встретил своего обожаемого государя: «Я стоял первым у него с правой стороны и держал руку у кивера; взглянув на меня, он с ангельской улыбкой сказал мне: “Здравствуй!” Чуть-чуть я не бросился его обнимать, как это было во дворце камерпажем. Император был мне как отец, я его обожал и несколько не конфузился»²⁹.

Офицеры полков, расквартированных в Петербурге, также видели царя постоянно. Гвардейцы считали себя как бы членами императорской фамилии, без них не обходилось ни одно важное событие в жизни Северной столицы. Эта близость к священной особе государя до известной степени сокращала дистанцию между ним и подчиненными, что нашло отражение в забавных исторических анекдотах, переносящих нас в повседневную жизнь той поры. Конечно же в особом положении находились генерал- и флигель-адъютанты. С. Г. Волконский рассказывал: «В ночи пред днем смотров, быв неотлучно при почетном карауле государя, я то и дело проверял посты наружной цепи ночной квартиры и внутренние до спальни императора.

Многие говорят, что служба флигель-адъютанта весьма близка к Царю. Хотя нас не была такая орава, как в последующее и нынешнее царствование, потому что выбор Царя был весьма разборчив и часто Государь говорил, когда говорили ему о назначении к нему флигель-адъютанта: “Оставьте мне то право, которое имеет каждый бригадный генерал, выбирать сам, кого хочет себе в адъютанты”, но я скажу по совести, что не только флигель-адъютанты, но и генерал-адъютанты не имели того близкого доступа, который многие себе приписывали. Разница в отношении генерал-адъютанта и флигель-адъютанта к Царю была лишь в том, что если есть званый, а не чисто семейный обед, то генерал-адъютант имел право обедать за этим столом, а флигель-

адъютант нет. При случае какого-нибудь экстренного доклада или призыва к Царю дежурного, в обоих случаях проводником сношений этих, то есть входа к Царю, был дежурный камердинер. В мою бытность только князь Петр Михайлович, Федор Петрович Уваров, граф Аракчеев и князь Александр Николаевич Голицын имели право входить во внутренние покои задним коридором, да и они, я полагаю, не обходились без доклада чрез камердинера, или выжидали выхода Царя в уборную или в приемную.

В глазах всех, кажется, им было дано исключительное право, а в настоящем — тот же непрямой доступ. Как генерал-адъютанты, так и флигель-адъютанты, бегающие за выказыванием значения, вот что делали: при выходе Царя к посещению вдовствующей Императрицы или кому другому во дворце, они караулили Царя, и тогда он иных отличал разговором, с ними идя, и обыкновенным предметом разговоров были или известные ему любовные связи господ этих, или сплетни петербургского общества высшего и театрального круга»³⁰.

Князь Волконский (государь называл его по-домашнему «князь Серж») уверяет, что в его время доступ этой «элиты из элит» к императору был весьма затруднителен, но главный и очевидный мотив его заверений — показать, что прежде все было лучше, чем ныне. Вообще, записки этого генерала-декабриста — источник довольно противоречивый: об устройстве «гражданского быта» и идеалах свободы, приведших его на каторгу, он рассуждает туманно и неопределенно, но там, где он увлекается воспоминаниями о суетности придворной жизни и грехах своей молодости, его голос обретает силу, рассказ становится живым и обстоятельным.

Заметим, что «непрямой доступ» к государю в повествовании Волконского — понятие относительное. Могли, например, армейский офицер мечтать о том, чтобы государь оказался в курсе его «любовных связей», или стал обсуждать с ним «закулисные сплетни»? Этим офицерам были неведомы случаи из жизни столичного гарнизона, веселившие высший свет Петербурга, как, например, этот: «Являлся к Государю вестовой Измайловского первого батальона <...>; слишком хороший

цвет лица показался подозрительным Государю; он, вынув платок, потер ему щеки, и что ж? О, стыд! Гренадер нарумянен. Государь очень рассердился, приказал наказать солдата, который не сказал, что ему велели нарумяниться; а я отвечаю головою, что ему это приказано»³¹. «Ангел во плоти», как называли императора придворные, бывал иногда довольно резок: «На Каменном острове по набережной, против дворца, стояли померанцевые деревья. На одном созревали апельсины, и к сдаче часовому было сдано, чтобы охранять их от кражи. Один из этих апельсинов свалился от зрелости. Часовой объявил об этом ефрейтору, этот — караульному офицеру, тот — дежурному по караулу Скарятину, человеку весьма тупому умом. Скарятин, полагая себя очистить от всякой ответственности, не рассудил, что в упадке с дерева апельсина небольшая беда, и, хотя было уже позднее вечернее время, пошел прямо к Государю и велел о себе доложить, как с донесением о важном деле. Император принял его; он подходит и говорит: “Государь, пришел донести Вам о случившейся большой беде”. — “Что ж это?” — спросил Государь. — “Не смею доложить, но в этом я не виноват”. — “Но что ж это?” — с нетерпением возразил Государь. — “Апельсин...” — “Не понимаю!” — “Апельсин, отданный в сдачу, свалился”. — “Пошел вон, дурак!” Обстоятельство этого разговора приняло гласность, и Скарятин иначе не называли между сослуживцами его и молодежью, как Скарятин-апельсин. И от стыда всего этого он вышел в отставку»³².

Если же кому-то из гвардейских офицеров доводилось при встрече заговорить с императором, то событие это относилось к числу незаурядных происшествий. Так, Я. О. Отрощенко поведал о своей незабываемой беседе с царем на «профессиональную» тему: «<...> Когда я был в передовом карауле с моей ротой, приехал верхом Государь император и Прусский король. Я им показал, где главный неприятельский караул и где часовые. Государь, увидев на мне французскую саблю, спросил: “Разве лучше сабля?” “Надежнее шпаги, Ваше Величество”. Он приказал мне подать саблю; я вынул из ножен и, взяв за клинок, подал ему; он взял, посмотрел и опять мне отдал, говоря: “тяжел эфес”. Действительно, у на-

ших сабель был перевес при ударе к месту прикосновения, и раны делали жестокие, а у французов перевес был в эфесе. Французский же эфес защищал ручную кисть, а у наших сабель этого не было»³³.

Встреча с царем Надежды Дуровой носила совершенно исключительный характер, впрочем, как и сам факт пребывания женщины на военной службе: «Участь моя решилась! Я была у Государя! видела его! говорила с ним ! <...> “Я слышал, — сказал Государь, — что вы не мужчина, правда ли это?” Я не вдруг собралась с духом сказать: “Да, Ваше Величество, правда!” С минуту стояла я, потупив глаза, и молчала; сердце мое сильно билось, и рука дрожала в руке царицы! Государь ждал! Наконец, подняв глаза на него и сказывая свой ответ, я увидела, что Государь краснеет; вмиг покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала их уже до той минуты, в которую невольное движение печали повергло меня к ногам Государя! Расспросив подробно обо всем, что было причиною вступления моего в службу, Государь много хвалил мою неустрашимость, говорил: что это первый пример в России; что все мои начальники отозвались обо мне с великими похвалами, называя храбрость мою беспримерною; что ему очень приятно этому верить и что он желает сообразно этому награждать меня и возратить с честью в дом отцовский, дав... Государь не имел времени кончить; при слове: возратить в дом! Я вскрикнула от ужаса и в ту же минуту упала к ногам Государя: “Не отсылайте меня домой, Ваше Величество! — говорила я голосом отчаяния, — не отсылайте! Я умру там! Непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию! Не отнимайте у меня жизни, Государь! Я добровольно хотела ею пожертвовать для Вас!..” Говоря это, я обнимала колени государевы и плакала. Государь был тронут; он поднял меня и спросил изменившимся голосом: “Чего же вы хотите?” — “Быть воином! носить мундир, оружие! Это единственная награда, которую Вы можете дать мне, Государь!” <...> Когда я перестала говорить, Государь минуты две оставался как будто в нерешимости; наконец лицо его осветилось: “Если вы полагаете, — сказал Император, — что одно толь-

ко позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее!” При этих словах я затрепетала от радости. Государь продолжал: “И будете называться по моему имени — Александровым! Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков; не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прошу вам никогда и тени пятна на нем!..”»³⁴

Иногда император служил для армейских офицеров примером простоты солдатского быта: «Служитель отвечал, что государь по причине сухих мозолей уже три года заменяет чулки онучками. “Сначала было нам хлопот с этими онучками, — прибавил он, — бывало, мы путаем-путаем, вертим-вертим около ступней, либо пятка светится, или палец выглядывает; но, спасибо, скоро догадались: призвали старого гвардейского солдата, который, живя при нас неделю, выучил нас всех обуваться и обувать государя по онучкам со всеми сноровками, опрятно и удобно для спокойствия ног; так что государь теперь никогда не намерен обуваться по чулкам”. Рассмотря и испытав истину удобства обуви по онучкам, я, поучась взятыми уроками у старых егерей моих, принял себе во всегдашнее средство успокоения ног, изнуренных походами и охотою с ружьем»³⁵.

События Отечественной войны 1812 года в который раз испытывали российского императора на прочность. Почувствовав, по его собственному признанию, «остроту обстоятельств», он направился к западной границе России, где были расквартированы войска 1-й Западной армии М. Б. Баркляя де Толли. К тому времени он последовательно лишился надежд на военную поддержку со стороны Польши, Австрии и Пруссии, заключивших союз с Францией. Правда, прусский король Фридрих Вильгельм III втайне заверил в письме царя: «Если война вспыхнет, мы будем вредить друг другу только в крайних случаях. Сохраним всегда в памяти, что мы друзья и что придет время быть опять союзниками». В ожидании перемен к лучшему он был один на один со своим вчерашним другом — Наполеоном, со дня на день грозившим вторжением его империи. Го-

сударь погрузился в разногласицу мнений по поводу плана кампании. А. П. Ермолов вспоминал об этом предгрозовом ожидании: «Мнения насчет образа войны были различны <...>. Военный министр (Барклай де Толли) предпочитал войну наступательную». Генерал Л. Л. Беннигсен сетовал: «Я не видел плана кампании и не знаю ни одного человека, который бы его видел». Главнокомандующий 2-й Западной армией князь П. И. Багратион настойчиво требовал разъяснений на случай нападения неприятеля: «Настоящее расположение армий довольно растянуто, чтобы при намерении неприятеля всеми силами нанести удар одной из них, можно было вовремя воспользоваться подкреплением от другой». Создавалась реальная угроза, что при переходе неприятелем границы русские армии сразу же будут отрезаны друг от друга. От государя требовали немедленных распоряжений, так как согласно Учреждению о большой действующей армии его присутствие на театре военных действий означало, что именно он является главнокомандующим. Прусский генерал на русской службе К. Клаузевиц сокрушался: «Верховное командование над всеми силами намеревался взять на себя Император. Он никогда не служил в действующей армии, а также не имел командного стажа». Даже офицер квартирмейстерской части скептически оценивал полководческие способности своего государя в сложившейся обстановке: «С нашей стороны распоряжался Государь; но на войне знание и опытность берут верх над домашними добродетелями»³⁶.

И все-таки он оказался в нужное время в нужном месте! Получив сведения об огромном численном превосходстве противника, «вступившего в пределы нашей земли», он, пусть неумело, сделал первый шаг к спасению Императорской армии: приказал отступать к Дрисскому военному лагерю в излучине Двины. «...Мы выступили по направлению к Дриссе, где находились укрепленные позиции. Государь пропустил нас мимо себя, когда мы строились в боевые колонны, и глядел на нас с улыбкой на лице, но я думаю, что на сердце у него было совсем другое. Неприятель находился между нашей армией и армией князя Багратиона»³⁷. Дрис-

ский лагерь принес одни разочарования: выстроенный по проекту прусского советника Александра I генерала К. Ю. Фуля, этот лагерь сразу же получил наименование «образца военного невежества». Все насмешки и издевки, высказанные опытными военачальниками в адрес прусского «стратега», в неменьшей степени задевали и самого императора. Сведения о «славном по слухам» лагере достигли и войск 2-й Западной армии. Так, Н. Н. Раевский сообщил родственнику в одном из писем: «Что предполагает Государь — мне неизвестно, а любопытен бы я был знать его предположения. У него советник первый Фуль — пруссак, что учил его тактике в Петербурге. Его голос сильней всех. Общее мнение, что есть отрасли Сперанского намерения. Сохрани Бог, а похоже, что есть предатели»³⁸. Князь Багратион, выводивший свою армию из окружения, недоумевал по другому поводу: «От Государя давно ничего не имею, впрочем, армия наша в таком духе и в расположении всем умереть у стен Отечества и знамен Государя, что желают наступать»³⁹.

Когда же Александр I выразил намерение самому ехать ко 2-й армии, то 6 июля в Полоцке ему было подано письмо, подписанное тремя высшими сановниками России (А. А. Аракчеевым, А. Д. Балашовым, А. С. Шишковым), где в учтивой форме от него требовалось немедленно покинуть армию: «Мы отбытие отселе Государя Императора прежде сражения потому почитаем нужным, что, во-первых, время не терпит и каждый день медления здесь делает великий перевес в делах; во-вторых, если неприятель нечаянно настигнет и, чего Боже сохрани! одержит знатную поверхность...»⁴⁰ Секретарь императрицы Н. М. Лонгинов сообщал о накалившейся в армии атмосфере: «Говорят, что Аракчев взялся быть исполнителем общего желания всех генералов. <...> Ненависть в войске до того возросла, что если бы Государь не уехал, неизвестно, чем все сие кончилось бы»⁴¹. В Петербурге ходили слухи, что один из генералов 1-й армии в глаза попрекнул государя тем, что «необходимо содержать не менее 50 000 войска, чтобы охранять его особу». Генерал В. В. Вяземский, у которого отношения с государем не заладились со вре-

мен Аустерлица, в 1812 году сражавшийся в 3-й армии генерала графа А. П. Тормасова, также не скрывал давнего раздражения. 30 августа 1812 года он записал в дневнике: «Теперь уже сердце дрожит о состоянии матери России. Интриги в армиях — не мудрено: наполнены иностранцами, командуемы выскочками. При дворе кто помощник государя? Граф Аракчеев. Где он вел войну? Какую победою прославился? Какие привязал к себе войски? Какой народ любит его? Чем он доказал благодарность свою отечеству? И он-то есть в сию критическую минуту ближним к государю. Вся армия, весь народ обвиняют отступление наших армий от Вильны до Смоленска. Или вся армия, весь народ — дураки, или тот, по чьему приказу сделано сие отступление. Всякую минуту мне приходит на мысль будущая картина любезной отчизны. Громкое ее название всё уже исчезнет, число обитателей ее убавится, может быть, до 9 миллионов, границы ее будут пространны и слабы. Надобно сделать новое образование управления. Какой запутанности, каким переменам все это подвержено будет. Религия ослаблена просвещением, чем мы удержим нашу буйную и голодную чернь? — О! Бедное мое отечество, думал ли я, что это последний том твоей истории. <...> — Нет, монарх, лучше бы ты обратил более на воинов своих твое внимание, нежели на купечество и просвещение»⁴².

«Година бедствий и печали» осталась в сердце императора незаживающей раной: судьбу Отечества и управление армиями взяли в свои руки те люди, кого он считал «обломками» прежнего царствования. Они сделали это уверенно и безапелляционно, оттеснив «избранника государя» М. Б. Барклая де Толли, оттеснив самого императора. Вероятно, никогда он не казался себе таким одиноким и бесполезным, как в тот день, когда его выставили из армии, как напроказившего юнкера. «Я пожертвовал для пользы моим самолюбием, — признавался Александр I в письме сестре, великой княгине Екатерине Павловне, — оставив армию, где полагали, что я приношу вред»⁴³. Уступая войска так нелюбимому им Кутузову, император признавал силу уходящего поколения, которое он неудачно и преждевремен-

но попытался заменить «новыми людьми». Ветераны «времен Очакова и покоренья Крыма» знали, что делали: они защищали Отечество и веру, все то, что совмещалось для них в особе государя, который теперь был нужен им как символ, а не как «светский человек», из лучших побуждений деливший с армией невзгоды отступления. Юный офицер лейб-гвардии Семеновского полка в эти дни записал в дневнике: «Я всегда жалел людей, облеченных верховной властью. Уже в 14 лет я перестал мечтать о том, чтобы стать Государем...»⁴⁴

В то же время нельзя не признать справедливость слов Ф. В. Булгарина: «Наполеон нашел достойного себе соперника в Императоре Александре, с той между ними разницей, что Император Александр знал, с кем имеет дело, а Наполеон, при всей своей гениальности, не постиг Александра, и был в совершенном заблуждении на его счет»⁴⁵. Зная, что Москва, древняя столица русских царей, превращена в пепелище, Александр проявил твердость. «Я или Наполеон, Наполеон или я, но вместе мы не будем царствовать», — сказал он генералу А. Мишо, прибывшему с горестным известием о сдаче Москвы неприятелю. Армия, которая так жестоко отвергла его в трудный час, с нетерпением ожидала ответа своего императора на мирные предложения Наполеона, «гостившего» в Москве. Александр не обманул ожиданий своих «любезных сослуживцев». Он понял, что он нужен, необходим своим воинам. По словам французского историка А. Труайя, «он нашел в себе силы из русского Царя превратиться в Царя русских».

В декабре 1812 года он приехал в Вильно к своим измученным, промерзшим, но победоносным войскам. Фельдмаршал Кутузов бросил к его ногам отбитые у неприятеля знамена. Те люди, о которых в минуты досады и горечи он говорил, что «они умеют только драться», заложили величественный постамент для его славы. Их ряды поредели, они погибали под Миром и Кореличами, Романовом и Островной, Смоленском и Бородином, Тарутином, Малоярославцем, Красным, Березиной. С этой минуты император Александр стал в Европе первой персоной. К русским войскам вскоре, как и обещали, примкнули пруссаки. Война повернула вспять от

российских границ. Отныне «наш Агамемнон» вызывал лишь восхищение, запечатленное в письмах, дневниках, воспоминаниях офицеров русской армии, пленявшихся великодушием победителя: «Многие черты создали нашему Государю репутацию милосердного и сострадательного человека. Мне приятно привести здесь пример, подтверждающий доброту его сердца. <...> Он теперь торжествует, — ведь французы сожгли Москву, разграбили богатейшие области, ввергли в нищету любимый им, драгоценный его сердцу народ. Судьба пленных не должна была бы его интересовать, ему должно было бы казаться естественным мстить за жестокости, в которых они повинны. <...> Но я не мог описать внутренность тех помещений, где они влачат и завершают свое жалкое существование, я не мог даже войти туда; а те, кого долг вынуждал туда заглядывать, выходили шатаясь, отравленные страшным зловонием.

Государю все это рассказали. Его охватил ужас, когда он узнал об этих отвратительных подробностях, и, дабы показать, как он умеет побеждать и прощать, он один, без свиты, завернувшись в шинель, прошел по самым зачумленным углам сего храма смерти. Дважды он пересек из конца в конец огромные залы, где смерть предстает в тысяче мучительных образов, его кроткие и ласковые слова подобно благодетельному бальзаму воскресили несчастных, которые не знали, кто сей великодушный, вносящий покой в их душу, кого им благодарить за расточаемые благодеяния. Он все сам увидел, обо всем распорядился, все смягчил своей кротостью и в ту минуту, когда его имя стало переходить из уст в уста, сопровождаясь самыми высокими эпитетами, в ту минуту, когда какой-то офицер узнал его, он покинул сию обитель скорби, куда внес радость и довольство, покинул ее, оставив всех пленных исполненными восхищения перед его милосердием, его добротой и всеми добродетелями, которые украшают его царствование не менее, чем блеск его военных успехов, — добродетелями, кои побуждают его подданных видеть в нем отца и друга»⁴⁶. Правда, сам Александр на вопрос графини Тизенгауз: «Что говорили пленные, узнававшие в посетителе Царя?» — отшутился: «Они принимали меня за адъютанта графа де Сен-При».

Наконец, сбылись заветные чаяния русского императора: он снова в армии, с которой у него до самых стен Парижа все стало общим: и опасности, и поражения, и победы: «В день битвы Люценской (21 апреля 1813 года. — *Л. И.*), когда пехота и конница сближались с неприятелем, вдруг раздался голос: “Государь!” Генерал Винценгероде тотчас поскакал навстречу Императору. Все бывшие при нем вслед за ним поспешили. Государь, выслушав от генералов донесения, благодарил за успехи в новом заграничном походе. Между тем Император приближался к линии неприятельской. Начальник штаба генерал Винценгероде отговаривал офицеров следовать далее за Государем, чтобы многочисленностью свиты не обратить особенного внимания неприятеля. Но никто не хотел отстать, все порывались за Александром I и составили около него полукружие. Неприятель открыл сильную пальбу. “Ядра, — говорит самовидец, — падали перед нами, за нами и около нас”. Но Император, как будто бы не слыша грома пушек и не видя опасности, спокойно продолжал рассуждать с генералом о движении неприятеля; потом вынул из кармана донесение генерала Милорадовича, прочитал оное вслух и поехал обозревать войска наши»⁴⁷. Войска считали для себя особой честью вступить в бой и отличиться на глазах обожаемого монарха: «Октября 2-го 1813 года гвардия снялась с лагеря и двинулась по тракту к городу Лейпцигу, где уже собрались все войска. Октября 4-го мы уже стояли на высотах перед Лейпцигом. Тогда Император наш подъехал к нам с своею свитою и с конвоем, поздоровался с нами и сказал: “Ну, финляндцы, с Богом в бой”. Мы крикнули: “Ура!” и рысью приблизились к местечку Госса <...>. Государь со свитою все время стоял на высотах у Госсы, тут мы дрались с французами весь день 4 октября. Великий князь расхваливал наш полк, к которому в Госсе несколько раз подъезжал благодарить финляндцев от имени Государя, который с высот видел их молодецкий натиск»⁴⁸.

С каким обожанием следили русские воины за своим государем, который, опираясь на их штыки, держал в своих руках судьбы Европы: «Союзные монархи, выехав на возвышенное место около города, приняли по-

сольство от одного, состоящее из важнейших генералов саксонских, от имени своего короля, которое униженно просило на несколько часов перемирия для очищения их города от французских войск, что по истечении одного времени особа короля со своими войсками отдается под покровительство союзных государей. Но российский император Александр в следующих словах дал ответ: «Скажите вашему королю, что он меня два раза обманул, а третий раз я ему не обязан верить»⁴⁹. Молодой свитский офицер А. А. Щербинин записал в дневнике 12 декабря 1813 года, накануне вторжения российских войск во Францию: «...Праздновали мы день рождения великого Государя нашего»⁵⁰. В величии их собственного государя русских офицеров убеждало поведение знаменитых иностранных военачальников, например, прусского фельдмаршала Г. Л. Блюхера, о чем поведал А. И. Михайловский-Данилевский: «В это время вошел Блюхер с прусскими генералами и их штабом. Фельдмаршал иногда шутит над своим королем и над слабостью его характера, он пренебрегает прочими монархами Европы и дорожит только двумя предметами: привязанностью прусской армии и уважением нашего Государя. “Он мой император, — говорит часто почтенный старик, — я ему доношу о моих военных действиях, а уже он пусть сообщает их королю. Он один может меня судить, и я от него принимаю охотно и выговоры, и награждения”»⁵¹.

И вот уже русские войска продвигаются по территории Франции. «<...> Хотя союзники наши и желали, чтоб мы шли медленно, но Государь с обыкновенною своею деятельностью подвигал их беспрестанно вперед, как будто вопреки их самих. Он и в сем походе был столь же весел, столь же любезен, как и в предыдущем, и таковым, как я после редко видал его в путешествиях и во дворцах его. Приучив себя с молодых лет переносить непостоянство стихий, он всегда был верхом в одном мундире, лучше всех одет; казалось, что он был не на войне, но поспешал на какой-нибудь веселый праздник»⁵². А. И. Михайловский-Данилевский вспоминал о битве при Фер-Шампенуазе: «Я пристально смотрел на Государя во время действия или лучше — не спускал

с него глаз, видя его в великой опасности. Я не скажу, чтобы он был совсем равнодушен, видно было, что душа его находилась в волнении, но он никак не изменял хладнокровию и с спокойствием распорядился малым числом войск, тут находившихся. Я видел, как Царь наш летел на тысячу смертей и потом стоял победителем посреди неприятельского карея, в котором офицеры и солдаты бросали оружие свое, между тем как воздух наполнялся свистом пуль и жужжанием ядер. Государь начал говорить с командовавшим неприятельским генералом Пакто, который в ответах своих называл Его Величество генералом. «Вы говорите с Императором», — сказал я Пакто. «Это невозможно, — отвечал он, — сколь ваш Государь ни храбр, но он верно не пойдет в атаку на пехоту с одною конницею». Император, услыша мой разговор с генералом Пакто, сказал мне, чтобы я не выводил его из заблуждения»⁵³.

18 марта 1814 года русские войска во главе союзных армий вступили в Париж. Этому событию предшествовало подписание Конвенции о капитуляции неприятельской столицы, 8-я статья которой гласила: «Город Париж передается на великодушие союзных Государей» и конечно же в первую очередь на великодушие русского императора, которому после пожара Москвы было что прощать недругу. Однако Александр не только воспретил акты мародерства в отношении поверженного противника, но и «повелел избавить город Париж от унижения — передать ключи его в какой-нибудь иностранный музей».

Бывший министр иностранных дел при Наполеоне князь Ш. М. Талейран де Перигор просил полковника М. Ф. Орлова, прибывшего для переговоров в штаб французских войск, защищавших Париж, повергнуть себя к стопам российского императора еще до подписания документа о капитуляции. Со стороны французов его подписал маршал Ф. О. Мармон, герцог Рагузский. Сам «трактат» капитуляции был, по словам русского парламентаря, «весь написан на простом почтовом листе» рукой полковника Орлова, вспоминавшего об этих днях необычайного триумфа русского оружия: «Приехавши в Главную квартиру, я ввел депутатов в большую залу

замка <...>. А сам пошел прямо к Государю, который принял меня, лежа в постели: “Ну, — сказал он мне, — что вы привезли нового?” — “Вот капитуляция Парижа”, — отвечал я. Император взял ее и прочел, сложив бумагу и положив под подушку, сказал: “Поцелуйте меня; поздравляю вас, что вы соединили имя ваше с этим великим происшествием”. Он заставил меня подробно рассказать о вечере, который я провел заложником, и обнаружил живейшее удивление, когда я рассказал ему о князе Талейране. “Теперь это еще анекдот, — сказал он, — но может сделаться историей”»⁵⁴. Безусловно, император и офицер его армии переживали звездные часы. Так «на вершине Монмартра погасли последние выстрелы ружей русских под развернутыми знаменами нашего Благословенного!»⁵⁵.

Для него, вероятно, было очень важно, что он входил в историю с этим наименованием: не «Великий», не «Незабвенный», а именно «Благословенный». Его царствование началось с убийства Павла I, в чем он никогда не переставал себя винить. Волнующие дни в Париже отгоняли прочь воспоминания о той давней трагедии, случившейся, так же как и низвержение Наполеона, в марте. Это ли было не доказательством благословения свыше и для него и для тех, кто знал о его причастности к заговору против собственного отца? «Следование армии нашей от Витри к Парижу было истинно торжественное и превосходит всякое описание. Государь <...> несколько раз в день объезжал Гвардейский и Гренадерский корпусы, приветствовал генералов и полковых начальников, которые все почти его воспитанники, ибо образовались в гвардии пред его глазами. Громкие и сердечные восклицания “Ура!”, барабанный бой и музыка возвещали прибытие Его Величества к каждому полку. Я никогда не видал Государя столь веселым, как в эти дни, он был любезнее обыкновенного», — вспоминал Михайловский-Данилевский⁵⁶. Так же смело и открыто он мог смотреть в глаза своим подданным по возвращении в Петербург: «Я никогда не забуду того выражения, которое я видел на прекрасном лице Государя, когда он, на другой день своего возвращения, окруженный генералами, подвизавшимися с ним вмес-

те, торжественно ехал верхом в Казанский собор слушать благодарственный молебен. Бесчисленное множество обожавших его подданных толпились вокруг своего монарха, который первый после Петра Великого лично предводительствовал своими войсками»⁵⁷.

Если первые годы царствования «Благословенного» Пушкин считал «дней александровых прекрасным началом» для России, то незабываемые дни в Париже можно с полным основанием считать самыми прекрасными днями в жизни российского императора. Александр ликовал вместе со своей армией, армия ликовала вместе с Александром. Можно ли упрекать в этом самозабвенном восторге «воинов Севера» (как их называли французы), прошедших трудный путь от обугленных стен Москвы до великолепного Парижа? Они до конца своих дней не могли забыть чувства радости, гордости, торжества, и в их воспоминаниях царь навсегда остался таким, каким они видели его на высотах Монмартра и посреди ликующих жителей столицы Франции. «После парада Государь наш почти на руках парижаннесен был и с верховою лошадыю к квартире его, в дом Талейрана, находившийся на площади Людовика XV, при конце бульварного проспекта, на углу левой стороны. Народ французский, прельщенный поступками и божественною доверенностию нашего Государя у них и к ним, препровождая его к квартире, как некогда своего благословенного Генриха IV, кричал: “Виват, ура!”, целовал руки, ноги его и даже прекрасного белоснежного коня Марса. Наконец, чтобы доказать свою приверженность к нашему Государю, парижские граждане ринулись с воплем от Талейранова дому на Вандомскую площадь и там стоявшую на монументальной колонне статую Наполеона, опутав кругом шеи канатными арканами, принялись тащить долой на землю, ревя яростно всякие поношения ему; о чем узнав, тогда Государь наш послал к ним своих генерал- и флигель-адъютантов, поручив им упросить народ от имени его “оставить такое их предприятие, могущее падением такой громады нанести утрату жизней многим из нападавших на лик почти не вредного уже никому, кроме себя”»⁵⁸. Жителей неприятельской столицы можно по-

нять: они опасались мести за сожженную Москву: «Следующие четыре изречения Его Величества были напечатаны во всех газетах. При въезде в Париж Государь сказал толпившемуся возле него народу: “Я вступаю не неприятелем, я возвращаю вам мир и торговлю”. Император прогуливался по Парижу, народ из уважения сторонился, чтобы давать место, на что им Государь сказал: “Не бойтесь, подходите ко мне”. Проезжая по Вандомской площади, на которой воздвигнута колонна, наверху коей находилась статуя Наполеонова в рост, Государь произнес сии слова: “Если бы я стоял так высоко, то я боялся бы, чтобы у меня не закружилась голова”. — “Мы уже давно ожидали прибытия Вашего Величества”, — сказал один француз, на что Император ответил: “Я бы ранее к вам прибыл, обвиняйте в моей медленности храбрость ваших войск”. Русский Император, так же как и русские воины, был приветлив и уважителен к мирному поселению, более того он льстил национальной гордости побежденных: увидев Аустерлицкий мост, напоминавший нынешним победителям о бывших несчастиях, Александр I произнес: “Без этого и мы не были бы теперь здесь”».

Не только офицеры, но и нижние чины запомнили «невыразимую улыбку» и «необыкновенную грацию» государя. Унтер-офицер Богданчиков поведал своему внуку: «Когда мы пришли в Париж, то наши хотели разбивать Париж, а покойник император Александр Павлович — он ведь был красавец — говорит: “За что мы будем жечь город, ведь эти люди ничем не виноваты”. Тогда из города к реке Сене вывезли ключи от Парижа, и Александр Павлович принял ключи и не стал бомбардировать город»⁵⁹. В памяти русского воина внешняя красота его государя и сохранение неприятельской столицы слились в одно целое. В этом есть определенная логика: союзникам казалось, что Александр I в стремлении произвести благоприятное впечатление на французскую публику излишне усердствовал. Так, английский дипломат лорд Кестльри, за месяц до вступления в Париж, высказал нелестное для русского царя замечание: «Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж,

по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной столицы»⁶⁰. Историк Н. Ульянов полагал: «Это желание нравиться чужим народам — отличительная черта Александра I. Можно подумать, что знаменитые мечтания юных лет рассчитаны были на завоевание популярности в Европе. Идея предстать перед нею более свободолюбивым, чем Наполеон, заключала одно из средств борьбы с ним»⁶¹. Свести историю противостояния России и Франции исключительно к тщеславному эгоизму русского императора, стремившегося из зависти затмить Наполеона, все равно что свести «династическое безумие» Наполеона, его стремление добыть себе и своим родственникам короны и титулы к зависти к помазанникам Божьим, в том числе к русскому царю. И тот и другой императоры в равной степени были склонны к актерскому действию, игре на публику, потому что театральность вообще была в ходу в ту далекую от нас эпоху, составляя ее повседневный «социо-культурный контекст». «Особую роль в культуре начала XIX века в общеевропейском масштабе сыграл театр. Театрализуется эпоха в целом. Специфические формы сценичности сходят с театральной площадки и подчиняют себе жизнь. Грань между искусством и бытовым поведением зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Люди этого времени строят свое личное поведение, бытовую речь, в конечном счете свою личную судьбу по литературным и театральным образцам»⁶². Наш государь играл свою роль (или жил) так, как он считал нужным, в соответствии с полученным им воспитанием, образованием, а главное — происхождением своей власти. Он мог быть вполне искренним, когда произносил эти слова: «Бог ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие».

Государь Александр Павлович был сыном своего времени — всеобщего счастья и благополучия он пытался достигнуть силой оружия. Он обладал несомненной добродетелью — не предавал возвышенных идеалов своей юности. Разочарование в либеральных идеях стоило ему жизни: по словам Меттерниха, «душа его рухну-

ла», и он угас на глазах своих современников, не дожив до 50 лет. Он умер смертью ветерана, так и не придумавшего, куда деть себя в мирное время. Но минуты счастья в его жизни были, им он был обязан своей армии. Кто бы упрекнул его в неискренности, когда он замыслил создание Военной галереи «в великолепных чертогах Своих, Зимнем дворце, соединив здесь портреты генералов, участников в войне. <...> В несколько лет неутомимый художник кончил работу свою. Нередко, в часы думы или отдыха, Император Александр посещал мастерскую Дова (художника Дж. Доу. — *Л. И.*), обращая взоры на лица людей 1812 года. Имевши однажды счастье сопровождать Его в прогулке по мастерской, я осмелился сказать Ему: “Здесь недостает главного, Государь”. — “Чего?” — спросил Император Александр. — “Вашего портрета”. — Он задумался, и с тою невыразимой улыбкою, которую помнят все, имевшие счастье беседовать с Ним, отвечал: “Это дело потомства”», — вспоминал А. И. Михайловский-Данилевский⁶³. На Триумфальной арке, которую он повелел соорудить на Петергофской дороге в память о тех, с кем «разделял военные труды», помещена надпись по-русски и, конечно, по-французски: «A mes chers compagnons d'Armes». Можно себе представить, как бились сердца его соратников, когда они читали эти слова, хотя государь почему-то счел нужным выразить свои чувства и по-французски. Очевидно, и в этом также проявилась историко-культурная повседневность той поры. Надпись на арке переводилась как: «Моим любезным сослуживцам». В отрывке из мемуаров декабриста А. Е. Розена, относящемся к кончине государя в декабре 1825 года, этим словам дан иной перевод: «К. И. Бистром объявил о кончине Императора (Александра. — *Л. И.*), поздравил с новым Императором Константином, поднял шляпу, воскликнул: “Ура!” — и слезы покатались из глаз его и многих воинов, бывших в походах с Александром, который называл их “любезными товарищами”. <...> Беспредельную любовь к Александру могу засвидетельствовать клятвою офицеров во многих армейских полках в 1812, 13, 14-м годах: “Не пережить любимого Государя!”»⁶⁴ В то время слово «любезный» означало «любимый»...

Глава пятая
ЧИН И ОРДЕН

*...Предпочтеннейший граф мой!
Вы сами видите истину пословицы русской, что худо тому служить, кому бабушка не ворожит.*

Из письма генерал-лейтенанта
П. М. Капцевича графу А. А. Аракчееву от 15 октября 1812 года

Нередко нам приходится наблюдать простую житейскую сцену: незнакомые люди где-нибудь в аэропорту, в поликлинике и т. д. непринужденно вступают в продолжительную беседу, не интересуясь ни именем собеседника, ни (тем более) его местом работы и должностью. Подобная ситуация была невозможна для человека XVIII—XIX столетий. Любая форма общения предполагала наличие полных сведений о лицах, в ней задействованных, пусть даже мимолетных попутчиках. Первая информация, которую сообщал о себе, не дожидаясь расспросов, благовоспитанный человек в незнакомом обществе, — чин и фамилия. Последняя даже в те времена не всегда могла многое сказать о своем носителе; далеко не каждый дворянин принадлежал к титулованной знати или просто к старинному роду с громким именем. Мало ли среди благородного сословия было тех, чья родословная ограничивалась всего несколькими поколениями служилых предков? Тот, кто не мог похвастать раскидистым генеалогическим древом, с особым удовольствием объявлял свой чин, тем самым точно указав координаты своего общественного бытия. В зависимости от этих сведений строилась линия поведения между незнакомыми людьми, оказавшимися в одной компании. Без знания чина собеседника легко было попасть в неловкое положение: «взять неверный тон» со старшим или впасть в недостойное панибратство с младшим. Военным в этом отношении было гораздо проще, чем штатским: почти всю необходимую информацию они носили на себе: сочетание цветов мундира и приборного сукна, шитье на ворот-

нике, цифры или буквы на поле эполет, «жирность» самих эполет, — все это позволяло сведущему человеку без труда определить, с кем он имеет дело. Сведущими же в этом вопросе были все, в силу историко-психологических особенностей эпохи, охарактеризованной А. С. Пушкиным в записке «О народном воспитании», предназначенной для императора Николая I: «Чины сделались страстью русского народа <...>. В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником...»

Азартную погоню за чинами в России один из дореволюционных государственных деятелей определял как «феномен, выросший в привычки русского честолюбия». Ввиду того что мы имеем дело именно с «феноменом» исторической психологии, мы вряд ли поймем мотивацию поступков наших героев, механически заменив устаревшее слово «чин» современным словом «звание». Эта замена будет не адекватной: словом «звание» не исчерпывается глубина понятия такого многозначного явления русской действительности, как «чин», хотя бы потому, что к чинопроизводству стремились не только военные, но и штатские. Более того, Александр I запретил жаловать придворные чины лицам, не состоявшим на военной или гражданской службе. Когда один из персонажей знаменитой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» произносит фразу: «Чин следовал ему — он службу вдруг оставил», — то в этих словах содержится не только сожаление о нереализованной возможности служебного успеха. Нет, в этих словах заключена драматическая картина разрушения мира, созданного в 1722 году Петром I в Табели о рангах и усовершенствованного при Павле I и Александре I. Мы можем констатировать факт исключительной значимости этого документа на судьбы не только российского дворянства, но и других сословий (кроме крепостных), так как «не дворяне», по достижении ими XIV класса в военной службе и VIII — в гражданской, обеспечивали себе и своему потомству принадлежность к благородному сословию. Но даже потомственные дворяне были безмер-

но счастливы, достигнув первого офицерского чина, что видно из воспоминаний И. Р. Дрейлинга: «Было это 27 июня (1811 года. — *Л. И.*). Я как раз был занят тем, что в поте лица своего, старательно и с большим усердием чистил свои ботфорты; вдруг влетает ефрейтор нашего отряда Кондратенко: “Ваше благородие, честь имею вас поздравить с офицерским чином!” Швырнуть мои ботфорты и броситься на шею вестнику такого счастья было первым проявлением моей радости <...>. Два с половиной года нес я верой и правдой тяжелое ярмо унтер-офицерской службы»¹.

Однако, даже признав за Табелью исключительную роль в повседневной жизни наших героев, мы вряд ли сможем до такой степени вжиться в их психологию, чтобы подобно им ощутить, что на белом свете существует универсальная единица измерения всех видов человеческого счастья (в том числе семейного): чин! Поэтому не только лица мужского пола, но даже женщины и дети с легкостью могли в один миг в уме соотнести между собой военные, гражданские, придворные чины одного класса. Так, если в рескрипте государя говорилось, например, о пожаловании придворного чина гвардии полковнику, то это означало, что он стал камергером; если действительный статский советник, по распоряжению императора, переводился в армию «с тем же чином», это означало, что он становился генерал-майором. В то же время всем вышеперечисленным чинам IV класса на флоте соответствовал чин контр-адмирала. Можно задаться вопросом: для чего женщинам и даже детям нужна была эта доскональная осведомленность в «науке» чинопроизводства, которую Суворов однажды образно назвал «диалектикой»? Дело в том, что принцип старшинства в чинах, пронизывая русское общество сверху донизу, распространялся и на них². В Табели о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке): «Напротив того имеют все девицы, которых отцы в 1-м ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5-м ранге обретаются, а именно, ниже генерал-майора, а выше бригадира, и девицы,

которых отцы во 2-м ранге, над женами, которые в 6-м ранге, то есть ниже бригадира, а выше полковника; а девицы, которых отцы в 3-м ранге, над женами 7-го ранга, то есть ниже полковника, а выше подполковника, и проч.»³. Правда, чин бригадира был упразднен еще при Павле I, в остальном же «распорядок действий» в присутственных местах оставался прежним. В те времена не приходилось рассчитывать на то, что, скажем, «девица 2-го ранга» из вежливости во время придворной церемонии или во время церковного богослужения допустит встать впереди себя «жену 7-го ранга», уважая возраст последней. Таким образом, «ранг» женщины, всецело зависящий от служебного положения отца или мужа (если она, конечно, не состояла на придворной службе), был для нее значим не менее, чем для мужчины. Например, князь П. А. Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который «с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на Седьмой линии он любил даму XII класса»⁴.

Однако почетное «старшинство» отцов не распространялось на сыновей, которые должны были выслужить «ранги» самостоятельно. Именно поэтому родители добивались записи своих детей в полки «с пеленок». Более того, некоторые «радетельные» отцы записывали на военную службу «сыновей», пока те еще находились в утробе матери; если же рождалась дочь или ребенок вдруг погибал при родах, что в те времена случалось довольно часто, то в Военную коллегию просто сообщалось о смерти «военнослужащего». Тот, кто по совершеннолетию вступал в военную службу, начинал ее в том чине, который обеспечивался протекцией влиятельных людей, а тот, кто и не думал подвергать себя военной опасности, сразу же выходил в отставку с чином поручика. В последнем случае может показаться, что было бы удобнее вовсе не зачисляться на военную службу или записаться в гражданские чиновники. Однако в штатской службе чинопроизводство продвигалось несравненно медленнее, чем в военной; в отсутствие же чина дворянин на всю жизнь оставался «недорослем» без права занимать какие бы то ни было должности, невзирая на имущественное положение.

Это социальное явление эпохи 1812 года так комментировалось представителем благородного сословия середины XIX века: «...Никогда не следует забывать, что не только деды, но и отцы и дяди наши — все сплошь почти были армейские и гвардейские отставные поручики и штаб-ротмистры»⁵.

Каким образом эта «деятельная забота» о чинах проявляла себя в повседневной жизни наших героев? Для ответа на этот вопрос попробуем мысленно перенестись в Петербург начала XIX столетия и ощутить себя в ситуации, живо описанной в письме сардинского посланника Жозефа де Местра, неожиданно обнаружившего, что в орбите российского чиновничества оказался не только он сам, но и его собственный сын. Вероятно, взгляд на русский «феномен честолюбия» со стороны иностранного дипломата в чем-то несколько сродни нашему взгляду из другой эпохи. Аристократ из Пьемонта сообщал своему «конфиденту» в душевном волнении: «Здесь вокруг одни чины, и не существует никакого другого разделения людей; даже происхождение почти не существенно. Вся Империя состоит из шестнадцати классов (14-ти. — *Л. И.*); не входят в них лишь рабы. Посылать сюда сына полномочного посланника в качестве дворянина при посольстве, но без чина — это все равно, что велеть мне представить его ко двору одетым в ночную рубашку. <...> Со всеми курьерами писал я жене своей, чтобы она задержала нашего сына, но ежели он приедет сюда, я, конечно, сам одену его и выхлопочу ему чин. Я сделаю все пристойным образом, как подобает особе второго класса...»⁶ На протяжении нескольких дней Ж. де Местр сообщал в письмах интересные подробности, связанные с зачислением сына на военную службу: «Гражданская служба представляет лишь неверный и отдаленный шанс, мне же надобно для него быстрое продвижение. Оставалось, следовательно, только военное поприще, а на оном особое войско (гвардия). Меня весьма пугало правило, за строгим соблюдением коего следит сам Император и состоящее в том, что начинать полагается с унтер-офицера. 24-летний польский князь Любомирский, пожертвовавший 1 000 000 рублей на бедных, рассчитывал, по

меньшей мере, получить за таковой дар сразу офицерский чин в гвардии. Но Император долго не соглашался; наконец, после того как была пущена в ход вся возможная протекция, он уступил, но при условии, что для формы князь послужит восемь дней в армейском полку. Сия милая шутка показывает вам, как здесь все устроено. Император не хочет, чтобы говорили, будто в его гвардию поступают сразу офицерами.

Я просил, смирившись, как вы понимаете, и с восемью, и с шестнадцатью днями. Через три или четыре дня я обедал у барона Будберга, который, отведав меня в сторону, сказал буквально следующие слова, которые навсегда сохранятся у меня в памяти: «Г-н граф, Император поручил мне передать вам, что он с превеликим удовольствием рад исполнить просьбу вашу. Он определяет вашего сына в свой первый гвардейский полк (кавалергарды) и сразу же дает ему чин корнета (соответствует поручику в армии)»⁷.

Итак, молодой человек из «хорошей фамилии» благополучно вписался в универсальную систему российского счастья, что в конечном итоге привело его к участию в Отечественной войне 1812 года: обратной стороной медали скорого военного производства являлось то, что чины затем приходилось оправдывать на полях сражений. Впрочем, было бы не исторично видеть в «феномене честолюбия» лишь вульгарное стремление к личному успеху; продвижение по служебной лестнице — это еще и зримое выражение заслуг перед Отечеством, нашедших общественное признание. Среди русских офицеров эпохи 1812 года подавляющее большинство могло, подобно А. П. Ермолову, сказать о себе, что служба являлась для них «господствующей страстью». Основываясь на данных переписки военных деятелей александровского царствования, современный исследователь нарисовал, на наш взгляд, весьма схожий психологический портрет русского офицера «героической поры»: «Служба для них не только главное занятие. В ней — основной смысл их жизни. Она стержень, на котором эта жизнь держится. Она — возможность отдать тот долг, который каждый гражданин, по их мнению, обязан Отечеству, России. Служба имеет

смысл, если приносит пользу. Стремление сделать карьеру обосновывается (или оправдывается?) именно возможностью принести больше пользы стране. <...> “Дай Бог мне быть тебя чиновнее, то есть полезнее России, ибо первое у меня ценится последним...” — вот обычные их мысли⁸. Служение Отечеству, со времен Петра I, действительно, составляло основу государственной идеологии, абсолютный нравственный идеал для подданных, ближе всего к которому в ту эпоху находились, естественно, военные. В их понятии «оказаться полезным» означало получить Божье благословение. Приведем строки из «Журнала» Д. М. Волконского: «Вечеру, около 8 часов, пришли ко мне все полковые начальники Тульского ополчения и просили у меня позволения поднести мне шпагу от лица всего благородного общества, служащего в ополчении, я за честь их благодарил и принял с чувством признательности сей знак их благорасположения ко мне. Они, не довольствуясь сим, даже хотят писать к предводителю их тульскому, пригласить и тамошнее дворянство участвовать с ними и благодарить меня за командование. Таковая честь весьма для меня лестна, я приемлю сие Божиею милостию, ибо он преподал мне способы им быть полезну и ими любиму»⁹.

Конечно, между идеалом и повседневной жизненной практикой существовали неизбежные противоречия: во-первых, на военную службу нередко вступали, руководствуясь материальными соображениями; во-вторых, чины, как следует из того же письма Ж. де Местра, отнюдь не всегда являлись результатом усилий их обладателей. Шансы добиться признания своих заслуг у наследника богатой аристократической фамилии и мелкопоместного, а то и вовсе «безземельного» и «бездушного» дворянина были не равны. Однако эта возможность существовала, она не была пустой и бесплодной мечтой. В эпоху 1812 года на высших государственных должностях и командных постах в армии находились выходцы отнюдь не из самых богатых и близких ко двору фамилий. Достаточно привести в качестве наглядного примера «карьер» (это слово в те годы нередко употреблялось в мужском роде) все-

сильного графа А. А. Аракчеева, возвысившегося из неизвестности и бедности, по образному выражению современника, «без всяких предварительных знамений». Не менее убедителен путь к славе главнокомандующего 2-й Западной армией князя П. И. Багратиона, хотя и происходившего из древнего рода грузинских царей, но вступившего на военное поприще «без связей и состояния». Неслучайно генерал А. Ф. Ланжерон восхищался этим чудом: «Я его видел в Петербурге, в 1790 году, в казачьей форме, мало известным и не принятым ни в одном доме. 19 лет спустя он командовал армиями!»¹⁰ Наконец, в качестве доказательства служебного успеха, укажем на стремительный служебный взлет главнокомандующего 1-й Западной армией М. Б. Баркляя де Толли — внука рижского бургомистра, завершившего «большую войну» в чине фельдмаршала и его начальника штаба генерала А. П. Ермолова, признававшего, что «его происхождение не имело в себе ничего особенного». Согласно статистике, среди офицеров, служивших в армии в 1812 году, на долю выходцев из титулованных аристократических семей приходилось не более 1,5 процента, в то время как 77 процентов офицеров не владели ни крепостными, ни какой-либо недвижимостью. Можно признать, что возможность кадрового продвижения не распространялась на крепостных, для остальных же сословий все зависело от «расторопности, отважности и счастья» (Суворов). Именно военная служба могла продвинуть «усердных и деятельных сынов Отечества» так высоко, как ни один гражданский чиновник не смел и помыслить. В русской армии 1812 года офицерские эполеты заслужили примерно 5 процентов солдатских детей, 1,4 процента — выходцев из духовенства, 0,5 процента — из купеческого сословия и, наконец, 0,8 процента — из крестьян. «В России считаешься знатным, когда достигнешь военного чина», — констатировала знаменитая французская писательница мадам де Сталь. Ее малоизвестный современник-россиянин полагал так: «Сын чести и порядка получит ему предназначенное в свое время»¹¹. Следует признать, что положение «солдатских и крестьянских сыновей» в офицерской среде, куда они попадали с таким трудом,

было довольно безрадостным. Обратимся к запискам И. Т. Родожницкого, который сам, кстати сказать, был сыном врача: «Поручик К., в начале российской кампании, служил в нашей роте фельдфебелем <...>, за усердие к службе он был произведен в поручики. Теперь, в первый раз в жизни, пришлось ему гостить в великолепных палатах, сидеть за большим столом, где болтают вовсе непонятным для него языком, кушать на фарфоре серебром... Такое положение было ему в тягость, и он сам чувствовал, что попал не в свою тарелку».

Если быт всего русского общества начала XIX столетия в целом можно охарактеризовать пословицей «чин чина почитай», то в военной среде это почитание, естественно, возводилось в «религию». Причем, при Александре I, как и при его отце Павле I, формальные дисциплинарные требования к офицерам все более и более ужесточались: государь не выносил духа барского своеволия, царившего в гвардии при Екатерине II. Так, в приказе военного министра графа А. А. Аракчеева от 9 июня 1808 года говорилось: «Нередко случается, что, особливо в публичных собраниях, младшие чиновники не сохраняют в отношении старших должного уважения и даже самой благопристойности, то причину сему отношу я не столько на счет младшего чиновника, как к лицу старшего, упускающего из виду должное за сие взыскание...»¹² Неукоснительные требования к соблюдению почестей, «прилежащих к чину», повторяются в приказе великого князя Константина Павловича «по всей кавалерии» от 29 октября 1808 года: «Господам офицерам перед всеми генералами делать вне службы фронт, как на улице, так и во всяком другом месте, исключая, если случится сие в комнатах, подняв левую руку к шляпе, киверу или каске, а в комнате, встретясь с генералами, становиться к оным лицом»¹³. До 23 июня 1808 года офицеры при встрече с императором или с генералами снимали шляпы; теперь же им предписывалось, «во-первых, останавливаться, и, во-вторых, поднимать левую руку к шляпе». Кроме того, великий князь счел нужным заметить своим подчиненным: «Всем генералам, штаб- и обер-офицерам наиубедительнейше предписываю себе вразумить, что как в службе, так и

вне оной, во всяком обществе, в публичных собраниях, на гуляньях — единым словом везде, где двое встретятся, один из них есть старее и для того младшему перед старшим оказывать военное почтение и послушание и что мнимого названия в одном чине (камрачества) товарищества нет, ибо один выше, а другой ниже в списке поставлен»¹⁴.

В приказе цесаревича речь идет о ежегодно публикуемых «Списках по старшинству», в которых перечислялись по чинам все, кто находился на службе в российской армии, благодаря чему и не существовало равенства даже для тех, кто состоял в одном чине, ввиду того, что в списках по старшинству, действительно, один неизбежно опережал другого. Наиболее выразительный пример из эпохи 1812 года — князь П. И. Багратион и М. Б. Барклай де Толли, возведенные в чин генералов от инфантерии в один день, одним указом императора. Однако фамилия Багратиона стоит в указе, а соответственно и в «Списках по старшинству», перед фамилией Баркляя де Толли. Не осознав этой существенной разницы, вряд ли можно оценить величину жертвы, которую принес государю и Отечеству прославленный военачальник в 1812 году. Вот как сообщал об этом Ермолов: «Трудно лучше меня знать князя Багратиона — и сколько беспредельна преданность его к Государю, для которого жизнь почитал он малою жертвою; но со всем тем ничто не заставило бы его подчиниться Баркляю де Толли, в кампанию 1806 и 1807 годов служившего под его начальством. Война отечественная, в его понятии, не должна допускать расчетов честолюбия и находила его на все готовым»¹⁵. В адрес Баркляя Ермолов сделал следующее замечание, исполненное гневной патетики: «Власть — дар Божества бесценнейший! Кто из смертных не вкушал сладостного твоего упоения? Кто, недостойный, не почитал себя участником могущества Божия, Его благостию уделяемого? Но для чего ты украшаешь не одних, идущих путем чести? Для чего одаряешь исторгающих тебя беззаконием?»

Однако история о чинопроизводстве Багратиона и Баркляя не исчерпывалась замечаниями Ермолова. Оба военачальника были произведены в генералы от

инфантерии за отличие в кампании против шведов 1808—1809 годов. Во главе своих войск они прошли по льду Аландский пролив* до берегов Стокгольма, предприняв тем самым победоносный исход войны. Однако производство в чин за отличие, пусть даже всеми признанное, вызвало негодование среди сослуживцев, увидевших в этом случае прежде всего возмутительное «беззаконие». Оба военачальника обошли по службе нескольких генерал-лейтенантов, которые тут же опротестовали волю государя, подав прошения об отставке. Среди тех, кто возвысил голос против нарушения порядка, регламентируемого Табелью о рангах, были такие уважаемые генералы, как князь Д. В. Голицын, Д. С. Дохтуров, граф А. И. Остерман-Толстой, М. И. Платов, Н. Н. Раевский, которые до поры до времени ничего не имели против «фигуры» князя П. И. Багратиона. С Дохтуровым Александр I посчитал нужным объясниться, в то время как и без того строптивного графа Остермана он счел нужным отправить в отставку, собственноручно начертав на его прошении: «вычеркнуть из списков».

Действительно, по мере продвижения офицера по службе проблема «старшинства» становилась все более острой и к моменту достижения генеральского чина приобретала характер кульминационной развязки в карьере. Эта ситуация наглядно отражена в тексте прошения от 19 сентября 1801 года одного из главных лиц эпохи Н. Н. Раевского: «Всемилоостивейший Государь! 1792 года генваря 30-го дня был я пожалован в полковники всеавгустейшей Бабкой вашего императорского величества, продолжал мою службу в войнах, Турецкой три кампании, в Польше служил две кампании, где получил два знака отличия, потом на Кавказской линии командовал полком и в Персии, при выходе из сего заграничного похода получил я выключку, через приказ в коем вина моя не сказана <...>. В течение сего времени *служащие при мне майоры* произошли (выделено мной. — Л. И.) чинами в генерал-майоры. И потом, когда имел щастье быть принят в службу вашим император-

* Имеется в виду Кваркен — пролив между Аландскими островами и Скандинавским полуостровом.

ским величеством, остался я их всех моложе <...>. Того ради прошу Всемилостивейше приказать возвратить по чину моему следующее мне старшинство»¹⁶. Перед нами типичная история офицера «со связями» из эпохи Екатерины II, который получил чин полковника и лишь затем отправился в поход. Смена царствования нарушила «правильный» ход его карьеры; вернувшись на службу в царствование Александра I, Раевский попал в иную реальность, когда практика записи младенцев в полки уже была прекращена, но люди из прежней эпохи существовали, следовательно, существовали и их амбиции, их понятия о справедливости и «беззаконии». Впрочем, и обошедшие Н. Н. Раевского по службе при Павле I также воспользовались благоприятным случаем, касающимся в первую очередь тех, на чьей стороне были «знатность рода и сильные при дворе связи». Приведем в качестве примера рассказ князя А. Г. Щербатова, который во времена Павла I оказался счастлив по службе не менее Раевского в предыдущее царствование: «В Петербурге мне не трудно было по фамильным связям войти в лучшее общество. <...> Быстрое производство в чины, происходящее от того, как я уже сказал, что многие оставляли или отставляемы были от службы, возвело и меня вскоре в капитаны, чрез четыре месяца потом в полковники, а чрез полтора года, то есть 28 ноября 1800 года, в генерал-майоры с назначением шефом полка моего имени, квартирующего в Петербурге. Можно себе вообразить, как лестно было самолюбию молодого человека на двадцать пятом году так рано стать на сию высокую военную степень и видеть себя начальником полка в столице»¹⁷.

По-видимому, проблема «старшинства», возникшая «на стыке» двух царствований, была весьма актуальной в первое десятилетие XIX века. В 1808 году Александр I специально издал указ о том, что никто не имеет права просить о производстве в генералы «в сравнение со сверстниками, ибо оно зависит не от старшинства, а от монаршего соизволения». Практика военного времени не могла не сказаться на всем порядке чинопроизводства: присвоение очередного чина за оказанное отличие на фоне значительной убыли в офицерском

составе стало повседневной нормой эпохи непрерывных войн. Так, генерал екатерининского времени князь Д. М. Волконский с некоторым изумлением записал в своем «Журнале»: «Октября 1813. 9-го поутру узнал я о большом производстве генералов 15 сентября. 64 генерал-майора и 12 в генерал-лейтенанты пожаловано»¹⁸. Ситуации, подобные этой, вызывали обиды и неудовольствия в обществе военных. Так, 16 июня 1810 года С. Н. Марин отправил своему другу графу М. С. Воронцову радостное письмо: «Ты уверен, любезный Воронцов, с каким удовольствием поздравляю тебя с генеральским чином. Я узнал это из первых, право, как сумасшедший прыгал»¹⁹. Но в 1812 году тот же Марин заметил в письме к тому же адресату: «Я всегда был, несмотря на то, что и ты произведен, против производства за отличие. Сколько тут зла! За одного порядочного производятся пять дрянных, чему все свидетели. Гораздо бы лучше, если бы шло по старшинству»²⁰. Думается, что С. Н. Марин, которому не особенно везло в военной карьере, противоречил самому себе: при производстве «по старшинству» продвижение по службе, вероятно, замедлилось бы, но пропорция между «порядочными» и «дрянными» все равно сохранилась бы. Причина яростного приступа негодования также очевидна: невзирая на возраст и выслугу лет, Марин продолжал оставаться полковником, в то самое время, как его сослуживцы (речь идет о генералах принце Карле Мекленбургском и Д. П. Неверовском), отличившись в «поле», стали уже генерал-лейтенантами. «Теперь-то принчик запьет; ведь он, кажется, произведен за рану! А Неверовский за что? <...> За Краснинскую ретираду не стоит он ничего, ибо тут всякий солдат делал то же, что и он, — не сдавался неприятелю; а это между русскими не мудрено». Воронцов, также произведенный в генерал-лейтенанты за взятие города Познани, в ответ промолчал: «мудрено» или «не мудрено», но Марина в сражении под Красным не было, а был Неверовский, который во главе своей дивизии, состоявшей наполовину из новобранцев, 2 августа 1812 года совершил знаменитое «львиное отступление» к Смоленску, во время которого он «ни разу не позволил себя отрезать, бился в рукопашной схватке...»²¹.

Даже после указа императора вновь произведенные в следующий чин ревниво и внимательно продолжали следить за «диалектикой», к чему и сам государь подчас относился с пониманием. В рассказе Д. В. Давыдова приводится случай из жизни А. П. Ермолова: «Алексей Петрович, будучи 410-м генерал-майором по старшинству, был произведен за сражение при Заболотье в генерал-лейтенанты. <...> В приказах не было объявлено о его производстве, он вошел о том с рапортом к князю Кутузову, который оставил это без всякого внимания. Во время вступления наших войск в прусские владения Государь был столь милостив к Ермолову, что приказал графу Аракчееву узнать, не почитает ли Алексей Петрович себя чем-нибудь оскорбленным; когда найден был его рапорт к князю Кутузову, последовал высочайший приказ о его производстве со старшинством со дня сражения при Заболотье, и по этому поводу состоялось Высочайшее постановление о том, что старшинство в чине должно полагаться со дня оказанного отличия»²².

Естественно, что каждому чину в армии соответствовала занимаемая должность; по этой причине «высокое самоотвержение», проявленное Баркляем в декабре 1812 года, когда он после непродолжительной, но болезненной для его самолюбия отставки вернулся в строй, не получив достойную его чина «команду», следует признать исключительным. «Я служу Отечеству и Государю, — объяснил свой поступок военачальник, — и когда Государь находит меня способным командовать 100-тысячною армиею, то я обязан командовать, а когда поручают мне в командование 100 человек, то я не должен отказаться»²³. Однако и Барклай в этом отношении не всегда оставался стойким. Так, в 1812 году, будучи крайне недоволен интригами своего начальника штаба Ермолова, он позволил себе раздраженное высказывание, свидетельствующее о том, какое место занимала «диалектика» в сознании военных той поры: «И тот, который долженствовал мне быть правою рукою, отличаясь только под Прейсиш-Эйлау в полковничком чине, проискамы у дворца ищет моего места; а дабы удобнее того достигнуть, возмущает моих под-

чиненных»²⁴. В гневе, как это часто случается, Барклай совершенно забыл про то, что своим стремительным возвышением он был обязан главным образом волеизъявлению государя императора. Подлинная служебная драма предстает из письма генерала П. М. Капцевича от 15 октября 1812 года: «Все мои товарищи идут вперед большими шагами, я остаюсь один назади. Самолюбие ли мое, благородная ли гордость и неунижение тому причиною, не понимаю. Вы знаете лучше, чем кто другой, мой нрав, каков я: никогда не прошу ничего и не высказываю вперед; в дежурствах и у правителей канцелярий никогда не знаком и всегда правило одно при мне останется, коего ни за что не променяю, через что в нашем гибком и глупо-просвещенном веке я теряю, а еще более того теряю я через мою скромность и застенчивость, не быв рожден дерзким человеком». Можно было бы тяжело вздохнуть, видя несправедливость судьбы по отношению к человеку, беззащитному перед ее ударами, когда бы не имя адресата, которому предназначались эти строки. Письмо с явно «дальним прицелом» было направлено «почтеннейшему благодетелю» графу А. А. Аракчееву и, кроме вызывающего восхищение «психологического портрета» самого автора послания, содержало информацию о сослуживцах, которые, судя по всему, не были столь добродетельны, как он. Не в силах превозмочь обиды, П. М. Капцевич сообщал: «...Все делается по фаворам и по интригам, я все-таки команду дивизией, когда даже генерал-майор граф Строганов командует корпусом после генерал-лейтенанта Коновницына, ныне дежурного генерала при главнокомандующем армиею. А еще к большему меня огорчению, послу убитого в деле 6-го числа генерал-лейтенанта Багговута, корпус его 2-й отдан генерал-лейтенанту князю Долгорукову, младшему меня и не видавшему другого огня, кроме дипломатического в своем камине в кабинете. Что мне после сего делать? Просить мне должного, я не обязан изгибаться; оставить службу тогда, когда Отечественная война, грех и совестно; рапортоваться больным, как многие другие служивые делают (намек на Барклай. — Л. И.), и того еще гаже. <...> Скажите, предпочтеннейший граф мой, что-либо к уте-

шению разорванной души моей!»²⁵ Перед нами еще одна история, связанная с «непостоянством фортуны». П. М. Капцевич, по окончании Артиллерийского и Инженерного шляхетного кадетского корпуса, в 1792 году был выпущен в Гатчинские войска Павла I. Начало карьеры «фрунтового артиста» было замечательным, принимая во внимание скромность его происхождения: в 25 лет он стал генерал-майором, а два года спустя — уже генерал-лейтенантом. А еще через два года не стало Павла I, после смерти которого на «гатчинцев» в армии стали косо посматривать: действительно, среди них было немало честных и ревностных служаек, отличных администраторов, но военными талантами они не блистали. Капцевич — один из немногих офицеров «гатчинского войска», кто в 1812—1815 годах служил в «поле», в 1813 году получив в командование долгожданный корпус, в остальное же время своей 55-летней беспорочной службы он предпочитал именно административные должности и занимал их с успехом.

Еще одной крупной неприятностью, «разрывавшей души» военных той эпохи, являлось прибытие в полк сослуживца, переведенного из другого полка на вакансию; в то время это случалось довольно часто. Подобным образом продвигали по службе в первую очередь «перспективных» офицеров, которые после успешного экзамена на чин или внеочередного производства за отличие сваливались как снег на голову своим новым однополчанам, рассчитывавшим после выслуги лет занять определенную должность. В записках Я. О. Отрощенко выразительно описана сцена «радостного» свидания: «1 августа Высочайшим приказом произведены выдержавшие экзамен в майоры, и я переведен в 14-й Егерский полк. <...> Когда прибыл я в полк, то на другой день пришли ко мне два старшие капитана сего полка в пьяном виде с вопросом, кто просил меня переходить в этот полк. “Никто не просил, — отвечал я им. — По Высочайшей воле Государя Императора назначен я сюда и как начальник ваш приказываю вам выйти вон”. Они поклонились и ушли»²⁶.

Порядок чинопроизводства, сломанный затяжной и масштабной войной, вызывал негодование не только

среди военных. Девушка М. А. Волкова в письме к девушке В. И. Ланской от 15 августа 1812 года дала волю накопившимся чувствам: «По всему видно, что нам приходится поплатиться за безрассудство двух наших главнокомандующих и за несогласие, возникшее между ними вследствие нового порядка, отменившее старшинство по службе и уничтожившее всякое подчинение между генералами. Платов, старший из них по службе, находится под командою у двух главнокомандующих; а Барклай, который по службе моложе Платова, Багратиона и еще двенадцати генерал-лейтенантов, которые у него под командою, заведует всем войском <...>. Если так легко было нашему доброму Царю уничтожить порядок, существовавший испокон веку, с другой стороны, нелегко будет нашим генералам свыкнуться с порядком, по которому вчерашний начальник сегодня поступает под команду к своему подчиненному. Такие правила невыносимы для нас, русских...»²⁷ Если даже барышни в России в эпоху 1812 года с дрожью в голосе рассуждали о проблемах военного чиновничества, то можно себе представить, насколько актуальной была эта тема в офицерской среде! В истории бытования Табели о рангах нельзя не отметить важного обстоятельства: документ, созданный по царской воле с целью упорядочения и регламентации государственной жизни, использовался подданными для защиты своих прав от произвола той самой власти, которая даровала им Табель, просуществовавшую в русском обществе в качестве организующей силы почти 200 лет.

Но времена менялись. В эпоху 1812 года среди русских офицеров в силу новых веяний в воспитании находились «вольнодумцы» и скептики, склонные объяснять страсть к чинам и наградам прежде всего людским тщеславием. Таких офицеров в русской армии было сравнительно немного, как правило, они «группировались» в гвардии, а первым среди них был, безусловно, А. В. Чичерин. Заглянув в дневник свободолюбивого прапорщика, мы обнаружим там глубокий анализ его честолюбивых помыслов, где, однако же, главная роль отведена «общественной пользе». «Какже мне не везет — все совершается наперекор моим желаниям. Страстно

желать боя, мечтать, как о высшем счастье, о том, чтобы пожертвовать покоем и самой жизнью — и что же? Вернуться к мирному существованию и уныло влачить свои дни среди городских удовольствий. Рассудок говорит мне, что эгоизм и тщеславие заставляют меня мечтать о боях и сражениях, ибо и счастье быть полезным для меня не полно без известности, без славы, что кресты и чины имеют свою долю в чувствах мужества и патриотизма. Но разве тщеславие не участвует во всех наших поступках и разве не похвально желать наград, когда они служат свидетельством мужества и отличают тех, кто оказал услуги Отечеству? Чины и награды никогда не прельщали меня. Однако тщеславие ли увлекает меня видением славы, или желание быть полезным электризует мою душу, но воевать мне необходимо, как дышать, и день нашего отъезда из армии будет для меня траурным днем»²⁸.

Безусловно, меньшим зримым выражением служебного успеха, пользы, принесенной государю и Отечеству, а также личного мужества и военной опытности служили награды. Наградная система была напрямую связана с системой чиновничества. Вновь представим слово «иностранный наблюдатель»: «В понятиях большинства, можно без преувеличения сказать, *добро* и *зло* почитаются синонимами *опалы* и *милости*. Оценка, основанная на душевных свойствах, всегда уступает значению занимаемой должности; и степень оказываемого почтения может гораздо точнее быть определена по придворной табели о рангах, чем положительными достоинствами. Если я желаю иметь понятие о добродетелях какой-нибудь русской придворной особы, то мне стоит только, не ожидая неизбежных ответов, которые мне будут сделаны, взглянуть на его одежду и удостовериться в присутствии на ней этих четырех крупнейших и непогрешаемых добродетелей: красной — Александровской ленты, голубой — Андреевской, звезды святого Георгия и таковой же святого Владимира. Престол, наподобие лучезарного светила, согревает своим благоволением счастливых избранных этих высоких отличий и налагает на них какой-то общий царственный отпечаток...»²⁹ В приведенном

нами «свидетельстве эпохи» перечислены высшие награды империи, о которых подавляющее большинство русских офицеров могло лишь мечтать. Обладателю подобной «коллекции» орденов, помимо личного мужества и воинского мастерства, требовалось еще одно немаловажное качество, которое Фридрих Великий считал главным в военной карьере — счастье. Счастливыми людьми в ту пору были те, кто на протяжении многих лет совершали подвиги, обратившие на себя внимание благожелательного к ним начальства, оставшись при этом в живых. Так, академик Е. В. Тарле заметил по поводу одной из составляющих успеха прославленного русского полководца: «Самым удивительным в карьере Багратиона было то, что он дожил до 47 лет». Генерал Ермолов, сам не отличаясь в сражениях, по его собственному выражению, «застенчивостью», как-то раз сказал генералу Милорадовичу: «Для того, чтобы находиться повсюду с вашим превосходительством, надобно иметь две жизни».

В 1812 году, по Учреждению об управлении большой действующей армией, главнокомандующий имел право награждать отличившихся на ратном поприще орденами: Святого Георгия 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени с бантом и Святой Анны 2-й и 3-й степеней и шпагами с надписью «За храбрость»³⁰. Именно эти награды и были самыми доступными для офицеров. Среди них самым распространенным был орден Святой Анны 3-й степени, который до 1815 года носился на эфесе холодного оружия. Так, Денис Давыдов, минуя этот орден, получил сразу Святого Владимира 4-й степени как память о боевом крещении в деле при Вольфсдорфе в 1807 году, где он проявил главную добродетель военного — личную храбрость. Этого было вполне достаточно для того, чтобы князь Багратион ходатайствовал о награждении своего штабного офицера. Денис Давыдов вспоминал об этом служебном успехе с некоторой долей иронии, но в русской армии были офицеры, которые весьма трепетно относились к менее высокой, но первой в своей жизни награде. «В селе Поливанове мы узнали, что за Бородинское сражение пожалованы Александр и я кавалерами ордена Святой

Анны 3-й степени на шпагу; в тот же день Юнг случайно нашел на дороге ленточку Станислава — польского ордена, мы ее разрезали и, поделившись, вдели в петлицы к шинелям, в которых ходили», — рассказывал один из братьев Муравьевых³¹. Он же признавался: «Мы были умеренны в честолюбивых видах своих. Однажды, в разговоре между собою, каждый из нас излагал, какой бы почести желал достичь по окончании войны, и я объявил, что останусь доволен одним Владимирским крестом в петлицу»³².

Орден Святого Владимира 4-й степени «с бантом» пользовался большим почетом, чем «аннинская шпага», на что указывает разница в чинах офицеров, в разное время претендовавших на эту награду. Приведем рассказ Н. Е. Митаревского: «Получен был приказ фельдмаршала о наградах за Бородинское сражение. Многие были награждены орденами и чинами, что произвело большую радость. Наш ротный командир, подполковник, получил Святого Владимира с бантом; штабс-капитан — золотую шпагу “за храбрость”, которую уже имел за Прейсиш-Эйлауское сражение; убитый подпоручик тоже золотую шпагу («За храбрость». — *Л. И.*); два поручика по аннинской шпаге; нижним чинам дали несколько Георгиевских крестов. Я и другой подпоручик, как младшие и написанные в представлении после всех, ничего не получили. Хотя это было и неприятно, но нельзя было и роптать. Все одинаково были в деле; получить, разумеется, должны старшие, — всех же наградить было бы слишком много»³³. Юный артиллерист горевал недолго: отличившись под Малоярославцем, он снова попал в наградные списки: «Сделано было представление к награде обо всех офицерах и нижних чинах. Как и прежде, в списке были проставлены старшие впереди, а меня и прапорщика, как младших, поместили после всех. <...> Я думал, что мне придется остаться, как и за Бородино, без всякой награды: такая, видно, моя участь. Нежданно-негаданно явился вестовой Московского полка, спросил меня и сказал, чтобы я пожаловал к полковому командиру. Я пошел. Командир сидел у огня со своими офицерами, которых всего-навсего осталось восемь человек, да солдат сотни

две с небольшим. Приказал он адъютанту читать бумагу, где, как оказалось, было представление меня к награде и очень хорошей. Когда адъютант прочитал, то командир спросил меня: “довольны ли вы?” Мне оставалось только поблагодарить его. При этом он еще прибавил: “вот видите ли, когда мы стояли под Тарутином, то вы и знать нас не хотели, а мы вас не забыли...” Я замялся и кое-как извинился тем, что, по случаю больной ноги, не мог тогда ходить. <...> По представлению полкового командира и так как дело происходило в виду самого дивизионного командира, генерала Капцевича, я, не имея еще ничего за отличие, получил прямо Владимира с бантом»³⁴.

Не менее дорожил этой наградой гвардейский артиллерист И. С. Жиркевич, ко времени вступления в Париж уже обладавший и орденом Святой Анны 2-й степени: «...Один из зрителей подошел ко мне и, взяв в руки висевший в петлице у меня крест Святого Владимира, спросил: “позвольте полюбопытствовать, ведь это орден Святой Анны?” — “Нет, — отвечал я, — вот орден Святой Анны”. И при этом расстегнул мундир свой <...>, под которым закрыт был на мне этот орден. Эффект вышел неожиданный: несколько лиц, вероятно, прежде обративших внимание на наш разговор, обступили меня и начали, как чудо, рассматривать крест и делать о нем разные вопросы. Действительно, в то время орден этот был замечателен тем, что кругом был осыпан стразами, которые принимали за бриллианты. Удовлетворив, по возможности, любопытству окружающих меня лиц, я застегнул вновь мундир, спрятав под него орден. Тогда подошла ко мне девушка, лет 17-ти, ее называли в толпе графиней, расстегнула мне мундир, вынула опять наружу орден, сказав мне: “Присутствующие дамы прислали меня просить вас не скрывать этого ордена и позволить им удовлетворить свое любопытство и, кроме того, мы находим, что кто носит подобные знаки на груди, тому неприлично скромностию закрывать свою заслугу!” Кругом послышались одобрительные голоса: “Браво! Браво, графиня!”»³⁵

Впрочем, для Дениса Давыдова, пользовавшегося упорной неприязнью императора, путь от Владимира

4-й степени до Владимира 3-й степени оказался очень и очень неблизким. Государь иногда просто отказывался замечать подвиги офицера, однажды в молодые годы навлекшего на себя его немилость то ли вольнолюбивыми стихами, то ли небрежностью по службе. Прослужив с отличием всю кампанию 1812 года во главе армейского партизанского отряда, Давыдов остался вообще без наград, несмотря на неоднократные представления начальства. «Певец-гусар» решил добиться справедливости любой ценой, напрямую обратившись к Кутузову: «Я не счел за преступление напомнить о себе светлейшему, которому написал письмо в следующих словах: “Ваша светлость! Во все время Отечественной войны я почитал грехом думать о том, что не относилось к истреблению врагов Отечества; ныне мы переступили рубеж дорогого Отечества и, желая иметь какое-нибудь вещественное воспоминание о великом минувшем годе, я осмеливаюсь просить вашу светлость удостоить меня знаками Святого Георгия 4-го класса, к которому я не раз был представлен, что, впрочем, может быть лучше оценено вашею светlostью, удостоившею меня не раз в течение кампании знаками своего благоволения и поздравления с получением военного ордена. В ответ я получил <...> пакет с обоими крестами и с следующим письмом от Коновницына: “Получа письмо ваше к его светлости, я имел счастье всеподданнейше докладывать Государю Императору об оказанных вами подвигах и трудах в течение нынешней кампании. Его Императорское Величество соизволил повелеть наградить вас орденами: 4-го класса Святого Георгия и 3-й степени Святого Владимира. С приятностью уведомляю вас о сем и проч. Декабря 20-го дня 1812 года. Вильна”»³⁶.

Заметим, что «неблаговоление» императора повсюду тенью следовало за Давыдовым, омрачая дни пребывания на службе. Вынужденный уступить настояниям Кутузова и Коновницына в 1812 году, Александр I жестоко «отыгрался» на нелюбимом им офицере в 1814 году: Д. В. Давыдов был произведен в чин генерал-майора за отличие под Ла-Ротьером, а затем, со ссылкой на путаницу в рапортах, был лишен этого чина! По хода-

тайству своего бывшего начальника генерала И. В. Васильчикова чин Давыдову был возвращен (со ссылкой на все ту же путаницу в рапортах) со старшинством от 1 января 1814 года, но обида и потрясение отважного партизана были велики! Можно, конечно, приписать эту историю случайности, злему року, который явно тяготел над одним из многочисленных Давыдовых, находившихся на службе в русской армии. Однако трудно представить, чтобы государь мог допустить подобную невнимательность в отношении, например, князя А. Г. Щербатова, отличившегося также при Ла-Ротьере, о чем счастливый избранник военной фортуны поведал в воспоминаниях: «Император на другой день рано поутру, осматривая поле сражения, встретясь со мною, отделился от многочисленной своей свиты, в коей находился главнокомандующий всеми союзными армиями князь Шварценберг и много иностранных генералов, обнял меня и пред всеми благодарил с самыми лестными выражениями, приписывая моему корпусу успех сражения. Через несколько дней прислан мне был орден Святого Георгия 2-го класса»³⁷. Пример князя Щербатова — это и есть образец военного счастья, где в едином сплаве слились знатность рода, богатство, образование, придворные связи, личная симпатия императора и, наконец, удача. Конечно, не всякий мог рассчитывать на подобный «правильный ход» в своей карьере. Тот же Денис Давыдов на протяжении нескольких лет и нескольких войн добивался низшей, 4-й степени ордена Святого Георгия, завоеванного графом М. С. Воронцовым, например, в первой же кампании, в которой он участвовал. Наличие «Егорьевского креста» было, безусловно, самым весомым доказательством профессиональной пригодности лица, удостоенного этой награды. «Он вообще стоял особняком среди российских орденов. Это чисто военный орден, которым награждались только офицеры и только за выдающиеся боевые подвиги <...>, считался самой почетной наградой в России. 1-ю степень ордена имели за все время только 25 человек <...>. Очень редки были и награждения 2-й и 3-й степенью этого ордена»³⁸. Причем орденами 1-й и 2-й степени награждались «за отличнейшие воинские

доблести» генералы по усмотрению императора, в то время как ордена 3-й и 4-й степени получали офицеры «по приговору» Георгиевской Думы (решение Георгиевской Думы затем передавалось на утверждение императору)³⁹. Высшей степени ордена в конце Отечественной войны 1812 года удостоился фельдмаршал Кутузов. Кавалером ордена Святого Георгия 2-й степени являлся князь Багратион, заслуживший «неоспоримое право» на эту награду, минуя 4-ю и 3-ю степень, в сражении при Шенграбене в 1805 году, где 6-тысячный арьергард под его командованием сдержал натиск 30-тысячного отряда неприятеля, защитив от «верной гибели» всю русскую армию. Этот случай не давал покоя генералу Д. С. Дохтурову, что явствует из его письма к жене М. П. Дохтуровой: «Вчера князь Багратион получил Святого Георгия 2-й степени и чин генерал-лейтенанта. Вот, мой друг, награждают тех, кто имеет протекцию; а нам, бедным горемыкам, я уверен, не много достанется»⁴⁰. Письмо, направленное супруге вскоре после Бородинской битвы, свидетельствует, что Дохтуров не испытывал к Багратиону личной неприязни: «Бедный Багратион! Как я о нем сожалею, от всего сердца. <...> Мне его чрезвычайно жаль, как своего хорошего приятеля, и более еще как хорошего генерала. Дай ему Бог царство небесное!» После Бородинской битвы надежды прославленного генерала на получение высокой награды возродились, и у него были к тому все основания: «В настоящую минуту я вернулся от князя Кутузова, которого ходил поздравлять; он произведен в фельдмаршалы за сражение 26 августа. Увидим, что мы получим; вероятно, немного. Скажу по чести, я не думаю о наградах; дело идет о спасении Отечества; следует жертвовать жизнью, не думая о том, что получишь...» Однако не думать о «возмездии заслуг» у одного из самых старейших и опытнейших военачальников не получалось: «...Мне уже чрезмерно наскучило тянуть так долгое время и более всего видеть, как худо награждается усердие, а особливо последнее награждение за Бородино, где я командовал на месте князя Багратиона и верно имел гораздо более дела нежели все прочие, а получил я бриллианты (алмазные знаки к ордену Святого Александра

Невского. — *Л. И.*) Бог с ними, я дело свое сделал, и вся армия отдает мне справедливость, и хотя князь Кутузов меня представил ко второму Георгию, но я получил другое. Посмотрим, что-то я получу за Малой Ярославце». Обида Дохтурова на царя рассеялась как утренний туман при личной встрече: «Я был на сих днях в главной квартире и был у Государя; он отлично меня принял, благодарил за все мои дела и очень много говорил обо всем <...>, обнимал и целовал несколько раз, а после велел князю Кутузову меня поздравить с вторым Георгием и чрезмерно меня перед ним выхвалял, что не только храбрость и искусство мое ему и всему свету известны, но и мораль моя также имеет большое влияние над ним. Вот, душа моя, насилу я этого крестика дождался...» Старый воин был, действительно, растроган: каждая строка его письма к «любезному другу» дышит счастьем. Долгожданный триумф запечатлен в наградной грамоте (рескрипте), подписанной государем императором «в 13 день генваря 1813 года в г. Иоаганизбурге»: «В награду услуг, оказанных вами Отечеству в течение нынешней кампании и особенно в бывшем при Малом Ярославце сражении 12 октября прошлого 1812 года, где вы с корпусом вам вверенным храбростию и благородием своими удерживали все неприятельские усилия тридцать шесть часов до прибытия подкрепления, — Всемилостивейше жалуем вас кавалером Святого Георгия 2-го класса, коего при сем препровождаемый повелеваем возложить на себя и носить по установлению⁴¹. Пребываем вам благосклонны. Александр». Добавим, что при пожаловании орденом Святого Георгия, в отличие от других орденов, с его кавалеров не взимались денежные сборы.

По поводу «приговоров» к награждению Георгиевским крестом князь С. Г. Волконский привел забавный анекдот, относившийся ко временам Екатерины II: «Говоря о Цызареве <...> не могу умолчать о его находчивости в свою пользу. Это было, кажется, при штурме Очакова или Измаила, еще при Екатерине. После штурма было предоставлено нижним чинам высказать, кто из офицеров, шедших в голове колонн штурмовых, более отличился. Удалось Цызареву этим воспользовать-

ся. Было приказано на другой день отобрать от нижних чинов эту аттестацию. В предшествующую этому дню ночь Цызарев ходил позади палаток в лагере и твердил: “Ай да Цызарев, вот уж молодец, Цызарев! Да кто ж храбрее Цызарева?” У уставших от штурма солдат, не выходявших из палаток, остались в памяти эти возгласы, и при отобраании аттестации имя Цызарева, между прочими отличившимися также было упомянуто, и он был награжден орденом Георгия 4-го класса»⁴². Но, судя по рассказу Н. Е. Митаревского об одном из его сослуживцев, дерзнувшем после Бородинской битвы домогаться награды, заслужить ее было непросто: «...Он приставал к штабс-капитану, чтоб и его поместили в представлении. Офицеры говорили, что этого не следует делать, так как никто его не видал и никто даже не знает, где он пропал. Англичанин же уверял, что хотя он не был при роте, но когда французы отбили одну батарею и прогнали нашу пехоту, то он схватил солдатское ружье, бросился к пехоте, остановил ее, ударил на французов и прогнал их. Офицеры смеялись, не смеялся только штабс-капитан и пресерьезно сказал: “Ваш подвиг такой, что мое представление будет для вас мало значить, а потому советую вам обратиться к бывшему там генералу или самому корпусному командиру”. При этом с нами сидело еще несколько пехотных офицеров, все так и покатались со смеху. Англичанин наш ушел и не слышно было, чтоб он обращался к кому-нибудь за представлением»⁴³.

При совершении выдающегося военного подвига, «тянувшего» на Георгиевский крест, действительно, было желательно, чтобы в числе «самовидцев» оказалось высокое «начальствующее лицо». Но и в этом случае обстоятельства складывались по-разному. Снова приведем два примера — удачи и неудачи, относящиеся к Бородинской битве. Поутру неприятель атаковал село Бородино, выбил из него Лейб-егерский полк и на плечах отступавших «перебежал через реку Колоочь» в расположение правого крыла русской армии. Для предотвращения опасных последствий командование ввело в бой 1-й егерский полк «отличного полковника Карпенкова», нанесшего контрудар стремительно и вер-

но. Свидетелем происшествия оказался сам начальник Главного штаба 1-й Западной армии генерал Ермолов, сразу известивший обо всем главнокомандующего — М. Б. Барклая де Толли, который, в свою очередь, немедленно отреагировал на подвиг подчиненных. Участник этого боя М. М. Петров рассказывал: «Барклай де Толли прислал в полк наш в два раза 38 крестов серебряных ордена Святого Георгия для награды таявших в боевом огне отличных егерей (знаки отличия Военного ордена для нижних чинов, так называемый «солдатский Георгий». — *Л. И.*), сопроводив первую присылку карандашной запискою собственной его руки, изъявлявшую полную его благодарность полку. В сумерки он, призвав к себе полковника Карпенкова, повторил ему лично признательность за все порывы его на отличия с полком и бригадою противу всего встретившегося ему в тот день; а мне за мое усердие, известное ему от Ермолова и Сеславина, объявил, что я за истребление мостов буду по статусу награжден орденом Святого Георгия 4-го класса, который и был мне наградой за отличия при Бородине»⁴⁴.

Показательно, что «неудачный» пример связан с теми же самыми «начальствующими лицами». Около девяти часов утра неприятель захватил укрепление в центре русской позиции — батарею Раевского. Следовало действовать решительно, для того чтобы ликвидировать угрозу прорыва фронта. Находившийся неподалеку генерал Ермолов увлек в блистательную атаку батальон Уфимского пехотного полка. По-видимому, таким же образом поступил и проезжавший мимо адъютант Барклая майор В. И. Левенштерн, ворвавшийся на батарею, «совокупными усилиями» отбитую у неприятеля, во главе батальона Томского пехотного полка. Встреча обоих героев дня в укреплении, «устланном телами врагов», была радостной, пролитая кровь заставила смолкнуть на время закоренелую вражду. Ермолов в канун Бородинской битвы, ни много ни мало, обвинил Левенштерна в шпионаже, добившись у Барклая высылки его адъютанта из армии. Однако московский генерал-губернатор граф Ф. В. Ростопчин, поверив в невиновность несчастного офицера, на свой страх и риск

вернул его в армию, предоставив тем самым сохранить доброе имя и защитить свою честь на поле брани. Честь была спасена, но вокруг награды, полагавшейся ему за «прямой» военный подвиг, разыгрались настоящие страсти. Обратимся к рассказу самого Левенштерна: «Генерал Ермолов поцеловал меня на самой батарее и тут же поздравил меня с Георгием, который я несомненно должен был получить. <...> Под впечатлением совершившегося, осыпал меня похвалами и просил у меня прощения, сознавшись, что он был виноват передо мною. И объявил, что впредь он будет всегда приятелем человека, которого он видел на белой лошади в пятидесяти шагах перед Томским батальоном и который первый пошел на штурм батареи; он присовокупил, шутя: “Вы вполне заслужили Георгиевский крест, да и сами походили на Георгия на вашей белой лошади с саблей в руке”. Далее Левенштерн сокрушался: «Впоследствии он предал все это забвению, и в настоящее время во всех реляциях упоминается о нем, как о том офицере, который стал впереди батальона и повел его на холм. <...> Генералу Ермолову было также излишне присваивать себе мое место, как Суворову присваивать себе место того офицера, который первым пошел на штурм Измаила. Честь взятия этой батареи принадлежит по праву генералу Ермолову. Я имел только счастье подать к тому первый пример»⁴⁵. Как оно было на самом деле? Обманутый в своих надеждах, Левенштерн пытался добиться справедливости другим путем. Обида снесла его, и он уже в июне 1813 года обратился с рапортом к своему бывшему начальнику Барклаю де Толли: «Известно вашему высокопревосходительству, что когда я вами был послан 26 августа под Бородином для узнания, что происходит на большой батарее — усмотрел, что она взята неприятелем, имел я щастие, брав батальон пехоты, участвовать в прогнании с оной неприятелей и что я на оной был из первых, как генерал-лейтенант Ермолов о сем и донес вашему высокопревосходительству; известно также, что был при сем случае ранен, перевязавший, не переставал следовать за вашим высокопревосходительством <...>. Смею себя льстить, что ваше высокопревосходительство, зная справедливость слов, мною писанную,

не оставит отдать на рассмотрение учрежденной думе для награждения меня военным орденом Святого Георгия»⁴⁶. На документе, сохранившемся в архиве, остались две пометки, сделанные бесстрастной рукой: первая — «справиться, не награжден ли он чем уже» и вторая — «оставить без уважения»⁴⁷.

В этом случае позиция, занятая Баркклаем, не может не вызвать удивления: генерал обычно не оставлял обиды своих подчиненных без внимания. Более того, он был к ним предупредителен, в чем убеждает содержание «своеручного письма» на имя генерала М. И. Карпенкова, присланного «в половине срока Плейсвицкого перемирия с нарочитым офицером»:

«Ваше превосходительство, Милостивый государь Моисей Иванович!

Вступя в командование армиею, я увидел из рапорта 1-го егерского полку, что в оном Вы и майор Петров состоите больными при полку. Хотя по образу честолюбивой Вашей службы в войне потеря и самой жизни дело обыкновенное, но я приятным нахожу спросить Вас, генерал: нет ли тому особенной причины? — Прошу отвечать мне искренно, дабы я мог с душевным удовольствием отворать все, если есть что-либо несправедливое, тяготящее Вас. — С уверенностию в Вашей откровенности, готовый на справедливую помощь Вам, остаюсь покорный слуга

М. Барклай де Толли
19 июля 1813 года.

Получив послание главнокомандующего, генерал Карпенков подтвердил, что он ничем «кроме ран не отдален от фронта»⁴⁸.

Не менее показателен был случай, происшедший в том же егерском полку с поручиком В. Т. Готовцевым — общим любимцем, «благонравным, усердным и поистине неустрашимом товарище военных подвигов». Действительно, подвигов на счету этого офицера было немало: он был ранен пулей в грудь навывлет при Бородине, «у Бауцена — выше колена навывлет, и в Грейффенберге Силезском — в левый бок навывлет», но несмотря ни на что, «с тремя ранами он был <...> при переправе через Рейн, штурме Реймса и, наконец, взятии приступом

Монмартра». По-видимому, «бабушка не ворожила» поручику Готовцеву: по итогам трех кампаний, невзирая на представления к наградам, он не получил ничего, «кроме чина, и так ему по ваканциям приходившегося получить». Сослуживцы, «сострадав в его безнаградной участи», решили от себя выдать офицеру, выходявшему в отставку, особое письменное свидетельство «в славной военными отличиями службе его», в котором офицеры полка просили каждого и «во всяком местопребывании» оказывать их боевому товарищу почести как усердному и храброму офицеру, не имевшему знаков отличия по недоразумению. Однако полковник Петров не стал подписывать этого свидетельства, а прямо с марша отправил его с сопроводительным письмом к тогда уже фельдмаршалу графу Барклаю де Толли с просьбой помочь защитить «безукоризненную честь офицера». Петров поступил мудро: Барклай «запустил» делопроизводственную машину, по его приказу были подняты наградные документы, собраны свидетельства начальников, в том числе генерала от инфантерии М. А. Милорадовича. После возвращения из Заграничных походов в Россию в город Ревель, где квартировал в то время полк, пришел приказ из Главного дежурства армии за подписью генерал-лейтенанта И. В. Сабанеева: «Объявить полковнику Петрову, что ходатайство его о награде поручика Готовцева принято фельдмаршалом во уважение. И если есть еще подобная недостача наград и отличий военных, то доставить немедленно о них сведение в дежурство сие от полковых дел прямо в Варшаву». Через три недели, к радости однополчан, поручик Готовцев был произведен в штабс-капитаны и пожалован орденами Святой Анны 3-й степени, Святого Владимира 4-й степени, Святого Георгия 4-й степени⁴⁹.

В том случае, когда офицеру недоставало выслуги лет для того, чтобы его «прямой военный подвиг» удостоился ордена Святого Георгия, то он мог быть отмечен Георгиевским оружием. Именно о такой награде упоминал в своем дневнике П. С. Пущин: «Граф Аракчеев, увидя меня на улице и полагая доставить мне удовольствие, объявил, что 15 числа (сентября) я получу золотое оружие за дело под Кульмом. Золотое оружие

при 2 000 пенсии было мне обещано генералом Потемкиным, следовательно, получить одно только оружие без пенсии было для меня обидно, так как к такой награде были представлены некоторые молодые офицеры, подпоручики, которые почти не нюхали пороха, между тем полковник Набоков, старше меня почти на год, принимавший самое незначительное участие в деле, представлен в генерал-майора. Такая несправедливость меня очень обидела. <...> Все мои товарищи могли решить, как я выполнил свой долг, и все того мнения, что со мной поступили несправедливо. Это для меня бóльшая награда, чем всевозможные ордена. Все это меня совершенно успокоило, и я пришел в хорошее расположение духа»⁵⁰.

Кстати, денежные поощрения никогда не были лишними для «детей Марса», что видно из воспоминаний Н. Е. Митаревского: «Выдали за сражение всем нижним чинам по пяти рублей ассигнациями, а офицерам, не в зачет — третное жалование. Эта награда была очень кстати: мы до того дожились, что не на что было купить и табаку»⁵¹. Материальное положение подавляющего большинства русских офицеров ни для кого не являлось секретом. Кроме денежных пожалований от императора «в некоторое пособие состоянию», вполне существовал такой вид морального и материального поощрения, как отправка офицера с театра военных действий с хорошими известиями. Об одном из таких фактов с гордостью сообщил в письме от 11 июня 1812 года министру полиции графу А. Д. Балашову московский генерал-губернатор граф Ф. В. Ростопчин после заключения Бухарестского мира: «Адъютант Вашего превосходительства господин Протасьев приехал в трое суток, что отменно скоро, судя по скверным лошадям Смоленской и здешней губерний. Он хотел было отправиться назад через два дня, но я его уговорил с трудом еще остаться на один день... Вот что мы просили его принять в знак благодарности города, им обрадованного. Дворянство — табакерку с бриллиантами, купечество — 200 червонных и блюдо, Обрезков — табакерку золотую, а я ему подарил на память мои брегетовые часы».

А. И. Михайловский–Данилевский поведал в дневнике об одном содержательном разговоре на эту злободневную тему: «...Был у Государя обеденный стол, за которым находилось только четверо из самых приближенных особ, и от одной из них я слышал тем же вечером следующий анекдот. За сим обедом граф Аракчеев предложил, чтобы в воспоминание чрезвычайных происшествий последних походов учредить новый орден с пенсионом для кавалеров оного или присоединить пенсии к ордену Святого Георгия или Святого Владимира для тех, которые получили сии знаки отличия в последние войны или в продолжение их были изувечены. “Но где мы возьмем деньги?” — спросил Император. “Я об этом думал, — отвечал граф Аракчеев, — и я полагаю обратиться в казну на сей предмет имения поляков, которые служили неприятелю в 1812 году и не возвратились в Россию, невзирая на дарованное им прощение, как, например, имение князей Радзивиллов”. — “То есть конфисковать их”, — прервал Государь. “Так точно”, — отвечал Аракчеев. “Я конфискации не люблю, — возразил Император, — можно об них писать и ими грозить, но приводить их к исполнению — это жестоко, и ежели мы возьмем пенсии для предлагаемых тобою орденов из конфискованных имений, то пенсии сии будут заквашены слезами”. Это собственное выражение Государя»⁵².

Глава шестая

«ПОЛКИ ЛИХИЕ...»

И в войне и в мире мы искали опасностей, чтоб отличиться бесстрашием и удалством.

Ф. В. Булгарин. Воспоминания

В эпоху 1812 года, когда, по признанию современника, «не боялись жить сердцем», в числе наиболее сильных сердечных привязанностей следует назвать приверженность русских офицеров к своим полкам. Это

явление соответствовало духу времени, наполненному бесконечными войнами. Именно тогда сложилось прочное осознание полкового братства как кровной связи на жизнь и на смерть, оформился тот особый корпоративный дух, во все времена отличавший армию от всех других сообществ. Основу этого профессионального братства составляло понятие личной офицерской чести, нерасторжимо связанной с честью полка. Избрав для себя военное поприще, вступая в полк, молодой человек осознавал, что отныне он обязан следовать «дорогой чести». Кроме того, слово «честь» присутствовало постоянно еще и в таких словосочетаниях, как «честь знамени», «поле чести», «поединок чести», «отдать честь», «похоронить с воинскими почестями». Заметим, что мало кто из героев той поры мог внятно объяснить, что такое честь. Это и понятно: даже в «Толковом словаре» В. И. Даля слово «честь» определяется как «внутреннее нравственное достоинство человека», то есть относится к области «нематериального». Вместе с тем молодые люди дворянского сословия с рождения были осведомлены о жестких неписаных «правилах чести», которыми регламентировалась их повседневная жизнь с минуты поступления в полк.

Исторический тип русского офицера, издавна традиционно импонирующий «обыденному сознанию», следует, скорее всего, искать в привилегированной части армии. В царствование Александра I в гвардию «с улицы» не брали. Помимо возродившейся к началу XIX столетия моды на «аристократизм», государь желал видеть среди офицеров гвардии людей образованных в науках, с навыками светского общения. К этому желательно было иметь немалое денежное пособие от родителей, так как петербургская жизнь требовала издержек. Но даже наличием всех вышеперечисленных качеств проблема выбора места службы не исчерпывалась. Приведем рассуждения выпускника Пажеского корпуса Ф. Я. Мирковича, которому судьба предоставила возможность самому решить, где служить дальше: «Надобно было избрать себе полк. Гвардия состояла тогда из двух дивизий пехоты, дивизии тяжелой кавалерии, дивизии легкой, дивизии пешей артиллерии и

одной роты конной, и была под непосредственным начальством Цесаревича Константина Павловича. <...> Пехота вся и артиллерия стояли все в Петербурге, из кавалерийских же полков — одни кавалергарды и Конная гвардия. Прочие полки размещены были по загородным местам: в Царском (селе), Гатчине, Стрельне и Петергофе.

Раздумье было куда поступить. Пехоту я не любил, и служба в ней так была обременительна, что человеку не крепкого сложения трудно было ее выносить. Караулы, которые пехота содержала во всех концах столицы, дежурства и непрерывные, ежедневные ученья просто изнуряли и кто только мог избегал пехоты. При том только в двух полках, Преображенском и Семеновском, было тогда более порядочное общество офицеров, состоявшее наполовину из пажей. Государь был шефом обоих полков и особенно их любил. Общество офицеров остальных полков было менее чем посредственное, так что в общественном мнении армейские артиллерийские офицеры стояли выше гвардейских пехотных. В кавалерии отличались обществом офицеров только кавалергарды и лейб-гусары, куда поступала вся знатная и богатая молодежь. Кроме упомянутых четырех полков, офицерский состав представлял сборище молодых людей малообразованных и чуждых столичных обществ. От них требовалось только, чтобы они были исправными фронтовыми офицерами. Не посещать общество и не ездить ни на какие балы — это было непременным условием, чтобы нравиться своему корпусному командиру. Цесаревич ненавидел всю знать и преследовал их в полках»¹.

Как видим, конногвардеец Миркович в целом довольно скептически отзывался о своих гвардейских сослуживцах, даже противопоставив им общество армейских артиллерийских офицеров. Этот комплимент армейским артиллеристам вполне можно отнести на счет графа А. А. Аракчеева, чьими стараниями для них был установлен довольно высокий образовательный ценз, тщательно разработана система экзаменов на чин. В качестве примеров можно назвать имена П. Х. Граббе, И. Р. Родожницкого, Н. Е. Митаревского,

Г. П. Мешетича — едва ли не самых грамотных, начитанных и содержательных мемуаристов. В те времена практически отсутствовали учебники по военному делу на русском языке, поэтому для подготовки к экзамену на чин артиллерийскому офицеру, даже если он не являлся выпускником кадетского корпуса, приходилось овладевать иностранными (немецким и французским) языками. В частности, П. Х. Граббе сообщал в записках: «Военная жизнь в первых чинах имеет или тогда имела, особенно в артиллерии, много похожего на жизнь семейную. Мое отношение к А. П. Ермолову, со времени моего адъютантства, еще более походило на быт семейный. Забот о материальной жизни никаких. Я почти не знал употребления денег. Квартира, стол, книги готовы. Мундир носился долго; белье простое, военное, редко требовало поновления. Словом, все казалось хорошо, достаточно и одинаково со множеством товарищей, одною жизнью со мною живших. Все были довольны, и никому в душу не западало кому-нибудь или чему-нибудь завидовать»².

А уж о гвардейской артиллерии говорить не приходится, достаточно назвать имя И. С. Жиркевича, с успехом окончившего 1-й кадетский корпус с производством сразу в чин подпоручика и без всякой протекции получившего распределение в гвардию: те, кто служил в ней в эпоху 1812 года, оставили самые восторженные воспоминания о своих сослуживцах. Так, прапорщик Н. А. Дивов свидетельствовал: «Общество наших офицеров было самое отличное, и дружба наша была общая»³. С неменьшей теплотой вспоминал об офицерах лейб-гвардии Артиллерийской бригады А. С. Норов, в 1812 году — прапорщик 2-й легкой гвардейской роты. В битве при Бородине в совсем еще юном возрасте он лишился ноги, что неудивительно: артиллеристы, не имевшие права отлучиться в битве от своих орудий (как и пехотинцы от знамени), весьма часто попадали под самый жестокий обстрел со стороны неприятеля, стремившегося, в свою очередь, подавить огнем батареи противника. Таким образом, самых грамотных офицеров расстреливали даже не картечью, а ядрами, что следует из воспоминаний А. С. Норова о Бородин-

ском сражении: «Несколько правее от нас действовала небольшая батарея; мы узнали впоследствии, что это был остаток нашей гвардейской 1-й легкой роты, которая уже давно боролась возле Измайловского полка; ею командовал штабс-капитан Ладыгин, заменивший раненого ротного командира Вельяминова; она уже готовилась сняться с позиции от огромной потери в людях, в лошадях, от растраты всех зарядов и по причине подбитых орудий. И действительно, она скоро снялась, но возвратилась в бой к вечеру с половинным числом орудий и людей. Из ее семи офицеров уцелел только один Ладыгин; у прапорщика Ковалевского оторвало обе ноги, а у Рюля одну»⁴.

Воспоминания гвардейцев о беззаботной и разгульной мирной жизни, наполненной светскими развлечениями, так же как и описания незатейливых увеселений армейских офицеров, приобретают совершенно иное содержание, как скоро они дополняются хроникой грозных военных событий. В качестве примера приведем рассказ князя С. Г. Волконского, определившегося по окончании пансиона аббата Николя в Кавалергардский полк: «Вышел из института на 18-м году моей жизни и в начале 1806 года я поступил в Кавалергардский полк поручиком. Тогда начался общественный и гражданский мой быт. Натянув на себя мундир, я вообразил себе, что я уже человек, и, по общим тогдашним понятиям, весь погрузился в фронтовое дело. <...> Крути товарищей и начальников моих в этом полку, за исключением весьма немногих, состояли из лиц, выражающих современные понятия тогдашней молодежи. Моральности никакой не было в нас; весьма ложные понятия о чести, весьма мало дельной образованности и, почти во всех, преобладание глупого молодчества, которое теперь я назову чисто порочным. В одном одобряю их: это — тесная дружба товарищеская и хранение приличий общественных того времени.

Замечательным человеком был между нами ротмистр (впоследствии полковник) Карл Карлович Левенвольд, положивший жизнь в Бородинской битве. Он был замечательное лицо в полковом нашем кругу образованностью и рыцарскими понятиями и имел такой

вес в обществе офицеров, что осуждение его во всяком возникшем деле между нами было для обеих сторон неоспоримый приговор. <...> После взятия французами батареи Раевского кавалергарды были выдвинуты для выручки нашей расстроенной пехоты. Полковник Левенвольд, командовавший полком, скомандовал “в галоп”, закричал командиру 4-го эскадрона, ротмистру Давыдову: “Командуйте, Евдоким Васильевич, левое плечо...” — и упал с лошади, пораженный картечью в голову»⁵. Удивительный исторический источник «Записки» декабриста С. Г. Волконского! Лишенный чинов, наград и дворянства, приговоренный к «гражданской смерти» — сибирской каторге и ссылке, он постоянно искал себе оправдания в недостатках своих сослуживцев, с которыми он, однако, долгое время жил общей жизнью, разделяя все их заблуждения, пользуясь всеми привилегиями и имущественными правами своего состояния. Своевольный и самонадеянный, как и многие его однополчане, «князь Серж», в отличие от них, не заметил, как преступил запретную черту, превратившись из вольнодумца в мятежника. Но забыть своих друзей «без моральности» и с «ложными понятиями о чести» мятежный князь так и не смог, как и не смог забыть женщины, которую, по-видимому, по настоящему любил в годы своего «глупого молодчества» и от которой отказался по настоянию своей матери. Нельзя поразиться и другому обстоятельству: как избирательна историческая память! В записках Волконского названо имя человека, судя по всему, игравшего в те времена огромную роль в гвардейской жизни, да и в светской жизни Северной столицы, одно слово которого имело силу «неоспоримого приговора». Это К. К. Левенвольде, в 1812 году командовавший Кавалергардским полком и, опять же, судя по характеристике, данной ему князем С. Г. Волконским, олицетворявший лучшие качества русских офицеров той поры. Он прожил «по чести» всю жизнь в гуще событий, окруженный друзьями и преданными сослуживцами, из которых только один (по иронии судьбы, «государственный преступник») счел нужным более-менее подробно отозваться о его блестящих качествах и доблестной смерти при Бородине. Если бы

Карл Левенвольде 1-й захотел служить в армейском полку, то в 1812 году он был бы генералом, а не полковником. В этом случае, если бы он погиб при Бородине, его портрет поместили бы в Военной галерее Зимнего дворца, а знаменитый историк А. И. Михайловский-Данилевский собрал бы о нем сведения для биографического очерка. Но ничего этого не произошло: Левенвольде остался верен кавалергардам и встретил смерть в чине полковника, а в Кавалергардском полку, среди «грамотеев» и «непременных танцоров», кроме Волконского и П. П. Ланского, мемуаристов не было либо их воспоминания не дошли до нас.

Но до нас дошли рассказы других современников той эпохи, позволяющие заключить, что главной добродетелью военных — готовностью «живот положить за други своя» кавалергарды были наделены в полной мере. Так, Ф. В. Булгарин вспоминал об одной из самых трагических страниц в летописи полка, относящихся к «потерянной» кампании 1805 года: «По возвращении гвардейского корпуса из-под Аустерлица в Петербург вся столица встречала его. <...> Кавалергарды, Конная гвардия и лейб-казаки отчаянными атаками спасли гвардейскую пехоту, но зато Кавалергардский полк был истреблен почти наполовину»⁶. Легендарное событие, волновавшее умы спустя десятилетия, запечатлено и на страницах романа Л. Н. Толстого «Война и мир»: «Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову было страшно слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осемнадцать человек»⁷. После окончания Аустерлицкой битвы Наполеон захотел увидеть пленных русских офицеров, в числе которых были и кавалергарды. Император Франции обратился к князю Н. Г. Репнину-Волконскому (брат С. Г. Волконского), получившему в битве рану пулей в голову и контузию картечью в грудь: «Вы командир Кавалергардского полка Императора Александра?» — «Я командовал эскадроном». — «Ваш полк честно исполнил свой долг». — «Похвала великого полководца есть

лучшая награда солдату». — «С удовольствием отдаю ее вам». Затем Наполеон обратил внимание на юного П. П. Сухтелена (в 1812 году — подполковник), по словам Л. Н. Толстого, «девятнадцатилетнего мальчика, тоже раненого кавалергардского офицера». Однако великий писатель ошибся: в 1805 году Сухтелен был не поручиком, а корнетом, и было ему даже не девятнадцать, а семнадцать лет, то есть он действительно выглядел ребенком. «Молод же он сунулся биться с нами», — сказал Наполеон. «Молодость не мешает быть храбрым», — ответил «мальчик», раненный сабельным ударом в голову и контуженный ядром в ногу. Вероятно, Наполеон вспомнил, как в дни своей молодости он однажды возразил более пожилому и опытному сослуживцу: «На полях сражений быстро старятся, а я как раз оттуда». Он ответил Сухтелену: «Прекрасный ответ, молодой человек, вы далеко пойдете». Император Франции спросил у поручика Е. В. Давыдова: «Сколько ран?» — «Семь, Ваше Величество». — «Столько же знаков чести». Именно этому Давыдову спустя семь лет в битве при Бородине успел крикнуть перед смертью К. К. Левенвольде: «Евдоким Васильевич, командуйте, левое плечо вперед!» Заметим, что здесь речь идет о том самом брате Д. В. Давыдова, которому в детстве великий Суворов по ошибке «напророчил» успехи в «гражданской службе!» Положительно братьям Давыдовым везло на диалоги с великими людьми: один беседовал с самим Суворовым, другой — с Наполеоном! Из похода 1805 года не вернулись в Петербург ротмистр Казимир Левенвольде 2-й (младший брат К. К. Левенвольде) и 16-летний корнет Н. С. Лунин (брат М. С. Лунина) — оба получили смертельные ранения, «находясь в рядах эскадрона». Но зато «те, кому выпало жить», обратились к привычной повседневности, о которой занимательно поведал князь С. Г. Волконский, вступивший в полк как раз по возвращении его из несчастной кампании, не зная обстоятельств которой, мы вряд ли поняли бы, почему нашим героям многое прощалось и обществом, и государем.

Итак, мирный полковой быт, предшествовавший кампании 1812 года, по словам С. Г. Волконского, вско-

ре налачился: «Вот несколько подробностей о нашей шумной жизни: Лунин и я жили на Черной речке вместе. Кроме нами занимаемой избы на берегу Черной речки, против нашего помещения была палатка, при которой были два живые на цепи медведя, да у нас девять собак. Сожительство этих животных, путавших всех проезжих и прохожих, немало беспокоило их и пугало тем более, что одна из собак была приучена по слову, тихо ей сказанному: “Бонапарт”, кинуться на прохожего и сорвать с него шапку или шляпу. Мы этим часто забавлялись к крайнему неудовольствию прохожих, а наши медведи пугали проезжих. В один день мы вздумали среди белого дня пускать фейерверк. В соседстве нашем жил граф Виктор Павлович Кочубей, а с ним жила тетка его, Наталья Кирилловна Загряжская, весьма умная женщина, которая пугалась и наших собак, и медведей. Пугаясь фейерверка и беспокоясь, она прислала нам сказать, что фейерверки пускаются, когда смеркнется, а мы отвечали ее посланному, что нам любо пускать их среди белого дня, и что каждый имеет право делать у себя, что хочет. Эта старая, чопорная и несносная женщина хотела на нас жаловаться, но граф ее удержал из снисхождения и даже защитил нас от негодования старухи»⁸.

Заметим, что в воспитании офицеров-кавалергардов, как и многих других гвардейцев, немало времени и сил обращено было на то, чтобы привить им музыкальный вкус и обучить игре на музыкальных инструментах, что подчас придавало их рискованным забавам интеллектуальный оттенок: «В другой раз, в вечернюю общую прогулку, мы, по научению принца Бирона, нашего сослуживца, вздумали, для забавы гуляющей в тот день девицы Луниной, за которой он волочился, дать ей неожиданную серенаду. И вот вся наша шумная ватага, каждый с инструментом, на котором он умел играть, вскарабкалась на деревья, которыми обсажена была речка, и загудила поднебесный концерт, к крайнему неожиданному прохожего общества». По-видимому, пели кавалергарды неплохо, концерт на деревьях удался, а успех вселил веру в собственные силы: «В другой раз мы вздумали дать серенаду Императрице Елизавете Алексеевне, которую вся молодежь любила, осо-

бенно от горькой ее семейной жизни с Императором; мы взяли две лодки, взяли с собой на чем умели играть и из Новой деревни, где было наше соединение, поплыли против Каменного острова, где было пребывание Государя и Императрицы, и загудили серенаду, но увидавши, что с потешной флотилии пустили на нас двенадцативесельный катер, мы успели проплыть в устье Черной речки, и, как наши лодки были мелководные, то катер по мелководию не мог нас достигь, и мы, выскочив из наших лодок, дай Бог ноги, — тем и кончилось безнаказанно наше похождение»⁹.

По общему мнению, где находился русский офицер, там непременно должна была звучать французская речь и литься рекой шампанское. Этого действительно хватало: «На Черной речке жил также товарищ мой по полку, Валуев, малый, любивший кутеж. Он дал товарищам кутежный обед, который продолжился ужином. Все мы были очень грузны, и когда заметили, что один из наших эскадронных командиров тишком ускользнул из среды нас, то решено было его воротить, и некоторые из нас, как мы были уже полураздетые, сев без седел на лошадей, и я в том числе, пустились за ним. Этот эскадронный командир, Александр Львович Давыдов, женатый (на дочери герцога де Граммона, знаменитой «прелестной Аглае», воспетой Д. В. Давыдовым. — *Л. И.*), жил на даче, по Карповке; мы пустились во весь скачь за ним, и как с Строгановского моста запрещено было прямо ездить через Дворцовый двор, мы, несмотря на это, пустились чрез него во весь скачь и уже были далеко, когда пустились за нами в догонку. Приехали на дачу Давыдова, когда там уже все спали, и нам сказали, что Давыдов в спальней своей жены. Нас это не остановило, и общим криком: “давайте нам беглеца, он наш” мы вынудили Давыдова выйти, и, по усиленной просьбе, заставя его просить прощения, оставили в покое и уже другим объездом воротились продолжать наш кутеж. Этого рода кутежи довольно часто возобновлялись. Не помню, по какому случаю был полный обед в Новой деревне. На оном присутствовал и полковой наш командир, Николай Иванович Депрерадович. Шампанское лились рекой. Обыкновение было не ста-

вить шампанское, а ставить ящики под стол <...>. Обед продолжался долго, и зело все нагрузились и зачали все ловкостью в прыганьи отличаться, в том числе и Депре-радович. Об этом упоминаю, как тип нашего тогдашнего времени. В служебном отношении строгая субординация, но вне оной все равны»¹⁰.

В числе русских полков с наилучшим офицерским обществом взыскательный Ф. Я. Миркович назвал лейб-гвардии Гусарский полк, в который также после Аустерлицкой кампании поступил Д. В. Давыдов: «1806 года июля 4-го дня я был переведен из ротмистров Белорусского гусарского полка <...> в лейб-гусарский полк поручиком. В начале сентября я прибыл в Петербург и немедленно переехал в Павловск, где квартировал эскадрон, в который я был назначен; эскадронный командир был давний друг мой (князь Б. А. Четвертинский), один из виновников перевода моего в гвардию, сослуживцы же — ребята добрые. Мы жили ладно: у нас было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела, более золота на ташках, чем в ташках, более шампанского (разумеется, в долг), чем печали, всегда веселье и всегда навеселе. Может быть, в настоящих летах моих я благословил бы участь мою и не желал бы более; но мне тогда было двадцать два года, я кипел честолюбием, уставал от бездействия, чах от избытка жизни. Сверх того, положение мое было для меня истинно нестерпимо. Оставя гвардию, не слыхавшую еще боевого выстрела, я провел два года в полку, который не был в деле, и поступил обратно в ту же гвардию, пришедшую из-под Аустерлица. От меня еще пахло молоком, от нее несло порохом! Я говорил о ревнии моем; мне показывали раны, всегда для меня завидные, или ордена, меня льстившие»¹¹. Обобщив сведения о полковой жизни, можно прийти к следующему выводу: знатные, образованные и материально состоятельные вступали в гвардейские полки (предпочтительно в кавалерию), образованные служили в Свите Его Величества по квартирмейстерской части (здесь, кстати, было более всего иностранцев) и в артиллерии, в пехоту поступали многие, кому не хватало ни денег, ни образования, в то время как материально обеспеченные, но без особого образования с охотой шли служить в гусары.

Действительно, служить в гусарских полках без денег было довольно обременительно. Так, именно недостаток средств заставил Надежду Дурову, согласно ее собственным запискам, оставить службу в Мариупольском гусарском полку, куда она была зачислена по повелению Александра I. Именно этому роду легкой кавалерии посвящено немало литературных трудов отечественных классиков. Этим признанные покорители дамских сердец были в немалой степени обязаны своему мундиру, безусловно, самому эффектному в армии. В его основе была традиционная одежда мадьяр и южных славян, а главными элементами были: доломан, короткая суконная куртка, расшитая галуном и шнурами, облегающие штаны — чакчиры, украшенные выкладкой из галуна, к которым полагались сапоги со шпорами и конечно же ментик — куртка, отороченная мехом, как и доломан, обшитая в несколько рядов двойным шнуром. Ментик обыкновенно удерживался на левом плече с помощью шнуровой застежки и лишь в холодное время года надевался в рукава. Головным убором служил кивер из черного сукна, обшитого кожей, самым заметным украшением которого были этишкет из плетеных шнурков с кистями и высокий султан из конских волос. Каждый из 13 полков имел свои цвета мундира, вызывавшего законное восхищение. Так, офицеры Ахтырского гусарского полка, где в 1812 году служил знаменитый поэт-партизан Д. В. Давыдов, имели доломан и ментик коричневые с желтым воротником, чакчиры — синие, кроме того, ментик был обшит белым мехом (мерлушками). Многократно воспетый Денисом Давыдовым «идол усачей» и «гусар гусаров» А. П. Бурцов, его сослуживец по Белорусскому гусарскому полку, носил доломан и чакчиры — синие, а ментик — красный с черным мехом. В Мариупольском же полку, где довелось некоторое время служить «кавалерист-девице» Надежде Дуровой, доломан, ментик и чакчиры были синие, воротник был желтый, а меховая обшивка — черная. При этом шнуры, которыми обшивались мундиры офицеров всех полков, были золотыми или серебряными. Неудивительно, что один вид гусар эпохи 1812 года исторг из души степенного ис-

торика Н. М. Карамзина возмущенный крик: «...Видим гусарских армейских офицеров в мундирах, обшитых серебром и золотом! Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир?» В наибольшей же степени все это относилось к лейб-гусарам, носившим сплошь красные доломаны и ментики, расшитые золотом до ослепительного сияния, причем синие чакчиры также имели спереди золотую выкладку в виде завитков и были расшиты золотым галуном по боковому шву. Их ментики были оторочены мехом бобра или соболя. Добавим к этому, что гусару (впрочем, как и каждому кавалеристу) полагалось иметь нескольких лошадей — одну «под седлом» и не менее двух «в заводе».

Неотделимый от эпохи 1812 года образ лихого рубаки-кавалериста запечатлен в поэтических строках Д. В. Давыдова, создавшего целый цикл «гусарской лирики», повествующей о военных и мирных буднях «героев под доломанами». Многие стихотворения «Анакреона под доломаном» посвящены А. П. Бурцову:

В дымном поле, на биваке
У пылающих огней,
В благодетельном араке
Зрю спасителя людей.
Собирайся в круговую,
Православный весь причет!
Подавай лохань златую,
Где веселие живет!
Наливай обширны чаши
В шуме радостных речей,
Как пивали предки наши
Среди копий и мечей.
Бурцов, ты — гусар гусаров!
Ты на ухарском коне
Жесточайший из угаров
И наездник на войне!

Эти строки, по словам Ф. В. Булгарина, знали наизусть во всех полках русской легкой кавалерии. Легкомысленный и бесшабашный Алексей Бурцов, благодаря перу Дениса Давыдова, так же как романтически-возвышенный лейб-гусар Евграф Давыдов, увековеченный на знаменитом портрете кистью О. А. Кипренского, давно уже воспринимаются многими как символы той дале-

кой героической эпохи. При этом мало кто знает, что символы эти были не только парадными: легендарный А. П. Бурцов скончался от ран в корчме на соломе во время арьергардных боев 1812 года. Судьба Е. В. Давыдова была не менее драматична: под Лейпцигом, в чине генерал-майора, «он был ранен осколком гранаты в правую ногу и контужен в голову ядром, но остался в строю. В тот же день ядрами ему оторвало левую ногу по колено и правую руку ниже локтя...»¹².

В воспоминаниях Ф. В. Булгарина представлены характеристики офицеров сразу нескольких полков русской гвардии: «В Кавалергардском, Преображенском и Семеновском полках был особый тон и дух. Этот корпус офицеров составлял, так сказать, постоянную фалангу высшего общества, непременных танцоров, между тем как офицеры других полков навещали общество только по временам, наездами. В этих трех полках господствовали придворные обычаи, и общий язык был французский, когда, напротив, в других полках, между удалой молодежью, хотя и знавшею французский язык, почиталось неприличием говорить между собой иначе, как по-русски. По-французски позволялось говорить только с иностранцами, с вельможами, с придворными и с дамами, которые всегда были и есть француженки, вследствие первоначального их воспитания. Офицеров, которые употребляли всегда французский язык вместо отечественного и старались отличаться светской ловкостью и утонченностью обычаев, у нас называли хрипунами, оттого, что они старались подражать парижанам в произношении буквы R <...>. Конногвардейский полк был, так сказать, нейтральным, соблюдая смешанные обычаи; но лейб-гусары, измайловцы и лейб-егеря следовали, по большей части, господствующему духу удальства, и жили по-армейски. О лейб-казаках и говорить нечего: в них молодчество было в крови»¹³. Конечно же особенно ему запомнился полковой быт собственного лейб-гвардии Уланского полка: «Один или два эскадрона наших стояли постоянно в Конногвардейских казармах в Петербурге, а остальные помещались в Стрельне и Петергофе, — то есть полк расположен был на тридцати верстах расстояния,

и все мы, однако ж, весьма часто виделись между собою. Я уже сказывал, что между офицерами все было общее. У эскадронных командиров всегда был открытый стол для своих офицеров — но как молодежи приятнее было проводить время между собою, без седых усов, то кто из нас был при деньгах, тот и приказывал стряпать дома. Эти корнетские обеды не отличались гастрономическим изяществом, но были веселее стотысячных пиров. Щи, каша, биток или жаркое составляли нашу трапезу; стакан французского вина или рюмка мадеры, а иногда стакан пивца — и более нежели довольно! Но сколько тут было смеха и хохота, для приправы обеда, сколько веселости, шуток, острот!»¹⁴

В отличие от гусар уланы были более сдержанны в поведении, а обмундирование их было менее эффектным. Уланские полки отличались между собой мастью лошадей, а также так называемым мундирным приборным сукном — цветом верха шапок, воротников, отворотов лацканов и выпушек. В основном в мундире преобладало сочетание синего, белого и малинового цветов. Мундир состоял из темно-синей куртки с лацканами в виде отворотов по груди и стоячего воротника приборного сукна, а также чакчиrow — узких панталон темно-синего сукна с двойным лампасом. Головным убором улан был особого образца кивер с четырехугольным кожаным дном («развалом»), так называемая «конфедератка», по поводу которой Ф. В. Булгарин сообщал: «...Уланскую шапку мы носили тогда, по форме, набекрень, к правой стороне и почти вся голова была обнажена». Н. А. Дурова, чья служба началась в 1806 году в Польском уланском полку, затем сражавшаяся в рядах Литовского уланского полка при Бородине, все же отдавала явное предпочтение гусарам. Ее грусть при переводе из Мариупольского гусарского полка была так велика, что один из ее сослуживцев участливо осведомился: «Ну что, улан, видно, не хочется расстаться с золотыми шнурами?»¹⁵ Вообще это перемещение из одного вида легкой кавалерии в другой «кавалерист-девица» воспринимала как ощутимую потерю, что нашло место в ее рассуждениях: «Чем более мы углубляемся в мысли о невозвратимости какого блага, тем оно дороже нам кажется. Лучше

всего стараться не думать об нем!.. Несмотря на эту философию, я до самой Домбровицы думала и грустила о том, для чего я не по-прежнему гусар!»¹⁶

Но как ни пленителен был образ офицера-кавалериста, «царицей полей» в ту эпоху считалась все же многострадальная пехота, о которой так немилосердно и свысока судил конногвардейский прапорщик Миркович. Впечатляющий зрительный образ этого рода войск представлен в сравнении с кавалерийскими полками в записках Н. А. Дуровой: «Двинулись войска, снова выются наши флюгера в воздухе, блистают пики, прыгают добрые кони! там сверкают штыки, там слышен барабан; грозный звук кавалерийских труб торжественно будит еще дремлющий рассвет; везде жизнь кипящая, везде движение неустанное! тут важно выступает строй кирасирский; здесь пронеслись гусары, там летят уланы, а вот идет прекрасная, стройная, грозная пехота наша! главная защита, сильный оплот Отечества — непобедимые мушкетеры!.. Хотя я люблю без памяти конницу, хоть я от колыбели кавалерист, но всякий раз, как вижу пехоту, идущую верным и твердым шагом, с примкнутыми штыками, с грозным боем барабанов, чувствую род какого-то благоговения, страха, чего-то похожего на оба эти чувства: не умею объяснить. При виде пролетающего строя гусар или улан ничего другого не придет в голову, кроме мысли: какие молодцы! какие отличные наездники! как лихо рубятся! беда неприятелю! и беда эта обыкновенно состоит в ранах более или менее опасных, в плене, и только. Но когда колонны пехоты быстрым, ровным и стройным движением несутся к неприятелю!.. тут уже нет молодцов, тут не до них: это герои, несущие смерть неизбежную! или идущие на смерть неизбежную — середины нет!.. Кавалерист наскочет, ускачет, ранит, пронесется, опять воротится, убьет иногда; но во всех движениях светится какая-то пощада неприятелю: это все только предвестники смерти! Но строй пехоты — смерть! страшная, неизбежная смерть!»¹⁷

Пехотные офицеры составляли «поголовное большинство» в русской армии, в которой насчитывалось 52 полка легкой и 124 полка тяжелой пехоты. Легкая

пехота (егеря) предназначалась главным образом для ведения боя в рассыпном строю стрелковым оружием, а тяжелые пехотинцы («мушкетеры» и гренадеры) действовали в основном в сомкнутых боевых порядках. В числе наиболее известных егерских полков следует назвать лейб-гвардии Егерский полк (1796), шефом которого являлся князь П. И. Багратион. Полк сражался под Аустерлицем (1805), Фридландом (1807) и особенно отличился в войне со шведами в 1808—1809 годах. В 1812 году полком командовал полковник К. И. Бистром, о котором известный военный писатель И. Н. Скобелев (бывший ординарец М. И. Кутузова) привел в «Солдатской переписке в 1812 году» анекдот, относившийся к сражению при Бородине, в котором лейб-гвардии Егерский полк лишился почти половины своего состава. Во время жестокой рукопашной схватки К. И. Бистром («детина, как будто на заказ сделан», — писал Скобелев), лично водивший своих егерей в штыки, заметил, что один из них «приотстал». Обладая большой физической силой, командир полка схватил солдата на руки и бросился с ним вперед. «Вот твое место!» — сказал он, поставив егеря перед французом.

Кроме полков — родоначальников русской гвардии — Преображенского и Семеновского, ведущих свою родословную со времен Петра Великого, существовали еще лейб-гвардии Измайловский полк, образованный при императрице Анне Иоанновне, и два совсем еще «молодых» полка — лейб-гвардии Финляндский (1806) и Литовский (1811). Причем нижние чины Финляндского полка набирались в основном из государственных крестьян финской национальности. Все офицеры в полку «были или из корпусных офицеров, или из кадет 1-го и 2-го кадетских корпусов. <...> Все члены высочайшей фамилии утешались этим батальоном, который, невзирая на то, что весьма немногие солдаты разумели по-русски, вскоре сравнялся в выправке со старыми полками гвардии. Офицеры батальона должны были учиться по-чухонски, чтобы понимать своих солдат и быть ими понимаемыми. Замечательно, что, как ни трудно было обучить и выправить этих солдат, все сделано было одною ласкою, и с ними обходи-

лись, как с добрыми детьми. Батальон этот дрался чрезвычайно храбро в кампанию 1807 года и послужил основанием <...> лейб-гвардии Финляндского полка»¹⁸. Однако эту идеалистическую картину, сохранившуюся в памяти Ф. В. Булгарина, некоторым образом разрушают рассказы унтер-офицера Богданикова: «Они (финны) смотрят и положительно ничего не понимают: ни направо, ни налево — глядят, и больше ничего. Тогда я им принес сена и соломы и говорю: “Вы знаете, что это?” Они говорят: “Сено”. — “А это?” — “Салом”. Ну так помните, что на правой руке у вас будет сено, а на левой солома, и когда буду командовать: “Сено”, тогда вворачайся направо, а когда буду говорить: “Солома”, тогда поворачивайся налево, и это было такой труд, которого я за всю службу и не видал, а начальство спрашивает, чтоб были готовы к известному времени, а с ними ничего не поделаешь: они и стараются, да ничего не понимают. Потом все-таки начали приучаться кой-как. Другие дядьки их бьют, я посмотрел, что же их бить? Ведь они положительно ничего не понимают. Я начинаю их хвалить, говорю: “Молодцы ребята, надеюсь, завтра вы сделаете еще лучше”. Они очень обрадованы, что их похвалили, приходят на квартиру и начинают сами между собой заниматься. Смотришь — завтра уже делают добропорядочно»¹⁹.

Все полки русской гвардии принимали участие в кровопролитной Бородинской битве, где особенно отличились литовцы и измайловцы, оказавшиеся в первой линии на левом фланге русской позиции у деревни Семеновское, где на них обрушился массивированный удар неприятельской артиллерии, пехоты и кавалерии. Генерал П. П. Коновницын доносил в рапорте М. И. Кутузову: «...Полки Измайловский и Литовский, в достопамятном сражении 26 августа, покрыли себя в виду всей армии неоспоримую славою, а я ставлю себе за щастие, что мне предоставлено свидетельствовать подвиги их перед Вашею Светлостию...»²⁰ Храбрость на поле битвы — это обычное качество для русского офицера в эпоху Наполеоновских войн и в то же время совсем необычное, коль скоро речь шла о смерти, ранах и увечьях полковых товарищей: «Для примера возьмем

материалы Бородинского сражения не все целиком, а лишь относящиеся к одному из многочисленных полков, принимавших участие в этом бою, — лейб-гвардии Литовскому. В день Бородинского сражения в полку в строю находилось 4 штаб-офицера, 46 обер-офицеров и 1 639 нижних чинов. Из офицеров двое в сражении были убиты и 35 ранены либо контужены. К наградам за Бородино были представлены все 48 оставшихся в живых»²¹.

Среди армейских полков наибольшей известностью пользовался конечно же 1-й егерский полк. Так, М. М. Петров рассказывал: «...Поступил в 1-й егерский полк по обольщению себя славными аванпостными поступками полкового командира полковника Карпенкова в войне финляндской 1808 и 1809 годов, с которым служба военного времени могла удобно двинуть всякого честолюбивого офицера скорым ходом вперед по русской поговорке: либо в покойники, либо в полковники, что со многими его подчиненными и со мною сбылось: ибо я в один год и 11 месяцев военного времени Отечественной и заграничной войны, по аванпостному служению с ним в общих делах со всеми соединенно в генеральных битвах, перешел за отличия из капитанов в полковники...»²² Генерал Л. Л. Беннигсен отмечал, что полк покрыл себя славой в кампании 1806—1807 годов. И конечно же сам за себя говорит отзыв об этом полку артиллериста И. Т. Родожницкого, относящийся к 1813 году: «Этот полк был известен своей храбростию, имел Георгиевские серебряные трубы, за отличие надпись на киверах, а офицеры золотые петлицы на воротнике. Бывши с начала войны под командою храброго полковника Карпенко, этот полк во всех сражениях отличался, особенно в Бородинском, и менее прочих понес потери. Между офицерами и солдатами была строгая дисциплина; солдаты были всегда одеты щеголевато и опрятно; люди все рослые, стройные и проворные»²³. И. Н. Скобелев рассказывал: «Храбрый Карпенко умел двигать солдат на смерть и выигрывать добрую их волю молча. Раздав приказания штаб- и обер-офицерам, оградив готовый в дело полк крестным знаменем, он спешил дать собою пример»²⁴.

В пехоте было немало полков, обладавших отличной репутацией на войне и в дни мира. Павловский гренадерский полк блестяще проявил себя в войне 1806—1807 годов, в особенности в битве под Фридландом, где завоевал право навсегда оставить в качестве головного убора островерхую шапку-гренадерку с металлическим налобником, в то время как все остальные пехотные полки уже носили кивера. Павловцы — любимый полк генерала графа А. И. Остермана-Толстого, вместе с которым он совершил немало славных дел. Действительно, как не привязаться сердцем к полку, с которым связаны, по собственному выражению военачальника, «красные дни» в битве под Пултуском: «Зоркий взгляд и правильное обсуждение Остермана обратили его внимание на этот пункт: он устроил сильную батарею при самой оконечности города и привел в охранение оной Павловский гренадерский полк и, поставя их в позицию, им сказал: “Вот вам место, где вы должны показать, что вы достойны носить имя бывшего вашего Государя; до последнего человека умрите, защищая батарею; привел вас на место бойкое, но вы здесь можете заслужить славу; место бойкое, но я останусь в вами”. Французы устремили на этот пункт сильный натиск. Картечь с обеих сторон сыпалась на уровень с пулями ружейного огня, и место это удержано. Во время действия Остерман, увидев значительный урон в рядах гренадеров, которые стояли, как стена, приказал им прилечь, а сам, как в Средних веках витязи, не слезал с лошади. Шапки Павловского полка до сих пор носят пробоины, полученные в этом деле, и это огненное крещение прославило полк»²⁵.

Генерал А. П. Ермолов больше всех любил, например, Ширванский пехотный полк, во главе которого он при Бородине отбил у французов центральное укрепление — батарею Раевского. М. Б. Барклай де Толли, дослужившись до полного генерала, на всю жизнь сохранил теплые чувства к 3-му егерскому полку, в котором некогда был командиром. Генерал М. А. Милорадович был особенно привязан к Апшеронскому пехотному полку, шефом которого он являлся с 1798 по 1814 год. Многие полки принимали участие в нескольких воен-

ных кампаниях и уже к 1812 году имели ряд коллективных полковых наград: «георгиевские» знамена, знамена «За отличие», наградные золотые и серебряные трубы, «гренадерский бой» (барабанный бой). После Отечественной войны и Заграничных походов число полков, покрывших себя славой на полях сражений, значительно увеличилось. Об одном из необычных видов награждения вспоминал Н. Н. Муравьев: «В сражении под Тарутиным Псковский драгунский полк, опрокинув французских латников, надел неприятельские кирасы, в коих и продолжал бой. В уважение подвигов псковских драгун государь назвал их кирасирами, и они сохранили также во всю войну приобретенные ими французские желтые и белые латы»²⁶.

В их числе можно назвать Орловский пехотный полк, входивший в 26-ю пехотную дивизию генерал-майора И. Ф. Паскевича — шефа полка. Кстати, предвоенные будни полка не предвещали ничего хорошего. Обратимся к запискам И. Ф. Паскевича: «В декабре 1810 года поручено мне сформировать пехотный полк, названный Орловским. В январе 1811-го я назначен шефом полка. Формирование с самого начала представило затруднения невероятные. Общие приготовления к войне были причиною, что для состава новых полков не могли дать хороших средств. Надлежало формировать полк из четырех гарнизонных батальонов, в которых солдаты и офицеры почти все были выписные за дурное поведение. Из других полков поступило только три майора и несколько обер-офицеров. К тому из Дворянского корпуса прислали 20 молодых офицеров, только что умевших читать и писать.

С этими средствами надо было спешить с образованием полка, ибо война была неизбежна. Нравственности в полку не было. От дурного содержания и дурного обхождения офицеров начались побегі. В первый же месяц ушло до 70 человек. Почти половину офицеров я принужден был отослать обратно в гарнизон. Я жаловался на судьбу, что, между тем как в армии были прекраснейшие полки, мне достался самый дурной и в то самое время, когда мы готовились к борьбе с страшным императором французов. Я был тогда

в корпусе Дохтурова, в дивизии Раевского и командовал бригадой, состоявшей из полков Орловского и Нижегородского. Бригада находилась в Киеве. Я настоял, чтобы вывести мой полк из города, где невозможно было завести необходимого порядка, и расположился в 60-ти верстах. Три месяца усиленных занятий и шесть недель в лагере дали мне возможность привести Орловский полк в такое положение, что он был уже третьим полком в дивизии»²⁷. Приобщив сведения, сообщенные И. Ф. Паскевичем, к нашим представлениям об офицерах царской армии, мы вынуждены будем признать, что мало кому захотелось бы коротать дни и вечера в обществе господ офицеров Орловского пехотного полка. Но, как говорил Суворов, «будет командир хороший — будет полк хороший». «На офицеров обращал особенное внимание, — продолжал рассказ И. Ф. Паскевич. — Главное дело было дать им правила военной нравственности. Воспитание не сделало из них людей ученых (что, впрочем, и вовсе не нужно). Я внушал им, что всего нужнее на войне храбрость, храбрость и храбрость». Обратим внимание на слова будущего фельдмаршала, выпускника Пажеского корпуса, который вслед за К. Клаузевицем уверенно утверждал в те годы, что образование в военном ремесле — вопрос не самый главный. Что же было дальше? В кампании 1812 года Орловский пехотный полк стойко сражался под Салтановкой, почти сутки отражал атаки наполеоновских войск под Смоленском, оборонял ключ русской позиции — батарею Раевского — при Бородине, причем гренадерская рота 2-го батальона, входившая в состав 2-й сводно-гренадерской дивизии графа Воронцова, почти полностью погибла, защищая знаменитые Семеновские (Багратионовы) флеши. В апреле 1813 года полк был награжден серебряными трубами с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.».

Тем более невероятной для той поры выглядит история, случившаяся в 1812 году «на походе» в любимом полку императора Александра I — лейб-гвардии Семеновском. Однако если мы внимательно вчитаемся в строки дневника штабс-капитана П. С. Пуцина, кото-

рый можно назвать «хроникой неповиновения», то мы вынуждены будем признать, что подобное происшествие только и можно объяснить тем, что полк был любимым, а общество офицеров в нем — отличным. Все началось в период отступления от западной границы. 8 июля 1812 года Пущин в некотором смятении записал в дневнике: «Командир полка полковник Криднер, придерживаясь всегдашней своей привычки быть грубым, наговорил дерзостей одному офицеру нашего батальона, некоему Храповицкому. (Он ему сказал: “Вы перед взводом идете как кукла”). Порешив проучить командира, все офицеры батальона постановили отправиться к нему и объявить, чтобы на будущее время он предъявлял какие угодно строгие требования, но чтобы никогда не осмеливался говорить дерзости офицерам. Наш батальонный командир полковник Писарев, узнав о нашем намерении, попросил не идти всем разом, а предоставить ему переговорить с командиром полка. Мы приняли это предложение, и, как только остановились на бивуаке, полковник Писарев отправился к полковнику Криднеру передать все, что ему было поручено. Полковник Криднер расвирепел. Он не захотел принять офицеров батальона всех, а потребовал к себе только 4-х ротных командиров: Костомарова, Бринкена, Окунева и меня (Пущина). Он почти не дал нам говорить, исчерпал все возможные угрозы, сказал, что его поражает наше неумение обуздать наших офицеров»²⁸.

Следующий день принес офицерам полка новые волнения: «По прибытии на стоянку все офицеры полка сошлись у своих батальонных командиров, бывших с ними заодно, и объявили им, что они намерены потребовать у командира полка полковника Криднера довести до сведения великого князя, что офицеры, не имея возможности долее терпеть грубого с ними обращения командира, ходатайствуют, чтобы его обуздали. Вследствие этого батальонные командиры полковник Посников, Писарев и барон де-Дамас отправились к Криднеру, и полковник Посников ему объявил, что, согласно его приказанию, по истечении 24 часов он вместе со своими товарищами явился ему объявить, что его офицеры не раздумали, напротив, совместно со всеми офи-

церами двух остальных батальонов настаивают, чтобы было доложено об этом великому князю. Полковник Криднер, взбешенный, вынужден был немедленно отправиться с рапортом к великому князю. (Государь давно одобрил офицерские суды, и благодаря им многие негодяи были удалены из полка. Криднер вполне заслужил ту же участь.) Была всеобщая радость, несмотря на то, что дело могло принять дурной оборот. Князь Голицын был главарем»²⁹. Заметим, что все офицеры полка были уверены в том, что совершают поступок, укладываемый в компетенцию офицерского «суда чести», одобренного самим государем. Не решено было только одно, где проходит грань между этим судом и служебным неповиновением.

10 июля великий князь Константин Павлович, действительно, поспешил явиться в полк для того, чтобы разрешить конфликт между начальником и подчиненными, возникший в военное время: «Едва мы прибыли на стоянку, приехал верхом великий князь, весь в грязи и промокший, он приказал созвать всех офицеров. Будучи в возбужденном состоянии, он не дождался, пока все офицеры собрались, и, когда я пришел, уже начал говорить. Вот подробности этой картины: великий князь сошел с лошади, которую держали тут же в стороне. Он был окружен офицерами и говорил ровно и спокойно. Полковник Криднер держался в стороне, так же как и лошадь великого князя. Он имел вид пришельца с того света. “Господа, — сказал великий князь в то время, когда я приблизился, — враг в центре государства. Он без боя занял шесть губерний только одним наступлением. Можно ли в такое время возбуждать вопросы личного честолюбия. Помните, что вы должны служить примером армии. Помните, что вы русские дворяне и у вас должна быть только одна мысль, одно стремление — спасти ваше Отечество от той опасности, которая, я от вас не стану скрывать, грозит ему. Первый долг военного — подчиняться, хотя бы дали камень в командиры (при этих словах он взглянул на Криднера, которому, вероятно, не особенно лестно было такое сравнение). Вы, господа батальонные командиры, слишком балуете ваших молодых офицеров, в особенности вы, барон

де-Дамас <...>. Вы, господин Храповицкий, если считали себя оскорбленным полковником, не должны были допустить, чтобы весь состав офицеров принял на себя Вашу защиту, и Вы сами должны были потребовать удовлетворения. Впрочем, я считаю, что полковник поступил правильно, Вы заслужили строгий выговор (затем, обращаясь ко всем), я вас прошу и надеюсь, господа, что вы прекратите этот беспорядок и, помня, что всякие сходки законом запрещены, вы осознаете проступок, вами совершенный, восстав против вашего командира, и постараетесь загладить проступок этот примерной службой. Повторяю, надо подчиняться камню, если его ставят вам начальством. Может быть, я сам, говоря с вами, испытываю это на себе и подчиняюсь кому-то, который должен быть под моим начальством (намек на разлад между великим князем и главнокомандующим армией Барклаем де Толли). Я вас заклинаю, господа, ради меня подчиняться вашему командиру и не забывать, что теперь военное время, нарушение дисциплины наказывается смертной казнью и что господин Храповицкий заслужил ее и если он ей не предан, то исключительно по снисхождению. Прощайте, господа, и ради любви ко мне прекратите этот беспорядок, который очень огорчил государя». «Для вас, ваше высочество, мы все сделаем», — закричали разом все офицеры. Великий князь успел в это время уже сесть на лошадь, пришпорил и издали крикнул нам: «И для полковника, господа».

Цесаревич покинул офицеров-семеновцев в твердой уверенности, что «семеновская история № 1» («семеновская история № 2» повторилась в 1820 году, после чего полк был расформирован) благополучно завершилась. Но брат царя ошибался: «Вслед за этим полковник Криднер, подойдя к нам, обратился к полковнику Посникову, старшему после него со следующими словами: “Полковник, я не желаю больше командовать частью, которая так поступила по отношению ко мне, и предаю вам командование”. Все офицеры во главе с полковником Писаревым, старшим после полковника Посникова, обратились к последнему с выражением радости быть под его начальством. Полковник Криднер,

успевши отойти всего на несколько шагов, возвратился и объявил полковнику Посникову, что он опять принимает командование для того, чтобы доставить себе удовольствие наказать главных зачинщиков всех козней против него. “Полковник Писарев, — сказал он, — дайте мне вашу шпагу, я вас арестую”. Офицеры, начавшие уже расходиться, немедленно возвратились, и князь Голицын первый сказал: “За что вы, полковник, арестовали полковника Писарева, мы все столько же виноваты, как и он...” Но полковник Криднер не дал ему говорить и потребовал от него шпагу. Барон Фридерикс хотел сказать несколько слов, но и его постигла та же участь. Тогда несколько человек заговорили одновременно. Криднер не счел возможным продолжать аресты, сел на лошадь и поскакал за великим князем. Мы порешили не оставлять наших товарищей и во всем разделить их участь, разошлись по палаткам. Остальной день прошел в томительном неведении, а Писарев, Голицын и Фридерикс отправились на гауптвахту»³⁰.

Высшее начальство явно не справлялось с ситуацией, созданной неповиновением одного из старейших и знаменитых полков русской армии. По размышлению, оно решило принять сторону оскорбленных офицеров, которые, тем временем осознав свою силу, не шли ни на какие компромиссы: «*12 июля*. Великий князь приказал возвратить шпаги Писареву, Голицыну и Фридериксу. Криднер устранил Писарева от командования батальоном нашим и, сказавшись больным, предал полк полковнику Посникову. Немного спустя генерал барон Розен возвратил Писареву батальон ко всеобщей радости». Теперь уже не знал, как себя вести с подчиненными и сам командир полка, которому тем не менее надлежало возглавлять полк в сражении: «*14 июля*. Неприятель приближался к Витебску. Бой возобновился с утра. Мы передвинулись на наш левый фланг и остановились в резерве почти против города. <...> Нам не пришлось еще вступить в бой. С наступлением ночи бой прекратился, и мы заснули в полной амуниции. Криднер, полагая, что полк вступит в бой, появился пред полком, чтобы разделить с нами участь на поле битвы. У него был очень жалкий вид»³¹. Подчиненные

взяли верх над начальником: Криднер не смог найти с ними общий язык, самовольно отказавшись от командования полком, что было не менее предосудительно, чем неповиновение его подчиненных.

Однако этим история не кончилась: офицерам-семеновцам предстояло тягостное свидание с императором, прибывшим к армии в Вильно по окончании похода. Впрочем, они рассчитывали на прощение в воздаяние их подвигов при Бородине, но ошиблись: «16 декабря. Нас всех потребовали к полковнику Посникову для объявления, что государь очень недоволен нами, и если в настоящее время он не налагает взыскания на главных зачинщиков, то только благодаря великому князю, которому он обещал это, и, кроме того, полковник Криднер, покинув армию, связал его своим недостойным низким поступком. Затем полковник нам сообщил, что государь дает полковнику Посникову армейский полк для того, чтобы он, отличившись, мог оправдать в его глазах снисхождение, оказанное ему его величеством. <...> При объяснении с полковником Посниковым государь сказал: “Федор Николаевич, я бы не посмотрел, что это полк Петра Великого. Я раскассировал бы его, но просьба великого князя и поведение Криднера мне связали руки, вам много и много надобно служить, чтобы заставить меня забыть происшедшее”»³². Впрочем, гнев государя был недолгим. В начале 1813 года П. С. Пущин записал в дневнике: «Мы заступили в караулы в Калише, где произвели учение в присутствии Государя. Его величество остался очень доволен нами и сказал, что теперь нам прощает все, в чем перед ним провинились, поступив нехорошо с Криднером. <...> Бородинское сражение и вся бессмертная кампания 1812 года не могли расположить к нам его величество настолько, как парад в Калише»³³. Государю очень хотелось простить своих любимцев, и он простил. Тем более что лейб-гвардии Семеновский и Преображенский полки особенно отличились в августе 1813 года в битве под Кульмом. Но когда удивительно похожий случай неповиновения (на этот раз полковнику Шварцу) произошел в 1820 году в Петербурге, император был суров ко всем участникам «семеновской исто-

рии № 2»: полковник Шварц был «уволен от службы без права вступать в нее», а «старый» Семеновский полк — раскассирован. Безусловно, подобная история могла произойти именно в гвардейском полку, офицеры которого привыкли находиться в исключительном положении. Так, армейский офицер Н. Е. Митаревский признавался: «<...> должен заметить, что между армией и гвардией было мало ладов. Гвардию, как отборное войско, разумеется, больше берегли и доставляли ей больше удобств, но это-то и порождало зависть и недоброжелательство».

Здесь нельзя не вспомнить об одном весьма важном вопросе, постоянно волновавшем офицеров той эпохи в дни войны и мира — защита чести и достоинства. Как только речь заходит об этом возвышенном предмете, нам сразу же представляется офицер царской армии, готовый во всеоружии отстаивать свою личную честь и, соответственно, честь полка, в котором, по понятиям того времени, не могло быть бесчестных офицеров. «...От офицера требовалось, чтобы он знал хорошо службу и исполнял ее рачительно. Краеугольными камнями службы, на которых утвержден был порядок и все благоустройство полка, были эскадронные командиры и ротмистры, люди уже в зрелых летах, а иногда и пожилые, опытные, посвятившие жизнь службе из любви к ней. Большая часть эскадронных командиров и ротмистров были суворовские воины, уже крещенные в пороховом дыму. Они обходились с нами, как обходятся добрые родители с детьми-повесами, но добрыми малыми, прощали нам наши шалости, когда это были лишь вспышки молодости, и требовали только исполнения обязанностей службы, храбрости в деле и сохранения чести мундира. Офицер, который бы изменил своему слову или обманул кого бы то ни было, не мог быть терпим в полку. Правда, мы делали долги, но не смели обмануть ни ремесленника, ни купца, ни трактирщика. В крайности офицеры складывались и уплачивали долг товарища, который в свою очередь выплачивал им в условленные сроки. Офицерская честь высоко ценилась, хотя эта честь имела свое особенное, условное значение»³⁴.

Самым действенным способом защитить честь во всех ее видах была дуэль — «поединок чести». Это явление было вполне в духе эпохи, лицом которой являлись военные. Так, весьма уравновешенный и чуждый показной воинственности сардинский посол Ж. де Местр рассуждал в годы противостояния наполеоновской Франции так: «На сих днях у меня была длительная беседа с английским посланником и секретарем баварской миссии. Впервые завел я с ними речь о большой политике: “Всякий порядочный европеец должен сейчас быть с вами именно потому, что он европеец. Если бы я был монархом, смертельно вас ненавидящим и всю жизнь ведущим войну с вами, сегодня я встал бы за вас, поелику дело идет о всей Европе. Когда два благородных человека дерутся на дуэли и на них вдруг нападает общий враг, они сразу же объединяются против него, хотя бы ради того, чтобы иметь возможность завтра проткнуть друг друга”»³⁵.

Князь С. Г. Волконский свидетельствовал: «В царствование Александра Павловича дуэли, когда при оных соблюдаемы были полные правила общепринятых условий, не были преследуемы Государем, а только тогда обращали на себя взыскание, когда сие не было соблюдено, или вызов был придижкой так называемых *bretteurs*; и то не преследовали таковых законом, а отсылали на Кавказ. Дуэль почиталась Государем, как горькая необходимость в условиях общественных. Преследование, как за убийство, не признавалось им, в его благородных понятиях, правильным»³⁶. Ф. В. Булгарин считал необходимым дать более подробное разъяснение причинам, которые побуждали офицеров того времени отстаивать свою честь с оружием в руках, как на поле битвы, так и в мирные дни: «Эта военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться никакой власти, кроме своей полковой, и непрерывно противудействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство, хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных, условных границ. Стрелялись чрезвычайно редко, только за кровавые обиды, за дела чести; но рубились за всякую

мелочь, за что ныне и не поморщатся. После таких дуэлей наступала обыкновенно мировая, потом пир и дружба. Тогда бы не каждый решился мурлыкать вам в ухо во время пения какой-нибудь знаменитой певицы, хлопать или шикать в театре, наперекор общему мнению, наступать на ноги без извинения, говорить на ваш счет дерзости, хотя не прямо в лицо, клеветать заочно и распространять клевету намеками. Тогда бы два десятка молодцов вступились бы за приятеля и товарища, и наказали бы дерзкого и подлого клеветника»³⁷.

Было бы преувеличением утверждать, что поводом для дуэли являлись исключительно дерзость обидчика или подлая клевета. Сам Булгарин признавал: «*Последняя копейка ребром*» и «*жизнь копейка — голова ничего*», эти поговорки старинной русской удали были нашим девизом и руководством в жизни. <...> Попировать, подраться на саблях, побушевать, где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время». Яркий пример подобной «вспышки молодости» приведен в записках В. И. Левенштерна: «Близ этого города (Вильно) я имел несчастье поссориться с одним из моих лучших друзей, графом Ипполитом де-Моден, служившим в чине капитана в моем эскадроне. Мы решили наш спор с оружием в руках. Мы были оба молоды, горячи и, не успев даже пригласить секундантов, отправились на гумно и стали рубить друг друга саблею на свободе. Кровь, лившаяся в изобилии из ран, которые мы нанесли друг другу, успокоила наш гнев. Наша злоба улеглась, минуту спустя мы почувствовали, как глубока была связывавшая нас дружба. С тех пор она ни разу не нарушалась»³⁸.

Поводом для дуэли могла стать и «беда от нежного сердца» одного из двух приятелей: «Дрались на дуэли молодые офицеры Дымов и Сакен, из-за того, что Сакен назвал понравившуюся Дымову девушку благородного происхождения уменьшительным именем Нюточка. Противники вылезли из повозки и скрестили шпаги на залитой солнцем поляне. Не прошло и пяти минут, как Сакен остался без пальца на правой руке, а Дымов получил пять незначительных ран. О ссоре узнало начальство. Дуэлянтов арестовали. Суд признал Дымова зачин-



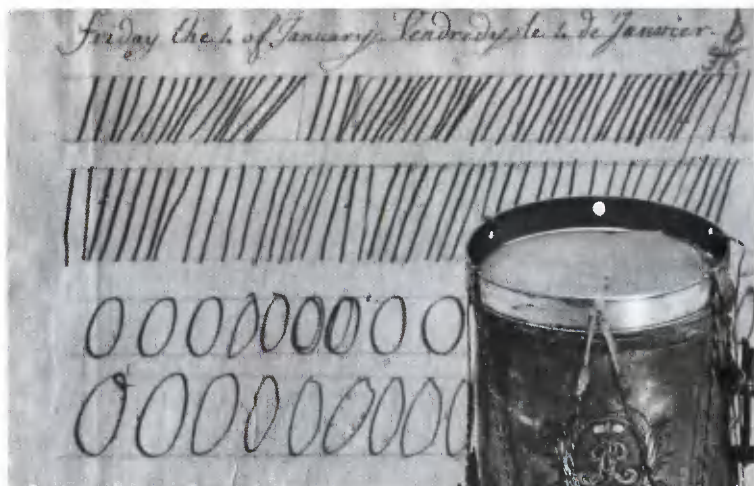
Павел Христофорович Граббе. *Литография Е. Гейтмана. 1820-е гг.*



«Мишенька
и Катенька».
Граф М. С. Воронцов
с сестрой в детстве.
Гравюра К. Уотсон.
1786 г.



Великие князья
Александр
и Константин,
сажающие дерево
перед бюстом
Екатерины II.
Силуэт И. Ф. Антинга.
Фрагмент. 1790 г.



Прописи Мишеньки Воронцова
Детский барабан великого князя
Александра Павловича

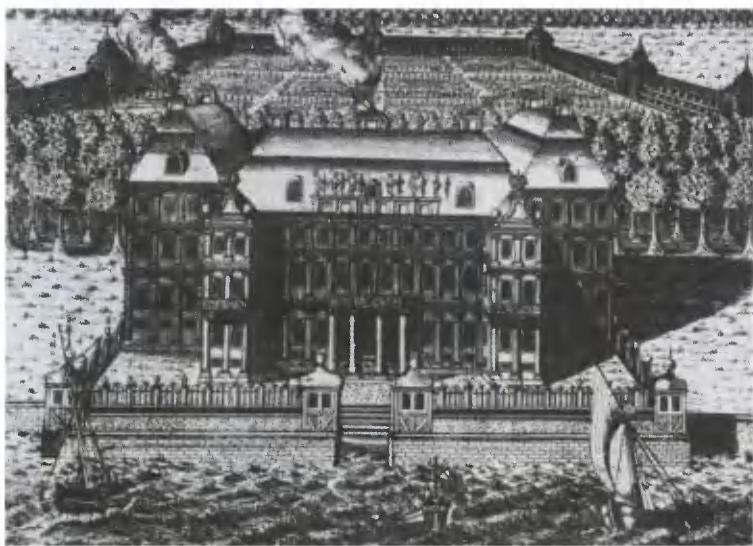


Кадеты Малолетнего
отделения
1-го кадетского корпуса,
1802—1813 годы.
Середина XIX в.



Граф Ф. Е. Ангальт,
директор Сухопутного
шляхетного
(1-го кадетского)
корпуса.
*Неизвестный художник,
1890-е гг.*

Меншиковский
дворец. С 1732 года
здание Сухопутного
шляхетного
(позже 1-го)
кадетского корпуса.
*Гравюра
А. И. Ростовцева,
1716 г.*





Полковник лейб-гвардии Гусарского полка Евграф Владимирович
Давыдов. *О. А. Кипренский. 1809 г.*



Икона «Спас
Нерукотворный».
Образ из походной
церкви Ревельского
пехотного полка,
шефом которого
был генерал-майор
А. А. Тучков 4-й.
Конец XVIII в.

Молебен
на Бородинском поле
25 августа 1812 года.
*Рисунок И. Иванова.
XIX в.*





Императрица Елизавета Алексеевна.
Гравюра Ф. Вендрамини. 1810-е гг.



Император Александр I.
Гравюра Ф. Вендрамини. 1810-е гг.

Александр I и Наполеон I. Встреча на Немане при заключении
Тильзитского мира. Литография К. Мотта. 1830 г.

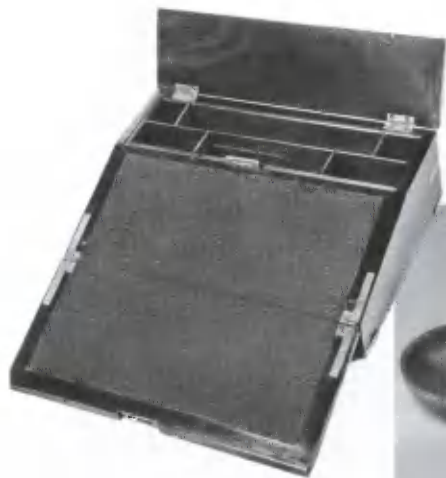




Николай Дмитриевич Дурново



Князь Сергей Григорьевич
Волконский



Дорожные бюро
и подсвечники.
Россия.
Первая половина XIX в.





Денис Васильевич Давыдов



Иван Романович (Иоганн Рейнголд) фон Дрейлинг

Лейб-гвардии Литовский полк

в Бородинском сражении. *Н. С. Самокиш. Эскиз. 1911 г.*





Гренадерская шапка Павловского
гренадерского полка. *Россия.*
1800-е гг.



Знак отличия Военного ордена
Святого Георгия. Учрежден в 1807 году
для награждения нижних чинов
за боевые заслуги

Русские гренадеры.

Гравюра Г. Адама по собственному рисунку. 1814 — до 1838 г.





Знак (крест) ордена
Святой Анны

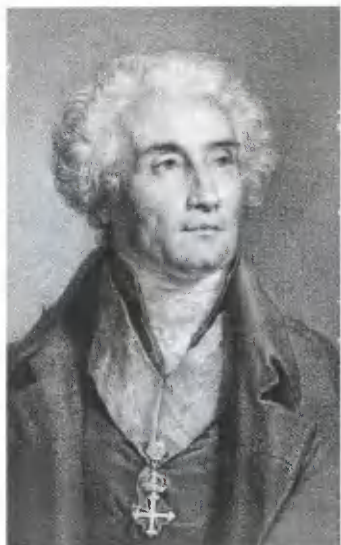
Французская и русская
легкокавалерийские сабли.
Начало XIX в.



Г. Г. фон Смиттен в кавалергардском
мундире. *Неизвестный художник.*
1816—1820 гг.

Доломан офицера лейб-гвардии
Гусарского полка. *Россия. 1812 г.*





Граф Жозеф де Местр,
посланник Сардинии в России



Арман де Коленкур, герцог Виченцкий,
посланник Франции в России

Марсово поле и памятник А. В. Суворову. *Гравюра Б. Патерсена. 1807 г.*





Знак (крест) ордена
Святого Владимира

*Александр I. Гравюра
с оригинала Л. И. Кияля.
Первая половина XIX в.*



Смотр гвардейских частей
на Дворцовой площади.
Гравюра. 1810-е гг.





Вдовствующая
императрица
Мария Федоровна.
А. Ритт.
1790-е гг.



Фрагмент
столешницы
с видом Павловска.
*Роспись по акварелям
С. Ф. Щедрина.*
1789 г.



Кивер уланского Владимирского полка. *Начало XIX в.*



Надежда Андреевна Дурова

Сцена из военной жизни. *Неизвестный художник. Первая половина XIX в.*





С пакетом. А. Ю. Аверьянов. 1992 г.

щиком и приговорил его по “Воинскому артикулу” к отсечению руки. Ни у кого <...> не возникло сомнений, что этот <...> отдающий средневековым приговор останется на бумаге. К примеру, командовавший полком генерал-майор Барклай де Толли, предвидя конфирмацию, высказал мнение, что содеянное обоими “наносит стыд офицерскому званию”, а посему они “недостойны продолжать воинскую службу” и должны быть с нее отставлены. Александр I согласился с генералом...»³⁹

Наконец, дуэль была надежным средством убрать соперника в любви. Именно так решился поступить князь С. Г. Волконский, да и не он один: «Полагая себя человеком, героем, потому что понюхал пороху, как не быть влюбленным при мирной, столичной жизни? И первый предмет, могу сказать, юношеского моего любовного порыва была весьма хорошенькая троюродная мне сестра К. М. Я. Л. Р. (Княжна М. Я. Лобанова-Ростовская), которая имела такое милое личико, что, об ней говоривши, ее называли “une tete de Guide” (головка Гвидо). Не я один ухаживал и поэтому имел для меня ненавистное лицо — более счастливого в поисках К. А. Н. Придаться без всякой причины к нему, вызвать его на поединок, с надеждою преградить ему путь и открыть его себе, было минутное дело, подтвержденное на другой день письменным вызовом. Странное обстоятельство, что в этот день было три вызова: мой, другой К. А. Я. Л. Р. к князю Кудашеву и полковника Арсеньева графу Хреbtовичу — и что переговоры по всем трем вызовам были у графа Мих. Сем. Воронцова. Первые два кончили примирением. Мой антагонист мне поклялся, что не ищет руки моей Дульцинеи, и год спустя на ней женился. Второго вызова причину должен утаить, как очернившую память одной женщины. Но не удалось графу примирить третий; и вот причина этого вызова: Арсеньев был уже давно влюблен и искал руки фрейлины В. К. Анны Федоровны, девицы Ренни; его желания были увенчаны успехом, и он был объявлен ее женихом, и Государь Император, отлично к нему расположенный, как к человеку, вполне это заслуживающему, благоволил при объявлении Арсеньевым о предстоящем ему счастье, как человеку, весьма ограниченному в средс-

твах жизни, дать ему аренду, или денежные средства. Эта помолвка получила полную гласность. Спустя несколько дней по оной, граф Хребтович, богатый помещик польский, влюбленный также в девицу Ренни, не принимая в уважение бывшую помолвку, решился себя предложить в соискатели руки этой молодой девушки. Мать ее, прельщенная богатством графа Хребтовича, уговорила свою дочь отказать в уже данном с ее согласия обещании Арсеньеву и принять предложение Хребтовича. Арсеньев, обманутый в своих ожиданиях, не вынес этой обиды и вызвал на поединок Хребтовича; вызов был принят этим последним. Дуэль была на пистолетах, секундантом у Арсеньева был граф М. С. Воронцов, а у Хребтовича — граф Моден. Арсеньев был убит на месте. Весь Петербург, за исключением весьма малого числа лиц, вполне оправдывал Арсеньева и принимал в постигшей его смерти радушное участие. Его похороны почтила молодежь петербургская своим присутствием, полным участия, и явно осуждала Хребтовича и тех лиц, которые своими советами участвовали в склонении матери и девицы Ренни к неблагоприятному отказу Арсеньеву. Хребтович, как осужденный общим мнением, выехал из Петербурга; но семейство Ренни поехало вслед за ним в его поместье, и там совершилось бракосочетание»⁴⁰.

Приведем здесь текст предсмертной записки полковника лейб-гвардии Преображенского полка Д. В. Арсеньева 2-го, позволяющий нам судить об эпохе и о людях: «Я должен портному Голендеру по счету около 200 рублей, Турчанинову по счету около 400 рублей, Воронцову 180 червонцев и 150 рублей, брату 1 000 рублей, и потом какие-нибудь самые мелкие деньги, каких я не упомяну. Мне должны: Дука 150 червонцев, принц Мекленбургский 50 червонцев и впрочем кто сам вспомнит малые долги, тот их отдаст.

Дать на мой батальон 500 рублей. <...> Братьев моих поручаю покровительству моих друзей. Всякого прошу вникнуть в мои обстоятельства, посудить меня и пожалеть, буде найдет виновным. Любил друзей, родных, был предан Государю Александру и чести, которая была для меня во всю мою жизнь единственным для меня

законом. Имел почти все пороки, вредные не для кого иного, как для самого себя. Прощайте. <...> Я ношу два кольца и один перстень. Секунданты мои возьмут их себе в знак моей дружбы и благодарности»⁴¹.

До нас дошла и другая преддуэльная записка одного из участников «поединка чести» со счастливым исходом. В 1803 году штабс-капитан Кушелев сообщал корнету Чернышеву: «Тогда мне было едва 14 лет, и всех тонкостей военной науки и экзерциций точно уразуметь я не мог. И вот, будучи однажды послан на главный караул, я сделал какую-то незначительную оплошность. Генерал-майор Бахметьев, случившийся здесь, ударил меня за это своею палкою. До сих пор при сем воспоминании у меня содрогается сердце. Так велика была обида, мне нанесенная. Но в те времена мой подпорщичий чин не позволял мне искать сатисфакции, пристойной дворянину, обиду же сию всегда великою считал, что никакое время не могло истребить оной из моей памяти... Четыре дня тому назад генерал-майор Бахметьев дал мне слово удовлетворить в той обиде.

<...> Сохрани все сие в тайне от моих родителей, дабы мысль об опасности, с боем сопряженной, не заставила их принять меры к пресечению мне способов избавить себя от тяжелого сознания оскорбленного дворянского достоинства и военной чести...»⁴² С. Н. Марин сообщил в письме своему другу графу М. С. Воронцову (тому самому, кому досталось одно из колец или перстень Д. В. Арсеньева) дополнительные обстоятельства, после которых дуэль сделалась неизбежной: «По сию пору они нигде не съезжались; а теперь к несчастью увиделись в доме Марфы Арбеновой, которая, услышав, что Бахметьев говорит с Кушелевым, закричала: “Я думаю, что тебе, Кушелев, неприятно говорить с Бахметьевым; ведь он тебя бил палкою”. Это случилось при многих, и Кушелев должен был вызвать...»⁴³ В секунданты Бахметьев пригласил князя Багратиона, который сразу же воспротивился поединку, ввиду того, что его участники были не равны в чинах. Генерал был уверен, что подчиненный не может вызвать на дуэль своего начальника за взыскание по службе; в противном же случае, любое замечание начальника может являться

поводом для выяснения отношений с оружием в руках. «Багратион взялся уладить конфликт. Вместе с генералом Депрерадовичем он приехал к сенатору Кушелеву, отцу штабс-капитана, но... Зря Кушелев опасался, что родители захотят расстроить его поединок. Сенатор, несмотря на любовь к сыну, вмешиваться не стал, сказав, что раз сын счел нужным поступить так, то он не будет ему мешать. Правда, Багратион попыток своих не оставил и встретился с самим Кушелевым. Тот на предложение помириться заявил: или поединок, или извинение со стороны генерала.

Генерал тоже оказался упрямым и извиняться не пожелал. Дуэль. Багратион, не добившись мирного исхода, быть свидетелем отказался, и секундантами Бахметьева, кроме генерала Ломоносова, стали штабс-капитан князь Голицын и отставной капитан Яковлев, отец Герцена. <...> Кушелев стрелял первым и промахнулся. Дал промах и Бахметьев. Других выстрелов, однако, не последовало, потому что Бахметьев, отшвырнув пистолет в сторону, подошел к Кушелеву и с извинениями протянул руку»⁴⁴.

Но не следует думать, что прославленный генерал был убежденным противником дуэлей или испугался понести наказание, лишившись чинов. Приведем рассказ его адъютанта Д. В. Давыдова, относящегося к 1807 году: «Наскучив бесполезною перестрелкою через реку (против Деппена. — *Л. И.*), князь посылал меня два раза к стрелкам с приказанием прекратить стрельбу, но задор их был таков, что они не слушали ничьего повеления. Я лишь в третий раз мог убедить сих непреклонных героев отступить; едва успел я донести князю, что стрелки воротились к своим полкам и что все утихло, как вдруг под горою огонь вновь загорелся с большею против прежнего силою. В это время генерал Сакен, подъехав верхом к князю, просил у него закуски. Князь, приказав подать обедать, спросил его, откуда он явился? Сакен отвечал ему, что он от Деппенского сожженного моста, куда привел пехотный полк, которому велел вытеснить оставшихся на сей стороне французов. “Хочу, — продолжал он, — чтобы ни один из них не оставался на этой стороне!” На это князь ему отвечал, что

если он приехал к нему в качестве начальника, то пусть приказывает, и он, по его указанию, двинет весь авангард; но, как *равному генерал-лейтенанту* (выделено мной. — Л. И.), он позволяет себе сказать, что здесь не его место, что до авангарда ему дела нет, что было бы гораздо лучше исполнить накануне в точности приказание главнокомандующего, чем завязывать пустые дела для прикрытия своих погрешностей и терять чрез то без всякой пользы людей, столь необходимых и полезных государю и отечеству! Слова эти были выговорены со всей пылкостью азиатского характера, причем князь делал движения рукою. Сакен отвечал, хотя не робко, но слабо. Багратион, пылая гневом, не мог простить и этого; бросившись к Сакену, он забылся до того, что предложил ему дуэль на таком месте, которое могло бы лучше напомнить ему, что кровь его принадлежит Отечеству. Тогда граф Пален и покойный князь М. П. Долгорукий, подойдя к князю, тихо сказали ему: «Ваше сиятельство, какой пример вы подаете подчиненным вашим?» Это мгновенно охладило пыл князя, который сказал Сакену: «Мы можем и после войны кончить это дело, как водится между благородными людьми!» После этого князь удалился в свой шалаш, а Сакен, уехав через несколько минут, увел с собою полк, потерявший уже многих, вследствие прихоти своего начальника»⁴⁵.

Если уж так «забылся» один из прославленных генералов русской армии, всегда отличавшийся строгим повиновением воле своего монарха, то что уж тут говорить о других! Тем более что подобным образом однажды «забылся» посол России во Франции генерал-лейтенант граф П. А. Толстой. «Однажды, после императорской охоты, он возвращался в карете с маршалом Неем и князем Боргезским. В пути он настойчиво наводил разговор на военные предметы: затем, разгорячась, начал восхвалять русские войска и чуть было не объявил их непобедимыми; он приписывал их неудачи несчастному стечению обстоятельств и дурно истолкованными приказаниями и кончил тем, что намекнул на надежду реванша. Ней, невоздержанный от природы, горячо подхватил его слова. Разговор принял ост-

рый оборот, и скоро повсюду распространился слух о возможной дуэли между русским посланником и императорским маршалом»⁴⁶. Не менее курьезная история произошла в августе 1813 года, когда на службу в русскую армию из армии Наполеона перешел знаменитый военный теоретик генерал А. Жомини. Появление европейской знаменитости должно было стать праздником для любимого ученика Кутузова и его бессменного генерал-квартирмейстера К. Ф. Толя, с увлечением читавшего все труды Жомини и слывшего поклонником его таланта. Однако все вышло наоборот. По словам Ермолова, особенность характера К. Ф. Толя заключалась в том, что он ни в ком «не допускал превосходства способностей, с трудом соглашаясь на равные». Для нашего даровитого и упрямого генерала Жомини, как оказалось при личной встрече, не составлял исключения. Впрочем, выдающийся «перебежчик» и сам был виноват. Как сообщал А. И. Михайловский-Данилевский, «его приняли к нам в службу генерал-лейтенантом и наградили деньгами. Но он сим не был доволен. Во время пребывания Государя в Праге и похода к Дрездену в половине августа того же года он вздумал управлять всеми делами, обращение его с нашими генералами сделалось дерзко, он начал поступать грубо с офицерами, отчего на него все возроптали, но никто не хотел или лучше не смел обнаружить ему своего негодования, ибо он в то время пользовался в большой степени доверенностью Государя. Генерал Толь стал противоречить ему первый в Теплице после Кульмского сражения; у них произошел при мне жаркий спор по поводу похода 1812 года, который едва не кончился поединком»⁴⁷. Вот был бы случай, если бы «светило военной мысли» было убито или ранено на дуэли русским генералом! С наименьшей теплотой и участием в России принимали знаменитую писательницу мадам де Сталь, но, как сообщил в дневнике А. Х. Бенкендорф, именно русский офицер из его отряда убил на поединке «ударом сабли» ее сына, «адъютанта крон-принца шведского, который тоже был среди нашего окружения»!⁴⁸ «Шведский крон-принц (прежде — маршал Наполеона Ж. Б. Бернадотт. — Л. И.) благородно простил того, кто бился с бедным де-

Сталь, и его секундантов. Наши сожаления об этом молодом человеке развеяли то скверное впечатление, которое эта дуэль произвела среди шведских офицеров», — заключил свой рассказ об этом приключении будущий знаменитый в истории России шеф Жандармского корпуса.

Сущим наказанием в те времена были так называемые бретёры — профессиональные дуэлянты, для которых вызов на поединок являлся своего рода забавой, жизненной потребностью. В их числе, безусловно, следует назвать графа Ф. И. Толстого-Американца, полковника лейб-гвардии Преображенского полка. «Страсть его была дуэли! — свидетельствовал Ф. В. Булгарин. — Но он был опасный соперник, потому что стрелял превосходно из пистолетов, фехтовал не хуже Севербрика (общего учителя любителей фехтования того времени) и рубился мастерски на саблях. При этом граф Ф. И. Т*** был точно храбр и, невзирая на пылкость характера, хладнокровен и в сражении и на поединке». Человек со «свойствами» характера графа Ф. И. Толстого являлся в полку неформальным лидером, подчинявшим любого своей воле. В наше время таких бы назвали «дедами», но заметим, что начальники не особенно стремились избавиться от подобных «шалунов». Так, в послужном списке Толстого-Американца сообщалось о неоднократном разжаловании в чинах, но в графе «достоин ли к производству в следующий чин» вопреки всему значилось «достоин». Дело в том, что подобные «полковые» или даже «корпусные штуки», как их называли, которые в мирное время не знали, куда деть свою бьющую через край энергию, как правило, отличались храбростью на поле чести. Армия же существовала не для мира, а для войны. На войне офицеры, разжалованные за дуэли, быстро возвращали потерянные чины. Их начальники, в свою очередь, весьма охотно за них ходатайствовали. Сама за себя говорит формулировка, которую выбрал (в духе эпохи) для разжалованных в наградном представлении М. И. Кутузов: «...не оправдывая преступления его, но, сострадая об нем по человечеству!»⁴⁹.

Сознавая, что подчиненным грозит строгое наказа-

ние за участие в поединке, снисходительные начальники нередко принимали меры, чтобы скрыть факт их участия в дуэли. Так, М. М. Петров вспоминал: «В городском клубном доме, играя на бильярде, повздорили <...> за грубые укоризны нравам, каких они поистине и тени не имели, штабс-капитан Шеншин и подпоручик Редькин. Ссора их случилась при нескольких гражданах, и они решились приязненно покрыть ее военным боем. Тургенев, не уважив известной всем в войне значительной храбрости их, подстрекнул еще колкими шутками, из статей Дон-Кихота, к кровопролитию. <...> Шеншин был мне военный приятель и поныне мною уважаемый за его благороднейшие правила, и я принужден был стать секундантом его в дуэли. Противники нанесли один другому по четыре сабельных раны, от которых чуть-чуть не померли. Полковой командир, испугавшись того, не утаил происшедшего <...> Я подал рапорт о болезни моей, чтобы в сентябре проситься в отставку. При этом рассказе не должно умолчать о высоком благородстве военной души тогдашнего Перновского коменданта генерал-майора и военного ордена кавалера барона Будберга. Он, узнав приватно об этом происшествии, бывшем за городом, и виду не показал, что знает о том, и когда усмотрел на другой день поутру вошедшего к нему в квартиру подполковника Тургенева, при пасмурном лице, с бумагою в руке, то встретил его следующими словами: “С сердечным прискорбием моим знаю, г-н подполковник, о Вашем несчастье, что из лучших Ваших военных сподвижников, о которых Вы, прибыв с военной кампании, мне и всем так много похвального говорили, — Шеншин и Редькин, катаясь вчера за городом, избиты взбесившимися лошадьми до опасного состояния жизни. Ежели Вы об этом хотите подать мне рапорт, то не надо его, ибо я обо всем уже знаю...” И этот благороднейший поступок коменданта Будберга уклонил нас от военного суда, по которому лишались бы мы чинов»⁵⁰.

В те времена свои понятия о чести были также и у многих полковых начальников, без которых невозможно представить себе повседневной жизни русского офицера той эпохи. Выразительный образ «от-

ца-командира», генерал-лейтенанта А. Я. Сукина, дан в рассказе М. М. Петрова: «На другой день прибытия нашего в Пернов граждане его почетные <...> сделали визит генералу нашему и просили его не лишить своей приязни дома их. Но шеф наш, зная совершенно немецкий язык, отвечал им следующее: “Тысячекратно благодарю вас, почтенные господа, за ваше приятное для меня посещение и лестное мне вполне желание видеть меня в семействах ваших разделяющим время; но я должен сказать вам о клятвенном обете, самому себе данном пред Богом: разделять все часы, остающиеся от службы, с моими единственными на свете друзьями, офицерами полка, государем мне вверенного, с которыми суждено мне переносить общий жребий трудов военных всякого времени и часы смертные на полях браней для славы Отечества. Простите мою откровенность вам, почтенные граждане, и извините ради Бога меня в том, что я не умею и не должен уметь разлучаться с офицерами, ибо считаю это грехом тяжким, могущим омрачить душу всякого начальника раскаянием”»⁵¹.

Многое встречалось на офицерском веку! Полковая жизнь той поры являет нам «детей Марса» в самых разных ипостасях: от героической смерти на поле боя до буйного разгула, эпатазирующего окружающих. В последнем случае правомерно задаться вопросом: где проходила роковая черта, за которую офицер, невзирая на свойства своего характера, не должен был переходить, повинувшись «неписаным» законам чести? Как ни странно, этот рубеж между своеволием и дисциплиной был твердо обозначен «писанным» законом: воинской присягой у знамени полка. Заметим, что воинской святыней знамя стало при Павле I, и именно при нем знамена полкам стал жаловать сам император; прежде же знамена и штандарты поступали в полки как часть амуниции. Таким образом, на рубеже веков офицерское понятие о знамени окончательно переместилось из области материального в область жизни духа. Вступая в полк, каждый офицер становился сопричастным той жизни, которая была закреплена словами присяги: «Я (имярек) обещаюсь Всемогущим Богом служить всепресветлей-

шему нашему Царю Государю верно и послушно, что в сих постановленных, також и впредь поставляемых воинских артикулах, что оные в себе содержать будут, все исполнять исправно.

Его Величества государства и земель его врагам, телом и кровию, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах, и штурмах, и в протчих воинских случаях <...> храброе и сильное чинить противление <...> И ежели что вражеское и предосудительное против персоны его Величества, или его войск, также его государства, людей или интересу государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об оном по лучшей моей совести, и сколько мне известно будет, извещать и ничего не утаить... А командирам моим, поставленным надо мною, во всем, где его Императорского Величества войск, государства и людей благополучию и приращению касается <...> должное чинить послушание, и весьма повелению их не противиться. От роты и знамени, где надлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, непремсно, добровольно и верно, как мне приятна честь моя и живот мой, следовать буду. <...> В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий».

Глава седьмая

ПАРАДЫ И СМОТРЫ

— Ну что, спросили меня, — как проходить? Просто или церемониально?

— Церемониально, — сказал я.

Я. О. Отрощенко. Записки

Повседневную жизнь русского офицера 1812 года невозможно представить без парадов, войсковых смотров, учений, которые в их судьбах играли роль не меньшую, чем участие в боевых действиях. Неспроста Денис Давыдов в одном из стихотворений, обращенном к сослуживцу А. П. Бурцову пылко восклицал:

Пусть фортуна для досады
В умножение всех бед
Даст мне чин за вахт-парады
И Георгья за совет.

«Певца-гусара» нельзя упрекнуть в преувеличении: М. И. Кутузов удостоился алмазных знаков ордена Святого Андрея Первозванного за то, что «захватил в плен» императора Павла I во время Гатчинских маневров в 1800 году. Царь болезненно переживал «военную неудачу», не мог скрыть досады от приближенных, был некоторое время мрачен, но «вскоре успокоился и был милостив. Весело встретив гостей в саду, в любимом своем павильоне, Император при всех рассказал о неудавшемся своем подвиге, подошел к Кутузову, обнял его и произнес: “Обнимаю одного из величайших полководцев нашего времени!”»¹.

В царствование, сменившее эпоху «хаоса и страха», в этом отношении мало что изменилось. В письмах и воспоминаниях современников часто упоминается увлечение императора Александра и особенно его брата цесаревича великого князя Константина Павловича парадной стороной войны, которую в офицерских кругах с иронией называли «шагистикой», «фрунтоманией», «наукой складывания плаща». Шутки шутками, но незнание всех этих тонкостей воинского ремесла могло неблагоприятно сказаться на карьере любого из «детей Марса». Так, А. П. Ермолов, подвергшийся опале и исключенный из службы при Павле I и вновь вступивший в нее с воцарением Александра Павловича, рассказывал: «С трудом получил я роту конной артиллерии, которую колебались мне поверить как неизвестному офицеру между людьми новой категории. Я имел за прежнюю службу Георгиевский и Владимирский ордена, употреблен был в Польше и против персиян, находился в конце 1795 года при австрийской армии в приморских Альпах. Но сие ни к чему мне не послужило; ибо неизвестен я был в экзерциргаузах, чужд Смоленского поля, которое было защитой многих знаменитых людей нашего времени»².

Граф М. С. Воронцов также с изрядной долей юмора мотивировал свою готовность отправиться волонте-

ром (добровольцем) на Кавказ «гарнизонной службой в Санкт-Петербурге в 1802 и 1803, наличием полного удовлетворения того чувства, которое молодой человек получал, вступая в караул, салютуя оружием во главе взвода и маршируя по улицам под звуки барабана и военной музыки»³.

Екатерина II, как оказалось, неспроста опасалась, что ее внуки пойдут по стопам отца, «парадомания» которого при ее дворе была «притчей во языцех». Чему только не учили великих князей, чтобы развить в них задатки государственных деятелей, не впадающих в крайности воинского ремесла: «Г-н Александр» с «сударем Константином», как величала их в шутку царственная бабушка, мотыжили землю, сажали горох, высаживали капусту, ходили за плугом, гребли в челноке, рисовали, играли на скрипке, ловили рыбу, «отделяя щук от окуней» и т. д. Наставник великих князей Ф. С. Лагарп делал все от него зависящее, чтобы отвратить своих питомцев от «царской науки», как окрестили в обществе увлечение всех мужчин императорской фамилии со времен Павла I. Но бледные слова увещаний, по-видимому, были бессильны перед великолепием красочного зрелища множества людей, стройно марширующих под звуки музыки. Великий князь Константин, отличавшийся от своего брата несдержанностью характера, однажды крикнул воспитателю в припадке ярости: «Когда я вырасту, я войду со всеми моими армиями в Швейцарию, чтобы разрушить вашу страну!»⁴ В другой раз царственные мальчики, несмотря на все запреты и предосторожности, вырвались от Лагарпа, бросились к маршировавшему на плацу батальону и, к восторгу отца, самостоятельно провели учение, обнаружив твердое знание воинских команд. Воспитатель посчитал благом утаить это происшествие от императрицы. Тщательно продуманная педагогическая система воспитания «русских принцев» рушилась на глазах. Очевидно, права была их современница графиня А. Потоцкая, высказавшая в мемуарах следующее соображение: «Наверно знаю, что я лучше всего знала то, чему меня меньше всего учили...»⁵ Один из придворных уже в 1793 году констатировал факт, характерный для

будущего императора: «Он прилепился к детским мелочам, а паче военным».

Для Александра I «военные забавы мирного времени» были отнюдь не мелочью. Из рассказа Ж. де Местра явствует, что в самом начале его царствования граф П. А. Толстой осмелился заметить молодому царю: «Государь, с этим Вашим парадированием Вы погубите сначала себя, затем Россию, а потом всю Европу». Но император не обратил на его слова никакого внимания. Он самолично командует учениями гвардии. Здесь изобрели какой-то новый барабан с ужасающим грохотом. Все смеются, особенно офицеры, что, конечно, есть великое зло»⁶. Государь, как и его брат Константин Павлович, оставался при своем мнении, о чем свидетельствуют воспоминания С. Г. Волконского: «Не могу забыть одного обстоятельства на одном из моих дежурств. Это было при маневрах на Смоленском поле. Маневр представлял отпор английского десанта на эту местность Васильевского острова (Россия была тогда в неприязненных отношениях с Англией вследствие Тильзитского мира). Наши сухопутные войска маневрировали против вымышленного десанта, не было даже флотилии, изображающей английский десант.

Авангардом нашим командовал В. К. Константин Павлович, главным корпусом — сам Государь. Я был послан к Великому князю осведомиться от него, что у него происходит, и получил в ответ: “англичане поражены, едва успевают достигать своих лодок, совершенная победа с нашей стороны, и с нею поздравьте Государя”. Едва удержался я от смеха при этих словах, сказанных с полным убеждением, что все это было, и поневоле должен был передать эту чушь Государю»⁷.

Впрочем, для офицеров Петербургского гарнизона подобные случаи были неотъемлемой частью светской хроники столичной жизни, о которых во всех подробностях сообщалось в письмах С. Н. Марина его другу М. С. Воронцову, находившемуся в действующей армии: «...В Красном Кабачке (трактир на Петергофской дороге. — Л. И.) был завтрак и четверть часа отдыха, после которого большим шагом мы дошли до места лагеря. Вообрази ты мое положение: всем поставили палатки, а

молодой поручик на открытом воздухе и на дожде проводил время, говоря парламентские речи фельдфебелю. После двух часов такой прогулки поставили мою палатку; я влез в нее и уснул. На другой день отдых, а я — в караул к Императрице и поутру на маневры. Мы атаковали неприятеля, сбили его с места и стали лагерем на высотах подле Красного Села. На другой день неприятель поправился и сбил нас с шагу. Мы отправились на старые места; два дни отдыху. Кирх-парад (церковный парад. — *Л. И.*); я в карауле, потом опять маневр, и неприятель к чорту; на другой день преследовали врагов и разбили в прах. Заходящее солнце с ужасом взирало на место сражения, покрытое кустарником и засохшею травой. Ночевали на месте сражения. Прогнали повара Потемкинского; обед готовил француз; мы ели за сорок человек. Возвратились к Красному, ездили верхом по горам; я потерял султан и был в отчаянии»⁸. Для большинства же участников зрелищного военного действия все окончилось весьма благополучно: «За маневры были большие награждения: Зубову перстень с портретом, Буксгевдену табакерка с портретом же, Кологривову Александровская (лента); всем генералам, у которых не было на шее Анны, дали ее, а полковникам гвардейским перстни с вензелями, армейским и флигель-адъютантам простые <...>. Князю Петру Волконскому Анну через плечо, а нашему хорошему командиру, графу Петру Александровичу (Толстому. — *Л. И.*) назначена была Александровская, но он от нее отказался; и так дали ему табакерку с вензелем»⁹. Кстати, в сочинениях графа Ф. В. Ростопчина можно обнаружить неожиданное объяснение награждениям за маневры и парады, приближающее нас к исторической психологии той эпохи: «...Старый воин надеется столько же и на мир, как и на войну, выдавая за философию и человеколюбие отвращение к кровопролитию и лаврам».

В апреле гвардейские полки покидали город и отправлялись в пригороды Санкт-Петербурга, где наряду со сторожевой службой в императорских резиденциях они совершенствовались в своем ремесле. Сезон лагерной жизни на открытом воздухе заканчивался в сентябре «большими маневрами», о которых повествуется

в письме того же автора: «Теперь скажу тебе о маневрах; хоть и стыдно писать о них туда, где жнут лавры, но друг мой не забудет, что кто хочет читать, тот начинает с азбуки, а в военном искусстве маневры могут равняться с диалогами. Мы выступили 2 августа ночью и на другой день стали лагерем под Петергофом; 4-го был смотр всему войску и потом церемониальный марш мимо государынь; под ружьем было 26 264 человека, и того же числа войско разделилось на два корпуса: одним командовал Цесаревич, а другим Михаил Ларионович Кутузов. Мы переменили лагерь, стали корпусами и начали маневры; их было четыре. Государь был доволен и объявил свою благодарность всему войску. Генералы и полковники награждены перстнями, мы — третьим жалованием, а рядовые получили по 5 рублей на человека. Подлинно, все говорят, что исполнения были совершенны. А Штединг, шведский министр, говорил, что он не видывал ничего совершеннее. 6 августа у нас был праздник. Государь и великий князь кушали у нас в лагере, стол был на двести персон, и все было славное; обед сей, названный завтраком, стоит графу (П. А. Толстому. — Л. И.) около десяти тысяч рублей»¹⁰.

Неодолимая страсть русского императора и его августейшего брата к парадной стороне военного быта была замечена Наполеоном едва ли не в первый день тильзитского свидания, когда выяснилось, что Александр I знает наперечет все полки французской армии. Об этом исключительном обстоятельстве с восхищением и умилением говорится в труде известного французского историка А. Вандаля: «Въезд царя в город совершился при красивой военной обстановке, с пышностью, какую только позволяли место и обстоятельства. <...> На пути следования обоих императоров через город были собраны отряды гвардии, пехоты и кавалерии. Налицо были все полки: драгуны, стрелки, гренадеры, но прежде, чем Наполеон успевал называть воинские части, Александр распознавал мундиры, которые победами стяжали себе всемирную известность; он сам называл солдат, поза и взоры которых были полны гордостью одержанных побед. Со своей стороны французы восхищались высоким челом русского мо-

нарха и неподражаемой грацией, с которой он салютовал шпагой. Оба государя были верхом и, разговаривая, прибыли к дому, где жил царь во время своего первого пребывания в Тильзите до Фридланда. «Вы у себя дома», — сказал ему император. Но Александр не сошел с коня. Из утонченной лесты продолжал он путь между стоявшими шпалерами войсками, чтобы подольше полюбоваться императорской гвардией, выстроенной вдоль улицы»¹¹.

Нельзя забывать о том, что Александр Павлович был первым в числе державных коронованных особ Европы, кто пожал руку «корсиканскому узурпатору». Наполеон не мог не ощутить всей важности этого события для себя и своей империи, со своей стороны, решив, что «положение обязывает», принял надлежащие меры: «С тех пор как царь поселился в Тильзите, Наполеон устраивал в честь его смотры нашей армии, расквартированной и разбросанной в окрестностях города. Рано утром оба императора верхами, с блестящей свитой, выезжали из Тильзита. В деревнях, оживавших с утренним благовестом, им повсюду попадались лагеря наших войск. <...> Затем они галопом доезжали до открытого места, удобного для маневров. Тут были собраны другие войска, построенные в образцовом порядке; их длинные, неподвижные, сверкавшие сталью ряды далеко уходили вдаль. Маршалы принимали командование над своими корпусами. Огромная свита группировалась вокруг императоров.

Александр с захватывающим вниманием следил за такими зрелищами. Подобно всем государям его династии, он любил красивые полки и точно исполненные маневры, и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как вид ровным шагом проходивших мимо него колонн и вихрем пронесившейся кавалерии: это было то, что князь Адам Чарторыжский назвал его «парадоманией». <...> Александр не переставал любоваться бесподобными войсками, их выправкой и энергией. С милостивым вниманием воздавал он им должное и не щадил похвал своим победителям. Он просил представить ему полковых командиров, которые в особенности обратили на себя его внимание. «Вы очень мо-

лоды для такой славы”, — сказал он одному из них. Его интересовали самые ничтожные подробности, а брата его даже приводили в восхищение. С согласия царя великий князь Константин просил императора дать ему одного из тамбур-мажоров, которые парадировали в мундире с золотыми по всем швам галунами, с фантастическим султаном во главе наших полков. Он хотел, чтобы этот новомодный инструктор научил своих русских братьев тем движениям и “штучкам”, которые он выделяет своим жезлом. Не вызывает ли этот поступок в нашем воображении целую картину, не составляет ли он на мгновение ожить перед нашими глазами наши победоносные полки, когда они, гордые своими победами, бодро проходили эшелонами перед свитами обоих императоров под звуки музыки, играя красками своих мундиров?»¹² Безусловно, эта воинская идиллия, дополняемая сельским благовестом, способствовала дружескому общению обоих императоров, что не могло не сказаться на статьях Тильзитского мирного договора. Впоследствии Наполеон не раз вспоминал о настроениях, которыми были проникнуты двухнедельные встречи новоявленных союзников, называя их «духом Тильзита».

В нашу задачу не входит высказывать слова похвалы по поводу увлечений нашего государя, равно как и подвергать их осуждению. Следует отметить, что парады, войсковые смотры, маневры, праздники, вызывающие подчас негодование тех, кто в них участвовал, являлись неотъемлемой частью культуры военного быта начала XIX века. Пышность и торжественность военных церемоний соответствовали положению «детей Марса» в общественно-политической жизни государства, в сознании современников. Это была эпоха возвышенной эстетизации «человека войны». Если попытаться словами определить соотношение «маневров к войне», то в жизни наших героев первые были живописной заставкой к последней.

Не исключено, что, вступая в «большую европейскую войну», Александр I судил о боевых действиях, как и его отец, всецело ориентируясь на парадную внешность своих войск: «Зримым образом войны <...> был, несом-

ненно, парад — красивое зрелище, логическая ясность всех движений, единство, исключаящее всякие личные сомнения и затруднения. Парадирующие войска изначально победоносны — это ясно даже без встречи с врагом»¹³. Тех же взглядов, что и государь, придерживались и юные офицеры-новобранцы, полагавшие в старательном выполнении всех строевых «эволюций» на учебном плацу залог успеха в настоящем сражении. Аустерлиц больно ударил по их ожиданиям. И. С. Жиркевич, участвовавший в «битве трех императоров» в возрасте 15 лет в чине подпоручика гвардейской артиллерии, вспоминал об этом горьком уроке спустя многие годы: «Трудно представить, какой дух одушевлял тогда всех нас, русских воинов, и какая странная и смешная самонадеянность была спутницей такого благородного чувства. Нам казалось, что мы идем прямо в Париж! <...> Прошло несколько дней и, увы! изменился тон наших суждений!.. Через три дня после того мы подошли к Аустерлицу и расположились на бивуаках по сю сторону города, воображая французов еще, по крайней мере, верст за 100 от нас. На другой день, поутру, 20 ноября, объявлено нам, что во время марша через город будет смотреть нас Государь. Цель смотра обманула наши ожидания, — мы все были только в одних мундирах. Пройдя до города не более, как версты полторы, нас свернули с дороги в сторону, вправо, и объявили нам, что мы идем занимать позицию. Вдруг говорят нам: “Французы! Заряжайте пушки!” Этого сюрприза мы вовсе не ждали»¹⁴. Другой участник Аустерлицкой битвы, также артиллерист и ровесник И. С. Жиркевича, П. Х. Граббе в 1840-е годы на вопрос императора Николая I, «как он думает о пользе маневров, <...> отвечал ему, что маневры могут иметь значение лишь до расстояния пушечного выстрела, а затем начинается действие сил нравственных».

Впрочем, после насыщенных яркими впечатлениями тильзитских событий государь обратил внимание на свою армию, вернее на то, что от нее осталось после двух неудачных кампаний: «По заключении мира войска наши, отступив от границы, расположились лагерем при местечке Шклов. <...> Полки имели большой недо-

статок в людях и были в большом расстройстве, но Государю угодно было видеть войска свои в таком виде, как они были. За два дня перед Высочайшим смотром приведена была на укомплектование полков милиция, не обмундированная и не бритая; мужики не хотели со своими бородами расстаться; ротные командиры уговаривали их, они согласились, но только чтобы пробрить немножко. Они тщательно подбирали клочки заветной бороды, целовали их со слезами и прятали.

Накануне смотра доставлены шитые мундиры, они пригнаны кое-как на людей, и поутру мы вышли к смотру. Войска построились на поле за Могилевским выездом; с ружьями были только старые солдаты, милицейские не имели и прошли мимо Государя повзводно, милицейские не в ногу и не в такт»¹⁵. Все надо было начинать сначала. Последующие годы мало что изменили в жизни войск столичного гарнизона, требования к «парадной стороне войны» остались не менее жесткими. Теперь в петербургских военных представлениях участвовало новое лицо — французский посол Арман де Коленкур, герцог Виченцкий. Судя по переписке и воспоминаниям очевидцев, он быстро освоился с правилами светского общежития Северной столицы. «На другой день после этих балов (новогодних) царь и генерал встречались на параде перед фронтом войск. Коленкур чувствовал себя польщенным в своей национальной гордости, видя, что побежденный, как это неизменно бывает после несчастной войны, до мелочей подражал маршировке и выправке победителя. «Все на французский образец, — писал он, — шитье у генералов, эполеты у офицеров, портупея вместо пояса у солдат; музыка на французский лад, марши французские, ученье тоже французское»¹⁶.

Присутствие на всех парадах иностранных послов было делом не только обыкновенным, но и обязательным. Со времен Павла I на парад являлись также высшие чины империи, все военные, которые в это время в силу обстоятельств находились в Петербурге. Каждому было отведено особое место, соответствующее его месту в служебной иерархии. Так, в 1808 году посланник Пьемонта Ж. де Местр сообщал в письме: «...Пос-

лезавтра грандиозный смотр войск в честь дня Богоявления и освящения вод. В Санкт-Петербурге будет под ружьем 40 000 солдат. Его Императорское Величество взял на себя труд самолично расписать на шести страницах подробности всех эволюций. Сегодня вместе с августейшим своим братом он проехал по улицам, чтобы определить место каждому корпусу. Город разделен на кварталы, поставленные под команду генералов для соблюдения надлежащего порядка. На всех новые мундиры, каски, плюмажи необыкновенной красоты. Раньше церемония сия зависела от термометра, но на этот раз Его Величество решил не обращать внимания на мороз. После небывалой задержки наступила зима и у нас сегодня 10 градусов. Кто знает, не будет ли послезавтра 12 или 15? Родители, которым предстоит смотреть на детей своих сквозь стекла окон, жаждут, елико возможно, окончания всей церемонии. Заметьте, г-н Кавалер, что никто из офицеров не может надеть ни шубу, ни даже плащ. Министры, тоже без шуб, свидетельствуют свое почтение Императрицам на балконе, который выходит на Неву. Но принцессы, как вы знаете, закутаны с величайшим искусством и изяществом. Дипломатический корпус ничем не стесняют: кто считает, что с него уже довольно, идет в залу потереться о печку и выпить кофе»¹⁷. Князь С. Г. Волконский, бывший в то время флигель-адъютантом императора, вспоминал: «Как придется дежурить в воскресенье, то посылались дежурные за Коленкуром, послом французским, с сообщением, что Государь его ждет для выезда на воскресный парад. Честолюбивый представитель Наполеона выжидал всегда приглашения, но всегда был готов к выезду, никогда не заставлял ждать к докладу и обращался с нами весьма вежливо. У дворца всегда стоял сторожевой, который давал знать, что выехал посол, и тогда Государь, уже готовый, спускался с лестницы; и таким образом ни Царь его никогда не ждал, ни посол не выжидал Царя»¹⁸.

Вместе с послом Франции Александр I отправился в том же, 1808 году на встречу со своим «союзником и другом» Наполеоном в Эрфурт. В отличие от Тильзита, где все делалось на скорую руку, здесь уже не было

места импровизациям. Это было последнее свидание «императоров Востока и Запада». Между ними уже легла тень недоверия и взаимных неудовольствий. Александр сделался недоверчив и, по словам Наполеона, обращенных все к тому же Коленкуру, «упрям, как мул». Государь не хотел идти ни на какие уступки, предвидя неизбежность разрыва, но... «Днем императоры сходились вместе. Они совещались, беседовали, ездили верхом. Волнообразные и веселые окрестности Эрфурта способствовали продолжительным прогулкам. Сверх того, события и картины из жизни войск, которые разыгрывались в окрестностях города, постоянно разнообразили цель их поездок. Благодаря движению войск с севера на юг и перемене фронта Великой армии, под стенами Эрфурта почти каждый день проходили новые полки. Наполеон хотел, чтобы они были представлены его гостю и чтобы некоторые из полковых офицеров несли при нем почетную службу. Как и в Тильзите, он ездил с ним в места стоянок войск и вводил его во все подробности военной жизни французов. Ему доставляло немалое удовольствие показать свои войска во всеоружии, в полной парадной форме, в их воинственной красоте. Он часто назначал церемонии, в которых они должны были принимать участие: маневры, парады, полковые богослужения. Около Эрфурта происходил непрерывный и торжественный церемониальный марш, как бы большой несколькодневный смотр.

Александр с удовольствием следил за этими зрелищами и, видимо, ими интересовался. Он умел разнообразить свои похвалы и оказывал каждому роду оружия, каждому корпусу подобающее ему внимание. Среди его спутников, бесспорно, самым счастливым был великий князь Константин. Как и всегда, обращая внимание на мелочи, он запоминал номера полков, замечал малейшее различие в форме, маршировке, в движении войск. Он восхищался, как знаток дела; но и недостатки от него не ускользали. Он постоянно говорил «то о дисциплине и хорошей выправке 17-го армейского пехотного полка и 6-го кирасирского, то о красоте 8-го гусарского, о плохом обучении 1-го гусарского, о великолепии и воинственном виде гвардейских батальо-

нов». По возвращении в Петербург его первой заботой было собрать офицеров Конного и Уланского полков и передать им свои впечатления. «Похвалы были неиссякаемы относительно всех войск, за исключением 1-го гусарского полка». На память об Эрфурте он привез целое собрание французских военных мотивов, и на первом параде, которым он командовал, в то время когда трубы Конной гвардии играли наши марши, музыканты двадцати двух батальонов все вместе грянули французский марш под названием «Да здравствует коронация!»¹⁹.

В 1809 году в разгар зимней стужи в Петербург (к величайшему неудовольствию французского посла) прибыла прусская королевская чета. Встреча старых друзей-союзников была ознаменована артиллерийским учением и военным праздником, устроенным в честь коронованных особ графом А. А. Аракчеевым, проявившим в этом вопросе немало вкуса и изобретательности. И. С. Жиркевич, бывший тогда его адъютантом, рассказывал: «В день учения, при морозе в 28 градусов, людям при орудиях велено быть в шинелях, а офицерам — в сюртуках; когда я поутру пришел к графу (Аракчееву. — *Л. И.*), он тотчас принял меня, но приказал немедленно ехать на место и озаботиться, чтобы были приняты все меры для сбережения людей по случаю необыкновенной стужи. Государь и король прусский приехали на ученье и все время были в медвежьих шубах. Ученье было с полчаса и производилось с отличною удачею. По окончании оно, граф был удостоен посещения монархов и принятием ими завтрака в балагане, устроенном нарочно в большой куче снега, так что даже о существовании чего-либо под снежною массою предполагать было невозможно. Завтрак был совершенно русский и артиллерийский. Кушали: блины, щи, рыбу, икру и подобные предметы, плоды и фрукты, а равно и другие припасы на лотках в виде платформы, на обращенных кверху дулами пушках, мортирах и пр. Обоим государям служил лично сам граф, а другим родственным им лицам — адъютанты. На мою долю достался принц Ольденбургский, старший брат того, который был женат на великой княгине Екатерине

Павловне. Граф предложил тост за здоровье короля. Но тот, обратясь к Государю, просил обратить оное на лицо графа, что и было сделано. Граф бросился на колена, поцеловал руки у обоих венценосцев, а затем все шло обыкновенным порядком. За столом сидело человек 60. <...> По окончании стола, граф, выходя, сказал мне: “Собери сведения о числе обморозившихся во время учения и тотчас приезжай ко мне!” Случаев обморожения, к счастью, не оказалось, и, по приезде моем, граф встретил меня самым ласковым образом, потребовал приказную тетрадь, собственноручно написал преогромную благодарность всем и каждому, относя успех к рвению дорогих своих сослуживцев — гвардейских артиллеристов...»²⁰

Времена менялись. В Европе заговорили о близком военном столкновении России и Франции. По словам конногвардейца Ф. Я. Мирковича, «никогда еще Государь не занимался своею гвардиею так много, как в 1811 году; тогда уже начинались усиленные приготовления к войне. Император присутствовал ежедневно в дворцовом манеже на разводе, где он сам учил вступающий в караул батальон, а каждое воскресенье делался так называемый кайзер-парад, который не отменялся и при 10 градусах мороза. Войска выходили без шинелей и выстраивались, как пехота, так и кавалерия, развернутым фронтом. При объезде Государя по линии войск, все иностранные послы (военные) находились в свите, а французский посол Коленкур ехал обыкновенно впереди всех, с правой стороны возле Императора и, разговаривая с ним, ухитрялся скакать на пол-лошади впереди Государя»²¹.

Наполеон вскоре отозвал генерала Коленкура, вместо которого прибыл другой посланник, почти сразу же лишившийся репутации в глазах государя: «Преемник его (Коленкура. — Л. И.), Лористон, совершенно другой человек, иного тона и иного характера; он, несомненно, не будет иметь такого же влияния на Государя. Для начала он сделал великий промах: когда во время парада Император указал ему на какую-то фигуру фрунтового контрданса, Лористон ответил: “Это все пустяки, которым мы во Франции не придаем никакого значе-

ния". Говорят, что на следующем параде Его Императорское Величество не сказал ему ни слова»²².

Война приближалась к границам России: смотры сменялись парадами, на смену которым следовали учения и т. д. Офицер Свиты Его Императорского Величества Н. Д. Дурново регулярно отмечал в дневнике: «6 января. Стояли жестокие морозы: в 7 часов утра, одевшись как можно теплее, я отправился в Зимний дворец, чтобы получить резолюцию Его Величества по поводу парада. К 8 часам утра великий князь Константин вышел из кабинета Императора с приятной новостью, что парад отменен. Термометр показывал около двенадцати градусов, я вернулся к себе, чтобы переодеться, и оставался дома до одиннадцати часов. На реке проходило освящение гвардейских знамен. Император и великий князь обнажили головы. Церемония длилась в течение часа»; «13 января. Отправился во дворец. Сегодня праздник Императрицы Елизаветы. Обедня началась в полдень. Император садится на лошадь, и мы возвращаемся на Дворцовую площадь. Он объезжает войска, которые затем проходят взводами. Это продолжается до двух с половиной часов. Было девять градусов мороза...»²³ В это время юный офицер лейб-гвардии Семеновского полка доверил дневнику крик души: «Ради себя я хочу войны и всегда хотел, потому что, становясь воином, я рассчитывал поседеть в боях, а не одряхлеть от непрерывных досад на учениях и парадах»²⁴.

Что же происходило все эти годы в армейских полках, разбросанных по местам квартирования по всей необъятной России? Может быть, тем, кто находился подальше от строгих глаз императора и его брата цесаревича Константина Павловича, жилось гораздо легче? Нет, в тех местах роль императора брал на себя непосредственный начальник, от нрава и навыков которого зависела участь подчиненных. Например, А. А. Суворов, сын великого полководца, был гуманен и снисходителен. Н. А. Дурова вспоминала: «Маневры перед корпусным начальником кончились для меня безбедственно <...> После смотра и учения пошли все офицеры обедать к Суворову. Как пленительно и обязательно обра-

щение графа! Офицеры и солдаты любят его как отца, как друга, как равного им товарища, потому что он, в рассуждении их, соединяет в себе все эти качества»²⁵. Но, как говорил М. И. Кутузов, «не равны дни военного человека», и у знаменитой «кавалерист-девицы», служившей некоторое время в Мариупольском гусарском полку, случались досадные промахи во время учений: «Когда ученье кончилось, Дымчевич подозвал меня, и когда я подъехала к нему, то он, отделяясь от офицеров, поехал со мною и стал говорить: “Вы сегодня упали с лошади...?” — Я хотела было сказать, что лошадь сбילה меня. Он повторил суровым голосом: “Вы упали с лошади! Только вместе с лошадью может упасть гусар, но никогда с нее. Не хочу ничего слышать! Завтра полк идет на квартиры; поезжайте завтра же в запасной эскадрон к берейтору и учитесь ездить верхом”»²⁶.

Не менее ответственно подходили к учебной подготовке и офицеры тяжелой кавалерии, что явствует из воспоминаний И. Дрейлинга, служившего в кирасирском полку Ее Императорского Величества: «В это время в полку почти ежедневно производили учение на эспланаде, и служба редко позволяла мне навещать город и моих родных; к тому же я был такой усердный служака, что сам проявлял мало охоты к этим посещениям»²⁷. Наш герой, которому постоянно везло и в дружбе и в любви, особенно был счастлив в службе, все стороны которой казались ему одинаково привлекательными, несмотря на затрачиваемые усилия: «Я ничем не отличался от любого кирасира, и моих сил едва хватило на то, чтобы перенести все эти трудности. Нечего было надеяться на помощь какого-нибудь солдата, всякую работу мне приходилось исполнять самому. Ежедневные строевые учения с утра до вечера, еженедельные смотры, частые караулы, уборка лошади, чистка сбруи и амуниции, ежедневно употреблявшихся и ежедневно пачкавшихся, — все это да еще ответственность по службе требовали невероятных сил и выносливости. Целый день мы не снимали мундиров. Ночью в палатке, при свете, нужно было готовить все к следующему дню; четыре, самое большее — пять часов удавалось выгадать для сна, а тут еще ночные сентябрьские морозы

и скудная солдатская пища! Здесь мне пришлось самому и белье стирать в ближайшей речке»²⁸.

Труднее всего приходилось офицерам и солдатам тех армейских полков, кто попадал под начальство офицеров с гвардейской выучкой. В большей мере это касалось пехоты, где фрунтовые учения были особенно изнурительны. Даже цесаревич Константин Павлович, будучи приверженцем такого рода войск, как кавалерия, язвительно шутил в адрес гвардейских пехотинцев: «Они могут пройтись церемониальным маршем на руках». М. М. Петров, несколько лет служивший в Елецком пехотном полку, обрисовал «исторический характер» своего полкового наставника: «Едва ли был кто-нибудь из сослуживцев в Елецком полку, который бы знал начальника правосуднее генерала Сукина. Он вполне принадлежал сослуживцам — друзьям его единственным. Правда, в первую весну его шефства у нас учения тяготили полк строгостью требований фрунтовых точностей, ибо он поступил к нам из гвардии, где при лице императора наблюдаются все принятые порядки обрядов полевой и гарнизонной службы в полном совершенстве, и хотя Елецкий полк, как я прежде сказал, имел незадолго до того шефов славных по фрунту, каковы были Делаμβерт и Витовтов, за всем тем, однако же, все-таки в полковых учебных и вахт-парадных поступках были кое-какие ошибки и хоть негладкости, на которые, очень нередко, новый шеф наш крикливо негодовал. Затем же, что офицеры, получившие от него реприманды, были надолго смутны чересчур, он однажды после полкового учения в лагере, созвав все общество офицеров полка пред знамена среднего батальона, сказал им следующую достопамятную речь:

“Господа офицеры! Вы и я, полковой шеф ваш, служим государю по одной присяге в полковом военном сословии, государством содержимом, в ожидании случаев войны, где каждый из нас, может, пойдет по судьбе и способности своей, стезею, иногда особенную весьма, а до того времени мы обязаны заниматься приготовлением себя и солдат наших к тому искусному и утомительному испытанию, исполняя императорскую волю. Тут на учениях мелкие ваши ошибки обязан я за-

мечать вам и взыскивать за допущения их, а вы — исправлять в себе и своих подчиненных. Но полковой шеф один, а подчиненных ему много, и потому не можно с досады, иногда до явной и необходимой грубости слов, в огорчении, подобно мне, или по усердию к воле государя и пристрастной привычке к благовидности стройных военных оборотов — машин боевых, — а может быть, и по вспыльчивости моего, при стеснении, характера. Но во всяком случае, Боже меня сохрани, чтобы я когда-нибудь досады мои удержал в душе моей далее окончания учения и принес их с учебного места хоть чрез один шаг земли к жилищу моему, освящаемому вашим дружеством в свободные от службы часы. Нет, клянусь и пред Богом, пусть Он накажет меня, если я не все неприятное покидаю там, где нахожу его: на траве зеленой под росую небесною. И суди Господь всякого из вас, когда кто понесет отсюда хоть что-нибудь неприятное из семейного нашего родного круга с травы зеленой на чужбину»²⁹.

Но, как следует из дальнейшего рассказа, погоня за «благовидностью стройных военных оборотов» не обходилась без жертв. Генерал-лейтенант А. Я. Сукин был хотя и взыскательным начальником, однако и он осуждал «великих артистов фрунтовых» Демидова и Мазовского. «О блистательной выучке и вообще всей чресчурности вышеупомянутых генералов полков наш шеф говаривал наедине нам: “Не станем мы домогаться подобной славы, ибо она ужасно как дорого стоит нижним чинам этих полков. Посмотрели бы вы под эти гладкие мундиры их: у них спины гниют от всемогущего дубинору, а унтер-офицеры давно без зубов службу царскую исправляют. Пусть Демидов, Мазовский, Шарков и Вердеревский достигают за эту цену славы и похвал мирного времени, а мы побережем по возможности жизнь солдат наших для истинной славы воинов, может быть, близко предстоящей нам; тогда пусть иссякнут силы жизни и проливается кровь их вместе с нашею кровью на поле боевом за благоденствие Отечества, во славу полка, Государю усердного. Утомительные стройные движения фрунтов есть необходимость регулярных воинов, и древними римлянами признаваемая

необходимым средством приготовления солдат в мирное время к военному»³⁰.

В рассказе М. М. Петрова предстает образ начальника просвещенного и «правосудного», вне службы охотно общавшегося со своими офицерами в жилище своем, «освящаемом дружбою» с подчиненными. Однако в армии встречались и иные типы «распорядительных начальников». Об одном из них мы узнаем из занимательного и, невзирая ни на что, полным добродушного юмора рассказе Я. О. Отрощенко: «<...> Генерал Евгений Иванович Марков имел остистый нрав; его знали очень хорошо все командиры нашего полка. Надобно было подумать, как показать вверенные им части перед грозным лицом его и какие дать ответы перед лицом его превосходительства. Но сколько ни думали, а не зная дела, ничего не выдумали; однако же этот предварительный страх притушил враждебное пламя между батальонными командирами, и они, смиренно следуя, при мысли об Евгении Ивановиче страдали перемежающеюся лихорадкою. <...> Мне, как младшему в полку штаб-офицеру, поручено было ехать с докладом к его превосходительству, что 14-й егерский полк готов, и испросить, каким порядком прикажет его превосходительство проходить. Я сел на свою лошадь, но в это время подошел ко мне старший и потихоньку сказал, чтобы я заметил, весел ли будет генерал или зол. — Как же узнать можно это, ведь я его никогда не видал? — Когда он будет гладить шпица, то это значит, что он зол, и чтобы я был осторожен, чтобы еще более не рассердить. <...>

Подъезжая к квартире его превосходительства, я увидел через забор, что он стоит у открытого окошка; перед ним на окошке сидел шпиц, и он его гладит. Заметив это, я шевельнул шпорой лошадь мою, и она пошла полною рысью; ворота были отворены, я, подъехав к крыльцу, отдал лошадь вестовому, сам вошел в комнату, где находился генерал. Видя, что он не переменит своего положения, я доложил спине его превосходительства, что полк готов и как прикажет проходить? “Церемониально”, — загремел он на двор; я поклонился его затылку, вышел из дому, сел на лошадь и курц-га-

лопом выехал обратно. Товарищи мои ожидали меня и, судя по погоде, которая была светла, надеялись, что и его превосходительство просветится благосклонностью.

— Ну что, — спросили меня, — как проходить? Просто или церемониально?

— Церемониально, — сказал я.

Весть эта натянула на лбах их морщины: церемониал был не по сердцу.

— Ну, а как ты нашел его превосходительство?

И когда я им рассказал все, как было, все закричали на меня: “Как можно подъезжать к крыльцу верхом на лошади, ведь это ужасная дерзость; надобно было оставить за воротами лошадь и пешком подойти к дому”. Видя, что они намерены сердиться на меня долго, я сказал им, что его превосходительство ожидает нас, стоя у окошка и глядя шпица. Они приказали людям становиться повзводно, чтобы двинуться вперед, но тут возник вопрос, где должно быть начальникам батальона и младшим штаб-офицерам во время церемониального марша. Я рассказал им порядок: мне быть впереди полка с адъютантом, за мною барабанщики, а за ними музыканты и так далее. Но тут пошло дело о старшинстве: тот, который командовал двумя батальонами, сказал: я буду ехать впереди батальона; тот, который командовал отдельным батальоном, сказал, что и он по старшинству должен быть впереди батальона; старший же по мне сказал: я люблю музыку слушать. Я буду ехать впереди батальона. Советы мои были не действительны, каждый из них остался при своем, то есть все они встали позади музыкантов, чинно в ряд, а я впереди музыки, и так двинулись мы с места повзводно, и все было благополучно, пока подошли к воротам его превосходительства. Тут гаркнула музыка; турецкие жеребцы, на которых ехали начальники, испугавшись, бросились назад, разогнали три взвода передних перед самыми воротами его превосходительства и потом, выбравшись на простор, понеслись с ними гулять. Моя лошадь вела себя весьма хорошо, хоть была и молдаванская; вздрогнула немножко и пошла шагом. Я отсалютовал его превосходительству и ехал

себе покойно... Начальники мои другою улицей объехали и стали по-прежнему»³¹.

На этом мытарства офицеров 14-го егерского полка не закончились: «Через месяц назначен был инспекторский смотр. В это время в ожидании прибытия Евгения Ивановича собран был совет, какой маневр представить генералу, причем и меня удостоили вопросом. Я, пропитанный санкт-петербургским учением с дирекциями направо и налево, с гордостью рассыпал перед ними мои познания; но они, к удивлению моему, сказали: “Сохрани нас Господь от ваших правил, за них от Евгения Ивановича и места не найдешь”. — “Ну так делайте, как хотите”, — сказал я им. Наконец приехал Евгений Иванович; мы пошли к нему на квартиру. Он принял нас гордо и с презрением <...>. Назначил смотр на другой день поутру в 10 часов, и мы вышли.

По обыкновенному порядку я послан был с докладом, что полк готов. Он приказал мне ехать с ним до учебного места, дорогой сказал мне ласково: у тебя лошадка хороша. Мне похвала эта была очень приятна, я толкнул носком правую ногу немножко лошадь, и она поворотила правое ухо к генералу, и ей весело было. Когда же выехали на луг, то старший прискакал к нему верхом с рапортом, а он, не принимая рапорта, сказал:

— Дурак! Встань с лошади, командуй на караул, прикажи играть музыке, и приди ко мне пешком с рапортом. — И в это время отделился и встал на левом фланге полка.

Началось ученье, но такое, которого я никогда не видал, истинная кутерьма, взводы и батальоны перепутались и доставили приятное удовольствие Евгению Ивановичу пушить всех батальонных бранью, сколько душе его угодно было»³².

К весне 1812 года русские армии располагались вдоль западных границ России. Весной выступили в поход гвардейские полки, накануне, как видно из дневниковых записей Н. Д. Дурново, подвергшиеся тщательной проверке императором: «2 марта. Мы отправились с князем (Волконским. — Л. И.) на большой плац Семеновского полка, где Император инспектировал лейб-гвардии Егерский и Финляндский полки и

Гвардейский экипаж. Сразу же после этого они были отправлены в Польшу. Вся гвардия выступает немедленно»; «5 марта. Император инспектировал гвардейскую артиллерию. Она отправляется в Польшу. Невозможно видеть что-либо лучше»³³. Гвардейский корпус, находившийся под командованием цесаревича Константина Павловича, входил в состав 1-й Западной армии М. Б. Баркляя де Толли и располагался в районе Вильно. 14 апреля в час дня «пушки, колокола, барабаны и крики “Ура!” возвестили нам о появлении Его Величества в Вильно. Офицеры из императорской квартиры вышли его встречать. Войска были построены побатальонно...»³⁴. В жизни гвардейцев мало что изменилось: «Жизнь общая в Вильне, до начала военных действий, была просто столичная по наружности, а сосредоточение около Вильны многих корпусов войск было поводом многих смотров»³⁵. Тот же Н. Д. Дурново продолжал вести записи в дневнике, характеризующие предвоенные будни³⁶: «19 мая. Его Величество был в такой степени удовлетворен учением, что поставил генерала Коновницына в пример всей армии и выдал каждому солдату (3-й пехотной дивизии. — Л. И.) по пяти рублей».

Среди военных той поры была широко известна фраза: «Война портит солдат». Спустя десять дней после открытия военных действий государь в который раз убедился в этом: «23 июня. Его величество, обогнав по дороге гвардейские полки, остался очень недоволен тем, как они шли»³⁷, а через месяц после этого при скорбного случая Александр I покинул армию, вверив ее своим военачальникам, которые уделяли строевому шагу гораздо меньше внимания, чем ему хотелось бы. Однако император наверстал упущенное сразу же по возвращении в декабре 1812 года к победоносным русским войскам, которые он застал в конце блистательной кампании, завершившейся «полным истреблением неприятеля» там же, откуда и начинался поход — в Вильно. Трудности военного времени, включая преследование неприятеля в условиях зимней стужи, не могли не сказаться на внешнем виде войск. Их «фрунтовая» выправка заставляла желать лучшего, но вскоре поло-

жение поправилось. «Мы заступили в караулы в Калише, где произвели учение в присутствии государя. Его величество остался очень доволен нами и сказал, что теперь нам прощает все, в чем перед ним провинились, поступив нехорошо с Криднером. Действительно, в Вильно государь сказал, что мы много должны сделать, чтобы заслужить прощение, и тогда мы, несчастные, думали, что нам придется бить неприятеля, чтобы достигнуть прощения, упустив совершенно, что одно удачное учение заменит, по меньшей мере, одну победу. Доказательство — то, что Бородинское сражение и вся бессмертная кампания 1812 года не могли расположить к нам его величество настолько, как парад в Калише», — записал в дневнике, не скрывая обиды и горечи, офицер лейб-гвардии Семеновского полка П. С. Пущин³⁸. В армейских офицерах приезд государя вызвал больший энтузиазм: «Обновленные войски, освежившиеся отдохновением, в блестящих строях, всюду встречали своего Монарха радостным криком ура! И громкою музыкаю; потом проходили мимо него церемониальным маршем. Мы видели грозное для врагов, и милосердное для нас чело Российского Самодержца, освободителя Европы. Каждый солдат смотрел на Государя своего, как на отца. И Государь в лице каждого солдата видел верноподданного, готового положить за него живот свой»³⁹.

И вот «возлюбленные чада» государя Александра Павловича уже маршируют в ногу после первой значительной победы в Европе: «Отслужили благодарственный молебен по случаю победы, одержанной под Кульмом. По этому случаю весь наш корпус был под ружьем и затем прошел церемониальным маршем перед монархами. Наш полк понес такие большие потери, что вместо трех батальонов мог построиться в два батальона. Прекрасный вид наших войск поражал всех. Действительно, они были в таком блестящем виде, как в Петербурге»⁴⁰.

Вступление российской армии в покоренный Париж в марте 1814 года оставило в их душах более отрадное впечатление, чем возвращение в столицу Франции после окончания «Ста дней» и вторичного отречения

Наполеона, потерпевшего поражение от союзников в битве при Ватерлоо: «Во время прошлогоднего пребывания нашего в Париже Государь позволил всем военным ходить во фраках, не присутствовать более на разводах и, будучи очевидным свидетелем подвигов армии, казалось, убедился в том, что строгое наблюдение гарнизонной или мелочной службы бесполезно. Такое расположение продолжалось и нынешнего года по вступлении нашем в Париж две недели, и можно себе легко представить, сколь много сие всех радовало. Одним вечером Его Величество поехал гулять верхом по Елисейским полям и встретил Веллингтона, учившего двенадцать рекрут. По возвращении Государь сказал: “Веллингтон вывел меня из большого заблуждения, в мирное время должно заниматься мелочною службою”. И на другой день после сей встречи с английским фельдмаршалом начались у нас по-прежнему разводы и учения. Мне кажется, что эта встреча была не случайная, а что она приготовлена английским министерством в том намерении, чтобы отвлечь императора фронтвою службою от важнейших занятий»⁴¹. Эти слова принадлежат А. И. Михайловскому-Данилевскому, которого трудно заподозрить в отсутствии чувства благоговения перед «нашим Агамемноном» и «Царем царей», как стали называть государя после крушения империи Наполеона. Александр I полагал, что это произошло оттого, что русская армия в отличие от армии неприятельской всегда содержалась в строгости и слепом повиновении начальству. В его словах была несомненно большая доля истины: привычка к суровой дисциплине являлась одной из причин, проистекавшей от преданности своему законному монарху, заставлявшей «держатъ строй» и «выравнивать шеренги» там, где армия Наполеона упала духом — в период отступления.

В то же время несправедливо подозревать в зловердных намерениях знаменитого английского полководца герцога Веллингтона, вкусы которого вполне совпадали с пристрастиями российского императора. В записках И. С. Жиркевича запечатлен исторический эпизод, относящийся к первому пребыванию русских войск в Париже: «Во время <...> парада, данного собственно для

Людовика XVIII, я находился опять на террасе Тюльерийского сада, но с другой стороны, то есть к набережной Сены. Король сидел в павильоне и оттуда смотрел на проходившие полки нашей гвардии. Во всех полках музыканты, вместо маршей играли “Vive Henri IV”. Но всего любопытнее было — это видеть герцога Веллингтона, который только лишь приехал в Париж и, услышав о параде, схватил какую-то упряжную лошадь, вскочил на нее и на этом буцефале прискакал к войскам. Потом ходил анекдот о нем, что будто, на сделанный ему вопрос: что всего более ему понравилось в Париже, он отвечал: “гренадеры русской гвардии!”»⁴².

Тот же самый А. И. Михайловский-Данилевский с нескрываемым восхищением описывал последний смотр российских войск во Франции, являвшийся логическим завершением «десятилетия большой крови». Он происходил во вторую годовщину Бородинской битвы 26 августа 1815 года в Шампани близ небольшого городка Вертю в присутствии представителей союзных армий, в том числе коронованных особ. Судя по воспоминаниям участников этого события, зрелище было поистине грандиозным: «Прежде возвращения армии нашей из Франции Государю угодно было сделать ей общий смотр, при котором токмо не мог быть корпус графа Ланжерона, расположенный около французских крепостей. Первоначально положено было произвести оный в начале августа месяца под Фер-Шампенуазом, где в прошлом году одержана победа над французами, но потом отложили на несколько недель для того, чтобы дать время поселянам убрать хлеб с полей. И вместо Фер-Шампенуаза избрали в Шампани, близ города Вертю <...> посреди которой находится гора, называемая Монтеме. В течение августа месяца между тем как собралась туда армия, у нас в Главной квартире занимались чертежами: как войска поставить, какие движения им произвести, и приготовляли командные слова и сигналы для каждого корпуса порознь. Государь сам входил во все возможные подробности, к Его Величеству носили бумаги, до сего смотра касающиеся, раз по двадцати на день, что весьма естественно, ибо он хотел представить армию свою перед глазами и на суд всей Европы. <...>

В строю назначено быть семи конным и одиннадцати пехотным дивизиям, трем полкам казаков, двум ротам пионер, одной роте саперов, пятисот сорока орудиям — всего более ста пятидесяти тысячам человекам, в числе коих восемьдесят семь генералов, 433 штаб- и 3 980 обер-офицеров. Сего дня 26-го в шесть часов утра поехали мы на гору Монтеме, перед которою выстроена была армия под предводительством генерал-фельдмаршала графа Баркляя де Толли <...>.

Ясное небо и лучи солнца, отражаемые в оружии, придавали зрелищу сему необыкновенный блеск, и все, начиная от Государя, были столь поражены сею восхитительною картиною, что когда мы въехали на Монтеме и взглянули на армию, то произошло какое-то невольное молчание, а после показалась на устах каждого улыбка, означавшая, что каждый гордился быть русским. Сигналы для команды делаемы были пушечными выстрелами из орудия, стоявшего на Монтеме. Первый выстрел возвестил прибытие Государя — войска взяли ружье на плечо; по второму — сделали на караул; громкое “ура” раздалось по рядам, заиграла музыка, и загремели барабаны и заиграли трубы. По третьему выстрелу взяли на плечо и построились в батальонные колонны, а по четвертому вся армия начала строить каре, коего три стороны состояли из пехоты, а четвертая — из конницы; перед одною из конных линий стояло десять рот конной артиллерии. Государь в сие время спустился с горы, объехал при радостных криках все каре и остановился в середине оною. Армия прошла церемониальным маршем мимо Его Величества: сперва гренадеры, потом пехотные дивизии, за одною конница, а вслед конная резервная артиллерия. После сего Государь изволил возвратиться на Монтеме, а войска стали в тот же боевой порядок, в коем были с самого начала; по пушечному выстрелу сделали на караул, и снова загремела музыка и барабаны, и снова “ура” наполнило воздух»⁴³.

Вид победоносных российских войск вызвал в душе будущего знаменитого историка Отечественной войны 1812 года волнующие чувства: «Но при всем торжестве России, которое я созерцал в армии нашей, при

всех великих воспоминаниях, можно ли было забыть о Бородинском сражении, которому сего дня минуло три года? Тогда села и города пылали от Москвы-реки до Немана, и на пространстве сем текла кровь россиян. Противу неслыханного ополчения врагов, предводительствуемых вождями, образованными в победоносных странах, заслоняли сто пятнадцать тысяч наших воинов дома и сограждан, честь имени своего, гробы родителей, законы, славу и независимость, приятые от предков. Что прочие сражения против Бородинского? Что самый день Лейпцигский, в который неприятель не искал лавров, но спасения, где он токмо мыслил, как бы с честью прейти за Рейн, где, слабее в силах, нежели противники его, был он оставлен союзниками своими и не имел в деле тех полчищ, которые прежде славились непобедимыми и потом истреблены в Смоленске, в Тарутине, в Малом Ярославце, в Вязьме и в Красном, которых кости сожигаемы были на кострах, и пепел разнесен ветрами далеко от земли русской? При Бородине была битва народов, России с Европою. Ежели бы грудь россиян была менее тверда и мудрость Смоленского* менее испытана, то дерзкий иностранец, взирая с кремлевских стен на пленную столицу, сказал бы: “Держава Петра, Екатерины и Александра была славна, но она сокрушилась под ударами соединенной Европы”.

Скольких героев уже нет посреди армии сей, которые в тот незабвенный день были оплотом Отечества! — думал я, пробегая взорами ряды войск. Нет Багратиона — любимца победы, нет Тучкова, Багговута, Кутайсова, Неверовского, нет многих тысяч сподвижников их. Может быть, потомство не воздвигнет вам памятника на том месте, где вы пали, но, по крайней мере, через несколько веков на холмах, орошаемых Колочею, соорудится скромная часовня. <...>Матери, сестры, невесты падших в битве Бородинской, вы, которые над могилою храбрых проливаете в сей день слезы и воссылаете моления к небу о успокоении душ их, к вам взываю я! Да слава Отечества вашего, сим войском до вышней степени вознесенная, исполнит сердца ваши уверением, что месть постигла неприятелей, отъ-

* *Смоленский* — почетная приставка к фамилии Кутузова.

явших в горестное для России время жизнь родных ваших и любезных; в возмездие врагам на собственных полях их празднуем мы славу нашу; воины наши попирают пашни их и нивы, знамена наши развеваются в недрах Шампани, и эхо гор неприятельских принуждено повторять радостное “ура”, беспрестанно войском произносимое»⁴⁴.

Большой удачей для исследователей того времени, бесспорно, являются записки о тех великих событиях Я. О. Отрощенко, позволяющие увидеть то же самое событие в несколько ином ракурсе. Его повествование о смотре в Вертю насыщено подробностями, в деталях рисующих подготовку подобного военного действия и оттого не менее выразительно. Безыскусный рассказ армейского офицера, прошедшего почти через все войны, которые вела Россия в начале XIX века, отнюдь не снижает возвышенно-героического взгляда А. И. Михайловского-Данилевского на значимость парада в Вертю. Воспоминания Отрощенко раскрывают, какой многоликой бывает история, как в буднях русского офицерства праздники сочетались с обыденностью, возвышенные чувства с земными заботами. Вот его рассказ: «Срок высочайшего смотра назначен через полтора месяца. Прочитав этот приказ, я ужаснулся, видя, что времени остается мало, а работы предстоит весьма много и в средствах большой недостаток. Хотя при этом повелении препровождено денег 4 000 рублей ассигнациями и всемилостивейше пожаловано Государем Императором в каждый полк для вспомоществования полковым командирам, сверх того отпущено несколько контрибуционного сукна на мундиры, которое употреблено было на мундиры для унтер-офицеров; но этого было весьма мало и особенно для моего полка, потому что дивизионный начальник настоятельно требовал, чтобы все ременные вещи были вылакированы масляным печным лаком, о составе которого никто не имел понятия; некоторые говорили, что он делался из янтаря. <...> Работа закипела: кроенье, шитье и вместе с тем ученье. Все шло с успехом, хотя тяжело было для солдат, потому что для них оставалось мало покою. Но лакировка вещей никак не давалась, во-первых, потому что лак был скипидарный, а во-вторых, еще бо-

лее потому, что грунт никак не сох, ибо масло было су-репное, а конопляного нельзя было достать, притом и сушка была на солнце. Грунт покажется высохшим, но когда покроют лаком, и когда он высохнет, то представляет вид блестящий и прекрасный, но вдруг отдирается, и под лаком является грунт никак не засохший. Парижский лакировщик, видя неудачу и не зная, как пособить делу, бежал; тогда уже принялись сами лакировать; тут уже все были заняты: унтер-офицеры и офицеры; я показывал всем пример.

К счастью нашему была постоянно светлая и жаркая погода. Мы лакировали с отчаянным усердием, ибо знали, что этот лак не прочен, но желали хоть на один раз представиться пред лицо царя и глаза всей Европы в блестящем виде <...>. Посему во время перехода вещи не были надеваемы на людей, а переносили их на шестах. Французы с удивлением смотрели на все наши работы, а быть может думали, что все солдаты у нас мастеровые. Наконец приказано было выступить в поход и расположиться на полях Шампани, близ города Вертю, в лагерях возле места, назначенного для высочайшего смотра. Переходя к сему месту, солдаты несли по прежнему порядку амуницию на шестах»⁴⁵.

На этом трудности русских воинов не закончились: «Поля, на которых войска были расположены лагерем, были пахотные, изобилующие тонкой известковой пылью, от натурального свойства земли и от удобрения полей пережженной известью. При малейшем дуновении ветра и от хождения людей в сухую погоду, пыль эта подымается и садится слоем везде, и в шалашах, и в палатках, так что нельзя без нее ничего ни съесть, ни выпить»⁴⁶.

Вот как виделся достопамятный смотр в Вертю Г. П. Мешетичу: «Союзным государям угодно было видеть устройство и блеск российского воинства, прибывшего во Францию, по коему случаю и назначены государем императором маневры на полях Шампани, близ местечка Вертю, где и были собраны 200 тысяч русских войск поблизи гор и были поставлены в три линии в боевой позиции. К дню маневров для лучшего блеску государем все милостивейше были пожало-

ваны знатные суммы в армию для обер-офицеров на золотые и серебряные вещи. Маневры совершились в присутствии императоров России, Австрии, королей Пруссии, германских с их герцогами, принцами, главнокомандующими, знатнейшими вельможами, и горы были усеяны бесчисленным множеством народа. Вместо команды сигналы подавались с горы, где присутствовал государь, пушечными выстрелами. Грозный строй казался в виде огромной движущейся машины, переменная после каждого выстрела разные виды и по разным направлениям, и вдруг по шестому выстрелу пушечный гром и батальный огонь ружей всей армии потрясали воздух и помрачали солнце облаками порохового дыма. По седьмому выстрелу кавалерия вся понеслась рысью — эскадронами, артиллерия целыми батареями, пехота — батальным ускоренным маршем мимо союзных государей. Великое удивление было всех государей на сих воинов...»⁴⁷

И, наконец, повествование Я. О. Отрощенко о великолепном смотре в Вертю изобилует подробностями, которые были скрыты от взоров и Г. П. Мешетича, и А. И. Михайловского-Данилевского, видевшего картину в целом, не останавливая взгляда на деталях: «В назначенный день для высочайшего смотра выведены были войска на парадное место, а мы построились в три линии лицом к западу, и перед нами была вышеупомянутая гора. Она отделялась от гряды гор, за которыми находился городок; с левой стороны на скате ее стоял телеграф. В 10 часов прибыли на холм Государь, австрийский император и прусский король с многочисленной свитой: телеграф сделал знак I+I. Выстрел на горе из пушки был сигналом о прибытии высоких особ. Войска взяли ружья на плечо, музыка заиграла, и люди закричали троекратное ура! И открыли батальный огонь вместе с артиллерией по три заряда. Молодые артиллерийские лошади испугались и понеслись с зарядными ящиками и с передками между линиями. При этом случае несколько человек лишились жизни.

По окончании пальбы построили колонны справа побатальонно, и потом сомкнули две общие колонны, сделали перемену дирекции налево, взяли к ноге и ожидали

пока приехал Государь на назначенное место для церемониального марша. Начался церемониальный марш, и полки пошли сомкнутыми колоннами побатальонно, имея между себя интервалы на взводную дистанцию. При движении войска поднялась ужасная пыль и легла на нас толстым слоем, покрыла все наши изъянности и недостатки. Удивительно, как могли вытерпеть Государя на сильном жару жгучую пыль. Все имели равного цвета одежду, серая пыль покрыла всех. Прошедши таким образом, войска возвратились в лагерь при закате солнца.

На другой день назначен был церковный парад. Для этого поставлены были три походные церкви на покатоности гор, склонявшихся от города к юго-западу. <...> Войска собрались к этому месту без ружей и построились. <...> Амуниция наша уже не имела лаку, но и тут нам помогла услужливая французская пыль. По окончании обедни войска пошли обратно к своим местам в лагерь, который находился от этого места не менее четырех верст. День был жаркий, но пехотные солдаты пришли все, а кирасиры без привычки попадали многие на дороге»⁴⁸.

Впрочем, у Михайловского-Данилевского были в тот день свои огорчения: «Государь был столь доволен смотром, что сказал сии слова: “Я вижу, что моя армия первая в свете, для нее нет ничего невозможного, и по самому наружному виду ее никакие войска с нею сравняться не могут”. Сего дня имел я новое доказательство, как Император не любит вспоминать об Отечественной войне. Генерал-квартирмейстер Толь, который немного после нас приехал на Монтеме, смотря на выстроившуюся армию, сказал Его Величеству: “Как приятно, что сего дня память Бородинскому сражению”. Государь не отвечал ни слова и отвернулся. Вслед за ним приехал лейб-медик Виллие, сделал замечание почти такого же содержания и получил такой же молчаливый ответ»⁴⁹. Для государя императора парад олицетворял торжество мира и порядка в Европе, в то время как события 1812 года навсегда были связаны в его душе с разорением империи и ощущением хаоса, в котором он едва не затерялся. Парад в Вертю был знаковым выражением того, что все встало на привычные места...

Вместо послесловия к главе приведем случай, происшедший с нашим героем в конце царствования императора Александра. «Вместе с рассветом изволил выехать Государь и произвел маневр в таком порядке, как будто это было действительно в сражении безо всяких предварительных учений. Генерал Дибич, получая словесные приказания Его Величества, писал карандашом на лоскутке бумаги и рассылал их дивизионным и бригадным начальникам. Я получил такую записочку и перешел с бригадой на назначенное место. Таким образом, передвигаясь с места на место, подошли к деревне, близ самого города лежащей, и тут завязалось сражение; полки мои стояли в колоннах, и застрельщики действовали впереди. Я заметил некоторый беспорядок в резерве, поскакал исправить это, но, возвратясь к колоннам, нашел, что в одном полку построены были батальонные каре, а в другом ротные колонны: меня это взорвало гневом. Подскакав к полковым командирам, я закричал громко: “Кто смел здесь без меня распряжаться?” Но те опустили шпаги и молчали, а я с досады ничего не замечал. Но в это время взял меня кто-то за руку. Я взглянул и испугался: это был Государь. “Прекрасная бригада, — сказал он, — давно ли, брат, командуешь ею?” — “Не более десяти месяцев”, — отвечал я Его Величеству»⁵⁰.

Глава восьмая

ДНИ МИРА

Хорошее было время; хорошо служилось и еще лучше все веселились.

В. И. Левенштерн. Записки

Как складывалась мирная жизнь офицеров эпохи 1812 года в часы свободные от парадов, смотров и учений? Впрочем, парадная сторона военной службы составляла им не слишком много времени для досуга, который каждый организовывал по своему вкусу. «Детей

Марса» в ту пору нельзя назвать читающим поколением. Нет, это отнюдь не означает, что среди них не находилось любителей чтения, стремившихся ознакомиться со всеми книжными новинками. Однако среди родителей наших героев было немало поборников «естественного воспитания», декларированного Ж. Ж. Руссо. Даже те, кто и не был знаком с педагогической системой знаменитого швейцарца, рассуждали под стать одному из персонажей знаменитой комедии Д. И. Фонвизина: «От чтения книг бывают приливы к голове и впадение в совершенно дураческое состояние». Даже просвещенный вельможа граф С. Р. Воронцов сообщал из Лондона родственникам о своем сыне: «...Он очень любит читать: между тем все это ничуть не вредит его здоровью, потому что он беспрестанно бывает на открытом воздухе и каждый день ездит верхом, что много укрепляет его телосложение». Пройдет всего несколько десятилетий, и философы подметят, что, много читая, «человек приучается мыслить страдательно». Большинство русских офицеров в эпоху 12-го года страдательно не мыслили, поэтому это поколение военных в целом может быть охарактеризовано словами историка В. К. Ключевского, высказанными в адрес Екатерины II: «...земная даль манила их гораздо больше, чем небесная высь». Миру «невидимому» они предпочитали мир «видимый» и «осязаемый» и были, по выражению М. Ю. Лермонтова, не «созерцателями», а «деятелями». Их интересовало то, в чем они могли принять личное участие, или в крайнем случае то, что могли увидеть своими глазами. Вспомним, что даже великих князей Александра и Константина учили сажать горох и репу!

Неудивительно, что и в своем ремесле военные той эпохи предпочитали совершенствоваться на практике (благо недостатка в ней не было), нежели омрачать свою жизнь книжной премудростью. Наглядным свидетельством тому, как обстояло дело с чтением книг среди «героев нашего времени», служит обращение военного министра М. Б. Барклая де Толли к начальнику 18-й пехотной дивизии генерал-майору князю Щербатову, известному своими познаниями: «Милостивый государь мой, князь Алексей Григорьевич! Доходят до ме-

ня известия, что в некоторых полках офицеры совсем не читают присылаемых от правительства книг, и они или растеряны, или хранятся как казенная собственность. Имея искреннее уважение к достоинствам Вашего Сиятельства, я почел приличным разделить с Вами попечение мое о склонении офицеров к чтению и вообще к занятию началами воинского искусства.

Я не стану распространяться о необходимости военного просвещения для офицеров. Вашему Сиятельству столько же известно, как и мне, сколь полезно для общественного блага дать истинное понятие молодым офицерам нашим о благородстве их служения и о внушении им вкуса к познанию тех начал, на коих оно основано...»¹

Не будем все же осуждать русских офицеров в отсутствии страсти к чтению. Они жили в эпоху, насыщенную замечательными событиями, которые порой вытесняли из их повседневности книжный мир. Книги, действительно, были уделом тех, кто страдал. Так, во время Тильзитского мира маршал И. Мюрат спросил у королевы Луизы Прусской, глубоко потрясенной сокрушительным поражением своей державы в войне с Наполеоном: «Чем развлекаетесь Вы, Ваше Величество в Мемеле?» — «Чтением». — «Что читаете Вы, Ваше Величество?» — «Историю прошлого». — «Но ведь и настоящая эпоха представляет события, достойные истории». — «С меня довольно того, что я переживаю их»².

Среди русских офицеров конечно же встречались те, кто стремился к интеллектуальной досугу, о чем поведал в дневнике Н. Д. Дурново: «Я попросил у князя отправиться в Смольный монастырь, чтоб присутствовать на экзаменах молодых девиц. Получив разрешение, я отправился туда в одиннадцать часов. Девицам задавали вопросы по истории, географии, физике и иностранным языкам. Они отвечали очень хорошо»³. Впрочем, не следует забывать, что автор этих строк — офицер квартирмейстерской части, среди которых был самый высокий показатель уровня образованности, что наглядно подтверждается и другими записями из дневника Н. Д. Дурново: «4 января. Закончил в Главном штабе модель горы, которую начал 27 ноября 1811

года по модели полковника Пенского, требовавшего, чтобы копия не уступала оригиналу. Для меня эта модель горы останется свидетельством моего терпения»; «14 января. Провел часть утра за чтением “Тридцатилетней войны” Шиллера <...> и за “Большими военными операциями” Жомини»⁴.

Впрочем, многими офицерами с удовольствием читались в те годы любовные романы, книги о путешествиях, чудесах света и т. д. Отвлеченных же идей в то время люди вообще не любили, стремясь даже чувства и эмоции выражать с помощью символов. В октябре 1812 года, когда кампания в России уже приближалась к победоносному завершению, М. И. Кутузов в письме супруге Екатерине Ильиничне поделился своими размышлениями: «Сегодня я много думал о Бонапарте, и вот что мне показалось. Если вдуматься <...> и обсудить поведение Бонапарта, то станет очевидным, что он никогда не умел или не думал о том, чтобы покорить судьбу. Наоборот, эта капризная женщина, увидев такое странное произведение, как этот человек, такую смесь различных пороков и мерзостей, из чистого каприза завладела им и начала водить на помочах, как ребенка. Но, увидев спустя много лет, и его неблагодарность, и как он дурно воспользовался ее покровительством, она тут же бросила его, сказав: “Фу, презренный! Вот старик, — продолжала она, — который всегда обожал наш пол, боготворит его и сейчас, он никогда не был неблагодарным по отношению к нам и всегда любил угождать женщинам. И чтобы отдохнуть от всех тех ужасов, в которых я принимала участие, я хочу подать ему свою руку, хотя бы на некоторое время...”»⁵

В начале XIX века люди все еще продолжали мыслить с помощью привычных «зрительных обозначений», доставшихся им в удел от ушедшего столетия, чем существенно отличались от нас. «Нам не понятна самая идея — выражать чувства с помощью Афродиты-Венеры или Посейдона-Нептуна. А XVIII веку это почему-то было нужно. Античная мифология жила глубоко в сознании XVIII века. Мраморные сатиры и нимфы, что выглядывали из зелени его парков, крылатые психеи, что вились среди лепнины его потолков, амурсы, что ку-

выркались по карнизам, — все это было не просто украшением, это жило особой жизнью — жизнью воображения. Реальные образы двоились, вместе с луной вставала Артемида — Диана — в окружении звезд с месяцем во лбу она выезжала на колеснице; холодный ветер представлялся Бореем; человеческие качества являлись в античных одеждах: красота — Венерой, доблесть — Марсом, а мудрость — Минервой», — отмечает искусствовед О. Г. Чайковская⁶. В силу этих историко-психологических особенностей сознания Кутузов без труда представил себе «фортуну» в виде белокурой женщины, которая именно в таком виде явилась фельдмаршалу во сне.

Не менее показателен в этом отношении «типовой сценарий» чествования князя П. И. Багратиона 7 марта 1806 года в доме князя В. А. Хованского в Москве, куда «драгоценный каждому герой» прибыл «успокоиться среди мирных сограждан». Я. И. Булгаков, принимавший участие в торжествах, сообщал в письме к сыну: «Столовая была расписана трофеями: посреди стены портрет Багратиона, под ним связка оружий, знамен и проч., около ея несколько девиц, одетых в цвета его мундира и в касках *a la Bagration* (сделанных на Кузнецком мосту): сие есть последняя мода. Сколь скоро вошли в залу, заиграла музыка. Княжна пела ему стихи, прерываемые хором. После прочие девицы, две княжны, Валуевы, Нелединские и пр. поднесли ему лавровый венок и, взяв за руки, повели его к стене, которая отворилась, то есть опустилась занавеса. В сем покое сделан был театр, представляющий лес. На конце написан храм славы; перед храмом статуя Суворова; из-за нее вышел гений и поднес Багратиону стихи, а он, приняв их и прочтя, поклонился статуе и положил свой лавровый венец при ногах статуи». Заметим, что организаторы грандиозного праздника на общепринятом в те времена языке символов выразили генералу свое «непритворное восхищение», на что виновник торжества тут же отозвался «приличным случаем» экспромтом, «переадресовав» предназначенные ему почести великому Суворову. Не следует обольщаться ложной скромностью: князь Багратион тонко дал понять окружаю-

щим, что Суворов — его учитель и благодетель. Итак, диалог с помощью «зрительных обозначений» состоялся. Литературный и театральный вкус, да и сам характер развлечений во многом зависел от места нахождения воинской части и материального состояния офицера. Так, граф Жозеф де Местр сообщал сестре из Петербурга: «Роскошь и пышность сей страны не поддаются описанию; самое великое у нас здесь кажется бесконечно малым. Если бы я стал рассказывать тебе о здешних ценах, ты побледнела бы от ужаса. Ограничусь лишь предметами роскоши: пара туфель хорошей работы стоит 8 рублей (один рубль равен приблизительно трем французским ливрам и десяти су); не столь изящные можно купить за 5; локоть французского драпа 24 рубля; самый обыкновенный парик 12 рублей; учителя рисования и танцев и т. п. — 5 рублей за урок, а самые лучшие до 8 и 9. У меня служит благородный лакей; он берет уроки французского языка у какого-то мошенника, который знает не более его самого, по 1 рублю за урок; правда, позволяет он себе это только раз в неделю. Я же плачу ему 18 рублей каждый месяц и столько же достойному его сотоварищу, 40 — камердинеру, не считая множества подарков, без которых меня обворовывал бы какой-нибудь плут. Что ты скажешь о таком хозяйстве, дитя мое? Может быть, ты думаешь, что я обладаю правом попросить одного из этих господ подмести у меня в комнате или вынести накопившийся сор? Отнюдь нет, моя драгоценнейшая. Я не удержал бы их и двух дней, если бы позволил себе подобные вольности: такими делами занимается мужик, который спит на полу у двери, как собака; а мой, ни в чем себе не отказывающий, спит на столе; присовокупи к этому кучера, форейтора и четырех лошадей: с двумя здесь просто невозможно появиться. Обрати внимание — это образ жизни бедного человека: меня терпят лишь потому, что известно мое положение, равно как и пославшего меня, иначе мне пришлось бы ретироваться. Посланник, дабы жить прилично своему сану, должен тратить 35—40 тысяч рублей. На 25 надобно быть скромным и не помышлять об устройстве приемов. Я брошен в сей водоворот, где меня осыпают милостями. Уже несколько раз

довелось мне ужинать у Императрицы-матери, у самого Императора: пятьсот кувертов не знаю уж на скольких круглых столах; всевозможные вина и фрукты; наконец, все столы уставлены живыми цветами, и это здесь, в январе...»⁷ При этом иностранный посол, определивший своего сына на военную службу в гвардию, неприхотливо сокрушался о предстоящих ему расходах: «Ведь в Петербурге гвардейского офицера освищут, и он будет принужден выйти из службы, если выедет в экипаже об одной лошади»⁸.

Было бы ошибкой полагать, что все столичные офицеры купались в роскоши. Свитскому офицеру Н. Н. Муравьеву было не до приобретения лошадей и даже самого экипажа, так как денег ему не хватало на самое необходимое: «Таким средствам соответствовал и род жизни моей. Мундиры мои, эполеты, приборы были весьма бедны; когда я еще на своей квартире жил, мало в комнате топили; кушанье мое вместе со слугою стоило 25 копеек в сутки; щи хлебал деревянною ложкою, чаю не было, мебель была старая и поломанная, шинель служила покрывалом и халатом, а часто заменяла и дрова. Так жить, конечно, было грустно, но тут я впервые научился умерять себя и переносить нужду»⁹. Далеко не все родители могли оказывать материальную помощь своим сыновьям, а если кто-то и изыскивал такую возможность, то и родительских средств не всегда хватало для безбедного существования. В особенно «тесных» обстоятельствах пребывали офицеры из многодетных семей, братья которых также находились на военной службе. В этом случае офицеры объединялись в «артели» и в «складчину» организовывали свой нехитрый быт, как явствует из рассказа того же Н. Н. Муравьева: «Я жил вместе с братом Александром и двоюродным братом Мордвиновым. Случалось нам ссориться, но доброе согласие от того не расстраивалось. Мы получали от отца по 1 000 рублей асс<игнациями> в год. Соображаясь с сими средствами, мы не могли роскошно жить. Было даже одно время, что я во избежание долга в течение двух недель питался только подожженным на жирной сковороде картофелем. Матвей часто приходил разделять мою трапезу, нимало не гнушаясь ее

скудостью. Помню, как я в это голодное время пошел однажды на охоту на Охту и застрелил дикую утку, которую принес домой и съел с особенным наслаждением. <...> По воскресеньям бывал я на вечерах у Н. С. Мордвинова, где танцевали»¹⁰.

Для справки приведем здесь следующие сведения о материальном положении наших героев: «В русской армии в начале XIX века годовое жалование в рублях ассигнациями у офицеров армейской пехоты было таким: прапорщики — 125, подпоручики — 142, поручики — 166, штабс-капитаны — 192, капитаны — 200, майоры — 217, подполковники — 250, полковники — 334 рубля. В артиллерии и кавалерии офицерское жалование было примерно на 10 процентов выше, чем в пехоте. В гвардии жалование соответствующих чинов и родов войск было выше, чем в армейской пехоте, на 20—50 процентов. Насколько обеспечены были русские офицеры, получая такое жалование, можно судить по некоторым традиционным статьям расходов. До Отечественной войны 1812 года, в начале века, аршин (71,12 сантиметра) офицерского сукна на мундир стоил 5 рублей 50 копеек, а полное обмундирование армейского пехотного офицера стоило более 200 рублей. За 50 копеек можно было пообедать в ресторане, бутылка шампанского стоила 2 рубля. В первой половине 1812 года четверть муки стоила в различных регионах от 8 до 18 рублей, четверть крупы — от 12 до 29 рублей»¹¹. Картина довольно скудного быта армейского офицера наглядно представлена в записках И. Т. Роджицкого: «...у военного офицера в квартире, кроме чемодана, трубок, просыпанного табаку, сабель и валяющихся на полу двоек с дамами и валетами, ничего не встречается».

Однако многие гвардейцы чувствовали себя, как нельзя более комфортно посреди неопишуемой роскоши Северной столицы. Положение родителей в петербургском аристократическом обществе, внимание к ним государя императора и всей августейшей фамилии сглаживали в глазах двора их фривольное поведение. Обратимся к воспоминаниям князя Сергея Волконского, воскрешающим неповторимый колорит той

эпохи: «Прежде, нежели описывать мой быт уже в флигель-адъютантском звании, обращусь к некоторым обстоятельствам полкового нашего быта, как мерилу образа мнений и духа, общего между нами. Как ни была строга служебная дисциплина, и как ни свято мы исполняли все служебные обязанности, довольно скучные и часто, по их мелочности, довольно тягостные, но исполняли не из страха, а просто, как долг при ношении мундира; но в мнениях и суждениях мы были независимы. Вот тому несколько примеров. Обыкновенно ежедневно, при хорошей погоде, в зимнее время все высшее петербургское общество прохаживалось по так называемому Царскому кругу, то есть по Дворцовой набережной, и, минуя Летний сад, по Фонтанке до Аничковского моста и потом по Невскому проспекту обратно до дворца Зимнего. Обыкновенно, от 2-х до половины 4-го Император то пешком, то в санях посещал прогулкой эту местность. Цвет дам верхнего и иностранного купечества, царедворцы всяких категорий и слоев постоянно посещали эту местность, — первые с мыслями обратить на ими выказанные прелести внимание Царя, — другие, то есть царедворцы — или искатели мест, вытаптыванием себе ног добивались милостивого кивания головой, или высокой милости, или словечка, или пожатия руки. Но предмет появления нас, четырех или шести товарищей, шедших рядом рука об руку, был довольно странный: мы туда являлись, чтоб посмеяться над ищущими приключений, столь дорого ими ценимых, а частью, чтоб им и Царю доказывать, что вне службы мы независимые люди».

Совершенно очевидно, что ни один армейский офицер не позволил бы себе при встрече с царем доказывать ему свою независимость, хотя бы уже по той причине, что сама эта встреча была исключительным событием, о котором можно было потом вспоминать всю оставшуюся жизнь. «Вольнолюбивые» выходки будущего декабриста не столько указывают на приверженность либеральным идеям века, сколько являют нам яркий пример «великосветского хулигана», не привыкшего себе отказывать ни в чем, в силу чего встреча с ним для человека менее задиристого и здравомысля-

щего могла оказаться настоящим бедствием, что подтверждает продолжение этой истории. «Понял ли сам это Царь, или переданы были ему довольно гласные и неосторожные наши болтовни, но мы убедились, что Царь, издалека завидев нас, уже к минованию встречи с нами оборачивал голову в другую от нас сторону и не отвечал учтивостию на делаемый нами фронт и подвски руки к шляпе, — и это негодование разразилось на нашем полковом командире, которому велел Государь сказать чрез шефа нашего и его генерал-адъютанта Уварова, что Депрерадович составил ему не корпус офицеров, но корпус вольнодумцев. Это весьма нелестное для доброго нашего старика командира замечание весьма его огорчило, и он, собрав весь корпус офицеров, передал нам словесно полученный им выговор и с обычною его доброотою нам сказал: “Ваш язык — ваш враг”, и вместе объявил, что, к сожалению его, полученный им выговор заставил его подать в отставку, хотя он нас любит и уважает.

Вслед за сим весь корпус офицеров, за исключением только трех лиц, решились просить Депрерадовича не покидать нас, и общей дружиной мы пошли к нему с просьбою взять обратно поданную им просьбу. Старик, тронутый до слез этим общим порывом нашим, отвечал нам, что, подав просьбу, не может лично от себя просить о возврате оной ему. Но тут было решено нами послать к Уварову от корпуса офицеров депутацию с просьбою, чтоб он не давал хода просьбе любимого нами начальника, а возвратил бы ее ему, и в пику тем трем из наших однослуживцев, отставшим от нас, их выбрали к посылке к Уварову, в исполнении чего они не могли отказаться, а меня послали соглядатаем, чтоб исполнили в точности поручение. Просьба была возвращена, мы поставили на своем, а остальным дали урок»¹². Заметим, что за свободу мнений в России впоследствии ратовал человек, полностью пренебрегший мнениями своих троих сослуживцев, которому никогда не приходило в голову, например, отказаться от флигель-адъютантства, пожалованного ему по настоянию матери, статс-дамы императорского двора.

Из записок С. Г. Волконского, которого до 1812 го-

да государь, по признанию самого автора, считал «пустейшим малым», неясно одно: что привело генерала к сибирской каторге? Правда, в записках он постоянно противопоставляет пустым и бессодержательным годам своей молодости осмысленный «гражданский быт», за который он заплатил столь дорогой ценой. Однако, когда «князь Серж» переносится мыслями в ту самую незабываемую молодость, неповторимую и чудесную, становится ясно, что душой этот самодурный и упрямый барин так и остался в том времени, в той эпохе. В самом деле, разве мог он отказать себе в удовольствии поведать потомкам о событиях своей «пустой» жизни, некогда волновавших весь Петербург? Разве читатели его записок вслед за рассказчиком не погружаются в повседневную жизнь гвардейцев той поры? «Станислав Потоцкий созвал многих в ресторан обедать; под пьяную руку мы поехали на Крестовский. Это было в зимнее время, был день праздничный, и кучи немцев там были и забавлялись катаньем с гор. Нам пришла мысль подшутить над ними; мы разделились на две шайки и заняли платформу гор и, как садится немец или немка на салазки, толкали санки из-под них ногами, — любители катанья отправлялись с горы не на салазках, а на... Немцы разбежались и, вероятно, подали жалобу; нас была порядочная ватага, но на мне одном оборвался взыск, и Балашов, тогдашний генерал-губернатор петербургский и старший в чине генер. (ал)-адъют. (ант), вытребовал меня и объявил мне от имени Государя Высочайший выговор.

Другая шалость была у меня в доме. Я жил на Мойке в доме матери, в нижнем этаже — при въезде в ворота от Пущинского дома. На одной лестнице со мной жила француженка, любовница г-на Н... Я имел причины ему и его жене — *faire une niche* (напроказить). Узнав, что он украл у своей жены собачку комнатную и что он подарил эту собачку своей любовнице, — я украл у нее эту собачку, с намерением переслать оную г-же Н... — *Aussitôt dit — aussitôt fait* (Сказано — сделано), и собака у меня спрятана в отеле. Но француженка узнала, что она у меня и прислала какого-то француза вытребовать ее. Явился француз; узнав, что он хочет говорить о со-

бачке, отнекиваюсь, но поганая собачка залаяла в своем запоре и меня выдала в похищении. Француз говорит: “Qu’il saura defendre les droits de Madame” (Что он сумеет защитить права этой госпожи), а я ему в ответ, как он смел ко мне войти без доклада *et que je lui ferai comter les marches de mon escalier* (И что я его спущу с лестницы), и закричал: “люди, в шею этого г...”. Его вытолкали, но он прямо к Балашову. Подано было все это в дневной записке Царю — и меня, бедного Макара, посадили под комнатный арест, и, может быть, и был бы большой взыск, но Марья Антоновна (Нарышкина, фаворитка Александра I. — Л. И.), узнав о сем, выхлопотала, чтобы после трехдневного ареста меня выпустили; но все эти оказии не были мне сручны в мнении о мне Государя»¹³.

Одним словом, князь С. Г. Волконский был типичным представителем полка, повседневный быт которого предстает в его воспоминаниях: «Хотя Кавалергардский полк, в котором я служил, славился составом корпуса офицеров, но в общем смысле моральной жизни не могу ничего сказать хорошего. Во всех моих товарищах, не исключая и эскадронных командиров, было много светской щекотливости, что французы называют — *point d'honneur*, но вряд ли кто бы выдержал разбор во многом собственной своей совести. Вовсе не было ни в ком религиозности, скажу даже, во многих безбожничество. Общая склонность к пьянству, разгульной жизни, к молодчеству... Хоть один из вышеозначенных отделов и назывался бонтонным, но, за весьма малыми исключениями, наша жизнь была более казарменной, нежели столично-светской. <...> Ежедневно манежные учения, частые эскадронные, изредка полковые; смотры, вахт-парады, маленький отдых бессемейной жизни; гулянье по набережной или бульвару от 3-х до 4-х часов; общей ватагой обед в трактире, всегда орошенный через край вином, не выходя однако ж из приличия, <...> опять ватагой в театр, а на вечер к Левенвольду, или к Феденьке Уварову <...>, а тут спор о былом, спор о предстоящем; но спор без брани, а просто беседа. Едко разбирались вопросы, факты минувшие, предстоящие, жизнь наша

дневная с впечатлениями каждого, общий приговор о лучшей красавице; а при этой дружеской беседе поливался пунш немало, загрузнели головою — и по домам. Другой отдел мовежанрский вполне заслуживал это название; тут часто и не соблюдались приличия: картеж, пьянство и без... занятия при досужных от службы минутах. Но и тут в деле общем полковом, при оставлении обиженного офицера, при деле, относящемся до чести мундира полка — оба отдела заедино действовали дружно»¹⁴.

В то же время ближайшие соратники кавалергардов — конногвардейцы придумали себе не менее захватывающее развлечение в духе времени. Ф. Я. Миркович вспоминал: «Здесь я должен еще упомянуть об одном замечательном обстоятельстве, — об учреждении масонской ложи в полку. <...> В масонском уставе было, между прочим, одним из главных правил — ревностно, во всех случаях, помогать один другому, без различия народности и вероисповедания, так как все масоны считались между собою братьями. Это послужило поводом, во время революционных войн, ко введению во Франции, во всех войсках, масонских лож, для взаимной помощи. Ежели кто-либо был ранен или попал в плен или был ограблен, то стоило ему только, посредством условных знаков, встретить брата масона между врагами, тот должен был ему оказывать непременною помощь и пособие. В этих видах Император Александр негласным образом разрешал и даже поощрял учреждение масонских лож во всех гвардейских полках. Сперва надо было быть принятым в главной ложе “Соединенных друзей” и из оной поступит в частную полковую ложу, в которую назначался старшиной один из масонов главной ложи. Константин Павлович считался в списках этой последней.

В конно-гвардейскую ложу, получившую название “Северные друзья”, назначен был старшиною ротмистр Сарачинский. Она была немногочисленна, кажется, не более десяти офицеров в нее записались, в числе которых был и я. Прием в ложу был театрально-комический; он состоял в испытании твердости воли неофита. Ему завязывали глаза и выводили в темную комнату, где

царствовала глубокая тишина, водили его по всем направлениям в комнате с полчаса, взводили и спускали по нарочно устроенной лестнице раза три. Потом обнажали ему правое плечо и левую ногу и с завязанными глазами вводили в другую комнату. Ярко освещенную. Тогда спадала у него с глаз повязка и взорам его представлялись все братья масоны, стоявшие вокруг стены, опоясанные масонскими фартуками, в особых головных уборах и с обнаженным оружием, острием направленным в новопосвященного. Для большего ужаса пускались ему под ноги фальшфейеры, зажигались бенгальские огни и раздавался шум, подобный громовым ударам. В таком положении неофит должен был произносить установленную присягу в сохранении глубокой тайны обо всем, что будет происходить в собрании ложи.

После присяги надевали на него масонский фартук. Провозглашенный масоном новый член общества должен был обходить всех присутствующих для братского лобызания. Старшина наш Сорочинский собирал свою ложу не более, как по одному разу в месяц, и эти собрания не имели другой цели, как покутить. Устраивался богатый ужин по подписке, за которым все предметы имели особые названия, например: бокалы назывались пушками, вино — порохом и т. д. Когда старшина командовал: “Братья! выровняйте орудия и заряжайте пушки”, то все братья должны были наполнять бокалы и осушить их при бесконечных тостах»¹⁵.

Лейб-уланский полк, сформированный перед кампанией 1806—1807 годов, стремился не отставать от старших товарищей. Так, Ф. В. Булгарин по прошествии многих лет размышлял о «шалостях» юных дней: «Жаль мне, когда я подумаю, как доставалось от наших молодых повес бедным немецким бюргерам и ремесленникам, которые тогда любили веселиться со своими семействами в трактирах на Крестовском острове, в Екатерингофе и на Красном Кабачке. Молодые офицеры ездили туда, как на охоту. Начиналось тем, что заставляли дюжих маменек и тетушек вальсировать до упаду, потом спаивали муженьков, наконец затыгивали хором известную немецкую песню: “Freu’t euch des

Lebens", упираясь на слова *pflücke die Rose**, и наступало волокитство, заканчивавшееся обыкновенно баталией. <...> Через несколько дней приходили в полки жалобы, и виновные тотчас сознавались, по первому спросу <...>. Лгать было стыдно. На полковых гауптвахтах всегда было тесно от арестованных офицеров, особенно в Стрельне, Петергофе и в Мраморном дворце. <...> Жили не только весело, но и бестолково; любили, однако ж, и чтение, и театр, и умную беседу»¹⁶.

Впрочем, столичная и загородная жизнь имела и другие прелести, из описания которых явствует, что гвардейцы не всегда представляли опасность для окружающих. Так, С. Н. Марин сообщал в письме своему другу графу М. С. Воронцову: «На нас нашло новое сумасшествие: все, что дышит в батальоне, играет в большую в шахматы; все сделались мастерами <...>»¹⁷. Многие офицеры, подобно Н. Д. Дурново, коротали свободные часы за любимой игрой: «Вечер — у господина Свистунова, где сыграл партию в бильярд с маркизом Мезонфором»¹⁸. Весенние и летние развлечения нашли отражение в другом письме: «На даче теперь новая страсть: никто больше ни о чем не думает, как о каскадах; в три дня сделано их шесть. Где только течет вода, везде ты увидишь камни...»¹⁹ И, наконец, осенью наступала охотничья пора: «Бiju (А. А. Суворов, сын великого полководца. — Л. И.) довершает глупости. Жена переезжает в город; а он уехал с собаками, и она должна на новосельи быть три дня одна. Вот, любезный Воронцов, муж, которого не худо было прогнать шпицрутенами. Как можно променять жену на похабную псовую охоту!»²⁰ Тем не менее сослуживцев забавляли рассказы Суворова-младшего: «...Приехав, рассказывает, а мы трем руки. Например, он уверял нас, что с ним ездит какой-то молодец, который скликает волков и что он в одну ночь заставил его выть; вдруг чувствует он, что подле лошади его что-то шевелится, он посмотрел и увидел волков до тридцати, которые все, стоя смирно, на него смотрели. Князь Петр Долгоруков, слушавший сие, спросил у Суворова: поклонились ли они его сиятельству?»

* «Радуйтесь жизни» (нем.) ... «сорви розу» (нем.).

«Дети Марса» не забывали воздавать должное русскому застолью с изысканной кулинарией: «Офицеры собирались, по-прежнему, на почтовой станции, потому что другого трактира не было в Стрельне, а знакомые с графом Станиславом Феликсовичем Потоцким проводили у него время и лакомились его лукулловскими обедами, каких никто не давал в Петербурге. Граф был холост, проживал в год до полумиллиона рублей ассигнациями, и был первый гастроном своего времени, остроумен, весельчак и чрезвычайно любезен в обращении»²¹. В Стрельне, в резиденции великого князя Константина Павловича, в те годы вообще «было тесно от множества офицеров». Ф. В. Булгарин вспоминал: «Его Высочество был инспектором всей кавалерии, и из всех кавалерийских полков призваны были по одному штаб-офицеру и по два обер-офицера, для знания порядка кавалерийской службы, как сказано было в официальной бумаге. Разумеется, что из полков высланы были лучшие офицеры — и потому в Стрельне было самое приятное и самое веселое офицерское общество, какое когда-либо бывало в армии». Для того чтобы посетить Петербург и побывать, например, в театре, офицеры должны были отпроситься у великого князя и получить от него билет за его подписью.

Любителей театра среди офицеров той эпохи отыскивалось немало. Редкий вечер, если кто из столичных офицеров не бывал в «гостях у Мельпомены». Ф. Я. Миркович признавался: «Выезжать в свет я не был охотник и лучшим моим развлечением был французский театр, к которому я пристрастился. <...> Труппа французских актеров была превосходная; она не уступала парижским, как утверждали знатоки. Репертуар состоял из лучших произведений Корнеля, Расина, Вольтера, Мольера и др. Представляли и водевили, но совершенно приличные»²². Совершенствоваться во «фрунтовом» искусстве в Петербург приезжали не только кавалерийские, но и пехотные офицеры, спешившие приобщиться к столичным развлечениям. «Театр, маскарад и концерты тоже нас увеселяли, равно как городские и загородные пиры приятелей петербургских улаждали», — вспоминал М. М. Петров²³.

В театре тогда занимало все: и действие на сцене, и «закулисные свиданья», и, конечно, происшествия в зрительном зале. «Третьего дни был Италианский театр (итальянская труппа Казасси с 1803 года поступила в ведение Театральной дирекции в Петербурге. — *Л. И.*), и Леон (Лев Александрович Нарышкин) отличился: сначала сидел в ложе Марьи Алексеевны, захотел спать и ушел в третий ярус, велел отворить 9-й номер, сел и уснул и не прежде проснулся, как стали разъезжаться. Он бросился к дверям, их заперли; наконец, увидел он в 16-м номере еще сидящих людей и принужден был перешагнуть через все ложи и войти к незнакомым, которых удивление ты вообразить можешь; он извинился, прыгнул в ложу и скрылся», — рассказывал Марин графу Воронцову о забавной выходке их общего друга²⁴.

Иногда в театре происходило и вовсе неслыханное, о чем потом говорил весь город: «Но что случилось вчера на Каменном театре (Каменный, или Большой театр в Петербурге между Мойкой и Екатерининским каналом. — *Л. И.*), то, конечно, можно почесть чудом. Давали *Les folies amoureuses et l'amour et la raison* («Безумие влюбленных» и «Любовь и рассудок»). Первая пьеса кончилась; долго играла музыка, поднимают занавес. Вальвиль и Ла-Тусень на сцене. Вдруг выбегает женщина из-за кулис с страшным криком; никто не может догадаться причины; многие думают, что пожар; наконец слова: *On enleve un enfant avec la toile* (Ребенка с занавесом поднимают) решили сомнения. Вообрази ты состояние *Valvil*: этот ребенок ее дочь! К счастью тут случился Борнье. Он остановил занавес в то время, когда еще он не совсем дошел кверху, однако ж на самой вышине театра. Страшная суматоха в ложах и в партере: дамы падают в обморок, мужчины бегают за водой и спиртами, *Valvil* и ее мать в жестоком обмороке, человек сто на сцене актеров; все кричат, но помочь невозможно. Наконец, взяли сукно, и четыре человека, держа его, подставили под то место, где бедный ребенок на 10 аршин висел, держась за веревку, и стали опускать занавес потихоньку, что сделать было очень трудно, потому что он опускается перевесом. И так Борнье и еще несколько человек опустили его на руках. Дивись, мой друг, твердости духа семилетнего

ребенка; он, сидя наверху, кричал: *Ne craignez, maman, je me tiens fort* (Не бойтесь, маменька, я держусь крепко). Но *maman* не могла сего слышать, быв без памяти. Надобно тебе сказать, как это сделалось. Девочка была на сцене; мать закричала ей, чтобы она шла прочь; она бросилась к занавесу, и веревка, которой он подымается, подхватила ее за ногу, а девочка схватила его ручонками, и таким образом ее подняли. Признаюсь тебе, что я не могу понять, как она не умерла от страха и если б это случилось со мною, то я не знаю, что бы я сделал»²⁵.

Среди военных особым успехом пользовались пьесы с героической патетикой, включавшие в себя одновременно различные виды театрального действия: 8 декабря 1805 года состоялась премьера «Фингала» — трагедии, «исполненной нежности и геройства, с прекрасной музыкой О. А. Козловского, с хорами, балетами, сражениями...». Ф. В. Булгарин до конца своих дней не мог забыть сценического воплощения знаменитой трагедии В. А. Озерова: «После первой неудачи под Аустерлицем появилась трагедия “Димитрий Донской”! Представления ее ждали все, как народного праздника! Я был в первое ее представление, 17 января 1807 года, и сознаю, что не в силах описать того восторга, того исступленного энтузиазма, которые обуяли зрителей! Это было не театральное представление, а римский форум, на котором мысли и чувства всех сословий народа слились в одно общее чувство, в одну мысль! — Обожаемый Государь, любезное Отечество, опасность предстоящей борьбы, будущие надежды и слава, тогдашнее положение наше <...> — все это сжимало сердце и извлекало из него сильные порывы. Каждый стих, каждую тираду, припоминающие настоящее положение России <...>, были ударом в сердце! В одном месте театра раздавались радостные восклицания, в другом — рыдания и вопли мести... Тогда еще умели жить сердцем! Тогда не стыдно было выказывать чувства, и жалкая холодность ко всему еще не была принадлежностью хорошего тона!»²⁶ Правда, в начале XIX века, искренне и безоглядно «выказав чувства» во время спектакля, можно было столкнуться с другой неприятностью: «Вельможа екатерининской эпохи (а таких в обществе все еще было

немало. — *Л. И.*) не только в службе, но и в частной жизни ощущал себя начальником надо всеми, кто был ниже его чином. И что еще важнее — мало кто не чувствовал себя подчиненным, даже гуляя в саду и сидя в театре. В те времена, к примеру, пожилой и почтенный генерал Олсуфьев посреди оперного спектакля мог в бешенстве вскочить с места и заорать в партер: “Молчите, ослы!” — когда после арии итальянской примадонны восхищенные молодые люди вздумали кричать “фора!”. Генерал и в театре ощущал себя государственным человеком и возмутился, что в его присутствии актерами и публикой смеет командовать неведомо кто»²⁷.

Среди гвардейских офицеров было немало театральных завсегдатаев, предъявлявших весьма строгие требования к репертуару, предлагаемому на суд зрителей. Так, юный семеновец А. В. Чичерин рассуждал: «В Петербурге, куда со всего мира стремятся люди, чтобы составить себе состояние, — ведь Россия — это золотые прииски Европы, — особенно часто приходится смотреть пьесы-однодневки, которым аплодируют из-за нескольких плоских шуток или едва сносных сценок, но которые не могут удержаться на подмостках. “Мистификация”, “Новый Дон-Кихот” пользовались успехом в течение нескольких дней и быстро были забыты (оперетты из репертуара французского театра в Петербурге. — *Л. И.*). Ничуть не лучше была пьеса “Завтрак холостяков”, но она дольше других продержалась на сцене, потому что молодежь аплодировала всем картинам. Там изображаются два молодых человека, впавших в долги, у которых остался в кармане единственный экю»²⁸. В то же время молодой свитский офицер Н. Д. Дурново со своими сослуживцами с удовольствием чуть ли не каждый вечер посещал «пьесы-однодневки», названия которых прилежно заносил в дневник: «Вечером мы пошли с Лукашем и Щербининым в Малый театр, где давали “Терпсихору” и “Атиллу”. Обе пьесы были очень милы... Я отправился на французский спектакль; давали “Ричард Львиное Сердце”... Вечер на спектакле. Давали “Любовь и случай” и “Мельницу Сансуси”. Обе пьесы очаровательны... Отправился на спектакль. Давали “Оракул из Ирато, или Похищение” и “Свида-

ния горожан»». По словам Ф. В. Булгарина, весь Петербург тогда был зачарован балетом «Зефир и Флора», а в разговорах то и дело упоминались имена балетмейстера Дидло, танцовщика Дюпора, танцовщиц Е. И. Колосовой и Даниловой...

Весной 1808 года в Санкт-Петербург по просьбе французского посланника для укрепления дружественных связей прибыла из Парижа знаменитая комедийная актриса мадемуазель Жорж. «Жоржина», о которой французские авторы писали, что она никогда не изменяла своему императору, по свидетельству российских поклонников ее таланта, явилась в Петербург следом за флигель-адъютантом А. Х. Бенкендорфом, надеясь опутать его узами Гименея. По-видимому, она была столь настойчива в своих намерениях, что государь, будучи в курсе любовных проказ своих приближенных, поторопился отправить «милого Сашу» в армию на Дунайский театр военных действий. Впрочем, осведомленные люди утверждали, что претензии «мадемуазель Жорж» не ограничивались легкомысленным адъютантом императора. «Наконец-то прославленная девица Жорж явилась на столичной сцене. Из-за репутации ее и некоторых других обстоятельств я дважды ездил в комедию; для меня это великое баловство. Должен признаться, безумно хотелось мне видеть сию королеву подмостков, но прежнее мнение мое о ней сильно понизилось. Фанатики били в ладоши до помертвения, я же нашел ее игру изрядною, но часто даже и дурною и никогда возвышенною. Весь тон декламации ее какой-то фальшивый и напыщенный, как вообще все, что исходит из Парижа, начиная от законов и кончая комедиями. Впрочем, о лице ее не может быть двух мнений, оно великолепно. Но мы еще не знаем, на что она хочет употребить его», — сообщал из Петербурга Ж. де Местр²⁹. Однако, государь остался холоден к чарам чужеземной знаменитости.

Обратимся вновь к дневнику Н. Д. Дурново: «После обеда, отдав должное сну, я отправился к десяти часам к Лавалю, куда получил приглашение на карты. Там весь высший свет города. К одиннадцати часам общество было приглашено в зал для спектаклей, где сначала да-

вали “Любовный обман”. Господа Демидов, Свистунов, М. М. Пушкин, маркиз Мезонфор-отец, Луи Полиньяк и Дюран очень хорошо исполняли свои роли, за исключением Пушкина, у которого были трудности с произношением. Вторая пьеса прошла много лучше. Давали “Замысел развода”. Играли те же, за исключением Дюрана. После этого состоялся бал. Через три часа сели за стол. Прибыл и Великий князь Константин»³⁰. Из этих строк видно, что многие офицеры охотно посещали домашние театры в особняках столичной знати и даже сами с успехом выступали на «благородной» сцене, что неудивительно: «В самых серьезных дворянских учебных заведениях столицы — Сухопутном шляхетском корпусе и Смольном институте благородных девиц — актерское искусство было на протяжении четверти века одним из главных предметов учебного курса. Сценические упражнения приучали свободно и грациозно двигаться, не робеть и не теряться на людях, а также оставляли в памяти множество прозаических и стихотворных цитат, которыми можно было украсить светскую беседу»³¹. Последнему обстоятельству в обществе, где военные в те годы были главным украшением, придавалось едва ли не главное значение. Так, выпускник 1-го кадетского корпуса П. Х. Граббе со знанием дела рассуждал: «Сколько скромность украшает всякого, особливо юношу, столько застенчивость делает его жалким. Это паралич на все умственные и душевные силы, во время продолжения припадка. Застенчивость природная может еще быть чрезвычайно усилена сознанием неловкости, когда при воспитании пренебрежены гимнастические упражнения, танцевание, умение кланяться и пр.»³².

Русская публика, в том числе офицеры, враждебно относившиеся к заключению мира с Наполеоном, с удовольствием посещали представления французского театра вплоть до начала военных действий, когда репертуар пришлось срочно менять. «Вечером на русском спектакле. Давали трагедию “Дмитрий Донской”. Когда актеры хотели объявить анонс на завтра французской пьесы, в партере раздался адский шум, который не позволил продолжить выступление. Это длилось более пя-

ти минут, и актеры так и удалились, ничего не сказав», — свидетельствовал Н. Д. Дурново, находившийся в августе 1812 года в Петербурге³³. Театральное действо с патриотическим сюжетом устраивалось и в самом Зимнем дворце. «Вчера, сверх ожидания, был прием у императрицы Елизаветы. У нее давали русский спектакль — водевиль по поэме Шаховского, сюжет которого очень подходит к нынешним обстоятельствам. Он относится к временам Петра Великого, но можно увидеть намеки на нашего императора. Говорится о Полтавской битве, о славе наших войск; на сцене появляются гвардейцы в старой форме, и это доставляет удовольствие. Все просто, но вместе с тем и благородно. Много в пьесе о некоем Кочубее, бывшем в то время полковником в одном из казачьих полков. Он действовал очень доблестно, но в конце концов попал в руки Мазепы, который велел его казнить за отказ перейти на его сторону. Всего этого в пьесе нет, но мне потом рассказали», — сообщила М. Д. Нессельроде в письме своему супругу в мае 1812 года³⁴.

Французские спектакли в «частных домах» возобновились лишь после изгнания неприятеля из России, чему содействовал лично М. И. Кутузов. Желая сделать подарок своей жене и зная, как это «устроить», фельдмаршал зимой 1813 года во время похода по Германии просил у императора разрешения возобновить постановку французских пьес в Санкт-Петербурге. Государь ни в чем не мог отказать спасителю Отечества. 19 февраля первый такой спектакль состоялся в доме А. Л. Нарышкина. Прибывшая туда светлейшая княгиня Е. И. Голенищева-Кутузова-Смоленская радостно заявила: «Я, правда, не меньшая патриотка как всякий, но чтоб французский театр мешал любить свое Отечество, я этого не понимаю; слава Богу, по крайней мере, мы не будем сидеть с мужиками»³⁵.

Вскоре после заключения мира в Тильзите в петербургском обществе появилось новое лицо, сразу же привлечшее к себе общее внимание. То был французский генерал Савари: по указанию императора Наполеона он должен был вблизи составить представление о союзнике, с которым Франция связывала столько на-

дежд. Савари, от природы наделенному «полицейским умом», приказано было «проникнуть в тайну интриг, исследовать средства для создания французской партии, оценить дух армии»³⁶. Не было, по-видимому, ничего более комично-трогательного, чем усилия французского военного, пытавшегося разобраться там, где подчас терялся искушенный российский царедворец. Прежде всего генералу конечно же захотелось посетить императорский двор, то есть нечто такое, что создал его собственный повелитель в подражание дворам старых европейских монархий. Тут выяснилось, что у нового друга Франции императора Александра I «не было Двора в строгом смысле этого слова. <...> У него почти не бывало парадных обедов и церемоний»³⁷. Согласно Донесению в Париж от 6 августа 1807 года, ошеломленный Савари спросил: «Где же найти в Петербурге торжественную царскую обстановку с ее обаянием и влиянием?» И получил в ответ: «За этим надо идти к вдовствующей Императрице Марии Федоровне». Оказалось, что только при ее дворе можно было «видеть службу придворных дам, камергеров, шталмейстеров, пажей, блеск больших приемов и церемониал официальных представлений». Императрицу являлись благодарить вновь произведенные в чин или пожалованные орденом офицеры. Далее генерал Савари, захлебываясь информацией, продолжал делиться переполнявшими его впечатлениями: «Царствующей Императрице ни о чем не докладывается, и, когда иностранец выражает удивление по этому поводу, ему отвечают, что это не принято. Во время публичных церемоний Императрица-мать чаще всего идет под руку с Императором: царствующая же Императрица идет позади нее и одна. <...> Случалось часто, я сам это видел, что во время военных парадов войска были уже выстроены, Император верхом впереди них, а парад не начинался, потому что Императрица-мать еще не прибыла»³⁸.

Наконец, генералу, замешанному в казнь герцога Энгийенского, была оказана «неслыханная честь», о которой потом долго говорили в петербургских гостиных: «Я был представлен Императрице-матери в Таврическом дворце; прием был холоден и не продолжался и

одной минуты». В числе явных своих недоброжелателей Савари назвал имя прославленного военачальника: «Князь Багратион, военный губернатор всех тех местностей, где пребывает вдовствующая Императрица, человек мрачный и честолюбивый, недолголюбивающий французов. Говорят, что он не хотел мира. Я не знаю, каким образом он достиг того, что стоит во главе армий; но он в большом почете у всех военных и его везде хвалят»³⁹. Со слов Савари, мы можем себе представить великолепную, полную роскоши и веселья, жизнь Северной столицы, к которой ему так и не удалось приблизиться на желаемое расстояние ввиду полного отсутствия «светской ловкости» в обращении. По мнению современника, «Наполеон поступил бы благоразумнее, если бы послал в Петербург человека не военного, из старинной французской аристократии — а у Наполеона было много способных людей из этого разряда»⁴⁰.

Но в те времена «храбрые любили храбрых». Ф. В. Булгарин отмечал в воспоминаниях: «Но если к генералу Савари были холодны, то офицеров его свиты принимали везде хорошо. В обхождении с послом была политическая цель, а с простыми офицерами обходились по личным их достоинствам. Да и может какое бы ни было чувство или расчет воспрепятствовать торжеству в европейском обществе благовоспитанного француза, с известным положением в свете! — В свиту генерала Савари выбраны были отличнейшие офицеры из гвардии и генерального штаба, люди хороших, старинных фамилий, с блистательным воспитанием, лучшего тона, и притом молодцы и красавцы. Дамы взяли их под свое покровительство, и как высшее общество и офицеры гвардии не питали вовсе ненависти к французскому народу, а сердились только на правителя Франции — то французские офицеры встречали повсюду ласковый прием и простодушное русское гостеприимство, и даже подружились с некоторыми офицерами русской гвардии». А вот самому генералу Савари при встрече с русскими гвардейцами порой приходилось тяжело: «Все служившие в гвардии и в полках, стоявших в Петербурге при императоре Павле Петровиче и в начале царствования императора Александра, пом-

нят Вакселя, офицера конногвардейской артиллерии, весельчака и большого проказника. В то время носился слух, будто Ваксель нанял карету, четверней, у знаменитого тогда извозчика Шарова, нарочно с тем, чтобы столкнуться с каретой генерала Савари. Рассказывали, что Ваксель выждал, когда Савари возвращался из дворца, и, путив лошадей во всю рысь, сцепился с каретой французского посла, на Полицейском мосту»⁴¹. Спустя полгода с видимым облегчением преданный соратник Наполеона отбыл во Францию, увозя с собою незабываемые воспоминания — «Заметки о русском Дворе и Санкт-Петербурге».

На смену скованному в манерах Савари прибыл полномочный посланник А. де Коленкур, герцог Виченцкий. Это событие нашло живой отклик в переписке и воспоминаниях военных столичного гарнизона, которые сразу же признали его надменным и дерзким. «Спесивая осанка этого временщика переступала меру терпимости!» — негодовал Денис Давыдов. И было отчего! «На первом же приеме дипломатического корпуса он (Коленкур) смело пошел впереди австрийского посланника, которому в течение целого века принадлежало старшинство; его смелость была одобрена свыше: “Эти французы, — улыбаясь, сказал Александр, — всегда проворнее австрийцев”. Вечером, в тот же день, уже сами пошли навстречу желаниям нашего посла: ему во всем представлялось первенство. Он явился на этот бал в полном блеске своего звания, окруженный настоящим двором из гражданских и военных чинов. Первые его выезды в свет произвели сенсацию. Его изящная осанка, гордое, но вместе с тем утонченно-вежливое обращение были оценены по достоинству, — ему были благодарны за его старание подражать тону и манерам старого французского общества. Не отказываясь от некоторой сдержанности, большинство знати не объявило ему заранее войны и не уклонилось от знакомства с ним, как это было с Савари. Даже женская оппозиция перестала быть непримиримой. И посланнику казалось, что умиловить ее будет делом внимания и предупредительности: “Я танцевал с самыми непримиримыми, — писал он, — а остальное сделает вре-

мя”, — с удовольствием отмечал французский историк А. Вандаль, тщательно изучивший переписку и мемуары французского посланника, наделавшего столько шума в петербургских гостиных»⁴².

Вскоре по прибытии в Петербург генерал Коленкур предпринял решительную попытку расположить к себе русских военных, находившихся в самой жесткой оппозиции к посланнику Наполеона. 31 декабря 1807 года, в самый канун новогодних увеселений, французский дипломат обратился с конфиденциальным письмом к министру иностранных дел Франции: «Ваше превосходительство прибавили бы ко всем знакам любезности, которыми вы осыпали меня, если бы получили от Императора дозволение прислать мне дюжину ящичков версальских пистолетов ценою от 30 до 100 луидоров за пару. Эта вещь высоко ценится здесь. Русские любят подарки и, давая их кстати, сухопутным ли, или морским генералам, гвардейским ли офицерам, привлекают к себе этих людей; если бы было несколько пар более красивых для генерал-адъютантов Императора, князя Багратиона и других, то я уверен, что эти знаки внимания не были бы пропащими»⁴³. Ежедневно генерал Коленкур собирал и старательно заносил в свой дневник всевозможные слухи, касающиеся русской армии. Добытые им сведения порой оказывались недостоверными. Так, в марте 1808 года, когда российские войска успешно сражались против шведов, французский посланник записал в дневнике: «Здесь распространяют тысячи слухов о шведских делах, которые вообще идут очень хорошо. В Петербурге убит генерал-аншеф князь Багратион и лучшие из офицеров и т. д.». В апреле 1809 года Коленкур опять узнал новость, имевшую отношение к «идолу русской армии» князю Багратиону, находившемуся под пристальным вниманием иностранных резидентов: «Граф Остерман и князь Борис Голицын (сын княгини Вольдемар) просили об отставке с досады на производство в главнокомандующие Баркляя и Багратиона, которые по службе моложе их. “Вычеркнуть из списков” — собственноручно написал Государь на их прошении. С тех пор тот и другой верховодят в антифранцузской партии»⁴⁴.

Русские военные подчас чересчур открыто выказывали свои чувства человеку, державшему себя в свете на правах друга и доверенного лица императора Александра I. Князь С. Г. Волконский вспоминал: «<...> Мы оказывали ненависть французскому посланнику Коленкуру, который всячески старался сгладить это наше враждебное чувство светскими учтивостями. Многие из нас прекратили посещения в те дома, куда он был вхож. На зов его на бал мы не ездили, хотя нас сажали под арест и, между прочими нашими выходками негодования, было следующее.

Мы знали, что в угловой гостиной занимаемого им дома был поставлен портрет Наполеона, а под ним как бы тронное кресло, а другой мебели не было, что мы почли обидой народности. Что же мы сделали? Зимней порой, в темную ночь, несколько из нас, сев в пошевни, поехали по Дворцовой набережной, взяв с собой удобно-метательные камни, и, поравнявшись с этой комнатой, пустили в окна эти метательные вещества. Зеркальные стекла были повреждены, а мы, как говорится французами, “*fouette cocher*” (а нас и след простыл). На другой день жалоба, розыски, но доньше вряд ли кто знает, и то по моему рассказу — кто был в санках, и я в том числе»⁴⁵.

Любезность Коленкура подкупила не сразу и далеко не всех, поэтому Александр I вынужден был обратиться с личной просьбой к представителям аристократического Петербурга: принимать с почетом в своих домах французского посланника и, главное, непременно «отдавать визиты», посещая его резиденцию. Просьба императора воспринималась подданными как распоряжение. Настаивая на предупредительном внимании по отношению к иностранному гостю, государь был далек от мыслей, во что могут вылиться его благие пожелания. 1809 год ознаменовался военными неудачами наполеоновских войск в Испании и «потерянным сражением» при Асперне в очередной войне с Австрией. Во французском посольстве не было отбоя от «визитеров», среди которых были офицеры, в том числе известные русские военачальники, прежде явно избегавшие общества Коленкура; теперь же они спешили выразить «сочувс-

твие» представителю «дружественной» державы. Иногда протесты против «обоюдной иудейской дружбы» были облечены в более тонкие формы. Так, В. И. Левенштерн вспоминал: «Однажды у французского посланника был маскарад. Все приглашались в масках, домино и т. п. Дипломатический корпус и все иностранцы подчинились этому распоряжению, но русские воспользовались этим случаем, чтобы доказать французскому посланнику, что они не имели ни малейшего желания быть ему приятны. Они все явились в бальных костюмах. Увидав городские туалеты дам, герцог Виченцкий с трудом мог скрыть свою досаду; но, не имея возможности выказать своего неудовольствия всему обществу, он постарался не показывать своего озлобления, и вечер прошел благополучно. Все члены Рейнского союза и прочие союзники Наполеона явились в роскошных костюмах; роскошь их наряда бросалась особенно в глаза по сравнению с простотою туалета прочих приглашенных. Только госпожа Влодек, жена камергера, желая сделать приятное амфитриону, явилась в прекрасном костюме, заказанном в Париже ее поклонником. Госпожа Влодек, внучка княгини Вяземской, была хороша собою, честолюбивая и большая кокетка: она разошлась с мужем. Ее дочь обещает быть настоящей красавицей. Хотя нравы в столице очень распущены, тем не менее все общество негодовало на госпожу Влодек за ее костюм...»⁴⁶

По прошествии многих лет следует признать, что русские офицеры были совершенно несправедливы к генералу Коленкуру, который добросовестно, а главное — искренне, пытался наладить добрые отношения с «северным партнером». В его лице Россия приобрела пламенного сторонника мира между обеими державами, безуспешно пытавшегося убедить своего повелителя в неминуемой неудаче «русского похода». В мае 1811 года Жозеф де Местр сообщал в письме королю Сардинии: «...уехал Коленкур. Говорят, что он плакал у княгини Вяземской и прекрасной Марии Антонии, по крайней мере, сия последняя так утверждает. Милый плакальщик! Полагаю, что и в самом деле не рад он своему отъезду, хотя надвигавшаяся война должна бы-

ла сделать сие пребывание тягостным для него, ежели, как я полагаю, он не есть чудовище. И теперь, когда все-таки установились добрые с ним отношения, уезжать ему еще более тягостно. Но кто знает, что в его сердце, что он думает о своем повелителе и чего боится? Както, получив некую депешу, он сказал одной даме: «Бывают минуты, когда честному человеку не хочется жить». За достоверность сего я вполне могу ручаться Вашему Величеству. Он тратил здесь 1 200 000 франков и занимал везде первое место, его постоянно ласкал двор и т. д. Это, конечно, лучше, чем держать лошадь Наполеона или погибнуть от каталонской пули»⁴⁷. По возвращении в Париж А. де Коленкур имел трудный разговор с Наполеоном: «...Я сказал ему, что не стану помогать обманывать кого бы то ни было, а тем паче Императора Александра, путем дипломатического шага, равносильного плутовству <...>; все то, что сейчас готовится, будет несчастьем для Франции, предметом сожаления и причиной затруднений для Императора, и я не хочу впоследствии упрекать себя в том, что я этому содействовал»⁴⁸.

Невозможно представить себе повседневную жизнь офицеров эпохи 1812 года без балов. Для наших героев балы были не только «местом для свиданья, иль для вручения письма», но для утверждения в общественном мнении. Можно сказать, что для офицера гвардии умение танцевать входило в число необходимых навыков. Так, блистательная придворная и военная карьера генерал-адъютанта А. И. Чернышева началась с того, что в 1801 году, во время коронационных торжеств в Москве, на одном из балов он с непринужденной грацией танцевал возле Александра I экосез, чем и привлек благосклонное внимание государя, пожаловавшего ловкого танцора в камер-пажи. Наконец, только уверенный в своих силах танцор мог отправиться «на ловлю счастья» способом, описанным в записках С. Г. Волконского: «Во время моего служебного флигель-адъютантства я увидел, как мелкими услугами царям можно сыскать их расположение. Александр Павлович на балах-маскарадах никогда не начинал, то есть не танцевал в первой паре польскую. Были из числа военной свиты <...>

которые принимали, скажу даже, с боя брали этот пост и сторожили, с кем танцует Государь: если с Марьей Антоновной Нарышкиной, то польской нет конца, при маскарадах обойдут целый круг два раза; если с молоденькой и красивой дамой, то польская делалась продолжительна; но если Государь ведет какую-нибудь старуху, взятую им из приличия, то, если можно, польская продолжается полкруга залы и никогда более целого круга»⁴⁹. «Польской» («польским») или полонезом обычно открывали бал, потом следовали вальс и мазурка, а потом уже — кадрили или котильон. В эпоху Наполеоновских войн на балах исполнялась «багратионова кадрили» — своеобразная дань уважения и восхищения подвигами героя; дамы являлись на балы в головных уборах «a la Vagrations», по форме напоминавших каску, и в зелено-оранжевых платьях — цветов мундира князя Багратиона, шефа лейб-гвардии Егерского полка.

Автор книги «История русских балов» справедливо отмечает: «Да и всю Александровскую эпоху можно назвать “танцующей, паркетной”. Танцы на балах вдруг стали не только развлечением, но и повинностью. Промаях в танце мог помешать в карьере. Теперь и не понять, какой тяжелый удар был нанесен князю А. П. Гагарину объявлением в газете: “Не угодно ли князю Г-ну, потеревшему каданс на таком-то балу, за получением онаго явиться к танцмейстеру Йогелю?” А “потерять каданс” — это всего-навсего сбиться с такта»⁵⁰. Действительно, танцы были воистину государственным делом, коль скоро сам государь мог через своего флигель-адъютанта сделать выговор за неприличное поведение незадачливому офицеру, слишком высоко подпрыгивающему в мазурке. Впрочем, государь был не менее взыскателен в отношении своей августейшей супруги, которая однажды, на его взгляд, слишком медленно кружилась в вальсе неподалеку от своего царственного супруга, мешая ему промчаться стремительным «глиссадом» со своей партнершей. «Нельзя ли побыстрее?» — раздраженно и довольно громко спросил государь у императрицы Елизаветы Алексеевны, которая громко ответила: «Нельзя ли повежливее?»

Признанным мастером вальса, который танцевали

в те времена даже не на три, а на два такта, что придавало захваченным вихрем движения парам дополнительную скорость, был флигель-адъютант императора А. И. Чернышев. Его талант нашел применение и получил признание в самом Париже, где он вальсировал с Полиной Боргезе, любимой сестрой Наполеона. Супруга же генерала Ж. А. Жюно, герцогиня Лаура Д'Абрантес (впоследствии — жена писателя О. де Бальзака), с удовольствием вспоминала, как в молодые годы она «затанцовывалась» с этим блистательным русским военным до головокружения.

В мазурке же на балах, безусловно, первенствовал генерал Милорадович, «великолепный во всех своих деяниях». Денис Давыдов поведал о том, во что подчас обходилось прославленному военачальнику его неподражаемое мастерство: «Впоследствии, будучи С.-Петербургским генерал-губернатором, Милорадович, выдвывая прыжки перед богатым зеркалом своего дома, приблизился к нему так, что разбил его ударом головы своей; это вынудило его носить довольно долго повязку на голове». Усилия «Роланда и Боярда русской армии» были не напрасны: тот, кто видел мазурку в исполнении Милорадовича — забывал во время этого зрелища обо всем. В доказательство приведем воспоминания В. И. Штейнгеля об одном из балов в Москве, где он присутствовал в качестве адъютанта московского генерал-губернатора графа А. П. Тормасова: «...Графиня Орлова дала бал. Она была убеждена, что Государь будет у нее ужинать, и некоторым уже объявила о том за тайну. Великолепно накрытый стол под померанцевыми деревьями свидетельствовал, что она верила этому особенному своему счастью, особенному потому, что Государь никогда нигде не ужинал. И в этот раз он не намерен был остаться; поэтому предварил Тормасова, чтобы во время мазурки экипаж его был у подъезда. Тормасов сообщил тайну одному мне и велел внимательно следить за движениями Его Величества. Государь настоятельно убедил Милорадовича протанцевать мазурку vis-a-vis с Великим князем Николаем Павловичем. Круг составил в шесть пар. Великий князь начинал и как кончил очень скромно свой тур, Милорадович выступил со все-

ми ухватками молодого поляка. Круг зрителей стеснился, особенно дамы и девицы тянулись на цыпочках видеть па, выделяемые графом Милорадовичем. В это время Государь обвел взором своим весь круг и заметя, что на него никто не смотрит, сделал шаг назад, быстро свел двух флигель-адъютантов, стоявших за ним, перед себя и, повернувшись, большими скорыми шагами незаметно вышел из зала. Я тотчас тронул Торماسова, который тоже глядел на предмет всеобщего внимания, и мы вдвоем едва успели, следя за Государем, проводить его к коляске. Милорадович отплясал, и тогда только заметили, что Государя уже нет»⁵¹.

Чего только не случалось на балах! И с кем! Посланник Сардинского короля Жозеф де Местр однажды оказался свидетелем забавного происшествия на балу у несравненной Марии Антоновны Нарышкиной: «Великий князь Константин Павлович танцевал с длинными шпорами, как подобает тактику. И вот, во время энергической атаки, случилось, что, взяв Марию Антоновну под бока, он до того запутал свои шпоры в ее шлейф, что, несмотря на самый отчаянный отпор, воюющие стороны пали вместе самым живописным образом на поле битвы». Рассказчик отметил, что «сия эволюция заслужила одобрение самых опытных военных». Отметим, что, отправляясь на бал, офицер по регламенту должен был надевать башмаки, а не сапоги со шпорами, однако в провинциях, вдали от «модного света» эти запреты сплошь нарушались. В столице же подобное «гусарство» мог себе позволить разве что великий князь Константин Павлович и отнюдь не в присутствии государя императора. Александр I был не менее придирчив и требователен к бальному наряду своих офицеров, нежели его отец Павел I, проявивший однажды снисходительность по отношению к генералу М. П. Ласси: «Государь танцевал польский со многими дамами. Увидя военного губернатора Лассия в башмаках и с тростью, подошел к нему, он сказал: “Как Лассий в башмаках и с тростью?” — “А как же?” — “Ты бы спросил у петербургских”. — “Я их не знаю”. — “Видно, ты не любишь петербургских; так я тебе скажу: когда ты в сапогах, знак, что готов к должности, и тогда надобно иметь трость;

а когда в башмаках — знак, что хочешь куртизировать дам, тогда трость не нужна»⁵². Генерал, будучи уже в преклонных годах, не замедлил спросить по-французски: «Как, Ваше Величество, вы хотите, чтобы в мои лета я мог знать все эти мелочи?» В ответ Павел I рассмеялся... При Александре I трость, оказавшаяся одинаково бесполезной как на балу, так и в сражении, была отменена, поэтому офицер, намеревавшийся «куртизировать» дам, ограничивался тем, что отстегивал шпагу.

Ежегодно при дворе 1 января устраивался бал-маскарад, в котором военные (и не только они!) принимали обязательное участие. «Данным утром я отправился к великому князю Константину со всеми офицерами Главного штаба, чтобы поздравить его высочество с Новым годом <...>. В 9 часов вечера я отправился на придворный маскарад. Толпа купцов была такой большой, что с трудом удалось сквозь нее пробиться; жара — столь удушающая, что я не думал, что выберусь оттуда», — сообщал Н. Д. Дурново⁵³. По-видимому, особенно неуютно чувствовали себя на таких балах те офицеры, у кого были проблемы со зрением: Александр I имел странное, с нашей точки зрения, предубеждение против очков, считая их чем-то неприличным, и запретил появляться в них при дворе.

Вообще в ту эпоху повод для бала находился всегда. Так, И. С. Жиркевич вспоминал: «В 1808 году Государь ездил в Эрфурт для свидания с Наполеоном. Пред возвращением его пришла мысль гвардии дать ему бал, для чего с каждого офицера было взято 50 рублей (то есть четверть годового жалованья армейского капитана. — *Л. И.*). Бал был в доме графа Кушелева, где теперь Главный штаб, против Зимнего дворца. Народу было множество, но, по обширности дома и по разделению предметов празднества, то есть танцы, театры, акробатические представления, ужин и т. п., все разбивалось в разные отделения и зябло, ибо на дворе стужа была необыкновенная, а покоев, сколь ни силились топить, согреть не могли. Во время танцев на канате у акробатов начали коченеть ноги, главный танцор упал и сломал себе ногу; в зале было так холодно, что местах в десяти горел спирт, а дамы все были закутаны в шали и меха»⁵⁴.

Этим дело не кончилось: «Из благодарности за этот бал, Государыня Императрица Мария Федоровна дала особый бал в Зимнем дворце, к которому были приглашены без изъятия все офицеры гвардейских полков (чего прежде не случалось, ибо приглашали известное число таковых) и по гвардейскому корпусу было отдано особое приказание от Великого князя Константина Павловича, чтобы, кроме дежурных, непременно быть всем на бале к 8-ми часам вечера; за небытие или опоздание будет взыскано, как за беспорядок по службе»⁵⁵. Таким образом, бал для военных — не только удовольствие, но и обязанность.

«Государю угодно было, чтоб столица веселилась <...>. Балы в знатных домах, у иностранных послов, в домах богатых купцов чужеземного происхождения и у банкиров бывали еще чаще, чем перед войной (1805—1807 годов. — *Л. И.*). Почти везде, особенно к купцам и банкирам, через полковых командиров приглашаемы были гвардейские офицеры, даже незнакомые в доме. На балы к купцам и банкирам привыкли уже ездить даже знатные сановники, потому что сам Император удостоивал их своим посещением»⁵⁶. Именно на балу в Вильно в ночь с 11 на 12 июня 1812 года император Александр I получил известие о вторжении неприятельских войск в Россию. Ровно через полгода в том же самом Вильно грандиозным балом увенчалась «претрудная, но славная кампания». 12 декабря «Кутузов дал Императору бал в доме графа Тизенгаузена. Его Величество появился в сопровождении своего первого генерал-адъютанта Уварова; войдя в залу, он весьма милостиво поклонился дамам, в этот момент князь Кутузов поверг к его стопам несколько знамен, взятых графом Витгенштейном у неприятеля и только что привезенных курьером. Император, видимо, был изумлен этим, но вскоре его глаза заблестали радостью, и он вошел в кабинет один с фельдмаршалом. Полчаса спустя Его Величество вышел в залу, подошел к дамам и открыл бал полонезом; танцы продолжались до утра»⁵⁷.

Безусловно, жизнь гвардейских офицеров существенно отличалась от быта «грешной армейщины». Так, Ф. В. Булгарин вспоминал о том, какие наставления он

получал от корпусных наставников в пору беззаботного кадетства: «Может случиться, что ты будешь стоять на квартирах, в каком-нибудь уединенном месте, где не будет никакого общества, никакого рассеяния. Нельзя же все читать и писать, и вместо того, чтоб для рассеяния играть в карты или молоть вздор, ты найдешь приятное времяпрепровождение в музыке, доставляя удовольствие и себе и другим. Это может отвлечь тебя от дурного общества, в котором приобретаются дурные привычки и склонности. Я знал несколько отличных молодых людей, подававших о себе прекрасные надежды, которые спились с круга, ища рассеяния в веселых обществах. Да избавит тебя Бог от этого. Учись музыке и рисованию: эти два искусства доставят тебе много радостей в жизни»⁵⁸. Занятия армейских офицеров, чьи полки были расквартированы в «уединенных местах», перечислены в рассказе М. М. Петрова: «А как в лагерях — офицеры после службы бывают обыкновенно вместе. Многие слушают чтение книг, им подмастных, а другие занимаются музыкою, играя и пилюкая; свайка тоже не забыта; затем есть кулига у такой братии, которые надувают друг друга в пеструхи спрости и всячески»⁵⁹. Термином «кулига» офицер обозначил банальное слово «пьянство», пристрастием к которой отличались даже некоторые командиры полков, что следует опять же из красноречивого повествования М. М. Петрова: «...Полковник Перский выключен был из службы за побег из его шефской роты полку двух рядовых с ружьями и патронными сумами, а на его место прибыл, не помню откуда-то, полковник Вестублев, человек старый, дослужившийся из артельщиков, ничком, в штаб-офицеры, и это бы ничего, но он любил куликать с деньщиками своими. Такие виды соблазна заставили меня отпроситься из адъютантов...»⁶⁰

Занимательные подробности офицерского быта в провинциальной глуши нашли отражение в записках Н. А. Дуровой: «кто курит табак, кто играет в карты, стреляет в цель» или же «объезжает лошадей, прыгают через ров, через барьер»⁶¹. Последнее занятие было изнурительным, но, в отличие от азартных игр, не представляло собой ничего предосудительного и обременитель-

ного для материального благополучия офицеров. «У местных зажиточных крестьян солдатам было очень хорошо стоять. Но меня мучила неодолимая скука, потому что, кроме изучения службы и езды верхом, у меня не было ни малейшего развлечения, за исключением постоянного общества кирасир и моего старшего унтер-офицера Ильенки, который учил меня службе <...>. Тогда привели как раз новый ремонт, и мне разрешили выбрать лошадь. Я выбрал молодую белую кобылку Норманку и сам ее объезжал», — вспоминал И. Р. Дрейлинг. — Кроме нее, я ежедневно объезжал несколько лошадей для генерала. Остальным офицерам, получившим лошадей, было предложено упражняться в манеже, также и Иогансону, так что мы целый день исправно гоняли по манежу, а к вечеру возвращались усталые, не чувствуя под собой ног»⁶². Юный прапорщик-кавалерист довольно скоро приспособился к однообразной повседневности и даже научился извлекать из нее выгоду: «Охота и склонность к военному званию вскоре выработали из меня отличного служаку и великолепно-го наездника; поэтому меня чаще других назначали на такую службу, для которой требовался человек надежный и знающий свое дело. Отряд, в котором я находился, принадлежал к эскадронному штабу, благодаря чему я пользовался приятной возможностью всегда находиться при ротмистре, любившем меня не только за мое усердие к службе, но вообще относившемся ко мне хорошо как к человеку. Я у него бывал постоянно целыми днями. Позже, когда к нему из России приехала его жена, она меня также очень полюбила. Таким образом, я проводил время очень приятно»⁶³.

Конечно, офицерский быт того времени невозможно представить себе без забав иного рода: «Тогда велась повсюду большая карточная игра, особенно в войске; играли обыкновенно в азартные игры...» Этот вид досуга был распространен повсеместно. Если в столичном гарнизоне военные «спускали» целые состояния в «фараон», «штосс», «вист», «квинтич», «гальбе-цвельве», то в армейских полках, расквартированных в отдаленных губерниях, чаще всего увлекались азартными играми, о которых в шутку говорили, что они «разжалованы в

провинцию»: «пеструхи», «дурачки», «хрюшки». Характерная «примета времени» отражена в воспоминаниях Н. Е. Митаревского: «Адъютант был очень богатый человек и любил играть в карты. Не только в частных домах, но и в трактирных, и в офицерских собраниях он играл по целым ночам. У него был собственный человек, почтенной наружности, который одевался, как какой-нибудь барин. Часто этот человек, вроде дядьки, у которого хранились и деньги, увещевал его и представлял несообразность такого пристрастия. “Счастье ваше, — говорил он своему барину, — что вы всегда проигрываете и что игра небольшая: все это не составляет для вас большого расчета; но подумайте, что если бы вы обыграли какого-нибудь бедняка-офицера?.. Где была бы ваша совесть?”»⁶⁴ Добавим, что среди любителей карточной игры довольно часто попадались так называемые «игроки наверняка», для которых в погоне за выигрышем не составляло ни малейшего труда «передернуть карту». Более того, по словам С. Г. Волконского, «шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы очень щекотливы». Признанным мастером своего дела по праву считался граф Федор Иванович Толстой-Американец, увековеченный в эпиграмме Пушкина как «картежный вор». Впрочем, Ф. В. Булгарин утверждал, что служивший в Преображенском полку «Американец» был «умен как демон», вследствие чего его способности выходили за пределы примитивного обмана: «Он играл преимущественно в те игры, в которых характер игрока дает преимущество над противником и побеждает самое счастье. Любимые игры его были: “квинтич”, “гальбе-цвельве” и “русская горка”, то есть игры, где надобно прикупать карты. Поиграв несколько времени с человеком, он разгадывал его характер и игру, по лицу узнавал, к каким мастям или картам он прикупает, а сам был тут для всех загадкою, владея физиономиею по произволу. Этими стратегемами он разил своих картежных совместников, выигрывал большие суммы, жил открыто и роскошно»⁶⁵.

Пристрастие к картам было присуще генералу А. А. Суворову, сыну великого полководца. Вот что поведал о своем начальнике, к которому был искренне при-

вязан П. Х. Граббе: «Страсть к игре и к охоте занимала почти всю его жизнь и вконец расстроила его состояние. <...> Возвращаясь с ним после некоторых дней пребывания в Кракове, несмотря на взаимную вражду нашу с поляками, и я, предаваясь совершенно откровенности с человеком искренне мною любимым, сказал между прочим, как невыгодно и даже вредно должно было быть для нас в глазах поляков поведение нескольких старших наших генералов, например, князя Юрия Владимировича Долгорукого и других, дни и ночи проводивших в карточной игре, пирах и разгулье. Тогда только вспомнил я, что попал, как пословица говорит, “не в бровь, а прямо в глаз”. Я взглянул на князя и заметил легкую краску на его прекрасном лице, без малейшего выражения неудовольствия. Обращение его со мною до конца осталось по-прежнему самое обязательное»⁶⁶.

В числе азартных игроков смолоду был сам М. И. Кутузов, о чем рассказал в записках С. Н. Глинка: «Но родственник мой во всю жизнь был против него предубежден, и вот отчего: Кутузов в картах был тонким тактиком, но Храповицкий почитал эту расчетливость хитростью. Счастье, которое довело Кутузова до 1812 года, было тогда с ним в размолвке и вело его тернистым путем нужды. Случалось, что он у сослуживца своего Филипповского, издавшего впоследствии “Пантеон российских государей”, занимал по пять и по десять рублей.

— За мною, брат, — говорил он, — не пропадет твое.

Так и сбылось. Во время нашествия дом Филипповского, бывши у Варварских ворот, сгорел; княгиня Смоленская, узнав о том, назначила ему в память усердия его к ее супругу по 300 рублей пенсии»⁶⁷.

Среди наших героев встречались те, кому несказанно везло в картах, как, например, В. И. Левенштерну: «Товарищи приняли меня и отнеслись ко мне как нельзя лучше: некоторые старые поручики завидовали мне, но я снискал в конце концов их расположение: в мою пользу говорили моя молодость и неиспорченность. В лагере велась крупная игра; я умел играть во все игры и использовал счастье, которое благоприятствовало мне. Отец дал мне деньги, необходимые на покуп-

ку лошадей; приложив к ним то, что я выиграл в карты, я мог купить три прекрасных лошади»⁶⁸. Были и такие, кому карты и картежники причинили немало хлопот и огорчений. Вот рассказ И. С. Жиркевича: «В Петербурге квартиру я имел над квартирой генерала, а под ним жил поручик Наум Иванович Салдин — человек, слывший степенным и холодным, и к которому я ходил иногда обедать, а чаще на чай, и между тем иногда понтировать помаленьку. Пробывши три или четыре месяца адъютантом, я поехал принимать разные солдатские наградные деньги, — пришлось получить 600 и несколько более рублей. В тот же день случилась вечером у Салдина игра, и я рубль за рубль спустил все 600 рублей и еще с излишком. Что делать?.. Явился к генералу, объявляю о проигрыше, а на вопрос “кому?” не знаю ответа. Получаю угрозу: “Арест и под суд!” Отвечаю: “Не верю, ибо знаю благородство души генерала!” Наконец, получаю обещание пособия и прощения, ежели объявлю имя обыгравшего меня, — не поддаюсь и на это; наконец, разбранив меня за упрямство, генерал дает записку казначею выдать мне проигранную сумму в счет жалованья. Благодарность одна заставила меня тому, чему не вынудили угрозы; слезы на глазах свидетельствовали мое чистое раскаяние!.. Генерал оценил и отдал мне всю справедливость за сие. С того времени одарил меня своим полным расположением и даже дружбою. Но, увы! Проигранные 600 рублей расстроили меня до того, что до последнего времени я был в беспрестанной нужде и часто даже не находил средства показаться в люди»⁶⁹.

Александр I, по единодушному признанию, терпеть не мог и карты, и картежников, тем не менее в обществе ходили слухи, будто он выиграл «несравненную Марию Антоновну» Нарышкину в карты у П. А. Зубова. И сам за себя говорит случай, нашумевший в обществах обеих столиц и позволяющий нам судить о том, какую роль порой играли карты в повседневной жизни и какой сюрприз могли преподнести картежники не только своим близким, но и самому государю, вынужденному вмешиваться в частные дела. Так, в 1802 году князь А. Н. Голицын проиграл в карты графу Л. К. Разумовскому свою жену

Марию Гавриловну. Несмотря на то, что развод и новый брак были законодательно оформлены, общество отказывалось признать скандальный проигрыш жены, и бедная графиня Разумовская была подвергнута остракизму. Выход из положения с присущим ему джентльменством нашел Александр I, пригласив бывшую княгиню на танец и назвав ее при этом «графиней».

Конечно же в провинциях, там, где были расквартированы армейские полки, бывали танцевальные вечера и даже балы, на которых военные были объектом всеобщего внимания. По воспоминаниям Ф. В. Булгарина, «весьма занимательно было видеть в ярко освещенных комнатах, в толпе красавиц, при звуках музыки людей, уже перешедших за возмужалый возраст и с юношеских лет прошедших жизнь в кровопролитных битвах, покрытых честными ранами, готовых каждую минуту на явную смерть, которые заохочивали нас, молодых людей, веселиться». Причем каждый начальник «заохочивал» военную молодежь к веселью по-разному. Генерал Аркадий Суворов, сын генералиссимуса, однажды смутил кавалерист-девицу Надежду Дурову экстравагантной выходкой на балу в Киеве: «Обширные залы суворовского дома наполнены были блестящим обществом. Бездна ламп разливала яркий свет по всем комнатам. Музыка гремела. Прекрасные польки, вальсируя, амурно облокачивались на ловких, стройных гусар наших. Суворов до крайности избалован польками. За его прекрасную наружность они слишком уже много ему прощают; он говорит им все, что вспадет ему на ум, а на его ум выпадают иногда дивные вещи! Видя, что я не танцую и даже не вхожу туда, где дамы, он спросил у меня причину этой странности; Станкович, мой эскадронный командир и лихой, как говорится, гусар, поспешил отвечать за меня: “Он, Ваше сиятельство! Боится женщин, стыдится их, не любит и не знает ни по каким отношениям”. — “В самом деле! — сказал Суворов, — о, это непростительно! Пойдем, пойдем, молодой человек, надобно сделать начало!” Говоря это, он взял меня за руку и привел к молодой и прекрасной княгине Любомирской. Он представил меня этой даме, сказав: “*A la vue de ses fraiches couleurs vous pouvez bien deviner qu’il n’a pas encore perdu sa virginité*” («Судя по его

румянцу, вы легко можете догадаться, что он еще не потерял невинности»). После этой, единственной в своем роде рекомендации граф пустил мне руку; княгиня с едва приметною усмешкою ударила его легонько по обшлагу своим веером, а я ушла опять к своим товарищам и через полчаса совсем оставила бал»⁷⁰. Н. Дуровой, служившей в 1809 году в Мариупольском гусарском полку, довелось присутствовать на балу в доме другого своего начальника, где также не обошлось без забавного происшествия: «Милорадович давал бал в день именин вдовствующей Государыни; блестящий, великолепный бал! Залы наполнены были гостями, большой старинный сад был прекрасно иллюминирован; но гулять в нем нельзя было и подумать: Милорадовичу вздумалось угощать там свой Апшеронский полк, что и было после причиною смешного происшествия; вечером бесчисленное множество горящих ламп, гремящая музыка и толпы прекрасных дам привлекли любопытство находившихся в саду наших храбрых сподвижников; они подошли как можно ближе к стеклянным дверям залы, которые были открыты и охраняемы двумя часовыми. Масс, видя, что толпа солдат сгущается от часу более и напирает в двери, так, что часовые с трудом могут ее удерживать, чтоб не вломилась в залу, позвал меня <...>: “Скажи, Александров, часовым, чтобы затворили двери”. Я пошла было, чтобы исполнить приказание; но Милорадович, слышавший, что говорил мне Масс, остановил меня, спрашивая: “Куда вы?” Я отвечала, что иду сказать часовым... “Знаю, — прервал Милорадович нетерпеливо, — не надобно затворять! пусть войдут! Юнкера могут танцевать! Оставайтесь на своем месте!..” Говоря это, он поправил раза два свой галстух, что было признаком досады, и пошел к часовым сказать, чтоб не мешали идти в залу кому вздумается из солдат. Следствием этого распоряжения было то, что менее нежели в пять минут зала наполнилась солдатами, высыпавшими, как рой, из садовой двери; вмиг смешались они с гостями. Масс пожимал плечами, Ермолов усмехался; дамы с изумлением отступали назад, видя подле себя эти дебелые и грубые существа. Я, вместе с другими ординарцами, смеялась от души странному этому зрелищу. Дамы собрались все в одну горницу; мужчины ожи-

дали, улыбаясь, чем эта сцена кончится. Милорадович, совсем не ожидавший такого шумного и многочисленного посещения своих сослуживцев, сказал, что он советует им идти обратно в сад, где им свободнее будет веселиться; прибавив, что “чистый воздух есть стихия русского воина!”⁷¹.

Среди военачальников встречались и такие, кто пристально следил за поведением своих подчиненных вне службы. К их числу принадлежал генерал А. Я. Сукин, шеф Елецкого мушкетерского полка, о котором с теплотой и симпатией вспоминал М. М. Петров: «Шеф наш особенно преследовал своею приязнию молодых офицеров, замеченных им в обращении с неблагонадежными гражданами. Таких он всегда ловил к себе на роскошный обед свой и ужин, возил осматривать мастерские полка и брал в гости на вечера в дома почетных граждан и тем возвращал их на стезю благопристойности чрез поселенную в них амбицию. Но самое убедительное доказательство любви его к нам было следующее: генерал наш был холостяга лет 45, не имевший при себе никого, что бы могло послужить в пример худого кому-нибудь из его подчиненных. Никогда не сердился на прапорщиков и смеялся от души, когда этот, по словам его, “деловой досужий народ” отбивал кое-каких любовниц. Но в Нарве он к концу нашего квартирования свел приязнь сильную с молоденькою вдовушкою, переехавшей из поместья своего из-за Дерпта в Нарву с больною малюткою, единственною дочерью у ней, чтобы лечить ее от искусного доктора Сандерса. Эта вдовушка однажды скомпрометирована нашим лихим штабс-капитаном Шеншиным на городском бале: дав обещание танцевать с ним будущий танец, а пошла с другим — это был молодой инженерный генерал Геррарт — Шеншина это своеволие взорвало, и он наговорил ей упреков с три пропасти поносительных — так что она принуждена была скрыться, удалясь с балу. Шеф был тут же, но сохранял строгий нейтралитет. На другой день Шеншину была очередь представить свою роту, шефскую, на учебный смотр и вступить в караул со знаменем. Все ожидали мщения от шефа, как нередко в подобных случаях бывает, поелику не многие

следуют добродетелям Гендриха IV. Но генерал Сукин напротив поступил. Он, кажется, радовался даже оказии явить свое примерное беспристрастие, чтобы снискать тем к себе доверенность офицеров, выказав славную свою душу и покорное уму сердце, ибо в представленном Шеншиным ротном учении и вахт-парадной поступи он хвалил от души, с радостным лицом все, что было хорошо, и по окончании всего объявил Шеншину в полковом приказе полную благодарность за доведение им роты его до совершенства во всем образовании»⁷².

Особым почетом и вниманием в то беспокойное время пользовались в обществе боевые офицеры, получившие отпуск и на краткое время явившиеся в родные края с тем, чтобы, по выражению Пушкина, «блеснуть и улететь». Отпуска тогда представлялись нечасто, и для них требовались исключительные причины, как то: «по болезни», «для излечения от ран», в связи со смертью близких и вступлением в права наследования, «по женитьбе». Получить отпуск можно было только в мирное время осенью, к весне надлежало вернуться в полк. Обстоятельства волнующей встречи с земляками в Псковской губернии запечатлены в рассказах того же М. М. Петрова, посетившего «Италианский клуб», где собиралось местное дворянство: «...Знакомец мой тотчас послал за гостиним билетом, а когда настало время полного собрания бала, мы пошли туда. Входя в клубный дом, я остался на минуту назади, чтобы уклонить от расспросов о мне знаконца сопутствовавшего. Войдя в танцевальную залу, я увидел многих давних знакомых моих, сидевших в кругах компании и танцевавших англес. Но я не подошел к ним, взяв на себя лицо чужого, не знакомого у них никому. Походивши немного по танцевальному залу, я вышел в боковую большую диванную комнату. Тут также усмотрел многих моих знакомых, игравших на многих столах в бостон, вист и читавших газеты, и хотел было только переступить в билиардную, как вдруг подступил ко мне проворно незнакомец, то был советник Псковской казенной палаты Крылов, сказав мне: “Милостивый государь! Давние ваши знакомцы признают в вас господина Петрова и просят не таиться от них, а пожаловать к ним на свидание, весьма приятное им всем”. — “Пре-

много счастлив я, милостивый государь, если они меня вспомнили чрез такое долгое время странствования моего в войсках, чего я совсем не чаял, ибо...” — “А вот и Анна Дмитриевна Рагозинская, пославшая меня к вам, сама идет сюда”». К тому же М. М. Петров оказался замечательным рассказчиком, и ему было о чем поведать своим землякам: «Удовлетворяя их любопытству, я представил им вкратце свежие задунайские происшествия рассказом во весь размах военной души моей, недавно крутившейся в обуревании тех яростных событий, и они ахали и вздрагивали, прижимаясь одна к другой, от высказов кровопролитных сцен театра войны, весьма нефасонистых в рукопашных боях с турками. Причем веселая старушка Рагозинская не пропустила okazji сказать мне: “Ох, пожалуйста, говори ты нам, ну, знаешь, помирнее, а то ты так страшно рассказываешь, что аль ни наши головышки чрез силу на плечах держатся; пощади же их, ведь они, — перекрестясь, — не басурманские”»⁷³.

С неменьшим восторгом героев чествовали в обеих столицах Российской империи. Так, москвич Я. И. Булгаков сообщал в одном из своих писем вскоре после Русско-французской кампании 1805 года: «К нам наехало много гостей из Петербурга <...>, князь Багратион, государевы адъютанты Долгорукие и множество других военных. Их здесь угощают: всякой день обеда, ужины, балы, театры, концерты»⁷⁴.

Многим офицерам особенно запомнились последние мирные дни накануне нашествия «двунадесяти языков». По словам Ф. Я. Мирковича, «зима с 1811 года на 1812 год, несмотря на скоплавшиеся грозные тучи войны, прошла еще довольно шумно. Балы и эрмитажы при дворе, балы и собрания у министров и послов следовали непрерывно одни за другими. Все плясало, кружилось и веселилось, между тем как военные приготовления делались по всей России. В конце 1811 года война уже не была тайною и все о ней говорили открыто. Военная молодежь находилась в радостном исступлении; всякий офицер вострил свой меч и прилаживал кремни к пистолету; только и речи было, что о войне. Воинственный энтузиазм доходил до высшей степени»⁷⁵. Не менее оживленно было и в провинции. «Всю осень и всю зиму мы провели очень весе-

ло. Во всех дворянских семьях наперерыв давались рауты, за ними следовали вечера и балы, на которых мы старались превзойти друг друга в мазурке. На этих балах бывало очень оживленно, чему немало способствовал флирт с хорошенькими польками; сам генерал ухаживал за хорошенькой кокетливой Розалией, женой городничего. Я чувствовал себя особенно хорошо. Мне было приятно бывать в доме полковника, а связь с самой прекрасной, с самой очаровательной из всех женщин, победоносно царившей на всех балах, опьяняла меня совершенно, я весь отдавался счастьем и наслаждениям», — вспоминал И. Р. Дрейлинг⁷⁶.

Но на смену «мирным забавам» вновь приближалась военная страда. «Во всех слоях общества один разговор, в позолоченных ли салонах высшего круга, в отличающихся ли простотою казарменных помещениях, в тихой ли беседе дружеской, в разгульном ли обеде или вечеринке — одно, одно только высказывалось: желание борьбы, надежда на успех, на возрождение отечественного достоинства и славы имени русского», — свидетельствовал С. Г. Волконский⁷⁷. Каждый из офицеров той поры мог сказать о себе: «Так мы встретили Новый год 1812-й. Беззаботно веселились мы и не предвидели той грозы, которая уже собиралась на политическом горизонте нашей родины, не предвидели той пагубной войны, жертвами которой пали многие из этих веселящихся, полных жизни юношей».

Глава девятая ПЕРЕД ВОЙНОЙ

*Чувство неясное непрочности всего
существующего наполняло сердца.*

П. Х. Граббе. Записки

К весне 1812 года близость неминуемого военного столкновения между «севером» и «западом» ощущалась каждым. Московский житель, в 1812 году — ратник ополчения, князь П. А. Вяземский живо передал в

своих воспоминаниях общее чувство ожидания неотвратимо надвигавшейся на Россию беды: «Кто не жил в эту эпоху, тот знать не может, догадаться не может, как душно было жить в это время. Судьба каждого государства, почти каждого лица более или менее, так или иначе, не сегодня так завтра зависела от прихотей Тюильерийского (дворец Тюильри — резиденция Наполеона в Париже. — *Л. И.*) кабинета или от боевых распоряжений наполеоновской главной квартиры. Все были как под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы. Вся Европа задыхалась от этого страха. Никто не мог ни действовать, ни дышать свободно»¹. Князю Вяземскому, покинувшему на время тихие семейные радости и «перепоясавшемуся на брань против врагов Отечества», вторит адъютант М. И. Кутузова — А. И. Михайловский-Данилевский, в 1812 году оставивший штатскую службу ради военной карьеры: «Кто не жил во времена Наполеона, тот не может вообразить себе степени его нравственного могущества, действовавшего на умы современников. Имя его было известно каждому и заключало в себя какое-то безотчетное понятие о силе без всяких границ». П. Х. Граббе, взявшись за перо с целью поведать детям историю своей жизни, даже на склоне лет признавался в одолевавшей всех в те дни тревоге: «Припоминая себе это время, я нахожу в собственных и в чужих впечатлениях что-то похожее на ощущения, предшествующие разрушительному урагану. Воздух казался душен. Тучи собирались на разных точках Европы <...>. Чувство неясное непрочности всего существующего наполняло сердца»².

Как и во все времена, профессия не оставляла военным выбора «между смертью и долгом». Наши герои привычно встречали опасность, сознавая, что для них время жить кончилось и настало время умирать за свое Отечество. «Все спешили взяться за оружие! Я был не из последних и без сожаления расстался с эпикурейской жизнью, которую я вел в Петербурге, для того, чтобы посвятить себя службе Отечеству и Монарху», — вспоминал В. И. Левенштерн³. Перед войной каждый ощущал собственную причастность к великим событиям, разворачивавшимся на подмостках истории, а

к военным это относилось в наибольшей степени. «Дети Марса» отчетливо видели себя запечатленными на масштабном военно-историческом полотне, где каждому была отведена роль в зависимости от чина и положения в армии и где ни один из них не затерялся. Полководцы разрабатывали планы и предводительствовали войсками, подчиненные свято повиновались начальству, ни на минуту не забывая о том, что «солдат — это больше, чем человек». В те годы люди «творили историю», чувствуя себя орудием Провидения, именно этим сознанием проникнуты документы, письма, дневники, воспоминания.

Офицеры всех родов войск к тому времени завершили необходимые приготовления к походу. Из рассказа Н. Е. Митаревского явствует, что в наиболее выгодном положении находились артиллеристы: «Для нас, офицеров, ротный командир сделал полуфурок, где было довольно помещений для наших вещей; но так как полуфурки находились обыкновенно верст за двадцать впереди или назади нас, то мы для обыкновенных вещей имели маленькие чемоданчики и помещали их на запасных лафетах. У меня тоже был такой с необходимым бельем; кроме того у меня еще были: подушка, одеяло и тулупчик. Все это завертывалось в ковер и доставляло мне большое удобство, особенно когда начались холода и я был ранен. Пехотные офицеры имели на роту одну общую, много две каких-нибудь лошади и на них укладывали и навьючивали свои скромные пожитки»⁴. Собрались в нелегкий путь и офицеры-кавалеристы. «Всё у нас поставили на военную ногу. Весь полковой и офицерский багаж приказано было оставить. Никто не имел права на экипаж, число выючных лошадей не должно было превышать указанного числа. Каждый кавалерийский офицер по высочайшему приказу обязан был прикупить еще вторую лошадь, для чего государь приказал выдать всем офицерам в виде подарка по 500 р(ублей), и тотчас же один из полковых офицеров был командирован для закупки лошадей», — рассказывал И. Р. Дрейлинг⁵. Ему вторит конногвардеец Ф. Я. Миркович: «Наступил, наконец, и знаменательный 1812 год. Хотя война еще не была объявлена,

но со всех концов России стягивали войска к западной нашей границе, и началось формирование резервов. С февраля месяца гвардия начала выступать, через день, полками: пехота со своею артиллериею по тракту на Гатчино, Псков и Динабург; кавалерия, также со своею артиллериею, направлена была через Нарву, Гдов, Псков и Динабург в Литву. Обозы полковые и офицерские были чрезвычайно сокращены, полковые тяжести оставались все на местах квартирования полков. Одним только командирам полков разрешалось иметь с собою коляску, а при каждом эскадроне полагалась одна офицерская артельная телега, все прочие офицерские вещи везлись на вьюках, для чего каждый офицер должен был иметь, кроме верховой, одну заводную лошадь и третью под вьюк и рейткнехта»⁶.

Далеко не все офицеры гвардии были в равном имущественном положении. Многие из них находились в весьма «стесненных обстоятельствах». Офицер лейб-гвардии Финляндского полка А. Н. Марин на всю оставшуюся жизнь запомнил благородную отзывчивость своих близких, не пожалевших последних средств, чтобы собрать своего родственника в дальнюю дорогу. Спустя годы он с умилением указывал, пожалованные ему денежные суммы, называя по имени своих щедрых благодетелей: «Вот наступил и знаменитый 1812 год, предстояла война с Наполеоном. В мае месяце вся гвардия вышла в поход по направлению к Вильне, и мне нужно было поспешить к полку, а денег нет. Все родные съехались к нам в дом и собрали для меня такую сумму, какой я у себя никогда и не воображал видеть. Тетушка Елизавета Дмитриевна пожаловала 25 рублей серебром, Марья Дмитриевна 25 рублей, Софья Дмитриевна 25 рублей, брат Евгений Никифорович 25 рублей. Матушка не могла дать мне ничего, кроме своего родительского благословения и оно-то мне было дороже всего. Еще дал мне дядя Петр Николаевич (Лодыгин) 25 рублей. И отец его Николай Иванович, двоюродный брат батюшки, 25 рублей серебром. И того всей суммы собралось у меня 200 рублей серебром. Это значило по тогдашнему курсу семьсот рублей с лишком, большие эти деньги были для меня и неожи-

данные. С этими деньгами я воображал пройти целый свет»⁷. Действительно, по понятиям того времени, А. М. Марин оказался владельцем целого состояния, в то время как кирасир И. Р. Дрейлинг радовался меньшей сумме «подъемных», которыми его одарили любящие домочадцы: «Ах, как охотно полетел бы я еще раз к своим, чтобы обменяться с ними прощальным поцелуем, но отлучиться не было никакой возможности. При прощании со мной мои добрые старые тетки и дяди вместе с благословением и добрыми пожеланиями снабдили меня в дорогу небольшими деньгами; своих у меня было рублей восемь, так что мой наличный капитал вырос приблизительно рублей в 140»⁸.

Не в лучшем положении оказались и некоторые офицеры квартирмейстерской части. Они по праву считались самыми образованными, но отнюдь не самыми состоятельными в армии. Каково же было родителям, отправлявшим на войну сразу нескольких сыновей! Проходя мимо родовой вотчины, братья Муравьевы предприняли отчаянную попытку самостоятельно пополнить военную экипировку за счет семейных реликвий: «С мундиром приобретается у молодых людей как будто право своевольничать, и сундуки были отперты. Александр премудро разговаривал то с земским, то с ключником, то со старостой и слушал со вниманием рассказы их о посевах и жалобах, не понимая ничего. Ему, как старшему, и следовало принять на себя важный вид, дабы нас не сочли за детей. Между тем он с нами вместе осматривал сундуки, и мы смело друг друга уверяли, что батюшка за то не может сердиться, потому что мы в поход отправлялись. Михайла достал какой-то двухаршинный кусок красного кумача, который он долго с собой возил и, наконец, употребил, кажется, на подкладку. Я добыл себе отцовскую старую гусарскую лядунку, которая у меня весь поход в чемодане везлась; после же носил ее слуга мой, Артемий Морозов (которого я взял с собой 1813-го года в поход и одел донским казаком). Александр приобрел какую-то шведскую саблю, которая от ржавчины не вынималась из ножен. Кроме того, мы еще пополнили свою походную посуду кое-ка-

кими чайниками и стаканами. Затем старый земский Спиридон Морозов, опасаясь ответственности, принес нам реестр вещам, оставленным батюшкою в деревне, прося нас сделать на нем отметки. Глядя друг на друга, мы вымарали из реестра взятые вещи и подписали его. Батюшка впоследствии несколько погневался за наше самоуправство, но тем и кончилось»⁹. На этом хлопоты «муравейника», как именовали знаменитый фамильный клан сослуживцы, не закончились: «Надобно было покупать лошадей, по одной выючной и по одной верховой каждому. Брат Михайла был обманут на первой лошади цыганом, а на другой шталмейстером какого-то меклен- или ольденбургского принца. Он ходил о последнем жаловаться самому принцу; но немец объявил ему, что никогда не водится возвращать по таким причинам лошадей и что у него на то были глаза. Брату был 16-й год, он никогда не покупал лошадей и не воображал себе, чтобы принц и генерал мог обмануть бедного офицера, но делать было нечего. Итак, деньги его почти все пропали на приобретение двух разбитых ногами лошадей, помочь же сему было нечем»¹⁰.

Однако не бывает правил без исключений: даже в армейских частях иной раз встречались довольно состоятельные офицеры. Так, среди малоимущих сослуживцев артиллериста Н. Е. Митаревского перед самой войной объявилось новое лицо, сразу обратившее на себя внимание: «...Прибыл к нам в роту еще один подпоручик, молодой, красивый и видный собой. Отец его был англичанин, служил в России генералом и, кажется, имел хорошее место, что видно было из привезенных его сыном вещей — серебряных столовых и чайных приборов, разных шкатулок, постели, белья и проч. Всего у него было так много, как тогда и у многих генералов не было. Человек у него был свой собственный, музыкант из отцовского оркестра; сам же офицер был из числа таких, о которых говорится: “в семье не без урода”»¹¹.

Более чем для половины русских офицеров это была не первая кампания. Для многих из них сборы в дорогу были привычными. Но никогда прежде в преддверии военных действий они не испытывали столь сильных

и возвышенных чувств. Ответственность за судьбу «любезнейшего Отечества», на границах которого собирались вооруженные силы со всей Европы, тяжким бременем лежала на их плечах. Каждый из них в полной мере ощущал себя опорой трона и государства, защитником веры. Поэт В. А. Жуковский, оказавшись «во стане русских воинов», сумел удивительно точно выразить внутреннее состояние людей, с которыми он разделял «славные опасности 1812-го года»:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили радость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Отправляясь в дальний путь, каждый уносил с собой трогательные слова прощания, благословения родственников и друзей. Воспоминания о последних минутах перед разлукой, которая могла оказаться вечной, не изгладились из памяти русских офицеров по прошествии многих лет. Флигель-адъютант С. Г. Волконский, заново переживая волнующие впечатления тех дней, рассказывал в записках: «С начатия весны гвардейские полки начали выходить из Питера, через день по одному, провожаемые и ободряемые Царем; выступали не в парадной форме, а в боевой, не с Царицына луга, не с Дворцовой площади, — школ шагистики, — но от Нарвской или Царскосельской застав, прямо в направлении к границе.

Громкое “ура” встречало Царя и то же “ура” отвечало ему на слова “добрый путь”. Много не высказывалось, но все чувлось, как это и должно быть в великие минуты гражданской жизни народов. Родина была близка сердцу Цареву и та же родина чутко говорила, хоть не гласно, войску. Тут не было ничего приготовленного, все

чистосердечное. Слова царские: “добрый путь” много говорили, а общее “ура” войска выражало то, что Россия ожидала от своих сынов.

Вслед за стройными батальонами тянулись экипажи городские провожающих матерей, жен, детей; хоть и были видны слезинки на их глазах, но то не были слезинки отчаяния, а порука в чистоте того благословения, которым посвящали близких их сердцу на святое дело пользы отечественной. Отцы же, в рядах народа, толкались вблизи сыновей, и последний поцелуй, последнее сжатие руки и посланный вслед сыновьям перстовый крест — выражали и любовь к детищу, и любовь к родине»¹².

В числе гвардейцев, напутствуемых государем, находился и капитан лейб-гвардии Семеновского полка П. С. Пущин. На пути следования к западной границе в своем родном имении Жадрицы ему удалось свидеться с родственниками, получив от начальства «отпускной билет на 5 дней», в течение которых он отмечал в дневнике обстоятельства, представлявшиеся ему тогда особенно важными и значительными: «...Я отправился в церковь и поклонился праху моего отца у его могилы. <...> Еще одна обедня, это страсть дяди. Указ о рекрутском наборе достиг нашего села. Я был очень удручен мыслью о том, что грозит нашей дорогой Родине. <...> Несмотря на суеверие дяди, что в понедельник нельзя отправляться в путь, я все-таки был с ним в церкви, выслушал напутственный молебен, простился с дядей и уехал в село Гаркушино к Лихачевым. С места лошади едва меня не разбили, и это еще более убедило дядю, что понедельник тяжелый день. Дядя горько плакал, прощаясь со мной. <...> На улице перед моими окнами стояла толпа рекрут. Они пели веселые песни, а тут же рядом в сторонке их матери и жены горько плакали»¹³.

Капитан М. М. Петров в феврале 1812 года успешно сдал в Петербурге непростой экзамен на чин майора, получив который, он готовился отбыть к месту службы в 1-й егерский полк. Боевому офицеру с немалым опытом войн против французов и турок, не имевшему родственников в Северной столице, безусловно, также хотелось услышать теплые слова напутствия перед

войной. И он отправился за благословением к своему бывшему начальнику генерал-лейтенанту А. Я. Сукину, лишившемуся ноги в битве при Прейсиш-Эйлау. Последняя встреча старых сослуживцев, о которой поведал М. М. Петров, раскрывает внутренний мир офицеров эпохи почти непрерывных войн: «После обеда, уже вечером, прощался со мною, он обнял меня и, положив на груди моей крестное знамение, сказал: “Будь на тебе Божие и мое грешное благословение. Прости, любезный товарищ Пултусского и Прейсиш-Эйлауского сражений. Я проливаю — и буду проливать — только слезы мои, благословляя пред Богом ваши труды и мужество. Завидую судьбе каждого из вас: вы идете как герои еще сражаться за славу и благоденствие нашего Отечества, а я околею здесь как горемычная баба, — на постели! В душных этих стенах для воина, искажаемый обычными причудами торговых воплей, не торжественными кликами геройства на поле победы, — прости”». Бывший подчиненный был взволнован и растроган словами своего старшего товарища: «За такое убедительное напутствие воинов, шедших на спасительные, решительные битвы с ужасным врагом, угрожавшим цепями рабства, я насильно поцеловал руку его, благословившую меня в новом чине моем, на брань идущего, и удалился со слезами, лившимися из очей моих; не видел его более до конца жизни моей...»¹⁴

Не менее трогательными были сборы в поход «за Веру и Царя» ополченцев, «русских крестоносцев» или, по определению М. И. Кутузова, воинов «на время войны перепоясавшихся на брань против врагов Отечества». Их воодушевляли не столько навыки к битвам и стремление отомстить за поражения в прежних войнах, сколько пламенная любовь к Родине. Так, офицер Владимирского ополчения И. М. Благовещенский, поступивший на службу в тайне от родителей, рассказывал: «Я, осмотря себя, что на мне уже казакин, в сапогах шпоры, на голове высокая шапка в виде кивера с крестом и надписью под оным: “За Веру и Царя!”, а на боку сабля; вот, видя себя военным, решился идти в дом к родителям, дабы принести извинение, что без их согласия вступил в службу ополчения, и когда проходил двором,

то дворовые не узнали меня в новом костюме. Вхожу в комнаты и расхаживаясь по зале, а между тем приказал доложить хозяину, что я желал его видеть. Смотрю, отец приходит и начально полагал, что посторонний ополченный офицер, всматриваясь в меня, и ахнул, назвав любимым именем: «Ванечка, что это ты сделал?» То я, извиняясь, просил не сердиться, а благословить на Божье призвание; вот вступила и мать, сокрушается родительская жалость. Извлекла уже у обоих слезы. Я, целуя их руки, рассказал, какой со мной неожиданный был случай, и настоятельно просил благословить, и хотя с большим огорчением, но благословили. Явился к обязанности и ополчился обще с дворянами, поступил адъютантом с переименованием из гражданского в военный чин прапорщиком. <...> Вот час ударил, я явился к батальону. Родные со свойственными любовью и чувствами, провожая, прощались, и у всех на глазах слезы; принял родительское благословение и с ним, как с оружием непобедимым, умчась и успокаивая их, чтоб не огорчались, а ожидали возвращения»¹⁵.

Блестящий свитский офицер Н. Д. Дурново, в котором литературные исследователи не без оснований увидели прообраз Бориса Друбецкого из романа «Война и мир», загодя морально готовил себя к военным испытаниям. Февральские записи в его дневнике свидетельствуют о том, что этот избалованный столичным обществом юноша чувствовал себя не слишком уверенно перед перспективой расставания с привычными условиями жизни, а потому старательно заклинал самого себя мужественными словами, явно заимствованными из арсенала более опытных сослуживцев: «Полагают, что у нас будет война со всей Европой. Я надеюсь, что мы выйдем из нее с честью и славой. Находясь на военной службе, я хотел бы иметь повод отличиться»¹⁶. Однако его стоическое спокойствие было недолгим: «26—28 марта. Я купил пистолеты, которые необходимы для военного человека. <...> Я не мог покинуть своих родителей без слез. В первый раз мне пришлось уезжать из отчего дома»¹⁷. Желание отличиться, радость от похвального приобретения пистолетов — все померкло перед горестью разлуки, а дорожные неприятности

были совершенно несовместимы с героико-возвышенными понятиями столичного офицера, заочно упрекавшего родителей в своих бедах, которые ему впервые пришлось самостоятельно преодолевать: «30 марта. <...> Мой ага (слуга) наакался как свинья. Я был вынужден взять его с собой в бричку, так как он не мог держаться на козлах. Мои родители совершили большую ошибку, отпустив меня с таким плохим слугой»¹⁸. Впрочем, и П. С. Пущину, с его немалым опытом бывалого офицера, также нелегко на этот раз давалось расставание с близкими, тем более что к западным границам гвардейские полки продвигались в суровых погодных условиях: «15 марта 1812. В 6 часов утра я в сопровождении унтер-офицера отправился в свою роту. Было очень холодно, и дул сильный ветер. Снег совершенно покрыл дорогу, и мы не раз проваливались. Присоединившись к моим солдатам, я с ними пустился в путь, чтобы догнать полк, который собирался на большой дороге, по которой мы двинулись на Лугу, куда мы прибыли в 12 часов дня. Я отморозил себе правое ухо. Штаб полка остановился в Луге. Я тоже сделал большой привал роты, во время которого я сбегал на почту и к большой радости застал письма из дому»¹⁹. Как знать, на сколько тяжелее воспринимался бы войсками столичного гарнизона этот долгий переход к местам дислокации, если бы в Петербурге государь император не заставлял их мерзнуть в любую погоду на учениях, смотрах и парадах?

Дипломату А. П. Бутеневу, человеку не военному, не связанному строгой дисциплиной, масштабные передвижения русских войск накануне войны представлялись в ином свете. К тому же он получил назначение в штаб П. И. Багратиона в пору весеннего цветения, поэтому и поездка в расположение 2-й Западной армии представлялась ему как увлекательное приключение, оставившее в памяти отрадное впечатление: «По пути к Минску, по очень песчаной почве, проезжал я огромные и прекрасные сосновые рощи с несметным множеством ульев. Тут уже начал и обгонять и направлявшийся к границам войска. Наши молодцы-солдаты бодро и весело шагали по сыпучему песку, в шинелях и с ранцами, ружья на плечах, в предшествии музыкантов и песен-

ников, которые оглашали воздух народными песнями. Я очень живо помню эти встречи, особенно когда проходил Московский гренадерский полк, прославленный своею храбростию в наших воинских летописях. Шефом его был тогда родственник царской фамилии герцог Мекленбургский: он ехал впереди полка»²⁰.

Даже убогая квартира в городе Волковыске, отведенная волонтеру из дипломатического ведомства, не уменьшила его патриотической восторженности, коль скоро он поступил под начальство «героя, который считался любимым учеником Суворова». По словам А. П. Бутенева, «все это было чрезвычайно заманчиво и приводило меня в восхищение». Благодаря рассказу юного романтика, мы также можем приобщиться к обстановке Главной квартиры 2-й Западной армии, взглянув на все глазами стороннего наблюдателя, восторженность которого не угасла с годами: «Немедленно по прибытии отправился я со своими бумагами и письмами к главнокомандующему. Воинственное и открытое лицо его носило отпечаток грузинского происхождения и было своеобразно красиво. Он принял меня благосклонно, с воинскою искренностью и простотою, тотчас приказал отвести помещения и пригласил раз и навсегда обедать у него ежедневно. Он помещался в так называемом замке какого-то польского пана, единственном во всем городе порядочном доме. Тут собиралось все общество Главной квартиры, принявшее меня радушно и ласково в среду свою. <...> Во второй армии числилось едва 40 тысяч человек, и она была гораздо малочисленнее первой; но в ней находились лучшие наши генералы и офицеры, считавшие себе за честь служить под начальством такого знаменитого полководца, как князь Багратион»²¹.

Было бы ошибкой считать, что 2-я Западная армия накануне войны была избавлена от каждодневных учений и смотров, которыми была наполнена жизнь офицеров 1-й Западной армии, однако Багратион был верен своему принципу: «Войска надо не изнурять, а готовить быть победителями». Но от зоркого взгляда главнокомандующего не скрывались упущения по службе, и он был к ним отнюдь не снисходителен.

Следует признать, что спартанские будни офицеров 2-й армии разительно отличались от предвоенного быта их собратьев по оружию, служивших в 1-й армии, при которой находилась и Главная квартира императора. Так, Н. Н. Муравьев вспоминал о днях пребывания в Вильно с некоторой досадой, вызванной вечным отсутствием денег: «Скоро начались увеселения в Вильне, балы, театры; но мы не могли в них участвовать по нашему малому достатку. Когда мы купили лошадей, то перестали даже одно время чай пить. Мы жили артелью и кое-как продовольствовались. У нас было несколько книг, мы занимались чтением. Из товарищей мы знали со Щербининым, Лукашем, Глазовым, Колычевым, ходили и к Мих. Фед. Орлову, который тогда состоял адъютантом при князе П. М. Волконском. Тяжко было таким образом перебиваться пополам с нуждою. Новых знакомых мы не заводили и более дома сидели. Такое существование неминуемо должно иметь влияние и на успехи по службе. Однако же брат Александр с трудом переносил такой род жизни. Он пустился в свет и ухаживал за дочерью полицмейстера Вейса. Она после вышла замуж за г<енерал>-ад<ъютанта> князя Трубецкого. Мы познакомились с братом ее, который служит ныне в лейб-гвардии Уланском полку. Александр волочил еще за панною Удинцовою, пленившею красотою своею всех офицеров главной квартиры. Дурново был в особенности занят этою знаменитостию лучшей публики тогдашней Вильны. При всем этом нужда заставляла и брата Александра умеряться в своем образе жизни»²². Последнее обстоятельство, по-видимому, очень угнетало троих братьев и даже явилось поводом к размолвке с более состоятельным сослуживцем. Речь идет о Н. Д. Дурново, который, преодолев все дорожные неурядицы, благополучно добрался до Вильно. Братья Муравьевы пригласили его разделить с ними артельное житье, но их петербургский товарищ не пожелал отказаться от столичных привычек: «Братья Муравьевы пригласили меня расположиться у них на квартире. Я принял их любезное приглашение. <...> Вечером многие офицеры пришли ко мне на чай. Они оставались до полуночи. Это разозлило Александра Мура-

вьева, который заявил, что подобный образ жизни ему не подходит, так как мешает ему заниматься. Я его успокоил, угостив даровым шоколадом, который я выиграл. Мир был восстановлен»²³. Итак, братьям Муравьевым оставалось «перебиваться пополам с нуждою», в то время как светская жизнь прапорщика Дурново шла по восходящей линии. Каким бы малым ни был чин юного офицера, его дневник наглядно показывает, что его общественный статус, определяемый знатностью происхождения, доходами с имений и высоким положением в свете родителей нашего героя, был значительным. Дневник Николая Дурново можно назвать хроникой светской жизни в Вильно, о которой мы можем составить довольно полное представление, добавив к его повествованию дневниковые записи Ф. Я. Мирковича, воспоминания А. П. Ермолова, С. Г. Волконского, М. М. Муромцева, А. С. Шишкова.

Из чего складывалась повседневная жизнь гвардейских офицеров вдали от Петербурга? Обратимся к дневнику Н. Д. Дурново: «7 апреля. Мы отправились к графу Кутайсову, артиллерийскому генералу. Он нас пригласил к себе на обед. <...> Мы покинули этот дом, чтобы отправиться вместе с Потемкиным на спектакль. Польские артисты давали оперу, в которой я не понял ровным счетом ничего. Зал был невелик, актеры — отвратительны <...>. 11 апреля. Вечером к нам пришли князь Голицын, Зинковский, Глазов и Вешняков; музицировали и пели до полуночи. Давно я так не развлекался. Неловкость полностью изгнана из нашего союза, и нас связывают крепкие дружеские узы. 12 апреля. Перед обедом на квартире мы отправились вместе с Николаем Муравьевым, чтобы поиграть на бильярде. Я очень люблю эту игру. <...> 21 апреля. Я имел счастье похристосоваться с нашим Императором. Сегодня Пасха. Утром я отправился к князю Волконскому, князю Платону Зубову, генералу Уварову. В нескольких верстах от города состоялся превосходный парад. Говорят, что Император остался очень доволен»²⁴. Государь знал, что среди жителей города Вильно было немало сторонников Наполеона, ожидавших его как «гаранта» воссоединения Польши, поэтому он всеми силами стремился

поразить воображение пристрастной публики сначала пышной торжественностью церковного богослужения, а затем воинственной мощью российских полков на «кирх-параде». Флигель-адъютант князь С. Г. Волконский был далек от политических расчетов императора, поведение которого вызвало обычное негодование будущего декабриста: «В тот год праздник Пасхи застал нас в Вильне и был празднован по обычаю русскому и церковной службой, и съездом во дворец, и это приводит мне на память маленький анекдот, довольно ничтожный, но некоторым образом выказывающий странную любовь Царя даже из религиозного обряда делать, как бы сказать, театральное, вахт-парадное представление. К известному часу перед полночью, в день Пасхи, все чины царской свиты, многие чины военные и гражданские, имеющие право на дворцовый этого дня вход, и многие местные поляки и польки, допущенные на эту церковную службу, собрались во дворец. Я и товарищ мой Лопухин опоздали к назначенному часу, а как мы обязаны были находиться в той комнате, где свита государева его ждала, то, боясь встретить Государя, для избежания оного, хотели пробраться через церковь домашнюю, удобный для нас вход, чтоб добраться до нашего места. Но едва подошли к церкви по заднему ходу, как у дверей видим: придворный лакей воспрещает нам взойти в церковь. На спрос наш, почему? — он нам отвечал: “Нельзя, там Государь”. — “Да что ж он там делает, ведь служба не началась?” — На это он отвечал нам: “Делает репетицию церковного служения”. Мы, — дай Бог ноги, и будучи уверены, что не встретим Государя и не подвергнемся выговору, скорей туда, где было наше место, через главный вход для всех»²⁵.

В то время как Александр I, поглощенный государственными заботами, старался «выиграть во мнении» жителей Вильно и привлечь их на свою сторону, среди русских офицеров, празднование предвоенной Пасхи в «полупоходных» условиях прошло особенно душевно и трогательно. Сам император Александр и его брат цесаревич Константин Павлович были особенно внимательны и добросердечны к своим подчиненным. Так, Ф. Я. Миркович записал в дневнике: «21 апре-

ля был первый день светлого праздника. В 7 часов утра собрал я людей моего взвода и свою прислугу и по русскому обычаю похристосовался с каждым из них. В 8 часов утра все офицеры отправились с поздравлением к Его Высочеству. Он был очень весел, с каждым из нас похристосовался, а меня еще спросил о здоровье брата и угостил нас завтраком, после которого мы пошли друг к другу с поздравлениями. У нас существует обычай обедать в этот день в своем семействе; мы все здесь сироты и наше семейство составляют товарищи, и потому решено было провести весь этот день всем вместе. Мы пригласили всех офицеров полка обедать в свою эскадронную артель. Такое братское сближение нам до того было приятно, что решили и следующие три дня провести подобным же образом. <...> Мы пили за здоровье Государя, великого князя, а гости предложили тост за наше здоровье. <...> В 2 часа офицеры нашего эскадрона и эскадрона Голицына собрались, чтобы ехать обедать к Льву Голицыну. Мы сели на лошадей; это была превеселая кавалькада. Обед был весьма оживлен, за обедом была музыка и прекрасное вино»²⁶. В то время как офицеры-конногвардейцы проводили всю Пасхальную неделю в веселом «братском сближении», Николай Дурново с одним из братьев Муравьевых, напротив, были заняты серьезным делом: «24 апреля. Утром мы с Михаилом Муравьевым отправились за город испытать новый инструмент Рейсига, который определяет расстояние без измерения. Этот инструмент не был нами испытан, так как малейший ветер его расстраивает, а если поместить его под укрытие, то он показывает неверно. В полдень мы вернулись в город, потом продолжили наши наблюдения. Вечером работал у князя (П. М. Волконского. — Л. И.) над картой Готтхольда. Я выявлял дороги — труд, бесспорно, поучительный и занимательный»²⁷.

Судя по всему, конец апреля в Вильно был переполнен праздничными событиями. «25 апреля. <...> Бал, который польская знать дает Императору. Великий князь Константин и оба принца Ольденбургские были уже там. В глубине зала был установлен портрет Его Величества, у подножия которого появилась очень красивая

женщина, представлявшая Польшу. Она ему подносила корону. Император прибыл на бал несколько позже с супругой генерала Беннигсена. Я не заметил, чтобы красивая особа была сильно испугана. <...> В два часа был ужин. Он был весьма скромным, особенно за тем столом, где мы расположились», — свидетельствовал Н. Д. Дурново²⁸. На следующий день гвардейские офицеры едва успели перевести дух после бального веселья, на смену которому подоспело очередное торжество: «27 апреля, в субботу, был день рождения Великого князя; в 8 часов мы все пошли его поздравить. Он вышел к нам с сияющим лицом; черты его выражали откровенность и доброту; подобное выражение всегда имело лицо Великого князя, когда он был весел. <...> Весь город был иллюминирован; жители старались сделать это как можно лучше. На городской площади, где жил Великий князь, играла полковая музыка. После ужина Его Высочество вышел на площадь и прогуливался с офицерами. Праздник кончился лишь когда Великий князь вернулся домой»²⁹. Казалось, можно было ожидать, что цесаревич Константин Павлович почувствует некоторое утомление в конце Пасхальной недели, сопровождавшейся пышным балом и веселым днем рождения, но не тут-то было! «В воскресенье был день рождения Олсуфьева; Великий князь, который его очень любит, намеревался целый день его мучить сюрпризами. В 6 часов утра разбудили Олсуфьева барабанщики, которым приказано было барабанить под его окнами; в 7 часов трубачи пришли играть туш под его окнами; в 8 часов весь корпус офицеров нашего полка, по приказанию Его Высочества, пришел поздравить Олсуфьева. После развода, в 10 часов, Олсуфьев пригласил нас к себе на завтрак»³⁰.

Предвоенная весна тем временем полностью вступила в свои права, и в это время года офицеры, квартировавшие в Вильно и окрестностях, избрали местом для своих романтических прогулок живописную долину речки Погулянки: «28 апреля. Я работал у себя дома, когда мне сказали, что министр полиции Балашов прибыл из Петербурга и привез мне многочисленные письма от родителей. После обеда мы вместе с Александром

Муравьевым отправились на прогулку верхом на речку Погулянку. <...> В трех верстах от города находится прекрасная дача генерала Беннигсена. Мы осмотрели ее бегло, так как некому было посторожить наших лошадей. Во время второго раздела Польши (1793 года. — Л. И.) генерал Беннигсен, в то время подполковник Изюмского гусарского полка, произвел блестящую атаку в долине Погулянки; теперь он выбрал это место для своего уединения»³¹. Трудно сказать, обрел ли заслуженный военачальник желаемый покой, коль скоро его «дача» сделалась местом паломничества гвардейской молодежи. «...К нам пришел Андреевский с предложением прогуляться верхами; я принял охотно предложение, приказал седлать лошадей, которых скоро подали; к нам присоединился Сиверцов. Мы отправились за город, окрестности которого были очень живописны; ездили мы довольно долго, любовались живописными видами и восхищались превосходной погодой. Поэты правы, когда они воспевают весну. Во время прогулки разговор шел о любовных похождениях; откровенность полковника нас всех потешала», — рассказывал Ф. Я. Миркович³². Прогулки на свежем воздухе способствовали пробуждению аппетита, поэтому офицеры, чьи денежные средства позволяли обедать «вне дома», отправлялись обедать в трактиры «Ливония», «Литовец» и «Четырех наций», однако эти обеды не шли ни в какое сравнение с теми застольями, на которые был так щедр генерал-майор граф А. И. Кутайсов. Избранное общество, собиравшееся за столом 27-летнего начальника артиллерии 1-й Западной армии, в полной мере воздавало должное гастрономическому вкусу хозяина. Прапорщик Николай Дурново скрупулезно отмечал в дневнике: «24 мая. Обед с графом Кутайсовым. Он любит поесть. <...> 6 июня. Обед у графа Кутайсова. <...> Молния ударила возле нашего дома и убила женщину и девочку. Это было ужасно. 7 июня. Обед у графа Кутайсова. Я не долго себя упрасивал пойти туда, где кормят и поят очень хорошо. <...> Многие французские дезертиры, прибывающие в Вильно, говорят, что Наполеон прибыл к своей армии и произвел ей смотр. Это явное предвестие войны»³³. Молния, поразившая женщину с

ребенком, и Наполеон, прибывший к армии, — эти события, не имевшие между собой ни малейшей связи, тем не менее составляют некое единство во внутреннем состоянии автора дневника, напряженно следившего за приближением военной грозы.

Безусловно, времяпрепровождение армейских офицеров было несравненно более скромным и менее разнообразным, однако и в нем были свои прелести. Так, поручик 1-й легкой роты 11-й артиллерийской бригады И. Т. Родожицкий рассказывал о том, как его сослуживцы проводили часы своего досуга неподалеку от города Несвижа, «в прекрасном зверинце князя Радзивилла», с началом боевых действий вступившего в армию Наполеона: «Тут под тенью берез собирались мы любоваться природою, валялись на свежей мураве и вдыхали в себя аромат благоухающих цветов; там в густоте лип внимали трелям соловья, и отголоски нежных тонов его провожали страстными вздохами; а там, под сводами ветвистых дубов, в прохладные вечера, пивали душистый чай, и, покуда еще кипело в самоваре, играли на поляне в горелки и в веревочку. Здесь румяная брюнетка подарила своему обожателю ленточку; а там стыдливая блондинка так мило улыбалась другому, что заставила его несколько дней сряду вздыхать и видеть ее во сне. Иногда, на лодочке, по озеру отваживались они с нами пускаться в чащу камыша, где мы гонялись за гордыми лебедями...»³⁴ Но если кто из армейских офицеров и не терял даром времени перед войной, то это был, безусловно, прапорщик Малороссийского кирасирского полка фон Дрейлинг: «Несмотря на эти приготовления, мы продолжали жить по-прежнему весело. Наш эскадрон и эскадрон командира, в котором был Иогансон, стояли у князя Четвертинского, богатого польского магната. Мы, офицеры, бывали у него в доме ежедневно; он нас познакомил и с соседями, и не раз мы весело танцевали мазурку с прелестными грациозными польками. Все это веселье, казалось, было как бы прощальным приветом мирного времени, мы и наслаждались всю и пользовались обстоятельствами, которые давали нам возможность проводить это время в таком приятном обществе. Чудный климат! Чудные

весенние ночи! В тиши ночной раздавались тоскующие звуки флейты — это играл Иогансон на противоположной стороне реки, а я ловил эти звуки уже в полусне и засыпал под них».

По мнению генерала князя А. Г. Щербатова, именно польские губернии перед войной 1812 года имели «много преимуществ перед внутренними российскими в рассуждении общества и, следовательно, приятностей жизни, и потому, вместо скуки ладожской, я нашел в Слониме довольно удовольствия, я познакомился со многими окружающими, помещиками, вообще образованными, и приятного общества...»³⁵. Однако мнение военачальника, принадлежавшего к избранной среде петербургской знати, вовсе не разделял артиллерист Н. Е. Митаревский: «Рота наша расположена была в двадцати верстах от города Луцка, в большом селении и прилегавших к нему деревнях. Селение принадлежало богатому помещику, бывшему тогда в звании дворянского уездного маршалка. Во всякий воскресный день и в праздники он приглашал к себе обедать полковника с офицерами. <...> Мы, приехавши, заставали в зале достаточное число панов, молодых — во фраках, а пожилых — в старинных польских нарядах — кунтушах, с богатыми широкими поясами, подстриженных в кружок и с усами. Они были к нам не слишком благосклонны; особенно один, уже пожилой, в богатом польском наряде, смотрел так надменно, что мы от души его ненавидели, хотя он нам не только ничего не сделал, но даже и не говорил с нами. Чрез несколько времени выходил сам ясновельможный маршалок в полупольском наряде. Это был пожилой, сторбленный человек, по наружности довольно смирный, но после слышали мы, что он был в переписке с неприятелями, а потом бежал за границу. Польская шляхта приветствовала его низкими поклонами; мы тоже кланялись. По окончании приветствий он приглашал нас в гостиную. Там на диване сидела пани маршалкова, весьма полная особа, с дочерью невестою. Паны с униженными поклонами, приговаривая, “падам до ног”, целовали ей руку; мы тоже прикладывались, начиная со старшего. Подносили водку с маленькими кусочками хлеба и просили к обеду. Сиди-

лось за стол от тридцати до сорока человек. В богатых приборах подавали суп и разносили другие кушанья, но все в таких маленьких порциях и до того рассчитанных, что если бы кто-нибудь взял два кусочка, то другим бы не достало ничего; мы были довольно совестливы — лишнего не брали, зато вставали из-за стола всегда полуголодными. После обеда подносили по полчашки кофе, и мы уезжали. Никто еще из нас не был в Польше. Чванство поляков показалось нам слишком смешным, а обычаи — очень оригинальными»³⁶.

Вероятно, никогда, ни прежде, ни впоследствии, жители тех мест, где располагались русские армии, не жили такой бурной жизнью как перед войной 1812 года. Скопление значительного числа войск само по себе лишало их привычного спокойствия, а пребывание при армии императора и его августейшего брата наполняло будни губернского города Вильны яркими впечатлениями придворного быта. В конце мая снова был большой праздник, и опять во главе всего — великий князь Константин Павлович: «21-го были именины Его Высочества. <...> В 8 часов мы все отправились его поздравить; мы нашли там уже все окрестное дворянство и множество гвардейских офицеров, приехавших нарочно, чтобы поздравить Великого князя. Корпус офицеров нашего полка приготовил в честь Его Высочества празднество и просил его удостоить обед своим посещением. На этот случай один нежилой дом, бывший даже без окон, был превращен в великолепную залу, в которой накрыли стол на 80 приборов. Зала была украшена всеми цветами, которые могли только набрать в окрестностях; одним словом, она была хорошо устроена. А на площади перед домом установлены были столы для обеда, установленные для солдат. В час пополудни все офицеры полка верхами собрались перед домом Его Высочества. Он вышел в половине второго, сел верхом и поехал, а мы поскакали за ним. Кроме нас Великого князя сопровождали еще все генералы и штаб-офицеры, приехавшие его поздравить. Подъехав к дому, где было приготовлено пиршество, Его Высочество поздоровался с людьми и потом вошел в залу. Офицеры поспешили соскочить с коней, чтобы его встретить у входа.

Казалось, что собралась одна большая семья, которая праздновала и угощала своего самого любимого и почитаемого члена. Стол был превосходный, все подавалось отлично и в изобилии, так что и в столице нельзя бы это лучше сделать. Здоровье Государя и Его высочества пили при громогласных ура и звуках труб и литавр. По окончании обеда Великий князь благодарил офицеров; видно было, как он был взволнован этими выражениями преданности к нему офицеров полка, который он так любил. Великого князя проводили с тою же церемониею. Слезая с лошади, он еще раз благодарил офицеров и до того расчувствовался, что у него на глазах навернулись слезы. <...> В 10 часов Великий князь отправился пешком, в сопровождении всех офицеров, смотреть фейерверк, который был устроен за городом. Фейерверк был довольно хорош и вполне удался. Когда он кончился, все вернулись на большую площадь; тут был щит со шкаликами, изображавший звезду, посреди которой горел вензель Великого князя; на площади и по всем улицам горели плошки и все улицы были освещены; три хора музыкантов — конногвардейский, морской и еврейский — играли весь вечер, да еще пел хор еврейских певчих. Народу собралось много со всех окрестностей; все хотели видеть праздник, который останется памятным для жителей Видз и который, надо сказать, действительно удался»³⁷.

Военным во все времена был присущ дух соревнования: после удачно отпразднованных именин цесаревича было решено устроить еще более грандиозное торжество. Генералы и флигель-адъютанты Александра I задумали «по подписке» дать бал для светского общества города Вильно. Сам государь прибавил к их расходам 300 червонцев, высказав от себя пожелание: «Если вы желаете устроить праздник, то постарайтесь, чтобы он был блестящий, потому что виленские дамы знатоки в этом деле». Конные прогулки в живописной долине речки Погулянки навели устроителей праздника на мысль собрать великолепный съезд гостей в саду замка Закрете, именуемого «прекрасной дачей генерала Беннигсена», который был польщен ролью хозяина бала. Государственный секретарь А. С. Шишков, человек

пожилой и степенный, с явным неудовольствием следил за оживленными приготовлениями: «Мы жили с такой беспечностью, что даже не слышали о неприятеле, словно как бы он был за несколько тысяч верст от нас. Занимались веселостями. Строили галерею, или залу, чтоб дать в ней великолепный бал; но зала сия, еще не dokonченная, дни за два или за три до назначенного в ней пиршества, повалилась, и строитель ее пропал без вести. Случайность ли то была или злонамерение, располагавшее, чтоб ей обрушиться во время собрания и задавить многих, — никто не знает»³⁸. По словам генерал-адъютанта Е. Ф. Комаровского, строитель арки профессор Шульц «с отчаяния утопился в реке Вилии». Во всяком случае, на берегу была найдена его шляпа. Государя обрушившаяся колоннада не смутила, и он весело предложил «танцевать под открытым небом».

Бал, состоявшийся 12 июня 1812 года, многим запомнился как «прощальный привет мирной жизни». Царь ходил около накрытых столов, одаривая комплиментами прекрасных дам, весело разговаривал со многими офицерами... Государь успел пойти круг в полонезе с хозяйкой дома — четвертой по счету женой генерала Л. Л. Беннигсена, который был трижды вдовцом, а затем он танцевал с супругой генерала М. Б. Барклай де Толли. Последний поступок офицеры расценили как знак исключительной монаршей милости к военному министру. Так, А. П. Ермолов счел нужным заметить в адрес Е. И. Барклай де Толли: «Жена не молода, не обладает прелестями, которые могут удерживать в некотором очаровании, все остальные чувства покоря»³⁹. Супруга же Беннигсена, напротив, удостоилась благосклонных отзывов: «Госпожа чрезвычайно любезна. Во всяком случае женщина не может не украсить общества, и особенно полька во цвете лет»⁴⁰. По словам А. П. Ермолова, «среди великолепия и роскошных увеселений, приехал из Ковно чиновник с известием, о котором немедленно доведено до сведения Государя». Из присутствующих лишь самые наблюдательные догадались, что означало это внезапное вторжение в распорядок праздника. Государь провозгласил тост «за здоровье всех» под общее «ура!». После тоста император сказал:

«Прощайте, теперь по домам: следует приниматься за дело». Все поняли, что это — война. Когда государь уехал, генерал Беннигсен поднял бокал за благополучие армии. И снова в ответ прогремело «ура!». М. М. Муромцев свидетельствовал: «Все офицеры были в энтузиазме, и эту минуту никогда нельзя забыть. Никто не унывал: подходили друг к другу с поздравлением о начатии войны».

В числе первых о свершившемся нападении узнали офицеры 1-го егерского полка, находившегося на аванпостах на правом берегу Немана в местечке Ораны. Там командир полка храбрый полковник Карпенков «сделал письменное воззвание к обществу штаб- и оберофицеров полка своего следующее»:

«Дух бодрый и сердце твердое ко брани есть основание нашей надежды и взаимной доверенности друг к другу. Враги Отечества нашего перешли Неман, в пределы России! Древние римляне никогда не хотели знать о числе своего неприятеля. Я и вам говорю только, что французы по сию сторону Ковна, что мы ждем мановения Александра, от коего воспламятся и закипят битвы бурные! Нам предстоит много новых испытаний, но мы сыны Севера, потомки сподвижников мужественного Святослава, и "срам не будет покрывать костей наших"»⁴¹.

Глава десятая

ПОХОД

Легко начать войну, но трудно определить, когда и чем она кончится.

Наполеон в разговоре с русским посланником в Париже князем А. Б. Куракиным

В ночь с 12 на 13 июня грозные силы неприятеля, переправившись через Неман, вторглись в пределы России. Под знаменами императора Франции объ-

единились войска всех покоренных им государств, правители которых мало сомневались в исходе предстоящей смертельной схватки. Грандиозный масштаб готовившегося военного противостояния тревожил сердца воинов, намеревавшихся «свершить судьбы Европы». Участник «русского похода» генерал Ф. Сегюр впоследствии так описал атмосферу всеобщего ожидания: «...Огромные запасы провианта и боевых припасов, весь этот звон оружия, грохот повозок и шум шагов такого множества солдат, это всеобщее движение и величественный и страшный подъем всех сил Запада против Востока, — все это возвещало Европе, что два колосса намерены померяться силами»¹.

Они выступили в поход, «не прозревая будущего»... Так, Ф. Я. Миркович вспоминал: «Известие о походе меня обрадовало. Мне живо представилось, что я должен стремиться к славе, служить Отечеству и быть ему полезным. Я приказал людям скорее укладывать вещи. В 12 часов, по звуку генерал-марша, полк собрался на городской площади. Великий князь подъехал к полку и обратился к нам с краткою речью, которая тронула все сердца. Мне кажется, что в подобных случаях и не красноречивый оратор может тронуть самые невозмутимые сердца, если только его слова искренни и выливаются из сердца. Великий князь сказал солдатам: “Ну, мои друзья, мои старые сослуживцы! Настала пора, когда вы можете быть полезными Отечеству, когда вы можете ему послужить и не пожалеть для него никаких жертв. Докажите, что вы русские. Я надеюсь и даже вполне уверен, что вы поддержите ту славу и честь, которые вы приобрели в прежних кампаниях. Смелее, победа будет с вами. Ну, весело в поход, песенники вперед и трубачам играть!”»²

Общая численность российских армий, принявших на себя удар главных сил противника (около 440 тысяч), достигала 220 тысяч. Самая сильная из них — 1-я Западная армия генерала от инфантерии М. Б. Барклай де Толли (120 тысяч) — прикрывала Петербургское направление, которому в планах русского командования первоначально придавалось основное значение. На Московском и Киевском направлениях действовали

примерно равные в силах (40—45 тысяч) 2-я Западная армия генерала от инфантерии князя П. И. Багратиона и 3-я Резервная армия генерала от кавалерии графа А. П. Тормасова. Наш государь, по-видимому, долгое время рассчитывал на союзническую помощь Австрии и Пруссии, присоединившихся в конце концов к Наполеону. Теперь, без необходимой поддержки с флангов русское командование отказалось от упреждающих действий в Польше. Промыслительный ход событий впоследствии сделался очевидным: ни одна из прежних войн Наполеона не обличала в нем в такой мере завоевателя, как «русская кампания» 1812 года. Именно это обстоятельство и позволило Александру I обратиться к своей армии со словами, которые врезались в память всем и каждому: «Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами, на зачинающего — Бог!» Однако до того часа, как русские воины убедились в справедливости этих слов, им пришлось многое преодолеть.

Свитского офицера Н. Д. Дурново в самом начале похода терзали мрачные предчувствия и, следует признать, юному офицеру было от чего расстраиваться! 14 июня он записал в дневнике: «В нескольких верстах от города лошадь меня понесла и сбросила на землю. Дурное предзнаменование в начале кампании. <...> Мой слуга пропал вместе с двумя лошадьми и со всем багажом. Надо сказать, это довольно неприятное начало войны»³. Как оказалось, опасаться следовало не нашему свитскому прапорщику. Почти в это же самое время по странному стечению обстоятельств лошадь сбросила другого всадника... императора Наполеона. «Когда Император скакал галопом по полю, из-под ног его лошади выпрыгнул заяц, и она слегка отскочила вбок, — рассказывал А. Коленкур. — Император, который очень плохо ездил верхом, упал наземь, но поднялся с такой быстротой, что был на ногах прежде, чем я подоспел, чтобы его поднять. Он вновь сел на лошадь, не произнеся ни слова. <...> Я тогда же подумал, что это — дурное предзнаменование, и я конечно же был не единственным, так как князь Невшательский тотчас же коснулся моей руки и сказал:

— Мы сделали бы гораздо лучше, если бы не перехо-

дили через Неман. Это падение — дурное предзнаменование»⁴.

Впрочем, среди русских воинов встречались люди гораздо менее чувствительные к дурным приметам, как, например, офицер Владимирского ополчения И. М. Благовещенский: «Закурил трубку с табаком, закричал, чтоб песельники шли вперед; и идучи с веселым энтузиазмом и выкуря трубку, хотел ее продуть, а как только показались избы, то вдруг в эту минуту подо мною лошадь метнулась быстро в сторону, а я с нее в другую. Ушибся больно, меня подняли и вели под руки, потом собирали по лугу, где эполеты, шарф и саблю. Вот опрометчивость свою вспомнил, а более о лошади, которая недолго за этим походом приведена из степи и подарена благодетельною особою на путь с охотным его удовольствием; и остался пеший, с изорванным шарфом и с сломанною саблею, привели к знакомому и в одной со мною должности <...>, который, соболезнуя о моем положении, всячески старался помочь от чувствуемой мною в боку боли; молил Бога, что нашел дворянина в благородном его сочувствии...»⁵ Заметим: каким бы тяжким для новобранца ни оказалось упомянутое падение с лошади, однако ж он не забыл упомянуть в своем рассказе, что помощь ему оказал знакомый дворянин, состоявший в одной с ним должности!

Как ни мечтали русские воины «противустать неприятелю с оружием в руках в своих пределах», однако события развивались вопреки их ожиданиям. Только отступление вглубь страны позволяло русскому командованию спасти и объединить наши разрозненные силы. Позже М. Б. Барклай де Толли пытался представить эту вынужденную меру «как бы некую хитрость, обещающую нам огромную победу». Когда кампания 1812 года уже близилась к победоносному завершению, бывший военный министр России и главнокомандующий 1-й армии стал распространять в обществе «Оправдательные письма», в которых сообщал, что русские войска отступали согласно «глубоко продуманному плану».

Большинству же русских офицеров начало славного похода запомнилось совершенно иначе. На слова М. Б. Барклая де Толли весьма язвительно отозвался

бывший начальник Главного штаба М. И. Кутузова, генерал от кавалерии граф Л. Л. Беннигсен: «Я не могу высказать свое мнение об этом операционном плане и коснуться его подробностей <...>, так как Император не показывал мне этого операционного плана, и я не знаю ни одного человека, который бы его видел <...>. Я уверен, что этот план полон превосходных и глубокомысленных расчетов, что в нем нашли применение разные случаи из прошлых войн, как то: из похода Карла XII в Малороссию, быть может также из современной войны Испании с Францией и т. п.; наконец, я уверен, что в нем много красноречия и прекрасных фраз...»⁶ Главнокомандующий же 3-й армией генерал от кавалерии граф А. П. Тормасов, узнав об «Оправданиях» генерала Баркляя, не скрывал своего возмущения. Правда, его замечания касались уже не военной стороны вопроса, а относились к области нравственности: «Планы завлечь неприятеля в недра своего Отечества есть мысль ужасная для всякого, кто его истинно любит. <...> Можно ли хладнокровно решиться пустить разбойника в свой дом, оттого что он, убив отца, мать, жену, детей, истощит свои силы?» Главнокомандующий 2-й армией князь П. И. Багратион называл отступление русских войск «сумасбродным»... До подчиненных доходили отголоски споров в среде высших начальников. Так, Н. Д. Дурново занес на страницы дневника дошедшие до него слухи: «Пришло время для каждого русского доказать свою любовь к Родине. <...> Александр Муравьев пришел мне объявить, что французы перешли через нашу границу в количестве пятисот тысяч человек. Не будучи в состоянии противопоставить им такое же количество людей, мы принуждены отступать вглубь страны. Вот почему мы изменили диспозицию нашего военного министра Баркляя де Толли. Говорят, что он будет сменен, но эта новость требует подтверждения»⁷.

Итак, вместо славных битв последовало долгое, изнурительное отступление. В особенно тяжелых условиях оказалась 2-я армия князя Багратиона, «стесненного со всех сторон неприятелем». Предписания военного министра М. Б. Баркляя де Толли и находившегося при отступавшей 1-й армии государя императора стави-

ли перед полководцем наступательные задачи, неопределенный смысл которых Багратион выразил фразой: «...бить неприятельский фланг и тыл какой-то». Получив от разведки точные сведения о неприятеле, некогда любимый ученик Суворова принял самостоятельное решение: идти на соединение с войсками Барклая, избегая решительных столкновений. Его слабая по численности армия казалась Наполеону легкой добычей. Генерал А. Коленкур привел в мемуарах высказывание французского императора: «Корпусу Багратиона не удастся соединиться с главными силами армии <...>, он будет захвачен или разгромлен; и это произведет впечатление, так как Багратион был одним из старых соратников Суворова»⁸. С первых же дней войны войска Наполеона не просто старались «поставить в клещи» слабого числом противника; корпуса под командованием маршала Л. Н. Даву и Жерома Бонапарта (младшего брата Наполеона, короля Вестфалии) стремились уничтожить «красу и гордость русской армии»; они гнались за полководцем, олицетворявшим славу и честь русского оружия. Таким образом, подчиненным князя Багратиона, от генерала до рядового, с самого начала войны выпала опасная честь находиться в армии под командованием «знаменитейшего военачальника своего времени». И. Р. фон Дрейлинг вспоминал: «С изумлением слышали мы о том, что французы находятся уже в Гродно. <...> Нам, наконец, и уже официально был объявлен приказ по армии князя Багратиона о том, что французам объявили войну, что от нас требуют мужества и безусловной дисциплины. Между прочим, приказ гласил: за малейший проступок против дисциплины, за уклонение от сражения или если кто-либо осмелится воскликнуть, что мы окружены врагами, даже если бы это было в действительности, грозит расстрел. Нам отдали приказ наточить наши палаши, зарядить ружья; пехотинцы наточили штыки, а артиллерия шла с зажженными фитилями. Не скрою, что все эти серьезные приготовления, которые показывали, что впереди нас ждет нечто еще более серьезное, возбуждали во мне какое-то смешанное чувство: я чувствовал какой-то особый подъем, а сердце билось так сильно, что я его ощущал!»⁹

Марш среди болот и «сыпучих песков» Полесья был не из легких; по словам Багратиона, «жары стояли ужаснейшие», леса горели, дым «выедал» глаза, дышать было нечем, а с флангов двигался противник, пытаясь перекрыть 2-й армии дорогу на Минск. Н. А. Дурова вспоминала об этих затяжных переходах в начале войны: «Мы идем день и ночь; отдохновение наше состоит в том только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса; уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим: спешим куда-то! <...> Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения... Мне вздумалось взглянуть на себя в светлую полосу своей сабли: лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли! С другими нет такой сильной перемены, и, верно, оттого, что они умеют спать на лошадях; я не могу»¹⁰. Единственному в ту пору в русской армии офицеру-женщине особенно нелегко давались форсированные марши на пределе сил; физические перегрузки сказывались на всех: «После долгого дневного перехода в плохую погоду дойдешь наконец на жалкую квартиру — и вот приходится самому мыть и чистить лошадь, самому принести фураж, иногда за версту, в грязи, ночью несколько раз посмотреть лошадей, которые могут подраться, подложить им сена, ранним утром опять их убрать, напоить, опять вычистить и оседлать к походу. Все это было сопряжено с несказанными трудностями, а строгость нашего генерала была нам хорошо известна, и что он не знал снисхождения — тоже»¹¹.

В этом походе русские воины, пожалуй, более всего страдали от недосыпания: «Все сознавались, что каждого одолевал сон. Как пройдут, бывало, целую ночь, то все чувствуют себя очень тяжело, особенно на утренней заре. Нельзя было усидеть за дремотою ни на лошади, ни на лафете. Случалось, что солдаты, идя, забывались и падали, что особенно было заметно в пехоте. Один упадет — заденет другого, тот опять — двух, трех и так далее. Падали целыми десятками с ружьями,

со штыками; но при этом не было никогда несчастных случаев. Мы, офицеры, тогда еще не приноровились спать на лафетах, но после так привыкли, что отлично спали по целым ночам»¹². Впрочем, в походе случались и другие неприятности, неизбежно сопутствующие военному времени: «Шли мы как-то целую ночь и все время лил дождь; поутру отдохнули каких-нибудь часа два и опять пошли. После дождя погода разъяснилась, сделалось чрезвычайно жарко и душно. Далеко за полдень мы остановились и велено было варить кашу. В стороне, недалеко от нас, была речка; мы пошли туда купаться. Только что успели войти в воду, как ударили подъем. Пока оделись и пришли, корпус уже выступил, — не успели сварить и кашу. Тревогу подняли вследствие слуха, что неприятель близко и нас обходит. Выслали стрелковые команды в сторону, откуда ждали нападения. В это время начали собираться тучи, вдали загредел гром, показалась молния и к вечеру пошел сильный дождь. Ночь была темная, а молния только ослепляла людей. Дорога была проселочная и по ней во многих местах — плотины и гати. Дорога эта, кажется, и в сухое время была нехороша, а тут от дождей совсем испортилась; к тому же колесами ее так разбили, что с большим трудом могла двигаться артиллерия. На другой день тоже шел дождь; мы несколько дней не просыхали и спали мокрые, но от неприятеля отделались»¹³. Были и другие мучительные неудобства. Свитский офицер А. Н. Муравьев признавался: «...Продовольствия же из запасов отступающей армии мы вообще получали очень мало, и, кроме собственных средств, кормиться было почти нечем. Если бы не был я с молодых лет приучен довольствоваться, не гнушаясь, всякою пищею, то в высшей степени труден был бы для меня этот поход. Тут я на опыте узнал, какой вред наносит молодому воину прихотливость и гадливость, к которым теперь приучаются юноши. Не в свое время умыться, утереться полотенцем не совсем чистым, не часто переменять белье, разрывать мясную пищу и есть руками, пить из невзрачной кружки или посуды, не лишенной дурного запаха, ложиться не раздеваясь и спать на сырости или в грязи, или под дождем или в курной избе, наполненной тараканами и

другими гадами, и тому подобные военные обыденные необходимости отгалкивают их от службы и исполнения своих обязанностей или делают их неспособными для пользы, которая от них ожидается, потому что они приучены к так называемому комфорту и изнежены своим воображением и привычками. Я же со своей стороны, забывая все неудобства, радовался близости моей к неприятелю, которого ежечасно видел перед собою, и горе мое о претерпеваемых недостатках тем рассеивалось»¹⁴.

Походные будни были тяжелы, однако ничто так не угнетало русских воинов как продолжительное, пусть и вынужденное отступление. Генерал Я. П. Кульнев в конце июня отправил письмо своему приятелю полковнику А. А. Закревскому, служившему в штабе М. Б. Барклая де Толли: «Скажите, скоро ли начнем на сих проклятых французишков напирать, ибо при отступлении нашем кровь солдатская остыла. Я вам сие откровенно говорю, яко другу, и буде придет дело до валовой свалки, то напомните министру, дабы на тот случай сняли б все ранцы и шинели. Тогда можно будет почесть нашу армию 50 000 сильнее, ибо при сей тягости даже и без неприятеля половина армии <...> побеждена, а паче при нынешних жарах. Теперь дело идет не о ранцах, но целости и чести всего государства. Я о сем напоминаю яко искренний сын отечества»¹⁵. В преддверии битв генерал ратовал за то, чтобы перед атакой, как и прежде, русские войска сбрасывали шинели и ранцы, оставляя их в тылу. Однако подобная «малозаботность» о предметах первой солдатской необходимости оправдывала себя только в том случае, если атака на неприятеля завершалась успешно. Русская армия уже имела печальный опыт того, как после поражения при Аустерлице в декабре 1805 года русские войска остались раздетыми и голодными в чистом поле, так как их шинели и ранцы попали в руки неприятеля. Во избежание подобных случаев граф А. А. Аракчеев в 1808 году, в бытность свою военным министром, издал приказ о том, «каким образом солдату одеваться в походе» в летнее время: «В теплое время и хорошую притом погоду солдату надлежит быть одетому в мундире застегнувши; сверх сумы и пор-

тупеи, надетых обыкновенно, надевать шинель, свернутую вдоль через левое плечо так, чтобы концы оной были на правой стороне ниже пояса, которые должны связываться шинельным ремнем. Ранец должен быть на спине сверх надетой через плечо шинели и манерку привязывать сверху ранца на середине»¹⁶. Со скаткой и ранцем нижние чины отныне не расставались и в сражениях, потому что это неудобство было ничто в сравнении с потерей упомянутых вещей.

Как ни велики были бедствия Отечества, однако князь В. В. Вяземский, начальствовавший дивизией в 3-й армии, смотрел на все происходившее глазами философа и полагал, что важные насущные дела существуют и в военное время, вследствие чего он отправил «на походе» распоряжение в свою подмосковную вотчину деревню Кудаево: «Вдовы умершей Аграфены сына Пимона предписываю женить на дочери Андреяна Иванова, девке Аксинье. Если не ближняя родня и поп будет венчать, то безоговорочно отдать, а если в родне и поп венчать не будет, тогда отослать девку в Климово за другого крестьянина, за кого там староста отдаст <...> Крестьянина Луку Иванова отдать в Москву на полгода в смирительный дом, а не исправится и там, то я найду места»¹⁷. Остановка же в помещичьей усадьбе в четырех верстах от Луцка предоставила генералу из рода удельных князей сделать множество разнообразных наблюдений, которые он не преминул занести в свой походный «Журнал»: «В Омельяnine стоит еще и зеленеет липа, на коей Петр Великой вырезал свое имя и Екатерина, супруга его, тоже: липа зеленеет, а те, кто под нею были, уже не существуют. Петр в сей деревне ползвался (так в тексте. — *Л. И.*) свежим воздухом и опочил. Помещик-охотник строитца, но за множеством проектов и недостатком денег по сих пор еще ничего не построил. Жена его занимается садом и имеет много вкуса. Она разводит прекрасной садик, в ней много романического <...>. Она недурна собой»¹⁸.

В эту же самую пору в самом бедственном положении оказался небольшой отряд генерал-майора И. С. Дорохова (1-я армия), которому не успели или не смогли доставить приказ об отступлении. При ка-

валерийском отряде генерала Дорохова находилась бригада 1-го и 18-го егерских полков, в первом из которых служил М. М. Петров, поведавший об одном из самых драматических эпизодов Отечественной войны 1812 года: «Авангардный начальник наш генерал-майор Дорохов, узнав чрез партию, ходившую вниз по берегу Немана, о вступлении в границы России французов, перешедших Неман выше Ковно, и быстрым движении их чрез Троки к Вильне, а приватно — о том, что граф Шувалов с нашим 4-м корпусом отступил поспешно назад из местечка Олкеник. Хотя такие обстоятельства поставили было нас на край гибели бесславной, но опытность в войнах и достаточность сведений военных нашего отрядного начальника генерал-майора Дорохова, направившего быстрое, благоразумно избранное движение отряда своего, исторгли нас из предстоявшей беды. Имея в обеих сторонах пути своего сильные партии, от двух Донских и Гусарского полка его, он шел с бригадою егерей, двумя ротами артиллерии и обозами без ночлегов, а только с краткими привалами чрез местечки Воложин, Камень и двор Мешицы на Столбцы, к 2-й Западной армии, достигавшей тогда от Пинска Несвижа, или в противных обстоятельствах предполагал пробраться чрез Игумен на Борисов или Глузск и Бобруйск к Быхову, а оттуда — куда Бог приведет.

В последний опаснейший 60-верстовый переход к двору Мешицам, когда открыты были туда движения с обеих сторон сильных неприятельских частей для пресечения нам пути, изнурение нижних чинов егерской нашей бригады в жаркий день до того простерлось, что несколько человек пали на пути мертвыми и у многих, по истощении всего поту, выступила под мышками кровь. Тут офицеры 1-го и 18-го егерских полков изъявили чрезвычайную любовь к своим подчиненным: они верховых своих лошадей навьючили ранцами обессилевших солдат, а сами несли на своих плечах по две патронных сумы и по два ружья, а иные могучные — и более. <...> Спасибо еще нашему атаманушке батюшке Матвею Ивановичу, что он в чрезвычайных движениях этих давал нашему полку два Башкирских

полка возить: ранцы, шанцовые инструменты и ослабелых егерей; а без того все они не рожденные быть конями, сгинули бы в отделку беготни по извилистым тропам героев донских»¹⁹.

М. М. Петров не знал, что «атаманушка батюшка Матвей Иванович» Платов, командовавший Донским казачьим корпусом, получил серьезный «нагоняй» от князя П. И. Багратиона, за то что промедлил оказать помощь отряду генерала Дорохова, попавшему в тяжелое положение и находившемуся вблизи от войск Платова. Этот отряд не входил в состав 2-й армии, формально князь Багратион не имел права отдавать приказы Платову, корпус которого также принадлежал к 1-й Западной Баркляя де Толли; осознавая «тонкость» ситуации, он и не приказывал, он просил, советовал Платову, тщательно подбирая слова, оказать помощь изнемогавшим от усталости людям, которых казаки неожиданно обнаружили «на дороге войны». Текст письма, направленного Багратионом Платову, отражающий непростые «житейские» обстоятельства, возникшие в период отступления, заслуживает того, чтобы привести его полностью, потому что в нем раскрывается характер человека, которому поклонялись все русские воины:

*«24 июня 1812 года на марше в Кареличах:
Милостивый Государь мой Матвей Иванович.*

Сколько порадован я был сегодня запискою Вашего Высокопревосходительства, при коей приложена была копия таковой же генерал-майора Дорохова <...>. Чрезвычайно жалею, что Ваше Высокопревосходительство, быв так близко к генералу Дорохову и видев его положение со всех сторон не столько выгодное, оставили его, так сказать, жертвою. Мне остается теперь только просить вас, милостивый государь мой, чтобы вы из усердия к службе Государя Императора и любви к Отечеству поддержали Дорохова, дав ему способы соединиться с вами.

Стремление ваше соединиться с 1-ю армиею я отменно уважаю, Ваше Высокопревосходительство, мо-

жете быть уверены, и я побеждаюсь равными чувствами вашим <...>; но, если смею сказать, то бывши в положении вашем, я бы не оставил Дорохова»²⁰.

Войска 2-й Западной армии, стремясь исполнить волю государя императора, пытались пройти фланговым маршем наперерез наступавшему противнику с тем, чтобы достигнуть скорейшего соединения с войсками 1-й Западной армии, достигшей тем временем Дрисского укрепленного лагеря на реке Двине. Предполагалось, что подоспевшая армия Багратиона ударит неприятелю в тыл. Ожидая благоприятных известий о приближении армии Багратиона, воины 1-й армии располагались посреди укреплений Дрисского лагеря. Эта любимая «военная игрушка» Александра I, выстроенная по «сильному совету» его прусского советника генерала К. фон Фуля, вызвала среди военных целую бурю негодования. Они не стали скрывать от государя своих впечатлений. Вскоре среди русских офицеров уже распространилось «афористичное» суждение генерал-адъютанта Ф. О. Паулуччи о том, что подобный лагерь мог придумать либо дурак, либо изменник. Обычно сдержанный в отношениях с государем Барклай озадачил его вопросом: «Я не понимаю, что мы будем делать со всей армией в этом лагере. Потеряв противника из виду, мы будем принуждены ожидать его отовсюду». Среди офицеров, не понимавших, почему бы войскам 1-й армии не двинуться самим навстречу войскам Багратиона, распространялись злые шутки: «Первая армия стоит в столбняке в Дриссе и не прежде из сего состояния выйдет, как съест весь свой провиант, а его много». Идея Дрисского лагеря распалась в одночасье, как только от Багратиона было получено известие о том, что маршал Даву «предупредил» его в Минске, перекрыв дорогу, по которой 2-я армия продвигалась на соединение с 1-й. «Дурную весть» привез поручик П. Х. Граббе, ездивший курьером во 2-ю Западную армию и сохранивший в записках «жанровое» описание военного совета с участием императора. Впечатления обер-офицера, по воле случая оказавшегося лицом к

лицу с «сильными мира сего» и даже позволившего себе высказаться в их присутствии, — не слишком частое явление в мемуаристике! «Приехав в Дриссу, — рассказывал П. Х. Граббе, — я был тотчас потребован к Государю. На дворе мызы, им занимаемой, я нашел Баркляеде-Толли, Беннигсена, Ермолова, множество генералов. Вошедши в комнату Государя, стоявшего близ стола, на котором разложена была часть столитовой карты России, я увидел графа Аракчеева и князя Волконского. Известия, мною привезенные, были новы и неожиданны. Когда я сказал, что князь Багратион отказался от направления на Минск и пошел на Бобруйск и Могилев, а Даву с шестьюдесятью тысячами идет на Борисов, в перерез обоих наших армий, Государь прервал меня. “Это неправда, быть не может: Даву здесь против меня: а князь Багратион имеет от меня другие приказания”. Я отвечал Государю, что за точность этих сведений отвечаю головой, что действительно часть войск корпуса Даву у него взята и направлена к Дриссе; но ему даны другие войска из армии короля Вестфальского и других корпусов. Потом, указав на карту Борисова, дерзнул я прибавить, что если бы возможность была отправить туда летучий отряд в некоторой силе, то неприятель по важности этой точки на главном пути к сердцу России почел бы его гораздо сильнее и действовал бы с осторожной медленностью, могущей принести пользу для наших общих действий. Государь с выражением нетерпения возразил одним словом: “Не перелететь же” и отпустил меня»²¹.

После упорных арьергардных дел Багратион вырвался от своих преследователей, о чем сообщил в письме к начальнику Главного штаба 1-й армии А. П. Ермолову: «Насилу выпутался из аду. Дураки меня выпустили. Теперь побегу к Могилеву, авось их в клещи поставлю. Платов к вам бежит. Ради Бога, не осрамьтесь, наступайте, а то, право, худо и стыдно мундир носить, право скину его. <...> Им все удастся, если мы трусов трусим. Мне одному их бить невозможно, ибо кругом был окружен, и все бы потерял. Ежели хотят, чтобы я был жертвою, пусть дадут имянное повеление драться до последней капли. Вот и стану! Ретироваться труд-

но и пагубно. Лишается человек духу, субординации, и все в расстройку. Армия была прекрасная; все устало, истощилось. Не шутка 10 дней, все по пескам, и жары на марше, лошади артиллерийские и полковые стали, и кругом неприятель»²².

Много забот в те дни было у офицеров квартирмейстерской части 1-й Западной армии. Прапорщик Н. Д. Дурново отмечал в дневнике: «26 июня. Мы трудились как каторжные над картой России. Во всех корпусах не хватало карт местностей, по которым они проходили. Вместо того, чтобы изготавливать в Петербурге карты Азии и Африки, нужно было подумать о карте Русской Польши. Хорошая мысль всегда приходит с опозданием. <...> 1 июля. Мы провели все утро в работе. Это начинает мне серьезно надоедать. Я предпочитаю час в день сражаться, чем корпеть над картой Смоленской губернии, что меня еще больше убеждает в неизбежности отступления»²³. Положение братьев Муравьевых на походе усугублялось нуждой: «Служба наша не была видная, но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не посылали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от непрерывной езды и от недостатка в корме. Михайла начал слабеть в силах и здорovyи, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, “к счастью, был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды”»²⁴. Итак, «совокупность полученных сведений» убедила участников военного совета в том, что «отступление 1-й армии в Дриссу, удалившее ее от 2-й, была важная ошибка, требующая немедленного исправления...».

Поход тем временем продолжался, и ситуация на театре боевых действий разворачивалась таким образом, что драматизм событий все более нарастал, вызывая накал страстей. Обе русские армии, «разлученные эксцентрическим отступлением», искали способы к соединению, «между тем как неприятель своими главными силами устремлялся между ими в сердце империи». Войска Барклая оставили укрепленный лагерь и двинулись к Полоцку, где, по требованию своих советников,

Александр I вынужден был расстаться с армией, как оказалось, до самого окончания похода. В отсутствии государя М. Б. Барклай де Толли решился принять сражение у Витебска в надежде на то, что к нему сможет пробиться Багратион. Хотя, по мнению участников событий, угнетенных затянувшимся отступлением, «вообще вероятия успеха от сражения не могло быть и не было, как по невыгоде позиции, так и по превосходству в силах неприятеля. Это было бы делом отчаяния, а не расчета благоразумного».

Генерал И. Ф. Паскевич, начальствовавший в 1812 году 26-й пехотной дивизией в армии Багратиона, рассказывал в «Походных записках»: «Князь Багратион приказал 7-му корпусу заpastись только в Бобруйске сухарями и усиленными маршами спешить к Могилеву, чтобы там предупредить неприятеля. Трудно найти в военной истории переходы усиленнее отступления 2-й армии. В день делали по 45 и 50 верст (в 18 дней прошли пространство в 600 верст). Несносный жар, песок и недостаток чистой воды еще более изнуряли людей. Не было времени даже варить каши. Полки потеряли в это время по 150 человек <...> В Старом Быхове узнали, что неприятель занял уже Могилев»²⁵. Багратион попытался с боем прорваться у Могилева на Оршу, однако в «жестоком деле под Дашковкой и Салтановкой» 11 июля выяснилось, что численное превосходство на стороне неприятеля. Над 2-й армией, казалось, нависла угроза неминуемого разгрома. Тогда-то «Второй главнокомандующий» и решился на один из самых блистательных маневров кампании 1812 года. Весь следующий день «показывая вид атаки на Могилев», Багратион в ночь повел свои войска к Смоленску. По воспоминаниям И. Р. Дрейлинга, «ночь была темная. Черные тучи висели над самой землей. Не переставая, моросил мелкий дождь. В нашей колонне царствовала тишина. Ни звука человеческого... Изредка слышалось заглушённое бряцание оружия, и только. По большой дороге потянулись вереницы экипажей с ранеными. Их стоны и крик да еще отдаленный грохот пушек одни нарушали мертвящую тишину, которая нас окружала со всех сторон. За ними потянулись отряды пехоты, ничтожные

остатки возвращающихся из сражения полков. Безмолвные, хотя и в полном порядке, шли они мимо нас, почти невидимые под кровом ночи, если бы не блеск штыков, который обнаруживал их»²⁶. Маршал Л. Н. Даву, ожидая на рассвете сражения с русскими, «приготовлялся к обороне» и был ошеломлен исчезновением противника, оторвавшегося от преследования. «Сей непростительный и грубый Даву проступок был причиною соединения армий: иначе никогда, ниже за самую Москву, невозможно было бы ожидать оно́го, и даже надежды самые, редко в крайности оставляющие исчезли. Если бы кто из наших генералов впал в подобную погрешность, к какой казни не осудило бы его общее мнение! Маршал Даву, 20 лет под руководством величайшего из полководцев служивший, сотрудник его в знаменитейших сражениях, украшавший неоднократно лаврами корону своего владыки, <...> сделал то, что каждый из нас едва ли сделать способен. <...> Тебе благодарение, знаменитый Даву, столько пользам России послуживший!» — иронизировал А. П. Ермолов над фатальной оплошностью одного из лучших французских военачальников.

Итак, обе русские армии «бегом» устремились к Смоленску. Сардинский посланник Ж. де Местр, определивший своего сына на службу в российскую армию в это непростое время, сообщал своим «конфидентам» драгоценные подробности «русского похода»: «Сын мой пишет из Смоленска 20 июля: “Мы шли от Полоцка к Витебску форсированным маршем; у Витебска дрались три дня подряд, почти не вылезая из седел; от Витебска до Смоленска прошли в один марш, то есть за два дня и одну ночь, останавливаясь только для кормления лошадей. 14-го я испытал то, чего не бывало со мною с самого начала службы: ехал верхом в течение двадцати четырех часов без сна, еды и питья”. Вы видите, г-н граф, что теперь происходит. На другой день сей молодой человек писал мне: “Какие люди! Какие кони! Что за храбрость! Я начинаю верить в возможность чуда...”»²⁷.

П. Х. Граббе, описывая напряженный марш от Витебска к Смоленску, рассказывал: «Вследствие ли истощения сил после всего случившегося со мной от самой

Вильны, или от глубокого чувства опасного положения армии, или сильного жару, или от всего этого вместе, голова у меня внезапно закружилась, и я упал под лошадь в обмороке»²⁸. А как торопились навстречу своим братьям по оружию воины 2-й армии! И. Р. фон Дрейлинг вспоминал: «Два раза на дню мы спешили, и нам давали отдых, да и то не более часа. Раз на дню кормили лошадей, а в этот короткий промежуток времени старались что-нибудь сварить. А там опять на лошадей и дальше. Наконец мы в Смоленске. Цель наша достигнута. Здесь мы встретили 1-ю армию и соединились с ней»²⁹. Даже от самых закаленных воинов, преодолевавших «на скорость» в палящий зной десятки верст, требовалось немало выносливости. Но в армии находились юноши, выступившие в поход в преддверии офицерского чина, для которых их первые испытания оказались последними. Об одном из них, так и не достигшем офицерского чина, всю жизнь вспоминал Н. Е. Митаревский: «Особенно наше внимание обратил на себя израненный умирающий юнкер, положенный около дороги; никого при нем не было. Многие останавливались взглянуть на него, и я тоже подошел; но никто не мог ему помочь. Молодое, прекрасное и благородное лицо его покрыто было бледностью и на нем уже обозначались предсмертные страдания. Это зрелище произвело на меня такое впечатление, что, когда впоследствии сын мой поступил на службу юнкером, то до самого его производства в офицеры мне часто представлялся этот несчастный и меня страшила мысль, что и сын мой может дойти до такого ужасного положения»³⁰.

Вопреки заверениям Наполеона в том, что «Багратион с Барклаем больше никогда не встретятся», русские армии 21 июля соединились под Смоленском. Командование над ними принял военный министр Барклай де Толли, которому, несмотря на старшинство в чине, подчинил себя Багратион. Смоленск — соединение — сражение, этими словами определялись радостные ожидания воинов обеих армий. «Радость обеих армий была единственным между ними сходством. Первая, утомленная отступлением, начала роптать и допустила

беспорядки, признаки упадка дисциплины», — констатировал А. П. Ермолов³¹. Как явствует из воспоминаний Н. Е. Митаревского, начальство в период отступления далеко не всегда могло справиться с терявшими «бодность духа» подчиненными: «Однажды мы в такую сильную жару, в полдень, проходили большое селение; от жары и усталости солдаты тащились, едва передвигая ноги. Впереди послышался сильный шум и визг; вышедши из селения, мы увидели огромное стадо свиней; много людей из шедших впереди полков, увидевши стадо и забывши усталость, бросились на него, окружили стадо и стали колоть штыками свиней; побежали и наши от орудий с тесаками. Орудия и полки шли своим порядком, а офицеры остановились и смотрели. Славная и смешная была охота: свиньи, когда их начали колоть штыками, так рассвирепели, что бросались на солдат и сбивали некоторых с ног. Происходил шум, крик, визг и смех, когда кто-нибудь из солдат падал. На шум прискакали генерал Дохтуров и генерал Капцевич с своими свитами. Дохтуров послал адъютантов унять беспорядок, но они ничего не могли сделать: за шумом, криком и визгом никто на них не обращал внимания. Это продолжалось, пока перекололи свиней, разрезали на куски и повздевали на штыки. Немногие из стада могли прорваться. Генералы смотрели и не только не сделали замечания на такой беспорядок, но даже заметно было на их лицах удовольствие, что люди, уставшие, еле тащившие ноги, от пустого случая ободрились и в полной амуниции с ружьями могли бегать, как ни в чем не бывало»³². В Смоленске главнокомандующий 1-й армией решил положить конец нарушениям дисциплины, но его «благодетельная строгость» вызвала негодование среди офицеров. Так, А. М. Коншин рассказывал: «Признаюсь, я был поражен при этом поведением Баркляя. В какой-нибудь час времени как мы тут стояли, он разослал всех нас для поверки — есть ли у солдат, выходявших из лагеря по своим надобностям, как, например, с бельем на речку, билеты на отлучку из команды. Он говорил об этом с такой важностью, как будто нарушение этого порядка было выражением самого крайнего упадка дисциплины. Какое мелочное требо-

вание и в какое время! Как мало соответствовал этот немецкий педантизм духу русского солдата»³³. Далее события разворачивались совсем драматично: Барклай де Толли приказал «для примера» расстрелять солдата, задержанного без «билета на отлучку». По-видимому, этот прискорбный случай произвел на Коншина гнетущее впечатление, не изгладившееся с годами: «Много лет прошло с того времени, но и до сих пор, когда случится мне видеть портрет или статую Барклая, мне кажется, что они с головы до ног обрызганы невинною кровью этого мученика». Безусловно, недовольство Барклаем, порожденное в первую очередь вынужденным отступлением, нарастало как снежный ком. Участники похода готовы были обвинять его во всех смертных грехах вплоть до измены.

«Вторая армия явилась совершенно в другом духе! Звук неумолкающей музыки, шум не перестающих песней оживляли бодрость воинов. Исчез вид понесенных трудов, видна гордость преодоленных опасностей, готовность к превозможению новых. Начальник — друг подчиненных, они — сотрудники его верные! По духу 2-й армии можно было думать, что пространство между Неманом и Днепром она не отступая оставила, но прошла торжествуя!» — рассказывал А. П. Ермолов. П. Х. Граббе в записках передал чувства русских офицеров, наблюдавших в Смоленске за долгожданной встречей обоих главнокомандующих: «Между обеими армиями в нравственном их отношении была та разница, что 1-я надеялась на себя и на Русского Бога, 2-я же сверх того и на князя Багратиона. На Барклая сначала надеялись и потом перестали. На Багратионе сосредоточились надежды обеих армий. Первый своею личностью невыгодно действовал на других. Скромный, молчаливый, лишенный дара слова и в Русской войне с нерусским именем, осужденный с главной армией на отступление, тогда еще немногими оцененное, он для примирения с собою необходимо должен был иметь важный успех, которого не было; князь же Багратион с орлиною наружностью, с метким в душу солдата словом, веселым видом, с готовой уже славой, присутствием своим воспламенял войска»³⁴.

Согласие главнокомандующих было недолговечным. После трехдневного сражения под Смоленском 4—6 августа Барклай отдал приказ об оставлении старой русской твердыни. Падение Смоленска явилось ошеломляющим известием для всех россиян и сопровождалось крайним ожесточением армии против Барклая, поступок которого с военной точки зрения можно оправдать обстоятельствами. «Защита могла быть необходимою, если главнокомандующий намеревался атаковать непременно. Но собственно удержать за собою Смоленск в разрушении, в котором он находился, было совершенно бесполезно», — оправдывал Барклай А. П. Ермолов³⁵. От наступательных действий Барклай де Толли воздерживался также по вполне объяснимой причине: под Смоленском подавляющее большинство в силах (190 тысяч против 130 тысяч) было на стороне неприятеля. В то же время военный министр, как никто другой, ощущал на себе бремя моральной ответственности, так как именно ему государь сказал на прощание: «Поручаю вам мою армию. Не забывают, что у меня нет другой, и пусть эта мысль никогда вас не оставляет».

Но у тех, кто порицал Барклая, была своя правда. Боевые действия приблизились к «сердцу Отечества». На подступах к Смоленску солдаты кричали: «Мы видим бороды наших отцов!» и требовали сражения. Эти же чувства испытывали офицеры и генералы. Отступавшие войска были угнетены и подавлены зрелищем покидаемого города. «Он весь уже казался в огне. Этот огромный костер церквей и домов был поразителен. Все в безмолвии не могли свести с него глаз. Сквозь закрытые веки проникал блеск ослепительного пожара». И даже сдержанный в чувствах Ермолов по-особому воспринял потерю этого города, вдруг болезненно осознав тягостный смысл свершавшегося: «Разрушение Смоленска познакомило меня с новым совершенно для меня чувством, которого войны, вне пределов Отечества выносимые, не сообщают. Не видел я опустошения земли собственной, не видел пылающих городов моего Отечества. В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раз раскрылись глаза

на ужас бедственного их положения»³⁶. «Лучший способ закрыть себя от неприятеля — есть разбить его», — написал в те дни в письме домой командир 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Н. Н. Раевский³⁷. «Мы дрались в старой России, которую напоминала нам всякая береза, у дороги стоявшая, — рассказывал И. Ф. Паскевич. — В каждом из нас кровь кипела»³⁸. А каким укором отступавшим воинам показались слова, написанные женской рукой на стене дома, стоявшего у самой Смоленской дороги: «Прости, моя милая Родина!» Генералы настаивали на том, чтобы князь Багратион на правах старшего в чине отстранил Барклая и сам вступил в командование соединенными армиями, однако Багратион отказался, сославшись на отсутствие волеизъявления императора. Начальник артиллерии 1-й армии генерал-майор «граф Кутайсов, украшенный новой славой дня, любимый всеми и главнокомандующим, на дар слова которого надеялись, принял на себя передать ему желания и надежды первых лиц армии. Барклай де Толли выслушал его внимательно и с кроткой лаской отвечал ему: “Пусть всякий делает свое дело, а я сделаю свое”». Офицеры, служившие в 1-й армии, стали требовать перевода во 2-ю армию, чему способствовала публичная выходка против Барклая цесаревича: «Константин Павлович без доклада взошел к нему со шляпой на голове, тогда как главнокомандующий был без шляпы, и громким и грубым голосом закричал на него: “Немец, шмерц (колбасник *(нем.)*). — Л. И.), изменник, подлец; ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде. Курута, напиши от меня рапорт к Багратиону, я с корпусом перехожу в его команду” — и сопровождал эту дерзкую выходку многими упреками и ругательствами. Все присутствующие это видели и слышали»³⁹. Конфликт между главнокомандующими, к которому так или иначе оказались причастны офицеры обеих армий, принял характер устойчивой вражды. «Один раз в Гавриках, — говорил Ермолов, — я был в таком положении, что едва ли когда кто другой находился в подобном. Барклай сидел среди двора одного дома на бревнах, приготовленных для построек; Багратион большими шагами расхаживал по двору, и ругали

в буквальном смысле один другого: “Ты немец! Тебе все русское нипочем”, — говорил князь. “Ты дурак и сам не знаешь, почему себя называешь коренным русским”, — возражал Барклай. Оба они обвиняли один другого в том, что потеряли из виду французов и что собранные каждым из них сведения, чрез их лазутчиков, одни другим противоречат! Я же в это время, — добавил Ермолов, — будучи начальником штаба Барклая, заботился только об одном, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора и потому стал у ворот, отгоняя тех, кто близко подходил, говоря, что главнокомандующие очень заняты и совещаются между собой»⁴⁰. М. Б. Барклай де Толли как мог противостоял ропоту негодования в войсках, но в этих «сверхобыкновенных условиях» дни его пребывания на посту главнокомандующего соединенными армиями были сочтены...

Дальнейшее движение русских армий по Московской дороге было тяжелым и безрадостным. «В наших общих молитвах, в том “Отче наш”, с которым я обращался к Творцу, слышалась из глубины души одна мольба — чтоб завтра же нам дали возможность сразиться с врагом, хотя бы пришлось умереть — только бы дальше не отступали! Наша гордость, гордость еще не побежденного солдата, была оскорблена и глубоко возмущена. Как! Мы отступали перед надменным врагом, а они все глубже и глубже проникали в родные поля каждого из нас, все ближе и ближе и никем не сдерживаемые подступали к самому сердцу нашего общего Отечества», — свидетельствовал о настроениях в армии один из участников тех событий⁴¹.

Правда, порой в походе случались весьма забавные происшествия, отвлекавшие «детей Марса» от мрачных раздумий. Так, Н. Е. Митаревскому запомнился курьез, случившийся в войсках 6-го пехотного корпуса генерала Д. С. Дохтурова где-то между Витебском и Смоленском: «Тревога произошла страшная. Офицеры наши и пехотные собрались в кучки на поляне, где мы находились, и толковали, что будет с нами. — Отрезаны мы, окружены неприятелями в лесу? — дело выходит плохо. — Впереди колонны скакал мимо нас какой-то полковой адъютант. Мы обратились к нему с вопросом: “Что там

такое?” А он скачет дальше, ничего не отвечая, только махнул рукой. Нам всем досадно стало. — “Вот, говорили, заважничал, что навьючили на него какую-то новость, так и говорить не хочет”. — При выезде с поляны в лес была большая грязная лужа; адъютант подскочил к ней, лошадь оступилась и он через голову лошади полетел в лужу, да так, что почти весь туда спрятался с головой. Во всяком случае первую мыслью было бы пожалеть его, а тут, с досады на его невнимательность, сказали: так ему и надо. Когда же он начал подниматься и карабкаться по грязи, то поднялся страшный хохот. Смеялись офицеры и солдаты; смеялись, кажется, и те, кто ничего не видал, а из подражания другим. Смех и хохот по всему лесу поднялся до того сильный и отразился таким сильным эхом, что казалось, что произошло что-то страшное. Вдруг видим впереди скачет генерал Дохтуров с своим штабом, и такой встревоженный, каким мы никогда его не видели. Он спросил: “Что такое, что случилось?” До самой поляны, где мы стояли, никто ничего не знал; тут подошел к нему один полковник и рассказал случившееся. Дохтуров вздохнул и сам засмеялся, тем более, что тревога была совершенно пустая»⁴².

Александр Муравьев в записках рассказал об озорной проделке своего брата: «Николаю вздумалось попугать Депрерадовича (начальника 1-й кирасирской дивизии). Он отлично голосом, лицом и движениями перенимал Константина Павловича, который строго требовал, чтобы офицеры на походе были на своих местах, что при этом случае исполнять было невозможно. Дело было ночью; брат Николай с двумя будто бы своими адъютантами, мною и Бутурлиным, поскакал обгонять полки, и мы оба за ним. Поравнявшись с офицерами, он, переняв голос великого князя, стал кричать: “Под арест, под арест, офицеры, по своим местам!” Так продолжал он, проскакав и мимо Депрерадовича, и мы доскакали до села, где назначен был первый переход.

К утру приехал и великий князь <...>, и весь корпус по исправленной уже дороге пришел и расположился лагерем. Хотя такой поступок и подвергал нас, особенно Николая, опасности, если бы он открылся, но мы

спокойно явились утром к Куруте как ни в чем не бывало. Явился также к великому князю Депрерадович с испуганным, встревоженным и виноватым лицом с рапортом вполголоса. Константин Павлович, удивясь его смущению, спросил его: “Что с тобою сделалось?” Он отвечал: “Виноват, Ваше Высочество! Вы заметили и гневались и приказали арестовать за то, что офицеры не были при своих местах, но по трудности переправы это не было возможно”. Тут великий князь, догадавшись, что Депрерадовича одурачили, сделал, однако, ему выговор за неисправность на походе, а между тем поручил Куруте разузнать, кто бы мог над ним подшутить, и не брат ли Николай, потому что он знал его искусство перенимать его. Курута дал слово, что ни брату и никому ничего худого не будет, и после некоторого заперательства брат сознался, и это забавное дело счастливо сошло и ему и нам с рук».

П. С. Пущин сохранил в памяти другой эпизод периода отступления обеих русских армий: «Мы достигли нашей стоянки только поздно вечером в полной темноте. В продолжение целого дня какая-то женщина шла с нашей колонной и говорила тем, кто ее спрашивал, что она принадлежит генералу Лаврову. Все удовлетворялись таким ответом, пока один шутник не вздумал за ней ухаживать и в порыве страсти сорвал головной убор, из-под которого показалась мужская голова. Оказалось, что это был шпион; его отправили в главную квартиру»⁴³. Склонный же к самоанализу П. Х. Граббе сделал в ту пору наблюдения, характеризующие внутреннее состояние русских офицеров после оставления Смоленска: «Есть в жизни положения, более отражающие некоторые дни ее. Не особенною деятельностью памятливы они; напротив, можно назвать их страдательными. Это какое-то отражение внешнего мира в душе вашей, полной обыкновенного, после множества сильных, последовательных впечатлений. Это кризисы нравственного образования, на целую жизнь действующие. Таковы были для меня эти дни до Бородинского побоища»⁴⁴.

Главкомандующие тем временем делали все, чтобы «приискать новую позицию», однако в ходе этих по-

исков «раздоры» между ними все более углублялись, давая пищу для офицерских пересудов. «Генерал-квартирмейстер Толь выбрал перед Дорогобужем (позицию. — Л. И.), казавшуюся ему выгодной. Оба главнокомандующие и Цесаревич Константин со своими штабами выехали 12 августа осмотреть ее. Я поехал также. Барклай де Толли заметил разные невыгоды этой позиции, в особенности на левом ее фланге. Толь защищал ее с самонадеянностью и без осторожности в выражениях, наконец, прибавил в увлечении, что позиция, им избранная, не может иметь тех недостатков, какие в ней находят. Тут разразилась туча. Едва он выговорил это с тоном еще более неприличным, чем самые слова, как князь Багратион выехал вперед: “Как смеешь ты так говорить и перед кем: взгляни, перед братом Государя, перед главнокомандующими! Ты знаешь, чем это пахнет, — белой рубашкой”. Все умолкло. Барклай де Толли сохранил неколебимое хладнокровие, Цесаревич осадил свою лошадь в толпу, у Толя пробилась слеза и текли по суровому лицу. Позиция оставлена, и приказано было тотчас отступать. Канонада в арьергарде слышалась уже близко. Отошли к Вязьме. Разногласие между главнокомандующими не было уже тайной для армии. Все почти склонялись на сторону князя Багратиона. Дух уныния и осуждения всего, что делалось, из глухого делался громким. В Главной квартире пели:

Vive l'ettat militaire
Qui promet a nos souhaits
Les retraites en temps de guerre,
Les parades en temps de paix.

(Да здравствуют военные, которые обещают нам отступление во время войны и парады в мирное время)⁴⁵. Как видим, увлечение государя и его брата цесаревича Константина Павловича парадными не было оставлено без внимания, вызвав особое нареkanie. Однако оплошностью при Дорогобуже злоключения полковника К. Ф. Толя не закончились, о чем поведал И. С. Жиркевич. Зная, что русский арьергард располагался вблизи деревни Усвяты, он отправился с вверенной ему командой в «тыл» русской армии на «фуражировку». Велико

же оказалось его изумление, когда он встретил крестьян из принадлежавшей ему деревни, которая должна была находиться западнее расположения русских войск. Крестьяне, в свою очередь, были не менее удивлены тем, что их барин без опаски разъезжает в непосредственной близости от неприятеля. Тут-то даже поручику гвардейской артиллерии стало ясно, что русские войска стоят спиной к неприятелю! А. П. Ермолов отметил: «Последствий от того не было, и намерение ожидать неприятеля вскоре отменено. Полковник Толь, отличные имеющий познания своего дела, не мог впасть в подобную ошибку иначе, как расстроен будучи строгим замечанием князя Багратиона... Чрезмерное самолюбие его поражено было присутствием многих весьма свидетелей»⁴⁶. Поразительно, однако, что войска, выказывавшие недоверие «немцу» Барклаю де Толли, при отступлении из Дорогобужа «почти взбунтовались и громогласно требовали Беннигсена», даже не имевшего российского подданства!

В те дни, когда армия испытывала, по словам П. Х. Граббе, «кризис нравственного образования», к ней навстречу выехал человек, которому при тех же самых средствах в считанные дни удалось чудом переломить настроение в войсках, о котором свидетельствовал Л. Л. Беннигсен: «Он должен был стать во главе армии, не скажу — упавшей духом, но с самого начала кампании отступавшей перед неприятелем, которая, от генерала до солдата, жаждала смены главнокомандующего, в особенности после сдачи Смоленска». Это был 67-летний «екатерининский орел», генерал от инфантерии светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, назначенный главнокомандующим всеми российскими армиями согласно воинским дарованиям и «самому старшинству» в чине. Знаменитая французская писательница Ж. де Сталь стала свидетельницей последних приготовлений Кутузова к отъезду: «Это был старец весьма любезный в обращении; в его лице было много жизни, хотя он лишился одного глаза и получил много ран в продолжение пятидесяти лет военной службы. Глядя на него, я боялась, что он не в силе будет бороться с людьми суровыми и молоды-

ми, устремившимися на Россию со всех концов Европы. Но русские, изнеженные царедворцы в Петербурге, в войсках становятся татарами и мы видели на Суворове, что ни возраст, ни почести не могут ослабить их телесную и нравственную энергию. Растроганная покинула я знаменитого полководца. Не знаю, обняла ли я победителя или мученика, но я видела, что он понимал величие подвига, возложенного на него. Перед ним стояла задача восстановить добродетели, насажденные христианством, защитить человеческое достоинство и его независимость; ему предстояло выхватить эти блага из когтей одного человека, ибо французы, немцы и итальянцы, следовавшие за ним, не повинны в преступлении его полчищ. Перед отъездом Кутузов отправился помолиться в церковь Казанской Божией Матери (Казанский собор в Санкт-Петербурге. — *Л. И.*), и весь народ, следовавший за ним, громко называл его спасителем России. Какие мгновения для простого смертного! Его годы не позволяли ему надеяться пережить труды похода; однако в жизни человека бывают минуты, когда он готов пожертвовать жизнью во имя духовных благ»⁴⁷. Сборы маститого полководца в поход, из которого ему уже не суждено было вернуться, были недолгими, но и непростыми по причине общей для многих русских военных беды — нехватки денежных средств. Положение было исправлено вмешательством государя, пожаловавшего генералу 10 тысяч рублей, дорожную карету и коляску. Взяв с собою «для письменных дел историка Суворова — Егор(а) Бор(исовича) Фукса», светлейший отбыл к войскам. Вместе с Кутузовым в Главную квартиру армии возвращались повадки «большого барина» и придворная учтивость екатерининского вельможи. Как знать, может быть, это были действенные составляющие его успеха? Казалось, на глазах у всех, под натиском торжествующего неприятеля, распадалась привычная повседневность, которая вдруг возродилась с прибытием этого старого самоуверенного аристократа, завершившего письма Барклаю де Толли и Багратиону о своем назначении с придворной церемонностью, которую не могли поколебать даже бедственные обстоятельства: «Я оставляю личному моему с Вашим Высокопре-

восходительством свиданию случай удостоверить Вас, милостивый государь мой, в совершенном почтении и преданности, с коими имею честь быть, Вашего Высокпревосходительства всепокорный слуга...»⁴⁸

По свидетельству П. Х. Граббе, светлейший прибыл к соединенным армиям вовремя: «18 августа на биваках Царева-Займища внезапно разнесся слух, что новый главнокомандующий Кутузов назначен, уже прибыл и в лагере. Тогда только по всеобщей, восторженной радости можно было убедиться, до какой степени дошли в армии уныние, неудовольствие и желание перемены». Однако, как ни велики были надежды армии на быструю «счастливую перемену обстоятельств», путь к торжеству над неприятелем был все еще не близок и тернист. Даже желанная генеральная битва при Бородине не явилась, как предполагали многие, концом отступления. Нравственные же терзания русских офицеров — людей чести, которые не смогли остановить французов у самых стен Москвы, казалось, будут продолжаться бесконечно. За день до вступления армии Наполеона в Москву А. В. Чичерин поместил в дневнике крик души: «Прочь печальные и мрачные мысли, прочь позорное уныние, парализующее возвышенные чувства воина! Не хочу верить злым предвещаниям, не хочу слушать досужих говорунов, которые ищут повсюду только дурное и, кажется, совершенно не способны видеть ничего прекрасного. Пусть нас предали, я еще буду сражаться у врат Москвы и пойду на верную гибель, хотя бы и для того, чтобы спасти Государя. Я не усташусь никаких опасностей, я брошусь вперед под ядра, ибо буду биться за свое Отечество, ибо хочу исполнить свою присягу и буду счастлив умереть, защищая свою Родину, Веру и правое дело...»⁴⁹

Самой горестной страницей «русского похода», безусловно, явилось оставление Москвы. В числе первых, кто узнал о драматическом исходе военного совета в Филях, постановившего «уступлением» древней столицы неприятелю спасти армию, оказался адъютант М. И. Кутузова — А. И. Михайловский-Данилевский: «По окончании совещания, определение коего мне еще было неизвестно, светлейший призвал меня к себе в избу.

Я застал его, сидевшего одного подле маленького столика. “Напиши, — сказал он мне, — к графу Ростопчину, что я завтра оставляю Москву, — и когда я посмотрел на него с выражением величайшего удивления, то он с жаром сказал: — что ты на меня смотришь, разве ты не слышишь, что я тебе приказываю написать Ростопчину?” Я не могу изъяснить чувств, мною овладевших тогда; я старался их выразить в истории моей сего похода, а здесь скажу только, что мы весь вечер ходили взад и вперед по деревне Филям, плакали, как дети, и только что не предавались отчаянию»⁵⁰.

Москвич, отставной генерал екатерининского времени, князь Д. М. Волконский, как и полагалось людям его поколения, даже в дневнике надежно скрыл глубокую скорбь за подробным описанием внешних происшествий: «31-го (августа) узнали мы, что уже Кутузов в 10-ти верстах. Вечеру я туда поехал, нашел, что на заставе армейская команда и везде по всему полю рассеяны солдаты и зажжены огни. Я доехал в 10 часов вечера до Главной квартиры (так в тексте. — *Л. И.*), всего 10 верст по Можайской дороге, переночевал в коляске, а поутру видел Кутузова. Он сказал мне, что употребит меня в службу и напишит Государю принять меня в службу <...>. Я, переговора с ним о делах армии, был у Барклая де Толля (так в тексте. — *Л. И.*). С ним также говорил об армии. Кутузов откровенно сказал, что неприятель многочисленнее нас и что не могли держать пространную позицию и потому отступают все войска на Поклонную гору к Филям. Я оттуда возвращаясь, уже все полками ехал и с артиллериею <...>. В Москве столько шатающихся солдат, что и здоровые даже кабаки разбивают. Ростопчин (так в тексте. — *Л. И.*) афишкою клич кликнул, но никто не бывал на Поклонную гору для защиты Москвы. В армии офицеров очень мало, о чем и Барклай мне говорил, и очень беспорядочно войска идут, что я мог приметить утром 1 сентября, ехав от Кутузова. Лавров Ник. Ив. присылал ко мне за овсом, и вина ему я послал. Вечеру приехал я в армию на Фили, узнал, что князь Кутузов приглашал некоторых генералов на совещание, что делать, ибо на Поклонной горе драться нельзя, а неприятель послал в обход на Москву. Барк-

лай предложил первой, чтобы отступить всей армии по Резанской дороге через Москву. Остерман неожиданно был того же мнения противу Беннигсена и многих. Я о сем решении оставить Москву узнал у Беннигсена, где находился принц Вюртембергской и Олденбургской. Все они были поражены сею поспешностью оставить Москву, не предупредя никого»⁵¹. В этом случае неправильная орфография и «рубленые» фразы — характерный сословный признак аристократа минувшего царствования, решившего возвратиться в строй, коль скоро «молодой Государь» не справился с управлением империей, допустив врага в самое сердце России.

С оставлением Москвы у каждого русского офицера были связаны свои воспоминания, которые много лет спустя, несмотря на вступление в Париж, разрывали им сердце. Так, находившийся тем погожим и ясным утром в госпитале Д. В. Душенкевич рассказывал: «Едва утреннего солнца яркие лучи осветили 2 сентября окна наши, директор, или наблюдавший за больницами граф Толстой принес самую пасмурную весть. Короткими словами он предложил нам: на приготовленных на дворе подводах спасаться в город Владимир. “А французы сегодня вступают в Москву”, — прибавил он, залившись слезами, и вышел, рыдая горько. Всякой может себе представить, что делалось в таком разе между тысячью ранеными штаб- и обер-офицерами. Этот час смятения, воплей общих и разительные преждевременные кончины беспомощных тяжелораненых налагает молчание!»⁵² Все раненые, кто мог передвигаться, торопились уйти вместе с армией: «<...> Звуки музыки и барабанов указывали нам путь, где войска проходят; с помощью их, встретив какую-то артиллерийскую роту, вышли при ней за Москву в немой скорби от неразумения происходящего. За заставой, в небольшом отдалении стояла кавалерия наша левее дороги, как бы блокируя Москву; по дороге и по полям правее оной, во множестве колонн отступала армия с многочисленными военными и гражданскими обозами, под прикрытием той спешенной, но готовой к бою кавалерии; в колоннах войск общая скорбь и тихий унылый говор отзывался. На дороге же между артиллерию, экипа-

жами и обозами крик, слезы, волнения необъяснимые раздавались, поспешая удаляться от Москвы»⁵³.

Как сильно различались характеры русских офицеров! И. Р. фон Дрейлинг даже в этих обстоятельствах самоуверенно взирал на мир с высоты седла своей «Норманки», утешаясь тем, что «хорошо одетых» людей из приличного общества в городе не осталось: «3 сентября мы прошли через всю Москву, которая к этому времени была покинута жителями; на всех лицах лежал отпечаток глубокой грусти и отчаяния. В улицах и переулках встречалась одна беднота, да подонки городского населения. В отчаянии они хватались за наши поводья, за стремяна, умоляя о спасении и защите. Хорошо одетых никого не было видно. Почти до самого вечера тянулось через всю огромную Москву это печальное шествие. Французы шли за нами по пятам и заняли Москву»⁵⁴. Генерал Д. С. Дохтуров, командир 6-го пехотного корпуса, в тот же день сообщил жене: «...Я в отчаянии, что оставляют Москву. Какой ужас! Мы уже по сторону столицы. Я прилагаю все старание, чтобы убедить идти врагу навстречу. Беннигсен был того же мнения. Он делал, что мог, чтобы уверить, что единственным средством не уступить столицы было бы встретить неприятеля и сразиться с ним. Но это отважное мнение не могло подействовать на этих малодушных людей — мы отступили через город. Какой стыд для русских покинуть отчизну без малейшего ружейного выстрела и без боя. Я взбешен, но что же делать? Следует покориться, потому что над нами, по-видимому, тяготее кара Божья. Не могу думать иначе. <...> Какой позор! Теперь я уверен, что все кончено, и в таком случае ничто не может удержать меня на службе». Автор этих строк — москвич, для которого потеря Москвы — безутешное горе.

На пути следования русской армии М. Б. Барклай де Толли предусмотрительно распорядился разбивать винные погреба, чтобы не потерять управления над армией, которая, следует признать, двигалась в большом беспорядке, надежно прикрываемая арьергардом М. А. Милорадовича, которому удалось договориться с маршалом И. Мюратом, что он сдаст французам город без боя, если те позволят русским беспрепятствен-

но его покинуть. Впрочем, в этой ситуации даже офицеры позволяли себе забредать в заветные погреба. Так, Н. Н. Муравьев вспоминал: «Дом князя Урусова оставался почти пустой. Мы пошли с Александром обыскивать его, дабы взять то, что возможно было с собою увезти. Старый лакей Колонтаев показал нам два запечатанные погреба, о коих мы еще в детстве слышали по рассказам, что князь Урусов, лет 40 тому назад, запасал в них хорошие вина, которые никогда не подавались к столу. Печати были сломаны, замок отбит, и мы водворились с фонарем и рюмкой для пробы вин, разрыли песок и нашли зарытые бутылки со старым венгерским и другими отличными винами и ликёрами. Много увезти нельзя было за недостатком места для укладки, и потому, выбрав бутылок двадцать, мы уложили их в ящик, чтобы с собой взять. Остальным вином угощали мы приезжавших к нам товарищей; но за всем тем, в два дня пребывания нашего в Москве, мы не извели и четвертой доли всего запаса»⁵⁵.

В ту эпоху, как и во все времена, в «сверхобычайных» условиях люди вели себя по-разному. Пока братья Муравьевы пробовали вина и ликеры, П. Х. Граббе в немой печали стоял у обочины, потрясенный всем происходившим: «При выходе из Москвы я остановился у Коломенской заставы; войска и обозы, пешие всяких званий тянулись мимо, уходя за армией. Наконец толпы стали редеть; потом дорога опустела. Сколько времени я простоял, бросив поводя на шею лошади, какие мысли, какие ощущения сменялись и смешивались один с другими, не могу сказать. Но если бы могли они остаться навсегда присутственными, на всем пути жизни, то не только дурной и двусмысленный поступок, но даже мышление были бы невозможны»⁵⁶.

Всего за неделю до этого события, в битве при Бородине, русские офицеры, по словам М. М. Петрова, не убитыми быть боялись, а остаться в живых в том случае, если Москву отстоять не удастся. Теперь же их глаза видели то, что не должны были увидеть, — пожар Москвы! Так, Д. В. Душенкевич вспоминал: «Уже вечерело, мы с товарищем прошли еще не более двух или трех верст, как гул и треск, подобный чему-то необыкновен-

но ужасному, поразил всех; оборотясь на звук, увидели поднявшийся над Москвой взрыв: лопающиеся во множестве бомбы, гранаты и сильное пламя освещали средину столицы, оставляемую ее верными сынами. Войска все продолжали удаляться...»⁵⁷ Что чувствовали в те мгновения офицеры императорской армии, за спиной которых пылала Москва, «возраставшая семь веков»? Слова, по-видимому, были бессильны выразить их сердечную боль. Надежда Дурова вспоминала об этих тягостных минутах: «Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливался и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы: иногда вырываются у них слова: лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву». И. Т. Родожичский в «Походных записках артиллера» рассказывал: «Через ночь пожар усилился и поутру, 3 сентября, уже большая часть горизонта над городом означалась пламенем: огненные волны восходили до небес, а черный густой дым, клубясь по небосклону, расстилался до нас. Тогда все мы невольно содрогнулись от удивления и ужаса. Суеверные, не постигая, что совершается пред их глазами, думали уже с падением Москвы видеть падение России, торжество антихриста, потом скорое явление страшного суда и кончину света. Место удивления заступило негодование: “Вот тебе и златоглавая Москва! Красуйся, матушка, русская столица!” — говорили солдаты с большою досадою». Другой артиллерист, Н. Е. Митаревский, также оставил в воспоминаниях описание самого драматического события «русского похода»: «После обеда в стороне Москвы заметили густые облака или тучи. Облака эти постепенно распространялись, переменяли вид и густели. Под вечер собралось к нам несколько пехотных штаб- и обер-офицеров, и образовался порядочный кружок у огня. Сначала мало говорили, курили трубки. Изредка кто-нибудь скажет: “Смотрите, как завиваются облака над Москвою”. — “Плохо дело, — начали говорить, — Москва горит!..”, и принялись ругать французов».

О причинах пожара в офицерской среде судили по-разному. Так, Карл фон Клаузевиц, служивший в 1812

году в русской армии, придерживался суждения, высказанного Кутузовым в беседе с посланником Наполеона генералом Лористоном, прибывшим вскоре в ставку главнокомандующего с предложением о мире. Немецкий генерал полагал, что именно неприятель повинен в уничтожении одного из богатейших и красивейших городов мира: «Хотя русские уже были приучены к жертвам пожаром Смоленска и многих других городов, все же пожар Москвы поверг их в глубокую печаль и еще более усилил в них чувство негодования против врага, которому приписывали этот пожар, как акт подлинного зверства, как следствие его высокомерия, ненависти и жестокости»⁵⁸. Правда, впоследствии некоторым офицерам стало казаться, что и в этот суровый час они уже мысленно торжествовали над неприятелем. Н. Б. Голицын поведал в записках: «...Когда зарево пылающей Москвы озарило нас своим светом, слезы градом потекли из глаз моих. Но скоро сердце мое оживилось. Я почувствовал внутреннюю отраду при мысли, что вместо ожидаемых наслаждений и покоя враг найдет в Москве угощение достойное...» Генерал Ермолов высказался по поводу виновников «великого пожара» со всей определенностью: «Напрасно многие ищут оправдаться в этом и слагают вину на неприятеля: не может быть преступления в том, что возвышает честь всего народа. <...> В добровольном разрушении Москвы усматривают враги предстоящую им гибель. <...> Ни один народ из всех, в продолжении двадцати лет пред счастьем Наполеона смирявшихся, не явил подобного примера: судьба сберегла его для славы россиян. Двадцать лет побеждая все сопротивлявшиеся народы, в торжестве неоднократно проходил Наполеон столицы их; через Москву единую лежал ему путь к вечному стыду и сраму...» Свитскому офицеру А. А. Щербинину, по прошествии многих лет, представлялось, что дело было так: «Между тем в правой отдаленности пылало пламя, пожиравшее Москву. Оставленная жителями и войском, она, как мертвый труп, была предана на сожжение хладнокровно»⁵⁹. Впечатления тех дней, вероятно, стерлись в памяти автора этих строк, который во время движения армии по Рязанской дороге находился в арьергарде Милорадовича в весь-

ма сложном положении: «Мне становилась нестерпима временная командировка моя. Целую неделю я питался только чаем. У Милорадовича стола не было. Его наперерыв откармливали Сипягин и Потемкин. Казака при мне не было. Лошадь моя шесть суток оставалась нерасседланною; к вечеру я распушал ей только подпруги. Не знаю, кто ее кормил и поил».

Воспоминания М. М. Петрова свидетельствуют о том, что воинам русской армии в те дни трудно было оставаться «хладнокровным»: «Да, други мои! Я видел, как Москва пылала и сокрушалась лютым роком войны! Видел счастливых чрез два века граждан ее, с воплем бродивших по стогнам объятого врагами и пламенем города своего и бежавших куда зря во отчуждение от любезных им жилищ своих. Тут старцы, согбенные бременем лет и болезнями, едва живые брели, спотыкаясь, упрекая смерть и проклиная жребий свой, доведший их последние дни жизни до позорного бедствия Отечества. Там родители, обремененные ношами своего порождения и самого нужного имущества, подавляемые изнурением и гонимые страхом, ускоряли уход от ужасных врагов своих, падая шаг за шагом. А когда перешли мы Москву и выступили за Коломенскую заставу, то увидели по обеим сторонам почтовой дороги толпы воющих скитальцев, сидевших при огоньках в отчаянии и бродивших наобум, не имея ничего к отраде своей, кроме собственного вопля перед Господом. Тяжело мне и теперь вспомнить и досказать вам. Я видел несчастных младенцев, в скоропостижной общей беде родителями утраченных, на пути раздавленных скакавшими на уход колесницами. Во всем этом я видел впоследствии, о Боже! какую горькою чредою Ты, непостижимый, исполняя миллионы бедственных жребиев, ниспосылаешь избавления и благодать Твою царям и царствам земным, заливая кровию и слезами перуны войн пагубных»⁶⁰. Безусловно, религиозность русских воинов, от солдата до генерала, служила им тогда сильной и едва ли не единственной опорой...

Офицеры и генералы «фланговых» русских армий, сражавшихся вдаль от московского направления, хотя и не являлись свидетелями оставления «первого города

Империи», однако и они испытали тяжкое потрясение, получив горестную новость. Так, князь А. Г. Щербатов вспоминал: «В самый этот день получили мы печальное известие о занятии Москвы французами, мы поражены им были как громовым ударом, нельзя себе вообразить уныние и даже удивление, которое оно произвело во всем нашем войске; казалось, что древняя наша столица обесчещена и осквернена. Покорение ее мнилось невозможным событием. Злоба против врага и желание мести усилилось в каждом воине»⁶¹. Князь В. В. Вяземский, наблюдая издали за событиями на главном театре военных действий, по своему обыкновению предавался мрачным размышлениям. Так, 4 сентября, все еще не располагая сведениями о том, что столица уже вторые сутки находится в руках неприятеля, он записал в своем походном «Журнале»: «Какая перемена! <...> Отечество было покойно, служба утешительна, царствование еще не тягостно. Россия гордо смотрела на возвращение Наполеона из Египта, считая его обыкновенным удалцом. Славилась Суворова победами в Италии, не могли и предполагать замыслов Наполеона. Если бы тогда, кто сказал, что Наполеон будет в Смоленске, — посадили бы на стул и пустили кровь, — а в 10 лет, что теперь скажем? Что будем делать?»⁶² Наконец страшная новость достигла 3-й Резервной армии, и 12 сентября строптивый генерал излил душу на страницах «Журнала»: «Французы в Москве! Вот до чего дошла Россия! Вот плоды отступления, плоды невежества, водворения иностранцев, плоды просвещения, плоды, Аракчеевым, Клейнмихелем, *etc, etc*, насажденные, распутством двора взрощенные. Боже! За что же? Наказание столь любящей тебя нации! В армии глухой ропот: на правление все негодуют за ретирады от Вильны до Смоленска»⁶³. Заметим, что военные негодуют на правительство за отступление от Вильно до Смоленска, то есть до прибытия к армии Кутузова.

А как складывались тем временем отношения с «правлением» и с армией самого светлейшего, на высочайшей аудиенции по случаю своего назначения главнокомандующим «покаявшегося Государю своими седидами» (А. П. Ермолов), что неприятель вступит в

Москву не иначе как «через его мертвый труп» (Н. М. Лонгинов)? Без сомнения, Кутузов отдавал себе отчет в последствиях принятого им более чем непопулярного решения. Армия, с восторгом и надеждой встретившая его прибытие, вполне могла отказать ему в доверии после потери Москвы, а государь, назначив его против собственной воли, сместить с высокого поста. Адьютант фельдмаршала И. Н. Скобелев вспоминал, как штабные офицеры получили гневный и полный язвительного сарказма выговор от полководца, в присутствии которого они позволили себе бестактную выходку — тяжело вздыхать по поводу оставления Москвы: «Вы, верно, думаете, что я без вас не знаю, что положение мое именно то, которому не позавидует и прапорщик? У меня более всех причин вздыхать и плакать, но ты не смог придумать ничего хуже, как грустить перед лицом человека, с именем которого настоящий случай пройдет ряд многих веков и которому, ежели бесполезны утешения, еще менее нужны вздохи!» Вспомнив о том, что великие мужи той эпохи, в силу особенностей исторической психологии, обязательно соотносили свои поступки с Божьим судом и с мнением потомков, мы вынуждены будем признать, что Кутузову было тогда очень нелегко. В те дни, по выразительному определению П. Х. Граббе, полководец «выстрадал века целые». Кутузов старался лишней раз не встречаться ни с населением, ни с войсками, покидавшими Москву, поэтому он обратился к московскому генерал-губернатору графу Ф. В. Ростопчину с просьбой предоставить ему проводника, знавшего Москву, который провел бы его через город в стороне от людей. А. А. Щербинин рассказывал: «Я нашел Кутузова у перевоза через Москву-реку по Рязанской дороге. Я вошел в избу его по той стороне реки. Он сидел одинокий, с поникшею головою, и казался удручен»⁶⁴.

Однако даже в этих «тесных обстоятельствах» жизнь все равно продолжалась. Это со всей наглядностью явствует из походной зарисовки, представленной в дневниковых записях И. П. Липранди, состоявшего в должности квартирмейстера 6-го пехотного корпуса и бывшего как раз под командованием Д. С. Дохтурова, направив-

шего, как мы помним, своей супруге горестное письмо. Но вот, переправившись через Москву-реку, генерал разместился со штабом в избе, по-видимому, где-то неподалеку от удрученного главнокомандующего, и уставшие и физически, и нравственно офицеры наконец-то позволили себе привычный отдых: «Здесь по переезде через мост слезли с лошадей и, расположившись у берега Москвы-реки, поспешили также к своим чайникам. Пожар более и более усиливался <...>. Я поспешил к Уфимскому полку, чтобы узнать последствия взрыва в 3-м батальоне сум с патронами; к счастью, сошло с рук, фельдмаршал велел освободить Гинбута из-под ареста — сделать замечание, поставив на вид всей армии необходимую предосторожность. В час пополудни корпус окончательно расположился и я поехал доложить о сем генералу Дохтурову. Войдя в избу, я заметил его, графа Маркова, Бологовского и Талызина, играющими уже в крепс, по обыкновению, до обеда. Отправляясь на свою квартиру, я нашел графа Панина крепко спящим, и когда позвали обедать, то я и князь Вяземский (Петр Андреевич. — *Л. И.*) пошли одни, предполагая, что сон для 17-летнего, нежного сложения Панина, измучившегося походом от Бородина так, что едва ли во все это время мы могли спать по два часа в сутки, важнее. За обедом обыкновенный разговор — Москва. К Дохтурову, которого весь штаб состоял из москвичей, съехалось еще более. <...> Отправившись, по обыкновению, в 6 часов за приказанием, нам объявили, что на следующий день предполагается дневка <...>. Возвратясь к генералу Дохтурову, я нашел его уже за упоительным бостоном. <...> Я пошел домой и проспал до утра 4 сентября. Восстановив сном совершенно свои силы, я нашел и Панина совсем оправившимся <...>. Я велел приготовить лошадей, а между тем пошел к генералу Дохтурову, было 11 часов, он лежал в кровати, по другую сторону Марков <...>, между ними, у окна, стоял стол, и у одного сидели рядом двое Талызиных и Бологовский, играли в крепс. Вскоре вошел Виллие (лейб-медик. — *Л. И.*), игра прекратилась на пять минут, а потом опять продолжалась <...> Лица были обыкновенные. Разговор шел о настоящем нашем положении»⁶⁵.

Главкомандующий недолго пребывал в уединении и вскоре показался «на людях». Князь А. Б. Голицын вспоминал: «Первый раз зарево Москвы было нам так видно; Кутузов сидел и пил чай, окруженный мужиками, с которыми говорил. Он давал им наставления и когда с ужасом говорили они о пылающей Москве, он, ударив себя по шапке, сказал: “Жалко, это правда, но подождите, я ему голову проломаю”»⁶⁶. В тот же день, собравшись с духом, Кутузов отправил письмо жене с пометкой «около Москвы»: «Я, мой друг, слава Богу, здоров и, как ни тяжело, надеюсь, что Бог все исправит. Детям благословение»⁶⁷. Вероятно, это было первое известие от главнокомандующего русскими войсками после оставления Москвы, полученное в Санкт-Петербурге. Государь пока не получил от него ни строчки, на несколько дней потеряв свою армию из виду. Более того, 31 августа император направил Кутузову разработанный в Петербурге план наступательных действий, предусматривавший полное окружение и разгром неприятельских сил. Можно себе представить, кем ощутил себя государь, известившись стороной о потере Москвы! Александр I счел необходимым напомнить фельдмаршалу о своем существовании, деликатно потребовав отчет о «причинах к столь нещастной решимости». На марше между Рязанской и Тульской дорогами главнокомандующий прочел письмо государя, позволяющее нам судить о необычности сложившейся ситуации: «С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 сентября получил я через Ярославль от московского главнокомандующего печальное извещение, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело сие известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление». Кутузов, по-видимому, полагал, что государя следовало не просто поставить в известность об оставлении Москвы, но и сообщить ему о своих дальнейших намерениях; пока определенности в этом вопросе не существовало, главнокомандующему не о чем было сообщить императору, все оправдания в этом случае были бессмысленны...

В течение некоторого времени обе русские армии, по резкому отзыву М. Б. Баркляя де Толли, «таскались,

как дети Израиля в пустыне». Фельдмаршал стремился скрыть от неприятеля свои передвижения и более всего опасался быть атакованным на марше. А. А. Щербинин рассказывал о бесчисленных предосторожностях, предпринимаемых офицерами квартирмейстерской части в период отступления по Рязанской дороге: «От одного лагерного пункта до другого совершали мы путь ночью, ожидая на каждом шагу, особенно в деревнях, через кои пролегал путь, попасться неприятельской партии. Не доезжая до деревень, мы посылали казака подползти к крайней избе и выманить крестьянина, чтобы удостовериться, нет ли французов. Нигде о них и слуху не было»⁶⁸. А дальше произошло вот что: «Переправившись через реку Москву у Боровского перевоза, своротили мы с большой дороги и потянулись направо. Опять произошло недоумение: куда нас ведут? Впрочем, вскоре все начало объясняться; а когда пришли в город Подольск, где фельдмаршал сделал смотр армии, то стали уже говорить с уверенностью, что идем на Калужскую и даже Смоленскую дорогу отрезывать путь французам. Все обрадовались: “Так вот зачем отдали французам Москву!.. Это их нарочно заманили в западню!” Начали расхваливать фельдмаршала на все лады; солдаты даже не слишком деликатничали: “Ай-да старик Кутузов! Поддел Бонапарта, как тот ни хитрил!.. Кутузов — тертый калач, Кутузов — старый воробей!..” и тому подобное»⁶⁹. Зато французский генерал Ф. де Сегюр, автор знаменитого «Похода в Россию», изданного во Франции не менее 30 раз, возвысил повествование об удачном маневре противника до героического эпоса. Благодаря этому взгляду со стороны поход русских войск от Москвы до Тарутина представлял перед глазами читателей в жанре античной трагедии: «Кутузов, покидая Москву, увлек за собой Мюрата в Коломну, к тому месту, где Москва-река пересекает дорогу. Под покровом ночной темноты он внезапно повернул к югу, чтобы, пройдя через Подольск, остановиться между Москвой и Калугой. Этот ночной обход русских вокруг Москвы, откуда сильный ветер доносил к ним пламя и пепел, носил характер мрачной религиозной процессии. Русские передвигались при

зловещем свете пожара, уничтожавшего центр их торговли, святилище их религии и колыбель их империи! Охваченные ужасом и негодованием, они шли в угрюмом молчании, нарушавшемся только монотонным и глухим шумом шагов, треском пламени и свистом бури. Часто этот зловещий свет прерывался внезапными багровыми вспышками, и тогда лица солдат судорожно передергивались под влиянием дикой злобы и страдания, и глаза их мрачно сверкали, глядя на пожар, который они считали нашим делом! Взгляды их выдавали ту жестокую и мстительную ненависть, которая зарождалась в их сердцах и потом распространилась по всей России, сделав своей жертвой столько французов! В эту торжественную минуту Кутузов объявил твердым и благородным голосом своему Государю о потере столицы. Он сказал ему, что для сохранения южных провинций, житниц России, и поддержания сообщения с Тормасовым и Чичаговым он вынужден был покинуть Москву, оставленную своими жителями, которые составляли ее жизнь. Однако народ везде составляет душу Империи, и там, где находится русский народ, там и будет Москва и вся русская Империя! <...> Мы не можем судить о наших врагах иначе как на основании фактов. Таковы были их слова, и действия соответствовали им. Товарищи, отдадим им справедливость! Они приносили свою жертву без всяких оговорок и без поздних сожалений. Они ничего не требовали, даже тогда, когда находились среди вражеской столицы, которой они не тронули! Их репутация осталась великой и чистой. Они познали истинную славу...»⁷⁰

Думали ли русские офицеры в те суровые сентябрьские дни, что пожар Москвы рано или поздно осветит им путь к Парижу? Государь в ту пору также был не склонен доверять «твердому и благородному тону» рапорта светлейшего от 4 сентября, который 10 сентября был передан на рассмотрение «Комитета гг. министров». Первые сановники империи пришли к выводу, что донесения главнокомандующего «не представляют той определительности и полного изображения причин, кои в делах столь величайшей важности необходимы и что сие поставляет правительство в невозмож-

ность основать свои заключения». Комитет министров высказал пожелание ознакомиться с «протоколом того совета, в коем положено было оставить Москву неприятелю без всякой защиты». Императору же предлагалось, «чтобы предписание главнокомандующему было сделано не в виде какого-либо неприятного замечания, но единственно в помянутых сведениях от него надобности». Александр I, невзирая на советы воздержаться от «неприятных замечаний», счел нужным указать Кутузову: «...Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному Отечеству в потере Москвы». Однако правительство менее всего склонно было винить в бедствиях, обрушившихся на Россию, главнокомандующего и армию. Настроения в Северной столице переданы в раздраженном письме Н. М. Лонгинова, секретаря императрицы Елизаветы Алексеевны, к графу С. Р. Воронцову: «Если бы с (самого) начала дали команду Кутузову или посоветовались с ним, (то) и Москва была бы цела и дела шли иначе, но предубеждения противу него с австрийской кампании, где он, впрочем, нимало не виновен, доселе остались непреклонными. <...> Что до Москвы, знающие положение мест и войск, доказали, что, отдавши Смоленск, ее удерживать было бы безрассудно. С часу на час ожидаем теперь о случившемся в армии с 4-го числа известий. Они должны быть важны и решительны. Одно к утешению нам остается, что Государь и не думает о мире...» Судьба России зависела от армии, правительство по-прежнему оставалось на стороне главнокомандующего, и император, будучи вдали от своих «детей», пребывал в тревожном одиночестве...

Русские войска неожиданно для противника свернули с Рязанской дороги, двинулись вдоль берега реки Пахры, затем пересекли Каширскую и Тульскую дороги и в конце сентября заняли прочную фланговую позицию при селе Тарутине на Калужской дороге. Знаменитый фланговый марш на Калужскую дорогу удался нам настолько, что даже неприятель не мог не оценить этого успеха, «решившего участь кампании». Что бы ни писал император Кутузову, «верные и усердные сыны Отечества» поняли из переписки государя с главно-

командующим главное: война продолжается, следовательно, их честь и Россия будут спасены. Современник выразил всеобщие ожидания: «После кровавой Бородинской (или Можайской) баталии налетел он на столицу, надеясь, что меньшие числом русские примут сражение ради спасения города. Ничуть не бывало, русские сказали: “Входи, но мира не будет”. Он вступил в Москву и хладнокровно сжег сей огромный город. Но ему снова сказали: “Жги, но мира не будет”»⁷¹. По словам одного из участников событий, «тьнь древней Москвы не оставляла нас и требовала мщения». Сознывая, что затишье будет недолгим, все готовились к зимнему походу. И. Р. Родожницкий вспоминал: «Почти целые две недели мы жили спокойно в Тарутинском лагере. Нас укомплектовали рекрутами, лошадьми, зарядами, снабдили тулупами, сапогами; удовольствовались сухарями, а лошадей — овсом и сеном вволю; тут выдали нам жалование, а сверх того нижние чины за Бородинское сражение награждены были по 5 рублей ассигнациями. Откуда что явилось! Из южной России к Тарутинскому лагерю везли по всем дорогам всякие припасы». Тем временем Наполеон, по свидетельству Ф. Сегюра, «силою воли подавлял свою озабоченность» в тщетном ожидании мирных переговоров. В Москве, «еще покрытой пеплом», он организовывал муниципалитеты, назначал префектов, устраивал среди развалин театр... Эти мероприятия, вероятно, стоившие великому полководцу немалых волевых усилий, отвлекли его внимание от неминуемых напастей. Время теперь работало явно на пользу обороняющейся стороне. Сентябрь прошел, наступил октябрь, и Петербург, а с ним и вся Россия дождались, наконец, «решительных известий»...

7 октября Кутузов сообщал жене: «Бог мне даровал победу вчерась при Чернишне; командовал король Неаполитанский. Были они от 45 до 50 тысяч. <...> Первый раз французы потеряли столько пушек, первый раз бежали, как зайцы. Между убитыми много знатных, об которых к Государю еще не пишу, не зная наверное. Я вчерась говорил с одной партией пленных французов и сегодня получил от их благодарственное письмо, которое посылаю только для семьи, а не для публики»⁷². В

тот же день, когда Кутузов отправил письмо домой, Наполеон оставил Москву, где он потратил слишком много времени в пустых ожиданиях. Итак, тон и содержание писем, дневников, воспоминаний русских воинов изменились, подобно тому, как изменились роли воюющих сторон: ни у кого более не возникало сомнений, кому теперь спастись бегством, а кому догонять. Д. В. Душенкевич вспоминал о том, как вскоре после победы при Тарутине русские войска вступили едва ли не в первый населенный пункт, освобожденный от неприятеля: «Из сгоревшей деревни выбежавший навстречу нам русский старик упал на колени перед нашею колонною и, воздевая руки к небу, со слезами душевной радости благодарил Всевышнего, пославшего нам помощь в поражении злодеев. Он указывал на деревню, сожженную ими с госпиталем своим, и обгорелые кости, во множестве валявшиеся повсюду, подтверждали истину слов его. На вопрос наш: “Ты как и зачем тут один очутился?” — “Батюшки мои! — отвечал крестьянин все стоя на коленях от радости, — мир села нашего оставил меня караулить село, вот и докараулил, — как видите, родимые, все сожгли басурмане, пропади они до единого”. Мы одобрили старичка подарком ему, взамен его деревни, которую он караулил, весь табор врагов и все в нем находящееся, из которого, не упуская времени, он начал усердно таскать, что в глаза попадалось»⁷³. Бивак, в спешке покинутый французами, оказался наполнен перинами, подушками, шубами, сапогами, самоварами, вазами и другой посудой. Император Франции пытался переломить ход событий в свою пользу, двинувшись из Москвы «со всеми своими силами по Новой Калужской дороге». Это был, безусловно, опасный поворот событий, ввиду того, что успех Наполеона мог бы свести на нет Тарутинский марш-маневр Кутузова. Однако корпус генерала Д. С. Дохтурова преградил неприятелю дорогу у города Малоярославца, где и произошло 15-часовое сражение. К месту боя подошли и главные силы Кутузова. Перелом в настроении сражавшихся был ощутим. Н. Е. Митаревский сообщал: «Сделай неприятель еще дружный напор до прихода армии — нам бы не устоять против их многочислен-

ности; опоздай несколькими часами наша армия из-под Тарутина, то они могли бы занять Калужскую дорогу. Неприятелям делали еще попытки прорваться, но подкрепления пришли в пору. И трудно уже было им справиться с нами. Приметно было, что французы под Малоярославцем не так бойко и быстро шли, как под Смоленском и Бородином. Видно, они помнили урок, заданный им под Бородином».

Современник, не скрывая торжества победителей, так объяснял смысл осенне-зимнего похода русских войск: «Весь план нашего преследования заключался в том, чтобы не допускать его удаляться из России по вновь избранной им дороге, а всячески обращать его на ту же, по которой приблизился к России. Пробрались они к Малоярославцу, но так как тут встретили их не с хлебом и солью, а с пушками, то опять вынуждены они были обратиться на назначенную нами Смоленскую дорогу»⁷⁴. Боевые действия велись в тот период года, когда в прежние времена войска обычно располагались на зимних квартирах. Безусловно, поход требовал немалого напряжения сил, что явствует из письма Кутузова от 17 октября: «Неприятель бежит из Москвы и мечется во все стороны, и везде надобно поспевать. Хотя ему и очень тяжело, но и нам за ним бегать скучно. Теперь он уже ударился на Смоленскую дорогу»⁷⁵. По словам очевидцев, Наполеон, перед тем как отдал приказ повернуть на Старую Смоленскую дорогу, упал в обморок. На войне как на войне...

Впрочем, далеко не всем было в это время скучно. 23 октября генерал Н. Н. Раевский сообщал родственнику уже из Вязьмы: «Заглавие письма моего, милостивый государь дядюшка, обрадует вас. Неприятель бежит. Мы его преследуем казаками и делаем золотой мост. <...> Неприятель пошел на Можайск и Вязьму и, как кажется, пойдет на Витебск и так далее за границу. Казаки его преследуют кругом, французы мрут с голоду, подрывают ящики, и с 12-го мы имеем их до 60-ти пушек, а великий Наполеон сделал набег на Россию, не разогнав способных, потерял свою славу и бежит как заяц. <...> Можно считать, что настал перелом счастья Бонапарте. Русский Бог велик! <...> Мы веселы, холоду, голоду не

чувствуем, — все ожило, злодей наш осквернил и ограбил храмы Божьи — теперь едва уносит ноги свои. Дорога устлана мертвыми людьми и лошадьми его. Неприятель идет день и ночь при свете пожаров. Ибо он все жжет, что встречает на ходу своем. Зато и мы хорошо ему платим, ибо пленных почти не берут, разве одни регулярные войска»⁷⁶. Действительно, жестокое отношение к пленным со всей очевидностью свидетельствовало, что война вышла за пределы обыкновенного. 28 октября М. И. Кутузов сообщал жене из Ельни: «По сию пору французы все еще бегут неслыханным образом, уже более трехсот верст, и какие ужасы с ими происходят. Это участь моя, чтобы видеть неприятеля без пропитания, питающегося дохлыми лошадьми, без соли и хлеба. Турецкие пленные извлекали часто мои слезы, об французах хотя и не плачу, но не люблю видеть этой картины. Вчерась нашли в лесу двух, которые жарят и едят третьего своего товарища. А что с ими делают мужики!» Впоследствии авторы исторических описаний кампании 1812 года избегали конкретизации темы «остервенения народа», нашедшей отражение в письмах и воспоминаниях участников незабываемого похода. Так, сэр Т. Вильсон назвал в дневнике один из «самых страшных виденных мною случаев»: «Шестьдесят голых мужчин, лежащих шеями на спиленном дереве. Прыгающие вокруг них с песнями русские, и мужчины, и женщины, ударами толстых прутьев разбивают одну за другой головы»⁷⁷. Но, как ни странно, первыми выпустили «джинна из бутылки» отнюдь не северные варвары. Следуя по Смоленской дороге, вблизи от Гжатска, русские войска обнаружили не менее страшную картину, которую описал в мемуарах де Сегюр: «Вечером этого бесконечного дня императорская колонна приблизилась к Гжатску: она была изумлена, встретив на своем пути только что убитых русских. Причем у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и окровавленный мозг разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. <...> Коленкур вышел из себя и воскликнул: “Что за бесчеловечная жестокость! Так вот та цивилизация, которую

мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком будет ему жестоко мстить?»⁷⁸

Эти случаи, повергающие и по прошествии многих лет в «сердечное содрогание», переплетались в памяти русских офицеров с радостными событиями: «Едва замолкли выстрелы орудий боевых, чуть минуло полчаса по уходе из города неприятеля, как стеклись в него отовсюду, из лесов и дебрей, граждане Дорогобужа, не верившие от изумления глазам своим и насилу могшие от смертельного изнурения чувствовать радость свою о том, что город их перешел во власть воинов соотечественных. Многие умоляли нас, говоря: “Батюшки вы наши, родные отцы наши, спасители наши! Скажите нам: наяву ли мы дожили до этой радости, что вы у нас, вразумите же вы нас ради Господа, что нам делать; можем ли мы притащить сюда, в дома свои, стариков и ребятишек своих, живущих в лесах и оврагах околицы, и не придут ли опять французы?” Получа же от нас радостные вести, они, отбежав несколько десятков саженьей, возвращались опять к нам: “Ну как мы притащим сюда стариков и ребятишек своих, а супостаты-то снова привалят к нам?”⁷⁹ С каждым днем становилось все очевиднее, что «супостат» растерял свои силы и более не представляет угрозы для России. О настроении всеобщего ликования можно судить по письму генерала П. П. Коновницына жене: «Уже 500 верст от Москвы неприятель прогнан, и всё его гоним, вчерась еще взято 25 пушек, теперь уже у нас их около 500. Скоро, скоро, Бог даст, и всё кончим. <...> Грязь, мороз, дождь, а иногда вдруг и пули, — всё бывает с нами. Устали, замучились в трудах, словом, кампания претрудная, но, наконец, так счастлив, как никогда такой не бывал еще. Отечество спасено, Россия будет на вышней степени славы и величия»⁸⁰. Впрочем, «друг человечества» А. В. Чичерин не мог отвлечься от печальных размышлений об участи крестьян Юхновского уезда Смоленской губернии, оказавших вооруженное сопротивление неприятелю: «Благородные крестьяне из-под Юхнова, покинувшие свои очаги и нивы, принесшие в жертву и семьи, и

спокойное существование ради чести служить отечеству, — не посмотрят ли они, когда война кончится, а они будут совершенно обездолены, с завистью на смоленских крестьян, живущих в избытке, сохранивших все, что им дорого и благоденствующих, не зная добродетели патриотизма. Идеи свободы, распространившиеся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унижительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, — разве не может это все привести к тревогам и беспорядкам?.. Мои размышления, пожалуй, завели меня слишком далеко. Однако небо справедливо: оно ниспосылает заслуженные кары, и, может быть, революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека... Но да избавит нас небо от беспорядков и восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все разумеет и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья своих народов!»⁸¹

Трехдневная битва под Красным, убив в армии Наполеона волю к сопротивлению, окончательно уничтожила в ней и остатки дисциплины. «Я не сходил с места четыре дня, и вот ваша гвардия и все корпуса, следовавшие за Наполеоном, постепенно мимо нас проходили, каждый для того, чтобы оставить половину своих солдат с нами. Поверь, что спаслось под Красным, то с великим трудом пройдет Оршу!» — сказал Кутузов в дружеской беседе с пленным генералом Пюибюском. Именно в ходе боев под Красным на долю В. И. Левенштерна, прибывшего с донесением к Кутузову, выпала завидная честь — он был приглашен к обеденному столу светлейшего. Его рассказ — это живая жанровая зарисовка, позволяющая судить как о настроении, так и о внешнем облике русских офицеров в те незабываемые дни: «Я был весь перепачкан и походил скорее на разбойника, чем на офицера: тулуп и накинутый поверх него, попорченный бивуачными огнями плащ представляли собою удивительный контраст со свежими и элегантными костюмами щеголей Главной квартиры. Слушая мое донесение, фельдмаршал, при каждом мо-

ем слове, улыбался с видимым удовольствием, затем усадил меня подле себя, не дав мне пообчиститься, и любовался прекрасным аппетитом, с каким я пожирал его превосходный обед. Он приказал однако Дохтурову с его корпусом поддержать Милорадовича. Я осмелился заметить фельдмаршалу, что это бесполезно и уверял его, что 15 000 пленных были уже в его руках.

— О, как прыток наш молодой человек! Да уверены ли вы, что их 15 000 человек? — Я хотел бы, чтобы их было 30 000, — отвечал я, продолжая есть с прожорливостью, так как результат был бы один и тот же и эти 30 000 человек были бы ваши точно так же, как эти 15 000 уже принадлежат вам.

Его глаза засверкали радостью...»

Да, как ни велики были заслуги дедов и прадедов, не щадивших себя на службе Отечеству в прежних войнах, однако им за всю жизнь не доводилось испытывать столь противоположных и сильных чувств, которые выпали на долю наших героев — от горечи поражения до торжества победы — всего за шесть месяцев похода. На их глазах разлагалась и гибла некогда непобедимая армия великого завоевателя: «Обезоруженные нами, ненастьем и смертельным голодом, французы оставались на Смоленской почтовой дороге сидевшими в изнеможении смертельном на угаслых или угасавших бивачных огнищах или сугробах. — Суд Божий постигнул этих мечтателей буйных! — Они недавно губили безжалостно миллионы соотечественников своих гильотинами, не щадя ни Сократов, ни Аристидов, — словом, терзали всех, кто прекословил их буйству и кто не следовал ему! — и вот в отмщение того они гибли тогда наигорчайшею смертью от жестокого климата русской страны, довершавшего победы наши в летние и осенние ясные дни, одержанные над ними, принудившие их идти путем гибели, как побежденных боями нашими, и мудрою волею монарха, повелевшего отвлечь их от Польши и исполнить все им предназначенное полководцам. Покрытые эфемерною одеждою и питаясь дохлыми конями, они терпели жестокую кару возмездия, судьбою им предопределенного за зло свету в нравах семейного блаженства, многих народов Европы со-

деянное. Какие страшные представления предлежали взорам нашим на пути этом. О, Боже!»⁸²

Русские офицеры, родившиеся и возмужавшие в эпоху почти непрерывных войн, внутренне были готовы к созерцанию всевозможных лишений и бедствий войны, но зрелища, открывавшиеся их взорам в продолжение «возвратного движения» к западной границе, не могли не поразить даже самых стойких из них. Мысль о каре Господней возникала сама собой: «Пасть или быть ранену в пылу сражения, одушевленный надеждою победы, к сему готовится всякий военный! Но какая надежда могла уже одушевить и что имели в виду эти несчастные? <...> Видя над собой явную кару Господню, обессиленные голодом, усталые форсированным походом, оборванные и в худой обуви, не защищавшей их от сильных тогда наступивших морозов, они старались прикрыть свою наготу всем, что только могли: награбленные юбки, капоты, салопы, скатерти, ноги в телячьих ранцах и т. п. В таком жалком маскараде тянулись остатки некогда победоносной армии, *la Grand Armee de Napoleon* (Великой армии Наполеона), как толпа нищих с отмороженными носами, ушами, дикими и отчаяние выражавшими лицами и с проклятиями на полумертвых устах! Их мародеры, как муравьи, расползлись по близлежащим деревням, чтобы найти пищи и тепла, но тут встречали их озлобленные жители и убивали без пощады. Все деревни и местечки по дороге и по сторонам, чрез которые проходил неприятель, были им сожжены, и нам оставались одни пепелища для ночлегов. Не успевая подбирать своих отсталых, они оставляли их на волю Божию и великодушие наше, но в том положении, в каком мы сами находились, какую помощь могли мы дать этим несчастным?»⁸³ Подобным же образом картина бегства наполеоновских войск из России представлена и в записках Я. О. Отрощенко: «Тут представился весь ужас гнева Божьего. Нельзя привести на мысль без содрогания и страха картины открывшейся перед нашими глазами, на дороге везде разметаны были мертвые тела войск Наполеона, гордившихся победами. Войска его не были уже стройные массы, но толпы смешавшихся всех родов и разноплеменных на-

родов. Они шли машинально как тени вслед товарищей своих. Садились возле огня, разложенных при дороге; грызли замерзшую конину или мертвых товарищей своих, между коих валялись и замерзшие дети. Одно сидело возле огня, окутанное изорванным сапогом; мать лежала мертвая уже. Я проникнут был чувством сострадания к этому невинному созданию, но пособить ему не имел возможности; при нас не было денщиков. Закрыв глаза, я прошел. В ином месте дрова еще тлели на костре, но возле него лежали окостеневшие люди или боролись со смертью. Те, которые в состоянии были владеть оружием, торопились отступить. Если же где останавливались, и завязывалось дело, то это было на короткое время: они тут же резали кавалерийских лошадей и ели. Потом, видя себя в атаке, оставляли артиллерию на месте и уходили. Случалось иногда, что мы ночевали с ними в одной деревне без драки и поутру забирали их в плен. Те славные гвардейцы, краса наполеоновских войск, лишенные теперь от голода сил, претерпевали везде ругательства и побои не только от евреев, но и от почитателей их, ксендзовских слуг, которые поленьями выгоняли их со двора»⁸⁴.

По свидетельству М. М. Петрова, «“клеба”, просимого ими у нас, мы сами почти не имели по причине поспешного преследования, отдалившего нас от шедших за нами провиантских запасов в обозах корпусов». В дневнике П. С. Пущина сообщается: «Много пленных за недостатком квартир держали на обширных дворах. Мы отправились поглядеть на них и действительно убедились, что они заслуживают сожаления. Они умирали от голода, изнузившего их в последнее время. К сожалению, мы не могли снабдить их хлебом, так как сами были лишены его»⁸⁵. Он же отмечал 17 ноября: «У нас большая убыль в людях от наших переходов, и во всем полку ни в одной роте нет под ружьем более 50 человек». Спустя неделю Пущин сделал в дневнике запись, показывающую, что русские воины пребывали в не менее тяжких условиях, чем неприятель: «Нас было 23 офицера в одной комнате и все без обеда, так как наш обоз не мог своевременно прибыть из-за дурной дороги. Солдаты тоже почти без квартир и обеда.

Сегодня убыль в людях еще более, нежели вчера; много замерзло». Пожалуй, тяготы зимней кампании в наибольшей степени ощутили на себе «ополченные войска», не имевшие должной сноровки и выносливости, о чем красноречиво свидетельствует рассказ И. М. Благовещенского: «Положение худое, люди растерялись с силами русского мужика, стоя в караулах; не ознакомясь с службою, приходили в изнеможение, и слабость более и более была видна, и болезнь, сильно воцарясь, оказала свое действие, но удержать к прекращению совершенно не было принято никаких мер и пособий медицинских. Что ж — видим, что воины должны быть послушными натуре и удаляться в вечное блаженство, и так что почти до половины ополчения оставалось. Полк, который начально вступил в караул, взял в Красных казармах в Москве французов — раненых, слабых и больных в прилипчивых болезнях и от того пострадал, и участь была сострадательная. Полковник, штаб- и обер-офицеры, получа болезни, подвержены все были смертности, и из полка оставалось как их, так и воинов, очень и очень немного»⁸⁶.

В обстоятельствах, когда положение преследователей мало чем отличалось от положения отступавших, когда «люди, послушные натуре, удалялись в вечное блаженство», каждый сам для себя решал, как ему поступать. Н. Д. Дурново, как и его ближайшие сослуживцы, счел за благо отдалять от себя неприятные эмоции, поэтому взирал на происходящее довольно спокойно: «Взятые нами пленные в плачевном состоянии. Они почти все умирают от холода и истощения, радуются при виде издохшей лошади, бросаются на нее с остервенением и пожирают совершенно сырое мясо. Привычка видеть их ежедневно в таком количестве — причина того, что они не вызывают в нас ни малейшей жалости. Мы смотрим на эти сцены ужасов с большим равнодушием. Утром мы прошли мимо одного из этих несчастных, который лежал совершенно голым в лесу и не подавал почти никаких признаков жизни. Князь Александр Голицын приказал одному из драгун его застрелить, как он сказал, жалея его, чтобы он не мучился еще несколько часов»⁸⁷. Генерал Д. С. Дохтуров сообщал

жене: «Я взял из жалости под Красным молодого итальянца. Он не ел несколько дней и, верно бы, замерз, ежели бы Бог не привел меня на его счастье. Теперь он здоров и уже распевает. Я его одел, как только можно было. Приехав сюда, нашел несколько сот пленных, кои сами пришли, в том числе 18 офицеров. Я взял одного к себе, у него озноблены ноги и в прежалком положении <...>. Еще тут же взял немца с немкой, которые умирали также с голоду. Нельзя не сжалиться на их несчастное положение». Н. Е. Митаревский также проявил участие и не оставил в беде несчастных жертв войны: «В одной богатой карете сидело несколько молодых дам в бархатных и атласных салопках на собольих и лисьих мехах. Салопы были помяты, запачканы грязью и местами порваны. На головах дам были измятые уборы и платки, из-под них выбивались пряди нечесаных волос. По лицам видно было, что они несколько дней не умывались и выглядели самым жалким образом. У меня случилось в шинели несколько солдатских сухарей, я достал один и показал одной даме, не думая, что она возьмет и станет есть его, а она почти выхватила его у меня из рук. Видно было, что дамы несколько дней не ели. Тогда я раздал им бывшие со мною сухари, и еще пошел за ними и набрал из мешка полный платок, раздал их уже всем дамам, сидевшим в каретах и колясках, которые были почти исключительно наполнены ими. Все они принимали сухари не только с признательностью, но как будто благодарили Бога за такую милость, поднимая глаза кверху и складывая руки. Не могу сказать, какого сорта были эти дамы, но почти все были молодые и хорошо одетые»⁸⁸. После трехдневной битвы под Красным гвардейские офицеры, отслужив во главе с Кутузовым благодарственный молебен за победу, тут же попытались помочь «страдающему человечеству», о чем рассказал П. С. Пущин: «Мы купили жбан водки, и они едва не убили друг друга, чтобы получить ее. Пришлось восстанавливать порядок. У меня никогда не изгладится из памяти голос, которым один из пленных произнес: “Господа, Бог вас вознаградит”». Острое чувство жалости к беспомощным жертвам войны испытывал Г. П. Мешетич: «...Неся вместо оружия отчаяние, они только ожида-

ли одной мучительной от голоду и стужи смерти. Последствием всего этого было: брошенная на нескольких верстах артиллерия, по дороге разбросано всякого рода оружие, на нескольких шагах видны из-под снега трупы человеческие по обеим сторонам дороги, и беспрестанно догонялись идущие по дороге тени человеческие с отмороженными частями, с всклокоченными волосами, в помрачении ума, в одеждах разного рода: в женских салопах, в капорах, в священнических ризах и шишаках, другие, сидящие в снегу и мечтающие, что они уже возвратились на родину, призывали своих родных, ласкали их самыми нежными именами»⁸⁹. А. В. Чичерин поместил в дневнике откровенное признание: «Вид этих людей настолько огрубляет сердце, что в конце концов перестаешь что-либо ощущать вообще. Страшное отвращение подавляет все мысли»⁹⁰.

При сопоставлении высказываний гвардейских и армейских офицеров возникает искушение заметить, что армейские офицеры были более сердобольны и сострадательны, однако здесь нельзя не привести строки из письма того же А. В. Чичерина графине С. В. Строгановой, «реабилитирующего» юного гвардейца: «Признаюсь, будь у меня крылья, я перенесся бы сейчас в Петербург, в одну из петербургских гостиных — в вашу гостиную, прелестная графиня, чтобы разделить с вами радость, которую вы должны сейчас испытывать. Ничто не кажется столь прекрасным издали, как война. Но печальное зрелище стольких смертей смутит философа и раскроет глаза сострадательным людям». Философа, может быть, и смутит, а вот старый генерал екатерининской школы «вознесся» над филантропией и записал в «Журнал»: «1812. Декабрь. 1-го обедал в Шилове <...>, а люди мои все перепились, а Андреян потерял тут ложки-то. <...> 2-го переночевал я в Круглом <...> и оттуда послал назад в Шилово Сазонова отыскивать ложки... 3-го привезли ложки из Шилова в местечко Бобр, который много сожжен французами»⁹¹.

Впрочем, на пути от Смоленска до Немана горели не только населенные пункты. В середине ноября великий князь Константин Павлович, следуя к западной границе, проезжал через город Оршу, где остановился в то

время 1-й егерский полк, командир которого полковник М. И. Карпенков исполнял должность коменданта. Во время беседы, происходившей за чашкой чая, брат царя спросил у своего собеседника: «Что это, видел я, у тебя за городом, в левой стороне, над Днепром в долине так жарко?» И когда полковник донес, что там горят мертвые тела французов, числом 1 700 с присоединением 300 лошадиных падалин, уложенных в несколько слоев на дровяные костры по затруднению убрать их иначе без ожидания вредных последствий весной, то великий князь, обрадованный таким известием, взяв руку полковника, сказал: «Славно-славно! Знаешь ли, полковник, ты эту мысль выхватил из моей души. Я донесу государю и скажу светлейшему, и ты узнаешь скоро, что везде начнутся подобные твоему всесожжения»⁹².

Перед самым началом кампании император Наполеон предостерегал русского посланника в Париже князя А. Б. Куракина: «Легко начать войну, но трудно определить, когда и чем она кончится». Великий завоеватель был, безусловно, прав, хотя сам он, как оказалось, не более всех остальных предвидел, чем обернется для него «русский поход»... «От Березины можно было считать французскую армию (*la Grand Armee*) как бы не существующую, — рассказывал участник похода. — <...> Нам оставалось только, так сказать, конвоировать их, чтоб они не сбились с дороги. Зато уже и нам никак нельзя было сбиться; их трупы и умирающие образовали такую мрачную аллею, освещенную по ночам пожаром окрестных деревень, что жалость было смотреть и слышать вопли и проклятия, которые отчаяние заставляло извергать этих несчастных; <...> они умоляли солдат наших приколоть их, чтобы прекратить мучения».

В начале декабря гвардейские полки, как и перед войной, вновь занимали квартиры в Вильно. По этому поводу П. С. Пущин сделал в дневнике запись: «Хорошая чистая постель была к моим услугам, мне не верилось моему счастью. Хорошая постель, хорошая комната и конец походу — это слишком много сразу». Ф. Н. Глинка в одном из «Писем русского офицера» сообщал своему адресату: «...Пишу к тебе из Вильны. Так мыкается твой друг по свету! Такими исполинскими шагами шло вой-

ско наше к победам и славе!.. Но сколько неслыханных, невообразимых трудов перенесло войско! Сколько вытерпел друг твой!»⁹³ Офицер лейб-гвардии Измайловского полка Л. А. Симанский отправил из Вильно письмо матери: «Я вам опишу теперь наше препровождение здесь времени. По прибытии сюда 10-го числа Государя Императора, на другой день был он у развода гвардейских егерей. При появлении его троекратное “ура!” раздавалось по всей площади. Всемилостивейший монарх изъявлял им свою признательность, благодарил за службу, потом, подойдя к офицерам, милостиво их также благодарил, особенно нашему полку, а потом каждому из нас особенно приветствовал. <...> Разводы были по очереди полков, когда же был от нашего полка, к которому, кстати, приехал и полковой наш командир г[енерал]-майор Храповицкий, [и] вышел на костылях явиться также к Императору. Прочие полки встречали его, прокричав всегда три раза “ура!”. При появлении же Государя к нашему полку он как бы хотел показать пред всеми ему свою признательность, поздраваясь сперва с людьми, поблагодаря их за службу и храбрость, на что они отвечали ему радостным “ура!”. Потом Государь, поблагодарив, сказал весьма громко сими словами: “Ваш полк покрыл себя бессмертною славою”. Полковой наш командир, идя подле него, закричал: “Ура!” Солдаты, сами подхватив оное, провожали оным его, пока Государь прошел по всему полку, с Храповицким поцеловался и дружески разговаривал». Все, о чем сообщалось в письме, было так значительно, так дорого сердцу автора, что он спешил поделиться переполнявшими его чувствами с «любезнейшей матушкой». Очевидно, он с гордостью представлял себе, как эти строки будут прочитаны всем родственникам, друзьям и знакомым. Герои той эпохи свято верили в то, что их предназначение — оставить «нравственный пример» потомству, а разве могло быть в их понятиях что-нибудь более поучительное, чем подвиги, заслужившие похвалу государя?

12 декабря, спустя ровно полгода после «открытия военных действий», в Вильно вновь состоялся бал, который устроил фельдмаршал М. И. Кутузов по случаю

дня рождения императора. В числе приглашенных были все офицеры гвардии, для которых конец похода был ознаменован подлинным военным торжеством. В этот день П. С. Пущин записал в дневнике: «Вечером город был великолепно иллюминирован. Были употреблены те же самые украшения, которые употреблялись во время празднеств, устраиваемых Наполеону, с некоторыми необходимыми изменениями, так заменена буквой “А” буква “Н”, заменен русским двуглавым орлом — одноглавый французский. По-видимому, радость и ликование были всеобщие. Фельдмаршал дал бал, закончившийся в 4 часа утра. Два неприятельских знамени, очень кстати полученные от генерала Платова из авангарда перед самым балом как трофеи, были повергнуты к стопам государя, когда он входил в зал, и тут же его величество возложил на князя Кутузова орден Святого Георгия 1-й степени»⁹⁴.

Глава одиннадцатая

«В ДЫМНОМ ПОЛЕ, НА БИВАКЕ...»

Да, пожалуйста к нам на бивак, пожалуйста сюда! Я приглашаю вас не для того, чтобы вы разделили наши трудности: наоборот, я был бы рад уберечь вас от этого...

А. В. Чичерин. Дневник. 1812—
1813 гг.

В Толковом словаре русского языка В. И. Даля слово «бивак» разъясняется следующим образом: «...расположение войск или сорища людей, временно, под открытым небом, не под кровлей»¹. Подобное времяпровождение на свежем воздухе неразрывно сопутствовало военному времени. Навыки бивачной жизни войска, естественно, приобретали в мирное время. Так, в апреле гвардейцы покидали свои столичные казармы и до сентября отправлялись в пригороды Петербурга: Петергоф, Стрельну, Царское Село, Павловск. Армейские полки также «стояли лагерем» (в обиходе русские

офицеры не различали понятия «лагерь» и «бивак»), совершенствуя навыки воинского мастерства в ходе учений, смотров и маневров. Конечно, даже в военное время для многих офицеров предпочтительнее было располагаться на квартирах, а не «в чистом поле, на биваке, среди кочующих огней». Те, кто располагал материальным достатком, подобно графу Михаилу Семеновичу Воронцову, мечтали «увидеть войну в тех местах, где климат, место, люди и все уменьшает неприятности оной, в тех местах, где случится в воскресенье быть в сражении, в понедельник на бале, а во вторник в театре слушать *La Cantatrice Villane* или *Il Matrimonio Segretto*»². Граф Воронцов и за границей чувствовал себя как дома, в то время как для большинства русских офицеров, страдавших от безденежья, «разобщенность» по квартирам за пределами Отечества являлась настоящим бедствием. Например, И. Т. Родожницкий, встречая новый, 1814 год в Германии, не мог сдержать печали: «Новый год! Новый год! — и только. Бывало, в любезном Отечестве, в матушке России, последний вечер старого года проводили мы в веселом кругу родных или друзей, или у добрых начальников, и встречали Новый год с громкими поздравлениями, при звуках музыки, при нежном чоканье бокалов; а здесь, в стране чужеземной, все тихо и уныло... и даже, как назло, у меня нет ни гроша в кармане»³.

Об одном из «добрых начальников», согревавших души своих подчиненных у бивачного костра в период Дунайской кампании, с теплотой вспоминал М. М. Петров: «Между военных действий славного Кульнева были иногда часы, когда мы, адъютанты его, мечась с приказаниями по линиям атак и маневров наших от пехоты к гусарам и от казаков к драгунам, соединялись у нашего почтенного, незабвенного начальника-героя, любезного всем Якова Петровича, то поесть кашицы и шашлыков или попить с ним чайку, сидя у огонька вкруговую. Тут Денис Васильевич Давыдов острыми своими высказками изливал приятное наслаждение утомленным душам нашим. Он пил, как следует калиберному гусару, но не “темную”, а для шутки любил выставлять себя “горьким”. Выпив поутру первую чашу, он, бывало, крехнет

и поведет рукою по груди к животу, качая головой медленно в наклон к груди; и как однажды Кульнев, давний друг его, спросил Давыдова: “Что, Денис, пошло по животу?” — он отвечал: “По какому уж тут животу идти, а по уголкам былого когда-то живота зашуршело порядочно”⁴. Перед самой войной 1812 года генерал А. П. Ермолов провел своего рода репетицию бивачной жизни, собрав в Вильно к своему столу «не только всех офицеров из штаба, но даже из близ квартировавших деревень». По воспоминаниям И. С. Жиркевича, поводом для гостеприимства явилось следующее событие: «Здесь у Ермолова ожеребилась его верховая кобыла, он приказал хорошенько отпоить жеребенка, а потом зарезать и зажарить; приглашая офицеров на это жаркое, он говорил, что хочет заблаговременно приучить их ко всякой случайной пище, так как, Бог знает, что придется еще есть»⁵.

Впрочем, офицеров с опытом «Шведской кампании» 1808—1809 годов трудно было удивить неудобствами, связанными с непогодой и отсутствием изысканной пищи. «На биваках мы, бывало, закроемся от страшного севера кучами снега, вроде вала, подложим под ноги пуки сосновых сучьев, разведем большой огонь и спим покойно, даже переодеваемся и перемменяем белье. Дежурные должны были обходить кругом и будить офицеров и солдат, когда заметят следы отмораживания. Тогда мы вскакивали и натирали лицо снегом. В 17 градусов мороза мы даже брились на биваках! Самое роскошное кушанье наше — это была тюря из солдатских сухарей, в которую подливали немного хлебного вина (если оно было), чтоб согреться. Кто мог достать оленьих шкур, тот обвязывал ими ноги. Иные делали род маски из оленьей шкуры, чтоб закрывать ознобленное лицо, вымазав его сперва жиром. На кого мы походили тогда! — Весьма часто нашему эскадрону <...> приходилось стоять всю ночь на аванпостах, без огней, в жестокую стужу, в открытом месте. Тогда мы закрывались от северного ветра срубленными елками в виде веера и плясали, то есть перепрыгивали всю ночь с ноги на ногу, размахивая руками», — с удовольствием вспоминал о днях невозвратно ушедшей молодости Ф. В. Булгарин⁶.

Удобства дружеских застолий, безусловно, зависели от «военных обстоятельств» и условий местности театра боевых действий.

В записках И. Т. Родожницкого представлена картина бивака под Вильно после объявления войны: «...При виде собранных войск мы не страшились неприятелей. Из окрестных селений, впереди нас находившихся, казаки сгоняли в лагерь множество рогатого скота, который раздавали в полки на порцию. Все принимало военный вид: странная смесь разного вида войск, обоза, артиллерии, с лошадьми и скотом, всеобщее движение взад и вперед, звук оружия, мычание волов, ржание коней и говор солдат представляли любопытное зрелище для тех, кто в первый раз вступал на военное поприще. Окрестности дымились от бивачного огня. К вечеру перед лагерем загорелась корчма; пылающий огонь среди зеленого кустарника с последним лучом заходящего солнца увеличивал красоту воинственной картины. Взоры мои развлекались многими предметами, которые своею занимательностью погрузили меня потом на несколько минут в мрачную думу... С первым лучом дневного светила, во всех полках музыка с барабанами возвестила зорю. У каждого воина гремел дух брани за родину. <...> С пробуждением всех началась воинская деятельность: разводы по караулам, дежурство и проч.; команды с артельными котлами гремели к речке за водою, задымились кухни, и заварилась солдатская каша»⁷.

В начале кампании 1812 года, когда русским войскам приходилось совершать долгие и изнурительные переходы, избегая преследования превосходящего в силах неприятеля, бивак представлялся желанным пристанищем для падавших от изнеможения воинов. В особенно тяжелом положении находилась 2-я Западная армия князя П. И. Багратиона, пробивавшаяся с боями на соединение с 1-й Западной армией М. Б. Баркляя де Толли. Дважды избежав окружения и оторвавшись от преследования, армия Багратиона отвоевала право на отдых, о котором с особым удовольствием вспоминал А. П. Бутнев: «Помню первый наш привал в местечке Николаеве на берегу довольно широкой реки (я потом доискался,

что это был Неман), через которую навели барочный мост. В один из последних прекрасных июньских дней, на солнечном закате армия расположилась бивуаками по обоим берегам реки. Кавалерия проходила по мосту и занимала противоположный более высокий берег, а пехота и пушки разместились вдоль другого берега, поросшего кустарником. Прежде, чем прибыла главная квартира, солдаты уже нарубили веток и понастроили шалашей (у нас не возили с собою палаток, как у Наполеона). Обширный лагерь весь из свежей зелени, по которому перебегали солдаты и который уже оглашался песнями и военной музыкою, представлял собою прекрасное зрелище. В середине находились более обширные и лучше устроенные шалаши для главнокомандующего, для его главного штаба и приближенных. Мне и двум или трем адъютантам отвели тоже шалаш, в котором мы могли кое-как отдохнуть и почиститься после утомительного перехода по жаре»⁸.

Рассказчик счел нужным отметить, что русские воины в отличие от воинов неприятельской армии располагались на биваках в шалашах, а не в палатках. Однако и Наполеон также был убежденным сторонником ночлега под открытым небом. Признанный мастер ведения войны высказал по этому поводу ряд основательных суждений, из которых становится ясно, почему военные того времени отказывали себе «на походе» в таком минимальном удобстве, как жизнь в палаточном лагере: «Палатки нездоровы, лучше располагаться на биваках: солдат спит ногами к огню и защищен досками или соломой от непогоды; сверх того близость огня скоро осушает под ним землю. Палатки необходимы только тем офицерам, которые обязаны писать или работать с картами. У батальонных или полковых командиров или генералов должны быть палатки, и им нельзя позволять ночевать на квартирах, потому что такое гибельное обыкновение было причиной многих несчастий.

Все нации Европы, по примеру французов, отменили палатки; если они еще употребляются в мирное время, то для сбережения леса, соломенных крыш и селений. Тень дерева, защищающая от солнца и жары, малейшее прикрытие от дождя предпочтительнее па-

латки. <...> Сверх того палатки служат объектом наблюдения шпионов и штабных офицеров противника, давая им сведения о численности и расположении ваших войск. И такое неудобство имеет место каждый день, каждое мгновение. Напротив, когда армия расположена в двух или в трех линиях биваков, то издали виден только дым, нередко принимаемый неприятелем за туман. Нет возможности сосчитать всех огней, но очень легко сосчитать палатки, вычертить занимаемое ими положение»⁹.

Итак, войска 2-й Западной армии князя Багратиона от главнокомандующего до рядового располагались на биваке, придерживаясь здорового образа жизни и соблюдая осторожность, необходимую в военное время: «...Мы пошли к обильному столу главнокомандующего, приготовленному в особом шалаше. Солдаты ужинали вокруг костров, пылавших в должном расстоянии от шалашей. Казалось, это было великое военно-походное празднество; а между тем предстояло подняться чуть свет и, перейдя реку, направиться на столь желанное соединение с первою армиею, если только не помешает неприятель»¹⁰. Автор этих строк — А. П. Бутенев, служивший в Министерстве иностранных дел, в 1812 году обратился к своему начальству с просьбой прикомандировать его к одной из действующих армий. По ходатайству канцлера графа Н. П. Румянцева юный чиновник дипломатического ведомства, стремившийся приобщиться к романтике боевой жизни, оказался в водовороте военных событий, на которые он взирал взглядом восторженного наблюдателя. Состоя при Главной квартире князя Багратиона, Бутенев был избавлен от забот о хлебе насущном, так как главнокомандующий 2-й армией держал «открытый стол» для всех, кто при нем находился. Далеко не все офицеры, оказавшись в менее выгодных условиях, воспринимали бивак как «военно-походное празднество». Например, братьям Муравьевым, находившимся на службе в квартирмейстерской части 1-й Западной армии, бивачная жизнь представлялась сущим наказанием: «Курта мало беспокоился о нашем положении, а только был ласковым и с приветствиями беспрестанно посы-

лал нас по разным поручениям. Брат Михайла сказывал мне, что, возвратившись однажды очень поздно на ночлег и чувствуя лихорадку, он залез в шалаш, построенный для Куруты, пока тот где-то ужинал. Шел сильный дождь, и брат, продрогший от озноба, уснул. Курута скоро пришел и, разбудив его, стал выговаривать ему, что он забылся и не должен был в его шалаше ложиться. Брат молчал; когда же Дмитрий Дмитриевич перестал говорить, то Михайла лег больной на дожде. Тогда Куруте сделалось совестно; он призвал брата и сказал ему: «Вы дурно сделали, что вошли в мой шалаш, а я еще хуже, что выгнал вас» — и затем лег спокойно, не пригласив к себе брата, который охотнее согласился бы умереть на дожде, чем проситься под крышу к человеку, который счел бы сие за величайшую милость, и потому он, не жалуясь на болезнь, провел ночь на дожде. Брат Михайла обладает необыкновенною твердостью духа, которая являлась у него еще в ребячестве. Константин Павлович, видя нас всегда ночующими на дворе у огня и в полной одежде, то есть в прожженных толстых шинелях и худых сапогах, называл нас в шутку тептерями; но мы не переставали исправлять при себе должность слуги и убирать своих лошадей, потому что никого не имели для прислуги. Впрочем, данная нам кличка *тептерей* не сопрягалась с понятием о неблагонадежных офицерах; напротив того, мы постоянно слышали похвалы от своего начальства, и службу нашу всегда одобряли»¹¹.

Почти неделю 1-я армия простояла на биваках «в знаменитом, но слишком невинном» укрепленном Дрисском лагере на реке Двине. Это чудо военно-инженерного искусства оказалось бесполезным: неприятель обошел его стороной, но русские войска, «истощенные переходами», получили необходимый отдых посреди заготовленного впрок изобилия провианта. «Войска получали мясную и винную порцию, лошади — овес, маркитанты снабжали офицеров чаем, сахаром и винами. Вечерние зори всегда отходили парадно, с музыкою. Солдаты выстроили себе хорошие балаганы, в которых и офицеры имели довольно простора. Веселое товарищество сослуживцев развлекало предстоя-

щее горе об опасности Отечеству. Дни отдыха были ясные, ночи прохладные. Валяясь под бурками и любуясь звездами вечернего неба, мы засыпали в спокойной беспечности; только часовые вокруг лагеря протяжными отзывами на разных голосах иногда будили нас, и этой дикою гармонией напоминали — о войне бедственной»¹².

Как раз в это время В. И. Левенштерн, состоя при Главной квартире 1-й Западной армии, совершил утомительную и полную опасностей поездку (верхом и в одиночку) в расположение армии Багратиона. По приказу императора и М. Б. Барклая де Толли он доставил туда секретные сведения о передвижении войск. Неудивительно, что, выполнив опасное поручение, Левенштерн захотел расслабиться и чрезмерно злоупотребил отдыхом на биваке в обществе гвардейских офицеров: «...Бивуаки гвардейской кавалерии находились весьма близко к Главной квартире. Главкомандующий прилег отдохнуть, и я воспользовался этим временем, чтобы навестить своих друзей кавалергардов — полковников Левенвольде и Левашева. Они были рады видеть меня, и мы распили несколько бутылок шампанского. Я был несколько разгорячен этим нектаром, который при данных обстоятельствах показался мне вкуснее обыкновенного; но в ту же минуту за мною явился ординарец с известием, что меня требует главкомандующий. Я побежал и получил приказание написать донесение Императору. Удалившись в свою хату, я написал то, что было приказано, и снес прочесть черновик генералу. Он одобрил и приказал как можно скорее перебелить письмо, дать ему на подпись и отослать с фельдъегерем. Когда я вернулся к себе, то шампанское, выпитое мною, взяло свое, у меня закружилась голова, и я был не в состоянии переписать письмо, набросанное мною десять минут перед тем. Я уже испортил несколько листов бумаги и стал переписывать письмо вновь, но, к моему величайшему отчаянию, замечал, что слово “Ваше Величество” было всякий раз написано криво. Дело было ночью, мои товарищи спали; впрочем, я недостаточно был убежден в их скромности, чтобы доверить им тайну корреспонденции, которая была мне

поручена. Совершенно потеряв голову, так как письмо должно было быть подписано главнокомандующим до его отхода ко сну, я не знал, что делать, как вдруг ко мне вошел капитан Тимрот, бывший в то время адъютантом принца Георга Ольденбургского. Он был славный малый, человек обязательный, скромный, и хотя плохо знал французский язык, но все же достаточно для того, чтобы переписать письмо. Я высказал ему свое затруднение; он вполне понял меня и принялся за дело. Час спустя письмо было переписано и отправлено. Вероятно, ни генерал Барклай, ни Император не подозревали, что оно было написано человеком, выпившим лишний бокал шампанского, и переписано другим человеком, который никогда в жизни не писал ни слова по-французски»¹³.

Принимая во внимание скромный материальный достаток большинства русских офицеров, заметим, что далеко не каждый из них мог позволить себе такой роскоши, как беззаботно распивать с друзьями на биваке шампанское. Н. Н. Муравьев, спустя десятилетия, горестно вспоминал в записках о последствиях неумеренной щедрости, проявленной им под Смоленском: «Я жил в Кавалергардском полку у Лунина в шалаше. Хотя он был рад принять меня, но я совестился продовольствоваться на его счет и потому, поехав однажды в Смоленск, купил на последние деньги свои несколько бутылок цимлянского вина, которые мигом были выпиты с товарищами, не подозревавшими моего стесненного положения. Положение мое все хуже становилось: слуги у меня не было, лошадь заболела мытом, а на покупку другой денег не было. Я решился занять у Куруты 125 рублей, которые он мне дал. Долг этот я через год уплатил. Оставив из этих денег 25 рублей для своего собственного расхода, остальные я назначил для покупки лошади и пошел отыскивать ее. Найдя в какой-то роще кошмы или вьюки донских казаков, я купил у них молодую лошадь. Я ее назвал *Казак*, и она у меня долго и очень хорошо служила, большую же отдал в конногвардейский конный лазарет»¹⁴.

Впрочем, отношение к житейским неурядицам, в том числе к безденежью, зависело от характеров на-

ших героев. Для многих офицеров соединение двух русских армий под Смоленском было, безусловно, радостным событием: во-первых, Наполеону не удалось разгромить войска Баркляя и Багратиона поодиночке; во-вторых, каждый в эти дни верил в неотвратимость генеральной битвы у стен старинного города-крепости. Отдых в преддверии первого «большого сражения» кампании 1812 года запомнился многим офицерам: «...Состоялось наконец 22 июля замышленное с первого дня войны и столь желанное соединение. Оно достигнуто целым рядом искусных и быстрых мероприятий после стольких усилий и славных дел, после стольких трудов и лишений солдата, в течение четырех или пятинедельного отступления: неприятель нас преследовал, как охотник, преследующий страшного льва, в ежеминутном опасении, что он его растерзает. День этот пришелся на именины Императрицы Марии Федоровны. Войска обеих армий вступали в Смоленск в парадной форме; командующие с Главными штабами и множеством генералов и офицеров. Великолепная погода, при безоблачном небе, придавала блеску этой торжественной встрече. Войска разместились вдоль главных улиц; позади их радостные лица городских жителей всех возрастов и сословий, одетых по-праздничному, и в числе их множество москвичей, приехавших нарочно повидать войска, от которых зависело общее спасение. Духовенство, в церковных облачениях с крестами в руках, стоя у церквей, благословляло храбрых солдат и принимало генералов, заходивших в церкви на царский молебен. Все это вместе представляло такое величественное и поучительное зрелище, что никакое перо и никакое слово не в состоянии выразить тогдашних ощущений <...>»¹⁵. В то время как высшие командные чины обеих армий обсуждали на военном совете предстоявшие боевые действия, большинство русских офицеров устремились в город, пользуясь краткими часами мира и тишины. Так, конногвардеец Ф. Я. Миркович свидетельствовал о тех днях: «21-го (июля), в воскресенье, вечером я отправился посмотреть Смоленск, несмотря на данное себе слово не быть в этом городе, пока он не избавится от опасности попасть в руки не-

приятельские. Но мне так хвалили смоленские конфеты и мороженое, что я позабыл о данном слове. Первый мой визит был к кондитеру Савве Емельянову. Все улицы были загромождены телегами и полны народа»¹⁶.

Из воспоминаний Н. Е. Митаревского явствует, что для большинства русских офицеров бивак под Смоленском оказался притягательным не только конфетами и мороженым: «В Смоленске сошлось нас несколько знакомых офицеров; один, увидев по дороге винный погреб, предложил зайти и распить бутылку вина. Потребовали бутылку дешевенького. Подошел к нам хозяин и начал говорить: “Что же это будет и куда мне деваться с моим имуществом? Сделайте мне милость, господа, рекомендуйте меня вашим знакомым. Хоть бы что-нибудь сбыть”. И принялся сам откупоривать бутылки и угощать нас дорогими винами. Так было и по другим местам и лавкам. Трактиры, кофейни и рестораны тоже были набиты офицерами, там не успевали удовлетворять требований: к тому же открылась и картежная игра. Пили и играли без расчета. У кого были деньги, тот имел в виду: может быть, завтра убьют, так все пропадет. Хотя можно сказать, что большая часть офицеров были бедняки, но много было и богачей. В армии был цвет молодежи со всей России. В Смоленске все запаслись необходимым, а кто имел средства, то и предметами роскоши»¹⁷.

До сих пор боевые действия велись на территории губерний, сравнительно недавно вошедших в состав Российской империи, население которых довольно сдержанно встречало русские войска: лишь в Смоленске русские воины с волнением ощутили, что война приблизилась к самому сердцу России. Местные жители с искренним радушием привечали своих защитников, доставляя им «не только удобства, но даже увеселения городской жизни»: «По Смоленским улицам сновали довольно богатые экипажи. Был даже русский театр с странствующими актерами, правда очень жалкий, но привлекавший толпу военной молодежи, которая была рада и этому развлечению после продолжительного пребывания в городах и деревнях Польши <...> и после тяжкого похода, прерываемого лишь сражениями. Лица

обоих полов ходили молиться по церквам и прогуливались по старинным укреплениям Смоленска»¹⁸. Но как ни пленительны были «мирные забавы», наши герои не могли не ощутить их скоротечности: «Три дня прожили мы под Смоленском бурно и весело. Два месяца мы терпели всевозможные лишения. Теперь мы брали от жизни все и пользовались всем вволю, благо в городе еще можно было достать все что угодно. Смоленск расположен так, что из нашего лагеря перед нами открывалось обширное поле наблюдений. Все это время можно было наблюдать, как вдали со всех сторон непрерывно шли на нас целые облака пыли. Они-то и показывали нам, какие толпы неприятелей на нас надвигались. А на третью ночь бесконечные линии неприятельских сторожевых огней заволокли всю обширную равнину перед Смоленском, и конца им не было»¹⁹.

В битве под Смоленском русские воины готовы были сражаться до последней капли крови, чтобы остановить продвижение неприятеля «в недра своего Отечества». Однако превосходство в силах оставалось по-прежнему на стороне наполеоновских войск, в силу чего М. Б. Барклай де Толли приказал оставить пылающие развалины города, продолжив отступление по дороге, ведущей к Москве. Это решение не легко далось полководцу, которого вся армия подозревала в трусости и, по словам Багратиона, «ругала насмерть». Император Александр I не мог не считаться со всеобщим негодованием и вынужден был принести «своего человека» в жертву общественному мнению. Государь подписал рескрипт о назначении главнокомандующим всеми российскими армиями генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, пользовавшегося огромной популярностью в дворянских обществах обеих столиц и с энтузиазмом встреченного армией, которую старый полководец на протяжении пятидесяти лет водил к победам. Радостное известие «вдруг электрически пробежало по армии» во время bivака при Цареве Займище. «Минута радости была неизъяснима: имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках, от солдата до генерала. Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю, принять от не-

го надежду на спасение России. Офицеры весело поздравляли друг друга со счастливою переменою обстоятельств; даже солдаты, шедшие с котлами за водою, по обыкновению, вяло и лениво, услышав о приезде любимого полководца, с криком “ура!” побежали к речке, воображая, что уже гонят неприятелей», — свидетельствовал И. Т. Родожицкий²⁰.

На пятый день по прибытии Кутузова к армии, 22 августа, русские войска расположились на биваке при селе Бородине, который оказался для многих из них последним земным пристанищем. Один из участников кровопролитной «битвы гигантов» впоследствии заметил, что во время Бородинского сражения «сошло в могилу целое поколение». В тот день русская армия лишилась почти половины своего офицерского состава: по словам генерала Н. М. Сипягина, «вообще офицеры наши в Бородинском сражении, упоенные каким-то самозабвением, выступали вперед и падали перед своими батальонами». О чем думали, говорили «мученики славы», как назвал их в 1830-е годы историк Н. А. Окунев, собравшись вокруг бивачных костров накануне «величайшего в летописях народов побоища»? Содержание беседы офицеров-артиллеристов перед битвой передано в воспоминаниях Н. Е. Митаревского: «Ночь настала холодноватая, небо то покрывалось облаками, то очищалось. Поужинавши у запасного лафета, обыкновенного нашего приюта, где хранились и припасы, мы полезли в свой бивак или шалаш. Иначе нельзя назвать жилище, где мы, шесть офицеров, могли только лечь на соломе, друг подле друга; мы могли там и сидеть, но выпрямиться было невозможно: таким невысоким было сделано наше жилье; один лишь ротный командир помещался особо. Полагали, что завтрашний день будет решение кровавой задачи, и, разумеется, об этом только и толковали. “Не может быть, говорили, чтоб из такого дела все мы вышли живы и невредимы! Кому-нибудь из нас да надо же быть убитым или раненым”. Некоторые возражали : “Не может быть, чтобы меня убили, потому что я не хочу быть убитым...” Другой замечал: “Меня только ранят...” Один молодой, красивый подпоручик сказал, указывая в открытую лазейку бивака: “Смотри-

те, видите ли вы там на небе большую звезду? Когда меня убьют, я бы желал, чтобы душа моя переселилась туда”. Этот офицер действительно был убит, но там ли его душа?.. Однако ж по настоящее время, как только взгляну на крайнюю звезду Большой Медведицы, я вспоминаю о своем юном сослуживце. Я доказывал, что в сражении обыкновенно из десяти убивают одного, а ранят двоих; следовательно, из нас шестерых должен быть убитым один или ни одного, а ранен будет кто-нибудь непременно. “И неужели я именно тот десятый, который должен быть убитым?” — говорили иные. Все мы были люди молодые, я же моложе всех. Один только штабс-капитан был старше нас. Этот добрый, благородный человек служил в прусской и турецкой кампаниях и только в двенадцатом году был переведен к нам в роту. Он сказал: “Полно вам рассуждать... Молитесь Богу, да спите, а там Его святая воля”. И мы, хотя были и не без грешков, славно заснули, как говорится, сном праведников»²¹.

Ночь на Бородинском поле запомнилась А. С. Норову с множеством подробностей, вероятно, потому, что это было первое и последнее «большое сражение» в его жизни. Юный офицер гвардейской артиллерии лишился ноги, после чего он вынужден был расстаться с мечтой о военной карьере. Вот его рассказ: «Я пробыл в этот вечер в батарейную роту графа Аракчева, которой командовал Роман Максимович Таубе. Он был ко мне особенно добр, и я, думая, что мы уже находимся накануне битвы, нес ему подарок: он заметил у меня отличную булатную саблю, которую мне подарил мой отец вместе с ятаганом, полученные им от генерала от инфантерии князя Сергея Федоровича Голицына из отбитых у турок под Мачиным. Таубе давно упрашивал меня уступить ему саблю, говоря: “Ты, мой друг, командуешь двумя орудиями, а у меня их все двенадцать; я верхом, а ты пеший; ты можешь и со шпаженкой управиться, да к тому же у тебя ятаган”. Таубе, израненный ветеран, украшенный уже Георгиевским крестом за прусскую кампанию, очень был тронут моим подарком. Тут собрались за чаем все офицеры батареи»²². Таубе в ответ подарил А. С. Норову на счастье часы, сказав при

этом: «Не знаю, чьи часы лучше, твои или мои; но я хочу с тобой обменяться, чтобы ты имел у себя память обо мне <...>». Он прибавил: «Я никогда не выходил цел из дела». В своих воспоминаниях о Бородинском сражении Норов вспомнил характерный бивачный диалог между двумя своими приятелями-артиллеристами: «Глухов, обратись к Павлову, который был земляк, сказал: “А что, любезный друг, если нас завтра ранят, а не убьют, то мы отдохнем в деревне твоей матушки?” — “Так, мой любезный, — отвечал Павлов, — ты, может быть, отдохнешь там, а я здесь!” Так и случилось».

Предчувствуя кровопролитие и вечную разлуку со многими своими товарищами, офицеры перед сражением старались обменяться памятными вещами, оружием. Впрочем, знак дружеской симпатии, полученный в результате обмена, воспринимался как талисман «на счастье», в то время как безвозмездно передать кому-либо что-либо накануне или во время битвы считалось плохой приметой: так, князь П. А. Вяземский рассказывал о том, что офицеры, один из которых снабдил его фуражкой, а второй — лошадью, погибли. По воспоминаниям А. С. Норова, при виде своего юного изувеченного в битве сослуживца смертельно раненный Р. М. Таубе произнес: «Хотя бы нас, стариков... Не спасла меня твоя сабля, да и тебя твой ятаган».

Долгих 15 часов, все светлое время суток продолжалось сражение при селе Бородине. Под вечер выстрелы с обеих сторон стали стихать, атаки противника прекратились по всему фронту, и «армия, вернее, остатки ее, отдыхала». Изнуренные в битве воины собирались вокруг костров, «считая раны» и своих уцелевших товарищей. «Всю ночь с 26-го на 27-е число слышался по нашему войску неумолкаемый крик (таким образом созывались батальоны, полки и даже дивизии. — *Л. И.*). Иные полки почти совсем исчезли, и солдаты собирались с разных сторон. Во многих полках оставалось едва 100 или 150 человек, которыми начальствовал прапорщик», — рассказывал Н. Н. Муравьев²³. По словам Г. П. Мешетича, «тут-то был виден кровавый пот бранной усталости, слезы и сожаление о потерянных товарищах и знакомых»²⁴. И. Р. Дрейлинг вспоминал: «Изму-

ченные, лежали мы на пропитанной кровью земле, за которую заплатили такой дорогой ценой»²⁵. Н. Н. Муравьеву конец великой битвы запомнился так: «Когда настала ночь, я опять отправился уже пешком на батарею Раевского, где и около которой лежали страшные груды мертвых и раненых, коих ужасный стон раздирает душу; отправившись с целью отыскать брата Михаила, но не найдя его, я, утомившись до чрезвычайности, лег тут отдохнуть на землю, подле одного раненого, заснул немного и, проснувшись, застал соседа уже мертвым; брата же не нашел»²⁶.

Ночь после Бородинской битвы выдалась сырая и холодная. Помимо смертельной усталости русских офицеров одолевала другая напасть: «Если у нижних чинов были хотя бы сухари в ранцах, то офицеры оказались в гораздо худшем положении. Все частные повозки были отправлены за Можайск еще накануне битвы, там же находились полковые. И все почувствовали голод, все вспомнили, что они не ели с утра, но есть было нечего»²⁷. Красноречиво поведал о «бивачном застолье» М. М. Петров: «Когда сражение заумолкло, то полковник Карпенков, я и другие офицеры многие, метавшиеся с ним во весь день от одного места к другому для восстановления успешного боя, повалились на землю в изнеможении и отошлости. Через пять минут этого полумертвого лежания наш храбрый и расторопнейший капитан Токарев, занявший место раненого батальонного командира майора Сибирцева, встал и попросил у полковника позволения отлучиться на 10 минут к батарее, стоявшей за нами вблизи. Полковник позволил. Токарев сел на верховую лошадь и поскакал быстро. Через несколько минут он возвратился в торжественном виде: держа в руках узелок. Соскоча с лошади пред нас, он развернул узелок на земле пред Карпенковым и мною. В нем было по тому случаю неоцененное сокровище: пять или шесть сухарей и две селедки — простые.

“Ах, капитан, — сказал полковник, — это ваше попечение о боевых своих товарищах и тогда, как вы сами смертельно изнурены, обязывает нас на вечную благодарность вам. Да где же вы это сокровище достали?” — “У артиллеристов. Я сказал им: ‘Господа! Снабдите чем-

нибудь съестным двух штаб-офицеров 1-го егерского полка, оставшихся от сражения изнуренными до смертельного изнеможения, которые и теперь еще на своем месте — впереди всей армии'. И вот они дали почти все, что у них было съестного, и еще", — сказал он, вынимая из грудного кармана фляжку сивухи мерою чарки в четыре. Возблагодаря пречувствительно славного нашего боевого товарища капитана Константина Алексеевича Токарева, мы с Карпенковым, выпив по чарке сивушки, вкусили его священное предложение на побережьях речки Колочи и ручья Стонца, как евхаристию Иисуса Христа, на вечную нашу о ней память до жизни той — за гробом. В 1839 году от 6 ноября генерал Карпенков в письме его мне из Москвы, говоря о Бородинской годовщине и самом событии этом 1812 года, сказал, между прочим, и о вечерней трапезе нашей там следующее: "...а что мы под Бородиным, после кровопролитного побоища, ели сухарик и пили сивуху, а десертом служила селедка, то правда; не подкрепи сил наших Токарев — заживо ложись в землю..." Это письмо хранится у меня вместе с подобными ему товарищескими письмами, драгоценными для души моей до последнего часа жизни»²⁸.

Вопреки всем надеждам Наполеона, основанным на опыте его прежних войн, вступление Великой армии в «древнюю столицу русских царей» не ознаменовалось заключением почетного для завоевателей мира. Москва находилась в руках французов, но боевые действия продолжались, невзирая на осеннее ненастье, приближение которого делало бивачную жизнь малоприятной. Русская армия, оторвавшись от преследования, двигалась по Калужской дороге в поисках «крепкой позиции». 19 сентября два русских офицера — гвардеец-«семеновец» А. В. Чичерин и квартирмейстер Н. Д. Дурново — поместили на страницах своих дневников впечатления «кочевой жизни». Их возраст, образование, имущественное и общественное положение — почти одинаковы, но как различно содержание дневниковых записей, раскрывающих характеры обоих авторов! Вот что пишет А. В. Чичерин: «Дождь не перестает, земля превратилась в сплошное болото, но моя

палатка защищает меня от воды и ветра, толстое сукно не пропускает холодного воздуха, простой и удобный камелек согревает и очищает воздух, подсушивает землю под моей постелью. Здесь я укрыт от всего, и чего же мне еще желать? Я ненавижу излишества и роскошь. Богатые дома приятны мне лишь тем, что сулят отдохновения и удовольствия. Но теперь, когда долг вынуждает меня оставаться здесь, а мои вкусы побуждают никуда не ходить (я не люблю бродить из палатки в палатку), когда мне приходится прогонять от себя все желания и наслаждаться лишь воспоминаниями, — разве не довольно мне палатки, хорошо поставленной, достаточно просторной, в коей я могу, уютно растянувшись у огня, мысленно переживать прежние удовольствия? <...> Грязь ужасная; солдатам, промокшим на марше, приходится спать в воде — дождь просачивается сквозь солому, которой они укрываются. Если б я мог разделить с ними удобства, коими пользуюсь!»²⁹ В то время как автор этих строк, полный участия к нижним чинам, всем сердцем ополчился против «излишеств и роскоши», его соратник Н. Д. Дурново пребывал во власти совершенно иных эмоций: «В настоящее время я квартирую со своим дядей Демидовым, который предан генералу Беннигсену. Вот другие лица, составляющие его окружение: полковник флигель-адъютант князь Сергей Голицын, гвардейский капитан Полиньяк, Андрекович, поручик Корсаков, Ланской, Панкратьев, Клетте, князь Александр Голицын, аудитор Бестужев. Я имел честь быть принятым в это избранное общество. Мы провели вечер очень весело, пили пунш и пели. Лагерная жизнь мне нравится. Я люблю эту всеобщую деятельность, которая здесь царит постоянно»³⁰.

В конце сентября русская армия расположилась в лагере при селе Тарутине, каждый день пребывания в котором М. И. Кутузов называл «золотым днем». Многочисленные воспоминания русских офицеров об этом периоде Отечественной войны 1812 года подтверждают, что слова фельдмаршала не были преувеличением. Даже Н. Н. Муравьев, отличавшийся весьма пессимистическим взглядом на все происходившее вокруг него, не скрывал отрядных впечатлений, оставшихся в его па-

мяти от той поры: «Тарутинский лагерь наш похож был на обширное местечко. Шалаши выстроены были хорошие, и многие из них обратились в землянки. У иных офицеров стояли даже избы в лагере; но от сего пострадало село Тарутино, которое все почти разобрали на постройки и топливо. На реке завелись бани, по лагерю ходили сбитенщики, приехавшие из Калуги, а на большой дороге был базар, где постоянно собиралось до тысячи человек нижних чинов, которые продавали сапоги и разные вещи своего изделия. Лагерь был очень оживлен. По вечерам во всех концах слышна была музыка и песенники, которые умолкали только с пробитием зори. Ночью обширный стан наш освещался множеством бивуачных огней, как бы звезд, отражающихся в пространном озере»³¹.

Н. Д. Дурново был по-прежнему очарован лагерной жизнью, о чем свидетельствует запись в его дневнике от 29 сентября: «Все спокойно на аванпостах. Говорят, что мы находимся в состоянии мира. Главная квартира расположена в Леташовке. Мы проводим время очень приятно: целый день поем, едим и пьем»³². В воспоминаниях Н. Е. Митаревского подробно рассказано, что именно ели и пили «дети Марса»: «Наехали из Калуги и других городов купцы и маркитанты, навезли разных товаров, особенно съестных: сахару, чаю, табаку, окороков, рому, вин и проч. Тут мы завелись чаем, а старшие имели ром и водку. Покупали турецкий табак, но из экономии мешали с простым. Из ближних селений жители привозили свежий ржаной хлеб, а часто и белый; привозили также масло и яйца, чего мы давно не видали; разносили даже пироги и блины. <...> Почти каждый день у нас была свежая говядина. Привозили разную зелень: капусту, свеклу, картофель и проч. Наш дядька по возможности разнообразил нам кушанья. Хотя мы имели и порядочный бивуак, но так как тогда почти все время была хорошая погода, то мы, по привычке, ели у запасного лафета; вблизи был огонь и наша кухня. Дядька наш имел обычай во время обеда и ужина стоять у лафетного колеса; он распоряжался денщиками и терся спиной о колесо»³³. С восторгом вспоминал о тарутинских буднях, казавшихся праздником русским воинам,

утомленным тяжелой военной кампанией, Д. В. Душенкевич: «Получа облегчение и не будучи привычен к обоям, я 1 октября поспешил явиться без правого сапога, который еще не мог надевать, к полку налицо, в прекрасный Тарутинский лагерь, где разгульный дух войск, изобилие во всем при удивительном порядке донныне меня восхищают. Наша дивизия была расположена по левой стороне дороги, идущей из главной квартиры, с. Леташевки в Москву; образ Смоленской Богоматери на правой, неподалеку от нас; сюда почти каждый вечер главнокомандующий с генералитетом приезжали на вечернюю молитву, при заре, а в войсках ежедневно с 4-х часов пополудни до зари гремела музыка и раздавались хоры песельников. От прибывающих ратников и других резервов стан наш, имеющий знатную укрепленную позицию, ежедневно увеличивался; со всех сторон стекались к Леташевке сыны Отечества и привозили, усердные, воинам всего обильно. Мы блаженствовали! Куда девалась печаль, откуда дух беспечности и самонадеяния излился чудно на всех, тосковавших по Москве, а с нею, казалось, и Отечеству?»³⁴

С приближением осенней непогоды русские воины стали располагаться на биваках основательно, «по-солідному», чем причиняли немалый ущерб окрестному населению: «Мы себе выкопали яму по пояс глубиною, с краинами, на которых сидели и спали, обставили жердями и хворостом и оплели соломой. Недалеко от нас, влево, за небольшою речкой, на возвышенности стояла дереvушка. Жителей там не было — все убрались в леса. Там выбрали избу, устроили баню, в которой несколько раз парились; один раз и меня туда затащили. Узнали о бане пехотные офицера и просили истопить ее для них; мы послали людей, и они вместо бани нашли только пустое место. Баню нашу кто-то перетащил к себе, да и вообще все избы были растащены и перестроены на бивуаки. <...> Для продовольствия подвозили сухари и крупу; давали изредка волов для говядины, водку и овес; сено и солому доставали фуражировкой по окружным селениям. <...> Искали и интересовались доставать немолоченый овес в снопах; нередко доставали его, а потому значительно поправили лошадей. Лоша-

ди сперва ели все — и колосья, и самую солому, а потом уже стали объедать одни колосья. <...> У нас был бивуак небольшой, и мебелью мы не занимались, но зато навезли книг. Книги были большею частию известных тогда писателей: Дюкре дю Мениля, Радклиф, Коцебу; помню также, что были “Жиль Блаз”, “Путешествие капитана Кука” и много других. Зачастую, бывало, однако ж так, что какого-нибудь сочинения в трех частях находились налицо только две первые части или последние, или же средней не было; но, несмотря на это, мы имели довольно чего читать по вечерам, да и ночи становились длинными»³⁵. Не менее красноречив рассказ В. И. Левенштерна: «Ни одна армия никогда еще не имела всего в таком изобилии, как наша, не доставало только дров; солдаты разорили на топливо все окрестные дома. Дня через три или четыре огромного прекрасного Тарутинского села более не существовало. Самому фельдмаршалу пришлось выехать из прекрасного занимаемого им дома, с которого была сорвана крыша в то время, как он обедал. Он снискал большую популярность тем, что не препятствовал этому, приказав только подождать, пока он отобедает. Покончив обед, он вышел из дома и поселился в трех верстах от лагеря в деревне Леташевке...»³⁶ Кутузова нередко упрекали в излишней снисходительности к «шалунам», но поразительно похожий случай произошел во время похода во Францию в 1814 году. И. М. Казаков рассказывал: «Мне случилось раз зимой, в небольшой деревушке, почти разграбленной, видеть, как стащили соломенную крышу с одной избы, в которой поместился наш главнокомандующий Барклай, и каково же было мое положение, когда он вышел поспешно из избы и стал смотреть, как снимают солому и стропила, которые зимой не нужны, так как дождя не бывает. Когда же казаки и жандармы стали сгонять с крыши фуражиров, то Барклай, смеясь, приказал их не трогать, чтоб не замерзли и не остались бы без пищи». Как говорится, на войне как на войне...

Заметим, что «бытовые условия» в Главной квартире Кутузова не особенно отличались от бивачных удобств. «Не было надобности хлопотать о зажжении свечи <...>: она всегда стояла в устье печи внутри медного таза, ко-

торый наполнялся массою тараканов — черных, гладких, безвредных; пруссаков бурых, которые смердят и кусают, в избе не было. Она была курная или черная. Топка печи продолжалась не более часа. В это время густой слой дыма несся над головой моей и Коновницына, лежавшего близ дверей в темном углу; диагонально против меня. Должно было переждать дым и потом уже приниматься за работу. Дым выходил в отверстие, закрывавшееся задвижкой по окончании топки. Воздух был так чист, что я рад бы жить всегда в курной избе. Часовой, стоявший снаружи дверей избы, имел приказание впускать всякого военного. В первые две недели пребывания нашего в Леташевке я будил Коновницына при получении каждого донесения, которое он сам распечатывал. Но когда он утомился от неоднократного по ночам пробуждения, он разрешил мне распечатывать конверты и будить его только в случае важном», — свидетельствовал А. А. Щербинин³⁷.

Благодаря подробным воспоминаниям Н. Е. Митаревского мы можем в подробностях восстановить будни наших героев в Тарутинском лагере: «Офицеры ходили по лагерю, отыскивая знакомых. Всяк выбирал по своему вкусу общество, и время проходило весело. Наш ротный командир, штабс-капитан, был совершенный домосед, почти никуда не ходил; но как он был человек хороший, очень приятный собеседник и имел все средства принимать, то к нему всегда собирались офицеры, как своей бригады, так и пехотной и знакомые разных команд. <...> Образовались разные кружки. В картежных играх в бостон, в то время бывший в ходу, в банк и другие игры. У нас не было карт; из наших офицеров только один поручик любил поиграть и ходил туда, да еще подпоручик, англичанин; но этот, проигравши сразу полученное третнее жалованье, остался без денег и сидел на месте. <...> Были кружки, где любили и подкутить: но так как было кругом начальство, то слишком и не увлекались. У нас образовалось что-то вроде школы: штабс-капитан любил пофилософствовать, а потому многие к нему и собирались для этого. <...> Самовара у нас не было, а в тот же медный чайник, в котором кипела вода, клали и чай. Когда было мало ста-

канов, то посылали доставать, а некоторые приходили со своими. Некоторые пили с прибавлением крепкого. Чай располагались пить у разложенных огней. Штабс-капитан имел обычай сидеть по-турецки, поджавши ноги; прочие сидели, как попало, а некоторые лежали, но все с трубками. Солдаты, вечером, по окончании работ, пели песни, и часто по полкам играла музыка. Все были довольны и веселы, а главное — имели хорошие надежды в будущем»³⁸. Помимо всех вышеперечисленных занятий, у офицеров 12-й легкой роты существовало особое развлечение, привлекавшее к их биваку немало любопытствующих: «Был у нас в роте солдат. Когда мы стояли еще около Луцка, он бежал из роты. Его поймали, судили и прогнали сквозь строй. Он оставался в пренебрежении, и на него не обращали внимания. Во время отступления от Вильно, особенно ночью, к нему собирались кучкой солдаты и много смеялись, слушая его рассказы. Мы любопытствовали узнать, что он рассказывает. Бывший при этом фельдфебель сказал: “Это наш солдат рассказывает сказки, и такие уморительные, что умираешь со смеху”. Довольно рано улегшись на ночлеге, офицеры упросили штабс-офицера позвать сказочника. Сначала он стеснялся нас, но стакан водки развязал ему язык. Он рассказывал сказки большею частью в смешном роде, и так гладко и с таким юмором, что мы много смеялись. С того времени мы часто его призывали, заставляли ложиться подле бивуака и говорить сказки. Так было и под Тарутином. Сказки его были до того уморительны, что нарочно у нас оставались ночевать сторонние офицеры, чтоб только послушать их. Рассказчик этот поступил в солдаты из духовенства...»³⁹

Вероятно, «золотые дни» при Тарутине особенно запомнились русским офицерам и тем, что командование во главе с Кутузовым не настаивало на строгом соблюдении всех формальностей службы, предоставив войскам возможность восстановить силы после Бородинского кровопролития: «Киверов мы тогда не надевали. Тогда пехотным и артиллерийским офицерам не полагалось носить усы, но многие по своей фантазии их запустили. Начальство смотрело на все это снисходительно. Оно заботилось больше о том, чтобы все бы-

ли довольны и веселы. Часто проезжали по бивуакам наш дивизионный генерал Капцевич и сам корпусной генерал Дохтуров. Солдаты как были, так и оставались кто в рубашке, кто на босу ногу; даже начальство требовало, чтобы все оставались спокойными. Случалось, что генералы проезжали во время нашего обеда или вечернего чаю; мы обыкновенно поднимались в чем были. Почти все они говорили: “Не беспокойтесь, господа, продолжайте ваше занятие”. <...> Эти, по-видимому, вольности нисколько не нарушали порядка и дисциплины, которая строго наблюдалась»⁴⁰. По рассказу М. М. Петрова, «высланные тогда в свое время в тыл французов залетные наши партизаны — ген[ерал]-майор Дорохов, полковник князь Кудашев, подполковник Д. Давыдов, капитаны Фигнер, Сеславин и многие другие из регулярных кавалеристов и из донских удалых налетов, врываясь во все удобные места займища нечистой вражьей силы, душили и арканили незваных гостей московского царства, так что каждый день приводили их в деревню Леташевку из разных мест Подмосковья от 100 до 300 и более человек пленными...»⁴¹. Эта «малая война с большими преимуществами», следствием которой были, по выражению Кутузова, «шалости» в неприятельском тылу, давала постоянную пищу для разговоров вокруг бивачных костров. В офицерских беседах едва ли не чаще других упоминалось имя партизана А. С. Фигнера, отличавшегося исключительным хладнокровием в опасностях и даже пристрастием к рискованным ситуациям. В совершенстве владея несколькими европейскими языками, он не раз переодевался в мундир офицеров и нижних чинов наполеоновской армии, добывая таким способом ценные сведения. Однажды он доставил в русский лагерь не совсем обычного пленника, о котором упомянул в записках генерал Ермолов: «При выходе из Москвы Фигнер достал себе французский билет как хлебопашец из Вязьмы, возвращающийся на жительство. Переодетый в крестьянское платье, взят он в проводники небольшим отрядом, идущим от Можайска. Целый переход следует с ним, высматривает, что пехоту составляют выздоровевшие из госпиталей, сопровождающие шесть орудий

италианской артиллерии, идущей из Павии. С ночлега Фигнер бежал, ибо в лесу, недалеко от дороги, скрыт был отряд его, и он решился сделать нападение. Все взято было почти без сопротивления. В числе пленных был полковник, уроженец из Ганновера. Я был свидетелем свидания его с генералом бароном Беннигсеном, знакомым его с самой юности, по связи семейств их»⁴². Похоже, что встреча на военной тропе двух старинных приятелей, из которых один был начальником Главного штаба русской армии, а второй скромным полковником из иностранного контингента наполеоновской армии, произвела впечатление на офицерское общество. Об этом же случае упомянул в записках и Н. Н. Муравьев: «Наша конница внезапно ударила на неприятельский обоз и все захватила в плен. Полковник сидел в то время в коляске и крайне удивился, увидев проводника своего предводителем отряда и объяснявшимся с ним на французском языке. Ермолов, к которому доставили захваченных пленных и пушки с обозом, говорил мне, что полковник этот был умный и любезный человек, родом из Мекленбурга и старинный приятель земляка своего Беннигсена, с которым он в молодых годах вместе учился и которого он уже 30 лет не видал. Старые друзья обнялись, и пленный утешился»⁴³.

«Хорошие надежды» на благоприятный поворот событий в войне стали постепенно сбываться. 23 сентября весь Тарутинский лагерь всколыхнула новость: «Французы прислали генерала Лористона, чтобы просить свидания с Кутузовым. Последний поручил князю Волконскому заменить его в этой беседе. В четыре часа пополудни наш генерал отправился на аванпосты. Граф Милорадович предложил ему встретиться с Неаполитанским королем, а Беннигсен дал согласие отправить на неприятельские аванпосты полковника Потемкина, графа Полиньяка и князя Голицына, чтобы объявить Мюрату, что Беннигсен желает его видеть. Спустя некоторое время бригадный генерал Ренье явился нам сказать, что король не замедлит прибыть. В самом деле, он явился в поле. Граф Беннигсен направился ему навстречу. В течение 20 минут они беседовали друг с другом. Мы не знали содержания их разговора, так как не мог-

ли их услышать. Мы вернулись очень поздно в Главную квартиру. Костюм Мюрата был совершенно особенный. Он — в расшитых золотом зеленых панталонах и красных сапогах. Его мундир был также очень богатым. Огромный султан венчал его большую шляпу. Одним словом, он имел вид скорее шута, чем короля. Его свита была одета более благопристойно»⁴⁴. Н. Д. Дурново поспешил занести в свой дневник запись об этом важном событии, но не потрудился проверить достоверность этих сведений: вскоре выяснилось, что со старым знакомым гвардейских офицеров, бывшим посланником в Петербурге генералом Ж. А. Лористонем встречался сам Кутузов. Сначала главнокомандующий русской армией намеревался встретиться с французским парламентарем глубокой ночью на аванпостах, однако целая группа генералов во главе с Беннигсеном стала настаивать на том, чтобы эта встреча состоялась в русском лагере. Кутузов, располагая известиями о бедственном положении неприятеля в сожженной Москве, с удовольствием пошел навстречу пожеланиям своих соратников. К прибытию гостя он приказал разжечь как можно больше костров, петь песни и варить кашу с мясом для того, чтобы неприятельскому генералу было о чем поведать императору Наполеону. По воспоминаниям А. И. Михайловского-Данилевского, «фельдмаршал, который обыкновенно ходил в сюртуке, нося через плечо португепю и нагайку, надел при сем случае мундир, вышел на улицу, и когда нас собралось вокруг него довольно много, то он сказал нам: “Господа, я вас прошу с французскими офицерами, которые приедут с Лористонем, не говорить ни о чем другом, кроме о дожде и о хорошей погоде...”»⁴⁵.

Кутузов позаботился о том, чтобы обстоятельства этой встречи, переданные им в письме государю, стали известны всем русским офицерам; каждое слово, сказанное фельдмаршалом парламентарю, явившемуся с мирными предложениями, живо обсуждалось во время бивачных застолий: «Лористон <...> предлагал размену пленных, в которой ему от меня отказано. А более всего распространился об образе варварской войны, которую мы с ним ведем; сие относительно не к армии, а

к жителям нашим, которые нападают на французов, поодиночке или в малом числе ходящих, поджигают сами дома свои и хлеб, с полей собранный, с предложением неслыханные такие поступки унять. Я уверял его, что ежели бы я и желал переменить образ мыслей сей в народе, то не мог бы успеть для того, что они войну сию почитают, равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их воспитание. Наконец, дошед до истинного предмета его послания, то есть говорить стал о мире, что дружба, существовавшая между Вашим Императорским Величеством и императором Наполеоном, разорвалась несчастливым образом по обстоятельствам совсем посторонним и что теперь мог бы еще быть удобный случай оную восстановить. Неужели эта необычная, эта неслыханная война должна длиться вечно? <...> Я отвечал ему, что никакого наставления на сие не имею, что при отправлении меня к армии и название мира ни разу не упомянуто»⁴⁶. При встрече с посланцем Наполеона, по мнению соратников, «Кутузов проявил весь свой ум (у него было его много) и лукавство, которым он в высшей степени отличался»⁴⁷. Ермолов также с явным удовольствием вспоминал об этом первом случае торжества «во стане русских воинов»: «В самое это время между прочими и я находился в квартире Кутузова, но всем нам приказано выйти. После носилась молва, будто князь обещал довести о том до сведения государя положить конец войне, долженствующей возгореться с большим против прежнего ожесточением. Хитрый военачальник уловил доверчивость посланного, и он отправился в ожидании благоприятного отзыва. Таким образом дано время для отдохновения утомленным войскам, прибыли новонабранные и обучались ежедневно, кавалерия поправилась и усилена, артиллерия в полном комплекте».

По воспоминаниям М. М. Петрова, через неделю после визита Лористона русским войскам был объявлен приказ главнокомандующего: «Бить вечерние зори во все барабаны при музыке, ибо настало время вновь торжествовать победы наши над неприятелем, стоя во фланге его с 90 000 бодрых воинов»⁴⁸. Дни безмятежного пребывания в Тарутинском лагере были сочтены,

приближалась военная страда. Русское командование приняло решение открыть боевые действия внезапной атакой авангарда под командованием маршала И. Мюрата, который «стоял с великой оплошностью» при речке Чернишне. Из рассказа А. А. Щербинина явствует, что «детям Марса» было не так-то просто отказаться от искушений бивачной жизни: «3 октября был призван в Главную квартиру Ермолов, начальник штаба главной армии. Ему открыл Коновницын, что на другой день назначена атака и что он вскоре получит диспозицию фельдмаршала для рассылки приказаний корпусным командирам. Коновницын просил Ермолова подождать полчаса, что ему самому вручится диспозиция по рассмотрении фельдмаршалом, к которому спешил Коновницын. Но Ермолов не захотел ждать, извиняясь приглашением, полученным им в тот день к обеду от Кикина, дежурного генерала своего. По отъезде Ермолова диспозиция была к нему послана с ординарцем Екатеринославского кирасирского полка поручиком Павловым. Но ни Ермолова, ни Кикина Павлов отыскать не мог...» Заметим, и немудрено! В это время многие русские военачальники собрались на «большой обед, все присутствовавшие были очень веселы, и Николай Иванович Депрерадович пустился даже плясать. Возвращаясь в девятом часу вечера в свою деревушку, Ермолов получил чрез ординарца князя Кутузова, офицера Кавалергардского полка, письменное приказание собрать к следующему утру всю армию для наступления против неприятеля. Ермолов спросил ординарца, почему это приказание доставлено ему так поздно, на что тот отозвался незнанием, где находился начальник Главного штаба. Ермолов, прибыв тотчас в Леташевку, доложил князю, что, по случаю позднего доставления приказания его светлости, армию невозможно собрать в столь короткое время. Князь очень рассердился...»⁴⁹.

Кутузов приказал перенести атаку на 6 октября, и «день закончился славной победой», о чем много лет спустя вспоминал Д. В. Душенкевич: «Возвращаясь в славный лагерь наш, у дороги находилась избушка, оставшаяся от бывшего постоялого двора; пред нею, по обе стороны крылечка стояла линия неприятельских



Наполеон в сожженной Москве. Гравюра неизвестного художника.
1830-е гг.



Михаил Богданович Барклай
де Толли. Гравюра Ф. Вендрамини.
1813 г.



Князь Петр Иванович Багратион.
Гравюра Ф. Вендрамини. 1813 г.

Переправа наполеоновской армии через Неман.
Неизвестный художник. 1810-е гг.





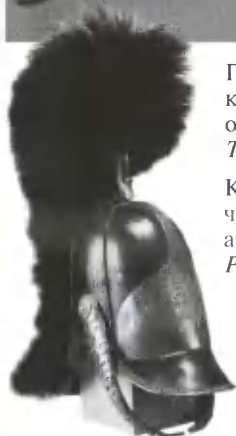
Труба кавалерийская. *Россия. Первая четверть XIX в.*



Светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Гравюра Ф. Вендрамини по оригиналу Л. Сент-Обена. 1813 г.

Штандарт эскадронный. *Россия. 1810-е гг.*





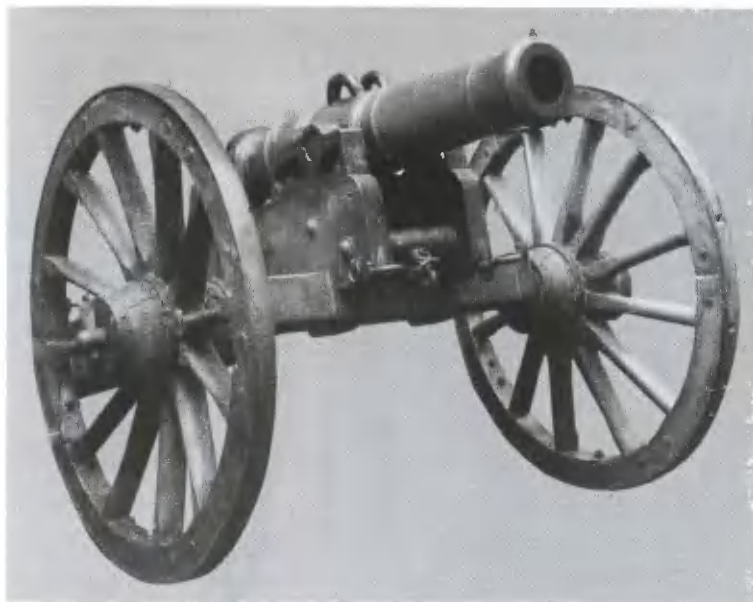
Пистолет
кавалерийский
образца 1809 года.
Тула. 1813 г.

Каска нижних
чинов конной
артиллерии.
Россия. 1810-е гг.

Рудольф де Местр, сын посланника
Сардинии, офицер
Кавалергардского полка.
Неизвестный художник. 1809 г.

Оборона Смоленска 5 августа 1812 года. *А. Ю. Аверьянов. 1994 г.*





Четвертьпудовый единорог на лафете. *Россия. 1805 г. (ствол), 1864 г. (лафет)*

Ружейный залп пехотного батальона — 300 пуль. *Бородино. 1812 г.*





Шинель офицерская
с капюшоном. *Россия.*
Первая четверть XIX в.



Ружья солдат русской
армии. *Начало XIX в.*

Котел артельный
с крышкой. *Россия (?).*
1819 г.



Бивак.
А. Ю. Аверьянов.
1992 г.



Владимир Иванович
(Вольдемар Герман)
фон Левенштерн



М. И. Кутузов отвергает
предлагаемый Наполеоном
мир. *Неизвестный художник.*
1813 г.





Последняя атака князя Багратиона. А. Ю. Аверьянов. 2006 г.



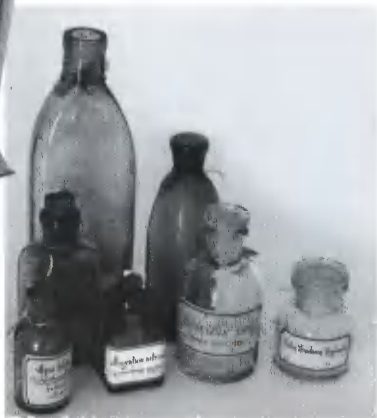
Лейб-медик Яков Васильевич
Виллие. Гравюра Ф. Болта. 1816 г.

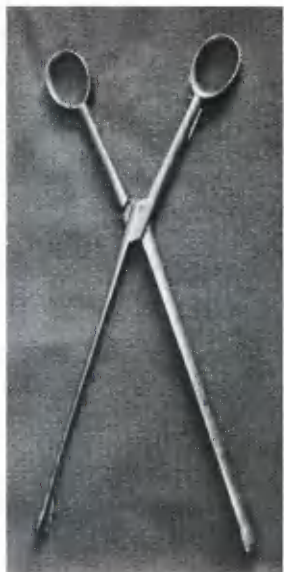


Профессор хирургии и медицины
Федор Андреевич Гильтебрандт.
Э. В. Бинеманн. 1830-е гг.



Аптечка дорожная и склянки
медицинские. Россия. XIX в.





Щипцы пулевые. XIX в.



Портрет прапорщика А. А. Полторацкого.
П. Ф. Соколов. 1814 г.

Смертельное ранение генерала Багратиона на Бородинском поле.
А. И. Венхвадзе. 1948 г.





Мария Антоновна
Нарышкина,
«Прекрасная Аспазия»,
фаворитка Александра I.
С. Тончи. Начало XIX в.



Графиня
Вера Николаевна
Завадовская.
*И. Б. Лампи Старший.
1890-е гг.*



Сергей Никифорович Марин.
О. А. Кипренский. 1819 г.



Граф Михаил Семенович Воронцов.
Неизвестный художник. 1810-е гг.

Капитуляция Парижа 19 (31) марта 1814 года. *Гравюра. Австрия. Первая четверть XIX в.*





Портрет офицера в кавалергардском мундире. *Неизвестный художник. 1810-е гг.*



Кивер офицерский пехотный образца 1812 года. *Россия. XIX в.*



П. П. Лачинов в мундире лейб-гвардии Гусарского полка со шкурой барса на левом плече (деталь униформы, существовавшая до 1814 года). *Л. Ризенер. 1810-е гг.*



Шляпа офицерская с плюмажем.
Россия. Конец XVIII — начало XIX в.



Михаил Андреевич Милорадович.
Гравюра Ф. Боллингера с оригинала Гейзингера. Начало XIX в.



Мундир офицерский
лейб-гвардии Литовского
полка образца 1811 года.
Россия. 1811—1825 гг.



Раненый офицер. А. Ю. Аверьянов. Фрагмент картины
«Конногвардейский полк в Бородинском сражении». 2003 г.

знамен и орудий. Главнокомандующий, стоя на крылечке, окруженный генералами, благодарил колонны теми словами: «Вот ваша услуга — (указывал на трофей) — оказанная сего дня Государю и Отечеству! Благодарю вас именем Царя и Отечества!» Беспрерывное, громогласное «Ура!», перемешанное с веселыми песнями и подсвистами, долетало эхом радости к отдаленному еще лагерю нашему и в оный даже внесено. Ночь напролет от радостного шума, казалось, хохотал весь лагерь, покой не шел на мысль, как бы праздновалось воскресенье умолкнувшей на время славы русской, и войско, в полной доверенности к опытному, превознесенному вождю своему, готово было сейчас опять сражаться⁵⁰.

Сражение при Тарутине «разбудило беспечно спавшего на пепле Москвы Наполеона. И на другой же день 7 октября неприятельская армия начала выступать из Москвы». Поздним вечером 9 октября с этим известием прискакал в Тарутинский лагерь, «прямо к квартире генерала Коновницына», полковник Д. Н. Болговский. «Я распечатал привезенный конверт и, разбудив Коновницына, подал ему рапорт, с которым он поспешил к Кутузову в соседнюю избу», — вспоминал А. А. Щербинин. Фельдмаршал приказал 6-му пехотному корпусу Д. С. Дохтурова «не следовать, а, если можно, бежать к Малому Ярославцу», чтобы преградить неприятелю путь на Калугу: остальным же войскам отдал распоряжение «быть готовыми к выступлению в течение двух дней». За день до похода В. С. Норов (брат А. С. Норова, лишившегося ноги при Бородине) отправил из Тарутинского лагеря в родительский дом письмо, при чтении которого возникает чувство, что сама эпоха говорит с нами словами одного из ее действующих лиц: «Здравствуйте, папенька, целую ваши ручки и прошу вашего благословения. <...> Вы знаете, маменька, долг наш Отечеству, знаете и нас, что мы постыдились бы быть в покое, когда и честь и долг велят сражаться, и мы друг перед другом покажем, что мы русские и воспитаны в честных и благородных правилах. <...> О себе же скажу вам, что восхищен всем, что каждый день вижу. Наконец, я в своем месте и чувствую себя способным быть полезным Отечеству. Живу я как нельзя лучше в походе.

Очень здесь весело: военная музыка и гром орудий рассеивают всякую печаль. Прошу вашего благословения и с оным готов ежеминутно лететь в сражение»⁵¹.

Так подошли к концу незабываемые «золотые дни» в Тарутинском лагере, русские воины покинули свои обустроенные биваки и двинулись в поход. А. В. Чичерин с сожалением отметил в дневнике: «Позавчера еще я занимался украшением нашего бивака под Тарутином: устроил печку, набил диван, дабы удобнее было спорить об истинном счастье, мысленно подобрал себе собеседников для воспоминаний о прошлых радостях, привел в порядок свое хозяйство и попытался устроить получше свой скромный уголок; приготовил даже план конюшни, позади которой должен был стоять деревянной сарай, впереди — кухня, направо — погреб (чтобы сохранять на холоде молоко и сливки). И вдруг четыре удара барабана в одно мгновение разрушили все мои планы. Прощайте, конюшня, сливки, споры, философия! Ядра, батареи, раны, слава вытеснят из моего воображения мирные картины»⁵². Генерал Коновницын в одном из писем жене сообщал: «Грязь, мороз, дождь, а иногда вдруг и пули, все бывает с нами». Теперь пристанища под открытым небом вновь превратились в испытание на выносливость: «Близ дороги, у огонька, при одном казаке и кирасире, возившем простую скамеечку, сидел наш славный старец-вождь, колонны своротили от дороги направо, велено составить ружья и лечь отдохнуть <...>. Ударен подъем после доброго отдыха, дорога покрылась сверкающим блеском оружия, ярко отражающимся в глаза французам, стоявшим на высоте той стороны реки в густых, многочисленных колоннах. Многие наши полки пошли левее, под лесом, а нам велено вступить в дело: “Левое плечо вперед!” — и мы очутились под пулями у самых стен Малоярославца. Жаркое, однообразное сражение сие, производившееся в самом городе, много раз переходившем из рук в руки, продолжалось до позднего вечера. Мы ночевали под выстрелами неприятельской цепи, так что в колоннах лежащих людей несколько было ранено»⁵³. Артиллерист Н. Е. Митаревский, обладавший счастливым свойством характера — безропотно воспринимать все

с ним происходящее, не особенно сетовал на неудобства: «Мне представлялся нынешний день в прошедшем; трудный переход, дождь, голод и бессонница, сражение, счастливо целый день выраженное, в настоящем — довольно спокойное сидение на лафете, а в будущем — спокойный сон на соломе: все это производило приятное ощущение. Хотя ночью, казалось, я и довольно спал, зарывшись в сено, но так как я был мокр, голоден и холоден, то это был не сон, а какая-то забывчивость. <...> Орудия, от самых дул до затравок, до того закоптились, что были черно-сизого цвета. Огарки от картузов садились людям на шинели, портупей и лица, так что все походило на трубочистов; я, верно, был таким же»⁵⁴.

Смертельная опасность, подстерегавшая русских военачальников на каждом шагу, не мешала им, а может быть, заставляла пользоваться кратковременными радостями жизни. Через день после Малоюрославецкого сражения они собрались на биваке, чтобы провести время «в живом и братском своеволье». Обстоятельства того походного застолья сохранились в памяти генерала Ермолова: «Один из генералов, командующий дивизиею, давал обед корпусному своему командиру графу Остерману, где я находился также. На открытом месте воздух чрезвычайно свежий не противился некоторому умножению тостов. Не рано кончилась беседа, и я, севши в телегу, приказал вести себя шагом, чтобы отдохнуть и даже уснуть немного, и спокойно отправился в Главную квартиру»⁵⁵. По-видимому, наши прославленные генералы отказались от затеи собираться вне лагеря после досадного происшествия с «русским Баярдом» еще на пути в Тарутино: «Недалеко от лагеря, отделенного непроходимым оврагом, находился прекрасный господский дом с обширным садом, который посетивши, генерал Милорадович, начальствующий арьергардом, едва не попал в плен. Милорадович, не довольствуясь избою, вздумал роскошествовать и занял под свою квартиру великолепный дом, пригласил к обеду многих из генералов, в полной уверенности весело отдохнуть от трудов. В это время эскадрон неприятельский, прошедши через сад, приблизился к дому; другой был в резерве. Стоявший на дворе конвой и отразил ближай-

ший эскадрон, другой не пришел на помощь». Впрочем, переход от «мирных забав» к войне мог оказаться столь же стремительным, если к застолью приступали, не добравшись до бивака: «При Милорадовиче находился отлично способный и храбрый полковник Потемкин, нечто вроде начальника штаба. В этот день на переходе давал он обед Милорадовичу; восхваляем был искусный его повар; не без внимания смотрели на щеголеватый фургон, в котором хранился фарфоровый сервиз и во множестве разные лакомые припасы. Было место и для шампанского. Полки проходили с песнями и кричали ура! Короток был день, и ночлег не близок. Не доехавши еще до него, услышали мы ружейные выстрелы. Поспешно прискакавши, мы нашли сильную уже перестрелку»⁵⁶.

После Малоярославца А. В. Чичерин записал в дневнике: «Теперь у меня нет даже палатки. Сегодня утром светлейший в весьма учтивых выражениях попросил ее у меня, а я не так дурно воспитан, чтобы отказать»⁵⁷. Спустя несколько дней в восьми верстах от Вязьмы, где произошло очередное жестокое сражение, гвардейский офицер вновь обратился к своему дневнику: «Форсированные марши — не лучшее, что может быть на свете. <...> Когда приходишь на место, измученный скукой еще больше, чем усталостью, единственным счастьем представляется растянуться и заснуть. Зато какую цену имеет это счастье в наших глазах в настоящую минуту! Чего бы мы не отдали сейчас за наслаждение лечь в хорошую постель, мягкую, теплую, с хорошим одеялом, выпить кофе со сливками — хотя бы в 8 часов вечера, пообедать хорошенько — пусть в полночь, прервав сон ради столь необходимого подкрепления наших сил, — а все остальное время нежиться, поворачиваясь с боку на бок на ложе... из сена. Да, пожалуйста к нам на бивак, пожалуйста сюда! Я приглашаю вас не для того, чтобы вы разделили наши трудности: наоборот, я был бы рад уберечь вас от этого, но для того, чтобы вы научились ценить самые малые радости»⁵⁸. Действительно, в ту пору русскому офицеру требовалось совсем немного, чтобы ощутить себя на вершине блаженства. Прапорщик Петербургского ополчения Р. М. Зотов вспоминал, как

после сражения под Полоцком ему посчастливилось отведать пищи из солдатского котла: «Они варили гречневую кашу и собирались ужинать. Я вспомнил, что более двух суток уже, как был на самой строгой диете, — и голод расписывал моему воображению гусарскую кашу, как наивкуснейшее блюдо. “Что это у вас там варится?” — спросил я самым дипломатическим тоном. “Обыкновенно что, ваше благородие, — каша! Не прикажете ли отведать, коли не побрезгуете”. — “Что за вздор, братец; дай попробовать”. Я дотащился до огня, у которого висел артельный котел, вооружился какой-то деревянной ложкой и подсел к каше. “Да что это, братец, белое-то торчит у вас в котле?” — спросил я. “Это, сударь, сальный огарок; так, для смаку”. Огарок расхолодил мое воображение, — и я призадумался: есть ли мне кашу или нет? Наконец голод победил всякое раздумье. Я хлебнул ложку, потом другую, потом третью, — и наконец не отстал, покуда не был сытешенек»⁵⁹.

Но какими бы ни были бивачные радости, сколько бы ни призывал их ценить юный Чичерин, однако в его дневнике уже в конце октября появилась запись: «Квартиры — понимаете? — квартиры! Не бивак, не лагерь, а настоящие квартиры, чертог, рай! — в тесном бараке, куда мы набились так, что нельзя повернуться, но где зато тепло». Но «рай» в бараке оказался недолгим, как явствует из записи в дневнике от 4 ноября другого семеновского офицера — П. С. Пушина: «Было очень холодно. Остановились на бивуаках в трех верстах от Красного, где наутро должны атаковать неприятеля. Бивуаки вообще непривлекательны, а особенно после того, как побудешь некоторое время на квартирах, но на поле, покрытом снегом, они нам показались особенно невыносимыми»⁶⁰. Отныне на протяжении всей кампании 1812 года русские воины стремились избегать ночлега «под открытым небом, не под кровлей». К этому же стремился и неприятель. Для Наполеона во время отступления по Старой Смоленской дороге также сделалось совершенно очевидным, что сон на открытом воздухе, если и является здоровым, то отнюдь не в России во время зимних холодов; в этом случае бесполезно было располагаться

на отдых «ногами к огню» в надежде на то, что «огонь прогреет землю».

В эти памятные дни русская армия согревалась своими победами. «На дневке, вечером, часу в пятом, Кутузов, объезжая бивуаки, подъехал к Семеновскому полку, — вспоминал И. С. Жиркевич. — За ним ехало человек пять генералов, в числе которых был принц Александр Виртембергский, Опперман и Лавров, а позади их семь человек конногвардейцев везли отбитые у неприятеля знамена.

“Здравствуйте, молодцы-семеновцы! — закричал Кутузов. — Поздравляю вас с новою победою над неприятелем. Вот и гостинцы везу вам! Эй, кирасиры! Нагните орлы пониже! Пусть кланяются молодцам!” <...>

Затем Кутузов подъехал к палатке генерала Лаврова, командовавшего в то время 1-й пехотной дивизией и расположившегося за Семеновским полком. Кутузов и прочие генералы сошли с лошадей и приготовились пить чай у Лаврова. Тут же кирасиры сошли с лошадей, стали в кружок и составили из знамен навес, вроде шатра». Тысячи пленных, беспорядочными толпами скитающиеся вокруг биваков в поисках тепла и пищи, сотни трофейных орудий, шатры из неприятельских знамен — эти выразительные подробности полного торжества русского оружия, «когда сам Бог среди нас присутствовал», навсегда сохранились в памяти участников «чудесного похода». Неспроста сам Кутузов, по окончании военной кампании сравнивая себя с Суворовым, заметил: «Конечно, Александр Васильевич был великий полководец, но ему не представилось тогда еще спасти отечество. Я, вставая и ложась, молю Бога, что я русский и что судьбы его дали мне случай спасти отечество».

В январе 1813 года Российская Императорская армия выступила в Заграничный поход. По отзывам русских офицеров, в тот год уже в феврале «погода сделалась прекрасная, дни красные, и деревья пустили почку», а к концу марта «трава уже везде являла вид лета и цветы испещряли поля». Удивительный случай произошел с прапорщиком И. М. Казаковым в Польше, где он против своей воли сменил квартирные удобства на бивачное раздолье: «Однажды ночью, в то время как я спал раз-

детым, вдруг забили сбор. Лишь только я спустил ноги с кровати, как смекнул, что в избе вода; живо одевшись, сел на лошадь — вижу, что солдаты переходят ручей выше пояса в воде; вместе с ними я переехал на незалитой берег, где и собрался весь батальон, и как стало рассветать, то увидели, что угол между Вислой и Наревом и площадь в Новом дворе составляют одну сплошную массу воды, которая беспрепятственно прибавлялась. Верстах в двух позади были довольно высокие холмы, покрытые лесом, нас повели туда, и, выбрав удобное место, мы расположились на бивуаках, с которых при восходе солнца мы увидели, что вода подходит все ближе к холмам и, наконец, обошла их справа и слева, так, что к вечеру мы очутились на острове, вокруг которого вода разлилась верст на сорок. Избы в деревне залило с крышами — кой-где торчали из воды одне трубы. <...> Остров этот был версты на две в длину, а в ширину от пятидесяти до двухсот сажен; все зайцы и лисицы собрались туда гонимые водой — охота была отличная и производительная. Разлив Вислы продолжался почти три недели...»⁶¹ Русские офицеры, уцелевшие в неудачном для нас «деле при Лютцене», вновь привычно расположились на биваках. Об одном из них, «согретом присутствием» поэта-партизана Д. В. Давыдова, говорится в воспоминаниях М. М. Петрова: «После Лютценского сражения весной 1813 года, на третий день отступления нашей армии к Дрездену, перешед Фраубург, арьергард наш, идя чрез всю ночь, остановился рано поутру 23 апреля, отойдя милю от этого города, на позиции, ожидая неприятеля для обыкновенной арьергардной схватки. Я немедленно поехал по приказанию Карпенкова, командира полка нашего, осматривать левую сторону нашего места, чтобы знать там ситуацию подробно на случай военного действия, а генерал Карпенков, как аванпостный начальник, остался при бригаде его сторожить неприятеля с лица. Посылая меня осматривать место, он сказал мне: “Приезжайте скорее, а я потороплю здесь всех — и своих, чтобы нам не опоздать накормить солдат и самим поесть до наступления неприятеля”. Осмотрев низину левого берега, лесного, реки Мюльды, замечая обрывы предбрежия, я, по-

вернув налево, поднялся на горную окраину логовища, по которой и возвращался уже к арьергардной колонне. Вдруг вижу я пред собою, под кустом дубняжка, лежащего человека, разметавшегося в крепком сне, и остановился при нем. На спящем была рубашка красная с косым воротником, обложенным галуном, шаровары темно-синие суконные, верхнего наряда не было. Его борода, черная густая, недлинна была. Недалеко от него, на меже пашни, четыре казака, сидя у огня, что-то стряпали, а еще подальше, у кустов над оврагом, стояли биваком гусары и казаки, вместе, числом до 200 человек, и тоже варили завтрак в навешенных котелках. Всмотревшись в спящего, я узнал в нем удалого нашего партизана-поэта Давыдова. “Денис Васильевич! Денис Васильевич!” — закричал я, спрыгивая с лошади. Он проснулся, сел по-турецки и протянул мне руку с приветом. “Что вы тут разлеглись? Разве ретивое ваше не чует близость товарищей военных?” Он рассказал мне, что с самого Люценского сражения дни и ночи бродил с его партией для разведывания боковых движений неприятельских, из которого поиска только того утра пред восходом солнца возвратился на тракт общего отступления союзной армии. Тут я ему сказал: “Видите ли, полковник, вон там те два высокие дерева на краю поля и при них дымок любезный?” — “Вижу”, — сказал партизан-поэт. “Там, на биваке 1-го егерского полка, варится котел славной каши, и Карпенков ждет нас с ‘ковшиком’, полным угорской водки, на братскую полевую трапезу”. Услышавши это, Денис Васильевич вскочил с земли и, как был, без верхнего платья, с подтяжками на плечах по красной рубашке и малиновой феске, поспешно вспрыгнул на поданного казаком коня, и мы поскакали к Карпенкову есть кашу и смачивать “уголья” и пепелища в геройских грудях наших, носивших печаль о умершем пред тем князе Кутузове-Смоленском и проигранном сражении при Люцене Витгенштейном. Между едою и питьем Карпенкова финляндский мой и задунайский военный товарищ говорил много умного о зачавшейся тогда новой кампании Витгенштейнской и читал нам наизусть гармонические стихи “Певца в стане русских воинов”, только что раздавшиеся во

услышание сынами Отечества нашего, и свои приятные всякому “Наказы зефирам лететь к Отчизне дорогой”, между прочим, и “За штофом сивухи хоть простой”, и прочие. После полуторачасового возлежания нашего на биваке мы стали во фронт противу наступавшего неприятеля, а партизан-товарищ взвихрился с удалю дружиною его в сторону левого фланга французского авангарда»⁶².

Из рассказа офицера 1-го егерского полка явствует, что главной темой застольных разговоров, помимо военных неудач, была кончина фельдмаршала М. И. Кутузова, о которой в те дни, впрочем, знали немногие. В начале мая русские войска бодро расположились на биваке под Бауценом: «Мы стоим здесь уже три дня, и каждый день нам обещают атаку на неприятеля. В ожидании мы весело проводим время, каждую минуту находится какое-нибудь интересное занятие. Музыка, играющая до отбоя, собирает зевак; музыка, которая начинается в 9 часов вечера в нашей палатке, привлекает любителей. Вчера я не раз вспомнил счастливые времена Тарутинского лагеря; вся палатка была забита народом, любопытные толпились даже у входа, все были оживлены и веселы... Да сохранится Бауценский бивак в моей памяти, как и бивак в Шелоницах, а пока мы здесь предаемся веселью, да примут наши дела такой же счастливый поворот, как в прошлом году»⁶³. 4 мая в войсках стала распространяться горестная весть, повергая их в уныние. Так, Александр Чичерин записал в дневнике: «Увы, пока этот год отмечен только смертью светлейшего. Хотя ее держат в тайне от всей армии, те, кто узнали об этом, проливают слезы скорби, воздавая должное герою, который спас Россию. При жизни человеку не отдают справедливости, после смерти его славу всегда преувеличивают. Сейчас все превозносят светлейшего до небес, а совсем недавно все его осуждали; я рад, что, как ни молод, ни разу не поддался соблазнам злословия. <...> В армии его обожали и за его имя, и за его знакомое и любимое лицо; достаточно было ему показаться, чтобы все радовались. Я собираюсь сделать себе новую палатку; но совесть меня упрекает — как бросить старую, в которой провел однажды ночь этот достойный

старец»⁶⁴. Старый фельдмаршал любил повторять, что «военное счастье переменчиво». 8 мая войска антинаполеоновской коалиции потерпели поражение при Бауцене. Русским воинам начинало казаться, что со смертью Кутузова удача от них отвернулась. Вероятно, на их настроение существенно влияло то обстоятельство, что в новую войну они вступили, так и не успев восстановить силы после «претрудной кампании» в России. В конце мая по предложению Наполеона было заключено Плейсвицкое перемирие, продлившееся фактически до середины июля, в ходе которого войска получили необходимую передышку.

Судя по запискам И. Т. Родожницкого, отдых всем пошел на пользу: «27 июля весь корпус графа Ланжерона выступил на биваки близ села Пильцен. Все оживились новым стремлением к войне. Солдаты, освежившись силами, украсившись новой одеждою и оружием, готовы были с веселием и бодростию идти на брань за славу Царя и за свободу Германии. Все зашумело, зазвучало войною; биваки задымались. Главнокомандующий российскими войсками, генерал Барклай де Толли, отдал по армиям строгий приказ о военном порядке на биваках, на марше и в сражениях. <...> Биваки были обширны. Корпус графа Ланжерона, почти до 50 000 войска, занимал в боевой позиции пространство около трех верст. К вечеру веселый шум, музыка и песни раздавались в биваках по всем линиям и тешили воинов; заходящее солнце скользило по смертоносной стали русских штыков и золотило страшные жерлы пушек, устремленных на неприятелей; часовые гордо расхаживали при своих постах. Между тем как товарищи их в беспечности отлеживались под шалашами, будучи уверены в несомнительном успехе; ибо видели крепость сил всеобщего вооружения. Уже смелее стали говорить о Наполеоне, о французах, которых почитали теперь школьниками против себя в военном искусстве. Сами жители любовались грозным ополчением союзников; не упуская нигде случая поживиться, они, особенно немочки, во весь день посещали наши биваки, разнося табак, булки, ягоды и животворный шнапс, или картофельную водку. По закате солнца, с наступлением

мрака, и при свете луны, картина воинского стана была прелестнее: после громкой такты барабанов и удара заревой пушки все утихало и предавалось покою; только бивачные огоньки мелькали, и часовые вокруг стана пускали голосистые отзывы. Казалось, луна осыпала снотворным маком отягченные вежды воинов: иным грезились кресты и чины, другим прибыльная поживишка, а некоторым беспокойное предчувствие являло близкую смерть...»⁶⁵

Длительное перемирие благотворно сказалось на положении союзных войск: во-первых, они получили необходимый отдых; во-вторых, вопреки ожиданиям Наполеона, время определенно работало против него, так как за этот период времени Австрия окончательно определилась с выбором, кого поддержать в «большой европейской войне», и примкнула к антифранцузской коалиции. 14 августа русским воинам сопутствовал успех в сражении при Кацбахе, о котором поведал Д. В. Душенкевич: «Когда все утихло, наш генерал (Неверовский) и при нем мы, штабные, отправились с донесением корпусному командиру, где в аккуратных, изобильных немецких стодолах, ибо избы опустошены и многие зажжены были, остались отдыхать на роскошной соломе, высушивая всю ночь в пылающем пламени от сапога, по порядку, до последней нитки, каждый свою одежду. Из сего-то ночлегу приказ по корпусу нашему был отдан корпусным командиром следующий: “Товарищи! Сей день победы вашей займет славное место в летописи Российской; ура! Варите кашу и будьте готовы к походу”. Следствием оных действий было совершенное очищение Шлезии от неприятеля; мы вступили в прелестнейшую Саксонию»⁶⁶. Впрочем, в вопросе о «прелестях» саксонских земель впечатления офицеров и нижних чинов русской армии, располагавшихся на биваках, не всегда совпадали, что явствует из воспоминаний унтер-офицера С. Я. Богданчикова: «Наконец находим местечко; делаем привал, варится каша, едят сухари, а кто на балалайке, а кто покуривает, расставили цепь и легли спать кой-как, как он трахнет с четырех сторон. Вскакиваем, а он побежал на все четыре стороны, куда бежит, черт его знает... Затем-то у нас, русских,

сложилась пословица: “Ты еще мелко плавал — в Саксонии не бывал”»⁶⁷.

В присутствии государя императора, конечно, и речи не могло быть о привольном бивачном житье, как при Тарутине, зато теперь военные будни разнообразились значимостью событий, в которые в большей степени была вовлечена гвардия. Так, 15 сентября 1813 года в лагере под Теплицем был торжественно отмечен день тезоименитства Александра I: «Утром был молебен. Церковь была устроена на кургане, кругом которого стояли гвардия и гренадеры. Потом был обеденный стол для гвардии. Вечером был вручен императору орден Английской подвязки, двенадцать лордов привезли оную»⁶⁸. Бивачная жизнь армейских полков была не в пример скромнее, но и в ней были свои радости: «Время было неприятное, мокрое. Дивизия расположена частью на виноградниках, частью в Гохгейме, основанном на самых богатых, обширных, под самым городом устроенных погребях, наполненных огромными бочками и длинными красивыми бутылками рейнского нектара, который отпускался, за неимением хлебного, солдатам нашим для порции из тех погребов, коих хозяева изволили удалить за Рейн. Длинные осенние ночи во всей готовности и строжайшей бдительности, хотя не имели, казалось, особенных причин, ибо французы с нами дружески стояли: никогда ни одного выстрела друг в друга не сделали в продолжение 3 ½ недель; даже картофель из нив, меж цепями войск находившихся, нередко по несколько человек вместе, русские и французы, приятельски по-своему изъясняясь, набирая в кивера оную, расходились потом в свои места как добрые знакомые; а в пруссаков не проходило дня, чтобы несколько ядер не было пущено. <...> Другой раз при беседе в цепи французской с их офицерами случилось, между прочим, сказать, что крепость Бреда уже занята нашими, чему, однако, противники не верили. На следующее утро ко мне приведен был предавшийся офицер, желающий видеться со мною. Он объявил мне, что, будучи урожденный голландец и полагаясь на слышанные им вчера мои слова, как отечество его освобождено от французов, не имея никакой

необходимости служить в армии Наполеона, желает возвратиться в оное, который и был отправлен в корпусную квартиру, оставя мне для памяти и знака благодарности за повод к мысли возвращения на родину две забавные книжонки»⁶⁹.

Помимо отрадных дней пребывания в Тарутинском лагере, русские офицеры с особым чувством вспоминали бивак у стен Парижа. В ночь с 17 на 18 марта 1814 года неприятелю была предложена Конвенция о капитуляции, и пока лица, представлявшие правительство Франции, обдумывали свой ход в исторической драме, в стане союзников царило напряженное ожидание. С одной стороны, всем было ясно, что «эпоха большой крови» близится к завершению, с другой — никто пока не ведал, сколько жертв еще надлежит принести, чтобы в Европе воцарились тишина и спокойствие. А. И. Михайловский-Данилевский свидетельствовал об этих, по выражению С. Цвейга, «звездных часах человечества»: «Все предвосхищало день, в который надлежало решиться участи вселенной. Положено было рано поутру атаковать неприятеля, буде он вознамерится сопротивляться. Одни думали, что кровопролитие будет ужасное и что жители Парижа погребут себя под развалинами оного; другие же мыслили, что Париж надлежало защищать на берегах Рейна, а не на высотах Монмартра, и надеялись, что жители сдадутся. Уже было поздно, но никто не предавался сну, каждый предлагал свое мнение; офицеры спорили с генералами, ибо в ожидании важных событий исчезает между людьми различие в чинах и состояниях и устанавливается само собой равенство, во время которого берут верх одни дарования»⁷⁰. Наконец, в русском лагере распространилась весть о готовности неприятеля «передать Париж великодушию союзных Государей». П. С. Пущин записал в дневнике: «Мы видели, как французы бежали и прислали парламентаря, чтобы сдаться. Государь, сияющий от радости, сел на лошадь, поздравил нас со взятием Парижа, и могущественное “ура” разнеслось по нашим рядам. Мы прошли мимо их величеств и направились через Беллевилю, мы расположились на бивуаках, упираясь левым крылом к Беллевилю. Много пари-

жанок вечером посетило наш лагерь»⁷¹. Русские воины готовились на следующий день вступить в город: «Радость мешала нам спать; мы были готовы много раньше, нежели это требовалось; наши колонны построились уже давно, когда Государь прибыл, чтобы встать во главе войск». 19 марта «сыны Севера», как величали их французы, вступили в столицу рухнувшей наполеоновской империи: «На многих французах появились белые кокарды, они поднимали белые платки и требовали восстановления Бурбонов; но между народом видны были старые израненные солдаты и частные люди, на лицах которых изображалось, сколь они были противного мнения. Однако же все без исключения не переставали кричать: “Да здравствует Александр!”» Новобранец 1814 года выпускник Пажеского корпуса И. М. Казаков вспоминал: «Рано утром меня разбудили, и я, одеваясь, был поражен необыкновенной картиной, которая никогда не исчезнет из моей памяти. Было 19 марта. Яркое весеннее солнце освещало удивительную панораму. Париж был виден как на ладони. Бивуак представлял необыкновенное зрелище: из замка, близ которого ночевал полк, было все вынесено — расставлено и разложено по всей горе: — повсюду видны были столы, стулья и диваны, на которых лежали наши гренадеры; другие на ломберных столах чистили и белили амуницию; иные одевались и охорашивались перед трюмо; ротные фельдшера брили солдат; другие сами брились перед огромными зеркалами и фабрили усы. Гудел говор несметного множества людей; смех и радость отражались на всех лицах. Шутки и остроты так и сыпались»⁷².

За годы Наполеоновских войн целое поколение военных успело привыкнуть к стремительным переходам от мира к войне и наоборот, поэтому русские офицеры, не тратя времени по-пустому, спешили хотя бы на краткий миг отрешиться от военных забот. А. Г. Щербатов вспоминал: «...Трудно представить восторг мой и товарищей моих, как будто волшебным перенесенных из долговременной бивуачной жизни в эту многолюдную, пышную и очаровательную столицу просвещенного мира; слава и победа придавали блеск всем пред-

метам в глазах наших. Несколько часов провели мы за приятельским столом роскошно и шумно, забыты были прошедшие труды, рассчитывали мы на ожидающие нас веселья и наслаждения. <...> Мне отведена была прелестная квартира (*Hotel Marbeuf rue Faubourg St. -Honoré*) от города, была устроена со всею парижскою роскошью, вся приличная сему дому услуга со столом и пр., завтраки и обеды мои с корпусным штабом в числе около двадцати человек были настоящие пиры, но увы! Это великолепие недолго продолжалось, через пять дней город избавлен был по силе капитуляции от всех издержек касательно содержания войск, отчего бедные полки, стоявшие на бивуаках пред городом, предметов стольких трудов и усилий, ввиду величайшего изобилия терпели большую нужду, ибо жители продавали им самые нужнейшие жизненные потребности за неумеренную цену»⁷³.

И вот, наконец, последний незабываемый бивак победоносных российских войск, с честью возвращавшихся в Россию и расположившихся лагерем в том самом месте, где император Александр I вынужден был заключить мирный договор с «надменным властелином Европы». Ветераны, «с полным чувством славы отмщенного и превознесенного Отечества», горделиво смотрели в недавнее прошлое, где остались и горечь поражения под Фридландом, и «французские орлы», грозно воспарившие у самых границ Российской империи... Покорители Парижа по-походному праздновали возвращение домой: «В Тильзите все полки гренадерского нашего корпуса стояли биваками три дня по обоим берегам Немана. Тут граф Милорадович сделал сперва молебствие с пушечною, ружейною стрельбою и восклицаниями войска своего при батальонном огне: “Ура! Ура! Ура!” стократно, а потом дал обед и вечером был на царский счет — всем генералам, штаб- и обер-офицерам и всему городовому знатному обществу обоего пола с иллюминацией обоих берегов и моста реки Немана. Нижним чинам всех полков отпущено было изобильное продовольствие, даже множество бочек рейнского вина и портеру. Все это было там, где за семь лет до того Наполеон исторг у государя на-

шего принужденный мир, едва ли имевший такую силу жизни, чтобы доползти до Вислы, как Амьенский, Люневильский и все прочие трактаты, сколбанные Наполеоном по его политике. Отпраздновав в Тильзите приятное для нас событие, мы пошли с нашим полком на местечко Тауроген к своей границе и вступили в Отечество свое, отслушав молебен на первых шагах земли Русской у Таурогенской таможни»⁷⁴.

В эпоху наполеоновских завоеваний вся Европа представляла собой огромный военный лагерь. В сентябре 1812 года, «раздумывая над тем, чему был свидетелем», А. В. Чичерин занес в свой дневник размышления о бивачной жизни: «Тысячи мужчин собрались вместе, разделились на отряды, подчиненные одному человеку, исключили из своего общества детей и стариков, изгнали женщин и, хотя они богаты и положение их различно, все живут одинаково. Оставив свои дворцы и владения и все удобства европейской цивилизации, они поселились под соломенной или полотняной кровлей; из всех (средств) передвижения оставили себе только верховых лошадей, отказались от всех наслаждений стола, от всех радостей сердца и, тоскуя по городским удовольствиям, твердо решили все же не покидать своего сообщества; они без конца предаются воспоминаниям о наслаждениях света — и все более от него удаляются; собираются в кружок, чтобы поговорить о радостях хорошего стола, — а сами часто вынуждены голодать. Унылое однообразие их занятий, одежды, пищи мало соответствует их тщеславию и честолюбию. Старейшины их — всегда с нахмуренным челом, мрачным и строгим взором — редко появляются среди прочих»⁷⁵. Однако через несколько дней, расположившись в «славном Тарутинском лагере», юный офицер восторженно строил планы на будущее: «Если мне суждено вернуться в столицу, то, радуясь счастью быть среди друзей, радуясь приветам, поздравлениям, ласкам, которые посыплются на меня, я не раз, наверно, вспомню бивачную жизнь; украшенная исполнением долга и людьми, разделявшими ее со мной, она всегда будет мне мила. Вы, верно, станете смеяться этому — да, конечно, вы посмеетесь! — среди ваших роскошных

садов я осмелюсь поставить свою скромную палатку и, устроившись в ней по-походному, буду больше наслаждаться воспоминаниями, чем вы в ваших раззолоченных палатах»⁷⁶. Время воспоминаний для Александра Чичерина так и не наступило: в августе 1813 года он был смертельно ранен в битве при Кульме и скончался в госпитале в Праге...

Глава двенадцатая

СРАЖЕНИЯ

Смерть — ничто! К ней должен быть приготовлен каждый воин с той минуты, как надел мундир...

Ф. В. Булгарин. Воспоминания

«В гвардии и армии офицеры и солдаты были тогда проникнуты каким-то необыкновенным воинским духом, и все с нетерпением ждали войны, которая при тогдашних обстоятельствах могла каждый день вспыхнуть. С самого восшествия на престол Императора Александра Павловича *политический горизонт был покрыт тучами*, по обыкновенному газетному выражению. Тогда во всех петербургских обществах толковали о политике, и даже мы, мелкие корнеты, рассуждали о делах! Это было в духе времени», — вспоминал современник о главных приметах той поры, когда миролюбивые настроения были не в моде¹. «Война решена. Тем лучше. Мы окунемся в родную стихию. Давно уже каждый из нас сгорает от нетерпения проявить себя на поле чести. Наши юные головы заняты мыслями только о битвах, о схватках с врагом, о славных подвигах. Мы с удовольствием променяем миртовый венок на лавровый», — записал в дневнике в самом начале грозных событий 1812 года прапорщик квартирмейстерской части Н. Д. Дурново².

Даже не слишком грамотные, но достаточно много повидавшие на своем веку офицеры не только «толковали о политике», но и смело пускались в философские

рассуждения о неотвратимости войн и необходимости быть к ним готовым: «В пространстве времен история показывает обыточность многих уже войн между народами; мир основан на коловратности и непостоянстве в образе жизни людей, и щастие смертных часто подлежит изменению, ибо оное им и не назначено на земле в совершенстве; без того бы шла непрерывная цепь благоденствия и спокойствия народов. Нет сомнения, что идут впереди многие еще войны!»³ Тогда все были провиденциалистами, верили в предопределенность бытия, где войне отводилось примерно такое же место, как природным стихиям или моровой язве. Философы, предрекавшие, что конец XVIII столетия ознаменуется торжеством просвещенного разума, перед которым навсегда отступят войны, были решительно посрамлены, сдав свои позиции военному сословию.

Сражения в «десятилетие большой крови», пришедшее на смену мирным ожиданиям тех, кто был, по выражению Суворова, «опрокинут Вольтером», стали почти такой же нормой повседневной жизни, как войсковые смотры и парады. С той, однако же, разницей, что войска на параде «были изначально победоносны», а в сражении, по выражению Ермолова, их «участь была переменчива», потому что «дни смертных не равны». О больших и малых битвах рассуждали в те годы с удовольствием, как говорится, не понижая голоса. Мужчина-воин был в те годы самым желанным гостем при дворе, в столичных гостиных, провинциальных собраниях. Слава, завоеванная в боях и походах, а отнюдь не «репутация пацифиста» (Д. Чандлер) привлекала сердца дам: «герой и за морем герой, на него и женщины смотрят ласковей», — свидетельствовал современник. Так, В. И. Левенштерн вспоминал, как по окончании Итальянского и Швейцарского походов 1799 года в Европе приветствовали Суворова дамы высшего круга: «Я часто ездил в главную квартиру в Аугсбург, где проводили время очень весело; иностранцев съехалось множество, люди спешили со всех концов Европы, чтобы взглянуть на героя Италии; дамы с восторгом целовали ему руки, которые он давал им для поцелуя, не стесняясь»⁴.

Сравнив описания боевых действий в рапортах, письмах, дневниках, воспоминаниях офицеров 1812 года с описанием тех же самых действий на страницах романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в середине XIX века, мы сразу же ощути́м разницу между двумя эпохами. Различие проявляет себя не в том, о чем повествуют современники событий и автор бессмертного творения, а в том, как, с какими интонациями ведется повествование. Герои эпохи 1812 года — люди иного мировоззрения. Так, Надежда Дурова, выразив скорбь и сожаление по поводу раненных в битве нижних чинов, закончила свои рассуждения мажорным аккордом: «Я очень много уже видела убитых и тяжело раненных! Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести! Что может усладить ужас подобного положения простому солдату? Рекруту? Совсем другое дело образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность к Государю, священный долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью»⁵.

Что же тогда говорить о Денисе Давыдове, самозабвенно призывавшем войну:

Пусть грянет Русь военной грозой:
Я в этой песне запеваю!

«Певец-гусар» рассуждал о сражениях так: «Самое превосходно обдуманное и данное на выгоднейшем местоположении генеральное сражение зависит от больших или меньших случайностей; а чтобы любить случайности, надо быть преисполнену поэзией ремесла нашего, исключительно поэтического и потому непостижимого для людей, руководимых единой расчетливостью, ничего не оставляющих на произвол случая, ничего неверяющих порывам вдохновения. Надо иметь твердую, высокую душу, жаждущую сильных ощущений, без влияния их на ум, ни от чего не мучающийся и всегда деятельный, на волю, сплавленную в единый слиток, и на мнение о себе, полное неистощимого запаса уверенности в способности творить успехи там, где посредственность видит одну лишь гибель»⁶.

Однако и Денис Давыдов честно признавался в чувствах, одолевавших его при первом взгляде на место боя (Морунген, январь 1807 года), когда сбылись все его мечты и он, наконец, попал в действующую армию: «Я из любопытства посетил все поле сражения. Я прежде осматривал нашу позицию, а потом и неприятельскую. Видно было, где огонь и натиски были сильнее по количеству тел, лежавших на тех местах. <...> Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искаженные и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особенного впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я — со стыдом признаюсь — дошел до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, я бы легко увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертельнее, тем страдание кратковременнее, а какое дело до того, что после смерти я буду пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя? Слава Богу, что с рассветом последовало умственное мое выздоровление, и я, пришед в первобытное положение, сам над собою смеялся; в течение моей долговременной службы я уже никогда не впадал в подобный пароксизм больного воображения»⁷. Свой первый опыт на ратном поприще в деле при Вольфсдорфе Д. В. Давыдов описал с веселой иронией в рассказе «Урок сорванцу», посвященном его пятерым сыновьям: «Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи! При всем том, как будто сомневаясь в собственном мужестве, я старался заимствоваться духом у сподвижников князя Багратиона, поглощая душой игру их физиономий, взгляды их, суждения и распоряжения, которые дышали любовью к опасностям и соединялись с какой-то веселой беззаботностью о жизни. Но более всех действовал на меня сам князь»⁸.

Немало участников битв той эпохи поделились сво-

ими впечатлениями о первых практических опытах своего ремесла. «В первый раз еще видела я сражение (Гутштадт, май 1807 года) и была в нем. Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве! Какой вздор! Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. <...> Новость зрелища поглотила все мое внимание; грозный и величественный гул пушечных выстрелов, рев или какое-то рокотанье летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг на неприятеля, все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить», — вспоминала Надежда Дурова⁹.

В то время как «кавалерист-девица» приобщалась к опасностям войны 1806—1807 годов в рядах эскадрона улан-коннопольцев, князь С. Г. Волконский, как и подобало юноше из хорошей фамилии, «приобыкал» к своему ремеслу в свите генерал-лейтенанта графа А. И. Остермана-Толстого (который в молодые годы служил при отце своего подчиненного — генерале от инфантерии князе Г. С. Волконском): «Пултуское сражение была боевая моя новизна; состояя при Остермане в должности адъютанта — мое боевое крещение было полное, неограниченное. С первого дня я приобык к запаху неприятельского пороха, к свисту ядер, картечи и пуль, к блеску атакующих штыков и лезвий белого оружия; приобык ко всему тому, что встречается в боевой жизни, так что впоследствии ни опасности, ни труды меня не тяготили. До сих пор храню в сердце чувство горячей признательности к памяти графа Остермана. Часто тяжела была взыскательность его, но попечительность и полное доверие его, когда заслужишь оное, примиряли с ним. Во всю жизнь свою он меня считал своим, теперь, как он уже не в живых, по смерть мою буду его считать моим благодетелем»¹⁰. Особенно доставалось в те годы «царице полей» пехоте, с которой связал свою судьбу М. М. Петров, в чем он убедился в первом же бою: «12 декабря (1806 года) авангардные войска наши отступили от Сиротской переправы к местечку Насильску, где и было первое той войны соединенное несколь-

ких наших дивизий сражение. Тут-то душа моя приняла первое испытание себя; здесь-то я рассматривал самого себя и благодарил Провидение, что оно даровало мне право по сердцу моему достойно называться дворянином, служащим под военную хоругвию славного моего Отечества: пять часов битых ядра, гранаты и картечи рвали и разрывали ряды обеих сторон; свинцовый град визжал и щелкал то в нас, то в оружие наше, но мы отступили к Пултуску, где 14 декабря Беннигсен принял от Наполеона генеральное сражение и отразил французскую армию, которая на отступе преследуема была нашею кавалерией чрез всю ночь по грязной распутице к Сохочину»¹¹. Многое, конечно, зависело от того, при каких обстоятельствах офицер получал «боевое крещение». Свитский офицер А. А. Щербинин, рассказывая о битве при Бородине, отметил: «За исключением неважной арьергардной перестрелки под Витебском это было первое сражение, в котором я участвовал. Я полагал, что и во всяком генеральном деле бывает столь жарко, как мы тут нашли. Но как впоследствии я прошел весь ряд генеральных сражений 1812, 13 и 14 годов и участвовал в некоторых и отдельных делах, находясь при Толе, Коновницыне и Милорадовиче, то я могу определенно сказать, что все те сражения содержатся к Бородинскому, как маневры к войне»¹².

Противоречивые чувства охватили душу прапорщика Н. Д. Дурново, впервые оказавшегося в сражении при Тарутине 6 октября 1812 года, — скорбь по погибшим и восторг от собственной храбрости: «Неприятель ответил на наши выстрелы лишь 5 минут спустя. Третьим по счету ядром, выпущенным им, унесло у нас храброго генерал-лейтенанта Багговута, под которым была убита лошадь и которому оторвало ногу. Он умер спустя четверть часа. <...> Французы имели стрелков в лесу, и их артиллерия обстреливала дорогу, по которой мы шли. Однако Беннигсен решился. Он получил сильную контузию в правую ногу ядром, которое убило лошадь генерала Бестужева и вырвало ему кусок мяса из правой ноги. Вообще ядра свистели вокруг нас. Должен сознаться, что мой дядя Демидов не пришел на подмогу. Что касается меня, то я не ощущал страха смерти. Мне казалось

невозможным быть убитым. <...> Число убитых невозможно точно определить: все поле было ими покрыто. <...> Генерал-лейтенант Дери был среди мертвых. Неаполитанский король — его близкий друг и товарищ по оружию — попросил отдать ему его сердце. Лагерь неприятеля попал в руки казаков, которые его разграбили. Мюрата постигла та же участь: у него отняли все серебро. <...> Мюрат совсем не ожидал нападения, так как мы взяли его артиллеристов, когда они еще спали. В четыре часа дня мы возвратились в нашу Главную квартиру в Леташовке. <...> Никогда я не был так счастлив, как после выигранной битвы. Первый раз в жизни я находился в таком состоянии. Огромный бокал королевского пунша помог восстановить мои силы. Александр Бездобразов пропал без вести. Полагают, что он был убит в атаке, которую наши казаки произвели против французских кирасиров. Это приведет его бедную мать в отчаяние: он был ее единственным сыном»¹³.

Следует отметить, что суровая реальность эпохи Наполеоновских войн поначалу вошла в противоречие с мировоззрением эпохи Просвещения, согласно которому человек, в том числе военный, привык считать себя «другом человечества». Так, князь П. И. Багратион, диктовавший сослуживцу в начале 1800-х годов свои воспоминания об Итальянском походе А. В. Суворова, в рассказе о битве при Нови в августе 1799 года счел нужным тогда заметить, что с содроганием увидел поле сражения, покрытое множеством убитых. Но потери при Нови не шли ни в какое сравнение с числом убитых и раненых, которых генералу предстояло увидеть под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, Фридландом. В 1812 году, сообщая графу А. А. Аракчееву о потерях под Смоленском в шесть тысяч, он прибавил: «...а хоть бы и 10 тысяч, как быть, война...» Новые обстоятельства породили новое отношение к военным столкновениям, которое исследователи называют «эстетизацией войны». Так, адъютант Наполеона генерал Ф. де Сегюр в самом, пожалуй, популярном в России и во Франции сочинении о русской кампании вспоминал об исходе битвы при Бородине, которую французы называют битвой при Москве-реке: «Солдаты Нея и Гюдена, оказавшиеся

без своего генерала, находились там среди трупов своих товарищей и русских трупов, на местности, изоброжденной гранатами и усеянной обломками оружия, лоскутьями изорванной одежды, множеством военной утвари, опрокинутых повозок и оторванных конечностей. Вот они, трофеи войны и красота поля битвы!..»¹⁴ Что тут можно сказать? Остается привести мнение известного историка: «...записки человека о своем времени. Они могут нравиться, не нравиться; мы можем сделать прошлому выговор, возмутиться им, но никак не можем сделать одного: отменить то, что было...»¹⁵

К началу Отечественной войны 1812 года более половины русских офицеров принимали участие в различных походах и войнах, причем около 40 процентов из них сражались с французами в 1806—1807 годах. Пожалуй, самым сильным испытанием для них было сражение при Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 года — одно из самых упорных и кровопролитных в истории Наполеоновских войн. «Бой продолжался от раннего утра до наступления ночи. Сражение было принято войсками и начальниками с радостью и с желанием быть достойными русского имени, и это они доказали. День был снежный, морозный и с вьюгой, веющей насупротив французской армии. <...> Кладбище города, стоящее между им (неприятелем) и нашей позицией, было поприщем отчаянной защиты; это место, бывшее несколько столетий последним убежищем постепенно туда приводимых, в несколько часов было покрыто кучами тел. Первые расставались с жизнью по определению природы, — последние — как выразить причину их смерти? По общему мнению — честь! долг! Но я скажу, частью и предрассудки; странно, больно для человечества, что человек наносит смерть человеку», — спустя много лет вспоминал об этом страшном дне князь С. Г. Волконский¹⁶. Д. В. Давыдов в «воспоминании о сражении при Прейсиш-Эйлау» признавался: «Мне было тогда не многим более двадцати лет; я кипел жизнью, следственно, и любовью к случайностям. К тому же жребий мой был брошен, предмет указан и моим солдатским воспитанием, непреклонною волей идти боевою стезей и душою неутомною, страстною ко вся-

кого рода отваге, порывавшеюся на всякие опасности; но, право, не раз в этом двухсуточном бое проклятая Тибуллова элегия “О блаженстве домоседа” приходила мне в голову. Черт знает, какие тучи ядер пролетали, ревели, сыпались, прыгали вокруг меня, бороздили по всем направлениям сомкнутые громады войск наших, и какие тучи гранат лопались над головою моею и под моими ногами! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание». Ожесточение обеих сторон дошло до крайних пределов: «...корпус Ожеро потерял данную ему Наполеоном дирекцию и, как известно, свое существование, высунулся головами колонн из снежной занавесы прямо к главной 40-пушечной батарее нашего центра, грянувшей по ним скорострельным огнем картечей; французы схватились, хотели уйти назад, но было поздно, ибо полки нашей Остермановой дивизии и других, зайдя полковыми фронтами двух передних батальонов каждого полка налево и направо, охватив их, зачали душить, работая штыками русскими! <...> В этом поражении и я с военными чадами роты моей совершал мщение ожесточенного сердца моего неслыханною до того войною на сугробах зимы северной страны, но военный гнев мой скоро <...> поник до скорби сердечной, когда разъяренные солдаты наши, сломив все <...>, стали разрывать штыками костры трупов, ища под ними скрывшихся французов живых. — Я это видел, о Боже!

Но: “Не внимай им, небесный мститель наш! Не внимай...” *Шиллер*» — так закончил свои воспоминания о достопамятной Эйлауской битве М. М. Петров.

Впоследствии Наполеон, беседуя с флигель-адъютантом Александра I А. И. Чернышевым, заметил: «Если я назвал себя победителем под Эйлау, то только потому, что вам угодно было отступить». Эти «большие сражения», как их тогда называли в обиходе, были бесценным опытом для офицеров и солдат русской армии в войнах с наполеоновскими войсками. Даже поражения под Аустерлицем и Фридландом учили многому: закаленные духом русские войска вставали перед императором Франции всякий раз, когда ему казалось, что

он уже «раз и навсегда положил конец вмешательству России в дела Европы». Религиозность русских офицеров учила их терпению и философскому отношению к жизни. «...воин-христианин, преследуя и наступая, должен надеяться на помощь Божию и никогда не предаваться унынию», — говорится в дошедшем до наших дней «Сборнике кратких христианских поучений к воинам»¹⁷. Действительно, если мы сопоставим воспоминания о днях неудач и военных поражений русских и французских офицеров, то мы заметим совершенно различные интонации повествования: в 1812 году на глазах у французов рухнул «храм славы», который они несколько лет созидали в своих душах, для русских же офицеров поражения — это испытания, которые следует преодолеть. Разная психология воинов противоборствующих армий, безусловно, проявляет себя в источниках, связанных с событиями тех лет. О своих победах и поражениях обе стороны говорили по-разному: французы верили в своего императора и в себя, русские — в Бога. Да и как было не верить тем, кто уцелел после Фридландского разгрома в июне 1807 года? Рассказы русских офицеров, спасавших во время отступления с поля битвы и себя, и своих подчиненных, говорят сами за себя. «И когда армия наша отступила чрез Фридландский мост на правый берег Алле и сожгла его, то я, находясь на неприятельской стороне реки для удержания деревни Сортлек на левом фланге нашей позиции, выше города в одной версте, велел неумеющим плавать, взяв доски и бревна, плыть на другую сторону, забрав с собою раненых, а с умеющими офицерами и солдатами остался прикрывать их удаление, и когда они перебрались, то я, приказав остальным моим стрелкам, бросив ружья, тесаки и патронные сумы в речку, плыть за мною на правый берег Алле, перемахнул ее в мундире без сапог, с заложенною на спине за опояску обнаженною шпагою. Тогда, собрав я к знаменам своим, бывшим там заранее, остатки людей, присоединился на другой день к дивизии своей, отступавшей к Тильзиту, где заключен был мир...»¹⁸ — делился впечатлениями М. М. Петров. В не менее затруднительном положении находился и другой офицер-пехоти-

нец Я. О. Отрощенко: «Сады были недалеко от меня, и я полагал, что уже избавился от опасности, не зная того, что мост уже истреблен. Но, к несчастью моему, на место кавалерии явилась пехота неприятельская и пересекла путь к садам; мне не оставалось другого средства, как броситься в реку; но берег обвалился, сук переломился, и я спустился на дно реки. Она неширока, но глубока; я плавать не умел и, сверх того, был в шинели и в ранце. Не помню, каким образом очутился у противоположного берега, ухватился за него, но за шинель мою уцепились два егеря моей роты и тащили в реку. Я удвоил мои усилия, сам вылез и их вытащил. <...> Французы сыпали на нас пулями, но мы уже спаслись от плена, хотя ружья остались все в реке»¹⁹. Потери в офицерском корпусе в ходе первых двух войн с Наполеоном были велики...

В русской армии 1812 года чуть менее половины офицеров впервые участвовали в военной кампании, испытывая одинаковые чувства накануне первой в их жизни битвы. «Закутавшись в плащ, привязав к руке поводья лошади, тихо лежал я — измученный, усталый, но спать не мог, и сердце напряженно ждало чего-то жуткого, таинственного; может быть, не я один, а все мы, молодежь, переживали в этот момент подобное, только не говорили об этом друг другу. Вдруг раздался звук трубы»²⁰, — вспоминал И. Дрейлинг. Он с честью выдержал испытание огнем под Смоленском, поэтому при Бородине он уже героем разъезжал вдоль всей линии русской позиции, исполняя обязанности ординарца М. И. Кутузова: «Грохот тысячи орудий, ружейная пальба — всё это слилось в один непрерывный гул; сознание терялось, все чувства притупились; гул уж не слышен; наступает состояние, которое невозможно описать, как будто уж ничего не чувствуешь; является сомнение: да жив ли ты?»²¹ Бывали случаи, когда участие в боевых действиях сразу же обнаруживало неспособность офицера «идти по дороге чести». Так, Н. Е. Митаревский вспоминал эпизод «дела при Островне»: «Подошел к нам той же роты офицер; он смотрел дико, помутившимися глазами, и был совсем расстроен, и тут же начал твердить: “В первый и в последний раз в деле, никог-

да, никогда больше не пойду, что бы со мной ни делали”. Сначала смотрели мы на него с презрением, а потом с жалостью. После никогда не случилось мне встретить ничего подобного»²².

Немалая роль принадлежала военачальнику, возглавлявшему воинскую часть в бою. Особым случаем в русской армии считали подвиг 27-й пехотной дивизии Д. П. Неверовского, сформированной в Москве накануне Отечественной войны 1812 года. За два дня до Смоленского сражения дивизия Неверовского, выдвинутая вперед для наблюдения за противником, внезапно была атакована авангардом главных сил Наполеона, которым предводительствовал маршал И. Мюрат, король Неаполитанский. В рядах 27-й пехотной дивизии находился 15-летний прапорщик Душенкевич, который на всю жизнь запомнил, как впервые оказался под неприятельскими выстрелами: «2-го августа утром какое-то тайное в старших волнение внушило и нам, маленьким офицерам, внутреннее беспокойство; велено пораньше людям обедать, отправлять обозы и вьюки в Смоленск; наконец, оставив свои шалаши и город за плотиною на высотах, где нам, неопытным, прочитан предвестник имеющего быть: приказ, наставительно-одобрительный, дышавший благородным, воинственным самонадеянием; устроен был отряд в батальонные колонны с дистанциями, имея артиллерию в приличных местах, как надобность указывала. Вслед за тем, по ту сторону города Красного явилась движущаяся против нас линия, соединяющая окрестный Краснинский лес с далеко вьющимся Днепром. <...> Кто на своем веку попал для первого раза в жаркий, шумный и опасный бой, тот может представить чувства воина моих лет; мне все казалось каким-то непонятным явлением, чувствовал, что я жив, видел все, вокруг меня происходящее, но не постигал, как, когда и чем вся ужасная, неизъяснимая эта кутерьма кончится? Мне и теперь живо представляется Неверовский, объезжающий вокруг каре с обнаженною шпагою, и при самом приближении несущейся атакою кавалерии, повторяющий голосом уверенного в своих подчиненных начальника: “Ребята! Помните же, чему вас учили в Москве, посту-

пайте так и никакая кавалерия не победит вас, не торопитесь в пальбе, стреляйте метко во фронт неприятеля; третья шеренга — передавай ружья как следует, и никто не смей начинать без моей команды 'тревога'". Все было выполнено, неприятель с двух сторон летящий, в одно мгновение опрокинувший драгун, изрубивший половину артиллерии и ее прикрытие, с самонадеянием на пехоту торжественно стремившийся, подпущен на ближайший картечный выстрел; каре, не вникая окружающему его бурному смятению сбитых и быстро преследуемых, безмолвно, стройно стояло, как стена. Загремело повеление "Тревога!!!", барабаны подхватили оную, батальный прицельный огонь покотился быстрою дробью — и вмиг надменные враги с их лошадьми вокруг каре устлали землю на рубеже стыка своего; один полковник, сопровождаемый несколькими удалцами, в вихре боя преследуемых, домчались к углу каре и пали на штыках; линии же атакующие, получившие невероятно славный ружейный отпор, быстро повернули назад и ускакали в великом смятении с изрядною потерей. Ударен отбой пальбе, Неверовский, как герой, приветствовал подчиненных своих. "Видите, ребята, — говорил он в восторге, — как легко исполняющей свою обязанность стройной пехоте побеждать кавалерию; благодарю вас и поздравляю!" Единодушное непрерывное "Ура!" и "Рады стараться!" раздавались ему в ответ и взаимное поздравление»²³.

Легендарное дело под Красным довольно широко отражено и в источниках неприятельской армии, благодаря которым мы можем представить драматизм ситуации, в которой оказались воины 27-й пехотной дивизии. Маршал Мюрат докладывал Наполеону после боя: «Более 30 атак были предприняты против каре; все кавалерийские полки атаковали поочередно и несколько раз вместе; три раза наша кавалерия врывалась в каре во главе с генералами Бельяром, Дери, Орнано и Бордесулем. Если со стороны кавалерии я никогда не видел столько отваги, то следует признать, что я никогда не видел более неустрашимости со стороны неприятеля, ибо это огромное каре, постоянно окруженное, атакованное с флангов и с тыла, было вынуждено про-

кладывать путь штыками против нашей кавалерии, которая постоянно перерезала ему путь отступления»²⁴. Историки могут спорить между собой об обстоятельствах «дела под Красным»: правильны ли были распоряжения военачальников обеих сторон, можно ли было достигнуть в бою наилучших результатов. Мы же, следуя за рассказами очевидцев, можем лишь отдаленно представить себе, что испытали в эти часы несколько тысяч русских воинов, отрезанных от главных сил армии, из которых половина — новобранцы и в их числе офицеры, которым по 15 лет. Неприятельский офицер Бисмарк вспоминал: «...Дивизия Неверовского не сохранила своего прежнего построения: она представляла уже не что иное, как густую нестройную массу; но, уподобляясь огненному шару, шла безостановочно по открытой местности». Поручик Н. И. Андреев позже писал: «Взятыми у нас орудиями они пускали в нас несколько ядер и картечь и то сперва, но после, как прислуга и сбруя были перерублены, то и не могли тащить орудий, кои и остались на месте. Выстрелы их отняли у нас до 40 человек, иных ранили... Один польский штаб-офицер на караковом коне подъезжал к нам, когда мы бежали; он преспокойно галопировал возле нас и уговаривал солдат сдаться, показывая их многочисленность, и что мы себя напрасно утомляем, что все будем в плену. Но он напрасно храбрился: нашей роты унтер-офицер Колмачевский приложился на бегу, и храбреца не стало»²⁵.

Дивизия Неверовского лишилась в деле под Красным почти половины своего состава: несколько верст отступления к Смоленску казались участникам боя бесконечными. Они двигались вдоль дороги, где лишь аллея деревьев служила им естественным прикрытием от многочисленных атак неприятельской кавалерии. «Вот первая встреча новобранцев России числом 5 тысяч против 25 тысяч тщеславной кавалерии под предводительством громких маршалов Франции с определением роковым Наполеона: «Уничтожить наш незначительный отряд», в котором и я имел честь остаться неуничтоженным, получа первый урок на смертоносном театре военной славы 1812 года ав-

густа 2-го», — вспоминал Д. Душенкевич²⁶. Действительно, когда Мюрат доставил Наполеону шесть орудий, отбитых в начале боя, то император Франции заметил ему: «Я ожидал всей дивизии Неверовского, а не пяти отбитых у нее орудий». В восторге от подвига своих подчиненных был главнокомандующий 2-й Западной армией князь П. И. Багратион: «Дивизия новая Неверовского дралась так, что и не слыхано. Можно сказать, что примера подобной храбрости ни в одной другой армии показать нельзя». Денис Давыдов вспоминал: «Я помню, какими глазами мы глядели на дивизию Неверовского, когда она приближалась к нам. Каждый ее штык горел лучом бессмертия».

Дело под Красным предшествовало трехдневной битве за Смоленск 4—6 августа, первому крупному столкновению в кампанию 1812 года. «<...> Мы дрались в старой России, которую напоминала нам всякая берега, у дороги стоявшая, — рассказывал будущий фельдмаршал И. Ф. Паскевич, начальствовавший тогда 26-й пехотной дивизией. — В каждом из нас кровь кипела»²⁷. Дипломатический чиновник А. П. Бутнев, состоявший при Главной квартире 2-й армии, подобно художнику-баталисту, изобразил «жанровую сцену» жестокого сражения: «Пушечные и непрерывные ружейные выстрелы со стороны нападающих и со стен и бастионов Смоленских долетали до нас, как раскаты близкой грозы и громовые удары, и по временам облака густого дыма застилали эту величественную картину, которая производила потрясающее действие на меня и моего товарища, но за которою окружавшие нас люди, привыкшие к боевым впечатлениям, следили, правда, с заботливым любопытством, но, по наружности, с невозмутимым спокойствием и как бы с равнодушием. День стоял необыкновенно жаркий. <...> главнокомандующий, с зрительною трубкою в руках, беспрестанно получал донесения от лиц, распорядившихся обороною города, и, отряжая к городу новые подкрепления, рассылал адъютантов и ординарцев с своими приказаниями и туда, и к войскам, находившимся на нашем берегу. Позади нас очутились продавцы с плодами, с холодною водою, квасом и пивом. Военные люди поочередно хо-

дили к ним утолить жажду и спешно возвращались к месту наблюдения»²⁸. Не меньше внимания Бутенев уделил описанию поведения главнокомандующего — знаменитого полководца князя П. И. Багратиона: «Когда у нас увидели, что неприятельские колонны отступают и бой кончился, князь Багратион сел на лошадь, со всею свитою пустился вниз и через мост поехал в город благодарить Раевского и его войска за такое геройское сопротивление втрое сильнейшему неприятелю. Один из офицеров, которые ездили в Смоленск с главнокомандующим, рассказывал мне по возвращении, что некоторые улицы были загромождены ранеными, умирающими, мертвыми и что не было возможности переносить их в больницы или дома. <...> Когда главнокомандующий проезжал по городу, беспомощные старики и женщины бросались перед ним на колени, держа на руках и волоча за собою детей, и умоляли его спасти их и не отдавать города неприятелю. <...> Князь Багратион съезжал и вниз на ровное место, покрытое убитыми и умиравшими, осмотрел вновь расставленные свежие отряды, здоровался с войсками, навестил главнейших лиц, получивших раны, и наконец снова переправился за Днепр в свой лагерь»²⁹. Командир 7-го пехотного корпуса и здесь восхищался доблестью воинов 27-й пехотной дивизии: «Генерал Раевский, наш командир, под начальством коего мы в Смоленской битве находились, был весьма доволен нашими действиями и в рассыпном бою, выхваляя воинов сими словами: “Ай, новички, молодцы, чудо, как с французами ознакомились”»³⁰.

Но, как ни приятны были похвалы испытанного в боях генерала прапорщику Д. В. Душенкевичу, однако бедствия жителей Смоленска, после трехдневной обороны оставленного неприятелю, имевшему значительное превосходство в силах, производило гнетущее впечатление: «Какому ужасному смятению внутри стен я был свидетель: жители, прежде надеявшиеся отражению неприятеля, оставались в городе, но сегодняшнюю усиленную жестокою атакою убедились, что завтра город будет не наш. В слезах отчаяния кидались в храм Божией Матери, там молятся на коленях, потом спе-

шат домой, берут рыдающие семейства, оставляя жилища свои, и в расстройстве крайнем отправляются через мост. Сколько слез! Сколько стонов и несчастий, наконец, сколько жертв и крови!»³¹ Вопреки настроениям войск, стремившихся драться до последнего солдата, М. Б. Барклай де Толли отдал приказ об оставлении старой русской твердыни: «Россияне, переправясь через реку Днепр, стали на возвышенном месте перед городом, с которого картина Смоленска была чрезвычайно трогательна, печальна и разительна; неприятель открыл сильную канонаду множества батарей по городу, пожар разлился по оному во всех почти улицах и по форштадту; жители, не находя уже убежища, гонимые ужасом и страхом идущих к ним французов, выходили толпами из города, целыми семействами, в отчаянии, в слезах горьких, с младенцами на руках, малолетние дети подле них рыдали громко, мужчины и женщины некоторые были уже ранены. Потом воспоследовал вынос чудовной Божией Матери Смоленской и за ней следом — разрушение моста через реку. Неприятель в больших густых колоннах начал вступать в город, барабанный бой, играние музыки и беспрестанный крик “Виват император Наполеон!” оглушали воздух, и изредка пальба русских в город по врагам из пушек увеличивала ужас сей картины»³².

Падение Смоленска сопровождалось крайним ожесточением армии против Барклая, поступок которого с военной точки зрения можно оправдать обстоятельствами. «Защита могла быть необходимою, если главнокомандующий намеревался атаковать непременно. Но собственно удержать за собою Смоленск в разрушении, в котором он находился, было совершенно бесполезно», — констатировал А. П. Ермолов³³. Но и он по-особому воспринял потерю этого города: «Разрушение Смоленска познакомило меня с новым совершенно для меня чувством, которого воины, вне пределов Отечества выносимые, не сообщают. Не видел я опустошения земли собственной, не видел пылающих городов моего Отечества. В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раз раскрылись глаза на ужас бедственного их положения»³⁴.

Безусловно, наиболее выразительными свидетельствами переживаний русских военных, испытавших под Смоленском весь набор чувств от надежды до полной безысходности, являются письма. Так, начальник 2-й сводно-гренадерской дивизии генерал-майор граф М. С. Воронцов заклинал в письме от 5 августа своего приятеля А. А. Закревского, состоявшего при штабе Баркляя: «Любезный Арсений Андреевич, скажите, Бога ради, как у вас дела идут. Надо держаться в Смоленске до последнего, мы все рады умереть здесь. Неприятель может пропасть, истребляя лучшую свою пехоту. Он от упрямства часто рисковал, но никогда столько, как сегодня <...>. Бога ради, или атаковать его, или держаться в городе. Напиши два слова. Преданный тебе Воронцов»³⁵. На следующий день Воронцов получил безнадёжный ответ: «Сколько ни уговаривали нашего министра, почтеннейший и любезнейший граф Михаил Семенович, чтобы не оставлял города, но он никак не слушает и сегодня ночью оставляет город. К сожалению нашему, город горит. Форштадты также. Неприятель опять от города отступил, дрались долго и упорно. <...> Хладнокровие, беспечность нашего министра я ни к чему иному не могу приписать, как совершенной измене (это сказано между нами), ибо внушение Вольцогена не может быть полезно. Сему первый пример есть тот, что мы покинули без нужды Смоленск и идем Бог знает куда и без всякой цели для разорения России. Я говорю о сем с сердцем как русский, со слезами. Когда были эти времена, что мы кидали старинные города?»³⁶

«Послесловием» Смоленской битвы явилось «дело» при Валутиной горе 7 августа, когда неприятель едва не отрезал войскам 1-й армии путь к отступлению. Приведем здесь рассказ офицера Вестфальского корпуса, лейтенанта С. Рюппела, насыщенный множеством «бытовых деталей», имеющих отношение как к русским, так и к наполеоновским войскам: «...Наши трубачи затрубили к атаке, и мы обрушились на серый Сумской гусарский полк как раз в тот момент, когда он совершал поворот. Так как сабельные удары по неприятельским кавалеристам, защищенным сзади их толстыми тяжелыми гусарскими ментиками, не приносили успе-

ха, то мы использовали наши острые сабли только для того, чтобы колоть, и некоторые гусары упали с лошадей, если даже большинство, хотя, вероятно, тяжело раненные, остались сидеть на своих летящих в карьер лошадях. Мы сидели у них на шее так близко, что почти составляли одну линию вперемешку с задней шеренгой противника.

Я уже сделал два укола одному сумскому гусару, скакавшему почти рядом со мной, однако он не упал; напротив, он рванул в первую шеренгу и даже еще за нее. Я потерял его из виду, а моя очень разгоряченная рыжая лошадь почти обессилела; я находился почти в первых неприятельских рядах, когда рядом с моим левым ухом просвистела пистолетная пуля, а сбoku на меня обрушились два сабельных удара, но мой свободно висевший ментик сделал их бесполезными. Это заставило меня остановить пылкий скачок моей лошади, и это было очень своевременно; потому что затрубили к отступлению, так как теперь нашим флангам угрожал приближающийся галопом Ахтырский гусарский полк. Итак, мы сделали поворот направо и понеслись назад во весь опор, а позади нас — коричневые ахтырцы. При этом отступлении мы получили несколько залпов от русской легкой батареи, которые убили у нас много людей. В ужасной пыли, которая окутала всех, нельзя было разглядеть ничего, что лежало на земле, но по более частым прыжкам, которые делала моя лошадь, я мог заключить, что там было много павших.

<...> Мы остановились и вновь построили фронт, и лишь теперь, когда пыль улеглась, смогли узнать положение дел. <...> Многие гусары, будучи рассеянными, теперь прискакали сюда, большая часть из них была ранена; у одного вахмистра лицо было горизонтально рассечено от одного уха до другого, и я не узнал его. Бригадир по имени Цвинкау еще нес воткнутое между плечами железное острие казацкой пики, тогда как древко было отломано. <...> Лошади, лишившиеся всадников, бегали вокруг и часто весьма затрудняли движения. Мимо нас также тащили премьер-лейтенанта Закка из шволежеров гвардии; шатающийся офицер

предчувствовал свой конец, пуля пробилась в его тело и вошла в мочевой пузырь.

<...> Тем временем мы вновь двинулись вперед под жестоким огнем орудий; наша полковая музыка, во главе которой ехал отличный капельмейстер Клинкхардт, играла великолепный марш, для многих — марш смерти. Но вскоре зазвучали фанфары, мы пустились в галоп и затем в карьер, и еще раз двинулись против серых сумских гусар, у которых мы все же на этот раз, хотя мы рубили и кололи, сбивали меньше солдат, чем в первый раз. При помощи своих превосходных лошадей они получили преимущество, а их артиллерия, выставленная на флангах, действительно обстреляла нас; это стоило нам и людей, и лошадей.

<...> Я оказался в очень затруднительном положении; я видел наступающую русскую линию, и потому имел время лишь на то, чтобы вынуть из ольстр оба моих пистолета и, бросив чемодан и шинель, поспешить к своему полку. Учитывая удаленность противника, я мог бы даже спастись, но я заметил отдельный отряд, вероятно из стрелковой цепи, который зорко следил за мной и быстро преследовал меня. Два человека, вооруженные один пикой, другой саблей, вскоре настигли меня. Они крикнули мне: “Postoi, franzus!” — теперь дело идет о том, подумал я, чтобы достать свою саблю и выстрелить из одного пистолета в гусара с пикой. Он дал осечку, но я ударил его лошадь с такой силой по голове, что она встала на дыбы и отвернулась. В другого, молодого офицера, я выстрелил из второго пистолета, но пуля пролетела мимо. Он нанес мне очень сильный удар, я удачно парировал его, но латунная гарда моей сабли была разбита, и мой кулак тяжело поврежден; одновременно я получил сзади удар пикой, который с такой силой пробил кожаное окаймление моего кивера <...>, что я свалился, как убитый»³⁷.

Отметим, что в интонации повествования нет ни печали, ни радости, отсутствует озлобленность по отношению к неприятелю, которого вестфальский офицер с таким остервенением стремился поразить в бою. Это характерная примета времени, в котором война — востребованная профессия. К. Н. Батюшков вспоминал о

письме своего друга и сослуживца, офицера лейб-гвардии Егерского полка И. А. Петина, полученном им в 1812 году: «Так должен писать истинно военный человек, созданный для своего звания природою и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было их нетерпение сразиться с врагом, впрочем ни одного выражения ненависти»³⁸. Чрезмерно предаваться скорби по убитым соратникам также считалось неуместным. Кодекс поведения военных той эпохи отображен в книге Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата»: выражать горесть об убитом товарище — все равно что скорбеть о себе самом. Так, Ф. В. Булгарин признавался: «Ужасно, когда видишь человека здорового и веселого, который через минуту уже не существует! Но наконец и к этому привыкнешь. Бывало, когда полки и команды сойдутся на биваках, после сражения, приятели ищут друг друга и, получив в ответ: “Приказал долго жить”, — безмолвно возвращаются к своему огню с грустью в сердце, с мрачной мыслью в душе. Но спустя несколько часов все забыто, потому что подобная участь ожидает каждого!»³⁹ Смерть в сражении Кутузов называл «участью, которой каждый военный подвергнуться может».

Говоря об отношениях офицеров двух враждующих армий, сложившихся за десять лет противостояния, уместно вспомнить рассказ М. Ф. Орлова о капитуляции Парижа: «<...> Не более как через час мы уже беседовали так откровенно и приятельски, что все были довольны друг другом. Военные и другие анекдоты лились рекой, и много раз с обеих сторон позабывали суровость обстоятельств и взаимных отношений»⁴⁰. Не менее показателен и рассказ А. Н. Марина о Бородинском сражении: «В 2 ½ часа перестрелка утихла с обеих сторон. Погода была теплая, даже жаркая; казалось, солнце на нас смотрело со всем вниманием. Егеря в низком месте вырывали штыками ямки и находили воду для утоления палившей нас тогда жажды. Самих неприятелей ссужали мы своей находкою; барабанщик французской цепи

пришел к нам во время отдыха с манерками; и мы нали-
ли ему несколько манерок воды. Мы так близко были от
неприятельской цепи, что можно было разговаривать.
Такой ласковый и дружелюбный прием барабанщика
понравился французам; из неприятельской цепи за-
кричал к нам офицер: "Les russes sont braves!" (Храбрые
русские!) Я ему что-то отвечал в похвалу на француз-
ском языке. Офицер хотел от удовольствия броситься
ко мне и обнять меня. Завязался небольшой, но прият-
ный между нами разговор; и француз был восхищен,
как француз — до исступления. В три часа опять заре-
вел гром орудий, и бой возобновился»⁴¹.

Многие русские офицеры, мысленно выстраи-
вая «генеалогию» взаимоотношений «братьев по сла-
ве» (Ф. Сегюр), сравнивали битвы при Прейсиш-Эйлау
(1807) и при Бородине: «Сражение при Прейсиш-Эй-
лау почти свеяно с памяти современников бурей Боро-
динского сражения, и потому многие дают преимущест-
во последнему перед первым. Поистине, предмет спора
оружия под Бородином был возвышеннее, величествен-
нее, касался более сердца русского, чем спор оружия
под Эйлау: под Бородином дело шло о том — быть или
не быть России. Это сражение наше собственное, наше
родное. В эту священную лотерею мы были вкладчика-
ми всего нераздельного с нашим политическим сущест-
вованием, всей нашей прошедшей славы, всей нашей на-
стоящей народной чести, народной гордости, величия
имени русского и всего нашего будущего. Предмет спо-
ра оружия под Эйлау представлялся с иной точки зре-
ния. Правда, что он был кровавым предисловием втор-
жения Наполеона в Россию, но кто тогда предугадывал
это? Лишь несколько избранных природою и одарен-
ных более других пронизательностию. Большею же час-
ти из нас он казался усилием, не касающимся существен-
ных польз России, одним спором в щегольстве военной
славы обеих сражавшихся армий, окончательным закла-
дом: чья возьмет, понтировкой на удальство, в надежде
на рукоплескание зрителей. С полным еще бумажником,
с полным еще кошельком в кармане, а не игрою на послед-
ний приют, на последний кусок хлеба и на пулю в лоб
при проигрыше, как то было под Бородином»⁴².

Битва при Бородине действительно оставила особый след в памяти воинов враждующих армий, притом что ее исход остался нерешенным. Наполеон назвал ее «самой грозной и величественной» из тех, что он дал на своем веку. Лев Толстой придал решающее значение нравственному противостоянию противников, оставив военные проблемы в удел историкам, для которых спор «чья победа?», по-видимому, никогда не кончится.

Обратившись к свидетельствам участников «битвы гигантов», попытаемся представить, что испытали в тот день наши герои. «Пробуждение же в день 26 августа 1812 года пребудет надолго в памяти каждого русского воина, участвовавшего в сей кровопролитной битве. С показанием на горизонте солнца, предвещавшего прекраснейший день, показались из лесу ужаснейшие колонны неприятельской кавалерии, чернеющиеся, подобно тучам, подходящим к нашему левому флангу. <...> Вставай, Рус! — смерть подошедшая будит, и враг бодрствует!» — вспоминал офицер 2-й батарейной роты 11-й артиллерийской бригады Г. П. Мешетич. Ему вторит служивший в 1-м егерском полку М. М. Петров: «Громы артиллерийских орудий, потрясавших землю, пламень, изрыгаемый ими, волновавшийся под небесами, были предшественниками солнца, восходившего над горизонтом в страшный день Бородинской битвы. Ядра, гранаты, брандскутели и картечи, бушуя в воздухе с злобным шипением и завыванием и бороздя землю лютыми припадами к ней, скача вперелет, терзали все встречное и поперечное — даже в линиях колонн первых резервов». «Погода была прекраснейшая, что еще более возбуждало в каждом рвение к бою», — свидетельствовал офицер квартирмейстерской части Н. Н. Муравьев.

Артиллерист Н. Е. Митаревский по-своему запомнил начало великой битвы: «Поевши и закурив трубки, мы вышли. Орудия были сняты с передков. Впереди сошлись мы с офицерами своих полков, стоявших направо и налево в батальонных колоннах. Рассматривали, насколько было возможно, позиции, шутили и смеялись. Когда пролетало ядро над головами, говорили: “Прощай, кланяйся нашим, что стоят назади...” Дру-

гой, бывало, скажет: “до приятного свиданья”, и фуражку поднимет. <...> Бывали случаи, когда пролетит близко ядро, то кто-нибудь кивнет головою или пожмется; тогда насмешкам не было конца. А признаться, чувство страха невольно побуждало склонить голову или нагнуться, но стыд всегда удерживал. Денщики пока бродили сзади батареи. Один из них, молодой парень из рекрут, так кивнул головой, что у него и кивер офицерский свалился с головы. Мы всегда ходили в фуражках, а кивера наши под чехлами носили денщики; это делалось для того, чтобы они не мялись. <...> Стояло нас в кучке до десяти офицеров и артиллерийских, и пехотных. Один из пехотных офицеров опустил на колени и свалился на землю без крика и вздрагиванья, даже в лице не заметили перемены. Мы заключили, что в него попала пуля. После довольно продолжительного осмотра заметили на виске, под волосами, небольшое кровавое пятно. Пуля пробила ему висок и засела в мозге. Офицеры взглянули один на другого и почти в один голос сказали: “Вот славная смерть...”»⁴³

Главные боевые действия развернулись на левом фланге русской позиции, у деревни Семеновское, где оборонялись войска 2-й Западной армии князя П. И. Багратиона. В жестоком бою за Семеновские флешы почти полностью была уничтожена 2-я сводно-гренадерская дивизия графа Воронцова. Сам он рассказывал об этом двадцать лет спустя: «...На меня была возложена оборона редутов первой линии на левом фланге, и мы должны были выдержать первую и жестокую атаку пять-шесть французских дивизий, которые одновременно были брошены против этого пункта; более двухсот орудий действовали против нас. Соппротивление не могло быть продолжительным, но оно кончилось, так сказать, с окончанием существования моей дивизии. Находясь лично в центре и видя, что один из редутов на моем левом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадерской дивизии и повел его в штыки, чтобы вернуть редут обратно. Там я был ранен, а этот батальон почти уничтожен. ...Мне выпала судьба быть первым в длинном списке генералов, выбывших из строя в этот ужасный день»⁴⁴. Здесь же получил смертельную ра-

ну главнокомандующий 2-й Западной армией князь П. И. Багратион: осколок гранаты раздробил ему берцовую кость левой ноги. Опасаясь смутить подчиненных, Багратион некоторое время пытался скрыть свою рану и, преодолевая боль, удерживался в седле, пока не потерял сознание. «В мгновение ока пронесся слух о его смерти, и войск невозможно удержать от замешательства. Никто не внемлет грозящей опасности, никто не брежет о собственной защите: одно общее чувство — отчаяние!» — вспоминал Ермолов. Однако битва продолжалась...

Эти укрепления, трижды переходившие из рук в руки, превратились в настоящий ад для тех, кто там находился, будь то русские или наполеоновские войска. Об этом свидетельствует драматический эпизод битвы, приведенный В. Н. Земцовым в книге «Великая армия Наполеона в Бородинском сражении». «<...> Капрал Дюмон был ранен ружейной пулей в предплечье, после того как рана стала доставлять ему сильную боль, пошел в амбуланс вынуть пулю. Не успел он сделать десяток шагов, как встретил полковую кантиньери (маркитантку), симпатичную испанку Флоренсию. “Она была в слезах. Ей сказали, что почти все барабанщики полка убиты или ранены. Она сказала, что хочет увидеть их, помочь им, чем сможет. Несмотря на боль, которую я чувствовал из-за раны, я пытался посочувствовать ей. Мы ходили между ранеными. Некоторые пытались с трудом и преодолевая боль двигаться сами, других несли на носилках”. Внезапно, когда Дюмон и Флоренсия проходили рядом с одним из укреплений, кантиньери начала громко и надрывно кричать: она увидела барабанщиков 61-го, разбросанных на земле. “Здесь, мой друг! — завопила она. — Они здесь!” Действительно, они были там, лежа с переломанными конечностями; их тела были побиты картечью. Помешавшись от горя, она ходила от одного к другому, нежно говоря с ними. Но ни один из них ее не слышал».

Генерал-квартирмейстер штаба Кутузова полковник К. Ф. Толь сообщал об обстоятельствах боя на левом фланге: «Астраханского гренадерского полку полковник Буксгевден, несмотря на полученные им три тяжкие раны, пошел еще вперед и пал мертв на бата-

рее с многими другими храбрыми офицерами». Здесь же нашел свою смерть и командир 2-й легко-конной роты лейб-гвардии артиллерийской бригады капитан Р. И. Захаров, вовремя подоспевший на помощь войскам, сражавшимся у деревни Семеновское. Увидев неприятеля, сосредоточивавшегося к атаке, он, не дожидаясь приказа, с марша развернул все восемь орудий и открыл огонь с ближайшего картечного выстрела. «Вся голова колонны в полном смысле слова была положена на месте», — вспоминал А. С. Норов. Вестфальский корпус остановился надолго. За каждый успех приходилось платить непомерно дорогой ценой. Через четверть часа капитан Захаров был смертельно ранен. «Завидую счастью вашему, вы еще можете сражаться за Отечество!» — сказал он, прощаясь с друзьями. Его начальник генерал-майор П. А. Козен впоследствии писал: «В Бородинском сражении Захаров заслужил Георгиевский крест, а мы не смогли ему поставить даже деревянного». Ф. Н. Глинка восклицал: «Так умирают сии благородные защитники Отечества! Сии достойные офицеры русские. Солдаты видят их всегда впереди. Опасность окружает всех, и пуля редкого минует!..»

По словам генерала Н. М. Сипягина, «вообще офицеры наши в Бородинском сражении, упоенные каким-то самозабвением, выступали вперед и падали перед своими батальонами». Н. Любенков в «Рассказе артиллериста о деле Бородинском» вспоминал: «Поручик Давыдов, раненый, сидел в стороне и читал свою любимую книгу: “Юнговы ночи”, а картечь вихрилась над спокойным чтецом. На вопрос: “Что ты делаешь?” — “Надобно успокоить душу. Я исполнил свой долг и жду смерти!” — отвечал раненый». Офицер лейб-гвардии Финляндского полка А. Н. Марин, тот самый, который в 1796 году по вине нерадивого наставника чуть не умер в восемь лет, опившись водкой, вспоминал: «В это время подходит ко мне один из моих товарищей, добрый и благородный малый, Великопольский; между прочим говорит: “Ежели постигнет нас несчастье, что мы отдадим Москву, то я желал бы лучше пасть на этом месте, нежели видеть такой позор”. — Исполнилось желание доброго сына отечества: лишь только кончил он последнее

слово, — неприятельское ядро раздробило ему голову <...>. “Царство тебе небесное, добрый товарищ”, — пробормотал я». Через некоторое время сам Марин получил тяжелую рану: «Конвойный мой егерь, Гаврилов, поднял меня и на вопрос мой: — Что, Гаврилов, я ранен? — Да, Ваше благородие. — Куда? — В плечо. — Посмотри-ка, не навывлет ли? — Никак нет, Ваше благородие. — Я хотел опять поднять ружье, но правая моя рука уже меня не слушалась; кость была перешиблена. Я снял шарф; повесил на нем мою руку, а удалиться не хотел, — да, я не хотел оставить цепь мою без командира <...>. “Прощайте, ребята; спасибо вам, что хорошо дрались”. И Гаврилов повел меня. Подошед к своему полку, явился я к полковому командиру и донес о состоянии моего поста. Он, видя меня обагренного кровию и ослабевшего, приказал идти скорей на перевязку. Оставшиеся добрые товарищи окружили меня, — и мы простились.

Ядра и гранаты осыпали нас на пути к перевязке. <...> Я встретил тут двух моих товарищей: капитана Василья Раля и подпоручика Веселовского, которые были ранены легче меня; и мы пошли все трое по дороге к Можайску. Подвод не было; и Раль, добрый Раль вел меня под руку. Обозы тянулись, раненые тащились; тесно было на дороге. <...> Под вечер пошли тучи и потом пошел дождь. — Трудно было мне идти; но добрые товарищи довели меня до первой деревеньки, в 4-х верстах от места битвы. Все избы наполнены были ранеными и умирающими. Незабвенный мой Раль отыскал мне местечко в одной избе; уложил меня между страдальцами, а сам лег на дворе, подле своей лошади»⁴⁵.

Адъютант Баркляя ротмистр В. И. Левенштерн вспоминал о кавалерийской схватке в центре поля битвы, в которой участвовало около десяти тысяч всадников: «Был момент, когда поле битвы напоминало одну из батальных картин <...>. Сражение перешло в рукопашную схватку: сражающиеся смешались, не было более правильных рядов, не было сомкнутых колонн, были только более или менее многочисленные группы, которые сталкивались одна с другой <...>. Пехота, построенная в каре, едва не стреляла со всех фронтов одновремен-

но. Личная храбрость и сообразительность имели полную возможность высказать себя в этот достопамятный день. Я видел во время стычки неустрашимого Алексея Орлова, который был весь изранен; его брат Григорий, адъютант Барклая, красавец собою, лишился в этом сражении ноги, а молодой Клингер и граф Ламсдорф были убиты. <...> Я видел молодого Шереметева, получившего большую рану саблей по лицу: подобная рана всегда делает честь кавалерийскому офицеру...»⁴⁶

Именно в этой схватке был ранен конногвардеец Ф. Я. Миркович: «Наш полк ходил три раза в атаку против кирасир и улан; моя лошадь была ранена пулей в щеку, а после третьей атаки ядро вырвало мне часть правой ляжки, пронзив насквозь мою лошадь. Бедный мой конь был убит на месте, а я не помню, как упал на живот, и, падая, слышал как кто-то вскрикнул: “Полковник, поручик ваш убит!” Я сознавал, что я не убит; но мне казалось, что рана моя была смертельна и что обе мои ноги были оторваны. Я пролежал несколько секунд, как вдруг четыре кирасира подняли меня и понесли на перевязку. Дорогой они говорили, что я не переживу этой раны, и очень обо мне сожалели. Я не потерял сознания, их речи не навели на меня страха смерти, но обратили мои мысли к моим добрым родителям. <...> Множество моих друзей было убито и ранено, дорогой мой Васков был ранен пулей в плечо»⁴⁷. Н. Е. Митаревский, находившийся в резерве, куда долетали неприятельские ядра, вспомнил об участии в битве ополченцев, чье поведение в битве немало позабавило нижние чины регулярных войск: «Мимо нас проходила к Бородину толпа раненых с носилками подбирать раненых. Когда пролетали ядра, ратники мотали головами направо и налево, кланялись, крестились, а некоторые становились на колени. Это была большая потеха для солдат, и каких тут не было острот... — “Кланяйся ниже, борода!.. Сними шапку!.. Крестись большим крестом!.. Бей поклоны, дурак!” — и тому подобное. Подумаешь, один и тот же русский народ мужик и солдат, а какая между ними разница. Один не скрывает внутреннего инстинкта самосохранения, а другой удерживается и стыдится показать свою слабость»⁴⁸.

Во второй половине дня настал черед идти в бой артиллерийской роте, в которой служил Митаревский, оставивший, пожалуй, самые яркие и подробные воспоминания о сражении: «Не могу определить, на каком именно расстоянии были мы от неприятельских орудий, но мы могли наблюдать все их движения; видели, как заряжали, как наводили орудия. Как подносили пальники к затравкам. Вправо от нас, на возвышении, стояла наша артиллерия и действовала; внизу, над оврагом, где мы прежде стояли, была тоже наша артиллерия, в числе которой находились другие шесть орудий нашей роты; с левой стороны от нас тоже гремела артиллерия, но нам за люнетом ее не было видно. Вообще, что делалось на нашем левом фланге — мы ничего не видели. Слышался оттуда только гул от выстрелов до того сильный, что ни ружейных выстрелов, ни криков сражавшихся, ни стонов раненых не было слышно. Команду также нельзя было слышать и чтоб приказать что-нибудь у орудий, нужно было кричать; все сливалось в один гул <...>».

Положение наших батарей с правой стороны, за впадиной на возвышении, было еще ужаснее. Артиллерийская батарейная рота, стоявшая там во время нашего приезда, скоро поднялась назад. На место ее построилась другая. Покуда она снималась с передков и выстроилась, сотни ядер полетели туда. Людей и лошадей стало, в буквальном смысле, коверкать, а от лафетов и ящиков летела щепка. В то время, когда разбивались орудия и ящики, никакого треска слышно не было, — их как будто какая-то невидимая рука разбивала. Сделав из орудий выстрелов по пяти, рота эта снялась; подъехала на ее место другая — и опять та же история. Сменились в короткое время роты три. И в нашей роте, несмотря на ее выгодную позицию, много было убито людей и лошадей. Людей стало до того мало, что трудно было действовать у орудий. Фейерверкеры исправляли должность канониров и подносили снаряды»⁴⁹. Автор воспоминаний признавался: «Страшно быть при орудиях во время перестрелки. Куда ни посмотришь — там ранят, там убьют человека, да еще как убьют!.. почти разрывало ядрами; там повалит лошадь, там ударит

в орудие или ящик; беспрестанно пред орудиями рвет и мечет рикошетами землю; направо, на возвышенности, на наших глазах разносит артиллерию, а про визг ядер и говорить нечего. Ротный командир был на лошади, а у нас у каждого из офицеров было по два орудия. Убьют лошадь, убьют или ранят человека — нужно сделать распоряжение заменить их; нужно смотреть, чтобы не было остановки в снарядах; нужно обратить внимание, как ложатся снаряды, и приказать, как наводить орудия. Начиная от штабс-капитана, почти каждый выстрел поверяли сами офицеры, и могу сказать, что все исполняли свое дело как следует. Значит, страх не был таков, чтобы забывали свои обязанности и не исполняли их по мере возможности». По-видимому, артиллеристы вынесли самые сильные впечатления после «знаменитого в летописях народных побоища»: «Кончивши дела, офицеры уселись у огня обедать. Перед глазами нашими вместо прекрасной, стройной роты были только остатки ее. Много было колес с выбитыми косяками и спицами, лафеты были с расколотыми станинами, ящички и передки с помятыми крышами и выбитыми боками, на лафетах лежали хомуты с выбывших лошадей. Поколотый поручик перевязывал свои раны; контуженный — натирал чем-то грудь и жаловался на боль. Мне примачивали ногу какими-то спиртами. Ходило несколько солдат, как наших, так и пехотных, с обвязанными руками. Вообще легко раненные предпочитали оставаться при своих командах и не хотели идти в обоз к раненым». По словам участника битвы, «бились весь день упорно, злобно, до тех пор, пока ночь и страшное утомление и с той и с другой стороны не положили конец этому, казалось, вечному и бесконечному дню, этому ужасному убийству. Так кончилась одна из самых кровавых битв, какие только знает история, и все же положение осталось невыясненным». Александр I, узнав о потерях среди полковых командиров, разрешил Кутузову, согласно Учреждению для большой действующей армии, своею властью производить в полковники офицеров, отличившихся при Бородине, с тем чтобы немедленно восполнить убыль в штаб-офицерском составе.

Неудивительно, что А. А. Щербинин, не дрогнувший возле обожаемого начальника при Бородине, впоследствии был не менее храбр в Заграничных походах по Европе: «Мы с генералом (К. Ф. Толем. — *Л. И.*) были при Кленау (австрийский генерал). Несколько батальонов атаковали деревню Либертволковиц <...>. Несмотря на советы Толя, Кленау и находящийся при нем полковник Роткирх не полагали нужным приблизить резервы. Несколько стрелков, занимавших кустарники впереди батареи, вскоре были вытеснены. Вслед за сим двинулись четыре сильные неприятельские колонны атаковать высоту. Они взбежали на оную с развернутыми знаменами и гремящею музыкою. Находившиеся в редуте два батальона австрийцев первые подали пример к бегству. Поспевшие из резерву два же батальона последовали (за ними. — *Л. И.*). Генерал и я, мы бросились к голове батальона и повели к высоте, чтоб опрокинуть находившегося уже на ней неприятеля. Мы повели их на 50 шагов к неприятелю, видели, как он забирал две австрийские пушки, думали, что сие зрелище побудит колонну броситься в штыки, но они, объятые страхом, бежали назад. Мне удалось еще раз остановить колонну нашу в бегстве, чтоб дать время уйти нашим пушкам»⁵⁰.

Не менее опытным воином ощущал себя в бою при Мерзбурге в сентябре 1813 года И. Дрейлинг: «На полпути из авангарда приходит донесение, что Кезен и все шоссе заняты французами, направляющимися из Франции в Лейпциг. А между тем наступила темная ночь; генерал обратился к войскам с речью: “Необходимо теперь же, ночью, пробиться через шоссе, иначе мы погибли”. Озлобленные настойчивым преследованием неприятеля, наши гусары сами просят вести их куда угодно, а французу, грозят они, пардону не будет. Идем вперед <...>. Со стремительностью урагана, с храбростью, доходящей до дерзости, атакуем мы шоссе и разносим все, что нам попадается. Наши озлобленные солдаты жестоко сдержали свое слово: самым бесчеловечным образом они рубят и колют всех без разбора, всех, кого настигает их сабля. Некоторые из нас тоже отдались мстительному чувству в общей рукопашной схватке. Я сам заколол двух врагов, из которых один ус-

пел ранить штыком в шею мою белую лошадь, на которую я только что сел (я сажился на нее обыкновенно тогда, когда предстояло сражение). В ночной темноте ничего не было видно, только сабли сверкали при каждом взмахе, да слышалась беспорядочная стрельба неприятеля, который обстреливал нас из ущелий и лощин узкого скалистого прохода и виноградника». В том, что для офицера «между долгом и смертью середины нет», убеждают следующие строки его воспоминаний: «Тогда генерал обратился ко мне и предложил мне тоже спешиться и стать во главе штурмующих фабрику, а при взятии фабрики никоим образом не допустить разгрома и разграбления фабрики. Это была для меня трудная задача. Я не привык сражаться пешим, да еще в отличающей меня от других форме адъютанта, на таком тесном пространстве, которое занимало шагов 70—80, и в стенах, которые вскоре должны были рушиться. Я считал себя погибшим. Но мне не было другого выбора. Глаза всех моих товарищей были направлены на меня, и, как мне казалось, они не очень-то одобряли образ действия генерала. Единственная предосторожность, которую я мог себе позволить, заключалась в том, что я снял белое перо с моего головного убора и спрятал его в кобуру. “С Богом,— сказал я себе,— да будет воля Твоя!”»

Бог пощадил храброго офицера: «Этот штурм нам стоил больше 30 раненых и 13 убитых, в числе этих последних были два прекрасных офицера, о которых мы искренне сожалели. Взятие этого здания было венцом победы этого дня, и мы шумно праздновали эту победу до поздней ночи. В память наших павших товарищей мы осушили несколько бокалов с пенящимся шампанским. Хвастаясь своими подвигами, мы, особенно бывшие при взятии фабрики, показывали друг другу наши сабли, на которых запеклась кровь, на моей оказались даже присохшие волосы. На следующий день я нашел в моем плаще, между сукном и подкладкой, ружейную пулю; вероятно, она была заряжена наспех и поэтому ударила так слабо. В награду за все это генерал представил меня к ордену Св(ятой) Анны на шею, который я и получил впоследствии»⁵¹.

Другой же наш юный герой, офицер лейб-гвардии Семеновского полка Александр Чичерин был менее счастлив. 13 августа 1813 года он записал в своем дневнике: «Трупы на дороге, транспорты с ранеными, брошенные биваки — вот что я прежде всего увидел в Саксонии, а сейчас на первом ночлеге в этой стране я засыпаю под грохот пушек»⁵². Это была его последняя запись. Через три дня в двухдневном сражении под Кульмом, где особенно отличились полки русской гвардии под командованием генерал-лейтенанта графа А. И. Остермана-Толстого, Чичерин был убит. Участник Кульмской битвы Н. Н. Муравьев-Карский вспоминал об обстоятельствах гибели офицера-гвардейца: «Никогда я не видел чего-либо подобного тому, как батальон этот пошел на неприятеля. Небольшая колонна эта двинулась скорым маршем и в ногу. На лице каждого выражалось желание скорее столкнуться с французами. Они отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех своих офицеров, кроме одного прапорщика Якушкина, который остался батальонным командиром». Чичерин примером своим ободрял солдат: «Он влез на пень, надел коротенький плащ свой на конец шпаги и, махая оной, созывал людей своих к бою, как смертоносная пуля поразила его»⁵³.

Авторы воспоминаний о знаменитой Битве народов под Лейпцигом были гораздо в меньшей степени увлечены описанием своих чувств перед или в ходе сражения, чем в Отечественной войне; теперь их больше занимали внешние происшествия: «Саксонская кавалерия, прикрывавшая левый фланг, вся начала сдаваться без бою; высланная на место их французская кавалерия была встречена двумя батареями английских конгревовых ракет и легкими полками русской и прусской кавалерии прогнана назад. Наконец все линии войск всех союзных держав с барабанным боем и игранием музыки тронулись вперед; дойдя до позиции французских войск, нашли их батареи так изрытыми, что признаку амбразур не было, на оных брошена подбитая артиллерия, взорванные ящики, и поле позади, где стояли прикрытия пехоты, устлано трупами»⁵⁴. Впрочем, внутреннее состояние графа Алексея Анд-

реевича Аракчеева не укрылось от внимательных глаз П. С. Пущина: «Когда наша кавалерия была отброшена и наши колонны выступили в боевом порядке, чтобы остановить успехи неприятеля, Государь со всей свитой поместился за нашими линиями, и, пока казаки конвоя строились для своей лихой атаки, граф Аракчеев, отделившись от группы, проехал к батальону, с которым я стоял, подозвал меня и завел приятельскую беседу. Как раз в этот момент французские батареи приблизились к нам, и одна из их гранат разорвалась шагах в 50-ти от места, где мы беседовали в графом. Он, удивленный звуком, который ему пришлось услышать впервые в жизни, остановился на полуслове и спросил меня, что это означает? “Граната”, — ответил я ему, приготовившись слушать прерванную так неожиданно фразу, но граф при слове “граната” переменялся в лице, повернул свою лошадь и большим галопом удалился с такого опасного места, оставив меня в опасном положении»⁵⁵.

Жители Дюссельдорфа удивили русских военных своей смелостью: «...Когда российская артиллерия начала их тревожить ядрами, то жители города небоязненно кричали: “Виват Александр!”»⁵⁶ А вот массовый переход на сторону антинаполеоновской коалиции войск, прежде сражавшихся на стороне Франции, создал союзникам немалые трудности в бою: «Во время сражения некоторые из офицеров союзных войск были убиты от того, что не имели белой повязки на руке. Сын баварского короля, принц Карл едва спас жизнь свою: казаки хотели изрубить его, но он успел поднять вверх белых платок и сею предосторожностью остановил смертельный удар. С Лейпцигского сражения стали происходить недоразумения между солдатами, которые по соединении всех почти европейских войск под одни знамена не узнавали друг друга и иногда стреляли в своих союзников. Полки держав Рейнского союза, образованные французами, имели мундиры, похожие совершенно на французские, и посему надобно было придумать какой-нибудь знак отличия для войск, сражавшихся совокупно, для избежания вредных последствий, которые могли без сего впредь возникнуть. По

прибытии в Труа Государь повелел, чтобы русские военные надели белый платок на левую руку, каковому примеру последовали некоторые из его союзников»⁵⁷.

Российские войска победным маршем безостановочно продвигались к границам Франции, свято веря в то, что «пожар Смоленска и Москвы освещает им путь к Парижу». Г. П. Мешетич вспоминал о «торжественной встрече» Нового года (по европейскому стилю) егерями 1-го егерского полка: «Так в полночь против 1814 Нового года бригада егерей, заготовивши в заливе лодки, под командою генерал-майора Карпенки села в оные и в темноте ночи выбралась из залива в реку. Неприятель с противного берегу по шуму гребцов пустил батальный огонь; когда наши егеря сделали залп с лодок, река осветилась, батарея их, несколько стоявшая вправо, открыла было косвенный огонь картечью, но в то же время увидела против себя с берега несколько батарейных орудий, открывших сильный огонь ядрами и картечью в оную, и в подкрепление егерям на паромах плывущих несколько легких орудий, которые решительно действовали одною картечью»⁵⁸. Участвовавший в переправе через Рейн М. М. Петров, повествуя об этом же памятном для русской армии событии, завершил в воспоминаниях рассказ соратника: «...Соединились в общую бригадную колонну и пошли парадным скорым маршем с барабанным боем и музыкою в растворенные для нас гражданами ворота Кобленца, оставленного начисто неприятелем. Мой 1-й батальон полка составлял голову колонны. Город был тогда по случаю встречи Нового года с особенным вниманием иллюминирован фонарями и плошками»⁵⁹.

«Окрепший в боях», 17-летний Д. В. Душенкевич особенно запомнил кровопролитную схватку при Ла-Ротьер 20 января 1814 года, но отнюдь не по той причине, что именно в этот день приказано было всем чинам союзных армий надеть на левую руку белую повязку. Это был «славный день имянин» корпусного начальника генерала от инфантерии Ф. В. Остен-Сакена: «Наш пункт атаки был Ларотьер, центр самый ужасный, обставленный множеством орудий, кавалериею и массами пехоты, распоряжаемыми лично Наполеоном. Подойдя на

дистанцию, мы были остановлены под невыносимым артиллерийским огнем; пошел довольно густой снег; пользуясь его завесою непродолжительною, нас передвинули немного от губительных прицельных выстрелов неприятеля; на месте, оставленном нами, площадь была устлана разорванными и разможженными людьми. Вскоре неприятель опять навел вернее свои орудия и вновь жестоко поражал нас; колонны наши, потерявшие терпение, просили повеления идти вперед. Генерал Ставицкий послал меня о том доложить корпусному командиру, который, прибыв лично на наше место, приказал, как только услышим трубный сигнал, идти в штыки и отъехал к кавалерии. Раздалась труба: “Ребята, на руку!” Солдаты наши, схватя в левую руку ружья наперевес, а крестясь другою, с радостью и молитвою: “Слава Богу, Господи, благослови!” — в сию же минуту посланные извещали войска, что Император наш изволил прибыть к полю сражения; решительное и радостное “Ура! Ура!” смешавшись наполняло гармонически равнину Ларотьерскую общим грозным гулом, предвестником победы, заглушая последние частые и верные выстрелы французских пушек, которые мгновенно все почти достались нам, победителям: сбитые, вдруг потерявшие артиллерию, в славный день имянин генерала Сакена, героя сей битвы, французы, как бешеные, кидались на нас батальонами, взводами, чем ни попало, до самой ночи; но что взято, все удержано, вершка назад не уступили. Сражение жаркое продолжалось среди темноты ночной. Перейдя Ларотьер, устроив твердо дивизию, генерал Ставицкий был ранен в правую челюсть, пуля на левых зубах остановилась, которую сам, тут же вынув, отдал мне. Странно, что я стал рядом с ним по правую его сторону, подобно как при Лейпциге у генерала Неверовского с левой; пули, минуя меня, поражали достойнейшее. Отправив с конвойными казаками генерала Ставицкого из-под выстрелов за селение, с разрешения его превосходительства, я поскакал в темноте отыскать корпусного командира доложить об убыли начальника дивизии, равно бригадного генерала Кологривого (так в тексте. — *Л. И.*), раненного картечью при самой атаке, и просить распоряжения»⁶⁰. Дело

при Ла-Ротьере знаменательно для его участников еще и тем, что здесь они совершали подвиги «в виду» императора, у которого генерал Остен-Сакен был на дурном счету, попав в 1807 году под суд за неисполнение приказов главнокомандующего Л. Л. Беннигсена. «После сражения при Ларотьере Государь, вспомнивший жалобы Беннигсена на действия Сакена в 1807 году, сказал Ермолову: “Алексей Петрович, бывал ли ты с Сакеном в огне?” — “Никогда, Ваше Величество, я служил под его начальством лишь в мирное время”. Государь сказал на это: “Он в моих глазах дрался как лев; напрасно Леонтий Леонтьевич (Беннигсен) его так сильно обвинял в 1807 году”», — рассказывал Д. В. Давыдов⁶¹.

Под стенами Парижа сердца наших героев, как и в 1812 году, вновь были переполнены сильными чувствами: «Ядра, гранаты, картечи и пули, осыпавшие колонны наши с вершины и уступов Монмартра, прекращали только стремление пораженных из нас, не спасая его от поражения. Пыхнул еще один бурный порыв геройства нашего, и победоносные стопы наши попрали вершину гиганта с 29 орудиями, на которой могучие орлы Александра распростерли свои крылья во благоизлияние человечеству. И там штурмовые крики замолкли, выстрелы средели, и вот пять, вот три и один — последний, прощальный той двугодовой войны, раздавшийся и умолкший на вершине Монмартра! Пусть бы тогда отверзлась обитель небесного блаженства; пусть бы приклонились на нас седые чела русских героев. О, как мы были славны тогда и любезны всему свету!

<...>. Война, зачавшаяся в 1812 году, имела два пункта, где видно было близкое равновесие рвения россиян на отличия: один на поле Бородинском, а другой при Монмартре. На первом все воины наши были храбры до озлобления, ибо не умереть, а остаться живыми в завоеванном французами Отечестве боялись. Но когда шли на укрепления Парижа, или, лучше сказать, лезли на бодливое темя Франции, то каждый солдат пылал румянцем геройства, понимая важность совершавшегося окончательного подвига и отмщения, и каждый из нас не хотел умереть прежде покорения Парижа»⁶². К. Н. Ба-

тюшков вспоминал: «Все высоты заняты артиллериею; еще минута, и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. “Слава Богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отместили за Москву!” — повторяли солдаты, перевязывая раны свои».

В заключение же главы мы приведем суждение знающих людей, касающееся воинского ремесла. «<...> Мало таких людей, которые бы исполняли свой долг, не обращая внимания на то, что на них не глядят. Большая часть воинов вяло воюет без зрителей», — утверждал Д. В. Давыдов. Воспоминания артиллериста Н. Е. Митаревского служат подробным пояснением к высказыванию «поэта-гусара»: «Проверив прицел, скомандовал я первое “пали”, но у канонира, стоявшего с пальником, до того дрожала рука, что он не мог фитилем попасть в затравку. Это был видный из себя солдат, вновь к нам поступивший и находившийся в первый раз в деле. Батальоны же, поравнявшись с орудиями, остановились и смотрели на нас; мне стало и досадно, и стыдно. Я вырвал у канонира пальник и, оттолкнув его, смело приложил пальник к затравке. Выстрел был удачный, и так как неприятели были довольно близко, то он уложил целый ряд французов; потом второй, третий, четвертый выстрел и так далее. Все выстрелы были очень меткие, французов клали целыми рядами, и у них тотчас же произошло замешательство. Видя это, не только офицеры, но и солдаты кричали: “Браво! — Славно! — Вот так их! — Еще задай! — Хорошенько их! — Ай, артиллеристы, ай, молодцы!” При этих возгласах люди мои раскуражились и работали действительно молодцами: живо и метко; мне оставалось только говорить: “не торопись, не суетись”, указывать направление и изредка поверять их».

В рассказе артиллерийского офицера содержатся бытовые подробности, относящиеся к окончанию битвы: «Корпус или отряд, возвращавшийся со сражения с признаками участия в деле, обращал на себя всеобщее внимание. Не участвовавшие в деле солдаты и, особенно, офицеры, смотрели с расположением на потрудив-

шихся и завидовали оставшимся в живых счастливым. Они любопытствовали и приставали с вопросами, особенно видя ощутительные признаки жаркого дела. Так было и с нами. Солдаты расспрашивали солдат, а офицеры с расспросами подходили ко мне. Но я был в таком расположении духа, что, кажется, только и отвечал: “да и нет”. Послышалось мне, что кто-то из офицеров сказал: “Экой медведь!” Несмотря, однако ж, на рассеянность, я все же заметил кучку гвардейских солдат, смотревших на нас; один из них, указывая рукою на орудия, сказал: “Уж эти и видно, что поработали: вишь, как рылы-то позамарали!” Эти простые слова чрезвычайно были мне приятны. Вскоре я нашел свою роту; там горели огни и подавали обед, что было очень кстати. Поел я с большим аппетитом и, не вдаваясь ни в какие расспросы, залег спать»⁶³.

Глава тринадцатая БОЛЕЗНИ И РАНЫ

Впрочем, такой еще тогда был в армии дух. Про малые раны и контузии говорили — «пустяки»; надо, чтобы порядочно прострелили — это рана...

Н. Е. Митаревский. Воспоминания

Обратившись к документам, письмам, дневникам и воспоминаниям участников Отечественной войны 1812 года, мы безошибочно установим, кто из российских медиков той эпохи был самым знаменитым. Безусловно, баронет, действительный статский советник, врач-хирург, Яков Иванович Вилье. В те годы он, как говорится, лечил всех и вся. Вот, например, супруга генерала П. П. Коновницына Анна Ивановна сообщила в письме мужу в самый разгар военных действий о здоровье их дочери: «Лиза покашливает все периодами. Ни грудью, ни боком не жалуется. <...> По рецепту в Опочке сделали капли, но не тот дух, что у Вилли (Ви-

лье. — *Л. И.*), и боюсь давать. Ревень ей давали, и очистило немного, кажется, поменее кашляет. Пою ее мятой, мать-и-мачехой»¹.

Из этих строк явствует, что авторитет Вилье неоспорим, притом что никто толком не знает, как правильно пишется его фамилия, что неудивительно. Мы можем лишь гадать о том, какая судьба занесла природного шотландца Джеймса Уэйли после окончания Эдинбургского университета на просторы необъятной России. Но, получив образование, он вступил в русскую службу полковым лекарем в Елецкий пехотный полк. Дальнейшую его карьеру можно назвать головокружительной. Не все относились к Якову Ивановичу с одинаковой симпатией. Н. И. Греч считал удачу Вилье делом случая, связанного с излечением знаменитого фаворита Павла I графа И. П. Кутайсова (отца начальника русской артиллерии при Бородине): «Вдруг Кутайсов заболел нарывом в горле. Его лечили первые придворные медики, но не смели сделать операции надрезом нарыва и ждали действия природы, а боли между тем усиливались. По ночам дежурили у него полковые лекаря. Виллие явился в свою очередь и за ужином порядочно выпил даровой мадеры, сел в кресла у постели и заснул. Среди ночи сильное храпение разбудило его. Он подошел к больному и увидел, что он задыхается. Не думая долго, он вынул ланцет, и царап по нарыву. Гной брызнул из раны; больной мгновенно почувствовал облегчение и пришел в себя. Можно себе вообразить радость Павла: Виллие немедленно пошел в гору, был принят ко двору и сделался любимцем Александра. Предвидя ожидающую его фортуна, он выучился латинскому языку и по секрету прошел курс медицины и хирургии. Смелость, быстрый взгляд и верность руки много способствовали его успехам. Дальнейшее поприще его известно: он сделался лейб-медиком и любимцем Александра и, может быть, своей отважностью и самонадеянностью был причиною его преждевременной кончины. Он был начальником военно-медицинской части в России и во многом ее поднял, возбудив в русских врачах чувство собственного достоинства и даровав им права, обеспечившие их от притеснений военных начальств. Он

проложил путь многим людям с талантами, как скоро они ему покорялись и льстили. Всех непокорных, кто бы они ни были, преследовал он и терзал всячески. Эгоизм и скупость его невероятны. Богатый, бездетный, он брал ежедневно по две восковые свечи из дворца, следовавшие дежурному лейб-медику, и во всем поступал по этой мере». Сообщив малоприятные сведения о скупости легендарного лейб-медика, автор воспоминаний в продолжение рассказа вдруг сообщил: «Виллие завещал свое огромное состояние в русскую казну, по медицинской части. Ему воздвигли за то монумент пред зданием медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, а родные его в Шотландии томятся в нищете. Но есть Высший суд на небе!»²

Что правда, а что ложь в этом рассказе — разобрать трудно. Кем был Вилье на самом деле: стяжателем или подвижником? Может быть, и тем и другим, но заслуги его в эпоху 1812 года очевидны. Несомненно, он был, как и многие в те времена, «плохим хорошим человеком»: в его характере можно увидеть черты, которых хватило бы на несколько непохожих друг на друга людей. Действительно, став в 1814 году лейб-медиком Александра I, Я. И. Вилье не забыл и о своих сотрудниках, «подвизавшихся» с ним в дни мира и особенно в дни войны. Он добился того, чтобы российских медиков, прямо сказать, имевших «недворянскую» профессию, уравнивали по Табели о рангах в чиновничестве с другими чиновниками. Император Александр не мог отказать хирургу, который на Бородинском поле лично произвел 200 операций. Впрочем, эту награду русские военные медики заслужили сполна. Труд врача — это всегда подвиг, но в те годы можно было лишь восхищаться подвижничеству «наследников Гиппократа», их любви к человечеству, выразившейся в пламенном желании облегчить его страдания. В 1812 году один из выпускников Московской медико-хирургической академии обратился к своим коллегам с такими словами: «Ибо что есть врач: врач есть воин, вооруженный всеми болезнеистребительными орудиями природы; поле брани его есть больное тело; оружие его есть неорганическая и органическая природа; выздоровле-

ние больного есть победа, честь, слава, благодарность и, что всего важнее, душевное удовольствие — суть его лавры»³.

Во времена, когда не существовало ни анестезии, ни обезболивающих препаратов, военные медики на полях сражений отличались не меньшей стойкостью духа, чем их пациенты. Как истово выполняли на войне свой долг полковые медики! «Вдосталь я нагляделся невыразимо тяжких ран, кои перевязывали с усердием военные лекари, — рассказывал участник Смоленской битвы. — Я свидетелем был, как один лекарь с головой, обмотанной бинтом, на коем выступали пятна крови, продолжал сошивать рану страдальца-воина до тех пор, пока сам не упал от течения крови и истощения сил»⁴. Имена русских врачей Е. О. Мухина, Ф. А. Гильтебрандта, М. Я. Мудрова, М. А. Баталина, Х. И. Лодера, О. К. Каменецкого, И. Е. Грузинова были известны в армии и пользовались в офицерской среде почетом, невзирая на сословные различия. Так, Н. Е. Митаревский вспоминал об одном из полковых лекарей Софийского пехотного полка, весьма колоритном представителе своей профессии: «Доктор, поклонник Вольтера, был в большом уважении, но из разбитного доктора впоследствии вышел чрезвычайно ловкий оператор. Он прославился по всему корпусу; не только раненые офицеры, но и солдаты просили вести их к Софийскому; под таким названием он был известен всему корпусу. Я сам видал его “на работе”: это его собственный термин. Перевязывал он раны и делал операции с таким хладнокровием и равнодушием, как будто отрезывал ножку или крылушко жареной курицы. Иногда его, шутя, звали мясником; он на это не обижался, только говорил, смеясь: “Ну, ну, брат, смотри!.. Попадешься и ты в мои руки!!!”»⁵

Генералы или штаб-офицеры, получившие тяжкое ранение, почти всегда попадали в руки медицинского светила, известного удачными опытами оперирования и выхаживания больных. Но бывали и исключения из правил: прославленные военачальники вверяли себя младшим лекарям и те совершали чудо: спасали им жизнь. Показательна «история болезни» М. Б. Баркляя

де Толли, рассказанная «лечащим врачом» М. А. Баталиным: «<...> Полученная Барклаем де Толли по окончании Прейсиш-Эйлауского сражения рана была в небытность мою, а уведомил меня о сем бывший его адъютант Бартоломей с приказанием шефа полка сдать больных в Гродненский войсковой госпиталь и явиться в город Мемель, куда я тогда же и отправился и, прибыв туда, нашел, что рана была между плечом и локтем в середине правой руки от пули навывлет и была перевязываема прусским врачом; раненая рука, слабо связанная, лежала в сделанном из картона корытце и перевязкою не была достаточно укреплена, отчего при каждом движении раздраженные кости причиняли жестокую боль, хотя советовал сделать перевязку, укрепив лубками, но на сие прусский хирург не согласился, он советовал сделать ампутацию, что подтвердили и другие прусские хирурги и медики, выводя заключение, что от большой ежедневной потери материи и крови может получить изнурительную лихорадку и может кончить жизнь прежде, нежели отделятся раздробленные кости и заживет рана; я против сего сделал возражение, что сложный перелом кости не есть показание к отнятию члена, а как скоро в Мемеле ожидали прибытия Государя Императора Александра и при нем, наверное, находиться будет Главной армии медицинский инспектор Яков Иванович Вилье, и он, увидя рану, наверное, сделает заключение, что рана излечится без ампутации и генерал останется с рукою. <...> Вскоре после того, прибыв к раненому генералу, господин Вилье приказал мне развязать перевязку и, осмотря, нашел, что перевязка сделана слабо и отверстие раны для свободного выхода материи и отделившихся раздробленных костей недостаточно велико. Сделал разрез на наружной стороне от плеча к локтю, <...> после, обложив лубком, приказал мне сделать соответствующую перевязку и поручил мне дальнейшее лечение, во время коего я вынул из раны 32 косточки»⁶.

М. А. Баталин сохранил генералу руку, хотя последствия от тяжелого ранения, естественно, остались. На знаменитом портрете Дж. Доу в Военной галерее Зимнего дворца Барклай де Толли запечатлен во весь рост на фоне покоренного Парижа: левой рукой он подде-

рживает правую малоподвижную руку, которую обычно он носил на перевязи.

Не менее показателен случай с «молодым лекарем конногвардейской артиллерии» Кучковским, положивший начало его известности в армии. Ему выпала судьба оказывать медицинскую помощь графу Александру Ивановичу Остерману-Толстому, начальствовавшему русскими войсками в битве под Кульмом в августе 1813 года. В разгар сражения неприятельское ядро раздробило генералу левую руку до самого плеча. Мы уже отмечали значение «специфических форм сценичности, подчиняющих себе жизнь» в ту эпоху⁷. В качестве яркой и выразительной иллюстрации подобной «сценичности» приведем пример поведения военачальника, получившего тяжелейшую рану, но продолжающего выстраивать свои поступки в соответствии с правилами «военной эстетики». Вот рассказ его адъютанта И. И. Лажечникова: «Остерман, потеряв руку, не чувствует страданий: он позабыл себя — он мыслит только о славе своего Отечества. Вынесенный с места сражения, готовясь к труднейшей операции, при дверях гроба, он весь еще на поле битвы; он весь среди храбрых своих сподвижников. “О чем плачете вы? — говорит он с твердостью патриота и христианина окружающим его. — Левая рука была у меня лишняя: осталась еще другая для защиты Отечества, служения Государю и творения Святого креста”».

«Потеря крови и истощение сил ввергают его в сильный обморок. В сие самое время приезжает к нему прусский король, <...> расспрашивает с живейшим участием сопровождающих храброго вождя о состоянии его раны и, заключая по ответам их, что жизнь его в опасности, венценосный друг человечества не может удержаться слез своих. Но, к общей радости, герой через несколько минут открывает глаза. Первым знаком в нем, знаком жизни есть мысль о Государе: и на краю гроба в самых хладных объятиях смерти сия мысль в нем не погасала! “Ваше ли Величество вижу? В безопасности ли Государь Император?” — спрашивает он короля прусского и, заметив слезы на лице Его Величества, силится пристать, чтобы изъяснить свою признательность к сим

слезам, навсегда в его душе запечатленную»⁸. Мы не можем позволить себе мысли о наличии преувеличений в этом рассказе из уважения к человеку, усилием воли подавлявшему страдания.

В ожидании операции Остерман прислушивался к тому, как трое лекарей рядом с ним спорили по-латыни, как лучше отнять ему раздробленную руку. Самый молодой из них, Кучковский, обернувшись к военачальнику, заметил в его глазах насмешку. «Напрасно, господа, толкуем по-латыни, — сказал он коллегам, — граф ее лучше нашего знает!» В ответ раздался голос Остермана: «Ты молодец! На, режь ты, а не другой кто!» Операционным столом служил барабан. Рядом с палаткой, где производилась операция, по приказу генерала гвардейские музыканты пели русские песни, чтобы никто не слышал его стонов. «Вскоре приносят несколько знамен, отбитых у неприятеля. При виде сих трофеев взоры героя блистают огнем радости <...>. “По крайней мере, умру непобежденным”, — восклицает он голосом сердечного торжества». Лекарь Кучковский, «коего физиономия понравилась графу», успешно справился со сложнейшей операцией, сохранившей жизнь прославленному военачальнику. Во время перевязки к «изувеченному вождю» русской армии подъехал флигель-адъютант князь А. С. Меншиков и «с видом жалостливого участия» обратился к нему с вопросом: «Как вы себя чувствуете?» Граф Остерман отвечал весьма спокойно: «*Voyez, prince, quelle mésaventure m'est arrivée! Donnez moi une prise!...*» (Посмотрите, князь, какая случилась со мной неприятность! Дайте мне табаку понюхать!...)»⁹ Через две недели после этой «неприятности» Остерман-Толстой к изумлению присутствующих явился в храм на богослужение. Сражаться и жить в «социокультурном контексте» той эпохи было, безусловно, непросто.

Для того чтобы русские хирурги, обычно их называли «операторами», могли добиться подобных видимых успехов в своем ремесле, Я. И. Вилье совершил поистине доброе дело: в 1808 году он за свой счет выписал из Великобритании образцы хирургических инструментов и наладил их производство в России. Но наши герои страдали не только от ран, полученных на поле

чести, они были подвержены многим заболеваниям, которым люди подвержены до сих пор, с той разницей, что возможностей для лечения их недугов было значительно меньше. Каждый из нас знает, что, почувствовав признаки простуды, стоит обратиться в аптеку, чтобы приобрести соответствующее лекарство, да и не одно. Чем лечились русские офицеры, если болезнь заставляла их врасплох? А. Чичерин записал в дневнике: «Мог ли я предвидеть, что эта неприятная простуда доведет меня до края могилы и что я со своим хваленым здоровьем покорюсь, как и прочие, жестокому велению судьбы, приговорившей всю армию к тому же. <...> Чтобы прогнать болезнь, я поставил ноги в горячую воду и выпил стакан пунша — это меня совсем доконало. Виллие, посланный его величеством, пришел в ужас как от моего состояния, так и от моего жилья. Мне было уже очень скверно. <...> Воспаление в горле душило меня, я горел в жару и бредил без конца. Много раз мне виделось одно и то же, и так врезалось в память, что, уже придя в себя, я все верил тем видениям и думал, что я действительно стал адъютантом Е[го] В[еличества]. Я так глубоко был убежден в этом, что, когда Кашкаров, которому я в бреду рассказывал, что у меня шесть верховых лошадей и восемь упряжных, имение под Петербургом стоимостью в 80 тысяч рублей, что я помог отцу и матери и подарил шальями Марию, — когда Кашкаров не верил мне, я решил писать генералу, прося его справиться у Государя, назначен я адъютантом или нет»¹⁰. В не менее тягостное положение болезнь повергла офицера Владимирского ополчения И. М. Благовещенского: «...Ко мне идет майор, командующий полком, узнает о квартире, в которую входит, и видит меня, что я лежу в постели в больном виде. На столе были поставлены близ меня скляночки в виде лекарств, медикаментов, как то: с квасом, пивом, огуречным рассолом и что можно было найти...»¹¹ Окончательному излечению способствовал случай: «На мое неожиданное щастие, Бог послал в это время, как мы в Вязьме, директора всех гошпиталей. И лишь появился в комнате полковника, то он просит его посмотреть меня и сколько можно помочь в болезненном положении. Вот он, пришел ко мне, внятно

осматривая, проговорил несколько приятно и тотчас написал рецепт и при себе приказал за лекарствами послать в аптеку. Исполнено было скоро — принесено довольно порошков и склянку большую микстуры, все это чтоб в два дня употребить, как на ассигнатурке значится»¹².

По-видимому, настоящим бедствием для русских воинов были так называемые желудочно-кишечные заболевания, с которыми они «познакомились» во время Русско-турецкой войны 1806—1812 годов. Так, Я. О. Отрощенко вспоминал: «В августе месяце умножилось число больных, как полагали доктора, от фруктов; я тоже получил перемежающуюся лихорадку и отправлен в госпиталь, устроенный в камышовых сараях при селении Сербешты. Офицеры были расположены в молдаванских хатах, а нижние чины в сараях. Людей умирало так много, что трупы вывозили на возах для погребения. Со мною случилось здесь странное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак не мог себя переуверить в том; заметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову и рассудок мой воротился. <...> Я также выписался из госпиталя, хотя лихорадка еще не совсем прошла: все средства медицины не пособили мне, но один грек излечил меня, как догадываюсь сулеймой, потому что он старался закрываться от меня, когда приготавливал лекарства к приему, однако же я подсмотрел, что он сыпал в чашку белый порошок»¹³.

Причину массовых эпидемий подробно разъяснил М. М. Петров: «<...> Чрез прелесть эту, особливо разнообразных виноградов и абрикосов, при употреблении на них масляного плода зерен грецких орехов, в свежести их лакомых на вкус, а при холодности тамошних долгих ночей, по обычному всех вечернему купанью, решительно смертельными последствиями мучительных лихорадок и кровавого поноса. Начальникам бывавших там армий нашего авосьного народа предстоит дело трудное — вразумлять своих воинов о сохранении здоровья, убеждая их предписаниями, что там надлежит предохранять жизнь воздержанием от еды с трех

часов пополудни всяких фруктов, ибо с утра и за полдень несколько такое употребление ничуть не вредно и даже полезно, по своему легкому питанию, поелику сырость фруктовая выжимается чрез испарину от жаров дневных, доходящих там часто до 40 градусов, а к ночи вредно, потому что в той стране с закатом солнца вдруг, почти без зари, обнимает ночь холодная, поглощающая всю знойность дня, оставляя в воздухе тепла не более 3 градусов. Казалось бы, нетрудно понять, что при таком изменении теплоты на холод не следует пред вечером задолго ни фруктов есть, ни купаться, поевши их, а только вкушать что-нибудь зажаренное, натертое солью, перцем, или сухарей с кашицею. Но прагматерь наша Ева передала нам вполне невоздержность свою в обольщении благовидностию плодов вопреки рассудка и наказов, и мы, вернопослушные ее праправнучата, всех чинов без изъятия, страдаем при уповании на авось. <...> А какую там лихорадку вытерпел, то <...> и теперь вспомнить страшно, а все от вечерней еды фруктов и ночного купания и авось»¹⁴. Однако дело было не только в «ночном купании». «<...> Во всех колодезях вода была испорчена турками и имела несносный смрад. Жар был нестерпим, и мы, изнемогая от жажды, пили эту воду, но и той недостаточно было. Ко мне явилась лихорадка с большим ожесточением и поносом», — сообщал Я. О. Отрощенко¹⁵. В качестве профилактики желудочных расстройств нередко употреблялось хлебное вино с перцем.

Судя по документам, письмам и воспоминаниям офицеров—участников Отечественной войны 1812 года, сражавшихся с турками на Дунае, все они переболели «перемежающейся лихорадкой», которая не щадила ни нижних чинов, ни их начальников. Действенное средство против этого заболевания, очевидно, было обнаружено опытным путем: кофе с хреном. Кофе — дорогостоящий колониальный продукт, почти не доступный столичным жителям в связи с «континентальной блокадой» Англии по условиям Тильзитского соглашения, в Дунайской армии приобретался сравнительно «легко», так же как и разные другие дорогостоящие «редкости»: после победы под Руссуком в турецком ла-

гере было «найдено много кофею, сарацинского пшена, разного драгоценного оружия, розового масла, опиуму, коровьего масла и варенья...»¹⁶.

Бесценные трофеи («святая добычь», по выражению А. В. Суворова), судя по воспоминаниям О. Я. Отрощенко, явно заслуживали лучшего применения: «Однажды, когда проглянуло солнышко, я, вышедши из землянки и ходя вокруг моего каре, смотрел, как солдаты чистили свои ружья, починяли сапоги и одежду. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали им уже сапоги и также ружейные замки. “Что это у вас такое”, — спросил я. — “Какое-то масло, ваше высокоблагородие, мы клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо”. Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: “Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не поддается проклятый”. Это был кофе; я сказал им: “Это только годится туркам есть, а солдатам нейдет”. К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи»¹⁷. Не менее колоритным является и свидетельство М. М. Петрова, как и большинство его соратников, во время боевых действий при Батине еле-еле «пермогавшегося» от поистине всеобщего заболевания: «Лежа на бугорке поляны перед потерями неприятеля, я смотрел и сквозь немощь мою веселился, видя, как наши ребята, победители, разбирали турецкие пожитки, наполнявшие огромный лагерь этой долины, и тащили, не зная обращения, навьюченных верблюдов, бормотавших на них и обдававших с головы до ног нежеланных ими новых карнаков соплями, единственным орудием их гнева. В то же время иные разночинцы армии, промышленники вольного рынка и маркитанты полков, овладев котлами и провизией неприятеля, принялись варить кашу, всыпая в навьюченные над огнем котлы сарацинского пшена, изюму и думая, “что тоже к тому же”, вали-

ли туда ливанского кофею, в шелушице у азиатцев держимого, принимая его за бобы “иносветные”, варя же и пробуя жевать, фуркали из рта, говоря: “Эй! Да это ажно крепко в варке!”»¹⁸

Следует заметить, что кофе был не только крепким бодрящим напитком, к которому многие офицеры пристрастились во время военных действий на Дунае. В те годы кофейную гущу, называемую «подонками», использовали не только для гадания, но и как эффективное средство для отбеливания зубов; с этой целью ее высушивали, а затем тщательно натирали ею зубы. Но это был, по современным понятиям, «эксклюзивный» вариант личной гигиены: кофе далеко не всегда и не у всех был под рукой. Правомерно задать вопросы: что использовалось в те времена, не знавшие «высоких технологий», в качестве зубной пасты или мыла и существовали ли они вообще? Эти бытовые подробности наши герои обходят молчанием в своих письмах, дневниках и воспоминаниях, что выглядит совершенно естественным, потому что и в наши дни кто бы стал сообщать своему оппоненту по переписке, из чего состоят столь необходимые человеку предметы? Для того чтобы «зубы были чисты и белы», в уголь сжигался кусок мякиша из ячневового хлеба, смешивался с солью и медом, образуя зубной порошок. Для «домашнего употребления» мыло варилось «без дальней трудности и издержек» из костей, огарков от сальных свечей и всего того, «что остается на блюдах и тарелках жирного или масляного и тому подобного» вперемешку с золой и негашеной известью. Чтобы произвести «мыло хорошее для умывания», требовалось соскоблить полфунта мыла, о котором говорилось выше. В эту мыльную стружку наливалась вода, добавлялись толченый миндаль, разведенный в молоке, розовая вода, «лягушачий клек» и «винный камень». Все это тщательно перемешивалось, варилось на огне до кипения, заливалось «в четверугольные коробочки и ящички», где после «застывания изрезалось в печатки произвольной величины»¹⁹. В результате получалось мыло с ароматом розы и миндаля.

Как на войне, да и в мирные дни, пытались сбить жар, противостоять укусам бешеных животных, как

лечили переломы костей? В качестве жаропонижающего средства употреблялись «питье воды с лимонным соком и трение тела уксусом». Головную болезнь, «произшедшую от солнечного зноя», снимали с помощью «муравейного уксуса», добывавшегося довольно непростым путем в мае—июне: «в средину муравейной кучи» ставился глиняный горшок, дно которого следовало смазать медом, «муравьи в превеликом количестве собирались в оный», после чего их обдавали кипятком, «от чего в ту ж самую минуту делается спиртуозный уксус»; им мочили платок и привязывали к голове. При «угрызении бешеным животным» действия были не менее сложными: прежде всего рану промывали собственной мочой, потом натирали рассоллом, «распустив в полукружке воды горсть соли, дабы сильнее шла кровь из раны, а с нею и самый яд выходил бы вон». Но надежнее считалось «прижечь раскаленным железом оное место так, чтоб оно покрылось все пузырем, который, вытягивая материю, высосет вместе с нею и яд бешеной собаки»²⁰. Вообще наши герои жили и воевали в «доброе, старое время», когда от «ипохондрических, истерических и меланхолических припадков» лечились магнитами, повешенными на грудь, и зверобойным маслом, а кровотечения из носу унимали, сжигая перья куропатки.

В военное время неотложная помощь воинам, пострадавшим от ран и болезней, оказывалась на основании «Положения для временных военных госпиталей при большой действующей армии», принятого 27 января 1812 года. Согласно этому документу, в «аптекарских магазинах» запас перевязочных средств — бинтов из холста и корпии, используемой вместо ваты и получаемой путем распускания холста (отсюда выражение «щипать корпию») — был рассчитан примерно на одну пятую часть армии. С 1811 года Петербургский завод медицинских инструментов стал выпускать для армии лубки нового, западного образца: «...шины из лубковых узеньких дощечек, вшитых между холстинок <...> и длинные узкие мешки, песком наполненные»²¹. Больных предполагалось иметь примерно одну десятую часть армии. Из «расчетных» 15 тысяч раненых

три тысячи считались «тяжелыми», и для их эвакуации планировалось заготовить одну тысячу телег. Однако эти расчеты были опровергнуты суровой действительностью: раненых и «заразительных больных» оказалось гораздо больше.

В ходе военных действий первая помощь раненым оказывалась на перевязочных пунктах, которые, как правило, располагались поблизости от командного пункта, чтобы главнокомандующий в ходе битвы мог посещать тех, кто заплатил отечеству «дань кровью». А. П. Бутенев вспоминал обстоятельства боя под Салтановкой: «Мы оставались тут почти целый день, ожидая возвращения Раевского. Он наконец вернулся со своими войсками, сопровождаемый множеством раненых и умирающих, которых несли на носилках, на пушечных подставках, на руках товарищей. Некоторых офицеров, тяжело раненных и истекавших кровью, видел я на лошадях, в полулежачем положении; одною рукою они держались за повод, а другая, пронизанная пулею, висела в бездействии. перевязки делались в двух развалившихся хижинах, почти насупротив толпы офицеров и генералов, посреди которых сидел князь Багратион, по временам приподнимавшийся, чтобы поговорить с ранеными и сказать им слово утешения и ободрения. Мне предлагали пойти посмотреть на хирургические отсечения и операции, которые производились над этими доблестными жертвами войны; но, признаюсь, у меня не достало на то духу»²².

На перевязочных пунктах производились рассеченные раны, удаление осколков гранаты, пуль, иных инородных тел, после чего делалась сама перевязка. Принято считать, что в те времена полостные операции не производились, однако известно, что генерал-майору К. Ф. Казачковскому, раненному картечной пулей в живот в сражении при Лютцене, врачи сумели спасти жизнь. Еще более удивительный случай произошел в кампанию 1807 года с полковником М. Д. Балком: в бою при Гейльсберге картечная пуля сорвала ему часть черепа. Однако врач заменил ему часть черепной кости серебряной пластинкой, и в 1812 году уже в чине генерала

Балк принимал деятельное участие в боевых действиях. Ампутация конечностей производилась, как правило, «при раздроблении костей и разрыве мягких тканей». В тех случаях, когда раненому могли обеспечить покой и отдых, хирурги не спешили «отнимать конечность». Но в таких случаях, как сражения под Смоленском или, в особенности, при Бородине, за которыми следовало отступление, и за значительным количеством раненых, в том числе офицеров, некому было наблюдать и заботиться, «операторы» выбирали радикальное средство. В качестве примеров состояния раненых после «кровавой битвы Бородинской» и их количества можно привести множество воспоминаний.

Так, 15-летний Д. В. Душенкевич, получивший сравнительно легкую рану в «Шевардинском деле» 24 августа, за день до генеральной битвы при Бородине, вспоминал: «Бригадный наш командир полковник Княжнин, шеф полка Лошкарев и прочие все штаб-офицеры до одного в нашем (Симбирском) полку переранены жестоко, из обер-офицеров только трое осталось невредимых, прочие, кто убит, кто ранен; я также в сем последнем действии, благодаря Всевышнего! на земле родной удостоен пролить кровь. Нас повели, некоторых понесли в руки медикам, и ночью же отправлены транспорты раненых в Москву.

Картина ночи и путь до Москвы представляли однообразное общее уныние, подобное невольному ропоту, рождающемуся при виде длинных обозов и перевязок множества, не только раненых, даже до уничтожения переуродованных людей; нельзя не удивляться, в каком порядке раненые транспортируемы и удовлетворяемы были всем. На третий день нас доставили в опустевшую Москву, чрез всю столицу провезли и поместили во Вдовьем доме, где всего в изобилии, даже в излишестве заготовлено, что бы кто из раненых ни пожелал»²³. Узнав об оставлении Москвы неприятелю, Д. В. Душенкевич с костылем вернулся в строй, долечив свою раненую ногу в Тарутинском лагере.

На случай отступления в те годы принято было «вверять тяжелораненых воинов великодушную победителя». В этом случае на аванпостах армии оставался

офицер с письмом, предназначавшимся главнокомандующему неприятельской армией. М. И. Кутузов обратился с письмом к императору Наполеону с просьбой позаботиться об оставшихся в Москве русских воинах, пострадавших в «большом сражении». Впрочем, это была общепринятая формальность. Наполеон сам был солдатом, и по его словам: «после битвы не было врагов, а было только страдающее человечество».

В числе «страдальцев», переданных с рук на руки французским медикам, был поручик гвардейской артиллерии А. С. Норов, поведавший в записках историю своего ранения: «Одновременно с обеих сторон раззились выстрелы. Неминуемая сумятица не могла не произойти временно на батарее при столь близкой посылке картечи: несколько людей и лошадей выбыло из строя; но, имея дело с кавалериею, у нас уже были приготовлены картузы для следующего выстрела, и я успел еще послать картечь из моего флангового орудия. Это был мой последний салют неприятелю... я вдруг почувствовал электрическое сотрясение, упал возле орудия и увидел, что моя левая нога раздроблена вдребезги... Я еще видел, как наши кирасиры, бывшие дотоле бездействующими зрителями, понеслись в атаку. <...> В это время мой товарищ, прапорщик Дивов <...> наткнулся на меня в ту минуту, как Каменецкий точил свой инструмент, чтобы приняться за меня. Дивов спросил меня: не может ли он мне чем помочь, и оказал мне большую услугу. Я попросил его, не может ли он мне достать льду и положить в рот, иссохший от жару; к удивлению моему, он исполнил мое желание. Он же нашел и прислал мне двух моих людей. Даже и тут ядра тревожили иногда усиленные работы наших медиков.

<...> Когда я был ранен (это было уже в третьем часу), повозки для раненых все еще были в изобилии: я видел целые ряды телег, устланных соломою. Некоторые из тяжелораненых тут же умирали и тут же предавались земле, и трогательно было видеть заботу, с которою раненые же солдаты и ратники ломали сучки кустов и, связывая их накрест, ставили на могилу. Один из французских повествователей той эпохи, заметив эти могилы, говорит, что наша армия отступала к Москве в таком

порядке, что ни одного колеса не было нами оставлено на пути.

Моя телега въехала в длинный ряд других телег, тянувшихся с ноги на ногу к Можайску. В ушах моих во все время пути, хотя мы были уже далеко от поля сражения, все еще раздавался пушечный гром и слышался свист ядер; мы прибыли в сумерки к Можайску; улицы были запружены подводами. По особенному счастью, мои люди увидели возле одного дома людей моих товарищей, раненных прежде меня, тут остановили мою телегу и меня внесли в комнату. “Кто это еще?” — сказал слабый голос лежавшего на соломенной постилке, — и я узнал моего друга полковника Таубе (Роман Максимович, 2-я батареинная рота Лейб-гвардии артиллерийской бригады). Меня положили возле него. “Хотя бы нас стариков...” — прошептал он, протягивая мне руку. У него была отнята нога выше колена. В приподнявшемся по другую сторону узнал я подпоручика Баранова, у которого раздроблена была рука осколком гранаты. Недолго мы могли беседовать; мы все были в жару; всем нам нужно было успокоение, которым мы недолго могли пользоваться: нас торопили отправить из Можайска, и на заре мы уже выехали. Благодаря Таубе меня положили вместе с ним в лазаретную карету; иначе меня повезли бы по моему чину опять в телеге. “Не спасла меня твоя сабля, — говорил мне Таубе, — да и тебя твой ятаган”.

Отраден мне был путь при таком товарище. При въезде в Москву нас обступил народ; женщины бросали нам деньги в карету, и мы с трудом могли их убедить, что деньги нам не нужны, тем более что тяжелые пятакки могли нас зашибить. Баранов, который не отставал от нас, предлагал нам остановиться в доме его отца, сенатора. У Таубе был в Москве какой-то родственник, а я согласился на предложение Баранова. Таубе завез меня к нему, и тут мы расстались с ним навеки. Он отправился, как я узнал после, в Ярославль, где вскоре умер. Гостеприимный дом Баранова был совершенно пуст: мы пробыли здесь два дня; трудно было иметь медицинские пособия, и меня перевезли по тяжести раны в Голицынскую больницу. Тут прислала узнать обо мне не

выехавшая еще из Москвы моя добрая знакомая княгиня Дарья Николаевна Лопухина <...>, у которой я жил в Петербурге. Не знаю, как она провела обо мне; она предлагала взять меня с собою и писала, что будет ожидать меня за Ярославскою заставою; при ней были две дочери; но я не мог решиться обременить ее собою»²⁴.

Из рассказа А. С. Норова мы видим, что офицеры-гвардейцы, принадлежавшие к тому же к высшему столичному обществу, с одной стороны, могли обеспечить себе лучшие условия содержания и более тщательный уход, нежели армейские офицеры; с другой стороны, даже их эвакуация с поля битвы осуществлялась «по ранжиру»: поручик Норов был обречен проделать весь путь от Бородина до Москвы в тряской телеге, если бы не любезность его старшего друга полковника Таубе; кстати, именно так добрался до своего дома сын сенатора Баранова, невзирая на наличие «людей» — крепостной прислуги.

2 сентября в Москву вступили войска Наполеона. А. С. Норов продолжает свой рассказ: «В мою комнату вошел со свитою некто почтенных уже лет, в генеральском мундире, остриженный спереди, как стриглись прежде наши кучера, прямо под гребенку, но со спущенными до плеч волосами. Это был барон Ларрей, знаменитый генерал-штаб-доктор Наполеона, находившийся при армии со времени Итальянской и Египетской кампаний. Он подошел прямо ко мне. Вот наш разговор (беседа между врачом и пациентом, переданная в русском переводе, происходила, естественно, на французском языке). — “В каком войске вы служите?” — “Я офицер гвардейской артиллерии”. — “Вы ранены в большом сражении?” — “Да, генерал”. — “Когда вам делали первую перевязку?” — “Ее вовсе не делали”. — “Как, со времени большого сражения?” — “Да, генерал”. Он пожал плечами и, обернувшись, сказал что-то стоявшему возле него доктору, взял стул, сел подле моей кровати и начал расспрашивать окружающих о положении, в каком найден госпиталь. Минут через десять внесли ящик с инструментами, тазы, рукомойники, бинты, корпию и проч. Ларрей встал, сбросил с себя свой мундир, засучил рукава и, приближаясь ко мне,

сказал: “Ну, молодой человек, я займусь вами”. Около получаса провозился он со мною и несколько помучил меня — на ране был уже антонов огонь, — сам перевязал меня и, передавая помогавшему ему доктору, сказал: “Господин Бофис, вы мне будете отвечать за жизнь этого молодого человека”. Я был тронут до глубины души и высказал все, что мог нежного этому великодушному человеку. Недаром Наполеон прозвал его: *le vertueux Larrey* (виртуозный Ларрей). Доктор *Beaufils*, которому я был поручен Ларреем, был уже человек лет под сорок, плешивый, самой доброй наружности и весьма живой во всех своих приемах. Еще через день приехал посетить госпиталь граф Лористон, бывший у нас послом в Петербурге и которого я так недавно видел в кругу нашего столичного общества; он поместился после пожара, поглотившего Москву, в уцелевшем роскошном доме графини Орловой-Чесменской близ нашего Голицынского госпиталя. Он оказал мне самое теплое участие, заявив, чтоб я относился к нему во всем, что будет мне нужно, и обещал присылать наведываться обо мне, что и исполнил, а в тот же день прислал мне миску с бульоном. Вскоре кровати моей комнаты начали наполняться. Первый, которого принесли, был адъютант Баркляя, Клиндер (сын того самого строгого директора 1-го кадетского корпуса. — *Л. И.*), у которого была отнята нога выше колена: он был в бреду; за ним принесли Тимофеева, капитана одного из егерских полков армии князя Багратиона, простреленного насквозь; потом поручика Обольянинова, батальонного адъютанта Преображенского полка; затем майора Орденского кирасирского полка полковника Вульфа; у обоих было отнято по ноге. Вульффу делал операцию барон Ларрей.

До этой поры сюда помещали одних русских. В следующий день поступил к нам адъютант французского дивизионного кавалерийского генерала Пажоля драгунский капитан *d'Aubanton*, тяжело раненный осколком гранаты в бок и в руку. Мы с ним скоро обменялись с наших кроватей дружелюбными словами; это был человек серьезный, которого беседа не была пустословная. Меж тем все комнаты госпиталя переполнились ранеными. Таким образом, наша судьба казалась

на это время несколько обеспеченною среди терзаемых со всех сторон грабителями остатков обгорелой Москвы»²⁵. Действительно, этот госпиталь был «островом милосердия», на котором пребывали «мученики славы» обеих армий, причем русским раненым не воспрещалось общение с внешним миром. «Между тем я был неожиданно удивлен появлением в один день пред собою крестьянина Дмитрия Семенова, поместья моих родителей села Екимца, который вызвался проникнуть в Москву и доставить им известие обо мне. Неопи-санно утешенный, я написал с ним несколько строк, которые прошли через французскую цензуру и благополучно достигли до моих обрадованных родителей», — сообщал А. С. Норов. Обоюдное участие продолжалось и в тот период, когда неприятель вынужден был покинуть Москву, и спустя месяц русские и французы поменялись ролями: «<...> Целая процессия французов в халатах и на костылях, кто только мог сойти с кровати, явилась перед нами. Один из них вышел вперед и сказал нам: “Господа, до сих пор вы были нашими пленниками, скоро мы будем вашими. Вам, конечно, нельзя на нас пожаловаться, позвольте же надеяться на взаимство”. Действительно, неприятельским воинам оставалось уповать только на “взаимство” русских офицеров, потому что обгоревшие, разграбленные, с оскверненными церквями, взорванным перед отступлением по приказу Наполеона Кремлем, развалины Москвы не способствовали пробуждению сочувствия в русских войсках, вступивших в город. В Москву вступили казаки генерал-майора Иловайского 12-го. Мы заявили, что в соседней палате лежат раненые французы, что мы были более месяца у них в плену, что они нас лечили и сберегли, что за это нельзя уже их обижать, что лежачего не бьют и тому подобное... Урядник слушал меня, закинув руки за спину. “Это все правда, ваше благородие; да посмотрите-ка, что они душегубцы наделали! Истинно поганцы, ваше благородие!” — “Так, так, ребята, да все-таки храбрый русский солдат лежачего не бьет, и мы от вас требуем — не обижать!” — “Да слушаем, ваше благородие, слушаем!..”»

Многие офицеры с завидной долей оптимизма по-

вествовали об обстоятельствах своего ранения, философски полагая, что войны без жертв не бывает. Иным тоном повествования отличаются записки Н. Н. Муравьева, одного из троих братьев, участвовавших в Бородинском сражении. Николай Муравьев, находившийся в свите М. Б. Баркляя де Толли, в самый разгар битвы получил известие о ранении своего младшего брата Михаила, состоявшего при Л. Л. Беннигсене. Он повел себя явно «не типично» для героев того времени, отпросившись у начальника на поиски брата: как правило, родственников и друзей разыскивали после «дела». Почему Барклай дал свое согласие на просьбу: потому ли, что Муравьев был его родственником, или потому, что почувствовал, что этот офицер бесполезен в том состоянии, в которое повергло его ранение брата? «Перед самою атакою кавалерии я находился в селении Горках, как прискакал с левого фланга с каким-то известием к главнокомандующему от Семеновского полка князь Голицын Рьжкий, состоявший адъютантом при Беннигсене. Бурка его была в крови; обратившись к нам, он сказал, что это кровь брата нашего Михайлы, которого сбило с лошади ядром. Голицын не знал только, жив ли брат остался или нет. Не выражу того чувства, которое поразило нас при сем ужасном зрелище и вести. Мы поскакали с Александром по разным дорогам, и я скоро потерял его из виду. Встревоженный участью брата, который представлялся мне стенающим среди убитых, я мало обращал внимания на ядра, которые летели, как пули; осматривал груды мертвых и раненых, спрашивал всех, но не нашел брата и ничего не мог о нем узнать»²⁶. Поиски продолжались несколько дней: «27 августа брат Александр до рассвета снова отправился на поле сражения отыскивать тело Михайлы. Он проехал за нашу цепь, объездил все поле и не нашел брата. <...> Мы полагали брата Михайлу убитым; но, в надежде еще найти его, Александр на всякий случай выпросил у Вистицкого позволение ехать в Москву, чтобы искать брата по дороге между множеством раненых, которых везли на подводах.

28-го рано поутру мы снова отправились отыскивать брата Михайлу; ехали медленно, среди множест-

ва раненых и всех расспрашивали, описывая им приметы брата, но ничего не узнали. Наконец подпоручик Хомутов, который мимо ехал, сказал нам, что он 27-го числа видел брата Михайлу жестоко раненным на телеге, которую вез московский ратник, и что брат поручил ему известить нас о себе. Равнодушные товарища Хомутова, не известившего нас о том накануне, заслуживало всякого порицания, и он не миновал упреков наших. Мы продолжали путь свой и разыскания. Проезжая через селения, один из нас заходил во все избы по правой стороне улицы, а другой по левой; но в этот день мы его не нашли.

Вечеру Александр рассказал мне случившееся с Михайлой, по его собственным словам. Во время Бородинского сражения Михайла находился при начальнике Главного штаба Беннигсене на Раевского батарее, в самом сильном огне. Неприятельское ядро ударило лошадь его в грудь и, пронзив ее насквозь, задело брата по левой ляжке, так, что сорвало все мясо с повреждением мышц и оголило кость; судя по обширности раны, ядро, казалось, было 12-фунтовое. Брату был тогда 16-й год от роду. Михайлу отнесли сажени на две в сторону, где он, неизвестно сколько времени, пролежал в беспамятстве. Он не помнил, как его ядром ударило, но, пришедши в память, увидел себя лежащим среди убитых. Не подозревая себя раненым, он сначала не мог сообразить, что случилось с ним и с его лошадей, лежавшею в нескольких шагах от него. Михайла хотел встать, но едва он приподнялся, как упал и, почувствовав тогда сильную боль, увидел свою рану, кровь и разлетевшуюся вдребезги шпагу свою. Хотя он очень ослаб, но имел еще довольно силы, чтобы приподняться и просить стоявшего подле него Беннигсена, чтобы его вынесли с поля сражения. Беннигсен приказал вынести раненого, что было исполнено четырьмя рядовыми, положившими его на свои шинели; когда же они вынесли его из огня, то положили на землю. Брат дал им червонец и просил их не оставлять его, но трое из них ушли, оставя ружья, а четвертый, отыскав подводу без лошади, взвалил его на телегу, сам взявшись за оглобли, вывез его на большую дорогу и ушел, оста-

вя ружье свое на телеге. Михайла просил мимо ехавшего лекаря, чтобы он его перевязал, но лекарь сначала не обращал на него внимания; когда же брат сказал, что он адъютант Беннигсена, то лекарь взял тряпку и завязал ему ногу просто узлом. Тут пришел к брату какой-то раненый гренадерский поручик, хмельной, и, сев ему на ногу, стал рассказывать о подвигах своего полка. Михайла просил его отклониться, но поручик ничего слышать не хотел, уверяя, что он такое же право имеет на телегу, при сем заставил его выпить водки за здоровье своего полка, отчего брат опьянел. Такое положение на большой дороге было очень неприятно. Мимо брата провезли другую телегу с ранеными солдатами; кто-то из сострадания привязал оглобли братниной телеги к первой, и она потащилась потихоньку в Можайск. Брат был так слаб и пьян, что его провезли мимо людей наших, и он не имел силы сказать слова, чтобы остановили его телегу. Таким образом привезли его в Можайск, где сняли с телеги, положили на улице и бросили одного среди умирающих. Сколько раз ожидал он быть задавленным артиллериею или повозками. Вечеру московский ратник перенес его в избу и, подложив ему пук соломы в изголовье, также ушел. Тут уверился Михайла, что смерть его неизбежна. Он не мог двигаться и пролежал таким образом всю ночь один. В избу его заглядывали многие, но, видя раненого, уходили и запирали дверь, дабы не слышать просьбы о помощи. Участь многих раненых! Нечаянным образом зашел в эту избу лейб-гвардии казачьего полка урядник Андрианов, который служил при штабе великого князя. Он узнал брата и принес несколько яиц всмятку, которые Михайла съел. Андрианов, уходя, написал мелом по просьбе брата на воротах: Муравьев 5-й. Ночь была холодная; платье же на нем изорвано от ядра. 27-го поутру войска наши уже отступали через Можайск, и надежды к спасению, казалось, никакой более не оставалось, как неожиданный случай вывел брата из сего положения. Когда до Бородинского сражения Александр состоял в арьергарде при Коновнице, товарищем с ним находился квартирмейстерской части подпоручик Юнг, который пред сражением заболел и уехал в Можайск. Увидя

подпись на воротах, он вошел в избу и нашел Михайлу, которого он прежде не знал; не менее того, долг со-служивца вызвал его на помощь. Юнг отыскал подводу с проводником и, положив брата на телегу, отправил ее в Москву. К счастью, случилось, что проводник был из деревни Лукина, князя Урусова. Крестьянин приложил все старание свое, чтобы облегчить положение знакомого ему барина, и довез его до 30-й версты, не доезжая Москвы. Михайла просил везде надписывать его имя на избах, в которых он останавливался, дабы мы могли его найти. Александр его и нашел по этой надписи. <...>

Спустя несколько лет после сего Михайла приезжал в отпуск к отцу в деревню и отыскивал лукинско-го крестьянина, чтобы его наградить, но его не было в деревне: он с того времени не возвращался и никакого слуха о нем не было; вероятно, что он погиб во время войны в числе многих ратников, не возвратившихся в дома свои»²⁷. Далее рассказчик сообщил: «Я слышал от Михайлы, что в ту минуту, когда он, лежа на поле сражения, опомнился среди мертвых, он утешался мыслию о приобретенном праве оставить армию, размышляя, что если ему суждено умереть от раны, то смерть сия предпочтительна тому, что он мог ожидать от усталости и изнеможения, ибо он давно уже перемогался. Труды его и переносимые нужды становились свыше сил. Если же ему предстояло выздоровление, то он все-таки предпочитал страдания от раны тем, которые он должен был через силы переносить по службе. По сему можно судить о тогдашнем положении нашем!»²⁸ Заметим, что в подобном положении находилось большинство офицеров русской армии, безропотно переносивших испытания безденежьем, голодом, холодом, усталостью, болезнями, ранами... Впрочем, может быть, воспоминания Н. Н. Муравьева были омрачены малоприятным недугом, от которого малосостоятельным офицерам было трудно избавиться: «У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с которыми я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег»²⁹.

Сколько людей, столько и характеров. Н. Е. Митаревский, которого также не миновала судьба быть раненым при Бородине, не умолчал об обиде, нанесенной ему после битвы: «Когда мы проезжали какое-то селение, то нагнал нас наш дивизионный генерал Капцевич с адъютантом. Поравнявшись с нами, генерал обратился к адъютанту и сказал: “Это наши, такой-то роты?” — “Точно так, — отвечал адъютант, — один из них немного поколот, а другой так... только контужен”. Это было сказано таким тоном, что при моем болезненном состоянии показалось мне чрезвычайно горько. Я подумал, что уж лучше бы мне оторвало совсем ногу, тогда, по крайней мере, возбудил бы к себе сострадание. <...>Когда пришла моя очередь и меня в представлении означили контуженным в ногу, я вспомнил презрительные слова адъютанта о моей контузии; это мне так показалось больно, что я просил не только тут не упоминать о контузии, но и не писать о ней в формулярном списке. Впрочем, такой еще тогда был в армии дух. Про малые раны и контузии говорили — “пустяки”; надо, чтобы порядочно прострелили — это рана; а контузию звали — конфузией и получить контузию считалось чем-то обидным, а потому о контузиях больше молчали. Для возбуждения же сожаления или сострадания нужно было, чтоб оторвало руку или ногу или, по крайней мере, прострелили с разбитием костей»³⁰. Однако он вспоминал о своей первой военной кампании совершенно иначе: «Никогда, кажется, не спал я так приятно и никогда не был так здоров, как в двенадцатом году. Сухари, крупа, говядина и редька были нашею ежедневною пищею от самого Смоленска, а эта пища самая здоровая и необременительная; прочих роскошей мы не знали; чай пили очень редко. Редко имели свежий ржаной хлеб, а белый и того реже. Но без табаку не могли обойтись. Курили табак самый простой, малороссийский, и за тот с радостью платили маркигантам по восьмидесяти копеек ассигнациями, что по тогдашнему жалованью много для нас значило. Молодость, беспрестанное движение на свежем воздухе, веселое общество, душевное спокойствие, какая-то особенная снисходительность высшего начальства к нам,

молодым офицерам, что переходило и на низших начальников — все это располагало нас к приятному настроению»³¹.

В одном из медицинских изданий Бородинское сражение названо «исключительным случаем массового травматизма». Действительно, потери русской армии составили около 50 тысяч офицеров и солдат, из которых не менее 30 тысяч получили ранения разной степени тяжести. Раненых выносили с поля боя «специально наряженные команды» нижних чинов, которым помогали ополченцы, находившиеся за линией резервов. Там они должны были принимать раненых и отправлять их далее по Новой Смоленской дороге к Москве. Однако многие из них оказались «под тучей ядер и картечи». По выражению Ф. Н. Глинки, ополченцы «втеснялись в толпу вооруженных», чтобы уносить раненых «из-под пуль <...>, из-под копыт и колес конницы и артиллерии»³². Один из них вспоминал: «Здесь нам дали самую неприятную на свете должность, которую я бы лучше хотел променять на потеряние самой моей жизни. Она состояла в том, чтобы брать с места сражения тяжелораненых и отправлять их далее»³³. Но среди ополченцев были и такие, кто выпавшую на их долю страшную участь — выносить с поля боя израненных и изувеченных людей — воспринимали как Божье благословение. Об одном таком случае командир 5-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант Н. И. Лавров доложил в рапорте М. И. Кутузову 7 декабря 1812 года, в самом конце войны: «1-го гранадерского батальона капитан Букарев во время бывшего сражения 26 августа при селе Бородине находился в деле со 2-ю гранадерскою ротою на левом фланге гвардии для прикрытия батареи. Когда убиты были бригадной командир полковник князь Кантакузин и батальонный командир подполковник Албрехт, капитан Букарев, оставаясь старшим, заступил место подполковника Албрехта и при наступлении неприятельской колонны, состоящей в пехоте и кавалерии, одобряя воинских чинов в батальоне, отразил неприятеля штыками и обратил в бегство, занял его позицию, где и получил сперва контузию картечью в правой бок. А после того ранен в правое плечо ниже сустава навыв-

лет ружейною пулею, чрез что, ослабев совершенно силами, оставался на месте сражения лежащим между убитыми телами до тех пор, пока угодно было Провидению к спасению жизни послать 60-летнего отца его прапорщика Букарева, служащего в ополчении, посредством коего по перевязке ран отвезен в Москву, получив выздоровление, явился на службу. Вашей Светлости, представляя о сем офицере, израненном и храбром, осмеливаюсь покорнейше просить наградить его»³⁴. Так, в одном документе соединились воедино доблесть и мужество офицера, принявшего на себя команду там, где не оставалось уже старших по чину, и святая родительская любовь, послужившая путеводной звездой отцу, чудом спасшему сына.

По-видимому, впечатления от Бородинской битвы не для всех остались «без последствий». Ф. Я. Миркович вспоминал о душевном состоянии корнета Кавалергардского полка, племяннике М. Б. Баркляя де Толли фон Смиттене: «<...> Мой товарищ, который до того не обращал никакого внимания на наш разговор, вдруг пустился в такие глубокомысленные рассуждения, что у него закружилась голова; затем последовал сильный истерический припадок, после которого он не переставал бредить в продолжение целого дня. Он делал свое завещание, говорил о Боге, о своем рождении и о том, что каждый человек должен умереть, и тому подобное. Ночью было то же самое <...>. Этот молодой человек был и физически и нравственно крайне чувствителен, поэтому доктор был в большом затруднении, так как он не мог прибегать к тем средствам, которые считал необходимыми». На счастье пути родственников пересеклись: «Вечером приехал сюда военный министр; он уехал из армии и направлялся в Тверь, со всею своею свитою. Ему доложили, что тут находится его племянник в тяжелом положении: раненый и без денег. Министр послал к нему своего адъютанта и своего доктора с 300 рублями и велел передать, что болезнь не позволяет ему прийти самому его навестить. Он провел здесь ночь и уехал на следующее утро»³⁵. Впоследствии юный кавалергард излечился и принимал участие в Заграничных походах.

После оставления Москвы раненых отправляли во внутренние губернии, в основном во Владимирскую и Ярославскую. В наибольшей степени повезло тем из них, чье будущее взял на себя начальник 2-й сводно-гренадерской дивизии граф М. С. Воронцов. О благотворительности военачальника поведал брат московского почт-директора А. Я. Булгаков: «В верстах 30-ти от сего города (Владимира. — *Л. И.*) имел пребывание в селе своем Андреевском генерал-адъютант граф Михаил Семенович Воронцов. Он был ранен пулею в ляжку под Бородином и приехал в вотчину свою лечиться. Андреевское сделалось сборным местом большого числа раненых, и вот по какому случаю. Привезен, будучи раненый, в Москву, граф Воронцов нашел в доме своем, в Немецкой слободе, множество подвод, высланных из подмосковной его для отвоза в дальние деревни всех бывших в доме пожитков, как то: картин, библиотеки, бронз и других драгоценностей. Узнав, что в соседстве дома его находились в больницах и в партикулярных домах множество раненых офицеров и солдат, кои, за большим их количеством, не могли все получать нужную помощь, он приказал, чтобы все вещи, в доме его находившиеся, были там оставлены на жертву неприятелю; подводы же сии приказал употребить на перевозку раненых воинов в село Андреевское. Препоручение сие было возложено графом на адъютантов его <...>, коим приказал также, чтобы они предлагали всем раненым, коих найдут на Владимирской дороге, отправиться также в село Андреевское, превратившееся в госпиталь, в коем впоследствии находилось до 50 раненых генералов, штаб- и обер-офицеров и более 300 рядовых.

Между прочими ранеными находились тут генералы: начальник штаба 2-й армии граф де Сен-При, шеф Екатеринославского кирасирского полка Николай Васильевич Кретов, командир Орденского кирасирского полка полковник граф Андрей Иванович Гудович; Лейб-егерского полка полковник де Лагард; полковой командир Нарвского пехотного полка полковник Андрей Васильевич Богдановский; Новоингерманландского пехотного полка майор Врангель; старший адъютант

сводной гренадерской дивизии капитан Александр Иванович Дунаев; Софийского пехотного полка капитан Юрьев; адъютанты Орденского кирасирского полка поручики Лизогуб и Почацкий; лейб-гвардии Егерского полка поручики Федоров и Петин, офицер Нарвского пехотного полка капитан Роган; поручики Мищенко, Иванов, Змеев, подпоручик Романов и многие другие, обогрившие кровью своею Бородинское поле.

Все сии храбрые воины были размещены в обширных Андреевских палатах самым выгодным образом. Графские люди имели особенное попечение за теми, у кого не было собственной прислуги. Нижние чины размещены были по квартирам в деревнях и получали продовольствие хлебом, мясом и овощами, разумеется, не от крестьян, а насчет графа Михаила Семеновича; кроме сего, было с офицерами до ста человек денщиков, пользовавшихся тем же содержанием, и до 300 лошадей, принадлежавших офицерам; а как деревни графа были оброчные, то все сии припасы и фураж покупались из собственных его денег.

Стол был общий для всех, но каждый мог по желанию своему обедать с графом или в своей комнате. Два доктора и несколько фельдшеров имели беспрестанное наблюдение за ранеными; впоследствии был приглашен графом в Андреевское искусный оператор Гильдебрант. Излишне прибавлять здесь, что, как и все прочее содержание, покупка медикаментов и всего нужного для перевязки раненых производилась на счет графа. Мне сделалось известным от одного из коротких домашних, что сие человеколюбие и столь внезапно устроившееся в Андреевском заведение стоило графу ежедневно до 800 рублей. Издержки сии начались с 10 сентября и продолжались около четырех месяцев, то есть до совершенного выздоровления всех раненых и больных. Надобно принять с уважением, что заслуженный и достопочтенный старец граф Семен Романович Воронцов был тогда жив: сыну его надлежало отнимать значительную часть собственного необходимого дохода, чтобы прикрывать все потребности и обеспечивать лечение столь значительного числа храбрых воинов. <...>

Ласка, добродушие, ум и любезность хозяина содействовали обществу его для всех отрадным. Несмотря на то, что он не мог еще ходить без помощи костылей, он всякое утро навещал всех своих гостей, желая знать о состоянии здоровья всякого и лично удостовериться, все ли довольны. Всякому предоставлено было (как сказано выше) обедать в своей комнате одному или за общим столом у графа; но все те, коим раны позволяли отлучаться от себя, предпочитали обедать с ним. После обеда и вечером занимались все разговорами, курением, чтением, бильярдом или музыкой. Общество людей совершенно здоровых не могло бы быть веселее всех сих собравшихся раненых»³⁶. Мало кто в России располагал материальным достатком равным тому, которым пользовался граф М. С. Воронцов, доказавший на деле все преимущества своего богатства.

В числе медиков, оказывавших помощь временным обитателям села Андреевское, А. Я. Булгаков назвал имя знаменитого хирурга Ф. А. Гильтебрандта, практиковавшего в Москве и по воле случая оказавшегося во Владимирской губернии. Случай этот был непростым: опытный «оператор» сопровождал в дороге князя П. И. Багратиона, «жестоко раненного» при Бородине «на середине берцовой кости левой ноги черепком чиненого ядра». Рана «знаменитейшего военачальника» оказалась смертельной, но возможно ли было предотвратить летальный исход? В «Кратком рассмотрении всей болезни», подписанной лейб-гвардии Литовского полка доктором надворным советником Говоровым, «свидетельствованной и утвержденной» доктором и профессором коллежским советником и кавалером Гильтебрандтом и главным медиком 2-й Западной армии надворным советником и кавалером Гангартом сообщалось: «Рана, полученная князем Багратионом на поле сражения, с первого взгляда казалась неважною; поелику наружное малое отверстие оной скрывало раздробление берцовой кости и повреждение кровеносных сосудов и нервов. Со дня сражения беспрестанные переезды с места на место и слухи о неприятельских движениях на Москву, равным образом и вторжение их в столицу, представляли ввиду князя опасность, чтобы

не попасться в плен. Сия опасность вынуждала князя с того времени до самой ночи 8-го числа сентября ежедневно торопиться ездой до села Симы, исключая полутора дня, проведенные в Москве. Худая осенняя погода, тряская дорога, двукратный на квартирах вынос в сутки князя из кареты и опять в оную, трудности, сопряженные с тем, от которых боль и страдание князя увеличивались до чрезвычайности, и другие неблагоприятные обстоятельства, сопутствовавшие дороге, были причиною того, что рана день ото дня становилась хуже, а с тем умножались жесточайшие припадочки горячки. Самые врачебные пособия, чрез помянутое состояние князя, не только не могли способствовать к успокоению болезненных припадков, но, от сырой погоды, тряски и других вышесказанных обстоятельств, более вредными становились для раненого князя.

При сем надобно упомянуть, что предшествовавшие ране разные болезни... от которых князь, по уверению доктора Гангарта, многократно им и другими врачами был пользован, сделали сложение его столь слабым и истощенным, что оно никак не было надежно для вынесения раны.

Вот главные причины, усилившие опасность раны и сделавшие оную напоследок смертельною»³⁷.

Как известно, успех любого лечения напрямую зависит от настроения пациента, среди которых князь Багратион был не самым стоворчивым: «На предложение медиков князю, чтоб он позволил себе, не отлагая времени, сделать большой разрез в ране для изъятия из оной черепка и других может быть инородных тел, настоятельный ответ всегда состоял в прекословии оному и несоглашению на минутное терпение от операции, до приезда в село Симы, где князь был намерен остановиться на несколько дней»³⁸. Сознал ли сам «лев русской армии» опасность своего положения? Может быть, он прекословил медикам по неведению?

Знаменитый в те годы врач М. Я. Мудров утверждал, что «врачевание состоит не в лечении болезни, не в лечении причин <...>, врачевание состоит в лечении самого больного». О чем мог думать после сражения человек, «рожденный для чисто воинского дела»? За день

до смерти, отказавшись принимать лекарства и умирая от раны, Багратион сказал тем, кто за ним ухаживал на одре болезни: «Жизнь с некоторых пор стала для меня тяжким бременем». Когда ему стали приходиться в голову подобные мысли? Когда он внезапно распродал свои владения в Павловске, где он был с 1803 года бессменным генерал-губернатором? Почему ему сделался не нужен привычный дом? Что за этим стояло: предчувствие смерти или страх перед старостью? Последнее обстоятельство тревожило князя гораздо сильнее первого, в котором он видел для себя желательный исход. Он привык, как вспоминал Ермолов, к «рассеянности», к жизни в седле. Когда медики, осмотрев его рану, предложили ампутацию ноги, то «сие предложение навлекло гнев князя».

На том жизненном рубеже, которого достиг князь, у него было два пути: остаться в живых, затем достигнуть чина фельдмаршала и ордена Святого Георгия 1-й степени или встретить свою смерть в бою. Вопреки Л. Н. Толстому, представившему Багратиона в своем романе «простым солдатом без связи и интриг», этот полководец занимал одно из главных мест в петербургском высшем обществе; если бы он остался в живых и стал фельдмаршалом, то на склоне лет он поселился бы в Москве, где был похоронен прах его отца, где проживали его родственники. Ведь именно туда отправлялись на покой все вельможи екатерининского времени, жизнь которых была для него образцом для подражания. Но для того, чтобы эти планы осуществились, Москву следовало отстоять у неприятеля. Без этого жизнь не представляла для Багратиона смысла... Московский генерал-губернатор граф Ф. В. Ростопчин вспоминал: «Когда утром того дня, в который Москва впала во власть неприятеля, я приказал объявить ему, что надо уезжать, он написал мне следующую записку: “Прощай, мой почтенный друг. Я больше не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы”»³⁹. Он был к себе беспощаден: город, который он обещал защищать до последней капли крови, в котором покоился прах его отца, «впал во власть неприятеля», следовательно, он не должен был более жить. Он говорил, что честь ему до-

роже тысячи жизней, и сдержал слово чести. Князь Багратион скончался от гангрены 12 сентября 1812 года в селе Симы Владимирской губернии, принадлежавшей его другу князю Б. А. Голицыну.

Многих раненых офицеров, у которых были ранения «с повреждением кости» лечили «в стационаре» по-разному. Ф. А. Гильтебрандт предписывал лечение, которое состояло «из внутреннего употребления декокта хины с настоем имбирного корня, питья воды с вином, лимонным соком или Галлеровым эликсиром и перевязывания раны Арцеевою, или Стираксовою мазью, не опуская и припарки из ароматических трав». Другой доктор «прикладывал корпию, напитанную сырым яичным желтком, смешанным с четырьмя каплями трепентанного масла»⁴⁰. Был медик, который для заживления ран использовал «кусочек березового трута, который закрывался корпией, тряпками и полотенцем». Или же вокруг ран накладывался «смолистый пластырь», а поверхность повреждения засыпалась канифолью.

В «Кратком рассмотрении всей болезни» князя Багратиона отмечено «слабое и истощенное сложение» полководца, которое «никак не было надежно для вынесения раны». Пожалуй, подобным же образом можно было охарактеризовать состояние здоровья многих офицеров в эпоху непрерывных войн. В те годы отпуска им предоставлялись нечасто. В военную страду отлучаться из полка воспрещалось, да и сами офицеры императорской армии сочли бы это для себя бесчестьем. В период же мирного затишья для отпуска следовало иметь вескую причину, как то: болезнь или смерть близких, вступление в права наследования, женитьба, излечение ран или иных тяжких заболеваний. Оставить на время службу позволялось с разрешения высшего начальства (в гвардии — с разрешения императора) не ранее сентября, а вернуться в строй полагалось не позднее апреля. По старой традиции считалось, что военные кампании на зиму прерываются и войска становятся на зимние квартиры, хотя в пору Наполеоновских войн время года, по существу, уже не имело значения. Смерть князя Багратиона позволила одному из его адъютантов проситься в отпуск немедленно. Показательна

«история болезни» боевого офицера, изложенная в рапорте начальника Главного штаба 2-й Западной армии генерал-адъютанта графа Э. Ф. де Сен-При (через два дня после смерти князя Багратиона) на имя исполняющего обязанности военного министра генерал-лейтенанта князя А. И. Горчакова 1-го: «Александрийского гусарского полка ротмистр барон Беервиц, в минувшем еще 1811 году уволен был предместником Вашего Сиятельства (М. Б. Барклаем де Толли. — *Л. И.*) для излечения болезни. Но быв назначен в адъютанты к главнокомандовавшему (sic!) 2-ю Западною армиею, генералу князю Багратиону, он, исполняя волю Его Сиятельства, поспешил к определенной должности и чрез то не воспользовался высочайшим дозволенным отпуском. Достойный сей офицер со времени определения его в адъютанты, до самой кончины главнокомандовавшего князя Багратиона, во всю нынешнюю кампанию, служил Его Императорскому величеству с отличным усердием, расторопностию и храбростию. Но как в продолжении нынешней кампании барон Беервиц быв всегда на действительной службе, никак не мог лечиться от болезней, то оные от беспрестанных походов, разных непогод и ненастья до крайности в нем усилились, во удостоверении чего прилагаю у сего докторское свидетельство. Почему я и осмелился на основании прежде данного ему Высочайшего позволения уволить его в домовый отпуск для лечения впредь до Высочайшего разрешения. А Вашего Сиятельства всепокорнейше прошу дать ему барону Беервицу формальное увольнение от службы впредь до излечения болезней, и снабдив его пашпортом для пользования минеральными кавказскими водами. Таковой отпуск приказать отправить к нему Херсонской губернии, в уездный город Александрию, где он до воспоследования разрешения находится будет. 14 сентября 1812 года. Село Симы»⁴¹. К рапорту действительно прилагалось свидетельство главного медика 2-й Западной армии Гангарта, в котором говорилось, что ротмистр барон Беервиц «по причине застарелой ломотной болезни в левой руке и ноге, от которой весьма часто, особенно же в сырую погоду, терпит жестокою боль, препятствующую совершать

свободные движения, требует довольно долгого времени для пользования себя минеральными водами»⁴².

Кстати, многие русские офицеры поправили свое здоровье в Заграничном походе по Европе во время Плейсвицкого перемирия, заключенного между Наполеоном и союзными державами на срок с 23 мая по 8 июля 1813 года. «Военные питомцы незабвенного начальника-героя графа Александра Ивановича Остермана-Толстого» генерал-майор М. И. Карпенков и его друг подполковник М. М. Петров, получив от своего корпусного командира безвозмездно «пособие на случай надобности в болезни их в чужой земле», отправились к Альтвассерским водам. Петров вспоминал: «Леча рану мою, пребывая обыкновенно не отдельно от генерала Карпенкова, я жил с ним в селении Альтвассере, близ города Ландсгута, у кислых минеральных вод, ставших ему в необходимость по колотьям и судорогам в пояснице его, часто случавшимся, после инцета излетной картечи на живот, полученного при Бауцене»⁴³. Туда же отправился и свитский офицер А. А. Щербинин с приятелем-сослуживцем: «<...> Желал я быть уволен к Альтвассерским водам. Мне помог в сем почтенный Карл Федорович (Толь. — Л. И.), и 21-го числа июня отправились мы с Михайло Андреевичем Габбе в Альтвассер. Я имел нужду пользоваться целительными водами и свободою. После сражения под Люценом страдал я сильною лихорадкою <...>. Несмотря на сие продолжал я работать в канцелярии. <...> Михаил Андреевич Габбе с самого 28 апреля был болен сильною нервическою лихорадкою. <...> Я пользовался ежедневно ваннами с совета здешнего доктора Гинце»⁴⁴. «Целительные воды» и покой помогли многим, но не М. И. Карпенкову: в сражении при Бауцене «контузия картечи повредила живот его до того, что он ходил, согнувшись в дугу, опираясь на костыль». Оказалось, что храброму генералу следовало лечиться не кислыми, а пресными водами: «Когда болезнь генерала Карпенкова по присуждению факультета военных докторов армии потребовала пользования пресными минеральными водами, то мы переехали в половине августа в Вармбрунн, имеющий точно такую воду, в 28 градусов натуральной теплоты, вытекающую из гор Богемских скрытыми жилами в два бассейна, красиво надстроенные

купольными храмами со светлицами вокруг для переодевания купающихся».

Все русские воины от генерала до рядового страдали в равной степени одинаковыми болезнями, от которых долечивались уже в России, по окончании «большой войны». Испытания 1812 года не для всех окончились «без последствий». Находившийся на русской службе «французской нации, из дворян» генерал-майор А. А. Бельгард, по-видимому, пережил тяжкое потрясение при виде страданий и злоключений своих соотечественников. Его начальник генерал-лейтенант граф Штейнгель доносил в конце кампании 1812 года командиру корпуса генералу от кавалерии графу П. Х. Витгенштейну:

«Генерал-майор Бельгард, потеряв ум, дошел в своем положении до жалостного человечеству состояния, и я принужденным нашел отпустить его с бывшим при нем адъютантом Альбедилем в Кенигсберг для пристроения в заведенный там для таковых дом, ибо при войсках ему в сем виде находиться или иметь над ним надзор невозможно: но надобно доложить Вашему Сиятельству, как особе, имеющей особенную доверенность у государя императора, о неоставлении Г. Бельгарда милостивым представительством вашим, ибо он, служа столь похвально Его Императорскому Величеству, оставляет теперь жену и детей в прежнем положении»⁴⁵.

Глава четырнадцатая

СЛУГА ЦАРЮ

*В армии его обожали и за его имя,
и за его знакомое любимое лицо;
достаточно было ему показаться,
чтобы все радовались.*

А. В. Чичерин. Дневник. 1812—
1813 гг.

Быть начальником в эпоху 1812 года было делом, безусловно, непростым ввиду того, что образец для подражания был сформирован еще в «оптимистичес-

кий век русской истории» — при Екатерине II, когда, по выражению Н. М. Карамзина, «воинствуя, мы разили!».

Молодые годы старшего и среднего поколения русских военных не были омрачены поражениями при Аустерлице и Фридланде, «позором Тильзита». Этот горький опыт, противоречивший победным настроениям «времен Очакова и покоренья Крыма», взятия Измаила и Праги, Итальянского и Швейцарского походов Суворова, заставлял их неумоимо стремиться к реваншу. «Екатерининские орлы» и «орлята» знали, что для того, чтобы многого добиться, надо многим рисковать, поэтому суровые обстоятельства, по словам Ермолова, «находили их готовыми на любое самопожертвование». Они повсюду выделялись особым поведением, которое могли себе позволить люди, смолоду привыкшие быть на виду. Типичные манеры «старослужащих» сразу же подмечались младшими сослуживцами: «Снисходительны, справедливы и ласковы к офицерам, горды с равными и холодны со старшими. Как все генералы суворовской школы не терпели никаких возражений и советов, и требовали безусловного повиновения своей воле. “Извольте делать, что я приказываю, — я отвечаю!” — был всегдашний ответ»¹. Военные этого поколения видели в «великом корсиканце» только счастливого соперника, и ничто не могло поколебать их уверенности в себе. Так, М. И. Кутузов, которому подчиненные сообщили, что Наполеон назвал его «старой лисицей Севера», серьезно и наставительно заметил: «Как ему не узнать меня, я старше его по службе».

Помимо горделивой самонадеянности, ограничиваемой искренней религиозностью, начальник должен был обладать особым талантом «влюблять в себя подчиненных». В противном случае, как бы он повел их за собой на смерть? «С орлиной наружностью, с метким в душу солдата словом, веселым видом, с готовою уже славой, присутствием своим воспламенял войска» — так рисовал облик князя П. И. Багратиона П. Х. Граббе. Заметим, неприветливое обхождение с подчиненными, неумение «удерживаться в отношениях» с равными и вышестоящими по чину в те далекие времена могло стоить карьеры либо сыграть плохую роль в армии, комп-

лектовавшейся на основе рекрутской системы, с одной стороны, и Указа о вольности дворянской — с другой, и где все еще сохранялись патриархальные взаимоотношения «крестьянин — барин». Для нижних чинов, отдававших тяжелой солдатской службе иногда по четверти века, да и для многих офицеров, зачастую служивших пожизненно, нередко главной и единственной радостью были добрые слова начальника, бравшего на себя обязанность, которая не каждому была по силам: не обмануть безграничного доверия людей, постоянно находясь у них перед глазами. «Здесь жена моя — честь, солдаты — дети мои!» — крикнул генерал Д. С. Дохтуров во время обороны Смоленска адъютантам, пытавшимся вывести его из-под огня и напомиравшим ему о семье.

В корпусе Д. С. Дохтурова служил Н. Е. Митаревский, через много лет с теплотой вспомиравший о патриархальной задушевности отношений, царившей в этом воинском соединении: «В нашем корпусе все, от начальника дивизии генерала Капцевича и начальника артиллерии генерала Костенецкого до корпусного командира генерала Дохтурова, — были люди благородные и добрейшие. Кто бы мог сказать, хотя про Дохтурова, что он с кроткой, спокойной, доброй физиономией не соединял душу героя? Редкий день нам не случалось его видеть и во все время только один раз видели его встревоженным, впрочем, от совершенно пустого случая и один раз сердитым. При отступлении от Малоярославца к Полотняным заводам он всю ночь ездил по корпусу и кричал. Тут досталось и на мою долю. Если, бывало, начальники иногда и взыскивали, то всегда с какой-то отеческой добротой. Раз вот что случилось. При отступлении от Смоленска, не помню, на каком переходе, был чрезвычайно жаркий день и пыль страшная; нельзя было смотреть без жалости на солдат и офицеров, — так лица их были обезображены потом и пылью. Далеко уже за полдень приказано было армии остановиться для отдыха, где кто шел. Пехота составила ружья, а мы свернули с дороги и остановились, не отпрягая лошадей, около небольшой рощи. Впереди была речка и на ней мостик. Человек пять из нас сбро-

сили шпаги и что было лишнего на лафеты и побежали к речке купаться. Бежали, кто кого перегонит. Я подтолкнул кого-то и чуть не сшиб его с ног, а один офицер, считавшийся между нами порядочным шалуном, вскочил на плечи другому офицеру. В это время случайно взглянули мы направо и увидели, что в кустах сидят и смотрят на нас: наш дивизионный генерал Капцевич, дивизионный 24-й дивизии старик Лихачев и другие генералы с порядочною свитою адъютантов. Разумеется, мы сконфузились, сняли фуражки и ждали выговора. Лихачев, посмотрев на нас, ласково спросил: “Что, господа, верно купаться?” — “Так точно, ваше превосходительство”. Престарелый генерал взволнованным голосом сказал: “С Богом, с Богом, господа!” — а у самого слезы показались на глазах. Вероятно, он подумал о счастливой молодости, которая, несмотря ни на что, не унывает»². Бог знает, о чем подумал «дивизионный старик Лихачев», которому было в то время 54 года, глядя на своих офицеров, не успевших растерять детские привычки. Но, когда в битве при Бородине генерал увидел подступы к батарее Раевского, сплошь покрытые телами офицеров и солдат своей 24-й пехотной дивизии (по словам французов, «дивизия Лихачева, казалось, мертвая продолжала оборонять редут»), он не захотел пережить своих подчиненных и бросился грудью на штыки вбегавшего в укрепление неприятеля. Он был взят в плен, представлен Наполеону, распорядившемуся отправить генерала во Францию, но в конце 1812 года П. Г. Лихачев был освобожден в Кенигсберге русскими войсками, а в начале 1813 года он скончался.

Взаимоотношения «начальник — подчиненный» в те годы носили совершенно особый характер. Унтер-офицер Тихонов запечатлел в своем рассказе примету времени: «Начальство под Бородином было такое, какого не скоро опять дождемся»³. Действительно, воспоминания нижних чинов, большинство из которых в прошлом были крепостными крестьянами, подтверждают, что офицер для них был прежде всего господином, существом «высшего порядка». Но именно по этой причине внимание начальника к нижним чинам (которым он ни при каких обстоятельствах не подавал руки,

ибо это считалось бесчестьем для дворянина) делало их счастливыми и оставляло памятный след в их душах на всю жизнь. Так, А. Н. Марин рассказывал о своем брате С. Н. Марине: «Главная черта его характера — добродетели и природное дарование снискивать любовь и доверенность как начальников, так и подчиненных. Последние, мало сказать, любили его, нет, они были страстны к нему и при воспоминании, как любовники о любовницах, и теперь равнодушно говорить о нем не могут. Недавно я встретился с отставным офицером, бывшим фельдфебелем в его батальоне, при упоминании фамилии своего начальника старик востепенулся; руки по швам и в его воображении Марин присутствовал перед ним. “Да, ваше высокоблагородие (слезы блеснули на изрубленном лице воина), да, мы бы все готовы умереть с отцом нашим Сергеем Никифоровичем; лучше бы мне разможил голову тот черепок гранаты, который попал вскольз виска отца нашего командира. Его высокоблагородие упал, а мы остались как овцы без пастыря. Я помню, как отец наш прощался с нами. ‘Прощайте, ребята!’ — восторг горести и приятного воспоминания заставил его так вскрикнуть, вспомнив слова своего командира, что я и бывшие тут со мною испугались. ‘Прощайте, ребята! Спасибо вам, что хорошо служили вместе со мною’. Стрелки пробормотали сквозь слезы: ‘Прощайте, ваше высокоблагородие’. А когда благодетель сказал мне: ‘Прощай, Константинов, я тебя не забуду’, то...” Тут рассказчик зарыдал и не мог более проговорить ни одного слова»⁴.

Конечно, не стоит идеализировать отношения между крепостником и крепостным крестьянином, между офицером и солдатом. «Они переносили в войска привычки родительского дома, своеволие и все привычки помещичьего быта. <...> Солдат в глазах тогдашних офицеров был тот же крестьянин, над которым они имели власть жизни и смерти», — справедливо отметил Н. Ф. Дубровин во второй половине XIX столетия. В «поререформенный» период эти замечания были особенно актуальны; казалось, стоит только отменить крепостное право и все проблемы решатся сами собой. В наши дни, когда эта тема перестала быть столь злобод-

невной, следует признать, что отношения между господами офицерами и нижними чинами в эпоху 1812 года в бесконечно воюющей армии нередко приобретали форму боевого содружества. Неслучайно М. И. Кутузов часто употреблял в приказах такое обращение, как «товарищ» или «товарищи», объединяя в этом слове всех, кто служил в армии, невзирая на сословные различия. Именно в царствование Александра I прилагались немалые усилия, чтобы истребить в армии «закоренелую привычку к рукоприкладству». В качестве компромисса в сословных различиях между офицерами и нижними чинами следует признать существование в русской армии традиции награждать заслуги и тех и других. Так, медаль «1812 год» получили все участники кампании, в то время как в Великобритании ветераны войны с Наполеоном в Испании, из-за противодействия герцога Веллингтона, получили памятные медали лишь в 1849 году; многие из них просто не дожили до этого дня⁵. Немало русских офицеров с честью носило «солдатского Георгия» — знак отличия военного ордена, которым они могли быть награждены в чине прапорщиков. Даже ополченец И. М. Благовещенский, оказавшись в армии, ни минуты не сомневался, как следует строить отношения с сослуживцами: «Ход куражил по званию меня и был по службе любим и щастлив начальниками, каковую внимательность в полной мере чувствовал и оправдывал усердием, чтоб заслужить их доверие, всегда стремился быть прилежным и исполнительным по службе, деятельным в попечении вверенном»⁶.

Таким образом, «слуга царю, отец солдатам» — это не вымышленный литературный образ, это почти нарицательное имя. Денис Давыдов составил «характеристическое» описание прославленных русских полководцев эпохи Наполеоновских войн, противопоставив их «герою новых дней» фельдмаршалу И. И. Дибичу-Забалканскому: из отрывка сочинения поэта-партизана явствует, что военачальникам, которых он привел в пример, свойственна была не только определенная этика, но не менее определенная эстетика поведения (помимо чистой головы и опрятности в одежде): «Безрассудно было бы требовать от военачальника — черт Апол-

лона, кудрей Антиноя или стана Потемкина, Румянцева и Ермолова. Физическое сложение не во власти человека, да и к чему оно? Не гремели ли славою и хромые Агезилаи и горбатые Люксембурги, и рыжие Лаудоны? Но можно, должно и во власти Дибича было озаботиться, по крайней мере, о некотором приличии в одежде и осанке и некоторой необходимой опрятности. Неужели помешало бы его важным занятиям несколько пригоршней воды, брошенной в лицо грязное, и несколько причесок головы сальной и всклокоченной? Он, как говорили приверженцы его, был выше этого мелочного дела; но имел ли он право так презирать все эти мелочи, когда сам великий Суворов тщательно наблюдал за чистотой одежды и белья, им носимых? <...> Все это было приправлено какими-то застенчивыми и порывистыми ужимками, ухватками и приемами, означавшими ничтожного выскочку, обязанного своим повышением лишь слепой фортуне. Я не переставал напрягать мысли мои, чтоб убедить себя в том, что под сею неблагоприятною оболочкою скрываются превосходные таланты, и, вместе с тем, невольно был смущаем безотчетным инстинктом, говорящим мне, что я сам себя обманываю, что Дибич не на своем месте и что мы с ним ничего славного не предпримем и не сделаем.

...Я вспомнил Беннигсена, длинного и возвышавшегося над полками — как знамя, холодного — как статуя командора в Дон Жуане, но ласкового без короткости, *благородного в речах и в положениях тела* (выделено мной. — Л. И.), вопреки огромному своему росту, одаренного тою степенностью, которая приобретается чрез долговременное начальствование, и словом, по обращению с подчиненными, истинного вождя вождей сильной армии. <...>

Я вспомнил нашего Ахилла Наполеоновских войн, моего Багратиона, его горделивую поступь, его орлиный взгляд, его геройскую осанку, то магическое господствование над умами людей, превышавших его в учености, и, наконец, тот редкий дар сохранять в самых дружеских сношениях с ними преимущества первенствующего лица, без оскорбления ничьей гордости, ничьего самолюбия.

Я вспомнил скромного, важного, величественного Барклая, как будто привыкшего с самых пелен начальствовать и повелевать, тогда как за пять лет до достижения им звания главнокомандующего я сам видел его генерал-майором, вытягивающимся пред Багратионом, дававшим ему приказания.

Я уже не говорю о Кутузове; пятидесятилетняя репутация сего умнейшего, тончайшего, просвещеннейшего и любезнейшего собеседника блистательнейших европейских дворов и обществ, полномочное посольство при Екатерине и Отечественный 1812 год, суть достаточные мерилы глубокой и верной оценки им людей и искусства владычествовать над ними всеми родами очарования»⁷.

Почти у каждого из русских офицеров эпохи 1812 года был свой любимый военачальник, память о котором они хранили как о самом близком и дорогом человеке. Имена прославленных генералов были известны в обществе, при дворе: их повсюду встречали с почетом и уважением. Благодаря письмам, дневникам, мемуарам мы можем увидеть героев того времени глазами современников и даже попытаться проникнуть в тайны их «очарования». Почему бы, как Д. В. Давыдов, не начать с графа Леонтия Леонтьевича Беннигсена? В марте 1807 года, впервые после Аустерлицкой катастрофы, дипломат Жозеф де Местр испытал некоторый оптимизм, взирая в будущее: «При Пултуске звезда Бонапарта начала меркнуть; она значительно потускнела при Прейсиш-Эйлау»⁸. После последней битвы французский император вынужден был прибегнуть к дополнительному набору в армию. Русская армия проявила чудеса храбрости под предводительством генерала от инфантерии Л. Л. Беннигсена, имя которого сделалось известно во всей Европе. Ж. де Местр сообщал подробности о военачальнике, внезапно оказавшемся на первой роли, после анекдотического бегства из армии фельдмаршала М. Ф. Каменского: «Я имел честь сказать вам, что генералу Беннигсену 55 лет; это клевета, ему шестьдесят пять (62. — *Л. И.*). Как уверяют меня самым положительным образом. Совершенная правда, что его третья или четвертая жена (*четвертая. — Л. И.*), которую он любит

страстно, родила ему сына в день битвы при Прейсиш-Эйлау; присовокупляют, что он отлично вальсирует. Прекрасно! Если счастье его не оставит, мы увидим любопытные вещи. Он явится сюда и сделается кумиром Двора; он будет принят с распростертыми объятиями <...>. Сама вдовствующая императрица должна будет казаться довольною. <...> Внутреннее чувство, быть может, обманчивое, говорит мне, что не Беннигсену суждено быть спасителем Европы»⁹. Пьемонтский аристократ как в воду глядел: в июне 1807 года Беннигсен был разбит при Фридланде, но репутация военачальника, впервые заставившего Наполеона серьезно «задуматься о непрочности земных деяний», осталась при нем.

Безусловно, в генерале было нечто особенное, что импонировало как женщинам, так и сослуживцам. Так, Ф. Н. Глинка сообщал с явным восхищением: «Он был уже на склоне лет, но все в нем показывало, что в молодых годах своих он был стройным мужчиною и, может быть, храбрым наездником, несмотря на кротость, выражавшуюся в спокойных чертах. Те, кто знали близко этого человека, этого знаменитого генерала, говорят: “Мудрено найти кротость, терпение и другие христианские добродетели, в такой высокой степени соединенные в одном человеке, как в нем”»¹⁰. Интересно, где была эта пресловутая кротость в ночь с 11 на 12 августа 1801 года, когда генерал во главе заговорщиков ворвался в спальню императора Павла I, после смерти которого получил от самого И. В. Гёте прозвище «длинный Кассиус»? Тем не менее, в отличие от многих своих сообщников, Беннигсен не только вернулся в строй, избежав опалы и преодолев предубеждение двора, но и на склоне лет достиг впечатляющего зенита своей карьеры. Лучшее, как известно, враг хорошего. Стараясь во что бы то ни стало быть лучшим, генерал забывал о скромности, которая вообще не приветствовалась у «старых солдат» времен Екатерины II. В 1812 году, назначенный начальником Главного штаба Кутузова, он столкнулся со своим приятелем в «честолюбивых видах», и вскоре после Бородинской битвы их конфликт перерос в открытую вражду, закончившуюся в декабре 1812 года высылкой Беннигсена из армии, куда он вер-

нулся уже после смерти фельдмаршала. Д. В. Давыдов, при всем уважении и симпатии к военачальнику, не склонен был преувеличивать степень его дарований: «Генерал Беннигсен был известен блистательными кабинетными способностями, редким бескорыстием и вполне геройскою неустрашимостью; невзирая на превосходные и основательные сведения, он был одарен малою предприимчивостью, доходившею в нем иногда до чрезмерной робости. Он служил долго и всегда отлично под начальством других; решаясь весьма редко предупреждать неприятеля, он большею частию лишь отшибал удары его, но почти никогда не отваживался его наказать. К несчастью, он был подвержен падучей болезни, которая часто проявлялась в нем в то время, когда ему следовало бы обнаружить умственные способности и деятельность, в которых природа ему не отказала; известно, что эта страшная болезнь обнаружилась у него в самую критическую минуту гибельного для нас Фридландского сражения. Чрезмерное добродушие сего генерала относительно своих подчиненных много вредило исполнению самых лучших его предначертаний. Вообще Беннигсен, которому — есть весьма основательные причины полагать — принадлежит мысль о знаменитом фланговом марше наших армий после отступления их из Москвы, был также весьма замечателен по своему ласковому без кротости обращению, благородству речей и степенности, свойственной лишь вождю вождей могущественной армии. <...> Записки его об Отечественной войне, из коих он мне читал некоторые отрывки, замечательны по справедливости суждений и верному военному взгляду»¹¹. Сам же военачальник в упомянутых записках отдавал должное своим сослуживцам, не забывая при этом, как всегда, о себе: «Для начальника не может быть большего счастья, нежели когда он пользуется, как я, безграничным доверием войска, коего я удостоился; к этому я могу добавить, что я пользуюсь вместе с тем расположением большинства генералитета и офицерства. Такое отношение войска к главнокомандующему имеет несомненное преимущество, которое и сказывается во всех трудных и критических моментах войны; это дает

ему уверенность при встрече с неприятелем. Я говорю это не из преувеличенного самолюбия, а единственно потому, что меня всегда трогало доверие, с каким наши храбрые солдаты относились ко мне, чему я мог бы привести немало примеров и воспоминание о чем сойдет со мною в могилу»¹².

Кто в России в ту достопамятную эпоху не знал назусть этого четверостишия:

О! как велик На-поле-он,
И хитр, и быстр, и тверд во брани,
Но дрогнул, как простер лишь длани
К нему с штыком Бог-рати-он!

«Бог рати» — именно так с легкой руки Г. Р. Державина стали называть знаменитого полководца князя П. И. Багратиона восхищенные его доблестью россияне. Более десяти лет читатели «Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостей» почти в каждом новом номере газеты находили известия о его подвигах. Гравированные портреты генерала выходили тысячными тиражами в России и за границей. Изображения «идола русской армии» можно было увидеть не только в кабинетах дворянских особняков обеих столиц, но и где-нибудь в самых отдаленных уголках империи, где они украшали бревенчатые стены крестьянских изб. По словам А. И. Михайловского, известность и популярность генерала были «баснословными». Среди самых пылких поклонниц военачальника была любимая сестра Александра I великая княгиня Екатерина Павловна, которая однажды обмолвилась: «Если я о чем жалела в 1812 году, так это о том, что я не родилась мужчиной...»

Слава, пришедшая к генералу в жестоких боях, сделала его легендарным при жизни. Тридцать лет длилась его служба. В бесчисленных боях и походах его «прямая солдатская душа» всегда хранила великие и вечные добродетели: верность и честь, которая, по словам генерала, была ему «дороже тысячи жизней». У каждой эпохи свои герои, и, безусловно, самые счастливые из

них те, кто жил и ушел из жизни вместе со своим временем. Именно так повезло князю Багратиону...

Д. В. Давыдов, «пять лет сряду носивший звание адъютанта», свидетельствовал о своем бывшем начальнике: «Князь Петр Иванович Багратион, столь знаменитый по своему изумительному мужеству, высокому бескорыстию, решительности и деятельности, не получил, к несчастью, никакого образования. Поступив унтер-офицером в один из егерских полков, расположенных на Кавказской линии, он служил в батальоне полковника Пъери. Приняв участие в несчастном деле близ чеченского аула Алды, молодой князь был обязан своим спасением преданному нам мусульманину, известившему майора Мансурова о истреблении отряда Пъери чеченцами, завлекшими его в густой лес. Высокие природные его дарования, мужество, деятельность и неподражаемая бдительность, заменившие ему сведения, обратили на него внимание великого Суворова, которого он, можно сказать, был правою рукой в бессмертной Итальянской кампании. Суворов, подобно всем гениальным людям, будучи выше зависти, любил готовить себе сотрудников, достойных его великих предначертаний. Заслужив дружбу сего великого представителя всей нашей военной славы, князь Багратион на берегах Адды, Треббии, у подножия Апеннинских гор и на заоблачных высях Альп <...> прославил себя чудесами мужества, деятельности и великодушия. Он почерпнул в этой бессмертной войне ту быстроту в действиях, то искусство в изворотах, ту внезапность в нападениях, то единство в натиске, которые приобрели ему полную уверенность, неограниченную любовь и глубокое уважение всей армии. Во время войны 1805 года князь Багратион, разделив славу беспримерного отступления с нашим Фабием-Кутузовым, обрекшим его с 6000 человек войска на верную гибель, для спасения главной армии, пробился с величайшей честью сквозь 30 000 неприятелей. Во время войны 1806 и 1807 годов князь был неизменным начальником авангарда нашей армии; имея дело с неутомимым и энергическим Наполеоном, князь должен был обнаружить здесь много хладнокровия, мужества, бдительности и искусства, для охранения отсту-

пающей нашей армии и отражения настойчивых наступлений французов. <...> В Бородинском сражении сей доблестный исполин, отстаивавший, как гранитная скала, занимаемую им позицию, получил смертельную рану; скорбя более о гибели России, чем о своей жизни, он пренебрег лечением своей раны и умер, горько оплаканный своими подчиненными, находившими всегда у него отеческий привет и участие, с которыми он нередко делил последний кусок хлеба»¹³.

Сослуживцы утверждали, что Багратион «обладал сердцами своих подчиненных, а один его взгляд самых робких соделывал героями». Причины этому крылись не только в личном мужестве генерала — подобное свойство было обязательным в военной среде того времени и ни в ком особого удивления не вызывало. Однако имя Багратиона всегда произносилось с особым благоговением. «Подчиненный почитал за счастье служить с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою; никогда подчиненный не повиновался с большей приятностью!» — свидетельствовал А. П. Ермолов, называвший князя своим «благодетелем». Для Багратиона сослуживцы были «единственными сотрудниками, с которыми он разделял славу». Он являлся для них высшим авторитетом, его слово было для них законом, а поведение — примером. В бою они закрывали его своими телами, а он готов был умереть вместе с ними, разделив их судьбу. Незирая на социальные различия, это были его братья по оружию. «Я всегда с вами, а вы — со мной!» — обращался он к войскам в 1812 году перед сражением. Зная «большую дорогу к солдатскому сердцу», полководец и сам уже не принадлежал себе; вся его жизнь определялась неписаными правилами чести более жесткими, чем любой закон, напечатанный на бумаге. «Поистине нет для меня на свете блага, которое я предпочел бы благу моего Отечества» — так выразил Багратион смысл своего тридцатилетнего служения в русской армии, где его по праву считали «красой и гордостью». Воины, завидев любимого полководца в сражении, кричали ему: «Веди нас, отец! Умрем с тобою!» Сослуживец Багратиона генерал С. И. Маевский так определял чувства, связыва-

ющие полководца с войсками в минуту смертельной опасности: «Ударив, сломив, опрокинув и сделав все в глазах того, кого любишь, живешь, кажется, не своею, но новою и лучшею жизнью». А вот что писал о Багратионе генерал П. А. Строганов: «Вместе с кажущейся непринужденностью в обращении с подчиненными он умеет держаться на такой дистанции, что те о ней никогда не забывают».

Современники оставили столько разноречивых свидетельств о внешности генерала, согласно которым он был то ли красив, то ли безобразен. Не совсем понятна также природа дарований генерала, который нигде, кроме как на практике, ничему не учился, но в то же время, по словам Ермолова, «слабая сторона способностей может быть замечаема только людьми, особенно приближенными к нему». Заметим, что тема необразованности Багратиона была с некоторых пор любимой у императора Александра I. Не будем забывать, что в те времена у военных было принято скрывать способности, чтобы «казаться вдохновенными». Как знать, может быть, в силу каких-то предубеждений князь Багратион опасался оттолкнуть сослуживцев «парадной вывеской ума»? Нам остается только гадать: каким образом он держал власть над людьми образованными, начитанными, происходившими из самых высших кругов русской аристократии? По-видимому, он был наделен свыше способностями, с лихвой возмещавшими отсутствие знаний. «...Провидение хранило его до Бородинского дня, чтобы сочетать великое событие с великою жертвою, другое Каннское побоище со смертью другого Павла Эмилия», — много лет спустя напишет Д. В. Давыдов, уподобив своего любимого полководца античному герою.

Ф. Н. Глинка рассказывал: «Не спрашивая, можно было догадаться, при первом взгляде на его физиономию, чисто восточную, что род его происходит из какой-нибудь области Грузии, и этот род был из самых знаменитых по ту сторону Кавказа. Это был один из родов царственных. Но время и обстоятельства взяли у него все, кроме символического герба наследственного. <...> Этот человек был и теперь знаком всякому по сво-

им портретам, на него схожим. При росте несколько выше среднего он был сухощав и сложен крепко, хотя несвязно. В его лице были две особенные приметы: нос, выходящий из меры обыкновенных, и глаза. Если б разговор его и не показался вам усеянным приметами ума, то все ж, расставшись с ним, вы считали бы его за человека очень умного. Потому что ум, когда он говорил о самых обыкновенных вещах, светился в глазах его, где привыкли искать хитрости, которую любили ему приписывать. На него находили минуты вдохновения, и это случалось именно в минуты опасностей; казалось, что огонь сражения зажигал что-то в душе его, — и тогда черты лица, вытянутые, глубокие, вспрыснутые рябинами, и бакенбарды, небрежно отпущенные, и другие мелочные особенности приходили в какое-то общее согласие: из мужчины невзрачного он становился генералом красным (красивым, великолепным. — *Л. И.*). Глаза его сияли; он командовал и в бурке, с нагайкою, на простом донце неся, опережая колонны, чтоб из начальствующего генерала стать простым передовым воином. Это был наш князь Багратион!»¹⁴

Дипломат А. П. Бутенев также на всю жизнь сохранил впечатления от общения с «правой рукой Суворова»: «Воинственное и открытое лицо его носило отпечаток грузинского происхождения и было своеобразно-красиво. Он принял меня благосклонно, с воинскою искренностью и простотою, тотчас приказал отвести помещение и пригласил раз навсегда обедать у него ежедневно»¹⁵. Об особом даровании князя привязывать к себе сослуживцев упомянул в своих записках князь С. Г. Волконский: «Радужное обхождение князя с подчиненными, дружное их между собою обхождение, стройность, чистота бивачных шалашей, свежий, довольный вид нижних чинов — доказывали попечительность князя к ним, и во всем был залог общего доверия к нему. Князь был не высокообразованный, но рожденный чисто для военного дела человек. Ученик Суворова, он никогда не изменял своему наставнику и до конца жизни был красой русского войска»¹⁶.

Английский полковник Р. Т. Вильсон, представлявший в русской армии войска союзников, свидетель-

ствовал о европейской знаменитости русского военачальника: «Багратион был природным грузином, небольшого роста, черноволосый, с резкими чертами лица и горящими азиатскими глазами. Великодушный, любезный, щедрый и рыцарски храбрый, он пользовался всеобщей любовью и восхищением тех, кто был свидетелем его подвигов. Никакой другой генерал не мог лучше него командовать авангардом или арьергардом, но никогда и ни у кого таковые способности не подвергались большому испытанию; особенно в предыдущую войну при отступлении от Пултуска к Эйлау, во время семнадцатидневного марша, сопровождавшегося каждодневными отчаянными схватками, в коих выказал он образцы умения, неустанной деятельности и беззаветной храбрости. Каждый день приносил новое торжество его славы. <...> Вся ретирада 2-й армии Багратиона от Волковыска к Смоленску являла собой цепь опасностей, проистекавших от неразберихи и дурно рассчитанных приказов. Багратион умело и доблестно преодолел сии опасности. Там, где у него была надежда остановить движение неприятеля, он оказывал энергическое сопротивление и, благодаря неустанной бдительности, разрушал все планы задержать и окружить его армию»¹⁷.

Генерал А. Ф. Ланжерон, француз-эмигрант, находившийся на службе в русской армии, был скуп на похвалы русским генералам. Но Багратион и в этом случае оставался исключением: «...Он имел талант справляться с людьми, и его ум, прямой и ясный, всегда избирал себе хороших людей среди тех, которых ему советовали принять к себе. Он имел еще другой, очень драгоценный талант, он был обожаем всеми, кто служил под его начальством. Его храбрость — блестящая и в то же время хладнокровная, его манеры, солдатская речь, фамильярность с солдатами, прямое и открытое веселье возбуждали всеобщую любовь, и никто из начальников нашей армии не был так любим, как он... <...> Будь он жив и продолжай командовать армиями, он скоро получил бы фельдмаршала, что вполне заслуживал на поле битвы»¹⁸.

И, конечно, ни о ком в армии не ходило такое ко-

личество анекдотов, как об «Ахилле Наполеоновских войн», подвиги которого были любимой темой разговоров в офицерской среде. Приведем два из них: «... При начатии канонады неприятельское ядро прикатилось рикошетом на четверть от ноги князя Багратиона, который с самого начала хотя и видел вместе с нами направление его, но не тронулся с места. Когда оно остановилось возле ноги его, Офросимов поднял его и отдал вестовому. Князь спросил: “Зачем?” — “Это ядро легло слишком близко от вас, чтобы не сохранить его”. — “Э, братец! — отвечал князь. — Если этим заниматься, так их воз наберешь. А поезжай лучше к Багговуту и скажи ему: ‘пора’ ”.

<...> Кроме других предосудительных привычек, нижние чины позволяли себе разряжать ружья (не только после дела, но и во время самой битвы). Во время своего движения чрез селение Анкендорф князь едва не сделался жертвою подобного обычая. Егеря, не видя нас, выстрелил из-за угла дома, находившегося не более двух сажен от князя; выстрел его был прямо направлен в него. Князь Багратион давно уже отдал на этот счет строгое приказание и всегда сильно взыскивал с ослушников. Но здесь направление выстрела спасло егеря; ибо князь, полагая, что наказание в этом случае имело бы вид личности, проскакал мимо; но никогда не забуду я орлиного взгляда, брошенного им на виновного»¹⁹.

Если до нашествия Наполеона стремительный карьерный взлет генерала от инфантерии Михаила Богдановича Барклая де Толли был темой для обсуждения главным образом среди генералитета русской армии и при дворе, то во время «грозных опасностей» 1812 года военачальник неожиданно для себя оказался в центре неблагосклонного внимания всей России. Именно с его именем россияне связывали длительное и весьма непопулярное отступление русских войск. Этим поистине трагическим страницам биографии Барклая посвящено стихотворение А. С. Пушкина «Полководец», пробудившее в обществе сочувственный интерес к личности

«несчастливого вождя». Однако трагическое одиночество «сдержанного шотландца», опозитизированное великим поэтом, на самом деле не было таким безысходным; этому случаю скорее соответствовала поговорка, любимая Денисом Давыдовым: «Бедненький, ох! А за бедненьким Бог!» Александр I не лишил преданного ему генерала своего покровительства. В 1813 году Барклай благополучно «восстановил свою репутацию», получив в командование армию, в 1814 году он был возведен в чин фельдмаршала за взятие Парижа, в 1815-м — пожалован титулом князя, при этом он довольно свободно распространил свои «Оправдательные письма», адресованные государю, в которых сообщалось о наличии перед войной тщательно продуманного «скифского плана». Эта мысль укоренилась в сознании полководца в период успешного контрнаступления Кутузова и более его не покидала. Военное торжество России, по выражению А. И. Михайловского-Данилевского, «покрывшее все наши жертвы», сделало идею «скифской войны» весьма привлекательной как для русских, так и для французов. После публикации стихотворения Пушкина Ф. В. Булгарин сокрушался о том, что «к Барклаю как-то холодны». Заметим, это не совсем так: русское общество постоянно делилось на сторонников и противников Барклая, а после пушкинской апологии еще и усилилась, по определению А. Г. Тартаковского, «антитеза Кутузов — Барклай». Обратившись к воспоминаниям о личности военачальника, попробуем отрешиться от этого сопоставления и представить себе непростую судьбу внука рижского бургомистра, дослужившегося в русской армии до чина фельдмаршала.

Первое слово снова Д. В. Давыдову: «Барклай де Толли с самого начала своего служения обращал на себя всеобщее внимание своим изумительным мужеством, невозмутимым хладнокровием и отличным знанием дела. Эти свойства внушили нашим солдатам поговорку: посмотри на Барклая, и страх не берет. Находясь после войны 1807 года на западных границах, он ежедневно упражнял войска свои в маневрировании, причем он обращал большое внимание на то, чтобы они успели принаравливаться к местности. Это повторя-

лось ежедневно после смены караулов. Возвращавшиеся на свои квартиры части войск встречали на пути своем препятствия, кои им надлежало преодолеть. Желая приучить своих подчиненных быть всегда готовыми к отражению самого неожиданного неприятельского нападения, Барклай нередко производил внезапные атаки на квартиры своих подчиненных. Однажды один из его батальонных командиров овладел неожиданно квартирой Барклая, причем его самого взяли в плен; это доставило ему величайшее удовольствие.

Эта высокая личность, как бы привыкшая с самого детства своего повелевать, имела, однако, следующие слабые стороны: незнание русского языка, необходимого для основательного изучения характера наших солдат и для того, чтобы привязать к себе войска, излишнее пристрастие к своим соотечественникам и малую природную приветливость к окружающим и подчиненным. В сумрачном, постоянно угрюмом, хотя и скромном, бесстрашном, неутомимом и холодном, как мраморная статуя, Барклае проявилась впоследствии сильная раздражительность, недоверчивость и несправедливость в оценке чужих заслуг; начало этих недостатков должно искать в тех ужасных гонениях и неприятностях, коим он подвергся в 1812 году»²⁰.

Бесспорно самый доброжелательный отзыв о генерале принадлежит Ф. В. Булгарину: «В Прусской войне (1806—1807) Барклай де Толли приобрел славу не только храброго, но и искусного генерала. Наполеон в Тильзите хотел знать, кто командовал русским арьергардом при отступлении к Прейсиш-Эйлау, и сказал, что это должен быть отличный генерал. <...>

Барклай де Толли был высокого роста, держался всегда прямо, и во всех его приемах обнаруживалась важность и необыкновенное хладнокровие. Он не терпел торопливости и многоречия ни в себе, ни в других. Говорил медленно, мало и требовал, чтобы ему отвечали на его вопросы кратко и четко. Хотя в это время (в 1808 году) ему было только сорок семь лет от рождения, но по лицу он казался гораздо старше. Он был бледен, и продолговатое лицо его было покрыто морщинами. Верхняя часть его головы была без волос, и он

зачесывал их с висков на маковку. Он носил правую руку на перевязи из черной тафты, и его надлежало подсаживать на лошадь и поддерживать, когда он слезал с лошади, потому что он не владел рукою. С подчиненными он был чрезвычайно ласков, вежлив и кроток, и когда даже бывал недоволен солдатами, не употреблял бранных слов. В наказаниях и наградах он соблюдал величайшую справедливость, был человеколюбив и радел о солдатах, требуя от начальников, чтобы все, что солдату следует, отпускаемо было с точностью. С равными себе он был вежлив и обходителен, но ни с кем не был фамильярен и не дружил. Барклай де Толли вел жизнь строгую, умеренную. Никогда не предавался никакому излишеству, не любил больших обществ, гнушался волюнтаризмом, карточной игрой, но на разгульную жизнь молодежи смотрел сквозь пальцы, не допуская, однако ж, явного разврата. От старших требовал он примерного поведения и не доверял никакой команды гулякам. Бережливость Барклая де Толли была в самых тесных границах, и многие упрекали его в скупости. Мне кажется, что только один упрек Барклаю де Толли был справедлив, а именно — в излишнем пристрастии к землякам своим остзейцам. <...>

Барклай де Толли создан был для командования войсками. Фигура его, голос, приемы, все внушало к нему уважение и доверенность. В сражении он был так же спокоен, как в своей комнате и на прогулке. Разъезжая на лошади шагом в самых опасных местах, он не обращал никакого внимания на неприятельские выстрелы и, кажется, вполне верил русской солдатской поговорке: пуля виноватого найдет. 3-й егерский полк обожал своего старого шефа, и кто только был под его начальством, тот непременно должен был полюбить своего храброго и справедливого начальника. Он, однако ж, никогда не мог быть народным или популярным начальником, потому что не имел тех славянских качеств, которые восхищают русского солдата и даже офицера, именно — веселости, шутливости, живости <...>. Русская песня не имела для Барклая де Толли никакой прелести»²¹.

Пожалуй, ничто так выразительно не характеризует этого военачальника, как отдельные жанровые зарис-

совки очевидцев, далеких от намерений представить Баркляя в роли автора «скифского плана». Так, лекарь М. А. Баталин, «пользовавшийся» генерала от раны, полученной под Эйлау, рассказывал: «<...> По сделании операции того же дня, часу в 8-м вечера, когда Барклай де Толли, сидя за столом, читал книгу, причем были сын его и я, также занятые чтением, увидели, что в дверь вошел его императорское величество Государь Александр Павлович; генерал, увидя его, желал встать, но не мог, и Государь, подойдя к нему и положила руку на голову, приказал не беспокоиться и спросил, кто с ним находится, на что генерал отвечал, что сын его и полковой медик; потом спросил, как он чувствует себя после операции, и требовал объяснения бывшего Прейсиш-Эйлауского сражения, чему генерал сделал подробное объяснение. По окончании сего Государь изволил спросить, не имеет ли он в чем нужды. На что он донес, что не имеет, а так как объявлен ему в тот день чин генерал-лейтенанта, посему он обязан еще сие заслуживать. Во все время бытности Государя супруга генерала была в нише, задернутой пологом, и слышала все происходившее и, когда Государь изволил выйти, она тотчас встала с кровати и, подойдя к генералу, с упреком ему выговаривала, что он скрыл от Государя свое недостаточное состояние, и генерал, желая остановить неприятный ему разговор, сказал, что для него сноснее перенести все лишения, нежели подать повод к заключению, что он недостаточно награжден Государем или расположен к интересу». Судя по рассказам сослуживцев, генерал был действительно неприхотлив в быту: «Провожая меня из кабинета на крыльцо, имел одну ногу, обутую в сапог, а другую — в туфлю и, увидя денщика, мажущего экипаж, спросил: “А нет ли чего-нибудь у него поесть?” На что тот отвечал, что имеет моченые сухари, и на вопрос, нет ли мяса, говорил в ответ, что есть свиное сало, что и приказал себе подать, сам я выставляю его о подчиненных заботливость и неразборчивость в пище»²². Внимательное и доброжелательное отношение генерала к тем, кто был младше его в чинах, подтверждал в своих записках и Я. О. Отрощенко: «Потом я поехал для представления

к военному министру Барклаю де Толли. Он был столь милостив, что пригласил меня остаться у него обедать. Стол был не пышен, и обеды не более десяти персон. Супруга его, как заботливая хозяйка, отдавала приказанья и наблюдала за исполнением»²³.

О репутации главнокомандующего всеми российскими армиями в 1812 году можно судить по замечанию, сделанному в письме Жозефа де Местра, известившего своего адресата о том, что общество «ожидает дальнейших повелений Проведения, как они будут переданы князем Михаилом Ларионовичем Кутузовым»²⁴. Обратившись к значительному числу исторических источников, позволяющих увидеть за далью времен (но не разглядеть!) образ «спасителя Отечества», мы вынуждены будем признать: великий русский полководец сочетал в себе множество различных качеств, которых вполне хватило бы на то, чтобы сформировать характеры нескольких весьма незаурядных людей. В этом случае нам близка методологическая позиция французского историка-медиевиста Д. Крузе: «Я <...> продолжаю настаивать на антипозитивистской перспективе несводимости истории к одному значению (*une perspective anti-positiviste d'irreductibilite de l'histoire*)»²⁵. Начнем с самой нелицеприятной характеристики, данной М. И. Кутузову генералом А. Ф. Лористоном, вместившей в себя по существу все претензии, которые когда-либо были высказаны в адрес полководца его недоброжелателями: «Кутузов, будучи очень умным, был в то же время страшно слабохарактерный и соединял в себе ловкость, хитрость и действительные таланты с поразительной безнравственностью. Необыкновенная память, серьезное образование, любезное обращение, разговор, полный интереса, и добродушие (на самом деле немного поддельное, но приятное для доверчивых людей) — вот симпатичные стороны Кутузова. Но зато его жестокость, грубость, когда он горячился или имел дело с людьми, которых нечего бояться, и в то же время его угодливость, доходящая до раболепства по отношению к вышестоящим, непреодолимая лень, про-

стирающаяся на все, апатия, эгоизм, вольнодумство и неделикатное отношение в денежных делах составляли противоположные стороны этого человека.

Кутузов участвовал во многих сражениях и получил уже тогда настолько опыта, что свободно мог судить как о плане кампании, так и об отдаваемых ему приказаниях. Ему легко было различить достойного начальника от несоответствующего и решить дело в затруднительном положении. Но все эти качества были парализованы в нем нерешительностью и ленью...»²⁶

Вот какую характеристику дал Кутузову состоявший при нем в 1812 году С. И. Маевский, обрисовав в полководце всё те же самые качества, но уже с иным оттенком — с изрядной долей симпатии: «Можно сказать, что Кутузов не говорил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини, обвораживающий слух разговорным своим смычком. Но, при всем творческом его даре, он уподоблялся импровизатору, и тогда только был как будто вдохновен, когда попадал на мысль или когда потрясаяем был страстью, нуждою или дипломатическою уверткой. Никто лучше его не умел одного заставить говорить, а другого — чувствовать, и никто тоньше его не был в ласкательстве и в проведении того, кого обмануть или обворожить принял он намерение; вы увидите в минуту благоговейный восторг его и слезы умиления или жалости, но прошел час — и он все позабыл. Это был и тончайший политик по уму и самый добродетельный по сердцу. Ко вреду подвинуть его было трудно. <...> В общем очерке он был больше великодушный отец, исправлявший кротко, тихо, поучительно и сильно своих детей, нежели начальник, гордящийся своими жертвами. Его нетерпение выводило его к грубостям»²⁷.

Кстати о пресловутой грубости Кутузова действительно свидетельствовали многие. Так, В. И. Левенштерн назвал его «большой мастер на грубости». О том же сообщил искренне почитавший полководца А. А. Щербинин, отметивший искреннее раскаяние полководца после вспышек минутного гнева: «Кутузов, охладев после вспышки <...>, убеждал Эйхена посредством Коновницына не оставлять места и даже вызвался просить

у Эйхена за причиненную обиду извинение в присутствии всей Главной квартиры. Так добр и столь возвышенных чувств был Кутузов!»²⁸ Тот же С. И. Маевский писал в записках: «Я должен правду сказать, что обворожительный тон, дар и обращение Кутузова составили ему круг друзей в армии и даже во всей России. Его слова и ласки происходили от души и не было человека, даже и огорченного им, который бы при новой ласке не забыл старой обиды или грубости, ему сделанной. Его прием всегда был отеческий, а в беседе с ним забываешь всегда, что ему 70 лет. Он сохранил для нас древний характер и российской грубости, и русской доброты».

Поистине неотразимое впечатление произвел «русский витязь» с «роковой улыбкой» (М. Ю. Лермонтов) на французского интендантского чиновника, попавшего в плен под Красным. После возвращения из «русского похода» М. Л. де Пюибюску было что порассказать соотечественникам: «Я знал давно, что фельдмаршала считают человеком хитрым. Но его наружность показывает доброту и откровенность. Он лишился глаза от пули, ему около шестидесяти лет, он говорит свободно по-французски, а его выговор сдается на немецкий, в его лице я видел поступки и обращение истинного патриарха! Я также, может быть, нахожу его и хитрым. Но вся его хитрость в честном смысле: он образован и хорошо понимает человека! Особенно есть один человек, которого фельдмаршал узнал и понял так хорошо, что привел его прямо в западню... <...> Он всегда любил французов, и если теперь ведет против них неслыханно убийственную войну, то этого хотел Наполеон»²⁹. Обратим внимание: сослуживцы употребляли применительно к Кутузову оценку «патриархальный», вкладывая в это слово понятие, характеризующее историко-психологический тип «большого русского барина» екатерининских времен. Размышляя над этим явлением, исчезнувшим со сцены русской жизни к середине XIX столетия, современник признавался: «Много слышал я и читал впоследствии о гуманности <...>. Теперь мне кажется, что без патриархальности не может быть гуманности, иначе как на словах»³⁰.

1812 год вообще обратился в полный триумф полководца: накануне вторжения Наполеона в Россию именно Кутузов в качестве дипломата заключил Бухарестский мир с Турцией, перед тем окружив и разгромив армию великого визиря под Слободзеей. Именно кампания на Дунае принесла ему сначала графский титул, а потом и княжеский с титулом светлости. «Кутузова сделали светлейшим, да могли ли его сделать лучезарнее его деяний? Публика лучше бы желала видеть его с титулом генералиссимуса. Все уверены, что когда он примет главное начальство над армиями, так всякая позиция очутится для русского солдата превосходною. Продлят далее козни — так и Бог от нас отступится», — рассуждал И. П. Оденталь в письме А. Я. Булгакову 2 августа 1812 года, незадолго до назначения Кутузова главнокомандующим³¹.

Н. Н. Муравьев, наблюдавший за военачальником в Бородинском сражении, сообщал в записках: «Во все время сражения главнокомандующий сохранял невозмутимое хладнокровие. В самые опасные минуты он не терялся и рассылал приказания свои со спокойным видом, что немало служило к поддержанию духа в войсках»³². Не раз доводилось увидеть Кутузова и Н. Е. Митаревскому: «Во время всех переходов от Тарутина до Березины фельдмаршал Кутузов часто останавливался у дороги и смотрел на проходившие войска, иногда и под дождем; случалось, говорил солдатам: “Что, устали, ребята? Холодно? Ели ли вы сегодня? Нужно отстоять матушку Россию, надо догонять и бить французов!” <...> На все это проходившие солдаты кричали: “Рады стараться, ваше сиятельство!” Обыкновенно он стоял или же сидел на простых складных креслах, в простом сюртуке и фуражке, без всяких принадлежностей своего сана; с неразлучною казачью нагайкой на ремешке через плечо. Никак мы не могли разгадать, для чего у него нагайка, тем более что никогда не видели его верхом на лошади. Офицеры говаривали обыкновенно: “Хитрый наш старик Кутузов, знает он, как подобраться к солдатам”»³³.

Весной 1813 года А. В. Чичерин, узнав о смерти М. И. Кутузова, с горестью записал в дневнике: «Сейчас

все превозносят светлейшего до небес, а совсем недавно почти все его осуждали; я рад, что, как ни молод, ни разу не поддался соблазнам злословия. Благоразумие светлейшего, которое вы называли робостью, сохранило жизнь нашим славным солдатам; ваш дух был, видно, слишком слаб, чтобы понять весь размах его политики. Все его действия имели тщательно обдуманную цель. Все обширные операции, которыми он руководил, были направлены к одному; отдавая распоряжения о размещении орудий, кои должны были обеспечить победу над французами, он в то же время обдумывал сложные политические комбинации, кои должны были нам обеспечить благорасположение всех европейских кабинетов. В армии его обожали и за его имя, и за его знакомое любимое лицо; достаточно было ему показаться, чтобы все радовались»³⁴. Другая дневниковая запись была сделана во время Венского конгресса бывшим адъютантом светлейшего А. И. Михайловским-Данилевским: «Я не могу удержать пера, говоря о том человеке, которого я видел одинаковым в бедной хижине села Тарутина, когда он, приняв на себя ответственность перед отечеством за сожжение Москвы, приутоговлялся к истреблению неприятельской армии, состоявшей из цвета европейских народов, и в Калише, когда, совершив подвиг освобождения отечества, он был превозносим выше всех вождей единодушным сознанием современников. Часто в великолепных здешних собраниях, где бывают почти все знаменитые люди Европы, смотрю я на наших со вниманием, перебираю в мыслях заслуги и подвиги их, вслушиваюсь в разговоры министров и генералов и всегда в сокровенности мыслей говорю сам себе: “Смоленский был славнее вас”»³⁵.

Пожалуй, не менее противоречивой фигурой предстает в свидетельствах сослуживцев «гений северных дружин» (К. Ф. Рылеев) Алексей Петрович Ермолов. И здесь мы вновь обратимся к сочинениям Д. В. Давыдова, на славу потрудившегося над созданием галереи образов русских военачальников. К Ермолову, как к своему двоюродному брату, поэт-партизан явно пристрастен и

относится к нему с нескрываемой симпатией. Более того, многие сведения о людях и событиях эпохи 1812 года «певец-гусар» почерпнул от своего кузена, наделенного необычайным даром во все вникать, все замечать и над всем посмеиваться. Ермолов — в будущем властный «проконсул Кавказа», отказавшийся от графского титула и не от скромности, а от спеси. Он рассуждал так же, как еще один двоюродный брат Д. В. Давыдова и А. П. Ермолова — Н. Н. Раевский, ответивший государю на предложение принять графский титул (невероятно привлекательный для М. А. Милорадовича и М. И. Платова) словами французского аристократа Рогана: «Но я уже Раевский».

Итак, Ермолов. «Обнаружив с самого юного возраста замечательные способности, он приобрел впоследствии все качества отличного воина. Он представляет редкое сочетание высокого мужества и энергии с большою проницательностью, неутомимую деятельностью и непоколебимым бескорытием; замечательный дар слова, гигантская память и неимоверное упрямство составляют также отличительные его свойства. Будучи одарен необыкновенною физическою силою и крепким здоровьем, при замечательном росте, Ермолов имеет голову, которая, будучи украшена седыми в беспорядке лежащими волосами и вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва. Ермолов, будучи весьма смел со старшими, явно выказывал, подобно князю Багратиону, малое сочувствие к немецкой партии, во главе которой находились в то время Барклай, Витгенштейн и многие другие. Так, например, в начале Отечественной войны он отзывался следующим образом о штабе Барклая: “Здесь все немцы, только один русский, да и тот безродный”; в то время служил тут чиновник Безродный. Одаренный характером твердым и самостоятельным, он был всегда замечателен по отменной приветливости и обходительности со своими подчиненными, сердцами которых он всегда вполне владел. Находясь еще в чине полковника, его обращение относительно некоторых генералов было таково, что они говорили: “Когда-то его произведут в генералы? Он тог-

да, конечно, перестанет выказывать такое к нам пренебрежение”. <...> Но добродушие, коим отличаются разговоры его с младшими, совершенно исчезает, когда ему надлежит прибегать к перу; мысли и суждения, излагаемые им, хотя не совсем правильно, но с мужественной силою и энергической простотой, облекаются иногда в формы крайне резкие; впрочем, самый разговор его носит обыкновенно на себе отпечаток большого остроумия и язвительной насмешки. Едкая ирония его речей, которою он разил врагов своих, приобрела ему весьма много недоброжелателей. <...> Литература и поэзия составляли всегда истинное наслаждение Алексея Петровича, знающего наизусть много стихотворений. Надо присовокупить, что Алексей Петрович, не могший не сознавать в себе способностей, был всегда одарен большим честолюбием, что не укрылось от проницательного князя М. И. Кутузова <...>. Во время заточения своего в Костроме, где он имел товарищем знаменитого М. И. Платова, Алексей Петрович, одаренный необыкновенными способностями, изучил весьма основательно латинский язык и военные науки. Обогатив в то время ум свой разнообразными сведениями, любознательный Ермолов являлся ежедневно рано утром к учителю своему, соборному протоиерею и ключарю Егору Арсентьевичу Груздеву, которого будил словами: “Пора вставать, Тит Ливий нас уже давно ждет”. Когда солдаты наши замечали роту Ермолова, выезжавшую на позиции и особенно его самого, они громко кричали: “Напрасно француз горячку порет, Ермолов за себя постоит”»³⁶.

Юный и рассудительный гвардеец А. В. Чичерин оставил в дневнике запись, содержащую как его собственные наблюдения, так и отголоски мнений других людей об одном из самых популярных русских генералов: «Сегодня сюда прибыл генерал Ермолов. Я первый раз явился к нему, хотя знаю его лишь постольку, поскольку он командует гвардией и поскольку я знаю более или менее всех генералов. Он принял меня с распростертыми объятиями, говорил о моих товарищах, как о своих друзьях, короче говоря, был чрезмерно любезен; это его обычная манера, под этой маской он скрывает

от тех, кто приближается к нему, свою лукавую прозорливость и незаметно, за шутливой беседой изучает людей. В начале кампании все верили в чудо; Ермолов был героем дня, и от него ждали необыкновенных подвигов. Эта репутация доставила ему все: он получил полк, стал начальником штаба, вмешивался во всё, принимал участие во всех делах; это постоянное везение вызвало зависть, его военные неуспехи дали оружие в руки, герой исчез, и все твердят, что хотя он не лишен достоинств, но далеко не осуществил того, чего от него ожидали.

Между тем, насколько я мог заметить, он по характеру свиреп и завистлив, в нем гораздо больше самолюбия, чем мужества, необходимого воину. Батюшка, однако, отзывался о нем с похвалой, а мнение отца я ставлю выше всех других. Ермолов хорошо образован и хорошо воспитан, он стремится хорошо действовать, — это уже много. Что до самолюбия, то... оно ведь присуще человеку»³⁷.

Взаимоотношения же Ермолова с адъютантом Баркляя В. И. Левенштерном иначе как открытой враждой не назвать. Можно только гадать, чем они друг другу не приглянулись; в наше время подобное противостояние назвали бы «психологической несовместимостью». Ермолов почти открыто обвинил Левенштерна в шпионаже, а последний в своих записках дал генералу убийственную характеристику: «Я узнал впоследствии, что генерал Ермолов, желая быть популярным, относился враждебно ко всем тем, кто носил иностранную фамилию: этим объясняется и недоброжелательное отношение его ко мне. <...> Обладая несомненными достоинствами, огромной энергией и непоколебимой волей, он был двоедушен и жесток и не пренебрегал никакими средствами для достижения своих целей. По словам самого Императора, сердце Ермолова было так же черно, как его сапог: так отзывался о нем Его Величество в разговоре со своим любимцем, командиром Семеновского полка полковником Криднером. С самого приезда генерала Ермолова интриги так приумножились, что это напугало самых смелых людей»³⁸. Отношение государя к Ермолову явно не соответствовало сведени-

ям, сообщенным обиженным офицером: как бы император вверил свою гвардию (Ермолов весной 1812 года получил назначение начальника гвардейской дивизии) человеку с «черной душой»? Эти слова государь произнес в адрес полковника Болговского, принимавшего участие в заговоре против его отца и, по преданию, наступившего сапогом на лицо мертвого Павла I. Над «феноменом» Ермолова на склоне своих лет размышлял П. Х. Граббе, бывший в 1812 году его адъютантом: «При этом имени я невольно остановился. <...> народность его принадлежит очарованию, от него лично исходившему на все его окружавшее, потом передавалось неодолимо далее и не знаящим его, напоследок распространилось на всю Россию во всех ее сословиях... наружность его была значительна и поражала с первого взгляда. Рост высокий, профиль римский, глаза небольшие, серые, углубленные, но одаренные быстрым, пронизательным взглядом; голос приятный, необыкновенно вкрадчивый; дар слова редкий, желание очаровать всех и каждого иногда слишком заметное, без строгого разбора как самых лиц, так и собственных выражений. Это последнее свойство, без меры развиваемое, привязало к нему множество людей, толпе принадлежавших, и остерегло многих, более внимания достойных. Впоследствии оно же дало ход едкому слову, свысока на него павшему: *c'est le héros des enseignes* (это — герой прапорщиков). Это правда, но не одних прапорщиков»³⁹.

Весьма непростым характером обладал командир 4-го пехотного корпуса генерал-лейтенант граф Александр Иванович Остерман-Толстой. В конце XIX столетия люди, подобные ему, прочно относились к разряду «чудаков и оригиналов» прошлых времен. Так, М. И. Пыляев рассуждал: «...Причудливость есть следствие произвольности в жизни, и чем более произвольность господствует в нестройном еще обществе, тем более она порождает личных аномалий»⁴⁰. Граф Остерман действительно был эксцентричен, однако его «эксцентрика» имела ярко выраженный исторический подтекст: прославленный военачальник выработал свой собствен-

ный стиль поведения, сориентированный на «рыцарство военное с оттенком рыцарства средневекового», что, безусловно, даже в начале XIX века многих ставило в тупик. Вернемся к воспоминаниям Д. В. Давыдова: «Он был замечателен неимоверным хладнокровием и редкою неколебимостью в защите вверенного ему пункта; хотя он в минуты величайших опасностей обнаруживал высокое и ничем не возмутимое присутствие духа, но, не отличаясь большими сведениями и замечательным умом, он иногда не умел пользоваться благоприятными обстоятельствами. В нем несколько раз обнаруживалось расстройство ума; от этой болезни пользовал его в 1812 году баронет сир Вилье»⁴¹. Все-таки проблема образования в ту достопамятную эпоху постоянно вызывает наше недоумение: каким образом человек, владевший несколькими языками до такой степени, что иностранцы принимали его за соотечественника, собравший, по общему признанию, лучшую в России военную библиотеку, ухитрился прослыть неучем? Может быть, это объясняется его собственным признанием, в котором многие увидели признание «академической» несостоятельности: «Я стыжусь своего невольного невежества, но не хочу быть невольным невеждой». Некоторое самоуничижение действительно было присуще графу Остерману, но опять же не столько от скромности, сколько от аристократической спеси, которую в начале XIX столетия не все понимали. Тем не менее исторический характер вельможи, о котором говорили «всегда царедворец, всегда солдат», определенно прослеживается и в мемуарах А. И. Михайловского-Данилевского: «Граф Остерман известен в российской армии необыкновенною храбростию и твердостью духа; он готов жертвовать всем для Отечества; любовь к России и к славе сделалась в нем страстию; по временам он бывает в такой рассеянности и задумчивости, что его почитают сумасшедшим, но сие происходит от безмерного честолюбия, его снедающего, от которого он сделался вспыльчив, горд и бывает нередко в тягость себе и другим. В продолжение тридцатилетней службы своей он участвовал во всех войнах, но наиболее отличился в 1806 и 1807 годах и в последних походах, а печать

славы своей он положил в Кульмском деле. В сражении близ Витебска адъютант приехал ему сказать, что левое крыло теснят, и спрашивал, что он прикажет. “Стоять и умирать”, — отвечал граф. В Бауценском сражении, будучи сильно ранен пулею в плечо, он не хотел оставить поле битвы и велел делать перевязку под сильным неприятельским огнем, а в Кульмском сражении, когда ядром оторвало у него руку, то во время операции он приказал музыкантам играть и сожалевающим о его руке отвечал: “У меня осталась правая рука, чтобы ею креститься”. На другой день Государь его посетил и, найдя его погруженным во сне, положил подле его постели орден Святого Георгия второй степени»⁴². Кстати, тяжкое увечье под Кульмом — не единственная рана графа Остермана в кампании 1813 года. Этого прискорбного случая могло бы и не быть, если бы военачальник не поторопился вернуться в строй после раны, полученной при Бауцене, о чем вспоминал М. М. Петров: «Но как могу я изъяснить вам дивные порывы геройства ведомого всем корпусного командира нашего графа Остермана! Вот каким теперь вижу его там, в кипучих свалках, с его легкою черкесскою наружностью и обличьем их. На гнедом коне, в инфантерийском мундире распахнутым, покрытый краснооколою фуражкой, он носился везде пред полками своими в самых упорнейших огневых и рукопашных схватках, влеча за собою всех к победе и одолениям врагов. И когда пуля впиалась глубоко в грудь его близ левого плеча, он, и облитый по белому жилету кровию, летал чрез овраги с горы на гору, как невредимый и едва ли знавший о язве своей, в пылу геройского устремления своего, приносившего всем в лозунг победу, пока не упал с боевого коня, обессилев чрез исток крови. Это было в 5 часов пополудни тож 9 мая»⁴³. Кстати, там же под Бауценом произошел случай, показывающий всю степень привязанности графа к своим подчиненным: «Супруга генерала графиня Елизавета Алексеевна <...> решилась в 1813 году последовать за армией. В маленьком городе Бриге на реке Одер графиня с племянницами, разыскивая мужа, набрела на обоз с ранеными офицерами из корпуса графа Остермана и назвалась маркитанткой». Офицеры позво-

лили себе двусмысленные речи и вольные выходки «от скуки и боли давно не перевязанных ран», — как объяснил М. М. Петров. Когда же графиня чудом избежала их настойчивых ухаживаний и поведала Остерману «о неунывных речах» и действиях своих подчиненных, граф сурово ответил ей: «Вот, каковы они у меня, небось не разохаются, как бабы <...>, и вы, как маркитанша, должны простить им их шутки геройские». В сражениях же граф Остерман обычно держал в руке нагайку, для того чтобы подгонять отставших солдат. В каждом времени герои жили по своим законам...

Яркий след в памяти участников Отечественной войны 1812 года оставил «наш Боярд и наш Роланд» — генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович, по словам Ф. Н. Глинки, «блистательный во всех деяниях». Впрочем, Д. В. Давыдов и здесь был настроен весьма скептически: «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал, отличался расточительностью, большой влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств; но все было им издержано весьма скоро, и он был не раз вынуждаем прибегать к щедротам Государя. Беспорядок в командуемых им войсках всегда был очень велик; он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов подчиненных ему генералов, присылаемых за приказаниями, отыскивать его по целым ночам. <...> Он был обожаем солдатами, и, невзирая на то, что он не только не избегал опасности, но отыскивал ее всегда с жадностью, он никогда не был ранен на войне. Умирая, Милорадович сказал: “Я счастлив тем, что не умираю от солдатской пули”»⁴⁴. Митаревский же был настроен к генералу с симпатией: «Вскоре мы узнали о поступке графа Милорадовича, при вступлении французов в Москву. Все превозносили его: всем нравились его удаль

и фанфаронство. Припоминали разные случаи из его боевой жизни. Между прочим вспомнили, как он, прогнавши турок из Валахии, в Бухаресте кричал: «Бог мой, Бухарест мой, Куконы, Куконницы мои!»»

Кого еще из отцов командиров вспоминали подчиненные по прошествии многих лет? Безусловно, командира 6-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Дмитрия Сергеевича Дохтурова, прозванного «железным генералом». «Генералы большею частию ехали верхом при своих местах, иногда поодиночке с адъютантами, иногда по нескольку вместе; они редко уезжали вперед. Генерал Дохтуров ехал тоже с небольшой свитой, обыкновенно в сюртуке и фуражке, а во время дождя в черной косматой бурке. Он как-то раз расположился отдыхать подле самой дороги на ковре, под деревом. Не знаю, спал ли он или так лежал, но его сочли спящим. Все проходившие, как офицеры, так и солдаты, единодушно говорили: «Тише, тише, не шумите: Дохтуров спит — не разбудите». — Если он не спал, то ему лестно было слышать такое общее к нему внимание. Правду сказать, все любили его за кротость и доброту, а что он был храбрый и распорядительный генерал, это показали его действия в главнейших сражениях 1812 года»⁴⁵, — рассказывал Н. Е. Митаревский.

Вспоминали разные подвиги Дохтурова: «...об отличии под Аустерлицем, где он спас вверенный ему отряд; с похвалой отзывались о действиях его в Прусской кампании, в которой он был главным действующим лицом; под Смоленском, честь защиты которого приписали ему. Он под Бородином со славою заменил раненого князя Багратиона, командуя 2-й армиею на левом фланге. Много говорили об атамане Платове и его казаках и отдавали им полную справедливость. Вообще о всех генералах в наших армиях, от старшего до младшего, говорили с похвалой. Очень мало было таких, действиями которых мы были совершенно недовольны. Начиная от суворовских походов до двенадцатого года, были непрерывные случаи выказать свои способности. Можно смело сказать, что

тогдашние наши генералы не уступали прославленным французским генералам и маршалам»⁴⁶.

В армии с большим сожалением говорили о гибели командира 2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Карла Федоровича Багговута: «Мужественный и благородный генерал Багговут, убитый ядром в начале Тарутинского сражения, отличался своим необыкновенным хладнокровием и способностями, которые не были однако первостепенными. Багговут был отличным корпусным командиром и был весьма любим товарищами за свое рыцарское благородство и постоянно веселый нрав. Находясь однажды со своим полком во время войны 1806 года в цепи, он увидел приближавшегося в качестве парламентаря французского офицера Сегюра; хотя Багговут приказал прекратить перестрелку, но вдруг раздался с нашей стороны выстрел, который, к счастью, не причинил никому вреда. Сегюр, оскорбившись этим, потребовал объяснений; Багговут не замедлил представить ему, что этот выстрел был сделан молодым и неопытным рекрутом, который однако не останется без наказания. Так как Сегюр не хотел этим удовольствоваться, Багговут, изорвав на себе рубашку и обнажив пред ним свою грудь, сказал ему: “Если вам этого не достаточно, то вот вам моя грудь: стреляйте в нее”; надменный и хвастливый француз поспешил успокоиться»⁴⁷.

В числе наиболее часто поминаемых начальников встречается имя генерал-лейтенанта начальника 3-й пехотной дивизии Петра Петровича Коновницына, который, по словам А. И. Михайловского-Данилевского, «полагал, что изменит долгу своему, ежели не будет находиться в цепи стрелков при первом ружейном выстреле». Об этой черте генерала свидетельствовала и Надежда Дурова, которая привела в своем рассказе характерный для той эпохи случай: «Генерал этот любит находиться как можно ближе к неприятелю и, кажется, за ничто считает какие б то ни было опасности; по крайней мере, он также спокоен среди битв, как и у себя в комнате. Здесь завязалось небольшое сражение. Генерал подъехал к передовой линии; но как свита его тотчас привлекла внимание и выстрелы неприятеля, то он приказал нам разъехаться. Не знаю почему,

мы не скоро послушались его, и в это время ранили под ним лошадь. Неприятель сосредоточил на нашей группе свои выстрелы, что и заставило Коновницына отъехать немного далее от линии фланкеров. Когда мы повернулись все за ним, то мой досадный Зелант, имея большой шаг, неприметно вышел вперед генеральской лошади. Коновницын, увидя это, спросил меня очень строго: “Куда вы, господин офицер? Разве не знаете, что вам должно ехать за мною, а не впереди?” Со стыдом и досадою осадил я свою лошадь. Генерал, верно, подумал, что это страх заставил меня прибавить шагу!..»⁴⁸ Не менее выразительный рассказ поместил на страницы своего дневника А. А. Щербинин: «Достоин примечания следующий случай: когда неприятель занимал деревню Грос-Гершен и гренадеры были посланы выгнать его, тогда почтенный предводитель их Коновницын, желая сберечь сей отличный корпус, употребляемый только в крайности, остановил его в некотором расстоянии и бросился к впереди стоящим войскам. Случай привел его к 3-й дивизии, находившейся во 2-м корпусе, а прежде состоявшей под его начальством. Едва увидели солдаты и офицеры незабвенного начальника, как громогласное ура раздалось по всей линии, обратив все внимание на него, забыли они опасность и долг. Стрельба умолкла. Изумленный неприятель также остановил огонь. Но как только Коновницын объяснил причину приезда своего, тогда все бросились вперед, и неприятель опрокинут был. В ту самую минуту обожаемый сей начальник ранен пулею в ногу...»⁴⁹

Искренней привязанностью сослуживцев, с которыми смерть разлучила его на двадцать восьмом году жизни, пользовался начальник артиллерии генерал-майор граф А. И. Кутайсов: «...Несколько наших генералов бросились отбивать люнет. С ними бросился и наш начальник артиллерии, незабвенный граф Кутайсов, молодой, прекрасный, благородный. Он пал в общей свалке. Мы очень об нем жалели, потому что все его любили и он любил нас не менее. Он, обыкновенно, говаривал: “Всем я доволен своими артиллеристами, одна беда: как только ночной поход, ни одного офицера не видно — все спят и гнезда свили себе на орудиях”. Отчасти это была правда»⁵⁰. О

благородных «свойствах» души молодого генерала вспоминал и А. И. Михайловский-Данилевский: «Рассказывали следующее о графе Кутайсове, убитом в Бородинском сражении. В царствование Государя Павла бросали бомбы, чтобы зажечь примерный городок, выстроенный близ Петербурга. Граф Кутайсов, наводя сам мортиру, попал в цель. Император, стоявший вдалеке, желал узнать имя офицера, кому сие удалось. Все радовались наименовать сына любимца Государева. Но Кутайсов отвечал посланному, что бомбу пустил не он, а служивший в его роте бедный престарелый майор, которого Император щедро наградил. Кутайсов присовокупил: “Мне милости монарха не нужны, но они необходимы для сего майора”. Немного генералов, о которых относятся с столь выгодной стороны, как о нем. Лейб-медик Виллие, который жил с ним три недели до Бородинского сражения, сказывал мне, что заботливость его простиралась до того, что он, просыпаясь по ночам, записывал мысли, которые ему приходили насчет артиллерии, которую он начальствовал. Скромность его была столь велика, что, будучи легко ранен близ Смоленска, он просил Виллие никому об этом не говорить. Он загладил службу и поведением своим невыгодное влияние имени отца своего»⁵¹.

Другой артиллерийский начальник генерал-майор Василий Григорьевич Костенецкий, герой многих легенд и преданий, относился также к числу «оригиналов». Его портрет запечатлел в записках Н. Е. Митаревский: «Из генералов был у нас на батарее наш Костенецкий. Он объезжал батареи; постоит, что-нибудь скажет или прикажет ротному командиру и дальше. У нас он сказал своим звучным голосом: “Смотрите, господа, зарядов даром не терять, не торопиться и каждый выстрел наводить”. — И надо сказать правду, это выполнялось в точности. Говорят, на одной батарее у Костенецкого убило лошадь. Он равнодушно выкарабкался из-под нее, снял мундштук и седло, которое положил себе на плечи. Когда командир роты предложил ему солдата, он сказал: “Не надо, солдат нужен вам; я и сам донесу седло”. Таким образом Костенецкий обходил батареи пешком с седлом на плечах. Так рассказывали; сам я не видал этого, но от него можно было ждать подобной выходки. Генерал Кос-

тенецкий был грозного вида, сильный и храбрый, как лев, но характер у него был очень добрый. Доброту его испытал почти каждый из нас на себе. Случалось иногда, что он вспылит, но всегда кончалось ничем; все это знали и мало от его вспышек тревожились. Мы прозвали его странствующим рыцарем. Где бы он ни послышал перестрелку, в авангарде или арьергарде, непременно туда явится. За ним ездил человек с хлебом и куском холодной говядины; где вздумается ему, там он остановится, поест и выпится. Канонада, между тем, продолжалась с обеих сторон своим порядком»⁵². Военачальник отличался огромной физической силой (рывком за хвост он валил наземь коня), что ставило его подчиненных подчас в затруднительное положение. «Генерал Костенецкий учил собравшихся у орудий офицеров и фейерверкеров, как действовать картечью при наступлении неприятеля, особенно неприятельской кавалерии. “В таком случае, говорил он, не следует наводить орудий по диоптру, — при этом он подошел и взял в руки правило, — а для скорости должно смотреть сзади и направлять по самому орудью”. Говоря это, он начал поворачивать лафет направо и налево, приговаривая: “Вот так, вот так”. — Тут не один я подумал: хорошо учишь, да мало найдется таких, чтобы с такой легкостью могли бросать батарейный лафет», — вспоминал Н. Е. Митаревский. В числе излюбленных в армии тем разговоров подчиненный В. Г. Костенецкого привел историю, имевшую место во время сражения под Аустерлицем: «Рассказывали о его силе и доброте; припоминали много случаев из его жизни. Под Аустерлицем он командовал конно-артиллерийскою гвардейскою ротой, в чине полковника. Великий Князь Константин Павлович его знал и любил с ним шутить. Встретившись с ним после сражения, Великий Князь, приняв серьезный вид, сказал ему: “Как же ты, Костенецкий, вздумал отбиваться от неприятельской кавалерии банниками и преломал их?” — “Виноват, Ваше Высочество, второпях!.. — отвечал Костенецкий. — Да и дело было не совсем ладно, только банники перебил!.. Когда бы банники были железные, то дело было бы сподручнее”. Об этом Константин Павлович при случае рас-

сказал Государю Александру I, и Государь заметил: “Банники железные поделать не трудно, да нелегко найти Костенецких, чтоб действовать ими”»⁵³.

«Начальники народных наших сил», чьими портретами в Военной галерее Зимнего дворца нередко любовался А. С. Пушкин, безусловно, вписали яркие страницы в историю той эпохи, навсегда оставшись жить в преданных сердцах своих подчиненных. Сколько силы и страстности вложил М. М. Петров в одно из своих самых сильных и сокровенных желаний: «И тогда, когда придет последний час мой, настанут остатние минуты бытия моего, душа моя, прощаясь с жизнью земной, облобызает священные лавры военной славы Отечества... И кто знает, что Господь не услышит моего моления грешного и не подкрепит еще однажды душу мою, желающую в последний раз обнять ту славу Отечества и погасить последний взор жизни на священном лице Монарха благословенного и окружающих его полководцев — начальников моих, озаряющих мое жилище светом веры и надежды радостной, там — за гробом — сущей с ними».

Глава пятнадцатая

ДРУЖБА

*Святому братству сей фиал
От верных братий круга!
Блажен, кому создатель дал
Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скорбный час
Он сердцу утешенье;
Он наша совесть; он для нас
Второе Провиденье.*

В. А. Жуковский. Певец во стане
русских воинов. 1812 г.

«И вот угасает жизнь моя, но душа моя, слава Богу, сохраняет мое священное сокровище — благодарность тем согражданам, которые обязали меня своею прияз-

нюю»¹ — так отозвался о людях, связанных с ним священными узами дружбы, М. М. Петров. Для него это были не просто спутники жизни, с которыми он делил «веселья час и боль разлуки», время досуга и труда. Военные той поры делили между собой горечь поражений и радость побед, жизнь и смерть. Они держали на своих плечах десятилетие «больших войн и большой крови», когда расставания подстерегали их на каждом шагу, а минутная дружеская встреча могла оказаться последней. «Некролог тогда заполнялся быстро», — заметил современник.

Вот, например, строки из стихотворения эпохи, сочиненное С. Н. Мариным, «На отъезд флигель-адъютанта в армию»:

Так друг наш — с нами разлучаясь,
И славою войны прельщаясь,
Нас вспомнит в дальней стороне.
Средь пуль, бомб, ядер и картечи,
Среди смертей, среди увечий
Есть чувство дружбы на войне².

Речь здесь идет не о ком-нибудь, а о знаменитом впоследствии министре полиции и шефе жандармского корпуса Александре Христофоровиче Бенкендорфе. Но так далеко в будущее в то время никто не загадывал: друзья провожали в неблизкий и опасный путь «любезного Сашу», молодого и отважного, отправляющегося на Дунай, где в это время шла война с Турцией. Офицер лейб-гвардии Преображенского полка, к тому же адъютант императора, он вполне мог продолжать службу в Петербурге, но Бенкендорф в качестве добровольца стремится туда, где:

Прозоровской умрет с оружием за трон,
И будет страх врагам наш князь Багратион³.

Кстати, сам князь Багратион считал дружбу обязательной и неотъемлемой составляющей своего ремесла, в одном из приказов он напоминал подчиненным: «В военной службе первейший предмет — воинский порядок, субординация, дисциплина и дружба»⁴. Современники утверждали, что и Александр I, приучив себя в

силу своего положения «управляться всегда рассудком», в глубине души всегда имел «большую склонность» к чувству дружбы⁵. Сколько бы ни обсуждалась в обществах обеих столиц «их обоюдная иудейская дружба» с Наполеоном после заключения Тильзитского мира, однако в беседе с французским посланником А. Коленкуром (который, по-видимому, искренне и неформально был привязан к российскому монарху) царь произнес знаменательную фразу: «Я не понимаю, как можно быть союзником или другом наполовину»⁶. Что бы ни говорили о двуличии и притворстве Александра I, как политика и дипломата, но он позволял себе несовместимую с царским положением роскошь — дружить. Достаточно привести в качестве примера отношения, связывающие его с прусским королевским домом. Верность союзу с Фридрихом Вильгельмом III он пронес через все испытания Наполеоновских войн, сквозь порицания своих советников. А разве его взаимоотношения с Аракчеевым, Барклаем де Толли, П. М. Волконским не были дружбой? Конечно, иметь друзей среди подданных — задача непростая, мало кто из лиц, окружавших русского царя на протяжении 25 лет его правления, смог сохранить его доверие; он был подозрителен, тонко чувствовал корысть или неблагодарность. Не переносил он, если подданный, возвышенный им «из низкой доли», становился горд, спесив и самонадеян. Испытав разочарование, как это произошло в случае с М. М. Сперанским, Александр I разрывал отношения безвозвратно. Он многое мог простить тем, кто высказывал ему свое неудовольствие в глаза, если же человек, которого он приблизил к трону, произносил слова осуждения за его спиной, то он навсегда терял дружбу, да и право на прощение со стороны государя. В ту военную эпоху «друга наполовину» Александр I расценивал как предавшего в бою. К тем же, в ком государь был уверен, он был безмерно снисходителен: «Недавно Император очень рассердился на князя Волконского за то, что затерялось какое-то важное донесение, полученное от нашего посланника при Нидерландском дворе, и между прочим сказал ему в гневе при всех, “что он его ушлет в такое место, которого князь не найдет на всех

своих картах”. Хотя князь в сем деле был совсем не виноват, потому что, как мне известно, он положил полученную из Брюсселя депешу в кабинет Государя, где она во множестве бумаг, вероятно, затерялась, но менее того он чрезмерно был огорчен, никого во весь день, кроме меня, к себе не допускал, говорил мне, что он все бросит и уедет в Россию, и, наконец, просил меня принести ему Библию. Под вечер Государь за ним послал и, смеючись, сказал ему: “Не правда ли, что ты был виноват? Помиримся”. — “Вы бранитесь при всех, — отвечал князь, — а миритесь наедине”. Они пробыли вдвоем с час, на другой день назначено быть званому обеду, на котором Император хотел всему двору показать, что он более не гневается на своего любимца, и, между прочим сказал: “Люди, живущие вместе, иногда поссорятся, но зато скоро и мирятся, например, как мы с Волконским”»⁷.

Может быть, Александр I, как и его «любезные сослуживцы», оказался не чужд чувств, о которых написал в своем дневнике А. Чичерин: «<...> Мы привыкли находиться в обществе своих товарищей и теперь испытываем потребность видеть их. Не то чтобы нас связывали узы очень нежной дружбы, не то чтобы их общество могло расцветить унылое однообразие нашей жизни, но просто мы привыкли видеть их повседневно, разделять с ними все, не расставаться с ними»⁸.

Современники утверждали, что дружба в те годы была под стать эпохе и носила характер исключительный: «Должен, однако ж, я сознаться, что никогда и нигде не видал я такой дружбы, как между тогдашними молодыми офицерами гвардейского корпуса, и не встречал так много добрых ребят, благородных и вместе с тем образованных молодых людей»⁹. Герои той поры отличались, «составляя себе имя», не только подвигами на полях битв, но и умением дружить, так же как и сражаться — на грани жизни и смерти. Можно сказать, что в те годы культ дружбы являлся нравственным принципом. Ф. В. Булгарин привел на страницах воспоминаний несколько примеров «дружеских историй», о которых говорили в армии: «Вся гвардия и армия знала о дружбе и похождениях лейтенантов Давыдова и Хвостова,

русских Ореста и Пилада, которые и жили и страдали вместе, и дрались отчаянно и вместе погибли. Флотские лейтенанты Хвостов и Давыдов служили в американской компании, командуя ее судами. Известно, что с Крузенштерном, отправившимся на первое плавание русских вокруг света, послан был камергер Резанов, в звании посла, для заключения торговых трактатов с Китаем и Японией. Русских не только не приняли в Японии, но и оскорбили отказом. <...> Резанов за столом сказал, что русская честь требует, чтоб отомстить варварам. В числе гостей были Хвостов и Давыдов. “Дайте только позволение, — возразил Хвостов, — а я заставлю японцев раскаяться”. В порыве гнева Резанов написал несколько строк, в виде позволения, и отдал Хвостову <...>. На другое утро, когда первый пыл досады прошел, Резанов хотел взять обратно данное им позволение отомстить японцам, но уже было поздно. Хвостов не соглашался возвратить бумаги и немедленно отплыл в Японию. С одним бригом, слабо вооруженным, он наделал столько хлопот японцам, что все их государство пришлось в движение, Хвостов и Давыдов брали их суда, делали высадки на берег, жгли города и селения и только за недостатком боевых припасов возвратились в Петропавловский порт с богатейшей добычей»¹⁰.

В Петропавловском порту капитан 1-го ранга Бухарин посадил Хвостова и Давыдова под караул и завладел всем грузом. Но два друга ушли из тюрьмы и пешком прошли через всю Сибирь, где какой-то разбойник (!) помог им добраться до Петербурга. В Северной столице их отдали под суд, но «Государь-Император, по благодати своей, предоставил им средство загладить проступок и послал их на гребной флот в Финляндию, которую тогда покоряли русские войска. Хвостов и Давыдов вскоре прославились отчаянным мужеством и блистательными подвигами. Имена их были известны в финляндской армии»¹¹.

В сражении на море подводную часть канонерской лодки, на которой находился Хвостов, пробил ядром. Он сорвал с себя мундир и заткнул им дыру. Главкомандующий русскими войсками граф Ф. Ф. Буксгевден привез в свою Главную квартиру обоих друзей и в на-

граду за их подвиги велел гауптвахте отдать им генеральские почести. Александр I по окончании войны в Финляндии простил обоих, и морские офицеры с почетом возвратились в Петербург. Но внезапно оба... пропали. Расследованием их исчезновения занималась специальная комиссия, но она ничего не обнаружила. Лишь через два года в Петербург прибыл американский купеческий бриг, шкипер с которого разъяснил горестную причину их исчезновения. «За день до отъезда его из Петербурга в Кронштадт Хвостов и Давыдов обедали у него, на Васильевском острове. Они пропировали долго за полночь и возвращались, когда уже начали разводить Исаакиевский мост <...>. “Воротимся!” — сказал американский шкипер, провожавший их. — “Русские не отступают! — возразил Хвостов. — Вперед! Ура!” Хвостов и Давыдов хотели перепрыгнуть через пространство, казавшееся небольшим в темноте, упали в воду — и поминай, как звали! <...> Замечательно, что тел не выброшено нигде на берег.

Я знал хорошо и Хвостова, и Давыдова и в Финляндскую войну, и в Петербурге. Умные, образованные, прекрасные офицеры, но пылкие и неукротимые молодые люди, поставившие все наслаждения жизни в том, чтобы играть жизнью!»¹²

«Японские приключения», как явствует из продолжения рассказа Ф. В. Булгарина, не завершились отчаянными рейдами Хвостова и Давыдова. Далее в воспоминаниях автор восклицает: «Может ли быть что трогательнее дружбы П. И. Рикорда (ныне адмирала) и В. М. Головнина (умершего в чине контр-адмирала)! Когда Головнин был задержан в Японии, Рикорд решился или умереть, или освободить друга своего из плена варваров и успел в своем предприятии». Головнин, будучи в чине лейтенанта, командовал шлюпом «Диана», а Рикорд, также лейтенант, находился у него в подчинении. Друзья совершали кругосветное плавание, когда открылась война с Англией. Англичане пытались перехватить «Диану» у мыса Доброй Надежды, воспрепятствовав русским морякам вернуться на родину. Однако Головнину удалось уйти. Добравшись до Камчатки, Головнин вынужден был оставаться здесь до заключе-

ния мира с Англией, чтобы вернуться в Европу. Не теряя времени, он изучал и описывал Курильские острова, заплыв «по соседству» на остров Кунашир. Местное японское начальство, прикинувшись дружелюбным, пригласило Головнина и бывших при нем русских моряков к обеду, но, как только он вошел в ставку губернатора, его связали и отправили в тюрьму, отомстив тем самым за подвиги Хвостова и Давыдова. В неволе Головнин провел три года и был спасен верным другом Рикордом. Находясь в тюрьме, Головнин ухитрялся поддерживать связь со своим товарищем. Заключенному было запрещено писать что бы то ни было. Но Головнин нашел хитроумный выход из положения: он предложил составить «Русскую грамматику» для японцев, и ему тотчас предоставили бумагу и чернила. Каждая страница его «труда» была озаглавлена наименованием частей речи: «Местоимение», «Имя существительное» и т. д. Письма из плена попали к Рикорду, вызволившему своего друга на свободу, доказав, что для дружбы нет ничего невозможного.

Примеры «подвигов дружбы», воодушевлявшие русских офицеров, существовали во всех родах войск. Нередко к дружеским узам прибавлялось еще и кровное родство, усиливая драматизм героических сказаний. «Я упоминал о двух молодых лифляндцах, прапорщиках 3-го егерского полка, Вильбоа и Штакельберге. Земляки и едва ли не родственники, они были неразлучны. Все офицеры любили их за скромность, благородство и необыкновенную храбрость. В одном авангардном деле шведы перестреливались с нашими егерями, засев за камнями. Сражающихся разделял не широкий, но быстрый ручей, с шумом и пеной текущий по острым камням. На берегу ручья стояло высокое и толстое дерево. Под градом пуль Вильбоа и Штакельберг, командовавшие в этом месте нашею цепью, велели срубить дерево, и когда оно перевалилось через ручей, они первые бросились на него, чтоб перебежать на другую сторону. Вильбоа шел впереди, и на половине дерева поражен был пулей в грудь. Он упал в объятия друга своего Штакельберга, и в ту самую минуту, когда тот хотел отдать драгоценную ношу егерям, вторая пуля ударила в висок

Штакельберга, и оба друга, обнявшись, уже мертвые упали в воду. Наши егеря, чтобы отомстить за смерть своих офицеров, без начальников бросились по дереву на другой берег, ударили отчаянно в штыки и перекололи всех, кто не успел уйти. Тела храбрых офицеров отнесло течением за версту. Их похоронили с честью и в безлюдной долине между скалами поставили деревянный крест над могилою, скрывшей блистательные надежды!»¹³ Героическое сказание о «дружестве и чести» сохранил в памяти один из братьев Муравьевых, служивших в квартирмейстерской части: «В 1812 году Шевич командовал пионерной ротой. Желая участвовать в Бородинском сражении, он лично просил главнокомандующего вручить ему несколько орудий, при коих он со своими пионерами предлагал исполнять должность артиллеристов. Кутузов исполнил желание просителя и велел поставить его за Раевского батарею. Шевич имел двух братьев, служивших в каком-то полку, с которыми он восемь лет не видался. Полк их, стоявший до войны в Финляндии, присоединился к большой армии, о чем он, Шевич, не знал. Для прикрытия его орудий случайно назначили батальон того полка, в коем братья его служили. Желая познакомиться с офицерами, он накануне сражения подошел ввечеру к огню, около которого они сидели. Осведомившись о названии полка, он спросил батальонного командира, не знает ли он брата его Шевича, который в этом полку служит. Но как они оба удивились, узнав друг друга! Братья обнялись. Шевич нашел и другого брата своего, который служил обер-офицером в том же батальоне. Братья провели ночь у огня, приготавливая себя к предстоявшей битве. Они выразили взаимную дружбу свою завещанием не выдавать друг друга. Когда французы взяли батарею, пионерный Шевич, схватив ружье, отбивался около своих орудий; брат его, майор, бросился к нему с батальоном на помощь и отстоял орудия, но был убит подле вырученного им брата, который сам, раненный пулею в руку и штыком в грудь, не оставляет своего места. Третий брат жестоко ранен; его берут четыре солдата и хотят вынести из огня, но прилетевшая граната попадает прямо на раненого, взрывом своим разносит его члены в раз-

ные стороны и убивает четырех солдат, его несших. Это случилось в виду пионерного капитана, который в отместку не дает помилования неприятелю. Французов всех перекололи и освободили орудия. Замечательный случай этот не имеет, конечно, ничего необыкновенного, но подробности рассказа могли бы подвергнуться сомнению, если б Шевич не был действительно известен в армии за человека отчаянной храбрости. Впрочем, говорили также, что поведение его было далеко не отличное и что он большой буян»¹⁴.

Сколько произносилось в те годы перед битвами, «сотрясавшими вселенную», клятв и «завещаний не выдавать друг друга!» Земные узы могли оказаться недолгими, но они запечатлевались кровью друзей, о которых потом помнили вечно. Вот рассказ знаменитого в 1812 году генерала А. П. Ермолова о малоизвестном товарище, погибшем в кампанию 1805 года: «...Мариупольского гусарского полка подполковник Игельстром, офицер блистательной храбрости, с двумя эскадронами стремительно врзался в пехоту, отбросил неприятеля далеко назад, и уже гусары ворвались на батарею. Но одна картечь — и одним храбрым стало меньше в нашей армии! <...> За два дня перед тем, как добрые приятели, дали мы слово один другому воспользоваться случаем действовать вместе, и я, лишь узнал о данном ему приказании атаковать, бросился ему на помощь с конною моею ротою, но уже не застал его живого и, только остановив неприятеля движение, дал способ эскадронам его собраться и удержаться на месте»¹⁵.

Дружеское участие озаряло сердца многих офицеров русской армии, для которых память о друге стала неотделимой частью воспоминаний о «незабвенной поре». Память о военных событиях — это память о невозвратных потерях. Так, И. С. Жиркевич в Заграничном походе 1813 года лишился товарища, с которым был неразлучен с кадетской поры: «Я был произведен в подпоручики лейб-гвардии в артиллерийский батальон, вместе с другим кадетом Поторенем, который был и по кончину свою моим постоянным другом»¹⁶. Казалось бы, обычная история, поведанная много лет спустя в нескольких словах. Однако вспомним, что производство в под-

поручики состоялось в 1805 году, накануне войны с Наполеоном, когда однокашникам было по 15 лет, а через восемь лет одного из них не стало! Иван Степанович Жиркевич не обманул «провидческих» ожиданий своей матери и действительно получил должность вицебского генерал-губернатора. Впереди у него была целая жизнь, но лучшего друга в этой жизни уже не было. Тот же Жиркевич привел в записках показательный для той эпохи случай, обративший на себя внимание собратьев по оружию во время Заграничного похода 1814 года во Францию: «Адъютанта Тимана мы похоронили возле Труа. Он внезапно занемог горячкою и на третий день умер. За неимением нашего священника, пастор прусских войск совершал погребальную службу. Наши похороны гвардейского офицера поразили прусских гвардейцев. В особенности их поражало — это то, что офицеры сами подняли гроб и несли его на руках более трех верст, до самого кладбища. — “Этой чести у нас и фельдмаршал не добьется”, — говорили они; а мы отвечали, “что любимый товарищ по чувствам выше и дороже фельдмаршала”»¹⁷.

...О смерти генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова 4-го вся Россия узнала из скупых строк рапорта Кутузова о битве при селе Бородине, где в числе погибших названо имя одного из четырех братьев-генералов. Образ лучшего друга запечатлел в записках С. Н. Глинка, в котором М. И. Кутузов неспроста еще в пору кадетства распознал писательский талант: «Щедрыми наделила природа дарами А. А. Тучкова. Он был красавец, душа чистая, ясная, возвышенная. Ум его обогащен был глубочайшими познаниями. Но чем другие в нем восхищались, он только один не замечал в себе. Мы познакомились в счастливые дни юношеской жизни и подружились навсегда. Никогда не требовали мы друг от друга никакой услуги, но при каждом свидании нам казалось, будто видимся после долгой разлуки.

<...> Друг мой никогда не говорил о своих военных подвигах. Но не бивачная жизнь, ни походы, ни битвы кровопролитные не пресекали переписки его со мной. В этом заочном свидании мы переписывались по-французски. Любимого нами Ж. Ж. Руссо называл

он *L'homme de la nature* — человеком природы. В 1809 году, когда он направлялся в армию, а я ехал в Смоленск, мы завтракали вместе. Старшие его братья несколько раз присылали за ним для подписи каких-то деловых семейных бумаг. В третий раз он отвечал посланному: «Скажи братьям, что я купчую подписать успею, а с Сергеем Николаевичем вижусь, может быть, в последний раз». Я отвечал, что для дружбы нет последнего часа. Кто кого переживет, тот и оживит того жизнью дружбы. Но друг мой как будто предчувствовал свой жребий: мы более с ним не видались; потому что он был убит во время Бородинской битвы.

Настала минута идти вперед, Тучков закричал полку своему: «Ребята, вперед!» Полк дрогнул. «Вы дрогнули! — вскричал он. — Я пойду один!» Схватив знамя, он бросился вперед и в нескольких шагах от люнета пал жертвой смерти. Когда роковая картечь поразила его в грудь, адъютант и рядовые подхватили его. Ужасный намет ядер посыпался на них и раздробил труп Тучкова; тут был убит адъютант и множество рядовых врыты были ядрами в землю»¹⁸.

«Для дружбы нет последнего часа!» В справедливости этих замечательных слов убеждает случай, помещенный в записках Павла Христофоровича Граббе, в 1812 году артиллерийского офицера и адъютанта генерала А. П. Ермолова. Начало повествования относится к 1806 году, когда он служил в полуроте из шести орудий, состоявшей при Владимирском пехотном полку. Командовал ротой его товарищ — поручик Викторов. Темной ночью во время сражения при Голымыне Викторов и Граббе вместе с орудиями, завязшими в густой и глубокой грязи, оказались в окружении неприятеля. «Викторов, позади шедший, был тяжело ранен и с орудиями взят в плен. Не зная того, я, вышедши за деревню, приказал своим орудиям тащиться, как могут, до полка; а сам, выбившись из сил, без лошади, которая была убита, решил дожидаться Викторова ...» Друга своего Граббе так и не дождался и полагал его убитым. После сражения началось следствие, почему оставлены были в грязи два орудия и не подоспели к месту боя остальные четыре. «Командир Владимирского пехотного полка полков-

ник Бенардос, при котором и на ответственности которого была полурота, обратясь ко мне с запросом официально, призвал меня к себе и предложил показать на убитого Викторова, что он недовольно продовольствовал артиллерийских лошадей, на что ему им были отпущены деньги. Уважая память храброго товарища, я не согласился на это, несмотря ни на убеждения, ни на угрозы, а показал, что необыкновенная грязь и непрерывный поход, причины всем известные, довели до потери орудий. На угрозы я отвечал, что скорее докажу, что полковник не давал ему достаточных способов на поддержание лошадей в трудном походе. На этом и осталось». После заключения Тильзитского мира Граббе возвратился в Россию и однажды в местечке Полонное на Волыни коротал после обеда время, играя в пикет с сослуживцем. «Вдруг отворилась дверь и на пороге остановился Викторов на костылях, без одной ноги. Вместе с восхищением, что вижу его, будто из мертвых восставшего, пролетела чрез душу мысль о счастливых для него последствиях от моего вышеобъясненного поступка. <...> Случившееся с ним было ужасно. Картечным выстрелом, на расстоянии нескольких шагов он был опрокинут с лошадыю. Правая нога была ниже колена раздроблена; кроме того, еще две раны, одна в плечо, другая в ляжку». Викторов, лишившись ноги, долечивался в Варшаве. В благодарность за хороший уход он женился на дочери хозяина дома и, покинув службу, зажил жизнью семейного человека. Именно к нему с чистым сердцем обратился Граббе в нелегкую или, как он писал в записках, «темную, страшную, почти унижительную страницу жизни». Вернувшись в Петербург по окончании кампании 1807 года, 17-летний офицер с нетерпением желал увидеть «мать, брата Петра и четырех сестер». Вместо этого он узнал, что мать его усилиями своего брата помещена в Обуховскую больницу для умалишенных. Посещение больницы, куда определил сестру без всякого пособия предприимчивый родственник, убедило юношу в том, что мать его вовсе не страдает буйным помешательством, а лишь «тихой ипохондрией, никому не опасною». Вызволив ее из лечебного учреждения с помощью импе-

ратрицы Марии Федоровны, уже в карете Граббе стал размышлять о том, куда же ему теперь везти свою родительницу. Сам он жил на съемной квартире, «артелью» с несколькими офицерами. Однако его сомнения были недолгими: «Не задумываясь, я повез ее к моему голоминскому начальнику и приятелю Викторову, женатому, где нас приняли как дома и где решено было оставить на их попечение матушку. Мать моя осталась у них. Должно прибавить, что Викторов еще был без места и сам с женою с трудом перебивался. Обращение их с больною было нежное и заботливое, как с собственной матерью. Не могу и поныне придумать подвига дружеской преданности выше и труднее этого».

В преклонных годах известный военачальник Н. Н. Муравьев-Карский вспомнил и о событиях 1812 года, и о своем юном друге: «Покупая для себя лошадей, я прежде добыл доброго мерина под выюк; под верх же нашел на конюшне у какого-то польского пана двух лошадей, которых не продавали врозь. Мы их купили с Колошиным. За свою (гнедой шерсти) заплатил я 650 рублей, за другую же — серую — Колошин заплатил только 600 рублей. При сем произошла между нами небольшая размолвка, кончившаяся примирением и тем, что моя лошадь была названа Кастор, а его Поллукс, в знак неувядаемой между нами дружбы»¹⁹. Эту историю можно было бы назвать занятной, посмеявшись над пристрастием к античности двух ученых юношей, если бы «неувядаемая дружба» не прервалась столь трагически. Колошин, как и Муравьев, был слишком молод и не смог перенести изнурительных маршей в период отступления русской армии в 1812 году. Он умер от «нервической горячки» спустя три месяца после покупки лошадей с символическими именами. Муравьев похоронил друга вблизи Смоленского тракта, по которому двигались непрерывным потоком войска. На войне как на войне...

Удивительно счастлив был в друзьях и в дружбе Иоганн фон Дрейлинг. Тот самый, который в начале службы опасался остаться одиноким «в чуждом и враждебном ему мире». Верный друг появился у него едва ли не в тот самый день, как он явился в полк: «Я осо-

бенно подружился с Иогансоном. Одинаковое звание, одинаковая судьба, одинаковые убеждения — все это способствовало нашему сближению. Эта дружба скрашивала нашу суровую солдатскую жизнь. Эта дружба продолжалась потом всю жизнь; ни расстояние, ни время не могли прекратить этой дружбы. С ним я разделял все трудности этого похода, и мы помогали друг другу во всем»²⁰. Сколько тревог пережил юный Дрейлинг, разыскивая после окончания Бородинского сражения своего сослуживца, которого он с чисто немецкой сентиментальностью называет не иначе как «мой дорогой Иогансон»: «Меня Господь хранил — я остался невредим. <...>Дорогой мой товарищ Иогансон, к несчастью, тоже оказался в числе тяжелораненых: он получил девять сабельных ран. Поздно ночью проезжал я по полю битвы и разыскивал его среди раненых, которым делали перевязку и ампутации при свете сторожевых огней, но нигде не мог его найти»²¹. Его опасения были основательны: он видел, как в сражении по убитым и раненым мчались лошади и артиллерийские орудия. Дрейлинг нашел своего друга: «Я увидел бесконечный ряд экипажей с нашими ранеными. Мелькнула кирасирская каска. Какое-то предчувствие подталкивает меня, я подбегаю и действительно нахожу своего дорогого товарища Иогансона, беспомощно лежащего на телеге, которую везли быки. Денщик нес его каску. Своим кирасирам-ординарцам приказываю я вывести эту телегу из обоза и таким образом доставил тяжелораненого друга в мой бивуак. Там я немедленно разыскал хирурга, который перевязал его раны, со дня битвы не выдавшие другой повязки. Подкрепив его стаканом чая, я поспешил отправить его дальше, иначе его могли бы оставить или он мог быть захвачен в плен и вообще так или иначе сделаться жертвой войны»²². Стоит ли говорить о том, кого встретил Дрейлинг, вернувшись после долгой разлуки в отчий дом среди многочисленных родственников? «Кроме того, мне привелось еще обнять своего старинного брата по оружию Иогансона. Я его не видел с того времени, как его ранили под Бородином. Одна рука у него так и осталась на привязи. Он посвятил мне несколько недель и прожил все это время с нами, в

нашем доме»²³. Безусловно, сцена возвращения нашего героя была бы неполной, если бы не встреча и с дорогим Иогансоном, который, судя по всему, был земляком и даже соседом по имению.

Однако Дрейлинг принадлежал к числу людей, которые обзаводились друзьями в любой части света и при любых обстоятельствах. И всякий раз привязанности, возникавшие в его душе, были искренними. Так, в мае 1813 года, вскоре после сражения под Бауценом на сторону русских перешла часть саксонских кирасир во главе с генералом Й. Тильманом. Дрейлинг, безукоризненно говоривший по-немецки, назначен к нему адъютантом. В воспоминаниях он называет своего нового начальника не иначе как «мой генерал». Вместе с отрядом Тильмана, названным «корпусом волонтеров», Дрейлинг с боями дошел до стен Парижа. С кем все это время дружил наш герой? С Буркерсроде и Шрекенштейном, «которые навеки остались самыми мне дорогими друзьями»²⁴. Молодых людей действительно многое объединяло, например, общие воспоминания о событиях 1812 года. Правда, сражались они в разных армиях. В музее-панораме «Бородинская битва» в Москве на живописном полотне художник-баталист Ф. А. Рубо выразительно и динамично изобразил кавалерийскую схватку на поле нескошенной ржи: русские кирасиры яростно контратакуют надвигающуюся на них неприятельскую кавалерию, в первых рядах которой — саксонские кирасиры Тильмана! Именно среди них и находились тогда Буркерсроде и Шрекенштейн. А с другой стороны поля наблюдал в это время за схваткой «железных людей» ординарец Кутузова фон Дрейлинг! Но стрелки часов истории не стоят на месте: не прошло и года, как русские и саксонцы стали друзьями. Да еще какими! Дрейлинг горестно переживал расставание с «славными саксонцами»: «...Прекрасные отношения между генералом Тильманом и мною, которые выработались в продолжение двух лет моей службы у него, должны были прекратиться. Мне удалось за это время заслужить любовь и уважение как со стороны генерала, так и со стороны товарищей. Одинаковое звание, одинаковая судьба, одни опасности и радости свя-

зывали нас. Каждый из нас уважал в другом храброго солдата и любил его как друга. Расставаясь, мы искренне горевали и утешались только надеждой на то, что увидимся еще в продолжение предстоящей кампании или за зеленым полем»²⁵.

Бесперывная полоса войн в Европе не только разъединяла людей разных национальностей, но и способствовала установлению дружеских отношений, иногда даже весьма крепких. Денис Давыдов поведал историю, характеризующую взаимоотношения между офицерами враждующих армий вне поля битвы: «Генерал Чаплиц объявил мне, что какой-то французский офицер, раненный в последнем сражении, спрашивал обо мне, или, лучше сказать, осведомлялся, нет ли в армии нашей гвардии поручика Давыдова? <...> Я тихо и осторожно подошел к кровати страдальца и объявил ему мое имя. Мы обнялись как будто родные братья. Он спросил с живейшим участием о брате моем; я благодарил за сохранение мне его и предложил себя к его услугам. (Старший брат Дениса Давыдова — Евдоким был ранен под Аустерлицем в 1805 году и находился в плену во Франции, где и подружился с офицером наполеоновской армии. — Л. И.) Он на это отвечал мне: «<...> Без сомнения, между пленными есть раненые моего взвода; не можете ли вы исходатайствовать у начальства двух или хотя одного из моих конно-гренадер для нахождения при мне. Пусть я умру, не спуская глаз с мундира моего полка и гвардии великого человека». Я, разумеется, поспешно исходатайствовал у Беннигсена и Чаплица позволение выбрать из толпы пленных двух конно-гренадер взвода Сюрюга, и, сопровождаемый двумя его усачами, осененными медвежьими шапками и одетыми в полной форме, я явился через два часа к нему. Нельзя изъяснить радости несчастного моего друга при виде своих сослуживцев. Изъявлению благодарности не было бы конца без просьбы моей прекратить порывы сердца, столь изнурительные в его положении. Двое суток я ни денно, ни ночью не оставлял Сюрюга; на третьи все кончилось: он умер на руках моих и похоронен на Кенигсбергском кладбище. За гробом шли двое упомянутых французских конно-гренадер и я — поручик

русской гвардии. Странное сочетание людей и мундиров! Глубокая печаль живо изображалась на лицах старых рубак, товарищей моих в процессии. Я был молод, я плакал»²⁶.

Истории, рассказанные «самовидцами» эпохи 1812 года, поневоле наводят на мысль: куда там до такой высокой дружбы героям романов А. Дюма! Но не будем забывать, что великий романист, будучи сыном наполеоновского генерала, искал и находил объекты для вдохновения в окружавшей его действительности. Он окружал своих литературных героев декорациями позднего Средневековья, но в этом отжившем антураже они жили в соответствии с нравами и обычаями наполеоновской эпохи, поэтому боевые офицеры начала XIX века разительно напоминают мыслями и поступками мушкетеров из бессмертного романа Дюма. Аналогии с «Тремя мушкетерами» возникают в описаниях коллективного содружества, когда целые полки чувствовали себя связанными крепкими узами товарищества. «Корпус офицеров делился на два отдела, под названием бонтонный и мовежанрский (дурного тона. — Л. И.). Между этими двумя отделами была резкая особенность, но этот раздел мгновенно сливался, как скоро речь шла о каком-нибудь деле, относящемся до чести полка и мундира или защиты обиженного офицера начальством»²⁷ — так вспоминал о днях своей молодости в Кавалергардском полку С. Г. Волконский. Ему вторит бывший лейб-улан Ф. В. Булгарин: «Славное было войско и скажу по справедливости, что Уланский Его Высочества Цесаревича Константина Павловича полк был одним из лучших полков и по устройству и выбору людей, и по тогдашнему духу времени превосходил другие полки в молодчестве. — Страшно было задеть улана!»²⁸ За оскорбленного тут же готовы были вступить все офицеры полка — и горе обидчику!

Дружба, запечатленная в воспоминаниях, безусловно, яркий след эпохи. Однако давняя история дружбы, предстающая в переписке, позволяет глубже и точнее судить о времени и людях.

...В начале XIX столетия в Петербурге жили четверо молодых людей, служивших в лейб-гвардии Преобра-

женском полку. Они принадлежали к высшим кругам общества, были прекрасно образованы, уверены в себе и чувствовали себя как дома при дворе и в особняках столичной знати, где они бывали желанными гостями на спектаклях, маскарадах, роскошных празднествах. «А иногда вся эта молодежь ездила в итальянскую оперу слушать музыку Боельдье, пение Ронкони и Занбони, а во французский театр — рукоплескать Туссень, которая, по свидетельству современника, могла бы поспорить мастерством своей игры со знаменитой “девицей Марс”»²⁹. Других забот, помимо службы, у них не существовало. В беседах они порицали «гатчинские порядки» в армии, доставшиеся в наследство от скоротечного царствования Павла I: бесконечные вахтпарады, учения и караульную службу. В Европе в это время царило затишье, даже Франция, находившаяся под управлением Первого консула Наполеона Бонапарта, заключила недолгий мир со своим вековым врагом — Англией.

Старшим и самым знаменитым среди товарищей был Сергей Никифорович Марин, стихотворениями и эпиграммами которого зачитывались в обществе, гвардейская молодежь ловила на лету и повторяла его острые словца. Петербургские красавицы не оставались равнодушными к его ухаживаниям, потому что Марин был «живой, общительный, красивый по внешности». За плечами блестящего гвардейца было участие в дворцовом перевороте 11 марта 1801 года, где он отличился решительностью и отвагой, скомандовав в критический момент: «Ко мне, бывшие гренадеры Екатерины!.. Выходите из рядов! Будьте готовы к нападению!.. Если эти мерзавцы гатчинцы двинутся, принимайте их в штыки!» Император Александр I не скрывал своего расположения к Марину.

Вторым в этой компании был не кто иной, как граф Аркадий Александрович Суворов-Рымникский, сын великого русского полководца. Одного этого уже было достаточно, чтобы пользоваться вниманием и почетом при дворе. Детство Суворова-младшего было отягощено скандальным разводом родителей: Суворов-старший отверг свою жену Варвару Ивановну, урожденную Прозоровскую, «за неистовства», которым она преда-

валась в обществе посторонних мужчин. Детей полководец матери не оставил, страстно любил дочь Наташу («Суворочку»), к сыну же относился довольно холодно. В 1799 году Павел I отправил Аркадия Александровича к отцу, возглавлявшему армию в войне с французами. 15-летний генерал-адъютант отличился в Итальянском и Швейцарском походах безудержной храбростью, чем и растопил лед в сердце отца. Аркадий был рослым красавцем, в войсках его обожали за знаменитую фамилию, доброту и широту души. Правда, «злые языки» утверждали, что граф Аркадий Александрович «худо образован» и едва ли умеет читать и писать, но это было явное преувеличение: по-французски сын «Российского Марса» говорил отлично. Друзья в шутку прозвали его «Бижу», что в переводе с французского означало «драгоценность». Молодой граф отличался крайним легкомыслием, неумеренностью в расходах, и даже женитьба на светской красавице М. А. Нарышкиной и рождение четверых детей его нисколько не остепенили — всему на свете «Бижу» предпочитал охоту и веселую дружескую компанию.

Третьим в кругу друзей был Дмитрий Васильевич Арсеньев, о котором известно меньше, чем обо всех остальных. Главными чертами этого белокурого и голубоглазого офицера-преображенца, по-видимому, была излишняя чувствительность и влюбчивость, наделавшие ему немало бед. Именно этим свойствам его характера следует приписать склонность к меланхолии, которая постоянно вызывала тревогу у его друзей.

И все же самым заметным в этой четверке оказался граф Михаил Семенович Воронцов, несмотря на то, что в светском обществе Петербурга он объявился гораздо позднее своих товарищей. В 1801 году он прибыл из Англии, поступив подпоручиком в Преображенский полк. Как ни блистателен был умудренный годами гвардейский поэт Марин, однако душой компании сразу же сделался юный Воронцов. Друзья вскоре окрестили его «Костюем» («лихачом»). Красивая наружность, молодцеватая подтянутость, непринужденная общительность, огромное состояние в сочетании с прекрасным домашним образованием, полученным в Англии под тщатель-

ным наблюдением отца, русского посланника в Лондоне, — казалось, все благоприятствовало стремительной придворной карьере. Для единственного наследника знаменитого рода Воронцовых военная карьера могла стать отнюдь не целью, а лишь дополнительным средством преуспеть в жизни, по выражению Суворова, «побочным талантом». И вдруг в 1803 году, когда на Кавказе началась война с Персией, граф Михаил Воронцов, вопреки желанию родственников и к величайшему изумлению друзей, избалованных столичной жизнью, отправился добровольцем на театр военных действий. При этом он отказался от преимуществ, даваемых придворным чином камергера, и как был в чине поручика, так и вступил на ту единственную стезю, о которой мечтал. Вдогонку за Воронцовым тут же полетело послание, «продиктованное дружбой». Оно начиналось стихотворными строками С. Н. Марина:

Все, что взор мой повстречает,
Ночи тьма и солнца свет,
Все, мне кажется, вещает:
Воронцова с тобой нет!

А далее сообщалось: «И всякий раз при этой мысли я готов плакать. Ты не поверишь, мой милый друг, как скучно привыкать быть без тебя. В наших играх, удовольствиях, в огорчениях недостает любезного Миши, и слова: *Нету с нами Воронцова* сделались окончанием всех наших разговоров. Сам *Бижу* по нескольку раз в день их повторяет. <...> Ты уверен, что истина водит пером моим и что друзья твои достойны тебя хоть тем, что умеют любить тебя, как ты стоишь»³⁰.

Воронцов совершил поступок, после которого вся предыдущая жизнь стала казаться ненастоящей не только ему, но и его друзьям, среди которых наиболее чутким к произошедшей в их дружбе перемене оказался С. Н. Марин. Сначала он подшучивал над геройским порывом своего юного друга: «Ты не поверишь, Воронцов, как весело быть твоим другом; где ни заговорят о молодых людях, везде ставят в пример совершенства тебя»³¹.

Избалованному гвардейцу представлялось, что его друг скоро одумается: «...Плюнь на эту проклятую Гру-

зию, в которой быв, ты подвергаешь себя всякую минуту опасности, и приезжай к нам. Знаешь ли, что эта треклятая язва не выходит у нас у всех из головы, потому что все узнали, что у вас там она празднует. Ну, ежели ты занеможешь! Этого не должно случиться с тобою, потому что друзья твои всякую минуту просят Бога, чтоб сохранил тебя от всякой болезни»³². Однако Воронцова не пугали ни опасности, ни моровая язва, ни убогие квартиры, в которых «от дыму» разъедало глаза. Военные приключения и походная жизнь притягивали его, отвлекая все больше и больше от столичных развлечений. И вот уже Марин с обидой сетует на необязательность своего «войнолюбивого» друга, не отвечающего на письма: «Молчание вашего сиятельства не зная к чему приписать, беру смелость просить вас, чтобы вы, прервав оное, удостоили меня уведомлением о вашем вожделенном здравии. <...> Хотя ты не стоишь, чтоб я писал к тебе, но какая-то невидимая сила влечет меня и заставляет сказать тебе два-три слова. Я думаю, что это сила дружбы, недостойный Костуй! То ли ты обещал»³³.

«Недостойный Костуй» отвечал веселыми и бодрыми «отписками», как будто там, где он находится, смертельной опасности вовсе и не существовало: «С каким удовольствием буду я тебе на словах рассказывать, что делается в Грузии, когда приеду в Петербург! Наперед должен тебе сказать, чтоб ты мне приготовил несколько бутылок хорошего вина, хотя оно мне и покажется дурным после здешних. Славное Кахетинское вино сделало из меня пьяницу. Ты этому не поверишь, а ей Богу, правда!»³⁴ Отсутствие друга, который и не думает возвращаться к «мирным забавам», вызывало у Марина отчаяние: а вдруг в глазах Воронцова он выглядит малодушным? «Зная, что ты шатаешься по диким сторонам с непобедимым Российским войском, я покоен так, как может быть покоен человек, у которого друг подвержен вседневным опасностям. Воронцов! Ты знаешь меня: <...> я бы дорого заплатил, чтобы быть с тобою. Из людей, которых я встречал в жизнь мою, никто не умел сделать то, что ты со мною сделал. Я не привыкну думать, что мы далеко друг от друга. Верь мне, любезный друг, что слеза брызнула из глаз моих. Скоро ли я

тебя увижу? Увижу и не расстанусь. Да, Костуй, не расстанусь. <...> Мне, право, стыдно писать к тебе о комедиях и балах тогда, когда ты пишешь к нам о сражениях. Береги себя: вот просьба всех твоих друзей и наша с Арсеньевым; я говорю наша потому, что не ставлю себя и его в счет обыкновенных друзей. В дружбе, как и в любви, есть ревность...» А что же Воронцов? Он, по-прежнему, не торопился в столицу, вызывая беспокойство друзей, смешанное с восхищением: «Четыре месяца проходят, нет ни строчки. Слухи, прошедшие у нас, что войско в опасности <...> нас совсем расстроили; мы не знали, что думать, и по долгом совете на даче положили, что ты едешь в Россию и сидишь в карантине. Не зная, куда писать, мы решили ждать от тебя писем, как вдруг на маневрах сказывают мне, что вы все разбили и подхватили Еривань, что Костуй очень отличился и что получил в награду чин и крест». Да, граф Воронцов с боя взял самую почетную для офицера награду — орден Святого Георгия 4-й степени: он вынес на себе из окружения своего тяжело раненного начальника — полковника Котляревского.

Пример друга решил все сомнения. В начале 1805 года Марин извещал Воронцова: «Надобно сказать тебе кой-что и об Арсеньеве, который теперь в Корфу, куда около двенадцати тысяч нашего войска послано. Ты помнишь, что прошедшей зимой он собирался оставить Петербург и ехать с А. Л. Нарышкиным путешествовать; но как он остался, то Арсеньев, не хотя никак жить в столице, просился к тебе в Грузию, в чем бы, конечно, и успел, если б отец его не запретил ему. Но нынешним летом узнал он об экспедиции в Корфу и был столько счастлив, что Государь, снисходя на его просьбу, ехать ему туда позволил»³⁵. В том же году Россия в союзе с Австрией вступила в войну с Наполеоном. В это время Марин написал слова знаменитого «Преображенского марша»: «Пойдем, братцы, за границу, бить Отечества врагов». Под этот марш отправился в поход и сам поэт. Всю дорогу его не оставляли грустные предчувствия, которые, к сожалению, страшным образом оправдались: в неудачном для русской армии сражении при Аустерлице, где гвардия понесла значительные потери,

Сергей Марин был жестоко ранен картечью в голову, в левую руку навывлет и двумя пулями в грудь. Одна пуля так и осталась в груди, став впоследствии причиной его смерти. Наградами за Аустерлиц стали золотая шпага с надписью «За храбрость» и чин штабс-капитана. Таким другом Воронцов мог гордиться всю жизнь, но это была не последняя война в их жизни.

В 1806 году боевые действия против наполеоновской Франции велись уже на территории Пруссии. Первым оставил Петербург «Костуй», состоявший адъютантом при генерал-лейтенанте графе А. И. Остермане-Толстом. В сражении под Пултуском 14 декабря 1806 года Воронцов был тяжело ранен в ногу. Его друг Марин, не оправившись от ранений, находился в Петербурге и переживал за друзей, каждую минуту опасаясь их лишиться. Так, до него дошли неверные слухи, что Дмитрий Арсеньев погиб, но вскоре Воронцов успокоил Марина известием, что их товарищ жив, но попал в плен под Ландсбергом 25 января 1807 года. И снова Марин оказался в невыносимом для него положении «оппонента по переписке». Все его друзья находились в армии, и он только следил за ними издали, не подвергая свою жизнь опасности: «Благодарю тебя за известие об Арсеньеве. Проклятый полковник, сколько он мне сделал горя! Но благодарю Бога, что он жив, я ему прощаю <...>. Ты восхитил меня описанием дел Суворова. Верно, никто так в Петербурге не рад этому, как я...»

Наконец, в отношениях Воронцова и Марина возникла определенная натянутость, усугубившаяся очередным посланием из Петербурга: «Когда ты получишь письмо мое, то уже будешь знать, что гвардия в походе; а я остался при графе Татищеве. Надеюсь, однако ж, быть у вас, только не в фрунтовых; кто один раз был в линейном сражении, тот знает, что наш брат ничего сделать не может»³⁶. Известный стихотворец, сибарит и домосед Сергей Марин, к тому же израненный в сражении и, вероятно, сытый по горло своим военным опытом, пытается объясниться с «сиятельным Костуем». Что точно ответил своему другу граф Воронцов, неизвестно, да и вообще, ответил ли? Он в это время дрался с неприятелем под Гейльсбергом, невзирая на

недавнюю рану. Следующее письмо Марина звучит отчаянно: «Прошу тебя, напиши мне, что ты думаешь о том, что я теперь остался в Петербурге. <...> Я вырвусь, ежели ты скажешь, что это мне нужно; твоя мысль заставит меня взять решительные меры. Уверен, что ты будешь говорить откровенно. <...> Вот мое положение. Тебе нечего описывать мое состояние: оно тебе известно; так ты, сличив то и другое, реши, мой друг, и я слепо повиноваться буду»³⁷. И снова неизвестно, что ответил Воронцов. Есть вопросы, которые каждый для себя решает сам: пригласить друга на войну — это не то что пригласить на ужин.

О! будь же, други, святость уз
Закон наш под шатрами;
Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями.

Дружить всегда было непросто, а в ту эпоху особенно. Марин выбрал дружбу, где изначально не было равенства, а были «ведущий» и «ведомый». Марин добровольно согласился на роль «ведомого», потому что в дружбе для него заключался смысл жизни: «Любезный друг Миша. Государю угодно было сделать меня батальонным командиром и верить мне батальон стрелков милиционных. Я с ними выступаю через две недели. В моем чине это очень хорошо. Приду к вам, мой друг, и буду по-прежнему делить вместе палатку и труды»³⁸. Под Фридландом 2 июня 1807 года Марин был ранен осколком гранаты в голову; его «отличная храбрость» была награждена орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом, а государь назначил его своим флигель-адъютантом.

Но чины и награды, раны на поле чести, сочиненные им самим патриотические стихи и песни — все это так и не настроило Сергея Марина на воинственный лад. Будучи старше своих друзей годами, он не смог сжиться с новой эпохой, сильно отличавшейся от величавой степенности Екатерининского века. Он не мог привыкнуть к бесконечным расставаниям, ставшим повседневностью для России, «объятой кровавой заботой». Деятельный «Костуй» чувствовал себя на войне в сво-

ей стихии: честолюбивый и бесстрашный, он «жил бескрайностью дорог» и не собирался ничего менять в своей жизни. Если вспомнить высказывание Фридриха II, что люди бывают храбрыми не только из чувства чести, но и по темпераменту, то следует признать, что из четверых друзей Марин и Арсеньев относились к первому типу, а Воронцов и Аркадий Суворов — ко второму. Наблюдая за служебными успехами друга, Марин пишет Воронцову: «Будь жив и здоров и помни, что хотя я с тобою редко вижу, но верно дружба моя сильнее всех тех, которые тебя окружали. Я это могу сказать утвердительно». Беда Марина состояла в том, что он всегда был склонен к созерцанию, размышлению и постоянству, Воронцов жил интересами службы, не мыслил себя без новых впечатлений и широкого круга знакомств, что в те времена в военной среде называлось «рассеянностью». В черный день, когда его особенно донимали раны и одиночество, Марин доверил бумаге одно из самых мрачных своих стихотворений «К друзьям»:

Бойтесь разделить с приятелем вы скуку.
До тех пор ласковы, доколь я был здоров.
Теперь же болен я — и несколько часов
Мне уделить нельзя. Вы отвратили взоры,—
И лестница моя для вас Кавказски горы —
Вам пропасть кажется там каждая ступень.

«Кавказский» антураж, возникший в воображении огорченного и обиженного невниманием поэта, указывал в первую очередь на «недостойного Костюя». Верное и трепетное сердце Марина постоянно разрывалось страхом лишиться кого-либо из своих товарищей, пусть даже на поле чести, куда они так отважно стремились. Эти строки вышли из-под пера Марина в ту пору, когда все четверо были еще живы:

И так, друзья, схватясь руками
Вокруг вечернего стола,
Мы клятву подтвердим сердцами,
Друг друга охранять от зла.

Однако «зло» обрушилось на друзей внезапно и совсем не с той стороны, откуда его ждал Марин. Дмитрий

Арсеньев, уцелевший «среди кровавых боев», благополучно возвратившийся из французского плена, в конце 1807 года был убит на дуэли графом Иринархом Хреbtовичем, с которым он дрался «из-за горячности характера». Секундантом Арсеньева был граф Воронцов, для которого это была едва ли не самая первая тяжелая потеря в жизни. Еще летом 1805 года он писал в письме Арсеньеву: «Знаешь ли ты, что я Марина еще больше полюбил, как увидел, как он к тебе привязан!» — и вот одного из близких и когда-то беззаботно веселых друзей не стало. Воронцов был скуп на слова и сдержан в эмоциях, к тому же в день гибели Арсеньева он ухитрился быть секундантом еще на двух поединках чести, но Марина потрясло «своеволье» Арсеньева:

Но пред тем как расставался
С телом твой скорбящий дух,
Ты забыл, зная, что остался
У тебя здесь верный друг!

Говорят, что беда не приходит одна. 11 апреля 1811 года не стало и Аркадия Суворова. Казалось бы, совсем недавно друзья в письмах «перемывали кости» своего нерадивого приятеля, в шутку собираясь с ним расправиться: «Что тебе сказать о Бижу? Так же глуп, так же неносен, как и прежде; часто с Шаховским мы жалеем, что не живем в Италии, где за несколько копеек добродушный итальянец с помощью стилета избавит тебя от скучного уroda. Вообрази, что мы не видали Бижу целую весну: занесся в чистые поля, да там и пропал. Пожалуйста, напиши к нему, что у вас много дичины; может, он к вам и поедет; а ты постарайся столкнуть его в Казбек: сим ты заслужишь бессмертие»³⁹. Могли ли Воронцов и Марин предвидеть, что злой рок уже подстергал «Бижу». И эта потеря также оказалась «не боевой». Сын великого русского полководца погиб так же бесшабашно и лихо, как и жил, не дотянув, как и Арсеньев, до 30-летнего возраста. «Этот молодой герой, полный надежд, всеми любимый, переезжая (несмотря на убеждения в невозможности переезда), по привычному бесстрашию, в коляске с генерал-майором Удомом, Рымник (ничтожный ручей, но тогда надувшийся

от наводнения) был опрокинут и увлечен быстринною. Удом был спасен, а Суворов отыскан уже трупом в той же реке, коей славное название Рымникского он наследовал от отца в память бессмертной победы. Горесть армии была общая <...>⁴⁰. Среди офицеров ходили слухи, что сын генералиссимуса погиб, пытаясь спасти своего пьяного кучера, опрокинувшего в реку карету. Кучера «Бижу» спас, а сам не выплыл...

Жизнь тем временем шла своим чередом. Граф Воронцов, воюя с Турцией, «ходил за Дунай», во главе Нарвского пехотного полка взял штурмом крепость Базарджик, осаждал крепость Варну, сражался под Шумлой с великим визирем Юсуфом-пашой и в 1810 году в 28 лет был произведен в генералы. Его друг Марин с головой погрузился в милые его сердцу литературные интересы. В Северной столице он вместе с известными деятелями русской культуры — Г. Р. Державиным, А. Н. Олениным, И. А. Крыловым, А. А. Шаховским, К. Н. Батюшковым стал издавать «Драматический вестник». 14 марта 1811 года на торжественном открытии «Беседы любителей русского слова» Марин был торжественно принят в члены этого общества. Он обрел привычный комфорт среди единомышленников и собратьев по перу, в обстановке вдохновения и творчества, но... на берегах Дуная лучший друг генерал-майор граф Воронцов по-прежнему распечатывал письма, содержащие знакомые упреки: «Пожалуйста, пиши ко мне, мой добрый Костуй. Недавно я перечитывал твои письма из Грузии и нашел, что в теперешних мало свежести. Может быть, тебе и некогда писать много; но все можно сказать слова два-три; хоть делай мне поручения и докажи, что ты меня все помнишь»⁴¹.

Но вот грянул 1812 год, и друзья снова вместе. Воронцов — начальник 2-й сводно-гренадерской дивизии во 2-й Западной армии князя П. И. Багратиона, в Главную квартиру которого полковник Марин получил назначение дежурным генералом, хотя здоровье подводило его все чаще, а пуля, оставшаяся в груди со времен Аустерлицкой катастрофы, давала о себе знать все сильнее. Марин выполнял «черную, незаметную работу» при штабе, не щадя последних сил, заботился о

снабжении армии. «Костуй» сражался во главе дивизии под Миром, Романовом, Салтановкой, Смоленском. В битве при Бородине он геройски оборонял Семеновские флеши, где, отбивая яростные атаки неприятеля, на глазах у Воронцова полегла почти вся его дивизия, а сам «Костуй», тяжело раненный в ногу, был увековечен В. А. Жуковским как символ доблести и чести русского воинства в 1812 году:

Наш твердый Воронцов, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась,
Когда полмертв, окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями.
Смотрите... язвой роковой
К постели пригвожденный,
Он страждет, братскою толпой
Увечных окруженный.

Ему возглавье бранный щит;
Незыблемый в мученье,
Он с ясным взором говорит:
«Друзья, бедам презренья!»

Воронцов отбыл на излечение в свое село Андреевское, где на свои средства устроил госпиталь. Именно там, в окружении «братской семьи увечных», 21 декабря 1812 года он получил последнее письмо от последнего друга: «До свидания, друг и командир. Помни <...> и люби Марина». В те времена слово «до свидания» имело, пожалуй, то же самое значение, что в наши дни имеет слово «прощай», так как речь здесь шла о свидании уже в ином мире. «Генваря 1-го 1813 года» Сергей Никифорович Марин написал и последнее в своей жизни стихотворение, посвященное победе России в войне 1812 года. 19 февраля 1813 года он скончался в Петербурге. В день похорон Арсеньева («Бижу» был в отъезде) Воронцов, с несвойственной ему печалью, сказал Марину: «Нас осталось двое». И вот он остался один.

Оправившись после ранения, Воронцов вернулся в армию, с которой дошел с боями до Парижа. В кру-

гу соратников, в дыму сражений он не ощущал в полной мере пустоты, которая вокруг него образовалась. В 1815—1818 годах он возглавлял русский оккупационный корпус во Франции, а при отбытии в Россию заплатил из собственных средств все долги, сделанные его офицерами, тем самым сильно подорвав собственное материальное благополучие. Подобно своему бывшему начальнику князю П. И. Багратиону, он женился на внучатой племяннице могущественного екатерининского вельможи Г. А. Потемкина графине Е. К. Браницкой (двоюродной сестре княгини Е. П. Багратион), поправив за счет грандиозного приданого свое состояние. Семейная жизнь не заполнила ту часть его сердца, которая некогда принадлежала ушедшим друзьям. Он пережил и их, и свое время. Воронцов понял это, вернувшись из Франции в Петербург, в котором все напоминало ему об утратах. Он редко бывал в Северной столице: оставшуюся часть жизни он провел на окраинах Российской империи. Но Воронцов был воин, и он сражался с новым врагом — скукой и одиночеством — так же, как сражался с врагами на поле чести. В его жизни случалось еще многое: он был новороссийским генерал-губернатором и наместником в Бессарабии и на Кавказе, воевал, странствовал, строил города, порты и дворцы, «споспешествовал торговле и образованию», дослужился до чина фельдмаршала. Но друзей в его жизни — тех единственных, всегда помнивших о нем, все ему прощавших и писавших длинные письма, на которые в молодые «грозовые» годы не хватало времени отвечать — больше не было. Неслучайно письма называют «запекшейся кровью эпохи». Весь остаток жизни (а жить по окончании Наполеоновских войн ему предстояло еще столько же, сколько было прожито) «храбрый Костуй» хранил послания своих друзей как бесценное сокровище. Для многих военных «время славы и восторга» осталось реальностью, где они продолжали жить, в то время как вся последующая жизнь воспринималась ими как воспоминание, от которого они вновь и вновь сбегали в прошлое. В этом незабываемом прошлом граф Михаил Семенович Воронцов так же, как и многие его соратники, навсегда похоронил

свое сердце. Один из участников тех событий попытался выразить это чувство словами: «При воспоминании *прошлого* кажется мне, будто жизнь моя расширяется и увеличивается и будто я молодею! Нынешнее единообразие жизни исчезает — и я смешиваюсь с оживленными событиями прошлого времени, вижу перед собой людей замечательных или для меня драгоценных, наслаждаюсь прежними радостями и веселюсь минувшими опасностями, прежним горем и нуждой».

Глава шестнадцатая

ЛЮБОВЬ

...И все это он рассказывал мне совсем не шуточно, но с тяжелыми вздохами и навернувшимися слезами...

Н. А. Дурова. Записки кавалерист-девицы

Люди ХХI века начитаны, наслышаны, навиданы, по выражению Петра I, «до сытости» о том, что мужчина — существо примитивное, лишенное способности чувствовать тонко и глубоко. Но разве всю великую русскую литературу создали не мужчины? Разве любить и чувствовать, а главное — сострадать целые поколения людей не только в России, но и во всем мире учились не по Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Чехову? А появилась эта великая литература, начиная с Пушкина и Лермонтова, лишь после того, как объявился читатель, которому было адресовано творчество отечественных классиков, и первыми среди читателей были наши герои — те, кто олицетворял собой эпоху 1812 года.

Первое слово конечно же «Анакреону под доломаном», Денису Давыдову, в воспоминаниях которого запечатлен многоликий образ той поры: «Сердце мое может включить в каждую кампанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий. Любовь и война так разделили между собою все прошед-

шее мною поприще; донныне я ничем не поверяю хронологию моей жизни, как соображая эпохи службы с эпохами любовных ощущений, стоящими, подобно геодезическим вехам, на пустынной моей молодости»¹.

Александр Чичерин вел свой дневник, постоянно вопрошая себя, а уместно ли, прилично ли будет по окончании боевых действий показать свои записи сестре, знакомым дамам, воображаемой возлюбленной. Юный гвардеец не дожил до конца «большой войны», но слова, продиктованные «волнением сердца», остались. Их автор тревожил себя напрасно: эти строки не могут оскорбить даму самого строгого и взыскательного вкуса. В 1812 году 19-летний офицер признался самому себе: «До сих пор я участвовал только в одном сражении, то есть занимался своим ремеслом лишь 14 часов. А все остальное время я вздыхал по удовольствиям чудесного мира, украшенного прелестным полом, оживленного его остроумием и очарованием»². В 1813 году он сделал несколько содержательных наблюдений, характеризующих «внутреннюю природу» как своих сослуживцев, так и «прелестного пола». Во время похода по Германии Чичерин с удивлением отметил: «Когда мы были близко от города, навстречу нам вышло десятка три женщин. Как далеко они ни были, каждому офицеру понадобилось, как я заметил, что-то исправить в своем туалете. Насколько же велика притягательная сила прекрасного пола, если, несмотря на усталость, стараешься понравиться женщине, с которой встречаешься лишь на несколько секунд и которую никогда более в жизни не увидишь. Музыканты заиграли красивый вальс, и мы не обманулись в своем ожидании: прелестные оживленные лица, милые улыбки, нежные взоры вознаградили наше внимание»³. Обладательницам «нежных взоров» посвящена целая глава, которая так и названа — «Женщины». Чичерин посвятил ее разбору такого важного предмета, как ревность в различных социальных слоях общества: «Неужели ревность умеет пробираться в самые невинные сердца и осквернять их чистоту зловонным дыханием? Возможно ли, чтобы зависть и ревность не были внушены молодой прекрасной женщине светом, а родились сами в ее ду-

ше? Эта мысль мучила меня, я всегда был защитником прекрасного пола, который связывает наше общество дружеским единением. <...> Непрестанно думая об этом, я надеялся найти среди крестьянок чистоту чувств, которая составляет главнейшую часть женского очарования.

Вчера я дразнил Розу тем, что она долго гуляла. «Нет, — сказала она, — мне не свойственно увлекаться удовольствиями; я всех избегаю, чтобы мне не знать искушений».

— А ее уже не раз удавалось уговорить, — шепнула мне на ухо Тереза, — и этот корсаж она сшила не на доходы от продажи плодов.

— Ты ее, значит, не любишь? — сказал я Терезе.

— Нет, — отвечала Тереза, — природа дала мне больше прелести, и меня находят более хорошенькой; вот почему я ее не ненавижу.

Я посмотрел на нее пораженный: мне казалось, что предо мной светская женщина, что я в гостинной, но увы, приходилось верить глазам: оказывается, и крестьянки могут быть злыми кокетками, и они подвержены ревности»⁴.

Говоря о знаменитых «историях любви» начала XIX столетия, которым сопереживала вся российская армия, нельзя не упомянуть о сердечной привязанности государя Александра Павловича. Современник писал в мемуарах: «Кому в России не известно имя Марии Антоновны? Я помню, как в первый год моего пребывания в Петербурге, разиня рот, стоял я перед ее ложей и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви ее с Императором я не позволил бы себе говорить, если бы для какого-нибудь она оставалась тайной; но эта связь не имела ничего похожего с теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными»⁵. Правда, не каждый подданный одобрял эту всем очевидную связь. Верный семьянин генерал-майор князь В. В. Вяземский рассуждал так: «Пусть мужчины (так в тексте. — Л. И.) обратятся к своим долж-

ностям, наши женщины им соревнуют и будут знать должности: матери, хозяйки, жены, — лишь только изгони проклятую методу жене мешаться в дела мужа и любовницу вельможи называть курвою тайного канцлера, а не Аксиныей Антоновной, Марьею Ивановной, etc, etc»⁶. Конспирация в этом случае слишком прозрачная, стоит лишь поменять местами порядок женских имен и отчеств, взятых в качестве примера, чтобы догадаться, кого имел в виду строптивый генерал. Можно заподозрить его в пристрастности: в царствование Александра I военная карьера князя В. В. Вяземского складывалась неудачно, и император к нему не благоволил. В военное время случалось всякое, и самому генералу, наконец, в 1812 году судьба послала искушения, которым он, однако, мужественно противостоял: «*Июнь, 27-го*. Местечко Антонополь имеет до 200 домов <...>. В сем местечке девичий пансион. Родители разобрали девушек и осталось только 12. В нем была моя квартира. Все малютки, одна только 16-летняя прекрасная Высоцкая, другая 14 — совершенная красота Скульская. *Июнь, 30-го*. Я, объезжая передовые посты рано очень, заехал в деревню, где были мои пансионерки. Все вскочили, в одних рубашонках, с открытыми грудионками, целовали мне плечи. Полная грудь Высоцкой прелщала (так в тексте. — Л. И.) меня, и я, шутя, начал ее целовать и, опустя мой взор к земле перпендикулярно, видел всю Высоцкую. Какое надобно было терпение! Боже, это моя Катя в 16 лет. — Прости, Катинька, сравнение, ей-богу, хорошо <...>. Проклятый Шталь прискакал во всю прыть сказать, что отряд неприятеля около деревни. Прости, ангел Высоцкая!»⁷

Государь же объяснял причину своего увлечения Марией Антоновной, которую в обществе величали на античный манер «Прекрасной Аспазией», не кому-нибудь, а французскому послу Арману де Коленкуру в 1808 году: «Есть в жизни минуты, когда чувствуешь потребность не быть государем; особенно приятно быть уверенным, что вас любят ради вас самих, что расточаемые вам внимание и ласки — не жертва, которая приносится из честолюбия и корыстолюбия». При этом Александр Павлович добавил: «И у вас, генерал, будет предмет. Мо-

жет быть, *она* придет?» Французский историк А. Вандаль справедливо заметил: «Чувствительное и нежное сердце Коленкура было беззащитно против такого способа обращения»⁸.

Сам того не ведая, государь задел самую чувствительную струну в сердце наполеоновского генерала: Коленкур был давно уже влюблен в госпожу де Каннизи. Предмет его обожаний находился в разводе со своим первым супругом, а Наполеон, как известно, терпеть не мог разводов (что, впрочем, не помешало ему самому развестись с императрицей Жозефиной) и запретил Коленкуру жениться на своей избраннице. Надо ли говорить о том, что дружеское внимание русского императора сразу же привлекло сердце французского посланника, огорченного нечутким обхождением собственного сюзерена? Аристократическое происхождение Коленкура давало себя знать: невзирая на верность Наполеону, реализовать свои амбиции в полной мере он смог отнюдь не при грозном повелителе, чей двор, по словам Стендаля, «напоминал вечер на биваке».

Красивый, элегантный, с изысканными манерами, Коленкур с головой окунулся в водоворот светской жизни «военной столицы» настолько, что этого не мог не ощутить Наполеон, полушутя-полусерьезно называвший его «старым куртизаном двора Александра». Французский посланник сделался заметной и неотъемлемой фигурой петербургского общества, что нашло отражение в воспоминаниях русских офицеров, пребывавших в столице. Вспомним фразу нашего государя: «И у вас, генерал, будет предмет. Может быть, она придет?» Так вот: «она» не приехала, оставшись в далекой Франции. Но в атмосфере всеобщего увлечения военными «заморский гость» недолго оставался неприкаянным. Вскоре в парижском обществе распространился анекдот, безусловно, опечаливший госпожу де Каннизи: «Рассказывали, что Коленкур, сильно ухаживающий за женщинами и мастер этого дела, не обратил внимания только на одну особу, хотя не менее других достойную любви. Она затаила в себе чувство горькой обиды и не щадила в своих разговорах блестящего офицера, все преступление которого состояло

в том, что он был к ней равнодушен. Узнав о ее вражде, Коленкур придумал способ отомстить ей, самый благородный и самый остроумный. С этих пор не было той предупредительности, того внимания и тех знаков нежных чувств, которых бы он не оказывал той, которая объявила себя его врагом. Он так искусно вел дело, что эта особа не только отказалась от своих предубеждений, но воспылала к нему страстной любовью и не скрывала этого от него. Его торжество было полным; даже чересчур. В самом деле польщенный и тронутый переменой, происшедшей в сердце, которое теперь беззаветно ему отдавалось, он не мог устоять и не разделить чувства, которое сам внушил, и не на шутку полюбил свою победу»⁹.

Действительно, военные в те времена воспринимали победы над женскими сердцами как взятие неприятельской крепости, а неудачи на любовном фронте рассматривали как «потерю сражения». Их чувства отражены в шуточном стихотворении С. Н. Марина «Военное объяснение»:

Как залп ужасный средь сраженья
Разит стоящих пред собой!
Так точно быв без защищенья,
Твоей сражен я красотой.

Без сердца стал я, как без шпаги —
Я под арест тобою взят.
И нет во мне такой отваги,
Чтоб штурмом взять его назад.
Твой взор, как пуля из винтовки,
Пробил мне сердце, как мишень.
С тех пор иду без остановки
К тебе марш маршем целый день!

Привалов никаких не знаю;
Хочу тебя атаковать.
Но только где лишь повстречаю,
То вдруг начну салютовать!

Пробьет поход в груди сердечко,
Спешу всю честь тебе отдать;
И жду командное словечко,
Ученье пред тобой начать.

.....

Наряду ждал и не дождался,
Со вздохом в очередь взглянул.
Приказу нет, чтоб я являлся
К тебе в бессменный караул.

Описывая сердечное увлечение Армана де Коленкура, французский историк из деликатности даже спустя столетие не решился назвать имя русской возлюбленной французского посланника. Но русские офицеры были отнюдь не так скромны. В. И. Левенштерн назвал в воспоминаниях имя петербургской красавицы, «пробившей взором» сердце наполеоновского генерала: ею была графиня Александра Дмитриевна Влодек, супруга флигель-адъютанта полковника М. Ф. Влодека, в 1812 году необоснованно заподозренного в шпионаже в пользу французов. Русские военные были оскорблены поступком светской красавицы, которая была столь откровенно непатриотична в своем увлечении. «Она слишком выставляла напоказ свою связь, и кажется, даже гордилась названием любовницы французского посланника», — сокрушался по этому поводу В. И. Левенштерн¹⁰.

История графини Александры Дмитриевны Влодек — не единственный случай приязни между офицером неприятельской армии и петербургской дамой большого света, который подлежал широкому обсуждению в офицерской среде, что характеризует нравы военных того времени. В свите Коленкура находились, по его же настоянию, офицеры «хороших фамилий», пользовавшиеся успехом у «прелестного пола». Об одном из них мы узнаем из дневника П. С. Пущина (запись сделана накануне войны 1812 года): «После развода Его высочество нас всех удивил прочтением письма какого-то французского офицера к одной русской барыне в Петербург. Хотя особа не была названа, но каждый из нас ее узнал сейчас же. Письмо это заключало в себе выражение любви и привязанности, которые офицер сохранял к своей прекрасной возлюбленной; он напоминал ей про счастливое время, проведенное вместе, и говорил о тяжкой разлуке, которая до сих пор лишала его всякой надежды опять увидеться. Но теперь, говорил он, блеснул луч надежды: утверждают, что у нас бу-

дет война с Россией; если это справедливо, то двух выигранных сражений, без сомнения, достаточно, чтобы нам попасть в Петербург. Могут ли, продолжал он, ваши еще варварские, дурно дисциплинированные полчища противостоят гению нашего Императора? К этому прибавил он еще много грубого и плоского хвастовства и дерзко отзывался о русских, находившихся тогда в Берлине; но французская галантерейность не позволяла ему отзываться подобным образом о русских женщинах. В конце письма он спрашивал о ребенке, которого он имел от нее и который родился в Москве, просил дать о себе известия и заключал письмо уверениями в своих самых пламенных чувствах. В P. S. заключалась еще уморительная выходка: он просил приготовить ему хорошенькую квартирку в Петербурге, чтобы избавить его от труда искать себе квартиру, когда они (т. е. французы) там будут. Этот офицер был адъютантом генерала Удино; недавно произведенный в полковники, он подписывался L. G. Его письмо нас крайне потешало. По этому случаю Великий князь рассказал несколько анекдотов и рассуждал об обязанностях мужей в разных положениях жизни»¹¹. В отличие от В. И. Левенштерна П. С. Пущин не доверил дневнику имя «прекрасной возлюбленной». Что ж, Наполеон неспроста давал советы своим соратникам: «Воин должен одолевать боль и грусть, причиняемые страстями. Надобно иметь столько же мужества для перенесения с твердостью душевных страданий, сколько и храбрости, чтобы стоять каменной стеной против батарей»¹².

Как ни странно, слова Наполеона имели прямое отношение и к российскому императору. Рассказ А. И. Михайловского-Данилевского говорит сам за себя: «Государь, как известно, страстно любил Марью Антоновну Нарышкину, которая, однако же, невзирая на то, что была обожаема прекраснейшим мужчиною своего времени, каковым был Александр, ему нередко изменяла. В числе предметов непостоянной страсти ее был и граф Ожаровский. Я упомянул выше, что Государь приблизил к себе сего последнего после Фридландского сражения, в котором убили брата его: императора тогда уверили, что Ожаровский в сем брате имел искрен-

нейшего друга, а потому Государь, чтобы утешить его в сей потере, осыпал его милостями. Граф Ожаровский заплатил за сие неблагодарностию, заведя любовную связь с Нарышкиною. Государь, заметя оную, начал упрекать неверную, но сия с хитростию, свойственную распутным женщинам, умела оправдаться и уверить, что связь ее с Ожаровским была непорочная, и что она принимала его ласковее других, потому что он поляк и следственно ее соотечественник, и что она находится в самых дружеских отношениях к его матери. Вскоре, однако же, измена обнаружилась, ибо по прошествии малого времени Государь застал Ожаровского в спальной своей любезной и в таком положении, что не подлежало сомнению, чтобы он не был щастливым его соперником. Кто бы на месте Государя не отмстил дерзкому и удержал бы порыв своего гнева? Посмотрим, что сделал Александр.

Он призвал к себе своего соперника, им облагодетельствованного, и сказал ему: “Ты знаешь, сколь нещастий я имел в жизни, но у меня оставалась одна отрада, единственное утешение в свете — в любви Марьи Антоновны, и ты, похитив ее сердце, лишил меня моего благополучия, но мстить я тебе не стану; дружеская связь, до сего времени между нами существовавшая, прерывается; ежели ты желаешь, то ты можешь оставаться по-прежнему при мне генерал-адъютантом. Я тебе не буду ни в чем отказывать и позволяю тебе отныне впредь просить всего, что ты ни пожелаешь. Вот мое мщение”.

После сего объяснения граф Ожаровский имел дух не покинуть двора, он получил много наград и все просьбы его бывали удовлетворяемы. <...> Для меня Александр, платящий сопернику своему благотворениями, останется тем более неподражаем, что ему стоило одного слова, чтобы его уничтожить, и что всякое наказание признано бы было действием справедливого гнева»¹³.

Многие ли из наших героев среди «опасностей войны» помнили о своей первой любви или эти воспоминания были полностью вытеснены из их сердец «рассеянностью, истинной средой всякого военного» (А. П. Ермолов)? Нет, как показывают дневники и воспо-

минания, многие бережно хранили в душе это чувство, не расставаясь с ним до конца своих дней. Я. О. Отрощенко было 16 лет, когда к нему «нечаянно нагрянула любовь»: «<...> Старушка вынула из печки горячие на тарелочке блины, сказала весело: “Вот, паничу, прислала вам Олимпиада Семеновна блинков”. Говоря это, поставила на стол тарелочку с блинами, прибавила: извольте кушать, но я остался в нерешимости, не прикасался к блинам. Во мне родилась мысль: не с худым ли намерением они присланы, не с тем ли, чтобы меня очаровать. Но старушка поняла мое сомнение и с усмешкой сказала: “Кушайте, не бойтесь, вот я первая съем один за ваше здоровье”. Мне стало стыдно, что она отгадала мысль мою, и тотчас стал есть блины, несмотря на то, что втайне я тревожился и не без причины: мне сказывали, что родной мой дядя Грицко был очарован девицей и умер. <...> А мне умирать еще не хотелось. После сего посещения Олимпиады Семеновны становились чаще и чаще. <...> Олимпиада вдруг подарила меня, вы думаете, чем? Поцелуем. Новое неизвестное еще мне приятное ощущение потрясло весь мой организм, сердце вздрогнуло и откликнулось на сей сигнал. Я тотчас в благодарность отплатил ей <...> тою же монетой с удвоенными процентами за несомненную ее ко мне доверенность»¹⁴. В наш рациональный век мало кто отягощает себя мыслями о чародействе при виде блинов, в те же годы, как видим, они посещали даже тех, кто «не кланялся пулям». Однако, несмотря на все опасения, юноша втайне от строгого и подозрительного отца ухитрился купить на ярмарке нехитрые, но весьма значимые подарки своей возлюбленной: «Я воротился, взял купленные мною на Кобыжской ярмарке три аршина пунцовой ленты и отправился по назначенному пути. У садовой калитки меня ожидала Олимпиада; мы бросились друг к другу с приветственными поцелуями. Разговорам здесь не было места. Только успели сказать, как мы счастливы, что видим опять друг друга. Я повязал ей ленту через плечо <...>. Позади нас в углу сада на высоте соловей воспевал весну близ своей подруги. Он пел тихо, нежно, совсем затихал. Как будто в утомлении вздыхал. Потом вдруг дробился, щелкал, свистал, разливался и в трелях

рассыпался, и опять как будто исчезал, терялся, потом в восторге оживал к новой жизни. Хрущи* жужжали над нами. Вдалеке слышен был ропот шумящей воды, рвущейся из-за преград, препятствующих ей, и клики водяных птиц. В эти минуты торжества воскресающей природы мы поверяли друг другу сердечные чувства...»¹⁵

Чувство Якова Отрощенко скоро иссякло. Олимпиада Семеновна оказалась девицей жестокой и обидчивой, что отвратило от нее сердце нашего героя. Вновь он влюбился в Германию, по окончании войн в Европе: «Простоять столько времени на месте после нескольких лет непрерывных походов много значит и особенно в здешних местах. Миленькие немочки так привлекательны, так любезны, что воины наши, закоптелые в пороховом, бивуачном и табачном дыму, так и прильнули к ним всем сердцем. Признаюсь, и я, грешный, влюбился в миленькую Бетхен, дочь хозяйскую, да как и не влюбиться, здешние девицы не уходят от нас, но стараются занять мило разговорами, пением или музыкой, словом, вот так и расстилают сети, а мы так смело под них идем, как куропатки в зимнюю пору. Хозяин мой Йорк Рефель был вдов, дочь его Елизавета была хозяйка. Он, отъезжая к Баденским водам, поручил мне под охранение и дом, и дочь свою. Она уже имела около 28 лет и значительное приданое. Я уговаривал ее за себя, но она не согласилась, опасаясь русских снегов, которые так глубоки, что в 1812 году закрыли французов навеки»¹⁶.

И все-таки, вернувшись в Отечество, он нашел себе достойную подружку жизни: «<...> Дитя это достойно было сожаления, ибо будучи образовано в высшем кругу под надзором материнским добродетельной и благодетельной княгини вместе с ее детьми, могло погрязнуть в бездну пропасти при доме своего отца, где ни порядку, ни приличия не было. Я решился жениться на ней. Приданого за нею я не получил ничего, но в душе ее нашел я сокровище неоцененное: кротка, нежна, заботливая хозяйка, примерная мать, беспредельно преданная мне, — это был ангел тихий; душа ее была как чистейший хрусталь прозрачный. Мы были бедны, но счаст-

* Хрущ — майский жук.

ливее многих богачей, довольствовались одним только жалованьем моим, и никогда она мне не напоминала ни о нарядах для нее, ни о нашей скудной жизни. Она считала лучшим себе украшением меня и детей наших, не любила разъезжать по гостям, но любила у себя угостить, чем Бог послал; вся забота ее была обращена на детей и на домашнее хозяйство. Была истинная христианка богомольная. <...> Мы были бы совершенно счастливы, если бы отец ее не внушал ей враждебных мыслей против меня. Это не могло поколебать ее души, но огорчало ее и расстроило ее здоровье до того, что поразила ее чахотка»¹⁷. Заметим, что со словом «любовь» у наших героев очень часто соседствуют слова «сожаление», «сочувствие», «сострадание», «доверенность», то есть они точно знали, чего ищут.

Историю первой любви поведал Н. И. Лорер, познакомившийся в имении своих друзей с дочерью английского морского офицера, оставшегося в России по заключении Тильзитского мира на положении военнопленного: «Старик Мессер был отличный человек и славный моряк, чему служит доказательством дружба его с Нельсоном. Я помню письма сего последнего, писанные левою рукою, которые показывал нам Мессер. <...> Дочь Мессера была молоденькая, хорошенькая девочка и очень мило танцевала, а так как и я отличался в этом хореографическом искусстве, то всегда был ее предпочитаемым кавалером. От танцев скоро дошло и до сердца. Я угождал этой девице по возможности, лепил и клеил ей картоны и ящички, рисовал в ее альбомы, часто подносил ей букеты роз. Все это было так невинно, платонически, инстинктивно... Настал 1812 год. <...> Я подарил ей на прощание картонный ящик, обклеенный цветною бумагою, с ее вензелем, много плакал, не спал всю ночь и даже навещал флигель дома, где они жили, собирая каждый лоскуток бумажки, исписанный ее рукою. Но и это прошло! Впечатления юности живы, но непродолжительны»¹⁸.

Среди русских офицеров были и такие, для кого первая любовь оказалась последней: «В 1814 году после взятия Гамбурга молодой офицер князь Б. влюбился в оперную певицу Ашебруннер. Однако голос акт-

рисы оказался выше и чище, чем ее душа. Постепенно, и без всякого сожаления, она довела князя до “гробовой доски”. Не менее трагический случай произошел с влюбленным 14-летним подпоручиком Костромского ополчения. 10 ноября 1813 года при осаде крепости Глогау ополченцы отбили вылазку 400 французов, потеряв при этом лишь 6 человек убитыми и ранеными. В Главную квартиру генерала Беннигсена отправили реляцию со списком представленных к наградам. Дело по военным меркам — мизерное, зато бумага получилась большая. Подпоручик был адъютантом при дежурном генерале. Не найдя своей фамилии, но желая произвести впечатление на возлюбленную девушку по имени Фридерика, он внес себя в список, искусно подделав список генерала Розена. Молодой человек не подозревал, что тем самым подписывает себе смертный приговор. Претендовал поручик на орден Святого Владимира 4-й степени, который и получил вместе с бантом. Однако обман вскоре раскрылся, молодому офицеру грозил суд. Он бежал из армии, девять дней скрывался и 25 мая 1814 года застрелился возле пруда, недалеко от дома, где жила его любимая»¹⁹.

Стучались истории гораздо банальнее, чем случай с князем Б., но по-своему не менее трагичные: «Всякий день приходит ко мне Г*** вспоминать счастливое время, проведенное в Гамбурге, и в сотый раз рассказывает о незабвенной Жозефине, о восхитительном вечере, в который она, приняв от него в подарок выигранные им тысячу лудиров, находила его весьма любезным целую неделю; но после двери ее были уже всегда заперты перед ним, и он, как влюбленный испанец, приходил с гитарой перед дом (так в тексте. — Л. И.), где жила эта драгоценность. <...> И все это он рассказывал мне совсем не шуточно, но с тяжелыми вздохами и навернувшимися слезами...»²⁰

Далеко не все юношеские привязанности оказывались скоротечными, перерастая порой в сильное и постоянное чувство. Н. Н. Муравьев влюбился раз и навсегда в дочь сенатора Н. С. Мордвинова: «Мы ездили тогда к адмиралу, и он бывал у нас в деревне. 14 июля, в день моего рождения, он приехал к нам с семейством, и мне понравилась меньшая дочь его, Наталия Николаевна,

мне ровесница. Мне тогда был 14-й год; я тосковал, но не смел никому поверить своей тоски, ходил по ночам в саду один и писал имя ее на деревьях. Один из сих памятников должен еще теперь существовать. Имя ее вырезано на березе на одном из островов, что на большом пруду перед домом. Однажды тайком отправился я ввечеру на остров вопреки запрещенным кататься на плотках по пруду; я вступил в бой с сердитыми лебедями, которые тогда яйца высиживали, и согнал их своим шестом, невзирая на поднятый ими крик. Вырезав имя ее на дереве и переправившись на противоположный берег пруда под прикрытием острова, я пришел домой другою дорогою, дабы никому не дать подозрения в моем тайном заявлении»²¹. Образ возлюбленной офицер квартирмейстерской части пронес через все опасности и лишения 1812 года: «В избе, где мы ночевали, был небольшой мальчик, коего черты и выражение лица разительно напоминали мне Нат. Никол. Мордвинову. Набросив лик его карандашом на лоскуте бумаги, я не расставался с сим изображением во все время похода. В 1815 году с помощью сего очерка мне удалось с памяти нарисовать портрет ее в миниатюре...»²² Когда Николай Муравьев осмелился открыть свои чувства отцу любимой девушки и просить ее руки, то получил решительный отказ по причине своей бедности. Наталия Мордвинова стала женой другого, но через много лет ее верный поклонник добился своего: узнав, что женщина, которой он навеки отдал свое сердце, овдовела, генерал Н. Н. Муравьев, известный военачальник, снова «возобновил искательства» ее руки и, наконец, соединился со своей «дорогой и несравненной Наташей».

Твердость и душевное благородство проявил в устройстве семейного очага И. С. Жиркевич. Накануне Отечественной войны 1812 года 22-летний офицер был помолвлен с соседкой по имению А. И. Лаптевой (оба происходили из Смоленской губернии), юной, очаровательной девицей. После взятия Парижа он вернулся победителем в родные края, разоренные войной. «Здесь я узнал, что семейство Лаптевых все возвратилось и живет в деревне. Разумеется, что я сейчас же поспешил туда, но как меня поразили вид моей невесты!

Она предшествовавшую зиму, во время краткого переезда из Ярославской губернии в Смоленск, отъехавши из города в деревню, на Днепре, с санями провалилась под лед и спаслась каким-то чудом; но с того времени открылось у нее сильное кровохарканье, так что при малейшем нравственном потрясении кровь немедленно вырывалась горлом чашки по две; да к этому у нее была корь, от которой выпали все волосы на голове. Тем не менее я стал настаивать на моем искательстве...

Теперь надо представить себе положение нас обоих и наших семейств. У моей матери, в обрез, ровно ничего! У Лаптевых, кроме той же скромности достатка, большой долг, сделанный для прокормления крестьян и большой дворни. На мне один старый мундир, два фрака, статский сюртук, без жалованья и даже без видов содержать себя! Я не знаю, право, что я думал тогда, но упрямство мое было так велико, что я настаивал на свадьбе. Иногда мне казалось, что я будто бы добиваюсь, чтобы мне отказали, но сердечная привязанность и внимание ко мне моей невесты не только не ослабели, но с каждым днем все больше усиливались, и чем более я размышлял о бедственном ее положении, тем дороже и милее становилась она мне. Наконец в апреле 1815 года, на Вербной неделе, когда я стал настоятельно просить Е. Я. решить нашу участь, она, при всей ангельской кротости, вынуждена была сказать мне, что я сошел с ума и что я сам не знаю, чего желаю и чего требую; я с сердцем уехал и сватовство свое считал совсем расстроеным.

Но в день Св. Пасхи я получил письмо от А. И., в котором она извещала, что матушка решилась благословить нас и что она сама будет писать к моей матери; и действительно, Е. Я., извещая мою мать о моем настоянии, чистосердечно объяснила свое крайнее положение, просила, если можно, убедить меня обождать, пока я себя не пристрою, но если это покажется недействительным, то она, с своей стороны, не будет более нам препятствовать. Матушка, зная хорошо мой характер, передала мне только письмо, не говоря мне ни слова, и 2 мая 1815 года я сделался мужем А. И. Невзирая на крутость этой свадьбы, на бедность наших средств,

ибо, чтобы заплатить священнику и причетникам за венец, я взял у Фролова 30 рублей, а за невестой три старых платья, вот уже тридцать два года как я пользуюсь совершенным семейным счастьем и моим детям не желаю лучшей участи»²³.

Многие офицеры вполне сознательно возводили преграды на пути своих чувств, предпочитая не связывать себя семейными узами в военную страду и «почитая долг перед Отечеством важнее долга супружеского». В качестве примера можно обратиться к судьбе одного из прославленных героев Отечественной войны 1812 года генерал-майора Я. П. Кульнева, прервавшего отношения с невестой следующим письмом «на прекрасном французском языке»: «...если бы вы любили меня искренно, то вместо того, чтобы побуждать оставить службу, составляющую все мое благоденствие, вы первая должны бы были побуждать меня сего не делать, когда бы даже я сам того пожелал. Скажу вам более: сколь ни сильна страсть моя к вам, но привязанность к Отечеству и клятва, которую я дал сам себе, служить моему Государю до последней капли крови восторжествуют над всеми чувствованиями, которые питал я к вам, даже над всеми слабостями, свойственными мужчине. Короче: если отставка есть единственное средство владеть сердцем вашим, то объявляю торжественно, что освобождаю вас от данного вами слова и что вы свободны располагать чувствованиями вашими, к кому вам заблагорассудится»²⁴. Несостоявшаяся невеста получила суровый урок: страдали в те годы не только от неразделенной любви.

Не менее категоричен был в своих стремлениях и М. М. Петров: «Мне там нравилась одна молодая прекрасная умная девица, дочь майора и кавалера Александра Матвеевна Копьева, одна дочь у матери-вдовы, жившей своим домом. Друзья мои, и особливо Томирин, советовали мне искать руки ее, но я возражал им и сердцу моему: «Я дворянин, обязанный оправдать это обетное звание. Мне 22 года от роду. Мое достояние — острая шпага, мои прелестные сокровища — военная честь и боевая слава, мой жребий — тяжкие труды и смертельные язвы, мой брачный гимн — победные крики

торжества героев Отечества моего. Но я не приобрел еще ничего из этих стяжаний, священных избранным сынам Отечества, и не принес должной жертвы этим обожаемым в свете чудотворным кумирам. Вижу и понимаю тебя, ясная путеводительница героев! И последую твоему призыванию нас на Запад, туда, где священная тень 'отца войны' — Суворова — показывает нам стезю, им проложенную для нас. Любовь моя светла, совесть покойна, и сердце покорно долгу чести народной. Направо — кругом — марш-марш»²⁵. Денис Давыдов вспоминал о судьбе одного из своих сослуживцев: «Впоследствии я узнал, что, утомившись менять с каждой кампаниею предметы любви, он, подобно мне, при заключении общего мира, заключил союз с навсегда любимой им женщиною; он променял таким образом кочующую гусарскую жизнь на уединение философа, фантазмагорию на действительность»²⁶.

Склонностью к «фантазмагории» в немалой степени был наделен и А. Х. Бенкендорф, лифляндский дворянин, начавший службу в 1798 году в лейб-гвардии Семеновском полку и уже в 1812 году дослужившийся до чина генерал-майора. О таких, как он, в те годы говорили «красивый и ловкий», кроме того, он был еще предприимчивый и смелый. В 1813 году А. Х. Бенкендорф командовал «летучим отрядом», действовавшим между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, и чувствовал себя довольно самостоятельным как на войне, так и в минуты отдыха и затишья. В его записках сражения, «залетные» кавалерийские рейды, осады крепостей переплетаются с «кружением сердца» — минутными увлечениями, оставившими, тем не менее, след в душе «старого солдата», не привыкшего терять времени даром при любых обстоятельствах. После подписания Плейсвицкого перемирия Бенкендорф с «товарищами-офицерами» отправился «для поправки своего здоровья на берега Балтийского моря в Доберан в Мекленбурге». «Нас насчитывалось более 12-ти, — рассказывал Бенкендорф, — и все мы были решительно настроены поразвлечься. Врачи выписали нам рецепты, и мы начали свой «скрипичный концерт». Добропорядочные немцы посчитали наши похождения несколько шумными, но

не осмелились ничего возразить». Судя по всему, здоровье к нашим офицерам возвращалось быстро: «Две красивые молодые девицы по фамилии Блюхер прибыли на ярмарку в Росток, вскоре состоялось наше знакомство, я сдал им несколько комнат в занимаемом мною доме в Доберане, где их постоянно сопровождал их дядя. <...> Мы отправились с ними в Росток, где могли наедине видаться с нашими прекрасными дамами и с большой легкостью обманывать дядю и общественное мнение. Но эта нежная связь не могла продолжаться долго. Девушки Блюхер вернулись в свой замок. Впоследствии мой офицер женился на одной из них, я же был покинут моей дамой и впоследствии получал от нее чувствительные письма». 30-летний генерал не долго тосковал в разлуке с «девицей Блюхер». У него, как и у его «товарищей-офицеров», вскоре появилось много забот: «Мы свели знакомство с пансионом молодых девиц, которым надо было давать балы, ужины и завтраки, хозяйка пансиона так любила развлекаться, что потом ни в чем не могла отказать “этим храбрым русским”, которые прибыли столь издалека, чтобы освободить Германию. Каждый из нас выбрал себе девушку; они были чувствительны и добры, как все немецкие девушки. Хозяйка пансиона говорила, что не надо их слишком стеснять, так как из этого может получиться хорошая свадьба».

Однако «девицы Блюхер» и «молодые девицы» из пансиона оказались лишь прелюдией перед дальнейшими любовными похождениями «этих храбрых русских». А. Х. Бенкендорф вспоминал: «Случались и более серьезные вещи, прибыли госпожа графиня Бассевиц и госпожа Меллер, обе милые и красивые, в сопровождении и под наблюдением неприятных (!) мужей. Я направил свои взоры к госпоже Меллер. Предпринятое мною ухаживание, которое в конце концов было благосклонно принято, настолько заняло мое внимание, что я полностью забыл свои ревматические боли». Это была пора, когда каждый день игрались новые партии, совершались прогулки, назначались свидания в садах, в лесу, давались балы и у мужей появлялись поводы для ревнивых придирок». Ох, уж эти «неприятные», ревнивые мужья! Очевидно, отдых в Доберане был столь

привлекателен, что под конец перемирия в городе появился и старый знакомый — генерал-лейтенант граф М. С. Воронцов, предложивший Бенкендорфу место в своем корпусе. Так незаметно подкралось время, когда «надо было задуматься об отъезде из Доберана и о том, как заплатить свои долги...»²⁷.

Жанр «любовных авантюр» (размах и качество определялись материальным положением) был типичен для абсолютного большинства русских офицеров той эпохи: данные формуляров показывают, что более 90 процентов из них были холостыми. «Среди офицеров в возрасте до 30 лет женатых было очень мало. Скромное офицерское жалованье, неустроенный быт, вызванный тем, что армейские воинские части, не имея постоянных гарнизонов, находились в непрерывном движении, сменяя за год иногда по несколько раз место своей дислокации, частые войны — все это, вместе взятое, неблагоприятно сказывалось на семейной жизни, и большинство офицеров обзаводилось семьями уже после своей отставки», — констатирует современный исследователь.

Однако препятствием к семейным союзам подчас являлось не только отсутствие материального достатка, но и его переизбыток у одной из сторон. Так, князь С. Г. Волконский доставлял своим близким немало огорчений не только фривольным поведением в обществе, но и исключительной влюбчивостью, притом что намерения блестящего кавалергарда всегда были предельно честны и определены: «Слишком шумная, скажу даже, буйная моя жизнь, в кругу товарищей моих, и, я полагаю, также склонность к влюбчивости, всегда с желанием, несмотря на мою еще молодость, жениться и всегда не по расчету матери моей, внушили ей мысль предложить мне съездить в Оренбург, где отец мой управлял этим краем»²⁸. Но поездка в Оренбург не остудила чувства «князя Сержа», как называл Александр Павлович своего флигель-адъютанта. Вернувшись в столицу, он вновь вернулся к мысли о женитьбе: «Неудачное мое ухаживание за К. Л. Р. не вразумило мое пылающее молодое сердце к новой восторженности любовной, а частые встречи у одной моей родственницы и в общих

съездах отборной публики петербургской воспламенили мое сердце, тем более что я нашел отголосок в сердце той, которая была предметом моего соискания. Не назову ее, она вышла замуж; но еще недавно, по прошествии 35 лет, она мне созналась, что питала ко мне любовь и всегда сохранила чувство дружбы. — Эта особа, приятная собой, не имела денежного состояния, а мать моя столь явно и гласно высказывала ее родным, что она не желала этого союза, что мать той, которую я не называю, просила меня не ехать к ней, хотя я и не ездил в дом. Приглашение это возродило во мне много мечтаний; в назначенный час я явился, но, увы, от нее услышал, что явное и гласное противодействие моей матери против исполнения моего соискания, которое она, впрочем, очень ценит, поставляет ей в обязанность просить меня прекратить мое ухаживанье за ее дочерью и что она никогда не согласится передать свою дочь в другую семью, где бы ее не приняли радушно. — Пораженный этим, как громовым ударом, я, по чистоте моих чувств, исполнил ее волю, но в сердце моем хранил то же чувство. Выход замуж предмета моей любви отдал мне свободу моего сердца, и, по влюбчивости моей, недолго оно было свободно; воспламенилось снова, и опять с успехом, к прелестной Е. Ф. Л., но, увы, я встретил тот же отголосок к моим чувствам и те же предрассудки моей матери, и снова все мои мечтания — увы, как я говорил, не исполнились»²⁹.

Там, где материальное положение жениха и невесты не составляло препятствия семейному счастью, казалось, вмешивался злой рок. Одно из самых ярких тому подтверждений содержится в записках В. И. Левенштерна: «<...> Я познакомился с графиней Наталией Тизенгаузен, фрейлиной их Императорских Величеств и дочерью обер-гофмейстера, графа Тизенгаузена. Она мне очень понравилась, и я просил ее руки. Мой отец, весьма довольный этим браком, обеспечил меня, отдав в мое полное владение имение и замок Разикс. <...> Я был несказанно счастлив; моя жена обладала всеми качествами ума и сердца»³⁰. Казалось бы, что еще мог пожелать красивый, богатый, образованный, преуспевающий по службе молодой офицер: «Можно было

предполагать, что я достиг всего того, что было предназначено мне судьбой на земле; я полагал, что я достиг по 27-му году жизни тихой пристани и, к довершению счастья, у меня родился (1805 г.) сын, которого я назвал Львом (*Leon*) в честь г-жи Сталь, моей родственницы, которая только что издала свой роман “Дельфина”». Но случилось несчастье: «Четыре месяца спустя я имел несчастье лишиться этого ребенка. Моя бедная Наташа была неутешна. Люди с чувствительным сердцем сильнее испытывают горе; они так предаются ему обыкновенно, что этим подрывают свое здоровье. Так было и с моей женою».

Беды сыпались на молодую семью как из рога изобилия: в записках Левенштерна содержится упоминание о семейном несчастье дочери М. И. Кутузова — Елизаветы Михайловны, совпавшем с горем, обрушившимся на семью Тизенгаузенов: «Между обеими армиями произошло несколько славных, но кровопролитных сражений, которые привели, наконец, к битве при Аустерлице. Мы были разбиты, и наши войска возвратились в Россию. В этом сражении был убит брат моей жены, граф Фердинанд Тизенгаузен, флигель-адъютант и зять генерала Кутузова; это был прекраснейший молодой человек. Он был убит со знаменем в руке, во главе Малороссийского гренадерского полка, который он повел в штыки на неприятеля. С ним были положены в могилу полученные им несколько дней перед тем Георгиевский крест и крест Марии Терезии. Это был новый удар для моей бедной Наташи! Она едва не умерла, но Господь сжалился над нею, послав ей второго сына, которого я назвал Фердинандом в память его дяди, графа Тизенгаузена».

Но и на этом страдания В. И. Левенштерна и его «бедной Наташи» не закончились: «Наш маленький Фердинанд скончался, когда у него прорезывались зубы. Я был чрезвычайно расстроен, а моя жена была в совершенном отчаянии и никогда не могла забыть этого страшного горя». Вскоре жена Левенштерна тяжело заболела. Для того чтобы излечить ее от недуга, молодой супруг не жалел ни средств, ни усилий. Безутешная в своем горе женщина мужественно вытерпела две мучительные

операции в Италии и Австрии. Но даже заграничные медики были бессильны спасти ее: «Моя жена хорошо перенесла утомительное путешествие и мало-помалу окрепла; мои нервы также успокоились; на них благотворно подействовал однообразный стук экипажных колес. Я думал, что нам еще возможно счастье. <...> По прошествии двух месяцев, Наташа, казалось, совсем оправилась. Радость и счастье снова посетили наш дом, но, к сожалению, это продолжалось недолго. Появились симптомы более опасные, и уже на выздоровление ее не было никакой надежды! Она скончалась на моих руках в страшных страданиях. Я остался совершенно один на свете, удрученный этим ужасным горем, не имея с кем разделить его.

Занятие Вены французами (1809 г.) в тот самый момент, когда моя жена была при смерти, придало этому горестному для меня событию еще более зловещий характер. Во время бомбардировки, продолжавшейся всю ночь, один из снарядов, брошенных французами, попал в дом Венцлара, где мы жили. Произведенный этим шум и волнение, крики “пожар”, бегство других жильцов так напугали мою жену, что это ускорило ее смерть. Впрочем, ее состояние было таково, что врачи считали ее смерть благодеянием. Ее тело было набальзамировано тем же химиком, который бальзамировал маршала Ланна (*Lannes*), герцога Монтебелло, и положено в часовне, в ожидании того, когда события позволят перевезти его на родину, в склеп, где покоились ее предки».

Вольдемар фон Левенштерн оказался в Вене во время войны между австрийцами и французами в 1809 году, в то самое время когда Россию и Францию связывали союзные отношения. Неудивительно, что в самые черные дни своей жизни он с радостью встретился с петербургскими друзьями, находившимися при штабе Наполеона: «Флигель-адъютант Императора Александра I полковник Горголи и молодой и блестящий Чернышев были так добры, помогли мне отдать последний долг усопшей. Они и граф Витт, с которым я был издавна дружен, употребили все свое старание, чтобы вывести меня из того бесчувственного состояния, в какое меня повергла кончина моей бедной Наташи. Они

советовали мне искать утешение на поле битвы и воспользоваться политическими обстоятельствами, чтобы принять участие волонтером в военных действиях Наполеона. Опасность, с какою это было сопряжено, соблазнила меня; я уже смотрел на смерть равнодушно, я смотрел на нее скорее как на благо, так как она дала бы мне возможность соединиться вновь с дорогим существом, которого я лишился. <...> Наполеон изъявил согласие на мою просьбу»³¹.

«Рассеявшись» от горя на войне, после несчастий первой женитьбы В. И. Левенштерн не прочь был снова вступить в брак. Его внимание привлекла ни много ни мало дочь екатерининского фаворита графа А. Г. Орлова-Чесменского, одна из самых богатейших невест в России, но здесь нашего героя постигла неудача иного рода: «У старухи графини Орловой, сестры моей тещи, я встречал ежедневно графиню Анну Орлову-Чесменскую, ее племянницу, богатейшую невесту в России. Редко можно было встретить женщину столь некрасивую собою и вместе с тем изящную. Она была любезна, сострадательна и щедра, но твердо решила не выходить замуж; она не могла помириться с мыслию, что ее руки могли искать ради ее богатства. Она могла бы внушить самые нежные чувства, и я первый мог бы от души полюбить ее, если бы она позволила это, так как я чувствовал к ней большую симпатию»³². После смерти «бедной Наташи» В. И. Левенштерн стал философом: «Я вскоре подметил, что я давал более, нежели получал; от меня никто не требовал глубокого и возвышенного чувства; я чувствовал вокруг себя ужасную пустоту, старался измельчать свои чувства, чтобы подойти под общий уровень моих веселых и беззаботных товарищей. Все называли меня мечтателем <...>. Тогда пред моими умственными взорами промелькнуло честолюбие; я ухватился за эту мысль с тою страстностью, с какою я принимался за осуществление всех моих планов. Я искал в беспредельном пространстве это неведомое благо, мысль о котором преследовала меня»³³.

Судьба В. И. Левенштерна в чем-то схожа с судьбой князя А. Г. Щербатова, также пережившего семейную драму. Правда, поначалу князь Щербатов вел жизнь,

вполне достойную гвардейского офицера — первой его возлюбленной была жена начальника: «...Я без всякой цели поехал посетить графа <... >, был принят хозяйкою, которая явилась столь прелестной, столь очаровательной, что я при первой с ней встрече пленился ее красотой, умом и свободным обхождением; с этой минуты я искал всех случаев чаще с нею видеться, в чем легко и успел, частые свидания в обществах короче познакомили меня с нею, и я не замедлил объяснить ей то чувство, которое она во мне поселила; одним словом, я страстно ее полюбил, и она сделалась единственным предметом моих помышлений, я проводил все мое время в ее обществе, даже самая служба подавала мне способ чаще с нею видеться; из беседки сада ее была дверь на площадь, где я всякий день делал разводы, которые я не начинал прежде выезда графа <... > по обыкновению его поутру около 11 часов. Можно себе вообразить восторг молодого генерала, окруженного военным блеском пред глазами предмета его обожания, я вполне наслаждался сим чувством, после развода обыкновенно заходил я завтракать в беседку»³⁴.

Однако вскоре за описанием этой сомнительной любовной идиллии в воспоминаниях следует признание: «На первых днях моего приезда в Москву я увидел ту, которая так сильно встревожила жизнь мою, и с первой минуты неизъяснимое чувство овладело мною, я еще не был влюблен, но уже все мои мысли наполнились ею, видеть ее ежедневно сделалось первою для меня потребностью, она была не красавица, но все в ней было приятно и даже очаровательно; ум имела превосходный, украшенный отличными познаниями и талантами...»³⁵ Семейный союз двух любящих сердец был непродолжительным: «...Я мог безмятежно наслаждаться счастьем и предаваться надежде на прочность его; беременность милой жены моей придавала мне новое чувство благополучия. Так провел я в восторге остаток лета; время счастья моего мог бы я считать днями! <...> Мы еще смотрели в будущность, делали планы жизни, — но судьба располагала иначе. Накануне нового года (1810-го) она занемогла зубной болью; казалось, безделица — как вдруг открылась жестокая нервная го-

рячка, — все употребленные средства были тщетны. 3 января ее уже не было, — никакие слова не могут выразить моего отчаяния — удивляюсь только о том, что я не лишился тогда ума. Все для меня кончалось.

Отец мой 74-летний, до сего времени здоровый, любивший меня нежно, так был поражен моим несчастьем, что тот же день слег в постелю, — чрез две недели и его не стало. Нежная и чадолюбивая мать моя, несколько лет уже слабого здоровья, не могла перенести этих жестоких для сердца ее ударов — болезнь ее усилилась, и чрез два месяца с половиною (3 апреля) и она переселилась в вечность. И так в продолжение ровно трех месяцев я лишился всех тех, которых тогда более всех любил в свете, — лишился и того неизвестного еще существа, которое могло бы воспоминать мне потерянного ангела и служить некоторым утешением. Редко люди бывают так несчастливы, как я был в то время — и я остался жив! И в полном уме!»³⁶

Как разгоняли нестерпимую тоску военные люди? Отправлялись на войну, где, по выражению генерала П. П. Коновницына, «под пулями искали рассеяния» от душевных невзгод. Так же поступил и князь А. Г. Щербатов: «Между тем начались военные действия за Дунаем, война загорелась сильно, я решился ехать к армии не для того, чтоб искать славы, но надеялся найти конец моим мучениям». В те времена утверждали, что «смерть бежит от тех, кто ее преследует». В поисках смерти, как опять же часто бывало в те времена, молодой генерал обрел славу, а его любовь и скорбь были увековечены В. А. Жуковским в знаменитом «Певце во стане русских воинов»:

Хвала, Щербатов, вождь молодой!
Среди грозы военной,
Друзья, он сетует душой
О трате незабвенной.
О витязь, ободришь... она
Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
Дружин твоих хранимы.
Любви и скорби оживить
Твои для мщенья силы:
Рази дерзнувших возмутить
Покой ее могилы.

После «замирения Европы» русские воины возвращались в Отечество, где их ожидали с восхищением и любовью. «Настал 1817 год и с ним возобновилось мое существование, после семилетнего вдовства и горестного чувства о незабвенной потере Провидение сжалилось надо мною и послало мне утешителя; 29 апреля я женился на Апраксиной, и вновь открылось для меня новое счастье, новая жизнь. Я провел все лето в удовольствиях и наслаждениях, давно мне чуждых...» — рассказывал князь А. Г. Щербатов. Эта печальная история завершилась счастливо.

Не сбылись «юные мечтания» двоих друзей-преображенцев графа М. С. Воронцова и С. Н. Марина. О графе Михаиле Семеновиче известно лишь то, что он впоследствии был весьма удачно женат на графине Елизавете Ксаверьевне Браницкой, принесшей ему огромное состояние, позволившее ему покрыть неумеренные расходы в период 1812—1818 годов, когда он содержал в своем имении госпиталь для офицеров и нижних чинов и оплачивал долги сослуживцев во Франции. Но из его переписки с С. Н. Мариным времен походов и войн явствует, что у Воронцова были и иные «матримониальные» планы. В одном дружеском послании за 1806 год Марин укоряет своего приятеля в излишней скрытности: «Позвольте, ваше сиятельство, почтеннейше Вас поздравить с благополучным окончанием ваших намерений. Вы женитесь на графине Орловой, весь Петербург в этом уверен; один я сомневаюсь и говорю: Костуй не женится, Костуй не женится. А почему же и не женится? — думаю иногда. Ведь ему, кажется, 25-й год; а он говорил перед отъездом, что в эти лета он мыслит завести комнату с лежанкой, то почему же ему и не жениться на Орловой? Она богата и собой не дурна, то будь уверен, что желаю тебе все рога на свете за то, что ты об этом ни слова не говоришь»³⁷.

Речь в этом послании идет о графине А. А. Орловой-Чесменской, той самой, на которой был не прочь жениться и В. И. Левенштерн, а позже и М. А. Милорадович. Последнюю историю следует признать нашумевшей в армии. Денис Давыдов повествует о ней с изрядной долей иронии: «Не могу умолчать о генерале Милорадо-

виче. По приезде его в Гродно, все поляки <...> пали к его стопам; но он был занят другим, ибо в то время он получил письмо с драгоценною саблей от графини Орловой-Чесменской. Письмо это заключало некоторые выражения, дававшие ему надежду на руку этой богатой женщины. Милорадович запыхал восторгом неодолимой страсти! Он не находил слов к изъявлению благодарности своей, писал ей целые дни ответы, покрыл стопы бумаг своими иероглифами: самое письмо, им самим вчерне написанное, было крайне смешно и глупо! Никому не было позволено входить в его кабинет, кроме его адъютанта Киселева, меня и взятого в плен доктора Бартелеми. Мы одни были его советниками: Киселев, как умный человек, отлично знавший большой свет, я, в качестве литератора, Бартелеми, как француз, ибо письма были сочиняемы на французском языке. Давний приятель Милорадовича, генерал-майор П. жаловался на него всякому, подходившему к запертой для всех двери его, близ которой он расположился подобно легавой собаке в своем логовище. Комендант города и чиновники корпуса также подходили к ней по нескольку раз в сутки и уходили домой, не получив никакого ответа. От этого городское и корпусное управление пришли в хаотическое состояние, госпиталь обратился в склад, наполненный хлебом, сукном и кожами, магазины упразднились, словом, беспорядок дошел до крайнего предела. Наконец, Милорадович подписал свою эпистолу, отверз двери, и все в них устремились. Но, увы! Кабинет был уже пуст: великий полководец ускользнул в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку»³⁸.

По словам Давыдова, сабля, присланная в дар Милорадовичу, «осыпанная драгоценными алмазами, была пожалована Алексею Орлову императрицей Екатериной во время карусели. Письмо графини Орловой было доставлено Милорадовичу чрез адъютанта его Окулова; Милорадович в присутствии своего штаба несколько раз спрашивал у Окулова: “Что говорила графиня, передавая тебе письмо?” и, к крайнему прискорбию своему, получал несколько раз в ответ: “Ничего”. Милорадович возненавидел его и стал его преследовать. Окулов по-

гиб скоро в аванпостной сшибке». Страсти в душе прославленного генерала, как видно, бушевали не шуточные, а главное — уже в который раз! Надежда Дурова, находившаяся в 1810 году при штабе М. А. Милорадовича в бытность его киевским генерал-губернатором, путем наблюдения установила определенную закономерность в колебаниях настроения своего начальника: «Вчера был концерт в пользу бедных; Милорадович подарил по два билета всем своим ординарцам, в том числе и мне. Концерт был составлен благородными дамами; главную в этом музыкальном обществе была княгиня Х***, молодая, прекрасная женщина и за которою наш Милорадович неусыпно ухаживает. Я не один раз имела случай заметить, что успех в любви делает генерала нашего очень обязательным в обращении; когда встречаюсь с ним в саду, то всегда угадаю, как обошлась с ним княгиня: если он в милости у нее, то разговаривает с нами, шутит; если ж напротив, то проходит пасмурно, холодно отвечает на отдаваемую нами честь и не досадует, если становимся ему во фронт, тогда как в веселом расположении духа он этого терпеть не может»³⁹.

Но вернемся к сюжетной линии «Воронцов — Орлова», где сначала, по-видимому, вышла путаница. «Сиятельный Костуй» положил глаз не на графиню Орлову-Чесменскую, а на ее двоюродную сестру — Наталию Владимировну Орлову. Чувства графа Михаила Семеновича не остались без ответа, что явствует из очередного письма С. Н. Марина на театр боевых действий: «Двоюродный (К. А. Нарышкин. — Л. И.) служит тебе и верой, и правдой; на днях еще он говорил с нею и требовал, чтоб она позволила ему сказать матери. Она хотя и не дала ему на это позволение, но когда он ей сказал, что он заварит кашу, а ей должно будет хлебать: то она сказала, чтоб он делал, что хотел, а она волю исполнит с удовольствием. <...> В рассуждении же матери, то у ней только разговору, что о тебе. <...> Приезжай, да веселым пирком да и за свадебку». Новое подтверждение взаимности граф Воронцов нашел в следующем послании: «<...> Надо сказать тебе, что здесь есть некто, который говорит о тебе беспрестанно. На днях у тетушки за

обедом, сидя подле двоюродного, она только что и говорила об моем друге, и двоюродный клянется, что всякий раз, когда встретит ее, то она и начнет про армию. Этого еще мало. Счастливый Миша! Начал говорить об армии, она спросила: если бы случилось что-нибудь счастливое, кого пришлют курьером? И когда двоюродный отвечал, что какого-нибудь генерала, то она сказала, что можно бы и гвардии капитану привезти такую новость. Спешите же, мой друг, на крыльях любви явиться посреди тебя любящих. Спешите увенчать свои желания; мне кажется, что одна война причиною, что оно не совершилось. <...> А об ней, что ж говорить, — ты один на свете. Повторяю тебе, спешите»⁴⁰.

Но неожиданно все переменялось: история любви, так удачно начинавшаяся, внезапно оборвалась на полуслове: «Скажу тебе неприятность; я не хочу оную скрыть; весь город говорит о любви твоей, и на днях мы были ввечеру у тетушки твоей. Там Петр Давыдов начал было тоже говорить; но тетушка твоя сказала, что она этого не думает и что ты, верно, никогда не помышлял об этой девушке. Мое дело было молчать. Все единогласно завидуют ей и говорят, что она родилась в рубашке; я с ними согласен. Не понимаю, как это вышло. <...> Но если ты не переменил своих мыслей, то я не вижу беды от сих разговоров; пусть их, любезный Костуй, болтают, что хотят: не от сего зависит твое счастье. В письме твоем ты что-то обещал мне написать, но по сю пору я не могу догадаться, чтоб это быть могло <...>»⁴¹. Можно лишь гадать, что произошло на самом деле. Может быть, отец «Костуя», граф Семен Романович Воронцов, решил воспротивиться браку своего сына с дочерью одного из представителей клана Орловых, способствовавшего вступлению на престол Екатерины II, в то время как Воронцов-старший, напротив, препятствовал ее восшествию на трон. Следствием была его «почетная ссылка» в Лондон. Может быть, сам граф Михаил Семенович был горд и взыскателен и даже в мыслях не допускал соперничества. Как бы то ни было, но Александр I, находившийся в курсе «любовных историй» своих гвардейских офицеров, взял сторону Воронцова и спустя пять лет счел нужным уко-

лоть самолюбие П. Л. Давыдова, что явствует из письма последнего родственнику накануне войны 1812 года: «...Узнал, что принят в службу майором. Государь, у которого я был до сих пор в немилости, приказал мне сказать, что я ничего не потеряю, вышед в военную службу в этом чине, и дал мне в пример князя Трубецкого и графа Воронцова, которые в короткое время дослужились до генеральского чина и обвешены оба лентами (орденскими. — Л. И.)»⁴².

Причастность государя к личной жизни «любезных сослуживцев» видна из знаменитого лирического стихотворения С. Н. Марина, в котором поэт убеждал прекрасных читательниц:

Коль любовниц царь заставит
Нам знамена вышивать,
В нас он храбрости прибавит,
Смело будем умирать.

Взор один ваш — и геройство
Воспалит всю нашу кровь,
Ваше мы храним спокойство,
А награда нам любовь!

Для любви мы все готовы
Наши жизни не щадить,
И лишь ваши мы оковы
Можем без стыда носить.

А как складывалась личная жизнь автора этих строк, умершего холостяком в начале 1813 года от пули, засевшей в груди со времен Аустерлицкой битвы? В 1806 году, казалось, он был близок к тому, чтобы расстаться со службой и обрести раз и навсегда семейный покой. О своих намерениях он сообщал лучшему другу графу М. С. Воронцову: «Чтоб ты не дивился, что беспрестанно говорю об отставке, то надо мне сказать тебе, что я хочу жениться. Чему ж ты смеешься? Мне кажется, это неучтиво, когда смеются человеку в глаза; другое дело — заочно; и так прошу не улыбаться и слушать. Да, друг мой, ежели мне не помешают, то я женюсь на мильончике девчонке; она не коновая, то есть не большого свету, что для меня и лучше, имеет прекрасное состояние, и я теперь на этот счет строю прекрасные воздуш-

ные замки. Очень жаль мне будет, если они разрушатся <...>. Нет ли у вас какого-нибудь святого? Помолись ему, чтоб я успел. Право, брат, пора на покой: кости мои и службой, и любовью изломаны <...>»⁴³.

Его благие намерения, так же как и увлечение Воронцова Наталией Орловой, не увенчались успехом. Может быть, причиной тому был давний роман красавца-поэта с «коновой» светской красавицей графиней Верой Николаевной Завадовской (урожденной графиней Апраксиной), бывшей замужем за бывшим фаворитом Екатерины II, графом П. В. Завадовским. Брак оказался несчастливым. Известная в свете «Вера» была на тридцать лет моложе своего супруга и на восемь лет старше своего возлюбленного — С. Н. Марина, в котором она принимала «великое участие». Дело в том, что преображенский офицер был бессребреником, а выбор состоятельных любовниц не считался зазорным в гвардейской среде того времени, так как жизнь гвардейского офицера требовала немалых расходов. По свидетельству С. Г. Волконского, «еще другое странное было мнение — это, что любовник, приобретенный за деньги, за плату (*amant entretenu*), не подлец». Кроме меркантильных расчетов, длительная связь, по видимому, основывалась на сильной привязанности: В. Н. Завадовской, «красавице, милой и любезной женщине»⁴⁴, посвящены все лирические стихотворения С. Н. Марина, обращенные к «Вере» и к «Лиле». Смерть любимого человека была для «графини Веры» огромным горем, вместе с его сестрой княгиней Варварой Никифоровной Мещерской она принимала ближайшее участие в погребении С. Н. Марина и постановке ему памятника на Александро-Невском кладбище в Петербурге. Лишь одно стихотворение — «Буйны ветры зашумели» — Марин первоначально посвятил «Г», девушке, на которой намеревался жениться, той самой не «коновой» красавице, упоминаемой в письме М. С. Воронцову. Имени ее расшифровать не удалось. В рукописи стихотворения после строки: «А в свете жил одной тобой» рукою В. Н. Завадовской вписано карандашом: «И мной».

Кстати, о женитьбе на «коновых» невестах. Безусловно, один из самых ярких и выразительных примеров

той поры — супружеский союз князя П. И. Багратиона с петербургской красавицей фрейлиной графиней Екатериной Павловной Скавронской. Брак этот свершился исключительно по воле императора Павла I, решившего по окончании удачных гатчинских маневров 1800 года устроить семейное счастье героя суворовских походов. Император в дворцовой церкви объявил придворным о своем намерении присутствовать при обряде венчания князя Багратиона с графиней Скавронской, как говорили, тогда влюбленной в графа П. П. Палена. Жених был поражен. Потрясенную невесту в покоях императрицы Марии Федоровны спешно «убрали бриллиантовыми к венцу наколками». Спорить с царем никто не осмелился. Для князя Петра Ивановича партия была как нельзя более подходящая. Екатерина Павловна доводилась ближайшей родственницей царской фамилии. Отец ее, граф П. М. Скавронский, последние годы своей жизни был посланником в Неаполе. Теща Багратиона, Екатерина Васильевна, урожденная Энгельгардт, — одна из пяти знаменитых племянниц Г. А. Потемкина, бывших одновременно его фаворитками, благодаря чему она уже в ранней молодости сделалась статс-дамою.

Жена Багратиона унаследовала от матери красоту и легкомыслие, а от отца — эксцентричность поведения и склонность к расточительности. Генералу с самого начала не приходилось рассчитывать на спокойную семейную жизнь, впрочем, он и сам к ней, очевидно, был не склонен. Вскоре после свадьбы княгиня навсегда уехала за границу и поселилась в Вене. Здесь она вступила в продолжительную связь с австрийским канцлером К. Н. Меттернихом. И в 1803 году у них родилась дочь, которую дипломат признал своей.

Екатерина Павловна странствовала по Европе. И где бы она ни появлялась — всюду ей сопутствовал шумный успех. В 1806 году ею серьезно увлекся прусский принц Людвиг, порвавший из-за экстравагантной русской княгини связь с принцессой Сольмс. Принц вскоре погиб в сражении при Заальфельде в Тюрингии, и супруга Багратиона вновь возвратилась в Вену. В ее салоне собирались европейские знаменитости. Княгиня, по описани-

ям современников, схожа с графиней Элен Безуховой из романа «Война и мир»: она была удивительно хороша собой, укладывала белокурые волосы вокруг головы в форме ручек греческих амфор, до глубокой старости предпочитала носить открытые платья из газа...

В кратких перерывах между войнами князь Багратион появлялся в петербургских гостиных «в сиянии славы, в блеске почестей» (Ермолов). Его дом, где собирались по преимуществу высшие военные чины империи, посещали и великий князь Константин Павлович, считавший себя его другом, и знаменитая Мария Антоновна с сестрой Жаннетой. Положение князя Багратиона в обществе, в свою очередь, упрочивало положение его жены за границей. В 1807 году она узнала, что ее супругом серьезно увлеклась великая княжна Екатерина Павловна, срочно выданная замуж за герцога Георга Ольденбургского. Кроме того, князь заложил в казну орловское имение жены. Княгиня Багратион и ее родственники негодовали. С 1810 года князь Багратион стал наездами бывать в Вене. По словам чешского историка И. Шедывы, здесь он «верховодил в антифранцузском салоне» вместе со своей женой. Впрочем, по мнению французского историка А. Вандаля, Екатерина Павловна занималась делами, за которых мужчин расстреливали, дипломатическим шпионажем. В 1811 году у княгини Екатерины Павловны родилась дочь.

В 1812 году княгиня овдовела, но продолжала вести привычный образ жизни. На всех празднествах Венского конгресса в 1814 году она соперничала красотой со всеми аристократками Европы. Первым частным праздником, который посетил в Вене император Александр I, был бал, данный ею в честь государя. Именно в это время на княгиню обратил внимание известный впоследствии историк А. И. Михайловский-Данилевский, находившийся в свите императора: «В нескольких номерах парижского “Монитера” помещены были недавно статьи насчет живущей в Вене княгини Багратион, супруги героя, павшего в Бородино. Сия женщина с образованным умом, с пламенным воображением и с сластолюбивыми чувствами, кои написаны на лице ее, была выдана замуж против своей воли за князя Багра-

тиона, недавно пред тем возвратившегося со славою из Итальянского похода, коего состояние Император Павел хотел сделать посредством сей женитьбы. Несогласие поселилось вскоре между супругами, и она перед Аустерлицким сражением избрала местом своего пребывания Вену, где живет в кругу ученых и большого света, но поведением своим потеряла свое доброе имя. Называют многих, пользовавшихся ее благосклонностью, в том числе и Меттерниха; невзирая на то, дом ее с начала конгресса сделался средоточием лучшего общества, владетельные принцы и коронованные главы, за исключением императора Франца, ее посещали. К сожалению, много русских барынь, жен и родственниц людей, сделавшихся у нас известными своими заслугами, имена коих служат украшением нашей истории, бесславят себя поведением своим за границую. Распутство княгини Багратион тем для меня удивительнее, что она очень умная женщина, и мне кажется, что первое последствие ума есть нравственность и добродетели. Генерал Жомини сказывал мне, что княгиня Багратион читала его сочинения и поняла их лучше многих генералов. «Она мне писала несколько писем, — продолжал он, — которые превосходнее писем госпож Севинье и Сталь»⁴⁵.

Живя в Париже, княгиня вышла вторично замуж за лорда Гоудена, с которым вскоре разошлась, потребовав при разводе сохранить за ней фамилию первого мужа. Она скончалась в глубокой старости в Париже, до конца своих дней называя себя княгинею Багратион. При всех превратностях семейной жизни этой пары как не вспомнить слова князя Багратиона, оскорбленного тем, что его супруга не была награждена орденом Святой Екатерины одновременно с пожалованием ему ордена Святого Андрея Первозванного, как полагалось: «Если бы и был кто не доволен моею женою — это я. Какая кому нужда входить в домашние мои дела. Ее надо наградить отлично, ибо она — жена моя... Она, кто бы ни была, но жена моя, и кровь моя все же вступится за нее...»⁴⁶

Многочисленные увлечения и экстравагантность поведения — еще не повод для заключения о несчаст-

ной семейной жизни. М. И. Кутузов прожил в любви и согласии со своей супругой Екатериной Ильиничной, урожденной Бибиковой, 35 лет. За эти годы ничто не омрачило их супружеского союза. Жена всегда была верным и преданным другом своему мужу. В письмах она передавала ему светские происшествия, толки, пересуды, даже сплетни, благодаря чему Кутузов был всегда в курсе столичных и придворных новостей. Он же через супругу сообщал необходимые сведения в Петербург. Эти письма, содержавшие множество подробностей домашней и светской жизни семейства Кутузовых (у полководца было пять дочерей), стали на протяжении долгих лет единственным средством общения между мужем и женой, которых разъединяли то войны, то дипломатические и административные миссии.

Екатерина Ильинична из Петербурга почти не выезжала. Княгиня жила широко и открыто, как и полагалось жить большой барыне, и, как не раз намекал ей муж в переписке, тратила больше, чем позволяли их средства, что также соответствовало духу времени. Она занималась литературой, страстно любила театр. Разлука объясняла многочисленные увлечения обоих супругов, о которых с иронией упоминали мемуаристы. В соответствии с нравами многих аристократических семейств Кутузов сообщал о своих многочисленных «пассиях» в письме к дочери Е. М. Хитрово. Однако семейная жизнь Кутузовых от этих малозначащих по тем временам происшествий не страдала. Об одном забавном случае счел нужным поведать в записках В. И. Левенштерн: «Кутузова была женщина чрезвычайно умная; она прекрасно говорила по-французски, но с весьма оригинальным акцентом. В молодости у нее было много поклонников; было заметно, что она с трудом мирилась с тем, что время брало свое. Весьма снисходительная к ошибкам других и любезная с теми, кто ухаживал за ее дочерьми, она нападала на мужей, которые их ревновали.

Не знаю, почему ей пришла в голову фантазия показать в ее интимном кругу, что я был ее любовником. Так как мне это вовсе не нравилось и могло повредить мне в глазах молодых женщин, то я решил изобличить

ее выдумку, но сделал это довольно грубо. Госпожа Кутузова пригласила к обеду, запросто, двух своих приятельниц, княгиню К., графиню З. и меня. Эти две дамы славилась своими легкими нравами; у каждой из них заведомо был любовник из молодых гвардейских офицеров, которых она щедро наделяла деньгами.

Поэтому я был крайне удивлен, очутившись один в обществе этих трех дам. Мне тотчас пришло на ум, что г-жа Кутузова хотела этим показать, что я для нее то же, что означенные гвардейские офицеры для этих дам. Я был недурен собою и пользовался успехом у женщин, так, что это могло быть приятно ей, но не мне. Я покраснел от досады от одной этой мысли, однако, не потерявшись, подошел к хозяйке дома, рассыпался перед нею в извинениях по поводу того, что не могу отобедать у нее, и в присутствии дам сказал ей, что это день ангела девицы *St. -Claire*, танцовщицы, у которой я обещал быть непременно, и, зная снисходительность присутствующих дам в сердечных делах, я уверен, они извинят меня за то, что я решился столь откровенно высказать им причину, лишаящую меня возможности провести время в их обществе. Затем, не ожидая ответа, я уехал. Очень довольный моей дерзостью, я пообедал в ресторане, не подумав даже ехать к *St. -Claire...*»⁴⁷

Наконец, обратимся к «историям любви» двоих офицеров, совершенно разных по характеру и темпераменту. Одна из этих историй началась и закончилась в короткий предвоенный месяц; в ней всего два действующих лица — квартирмейстерский офицер Н. Д. Дурново, регулярно заносивший все события в свой дневник, и его возлюбленная. Другая история, насыщенная действующими лицами, названиями географических пунктов, сохранилась в воспоминаниях кирасирского офицера И. Р. Дрейлинга, явно руководствовавшегося дневниковыми записями. Первый из наших героев, в возрасте 18 лет, погруженный в светские удовольствия Санкт-Петербурга, 10 января 1812 года поместил в дневник запись, отразившую философское рассуждение о мимолетности человеческих чувств: «Когда мне было пятнадцать лет, я был влюблен в Марию Смирнову. Все проходит с годами»⁴⁸. Опыт, прямо скажем,

небогатый. По прибытии в город Вильно, где квартировала свита его императорского величества по квартирмейстерской части, прапорщик Дурново расширил свой кругозор, о чем свидетельствует запись от 10 мая: «Я <...> испытываю отвращение к развратным женщинам»⁴⁹. Но вот, спустя две недели, Николай Дурново «за-стенографировал» новое для него чувство: «После обеда князь Иван Голицын, через которого я познакомился с П. Зубовым, представил меня пану хорунжему Удинцу. Его семнадцатилетняя внучка Александра — самая очаровательная особа, которую я когда-либо видел, грациозная и наивная для своего возраста. Решительно я влюблен. В течение двух часов находился в настоящем экстазе»⁵⁰. «П. Зубов», о котором идет речь в дневнике, не кто иной, как знаменитый последний фаворит императрицы Екатерины II, с которым свитский прапорщик вступил в решительное соперничество: «После прогулки верхом в саду я отправился на чашку чая к князю Зубову. Мне показалось, что он также ухаживает за очаровательной Удинец. На его стороне миллион дохода и большой опыт с женщинами. На моей — мои восемнадцать и красивая фигура. Посмотрим, кто одержит победу». Судя по всему, «восемнадцать и красивая фигура» одержали верх над чарами «записного Селадона», потому что через десять дней Николай Дурново называет в дневнике «очаровательную Удинец» не иначе как «Александрина»: «Я так часто упоминаю об Александрине в своем дневнике потому, что хочу доставить себе удовольствие описать ее наружность. Она небольшого роста, но великолепно сложена. Ее волосы белокурые, глаза живые и искрящиеся умом. Ее плечи соперничают с мрамором по своей белизне. Одним словом, в свои шестнадцать лет она имеет фигуру Венеры и пробудила во мне неистовую любовь»⁵¹.

Пламя любви, охватившее свитского прапорщика и юную *m-lle* Удинец, разгорелось настолько сильно, что его не мог не заметить сам император, настороживший Дурново теми знаками внимания, которые были оказаны «Александрине». Но опасения пылкого влюбленного были безосновательны: предмет его обожания стойко противостоял ухаживаниям государя: «Мы на-

правились в Закрет на бал, который дают генерал-адъютанты и флигель-адъютанты Его Величеству и всей польской знати. Бал прошел очень хорошо и оживленно. Он не мог мне не понравиться хотя бы потому, что там была моя очаровательная Александрина. Император сам к ней неоднократно обращался и заметил, что она, по-видимому, интересуется офицером его Главного штаба (это он говорил обо мне). Она наивно ответила, что это может быть и что, впрочем, я достоин любви. Эта женщина мне положительно вскружила голову. Она великолепна, как роза. Мадемуазель Вейс и госпожа Башмакова единственные, кто могут — конечно, не сравниться с ней, — но быть названы после нее. Его Величество, к счастью, ушел. Ужин был сервирован в саду. Луна своим печальным светом освещала нас обоих. Быть может, скоро мне придется ее покинуть...» В то время, когда Дурново (естественно, по-французски) выводил пером в дневнике эти строки, ему было еще неизвестно, что «Его Величество» ушел с бала не к счастью, а к великому несчастью: Александр I покинул бал в Закрете, узнав о вторжении наполеоновских войск в Россию.

Началась война, предвещавшая неизбежность разлуки, но судьба устроила так, что перед расставанием 18-летний прапорщик и «Александрина» случайно встретились на пятый день «по открытии военных действий»: «15 июня. В Сорокполе я с Александром Муравьевым остановился в имении, принадлежащем дедушке моей очаровательной Александрины. Она бросилась в мои объятия. Невозможно описать радость, которую я испытал, увидев ее. Мы провели восхитительный вечер. Облачко грусти делало ее еще более прекрасной. Может быть, мы видимся последний раз в жизни? Через несколько часов французы станут хозяевами и земли и моей любимой. Они ею распорядятся по законам военного времени. Не имея возможности предложить ей экипаж, я не мог взять ее с собой: потеряв своего слугу и свой багаж, я остался одинок и беден, как церковная крыса. Вечером она дала на память прядь своих волос. <...> Ранним утром мы покинули Сорокполь. Невыносимой пыткой было для меня отказаться от своей любимой»⁵².

Чувства корнета Малороссийского кирасирского полка Ивана Романовича (Иоганна Рейнгольда) фон Дрейлинга, в отличие от дневниковых признаний Н. Д. Дурново, запечатлены на немецком языке. 19-летний кавалерист был всего на год старше своего соратника, но оказался более щедрым на душевные привязанности. Повествование о своих «сердечных делах» он начинает с весны 1812 года: «Молодая графиня Вардинская и панна Людовика были прелестны, как цветы, и мы ухаживали за ними не без успеха. Любовь и война были нашим лозунгом, и нежный слог первой должен был стать талисманом для последней»⁵³. Любовь и война действительно тесно сплелись в воспоминаниях Дрейлинга. В обоих случаях он был беспримерно удачлив: спустя год он был уже в чине ромистра, украшенного орденами Святой Анны и Святого Владимира 4-й степени. В Заграничные походы Дрейлинг выступил во всеоружии мужественного обаяния. «Здесь нам предоставилась возможность отдохнуть после этой тяжелой и деятельной кампании. Что за красавица была г[оспо]жа Руммель. Генерал и адъютант, оба соперничали, добиваясь внимания этой выдающейся женщины. Победителем оказался последний! Я жил и наслаждался в самом приятном обществе и оказался очень понятливым учеником при обучении в шахматы, — с удовольствием вспоминал он о «счастливых днях» после Лейпцигской битвы. — Прощаясь с Лейпцигом, я покинул самые приятные для меня связи. Я жил там у сестры милой госпожи Руммель, которая была замужем за купцом Краевым и пользовалась общей симпатией. Ее золовка госпожа Ганзен была очень хорошенькая молодая женщина. Госпожа Руммель сильно ревновала меня к ней. Она вскоре овдовела и была очень интересна в трауре»⁵⁴. Победы на «сердечном фронте» в Германии сменились триумфом в Париже: «Дочки моих любезных хозяев, Луиза и Жанета, оказались очень милыми девушками. Беспрестанные вечера, балы, игра в вист, театр. Невыразимо счастливо провел я эти месяцы. Обе прелестные девушки полюбили меня. Я отдаю предпочтение Луизе — и она живет только мною... Под одним кровом, постоянно вместе — какое искушение! Какие

минуты! Воспоминание об этих счастливых мгновениях, об этом счастливом прошлом, которое покрыто завесой времени, храню я свято про себя, но ни время, ни пространство не может... (далее пропуск в тексте)»⁵⁵.

Кто бы мог подумать, что нашему герою еще чего-то не хватало! Однако, по возвращении домой, оказалось, что на сердце у него было очень беспокойно: «Среди окружающих меня родных и близких мне не доставало еще одной дорогой мне особы — тети Пенкер и ее младшей дочери Мины. С самой ранней юности питал я к этой милой девушке нежное чувство любви... Я навожу о ней справки и узнаю, что — она невеста. Меня поразило это известие. Тяжело было мне расстаться с любимой мечтой, которую я так долго лелеял в душе!» Иоганн Рейнгольд фон Дрейлинг был из тех людей, о ком можно сказать строками из «программного» для многих русских офицеров стихотворения Д. В. Давыдова:

Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, поблднеем,
Пожалеем нашу грудь,
Иль в несчастье оробеем.
Если мы когда дадим
Левый бок на фланкировке,
Или лошадь осадим,
Или миленькой плутовке
Даром сердце подарим.

Ясно было, что так просто он не откажется от идеала «своей ранней юности», и он действительно пошел напролом, совсем как в битвах, где он участвовал: «Это известие настолько взволновало меня, что я решил ей писать — первый раз в жизни, хотя это было, принимая во внимание ее положение невесты, не совсем кстати и даже неосторожно. Обстоятельства заставили ее согласиться на брак с фон Нолкеном, писала она мне, она поступила так, рассудив, что не всем суждено выйти замуж по любви. Смерть порвала эти узы и все расчеты рассудка. Сердце подсказывало мне, что Мина меня любит, а письма, носившие отпечаток скрытого чувства, доказали мне это»⁵⁶. Далее в воспоминаниях: «Знаком-

люсь с госпожой Чернышевой и с ее прелестной дочерью, красавицей. Часто бываю у них, и всегда желанным гостем. С Грушенькою мы переживаем счастливые часы». При чтении этих строк поневоле можно задуматься: а как же тетя Пенкер и ее «нежная Мина»? К чему тревожиться по-пустому, когда наш герой, не сбиваясь с пути, твердым шагом отправился под венец: «Чувство смятения охватывает меня при приближении к Петербургу... Приезжаю никому не известный, чуждый! Сердце мое сжимается. Наконец-то я увижу ту, к которой душа моя стремилась в продолжение стольких лет. Девушку, которая сумела увлечь меня еще мальчиком. Мой идеал должен был предстать передо мной — и предстал. Нам нечего было говорить. Душой мы уже давно принадлежали друг другу. Мина лежала в моих объятиях...» Пусть у этой главы будет счастливый конец.

Глава семнадцатая

ВОЙНА И МОДА

Заметьте, что тогда ни в гвардии, ни в армии не употребляли ни мишуры, ни плаке; все было чистое серебро и золото.

Ф. В. Булгарин. Воспоминания

Военное франтовство в отличие от гражданского имело свои особенности: стремление военных следовать моде и одеваться изысканно неизбежно ограничивалось требованиями регламента, «ибо ничего нет противнее в войске, как разнообразие», — говорилось в одном из полковых приказов Александровской эпохи¹. Но, по словам известного исследователя, «в течение XVIII — начала XX века происходили многочисленные перемены в русском военном костюме, прежде всего связанные с общими направлениями развития моды. Нельзя забывать, что при всем своеобразии форменной одежды она является составной частью истории костюма вообще»². Щегольство среди военных было чрезвычайным.

чайно распространенным явлением, и тон в этом задавало первое лицо в государстве и армии — император Александр I, постоянно изводивший строгой придирчивостью своих портных. В 1807 году, при заключении Тильзитского мира, император Франции оказался явно не в своей тарелке в обществе двух истинных ценителей военной моды — русского императора Александра I и прусского короля Фридриха Вильгельма III. Наполеон вспоминал: «Оба они, в особенности король прусский, в совершенстве были осведомлены о том, сколько пуговиц должно быть на мундире спереди и сзади, как должны быть скроены отвороты; при разговорах мне приходилось отвечать так серьезно, будто судьба армии зависела от покроя жилета. Однако под Йеной (в 1806 году прусская армия потерпела сокрушительное поражение. — *Л. И.*) я показал разницу между хорошими манерами и умением носить дорогой мундир»³. Но что бы ни говорил впоследствии «узник Европы», сосланный в 1815 году на остров Святой Елены, в пору своего могущества он, как никто другой, знал, что военную моду предписывают те, кто одерживает победы в сражениях. Русское же дворянство и офицерство в том числе всегда отличались особой восприимчивостью к европейским тенденциям в этом вопросе. В эпоху 1812 года фасон русского мундира был полностью заимствован уже не от пруссаков, чья солдатская слава ушла в прошлое вместе со «старым Фрицем» — полководцем Фридрихом II Великим, а от французов, победивших российскую армию под Аустерлицем и Фридландом. Посол Франции в Петербурге Арман де Коленкур с удовольствием констатировал: «Все на французский образец: шитье у генералов, эполеты у офицеров, портупея вместо пояса у солдат...»⁴

Как далеко готовы были при русском императорском дворе следовать в подражании первой на тот период армии в мире явствует из сообщения из Петербурга в Париж генерала А. Ж. М. Савари, первого проложившего дипломатический путь в далекую Россию, до той поры являвшуюся душой антифранцузской коалиции. Французский генерал не скрывал изумления, охватившего его при посещении дворца в Стрельне, местопре-

бывание великого князя Константина Павловича: «Великий князь почти совсем офранцузился; так как он любит только военное ремесло и легкие удовольствия, то Наполеон его бог, а Париж его рай. Он желает снова увидеть Наполеона и познакомиться с Парижем. Пока он живет один со своим уланским полком, в тридцати верстах от Петербурга, и здесь он приблизительно воспроизводит привычки и занятия своего деда Петра III. Как и тот, он безумно играет в солдатки. Его дворец содержится как крепость; все мелочи крепостной службы соблюдаются со строгостью. Покои великого князя представляют арсенал; его библиотека состоит только из сочинений, относящихся к армии. Устремив свои взоры на великую военную нацию Запада, он беспрестанно отыскивает в ней предметы для кропотливого изучения и бесцельного подражания. Для украшения своих садов он заставил французских пленников соорудить в миниатюре Булонский лагерь; музыканты его кавалерии играют только французские мотивы <...>. К тому же благодаря своему причудливому нраву Константин Павлович не пользуется в армии особенной любовью; его упрекают в том, что он только военный, а не воин»⁵.

Какое бы предубеждение ни внушал брат царя значительной части офицеров русской армии, нельзя не признать, что именно ему русские военные были обязаны некоторыми модными нововведениями, о которых потом вспоминали с явным удовольствием: «В начале 1803 года предположено было сформировать несколько новых кавалерийских полков <...>. В это же самое время к австрийской миссии в Петербурге прибыл австрийский уланский офицер граф Пальфи, родом венгерец, молодец и красавец, сложенный как Аполлон Бельведерский. Уланский мундир в обтяжку сидел на нем бесподобно, и все дамы и мужчины заглядывались на прекрасного улана. Уланский австрийский мундир был усовершенствованный старинный польский уланский наряд с той разницей, что куртка с тыла была сшита колетом и не имела на боках отворотов, что она и панталоны были узкие, в обтяжку, и шапка была красивой формы, как нынешние уланские шапки, а

при шапке был султан. Его Императорскому высочеству цесаревичу и Великому князю Константину Павловичу, носившему звание инспектора всей кавалерии, чрезвычайно понравился этот мундир, и он испросил у Государя Императора соизволения на формирование уланского полка»⁶. В этом отрывке из воспоминаний Ф. В. Булгарина речь идет о создании лейб-гвардии Уланского полка, принимавшего деятельное участие в Наполеоновских войнах с 1806 года. Как говорится, сказано — сделано, и вскоре войска Петербургского гарнизона пополнились еще одним полком. По этому поводу Булгарин поведал «драгоценные» для его памяти подробности: «Уланская шапка с широким галуном, эполеты и витишкеты (этишкеты) стоили мне вместе сорок пять рублей. Лядунка сто двадцать рублей, шарф шестьдесят рублей ассигнациями. Заметьте, что тогда ни в гвардии, ни в армии не употребляли ни мишуры, ни плаке; все было чистое серебро и золото. О мишуре мы не имели понятия. Но относительно к этим вещам другие мало изменились в цене. Седло со всем прибором стоило у знаменитого тогда седельника Косова сто двадцать пять рублей, за полусапожки со шпорами первому тогдашнему сапожнику Брейтигаму <...> платили мы пятнадцать рублей ассигнациями. При шапках носили мы высокие белые султаны из перьев, и лучшие были берлинские. За хороший султан надлежало заплатить шестьдесят рублей ассигнациями; необыкновенно высоко, в сравнении с другими ценами. Тогда вообще употребляли английское привозное сукно, и лучшее стоило от семи до девяти рублей аршин. За лошадь заплатил я товарищу моему, корнету Прушинскому, триста рублей ассигнациями. За такую лошадь я дал бы теперь охотно две тысячи рублей!»⁷ Заботы цесаревича об элегантном внешнем виде своих подчиненных не ограничивались только его любимым детищем лейб-уланами. Офицер лейб-гвардии Финляндского полка А. Н. Марин вспоминал о трогательной заботе великого князя Константина Павловича о своих подчиненных за границей, в то время, когда он сопровождал своего брата в поездке для встречи с Наполеоном в Эрфурте в 1808 году: «Его высочество подарил нам сюртуки из

привезенного им из-за границы сукна. Прежде офицеры не носили сюртуков, а в этом году (1808 год. — Л. И.) повелено носить форменные сюртуки»⁸. Быстро освоившись с ролью союзника Наполеона, русский император через французского посла давал ему доброжелательные советы. «За обедом Император (Александр) говорил о том, с какой быстротой Ваше Величество путешествуете и ездите верхом; что в Тильзите только он да я могли поспевать за вами. <...> Он спросил меня, велико ли было производство по армии Вашего Величества, и добавил, что слышал, будто Ваше Величество отказались от белого цвета для пехоты, что он лично стоит за синий и предпочитает его потому, что в синем французская армия совершила столь славные дела»⁹, — сообщал А. де Коленкур.

Пристрастие императора к веяниям моды было хорошо известно его подданным. Так, Д. В. Давыдов с некоторой долей иронии вспоминал о необычном проявлении эстетического вкуса своего государя: «...Вполне женственное кокетство этого Агамемнона новейших времен было очень замечательным. Я полагаю, что это было главною причиною того, почему он с такою скромностью не раз отказывался от подносимой ему Георгиевской ленты, которой черные и желтые полосы не могли идти к блондину, каким был император Александр»¹⁰. Не удивительно, что русские офицеры и в этом стремились следовать примеру «обожаемого вождя». В те годы многим из них удавалось перенять его легкую, как бы «скользящую» над дворцовым паркетом походку, привычку прищуривать глаза в беседах с дамами (он был близорук, но не переносил очков), наконец, «грациозную позу», которая запомнилась на всю жизнь многим его «любезным сослуживцам» и в которой запечатлел его знаменитый портретист Дж. Доу на портрете для военной галереи Зимнего дворца, — государь стоит, слегка отставив ногу и удерживая шляпу так, чтобы петлица «кокарда» находилась между средним и указательным пальцем. Стремление государя быть одетым по моде также не прошло незамеченным. «Приучив себя с молодых лет переносить непостоянство стихий, он всегда был верхом в одном мундире, лучше всех одет;

казалось, что он был не на войне, но поспешал на какой-нибудь веселый праздник», — восторженно сообщал о повадках «русского Агамемнона» А. И. Михайловский-Данилевский¹¹. Даже в самый непростой для себя час, накануне открытия мирных переговоров в Тильзите, царь выглядел великолепно. Это обстоятельство счел необходимым засвидетельствовать потомству Д. В. Давыдов: «Государь имел на себе преображенский мундир, покроя того времени; на каждой стороне воротника было вышито по две маленьких золотых петлицы такого же почти рисунка, какой теперь на воротниках преображенского мундира, но несравненно меньше; аксельбант висел на правом плече, эполет же тогда не носили. Панталоны были лосиные белые, ботфорты — короткие. Прическа отличалась тем только от прически нынешнего времени, что была покрыта пудрою. Шляпа была высокая; по краям ее выказывался белый плюмаж, и черный султан веял на гребне ее. Перчатки были белые лосиные, шпага на бедре; шарф вокруг талии и Андреевская лента чрез плечо. Так одет был Император Александр. Теперь одежда эта показалась бы несколько странною; но тогда она всем нравилась, особенно на тридцатилетнем мужчине такой чудесной красоты, стройности и ловкости, какими был одарен покойный Император»¹².

Михайловский-Данилевский в многотомном труде «Император Александр I и его сподвижники» не обошел молчанием отношения многих известных русских генералов к изяществу в одежде. Так, о генерале от инфантерии графе А. П. Тормасове, в 1812 году командовавшем 3-й Резервной армией, а в 1814 году ставшем генерал-губернатором Москвы, военный историк сообщил: «Щеголь смолоду, он и в преклонных летах был тщателен в одежде, и таким являл себя на войне и в сражениях»¹³. Подобная же черта свойственна была и командиру лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майору Я. А. Потемкину. «Стан его был примечательный, одевался он как кокетка», — сообщал об этом любимце солдат А. Е. Розен¹⁴. К этому свидетельству можно добавить замечание всезнающего Михайловского-Данилевского: «Заклучив с Милорадовичем на пирах кровавой смер-

ти союз искренней дружбы, любил он, подобно знаменитому другу своему, роскошь и щегольство»¹⁵. Что же касается «знаменитого друга», бесстрашного ученика Суворова, прославленного героя Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов М. А. Милорадовича, то он оставил далеко позади себя всех, кто стремился следовать моде. Его не менее известный соратник генерал А. П. Ермолов поместил в записках живописные сцены встреч русского военачальника и французского маршала на русских аванпостах при Тарутине: «Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Из разговоров их легко было заметить, что в хвастовстве французам не всегда принадлежало первенство. Если бы можно было забыть о присутствии неприятеля, казалось бы свиданье их представлением на ярмарке или под качелями. Мюрат являлся то одетый по-гишпански, то в вымышленном преглупом наряде, с собольей шапкою, в глазетовых панталонах. Милорадович — на казачьей лошади, с плетью, с тремя шалями ярких цветов, не согласующихся между собою, которые, концами обернутые вокруг шеи, во всю длину развевались по воле ветра. Третьего подобного не было в армиях!»¹⁶

Конечно, на войне трудно было придерживаться строгих предписаний военного регламента: в этом случае определенный «шик» заключался уже не в соблюдении строгих предписаний, а, напротив, в отступлении от них. В особенности «разнообразие» в одеждах проявило себя в условиях зимней кампании 1812 года. Уже в начале ноября прапорщик квартирмейстерской части Н. Д. Дурново отметил в дневнике: «Наша одежда слишком легкая, чтобы защитить от холода»¹⁷. Фельдмаршал Кутузов, по общему признанию, был «не франт», поэтому он и не докучал уставшим и измученным непогодой войскам требованиями к внешнему виду. Впрочем, Н. Е. Митаревский вспоминал, что и до наступления холодов нижние чины выглядели довольно «непрезентабельно»: «Солдаты ходили в потертых шинелях и мундирах. Форменных панталон не было, а носили брюки и белые, и пестрые. Кивера имели под чехлами и черными, и белыми. Портупей не белили, и они

из белых сделались желто-бурыми, — на это не обращали внимания; строго смотрели только за исправностью ружей, зарядов и всякого оружия»¹⁸. Офицеры также довольно «износились» в походе: «Штабс-капитан имел волчью шубу, у меня был тулупчик, но походом я так истаскал его, что были только остатки. Прочие офицеры были в мундирах, потертых легких шинелях, но, накидывая сверху плащи из крестьянского сукна, они достаточно согревались»¹⁹. Не в лучшем виде среди снегов являла себя гвардия, в том числе кавалергарды. Так, П. П. Ланской вспоминал: «Наступившие морозы еще сильнее голода донимали наше войско. Когда Кавалергардскому полку пришлось обходить Москву, Н. И. Васильчикову удалось выписать из своего имения Лопасни полушубок, и этот единственный экземпляр теплой одежды служил предметом зависти для всех товарищей. Вся обмундировка во время похода успела обратиться в грязные лохмотья, и заменить их было нечем. Единственная забота офицеров была раздобыть в выжженных и разоренных поместьях что-либо теплое. С. П. Ланской с радостной благодарностью получил от московской помещицы Недобровой, сжалившейся над его заморенным видом, ваточный капот и тут же напялил его на лохмотья мундира. Но еще курьезнее фигуру представлял Е. В. Давыдов. На его долю выпали три разноцветные набивные шали, и, недолго думая, он одною укутал стан, а остальные превратил в шаровары»²⁰. Юный прапорщик Дурново в этом первом в своей жизни походе не мог удержаться от замечания: «Было бы смешно увидеть нас в этих нелепых костюмах в столице». Однако великий князь Константин Павлович решил, не дожидаясь возвращения в Петербург, вернуть гвардейским полкам былую выправку. Нагнав победоносные российские войска, он тут же приступил к своим обязанностям по наведению порядка. 14 ноября Н. Д. Дурново отметил в дневнике: «Сегодня Великий князь Константин прибыл к армии. Он сразу же объявил, что все должны быть одеты по форме»²¹. «Можно себе представить, — вспоминал П. П. Ланской, — негодование Цесаревича при виде фантастических одеяний кавалергардских офицеров. Но больше всего

он распек Давыдова. Вызвав его перед фронт, он раздраженно стал ворочать его во все стороны, приговаривая: “Хорош! Хорош! Полюбуйтесь!” И тут же сгоряча отдал приказ, чтобы все иначе не появлялись, как в надлежащей форме. Ввиду полной невозможности исполнить приказ офицеры один за другим заявляли о болезни и удалялись в обоз»²². В одно зимнее непогожее утро цесаревич решил показать пример и гвардейцам-семеновцам, но имел не большой успех. П. С. Пущин записал в дневнике: «Цесаревич прибыл из Петербурга и вновь принял командование гвардией в Смоленске, что не особенно радовало офицеров, измученных голодом и зимней стужей. Великий князь, став во главе кавалерии для похода, появился лишь в одном мундире без пальто, несмотря на сильный холод. Он желал подать пример, но нам было только холодно, глядя на него». Приказ «заигравшегося» цесаревича отменил Кутузов, разрешив офицерам «на походе» одеваться так, как им удобнее.

Вступление русской армии в Париж, знаменовавшее собой «всеобщий мир», следовало отметить надлежащим образом. Александр I на языке той эпохи убедительно дал понять, что «большая война» закончена: «Еще накануне вечером Государь после сражения объявил, что он утвердил новую форму — рейтузы с нашитыми красными лампасами и что сам нынче явится в ней; почему и приказал, чтобы полк (Семеновский) был в новой форме. Тогда генерал Потемкин еще вечером послал в Париж полкового казначея Лодомирского купить сукна, а ночью всем офицерам нашили лампасы. <...> Генерал благодарил нас за то, что мы все были уже с красными лампасами, а мы, в свою очередь, благодарили его за присылку нам алого сукна, которое сами мы были не в состоянии достать»²³. Таким образом, за день до вступления русских войск в неприятельскую столицу парижский продавец сукна обзавелся выгодным клиентом. Кстати, этот пример был не единичным: предвидя крупные производства в чины и большие награждения за взятие Парижа, местные предприниматели стали спешно изготавливать золотое и серебряное шитье, пуговицы, эполеты, орденские знаки по русским

образцам. Так, в скором времени в городе, не дожидаясь возвращения в отечество, можно было не только заказать новый мундир, но и приобрести наиболее «ходовые» знаки ордена Святого Георгия 4-й степени, Святой Анны 3-й и 2-й степеней. Сам же государь в новой форме, по воспоминаниям прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка И. М. Казакова, выглядел великолепно: «Он вошел таким молодцом-красавцем, что описать невозможно».

Если в военное время, «на походе», отступления от правил встречались повсеместно и особенно не преследовались начальством, то в мирное время нарушителям регламента грозило заключение на гауптвахту, однако никакие запреты не останавливали щеголей, среди которых первым всегда оставался будущий генерал-губернатор Петербурга граф М. А. Милорадович! Прежде всего это касалось способа ношения офицерских и генеральских шляп, так называемых «треуголок». Форма этого головного убора, как и мундир, была заимствована у французской армии, но русская треуголка была тяжелее и выше, к тому же носить ее предписывалось не вдоль, а поперек головы: «...это был своего рода парус, носимый на голове»²⁴. Знаменитое выражение «красота требует жертв» нигде, по-видимому, не находило такого полного подтверждения, как на войне. Ф. В. Булгарин вспоминал об Аустерлицкой битве: «Русские офицеры носили тогда огромнейшие шляпы с султаном и широкой петлицей. Это было причиной гибели многих храбрых офицеров русских. В русских рядах даже слышно было, как французские офицеры кричали своим застрельщикам: “tirez aux chapeaux!”, то есть стреляй в шляпы, и отличные французские стрелки прицеливались, как в мишень, в колоссальную шляпу. Не все офицеры были перебиты, но почти все шляпы были по несколько раз прострелены»²⁵. Не удивительно, что русские офицеры упорно нарушали все предписания, разворачивая шляпу «с поля», на французский манер, вдоль головы, несмотря на угрозу, что виновник «будет строго наказан и представлен, как не выполняющий высочайших Его Императорского Величества повелений <...> предан военному суду»²⁶. Но «и граф Милорадович, и

Я. А. Потемкин, и вообще генералы-щеголи или франты, а за ними и офицеры, носили <...> шляпу “с поля”»²⁷.

Порывы «детей Марса» к красоте были столь упорны, что император в конце концов ощутил свое полное бессилие перед их стремлением выглядеть эффектно. Вскоре после войны государь стал смотреть на эти нарушения сквозь пальцы, о чем поведал А. Е. Розен, служивший в лейб-гвардии Семеновском полку: «Летом в теплую погоду отправился (я) через Исаакиевский мост для прогулки; под расстегнутым мундиром виден был белый жилет, шляпа надета была “с поля”, а на руках зеленые перчатки, одним словом, все было против формы, по образу тогдашнего щеголя. С Невского проспекта, повернув на Малую Морскую, встретил Императора Александра; я остановился, смешался, потерялся, успел только повернуть поперек шляпу, Государь заметил мое смущение, улыбнулся и, погрозив мне пальцем, прошел и не сказал ни слова»²⁸. Из приказов той поры явствует, что государю попадались на глаза модники, не ограничивающие себя одним лишь поворотом головного убора. Так, в книге полковых приказов Кавалергардского полка записано: «С завтрашнего дня, кто осмелится носить на шляпе неформенный (пуховой) султан, тот месяц целый будет сидеть на гауптвахте»²⁹. Действительно, султан полагалось иметь из петушиных, а отнюдь не из страусовых перьев. Кроме «пуховых» султанов военные щеголи могли явиться на бал, надев к бальным туфлям вместо белых черные чулки и панталоны, выпускали поверх галстука и краев стоячего воротника мундира углы ворота рубашки. Исподнее белье полагалось иметь белым, но щеголи могли надеть и черное, которое, заметим, в свое время не переносил А. В. Суворов. Кстати, и сам мундир надлежало иметь наглухо застегнутым, но, обратившись к парадным портретам военных эпохи 1812 года, мы довольно часто можем встретить офицеров того времени, запечатленными с расстегнутым воротом мундира, из-под которого помимо черного форменного «галстуха», лент орденов, носимых на шее, виднеется еще и рубашка «тонкого полотна», которую мог позволить себе далеко не каждый. Н. Е. Митаревский отмечал, что в большин-

стве своем армейские «офицеры же вообще жили чрезвычайно бедно, особенно пехотные. Не редкость было встретить офицера с протертыми локтями у мундира и заплатами на коленях у панталон. Зная всеобщую бедность, позволено было шить мундиры из солдатского сукна и носить темляки, шарфы и этишкеты на киверах нитяные»³⁰.

Среди столичных офицеров находились модники, стремившиеся к незаконному ношению усов, по определению Дениса Давыдова, «красы природы чернуброй», не полагавшихся, однако, кавалергардам, в отличие от гусар. В связи с этим с князем С. Г. Волконским произошло однажды забавное происшествие: «(Генерал) Уваров приехал смотреть манежную езду, я уже стоял в карауле, и как он приехал к манежу с науличной стороны, то не проехал мимо меня. По окончании езды он обращается к Депрерадовичу и говорит: “Кто у вас в карауле?” что он должен был знать по рапортчке дневной, и говорит: “И вы не заметили, что у него усы?” (которых тогда кирасиры не носили). “Я его еще не видал, — отвечал Депрерадович, — но уверяю, что Волконский примерный у нас офицер и строго соблюдает форму”. — “Увидим, — отвечал Уваров, — и вас, и его уличу”. Во время сего разговора Колычев, товарищ мой, ускользнул из манежа и прибежал с вестию сказанного ко мне. У меня точно в слабом виде усов был пушок на губе; я взял у кавалергарда что-то похожее на бритву, выскоблил с болью усы и, когда подошел Уваров, отдал ему честь; он остался в дураках, а Депрерадович за меня восторжествовал»³¹.

Особое внимание военные франты уделяли прическе. В самом начале царствования Александра I, как и при Павле I, волосы надлежало пудрить и «прицеплять» к ним косу. С какими муками было сопряжено это действие, видно из записок Я. О. Отрошенко: «В 1801 году приехал инспектор наш генерал Беннигсен для осмотра полка <...>. Я явился к капитану, который, осмотрев меня, передал унтер-офицеру с приказанием привести меня в надлежащую форму. Меня тотчас передали парикмахерам, те посадили на отрубок дерева и начали обрабатывать меня. Стрижка ничего не представляла

особенного, но когда начали тереть кирпичом по выстриженному месту, тогда надобно иметь большое терпение: мне казалось, что кожу с головы сдирают. После кирпича терли мелом; все это делалось для того, чтобы волосы стояли на тупее ежом. Потом намазали свечным салом, завили щипцами пукли, притрусили пылью провиантской муки, привязали со свинцом тяжелую косу и отпустили; голова моя горела, как будто облитая кипятком. Я вышел из шалаша, сел возле станка и в таком положении пробыл без сна целую ночь»³². Князь С. Г. Волконский поделился воспоминаниями о годах молодости А. И. Чернышева, будущего военного министра России, а в начале XIX столетия — кавалергарда и удачливого сослуживца будущего декабриста: «Мы носили еще тогда пудру; в Новой деревне мы могли не пудриться, но въезжая в город, надо было пудриться. У четырех из нас это происходило без больших сборов, часто и на чистом воздухе, кое-как, но у Чернышева это было государственное, общественное дело, и как при пудрении его головы просто происходил туман пудренный, то для охранения нас от этого тумана и в угоду ему — отведена была ему изба для этого великого для него занятия, высоко им чтимого»³³. Заметим, что прическа для многих тогда была делом не шуточным. Так, М. М. Петров во время Заграничного похода 1813 года отметил бросившуюся ему в глаза черту внешности своего собеседника: «Его тупей, как подобало, был всегда высоко взъерепенен и оснежен французскою пудрою»³⁴.

Следует признать, что военная униформа эпохи 1812 года выглядела очень эффектно и нарядно, что требовало немалых денежных затрат от «детей Марса». Подобное увлечение внешней красотой вызвало гневное возмущение у Н. М. Карамзина: «От начала России не бывало Государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, и царствования столь расточительного, как его <...>. Предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, обшитых серебром и золотом! Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир?»³⁵ Но нельзя не признать справедливым и мнение выда-

ющегося военного деятеля России, боевого генерала, ученого и педагога М. И. Драгомирова: «Да — одежда эта рабочая, но и работа наша особенная. Ведь дабы ее делать, надо жертвовать жизнью, и если это так, то и наша рабочая одежда приобретает такое высокое значение, с каким ничья профессиональная оценка не может сравниться»³⁶. Действительно, если в обществе бытует выражение «честь мундира», то, безусловно, одежда, олицетворяющая честь, должна выглядеть надлежащим образом. Юный офицер эпохи 1812 года, надевая военную униформу, сразу же чувствовал себя включенным в «сообщество героев», что накладывало отпечаток на его поведение в любых обстоятельствах. С восторгом вспоминал об этой незабываемой поре своей службы И. М. Казаков: «Хоть и написано в стихах: “нет счастья на земле — на небесах оно”, но это неверно, счастье и блаженство есть — оно в чине прапорщика в офицерском мундире; надев его, прапорщик не слышит земли под собой, а на гулянье восторг его не знает предела, так как в воображении своем он уверен, что все только на него и глядят»³⁷. Вот что сказал по этому поводу В. И. Левенштерн: «Мне шел всего 17-й год, но я считал себя человеком вполне взрослым; по крайней мере, я усвоил манеры взрослого человека, был всегда при сабле и, потрогивая аксельбанты, старался казаться в кругу товарищей серьезным и воздержанным. Как полон счастья тот день, в который надеваешь впервые мундир. Принц де-Линь был прав, говоря, что все наши радости ребяческие; этот умный юморист насчитывал в своей жизни всего четыре дня истинно счастливых: тот день, в который он впервые надел мундир, день его первой битвы, день, в который ему сказали впервые “я люблю тебя”, и тот день, когда он встал с постели после оспы. Первый и последний из этих счастливых дней не могли более повториться, но так как другие два повторились в его жизни раз пятнадцать, то они вскоре утратили всю свою прелесть»³⁸.

Р. С. Надежда Дурова: «Я никак не могу понять, от чего полковник наш при разводе несколько не похож на то, чем он бывает поутру у себя в комнате. <...> Дома ему сорок лет; перед разводом двадцать пять! Дома, и именно

поутру, он пожилой мужчина; но когда совсем оденется, это молодой красавец, от которого не одна голова кружится и мечтает»³⁹.

Глава восемнадцатая ЮМОР В ВОЕННОЙ СРЕДЕ

*Веселье в войске доказывает
готовность его идти вперед!*

М. И. Кутузов

Известный современный исследователь В. Н. Земцов предварил свою монографию «Великая армия Наполеона в Бородинском сражении» следующими словами: «Сегодня, на наш взгляд, пришло время обратиться к живому человеку прошлого, который боролся, страдал и умирал на Бородинском поле в 1812 году»¹. Наблюдая за поведением своих героев не только в битве при Бородине, заметим, что в боях и походах (как и в мирное время) они не только страдали и умирали, но еще смеялись и шутили. Так, вспоминая своего начальника и благодетеля (тогда это слово употреблялось безо всякого иронического смысла) князя П. И. Багратиона, Д. В. Давыдов сообщал: «Князь казался не только не смущенным, но он шутил более обыкновенного, что всегда делывал в минуты величайшей опасности». Наличие подобного качества Ф. Н. Глинка отметил в характере М. И. Кутузова: «Он был веселонравен, шутлив, даже при самых затруднительных обстоятельствах»². Старый фельдмаршал, отдавший военной службе полвека, усматривал в «веселонравии» неотъемлемый атрибут своего ремесла, что явствует из воспоминаний того же Ф. Н. Глинки: «Недавно докладывали ему (Кутузову. — Л. И.): не прикажет ли запретить офицерам забираться в трактир, находившийся против самых его окон, где они привыкли играть, шутить и веселиться? “Оставьте их в покое, — отвечал князь, — пусть забавляются, мне приятно слышать, как они веселятся! Люди, освободившие Отечество, заслуживают уважения. Я не люблю, чтобы

Главная квартира моя походила на монастырь. Веселье в войске доказывает готовность его идти вперед!»³

Отметим, что «веселью в войске», помимо «благородной амбиции», не позволявшей «праздновать труса», во многом способствовало религиозное сознание русских воинов, вверявших себя воле Божьей. Как писала в записках польская графиня А. Потоцкая: «Верили в Провидение, и это сильно облегчало жизнь»⁴. «Провиденциалистами» были и «безбожные и ветреные» французы, как называл их А. В. Суворов: они воспринимали происходящее отнюдь не как «объективную закономерность общественного развития» и полагались главным образом на свою судьбу и «счастливую звезду» своего императора. Следовательно, в мировосприятии воинов той эпохи было много общего, и это мировосприятие было живым и ярким!

Войска враждующих армий еще не отказались от красочной униформы в пользу обмундирования защитного цвета: «дети Марса» эпохи Наполеоновских войн не хотели умирать незаметными; внешнему виду соответствовало их поведение, целью которого было привлечь к себе всеобщее внимание. Они жили, постоянно ощущая себя на подиуме, потому что считали, что любое их деяние — достояние потомков. К месту сказанное слово, как и воинское отличие, — это шанс войти в историю. Уверенность в собственной избранности — феодальный пережиток, атавизм Средневековья, все еще свойственный воинам начала XIX столетия. Незвестности они боялись больше смерти, что явствует из сатирической эпитафии И. И. Дмитриева:

Жил, жил — и только что в газетах
Осталось — выехал в Ростов!

Наполеон выразил эту же мысль словами, близкими к античной риторике: «Для меня бессмертие — это след, оставленный в памяти человечества. Именно эта идея побуждает к великим свершениям. Лучше не жить вовсе, чем не оставить следов своего пребывания на земле»⁵. В эту героическую эпоху Стендаль сделал знаменательное наблюдение: «Невозможно подделывать две вещи: храбрость под огнем и остроумие в разговоре»⁶. Соче-

тавшие в себе оба этих качества поистине являлись героями своего времени, избранниками судьбы. Военные продолжали шутить со смертью, сознавая, что в отличие от «кровавых баталий» XVIII столетия, где потери исчислялись десятками и сотнями жизней, теперь счет велся уже на десятки тысяч. Современник так определил суть мужского воспитания той поры: «Верить в Бога и не бояться пушек»⁷. Веселье среди пушек — это стиль жизни, символ принадлежности к эпохе, на смену которой пришли времена «деэстетизации войны». Поколение же, олицетворявшее «век славы военной», не умело «мыслить страдательно». В качестве яркого примера приведем строки из письма известного поэта-воина С. Н. Марина графу М. С. Воронцову, в 1810 году воевавшему с турками: «Ты был за Дунаем. Поздравляю тебя, друг мой. Ходи за Дунай, только не шали и не дай удовольствия туркам отвезти твою костуйскую рожу в Стамбул и воткнуть ее на воротах сераля. Ты будешь играть жалкую фигуру, когда султанши придут забавляться с тобою и давать по носу щелчки»⁸. Кто бы в наше время рискнул отправить подобное письмо своему лучшему другу, находящемуся где-нибудь в «горячей точке», не опасаясь при этом навсегда лишиться его дружбы? Воронцов же, со своей стороны, письмо не порвал, не выбросил, а, посмеявшись, бережно сохранил в своем архиве как память о молодости, когда его величали «Костуем», то есть лихачом. Не будем и мы осуждать тех, кто умел весело «...идти вперед, расправив плечи, под визг взбесившейся картечи»⁹. Ю. М. Лотман, изучая культуру повседневной жизни, справедливо заметил: «Каждая эпоха имеет два лица: лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом, не поняв одного, мы не поймем другого»¹⁰.

«Смешны бывают случаи на сцене света; но всего смешнее они в войне и особенно в минуту боя»¹¹, — признавался С. И. Маевский, описав самый разгар Бородинского сражения, где, с точки зрения современного читателя, было совсем не до веселья. Мемуарист отметил, что смешным было даже не то, что говорилось, а где и кем говорилось. В качестве примера приведем небольшой, но яркий фрагмент, вписавшийся в масштаб-

ную картину битвы под Дрезденом 19—20 апреля 1813 года, о котором поведал офицер-гвардеец П. С. Пущин: «В это время произошло событие, заставившее нас смеяться. С наступлением сумерек неприятельский огонь уменьшился, вдруг к нам примчались неизвестно откуда три орудия прусской легко-конной артиллерии под командой очень храброго офицера. Орудия стали на позицию, офицер, узнав, что наш бригадный командир барон Розен, подошел к нему, поднес руку к козырьку, сказал: “Mit erlauben” (с позволения) и, не дожидаясь ответа, скомандовал: “Erst canon — feer” (первое орудие — пли), и три гаубицы начали пальбу с удивительной поспешностью. Французы, вызванные таким поступком, начали нам отвечать с батареи в 30 орудий, вследствие чего все стали говорить прусскому артиллеристу, чтобы он убирался к черту с своими орудиями, которыми нельзя нанести неприятелю вреда столько, сколько он нам причинил. В то же время барон Розен, чтобы избежать совершенно напрасной потери, приказал нам отступить; отряд прусской кавалерии, находившейся сзади, прошел вперед, чтобы прикрыть наше отступление, а прусский артиллерист, виновник всего происшедшего, скомандовал: “Ruck vept marche” (назад марш) и исчез так же стремительно, как и появился.

Ночь настигла нас в этой передрагге; кавалерия прусская, спешившая для отдыха, упустила несколько лошадей, которые, на несчастье, побежали на нас. Вследствие страшно темной ночи мы, предположив, что нас атаковала неприятельская кавалерия, построились в каре и дали залп. Кирасиры, подоспевшие за своими лошадьми, рассеяли наше заблуждение, и прошло много времени, пока восстановился порядок, нарушенный злополучным “мит эрлаубен”»¹².

Кстати, П. С. Пущин был в числе кишиневских знакомых А. С. Пушкина, который охотно отдавал должное военному остроумию! Так, он записал со слов Д. В. Давыдова шутку «Ахилла Наполеоновских войн» и «идола русской армии» князя Багратиона: «Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: “Главкомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и про-

сит вас немедленно отступить”. Багратион отвечал: “Неприятель у нас на носу? на чьем? если на вашем, так он близко; а коли на моем, так мы успеем еще отобедать”¹³. При этом и Багратион, и его адъютант знали, что положение их — отчаянное. Не меньшее восхищение вызывал у современников и анекдот об А. П. Ермолове, терпеливо поджидавшем неприятельскую колонну на ближайший картечный выстрел. Французы приближались — русские пушки молчали. К Ермолову прискакал адъютант великого князя Константина Павловича с требованием немедленно открыть огонь. «Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноголовых», — ответил ему Ермолов. Великий князь пришел в восхищение как от этого ответа, так и от прицельного огня артиллерии. В записках генерал, торжествуя, пояснил: «Он видел опрокинутую колонну!»¹⁴ Впрочем, поводом для острот «русского витязя» Ермолова далеко не всегда служили промахи неприятеля. Современник вспоминал о том, как его внимание «остановил на себе портрет Наполеона I, висевший сзади кресла, обыкновенно за Ермоловым.

— Знаете, отчего я повесил Наполеона у себя за спиной? — спросил Ермолов.

— Нет, Ваше Высокопревосходительство, не могу себе объяснить причины.

— Оттого, что он при жизни своей привык видеть только наши спины»¹⁵.

Ермолов, вступивший в марте 1814 года победителем в покоренный Париж, мог себе позволить перед посетителем эпатажную выходку, непозволительную для тех, кто не разделял с ним ни былых поражений, ни былых побед.

В обществе бытовали предания и об остроумии генерала А. Ф. Ланжерона. «В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному (с французским акцентом. — *Л. И.*), который неловко исполнил приказание, ему данное: “Ви пороху нье боитесь, но за то ви его нье выдумали”»¹⁶. Сослуживцы запомнили лаконичный ответ А. И. Остермана-Толстого на вопрос адъютанта в деле под Островной: «Ваше сиятельство! Половина наших орудий подбита, что прикажете де-

лать?» — «Стреляйте из остальных», — отвечал военачальник, не выпуская трубки изо рта¹⁷.

Немало занятных случаев было связано с именем «Российского Боярда и Роланда» графа М. А. Милорадовича. Об одном из них, весьма драматическом, связанном с оставлением Москвы французам, поведал офицер квартирмейстерской части А. А. Щербинин: «Проехав Кремль, мы увидели два батальона Московского гарнизона, оставлявшего Москву с музыкою. Милорадович обратился к командовавшему гарнизоном генерал-лейтенанту Брозину с следующими словами: “Какая каналья велела Вам, чтобы играла музыка?” Брозин отозвался, что когда гарнизон оставляет крепость по капитуляции, то играет музыка, “так сказано в уставе Петра Великого”. — “А где написано в уставе Петра Великого, возразил Милорадович, о сдаче Москвы? Извольте велеть замолчать музыке”»¹⁸. А чего стоила отповедь М. А. Милорадовича собственному адъютанту, вздумавшему в опасных обстоятельствах поучать своего начальника: «Генерал, перед французской армией не надо бравировать». Ответ генерала, «великолепного во всех своих деяниях», не заставил себя ждать: «Это мое дело бравировать, а ваше — умирать»¹⁹.

Впрочем, юмор иногда проистекал вовсе не от спокойствия духа военачальника, а, напротив, вследствие его раздражительности. В битве под Лейпцигом, находясь под жестоким обстрелом неприятельских батарей, генерал Ф. В. Остен-Сакен неожиданно заметил отсутствие своего юного адъютанта. Когда тот появился, генерал спросил его сурово: «Ты куда, К., отлучился без моего повеления?» — «Ваше превосходительство, — робко отвечал К., держа в руках очки, — я за очками ездил, забыв их в своем вьюке». Генерал иронически возразил: «Вот тут-то тебе очёк и не нужно, теперь без них все десятирится»²⁰.

Гнев генерала Остен-Сакена можно объяснить отчасти тем, что он заподозрил подчиненного в трусости. Офицеру легко можно было простить «излишнюю опрометчивость» (см. рассказ Д. В. Давыдова «О том, как я, будучи штаб-ротмистром, хотел разбить Наполеона») или то обстоятельство, что «не он выдумал порох», но к

трусам в армии относились нетерпимо. Самые колкие остроты связаны именно с этим «черным пороком». Как тут не вспомнить о поучительном спектакле, разыгранном Кутузовым на глазах у сослуживцев в сражении при Тарутине. Фельдмаршал получил известие о гибели французского генерала Дери, которого сначала приняли за польского князя Ю. Понятовского. Светлейший отправил графа NN проверить донесение. «Граф скоро возвратился и донес Кутузову по-французски: “Qu’il n’a pas pu arriver jusqu’a l’endroit ou gisait le corps, parceque les balles sifflaient encore prodigieusement” (...он не мог доехать до места, где лежало тело, потому что пули еще страшно свистели).

Едва он это выговорил, как Кутузов с ласковым лицом остановился перед ним: “Eh, pardon, cher comte, a quoi ai-je songe d’exposer une tete aussi precieuse aux balles? Mille fois pardon, comte. Vous dites que les balles sifflaient, n’est-ce-pas? Combien je vous suis reconnaissant de ne vous y etre pas expose!” (Ах, простите, любезный граф. Как же мог я подвергать пулям столь дорогую голову! Простите меня, граф. Вы говорите, что пули свистели. Не так ли? Как я вам благодарен, что вы туда не поехали!).

Граф, понявший всю важность своей ошибки, просился опять поехать. “O non, cher comte, comment donc me hazarder de vous y exposer encore? Jamais” (Ах, нет, любезный граф! Как я смею еще раз подвергать вас опасности? Ни за что!). И лукавый старик, прохаживаясь взад и вперед, останавливался перед ним и продолжал свою жестокую, но заслуженную шутку»²¹.

Кстати, боязливого или, как ехидно заметил Ермолов, «скромного» офицера насмешки подстерегали не только в бою, но и на учениях, что следует из рассказа «кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой об «ученье конном с стрельбой из пистолетов»: «В шесть утра мы были уже на поле <...>. Действие открыл первый взвод под начальством Т***, которому надобно было первому перескочить ров, выстрелить из пистолета в соломенное чучело и тотчас рубить его саблей; люди последуют за ним, делая то же. Т*** тотчас отрекся прыгать через ров, представляя к общему смеху нашему, причину своему отказу

ту, что он упадет с лошади. “Как вы смеете сказать это, — вскричал инспектор, — вы кавалерист! гусар! Вы не стыдитесь говорить в глаза вашему начальнику, что боитесь упасть с лошади. Сломите себе голову, сударь, но скачите! сделайте то, что должно делать в конной службе, или не служите”. Т*** выслушал все, но никак не смел пуститься на подвиг и был просто зрителем отличавшихся его гусар. За ним П*** плавно поскакал, флегматически перескочил ров, равнодушно выстрелил в чучело и, мазнув его саблею по голове, стал покойно к стороне, не заботясь, хорошо или дурно делает эволюции взвод его. За ним была очередь моя <...>. Я совсем потеряла терпение и, желая скорее кончить эту возню, ударила саблею своего капризного коня, как мне казалось, плашмя; конь бросился со всех ног на чучело и даже повалил его <...>. Я сделалась в свою очередь простым зрителем и подъехала к Станковичу и Павлицеву, чтоб вместе с ними посмотреть на молодецкие выходки последнего взвода. “Что это за кровь на ноге вашей лошади, Александров?” — спросил Станкович. Я оглянулась: по копыту задней ноги моего коня струилась кровь и обгаряла зеленый дерн. <...> К прискорбью моему, вижу на клубе широкую рану, которую, вероятно, я нанесла, ударив так неосторожно саблею. <...> Приехав на квартиру, я приказала при себе вымыть рану вином и заложить корпией. По окончании ученья все поехали к Павлицеву, в том числе и господин Т***. На вопрос Павлицева, а где ж Александров? — трус Т*** поспешил сказать: “Он теперь оmyвает горячими слезами рану лошади своей”. — “Как это! какой лошади?” — “Той, на которой он сидел и которой разрубил клуб за то, что не пошла было на чучело”. — “С вами этого не случится, Григорий Иванович! Скорее чучело пойдет на вас, нежели вы на него”»²².

Славой острослова пользовался в русской армии генерал Н. Н. Раевский, что также отметил в своих записях А. С. Пушкин: «Генерал Раевский был насмешлив и желчен. Во время Турецкой войны, обедая у главнокомандующего графа Каменского, он заметил, что кондитер вздумал выставить графский вензель на крыльях мельницы из сахара, и сказал графу какую-то колкую

шутку. В тот же день Раевский был выслан из Главной квартиры. Он сказывал мне, что Каменский был трус и не мог хладнокровно слышать ядра; однако под какой-то крепостию он видел Каменского, вдавшегося в опасность»²³. Поэт не указал, за какую именно колкость был наказан Раевский, а злоречивый генерал не смог отказать себе в удовольствии пошутить над амбициозным и обидчивым начальником, которого он к тому же подозревал в трусости. Генерал Н. М. Каменский вознамерился овладеть крепостью Шумлой, которую защищали войска великого визиря Юсуфа-паши. Русская армия в это время таяла от повальных болезней. Каменский объявил в приказе, что возьмет крепость через два дня. На обеде, где присутствовал и Раевский, Каменский заявил: «Если я приказал, крепость будет взята! Послезавтра мы там обедаем! Не сомневайтесь! Я заказал кондитеру приготовить турецкую башню из крема, украшенную моими гербами!» — «Отважное предприятие при такой жаркой погоде», — произнес Раевский, намекнув то ли на успех штурма, то ли на крем для «башни». (Кстати, штурм был неудачным.)

С точки зрения Раевского, почет воину доставляла только «чистая слава», добытая в жестоких боях. Сомнительные подвиги сослуживцев также служили мишенью для остроумия одного из самых популярных в армии военачальников. «Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славою, в 1812 году взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выманил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он, дабы их предупредить, бросился было его обнимать; Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: “Кажется, ваше превосходительство принимает меня за пушку без прикрытия”»²⁴. Любители рискованных шуток встречались и среди окружавших его офицеров. Так, Н. Дурова оставила в записках весьма живую зарисовку с места событий, запечатлевшую нравы той эпохи: «Смоленск уступили неприятелю!.. Ночью уже арьергард наш взошел на высоты за рекою. Раевский с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал воскликнуть: “Какая прекрасная картина!..” — “Особли-

во для Энгельгардта, — подхватил который-то из адъютантов генерала, — у него здесь горят два дома!»²⁵

Военный эпизод, чреватый неожиданным комизмом, попал на страницы пушкинского романа «Евгений Онегин». Так, в числе разнообразных «достоинств» Зарецкого, секунданта Владимира Ленского, поэт отметил следующее:

И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого сваясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!

В одной из статей «Онегинской энциклопедии» предпринята попытка установить, кому из лиц в ближайшем окружении поэта «посчастливилось» стать прототипом литературного героя²⁶. Перечислив на основании «косвенных» совпадений имена Ф. И. Толстого, Ф. В. Булгарина, автор даже пришел к мысли, что «пьянство во время военных действий не противоречило ролевой установке на удальство»²⁷. Однако данное утверждение представляется нам ошибочным: разгульный образ жизни на биваке и пьянство в сражении — вещи несовместимые. Если на первое начальство закрывало глаза, то второе было чревато взысканием. Так, «геройский атаман Платов», о пьянстве которого при Бородине автор сообщает в доказательство своей точки зрения, оказался едва ли не единственным генералом, лишенным награды за участие в битве. Но главное заключается в другом: у Зарецкого был вполне реальный прототип, о котором во времена Пушкина многим было известно. А. П. Ермолов с изрядной долей юмора повествует в своих записках (издателем которых мечтал стать Пушкин) об эпизоде, относившемся к кампании 1806—1807 годов: «До прибытия его (Багратиона. — *Л. И.*) к авангарду случилось неприятное весьма происшествие. Четыре полка егерей под командою генерал-майора Корфа <...> страшным образом лишились своего начальника. Он, занимая лучший в селении дом священника, принялся за пунш, обыкновенное свое

упражнение, и не заботился о безопасной страже. <...> Несколько человек вольтижеров, выбранных французами, в темную ночь вошли через сад в дом, провожаемые хозяином, и схватили генерала. Сделался в селении шум, бросились полки к ружью, произошла ничтожная перестрелка, и неприятель удалился с добычей.

Наполеон не упустил представить в бюллетене выигранное сражение и взятого в плен корпусного начальника, а дабы придать более важности победе, превозносил высокие качества и самое даже геройство барона Корфа. Но усомниться можно, чтобы до другого дня могли знать французы, кого они в руках имели, ибо у господина генерала язык не обращался. Я в состоянии думать, что если бы не было темно, то барон Корф не был бы почтен за генерала в том виде, в каком он находился, и нам не случилось бы познавать достойным своего генерала из иностранных газет»²⁸. Рассказ Ермолова, исполненный сарказма, служит подтверждением тому, что слава первого острослова в армии закрепились за ним неслучайно. Трагикомизм же этого происшествия неожиданно дополняется сдержанным повествованием одного из офицеров (Я. О. Отрощенко), служившего как раз в одном из четырех егерских полков, упоминаемых Ермоловым, и полку этому на протяжении всей кампании, как нарочно, не везло с командованием. «Мы остались как сироты без начальства, — сообщает Я. О. Отрощенко. — Так мы пришли в окрестности Кенигсберга. Здесь прибыл к нам вновь назначенный шеф генерал-майор Корф. Он был уже почтенных лет и принял нас как добрый отец. Мы благодарили Бога, что имеем начальника. Через несколько дней составлен был для него особенный отряд»²⁹. Но радость офицеров продолжалась ровно сутки. В следующую же ночь (о которой рассказал Ермолов) отряд был внезапно атакован неприятелем. «Начало уже рассветать, когда мы выбрались за деревню; люди всех полков были смешаны вместе, потом построились роты, но генерала нашего не было и никого из штаб-офицеров других полков. Полковой штаб-лекарь нашего полка, ночевавший вместе с генералом, сказал, что он взят в плен; делать уже было нечего...»³⁰ Итак, полк снова ока-

зался без начальника, лишившись его, по словам Ермолова, «страшным образом».

Коль скоро было упомянуто имя донского казачьего атамана Матвея Ивановича Платова в связи с его пристрастием к горячительным напиткам, позволим себе привести исторический анекдот на эту тему. «Императрица Мария Федоровна спросила у знаменитого графа Платова, который сказал ей, что он с короткими своими приятелями ездил в Царское Село.

— Что вы там делали — гуляли?

— Нет, государыня, — отвечал он, разумея по-своему слово *гулять*, — большой-то гульбы не было, а так бутылочки по три на брата осушили...»³¹ Вдовствующая императрица не осудила заслуженного воина: выражаясь языком Суворова, «она поняла, что с ней говорит солдат».

Если «веселонравные» выходки Кутузова и Багратиона, Ермолова и Платова благодаря свидетельствам сослуживцев стали неотъемлемой частью их психологических портретов, то упоминание о склонности к шуткам М. Б. Барклай де Толли («вождя несчастливо-го») — явление редкое. Однако есть основания предполагать, что и этот прославленный военачальник не всегда «был в печали». Так, память одного из нижних чинов русской армии сохранила довольно забавный случай: «В Москве мой был главнокомандующий Барклай де Толли, и, когда я управлял кухней, Барклай де Толли подъезжает, кричит: “Что, каша готова?” Я говорю: “Готова, ваше сиятельство”. — “Давай”. Я ему налил миску, он попросил другую, потом садится на лошадь и говорит: “Ну, теперь мы готовы сражаться с Наполеоном”»³². В воспоминаниях старика-ветерана С. Я. Богданчикова (или же его внука М. А. Богданчикова, записавшего рассказы своего деда) многое перепуталось, но характер шуток Барклай «схвачен» верно, что подтверждается другим примером. На этот раз автор воспоминаний — признанный интеллектуал, военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, не отказавший себе в удовольствии поместить в своем дневнике описание события, очевидцем которого он оказался. «Когда во время смотра при Вертю князь Барклай де Толли

представил строевой рапорт австрийскому наследному принцу, известному своим ограниченным умом, то он спросил у фельдмаршала: “Что мне с ним делать?” — “Спрячьте его в карман”»³³, — отвечал русский главнокомандующий, прозрачно намекнув на возможности использования служебного документа.

В те героические времена среди русских офицеров необыкновенная судьба Наполеона, «горделивого властелина Европы», нередко становилась предметом обсуждений, заканчивавшихся подчас неожиданными сравнениями, как видно из рассказа М. М. Петрова о посещении русскими офицерами резиденции Наполеона в Сен-Клу: «Один из бывших с нами адъютантов наших, немец Клуген, изумленный невообразимым богатством этой половины дворца, идя за нами, повторял шепотом товарищу своему, Татищеву: “Ах, поше мой! Ну шево он еще катил?” Я, подслушав это, спросил его: “Что, Клуген, если бы у тебя этакой домишко был, ты бы, как видно, не пошел в Москву?” — “Шорт бы мини понос оттуда дуда”. — “Лжешь — и ты бы пошел, я твое честолюбие видел <...>”»³⁴.

Приведем еще один исторический анекдот, показывающий, как в «эпоху великих потрясений» военные люди, шутя, проводили нешуточные параллели между своими «личными обстоятельствами» и большой политикой. «<...> Граф Петр Корнилиевич Сухтелен, инженер-генерал, пользовавшийся особенной милостью Императора Александра, почел себя оскорбленным поступком с ним одного из самых приближенных лиц к Государю, и пожаловался Его Величеству. Государь выслушал милостиво графа Сухтелена, но, не желая выводить дело наружу, сказал ласково: “Брось это, Сухтелен!”

— Но чем это кончится, Государь? — возразил граф.

— Посердишься и — забудешь, — отвечал Государь шутя, и тем дело кончилось.

<...> В одно из собраний Государь, смотря на карту Европы и указывая на нашу старую границу со Швецией, обратился к графу Петру Корнилиевичу Сухтелену и сказал: “Где бы ты думал выгоднее было для обоих государств назначить границу?” Граф Сухтелен, не говоря

ни слова, взял со стола карандаш и провел черту от Торнео к Северному океану.

— Что ты это? Это уже слишком много! <...> Мой свояк, шведский король, рассердится, — сказал Государь, шутя.

— Посердится и забудет, — отвечал Сухтелен, повторив при этом случае ответ Государя на жалобу его <...>. Государь погрозил пальцем графу Сухтелену»³⁵.

По воспоминаниям современников, император Александр I был также расположен к шуткам: «Александр умел быть колким и учтивым. На маневрах он раз послал с приказанием князя <П. П.> Лопухина, который был столько же глуп, как красив; вернувшись, он все переврал, а государь сказал: “И я дурак, что вас послал”»³⁶. Впрочем, пресловутая страсть государя к маневрам и парадам также служила поводом для острот. Военные не упускали случая противопоставить настоящую войну «науке складывания плаща». Одна из таких острот попала в письмо посланника Ж. де Местра: «Как-то один человек сказал мне: “Разве возможно, чтобы Российский Император хотел быть капралом?” Я же с небрежностью ответил ему: “У всякого свой вкус, у него именно такой, он с ним и умрет”; на сие мне было сказано: “Скажите лучше, сударь, он от него умрет”»³⁷. Собеседник довольно бесцеремонно намекнул де Местру на насильственную смерть отца Александра I, императора Павла I, изводившего своих подданных страстью к парадной стороне войны. Однако ради исторической справедливости следует признать, что в те годы боевые генералы русской армии, как правило, удачно совмещали навыки опытных «фрунтовики» с подвигами на поле чести. Так, П. П. Коновницын, полагавший, «что изменит долгу своему, ежели не будет находиться в цепи стрелков при первом ружейном выстреле»³⁸, с равным восторгом относился и к «парадной» стороне военного ремесла, что отразилось в однажды сочиненном им полшутливо-полусерьезном четверостишии:

У нас иной гордится,
Что он почтен и знатен по уму!
Возьми-ка дядю прочь, сестрицу иль куму.
Ни в строй, ни к смотру не годится»³⁹.

Пожалуй, самым мрачным (особенно с современной точки зрения) являлся юмор, связанный с таким явлением на войне, как мародерство, склонность к которому проявляли не только воины неприятельской армии. Вновь обратимся к запискам «кавалерист-девицы», имевшей дар не только подмечать выразительные «жанровые» сцены военной жизни, но и с юмором о них рассказывать: «Сегодня в полночь, возвращаясь из штаба и проезжая мимо полей, засеянных овсом, увидела я что-то белое, ворочающееся между колосьями; я направила туда свою лошадь, спрашивая “кто тут?”. При этом вопросе белый предмет выпрямился и отвечал громко: “Я, ваше благородие! улан четвертого взвода”. — “Что ж ты тут делаешь?” — “Стараюсь, ваше благородие!..” Я приказала ему идти на квартиру и более уж никогда не стараться... Забавный способ избрали эти головорезы откармливать своих лошадей! Заберутся с торбами в овес и обдергивают его всю ночь; это по их называется — *стараться*»¹⁰. Дело не всегда ограничивалось «стараниями» только в чужих посевах. Так, Н. Е. Митаревский вспомнил «забавный» случай, относящийся к кампании 1812 года: «Когда отступали от Смоленска, то по дороге в поле было много гороху; он тогда поспевал и солдаты, завидев, бросались рвать его. Однажды, когда солдаты бросились рвать горох, случившийся тут хозяин-мужичок приглашал их и приговаривал: “Рвите, батюшки, кушайте на здоровье!..” Некоторые из солдат отвечали ему: “Спасибо, добрый человек. Когда б не позволил, то мы не посмели бы и тронуть!” — а другие смеялись»⁴¹.

А. И. Михайловским-Данилевским описан еще более впечатляющий эпизод военных забав: «На другой день рано поутру я встретился с генералом Коновницыным, и мы поехали вместе в Бриеннский замок, который предан был на разграбление. Открыли заваленный погреб, в котором лежало несколько тысяч бутылок вина и множество ящиков шампанского. Это обстоятельство, разгорячившее еще более победителей, послужило к довершению гибели злополучного замка. Между прочим мы нашли отборнейшую библиотеку и кабинет по части естественной истории, на потолке кото-

рого повешен был крокодил. Кому-то пришла странная мысль перерубить веревки, на которых он был прикреплен, и огромный африканский зверь с ужасным треском обрушился на шкафы и комоды, в которых за стеклом сохранялись раковины, ископаемые и разные животные. Хохот, сопровождавший сие падение, сокрушившее собою собрание редкостей, требовавшее многих лет и больших издержек, был истинно каннибальский, но явления сего рода неразлучны с войною»⁴².

Наконец, нельзя умолчать о склонности военных того времени к такому, по нашим понятиям, малопочтенному роду веселья, как шутовство и розыгрыши. Благодаря образному рассказу А. А. Щербинина, служившего при штабе М. И. Кутузова, мы как будто переносимся в 1812 год, где становимся свидетелями невинных, по тем понятиям, развлечений в Главной квартире фельдмаршала: «В это время явились к Кутузову депутаты от дворянства Харьковской и Полтавской губерний, предлагавших в распоряжение главнокомандующего общее вооружение. Кутузов благодарил их за усердие, но предложение отклонил, отозвавшись, *что до такой крайности дела еще не дошли* (выделено мной. — Л. И.). Являлись некоторые и частные лица, предлагавшие услуги свои в виде волонтеров. Оригиналы эти были все весьма преклонных лет <...>. Между ними особенно отличался некто Яков Иванович из Воронежа — высокого роста, бледный, с черными глазами и беспокойным взглядом. Одетый в черный гусарский чекмень, он в деле под Малоярославцем, где могла действовать только пехота, явился перед линиею кирасиров, разумеется вне выстрела, и, махая саблею, как бешеный, кричал: «вперед, вперед». Депрерадович велел прогнать его за фронт. Другой волонтер был скромнее. В вицмундире Сумского гусарского полка, в котором некогда служил штаб-офицером, высокого роста, худощавый, лет около 70-ти, он показывал нам опыты своего искусства владеть саблею. Кутузов принял его чрезвычайно ласково, обнадеживая его дать ему занятия; но едва он вышел, Кутузов сказал окружающим: «Ну куда этакому б... служить?» <...>. После Красного и перехода вскоре через Днепр кончился подвиг главной армии. Вышеупомяну-

тый волонтер из Воронежа явился в Орше к Коновницыну и сказал: “Петр Петрович, я довел армию (выделено мной. — Л. И.) до древних пределов России и могу теперь спокойно возвратиться в дом мой. Прошу вас представить меня Светлейшему”. Яков Иванович, быв приведен к Кутузову, бросился перед ним на колени и получил из рук его орден Святой Анны 2-й степени»⁴³. В те годы А. А. Щербинину, которого немало забавляли описанные много лет спустя сцены, было чуть более двадцати. Для читателей своих записок он счел нужным дать пояснение: «В этом случае отзывалась в Кутузове и Коновницыне страсть к шутам, свойственная старинным русским барам. Притом Коновницын имел в виду кольнуть эту наградою другого волонтера, капитана Молчанова (искусного фехтовальщика. — Л. И.), родственника Коновницына, который ему надоедал настояниями о доставлении ему, Молчанову, ордена»⁴⁴.

Традиция награждать шутов была отнюдь не изжитая в среде знаменитых русских военачальников, нравы и обычаи которых сформировались в «безумном и мудром» XVIII столетии. Приведем рассказ А. Ф. Ланжерона, относящийся к событиям Русско-турецкой войны 1806—1812 годов. Время действия — октябрь 1809 года. Место действия — ставка главнокомандующего русской армией на Дунае князя Петра Ивановича Багратиона. Действующие лица: князь Багратион, граф Ланжерон, генералы Платов, Бахметьев, Строганов, Трубецкой, одним словом, цвет российской армии. Ланжерон, спустя годы, признавался: «Корпус кадет, оставленный без надзора своими воспитателями, не придумал бы столько развлечений, как мы в Гирсове. Мы не были детьми, но забавлялись, как они. <...> Все служило для нас мотивом к веселью. Грязь была так ужасна, что не было никакой возможности перейти из одного дома в другой иначе как верхом, утопая по колени в этой отвратительной черной массе. Из разрушенных ледников образовалось множество ям, куда каждый из нас падал по очереди, и это составляло интерес дня. Платов имел у себя одного калмыка, вроде шута, которого мы заставляли петь, рассказывать нам истории об его стране, и это служило для нас спектаклем. Конечно, эти истории не имели ника-

кого смысла, но хохотали над ними ужасно; особенно забавно было хладнокровие Платова, слушавшего их с величайшим вниманием, замечая ум и остроты этого буффона, которыми он один мог восхищаться. Этот калмык, Манык, больше всех выиграл от нашего пребывания в Гирсове; мы ему надавали более сотни дукатов, а Багратион имел слабость пожаловать ему Святого Георгия 4-й степени (солдатский)»⁴⁵. Заметим, что веселье это было отнюдь не таким безопасным, как может показаться на первый взгляд. Поздней осенью князь Багратион получил приказ вести военные действия за Дунаем в голой, обледенелой степи. «При Дворе были уверены, что берега Дуная не знают, что такое зима», — прокомментировал это обстоятельство Ланжерон. Багратион известил императора о невозможности пребывания армии на правом берегу Дуная и, в ожидании ответа Александра I, принял решение перевести большую часть армии на левый берег. Сам же главнокомандующий с группой генералов оставались в виду неприятеля, формально выполняя высочайшую волю. «Нам <...> грозило лишиться всех средств к существованию, если бы случился ураган, как в 1810 году, и снес бы Русукский мост <...>, но мы не думали об этих бедствиях, и ничто не могло помешать нашему веселью», — вспоминал Ланжерон⁴⁶.

Кого-то могут и покоробить забавы любимых и почитаемых военачальников, но при этом не следует забывать, что каждый из них был сыном своего века, поэтому и веселился каждый из них в духе нравов и традиций своего поколения. Шутки «батального жанра» попадали на страницы писем, дневников, воспоминаний участников сражений или же передавались от поколения к поколению, пока кто-нибудь из благодарных слушателей не догадывался записать их для потомков. Юмор в военной среде в эпоху Наполеоновских войн еще не приобрел обозначения «солдатского юмора» с негативным оттенком. Исторические анекдоты из непростой и полной опасностей жизни «детей Марса» попали даже на страницы «Записных книжек» П. А. Вяземского, их заносил в «Table-talk» А. С. Пушкин. Если же на чей-то образованный вкус шутки военных

острословов выглядели недостаточно изысканными, то им всегда можно было возразить словами некоего морского офицера: «Покажите мне хоть одного академика, взявшего на бордаж неприятельское судно».

Глава девятнадцатая

НАПОЛЕОН ГЛАЗАМИ ОФИЦЕРОВ РУССКОЙ АРМИИ

На празднике французского посла в Дрездене, по случаю рождения у Наполеона сына, наш посланник Ханыков, показывая мне иллюминацию, изображающую полусолнце, прибавил: «Еще восходящее солнце!» — «Почему же не заходящее?» — отвечал я.

П. Х. Граббе. Из памятных записок

«...Воспоминания о подробностях той эпохи имеют для участвовавших в ней прелесть непреодолимую», — признавался А. А. Щербинин¹. Кем бы впоследствии ни стали участники славных походов, но значительность всего совершившегося с ними и на их глазах они ощущали на протяжении всей своей жизни. Русские военные знали, кто не позволял им скучать: «...Наполеон в той исторической шляпе, в том историческом сером сюртуке, от коих земля дрожала и которые, казалось, курились еще дымом сражений»². А. И. Михайловский-Данилевский сообщал о Наполеоне как о главной примете времени: «Имя его было известно каждому и заключало в себе какое-то безотчетное понятие о силе без всяких границ». Ф. В. Булгарин, которому довелось сражаться не только в русской, но и в наполеоновской армии, вспоминал с восторгом: «Чудная эпоха, которая не скоро повторится на земле, эпоха истинно мифологическая! Битвы Титанов, общий переворот на земном шаре, падение и восстание царств, столкновение целых народов, ряды героев в их челе: все это мы видели и участвовали в великих событиях, как капля воды в вол-

нах разъяренного моря <...>»³. Пока власть находилась в руках «горделивого властелина Европы» Наполеона Бонапарта, казалось, что военным заботам не будет конца. «Безвестный корсиканец», совершивший невероятное восхождение к вершине воинской славы, стяжал бессмертие не только для себя: вместе с ним вошли в историю сотни тысяч людей из тех, для кого «между долгом и смертью середины не было». После смерти Наполеона в России, как и во Франции, доживали свой век ветераны, независимо от возраста пережившие свое время. При жизни Наполеона они жили настоящим, после него — прошлым. По словам И. Т. Родожницкого, им оставалось только «ходить из дома в дом, выигрывать деньги, слушать и молоть бессмысленный вздор и вздыхать около немых красавиц, что значило посвятить себя праздности, от которой вскоре можно было одуреть и быть вовсе бесполезным трутнем для себя и для других»⁴. Денис Давыдов, «пережив многое и многих», горестно сокрушался: «...Склонясь главой у плуга, завидую костям соратника иль друга». Он же подвел итог «самой звездной из эпох»:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы!

Вопрос об отношении русской армии к «расточителю славы» как в пору его могущества, так и после не особенно привлекал внимание исследователей эпохи 1812 года. Это происходило, вероятно, потому, что сама эта проблема «нивелировалась» под мощным влиянием художественной литературы более позднего периода. Самым ярким примером, упростившим понятия о восприятии личности Наполеона в среде русских военных начала XIX века, является роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». Читатели нередко забывают, что великое произведение «великого Льва» создавалось в иную эпоху, насыщенную «деэстетизацией всего военного». Взгляды писателя на войну и военных, безусловно, заслуживают внимания, но они не отражают настроения русского общества в пору Наполеоновских войн.

Современный исследователь подметил: «Образованному обществу России начала XIX века было свойственно романтическое восприятие политики и “человека войны”. Он мыслился победителем, а война осознавалась как открытая ситуация для реализации потенций героя. Это представление соответствовало общему культурно-психологическому духу эпохи классицизма. Европейские войны прочитывались российскими зрителями в категориях античного противоборства. Идеализации войны в российском обществе немало способствовали военные успехи русской армии, добытые под руководством Суворова. Ими гордились, и казалось, что сражения — совершенно естественное средство защиты внешнеполитических интересов государства»⁵.

Отрешившись от толстовского эталона восприятия личности Наполеона, обратимся к письмам, дневникам, воспоминаниям той поры. Воинственные наклонности французского императора, названные в романе «Война и мир» преступлением, вообще-то были традиционными для военных начала XIX столетия, не отличавшихся излишней филантропией. Так, неоднократно упоминаемый нами Денис Давыдов восклицал без всякого стеснения: «Я люблю кровавый бой: я рожден для службы царской!» Или вот еще: «В ужасах войны кровавой я опасности искал, я горел бессмертной славой, разрушением дышал...» Остается снова повторить за историком: «Мы можем сделать прошлому выговор, возмутиться им, но никак не можем сделать одного: отменить то, что было»⁶. Известный генерал Я. П. Кульнев любил приговаривать: «Россия матушка тем и хороша, что в каком-нибудь ее конце обязательно да воюют»⁷. При этом он слыл добрейшим человеком. Князь Петр Иванович Багратион рассуждал примерно так же: «Я люблю страстно драться с французами: молодцы! Даром не уступят — а побьешь их, так есть чему и порадоваться»⁸. А. П. Ермолов приводит в своих записках эпизод, относящийся к кампании 1807 года, рисующий нравы военных той поры: «Нельзя было в короткое время разрушить мост, и потому опасно было, чтобы неприятель, пользуясь темнотою ночи, не овладел им. С позволения начальника послал я команду и приказал ей

зажечь два квартала, принадлежащие к мосту, дабы осветить приближение неприятеля <...>. Мне грозили наказанием за произведенный пожар, в Главной квартире много о том рассуждали и находили меру жестокою. Я разумел, что после хорошего обеда, на досуге, особливо в 20 верстах от опасности нетрудно щеголять великодушием»⁹. Ермолову же принадлежит высказывание, которое можно признать программным для военных людей тех лет: «Мне 24 года; исполнен усердия и доброй воли; здоровье всему противостоящее! Недостает войны»¹⁰. Пожалуй, русского генерала можно было бы упрекнуть в бонапартизме, если бы он и Наполеон Бонапарт не были почти одногодками. Они родились почти в одно и то же время в разных концах Европы, а взгляды на войну у них — одинаковые. Разница между ними одна: бедный артиллерийский офицер во Франции стяжал императорскую корону, а небогатый артиллерийский офицер в России стал проконсулом Кавказа. Оба потерпели крушение честолюбивых замыслов, оба страдали, «измученные казнию покоя» (А. С. Пушкин). К ним к обоим в равной степени можно отнести философское замечание А. П. Ермолова: «Каждому даны собственные силы: один восстает от края пропасти, другой свергается с высоты величия». Нам могут возразить: именно за это сходство взглядов с Наполеоном Л. Н. Толстой и недолюбливал генерала Ермолова. Да, действительно, писатель противопоставляет в романе честолюбивому Ермолову «тихих и скромных» генералов — П. П. Коновницына и Д. С. Дохтурова. Нам представляется, что писатель недоглядел в них что-то важное. Любимец солдат П. П. Коновницын, по словам современников, «не мог видеть боя, чтобы не броситься в самый жаркий огонь». О предстоящем сражении он сообщает своей супруге с жизнеутверждающей веселостью, так не вяжущейся с книжным образом: «...А Лизе (дочери. — Л. И.) вензель (фрейлинский шифр. — Л. И.) выслужу, как ты хочешь, для ее, право, пойду в Данциге на батарею, ты не шути, право, для счастья моего семейства напрокажу...»¹¹ Вряд ли автор «Войны и мира» знал о заботах, одолевавших «маленького, скромного» Д. С. Дохтурова в течение всей кампании 1812 года: ког-

да, наконец, он будет представлен начальством к Георгию 2-й степени?¹² Следуя за Толстым, мы можем осудить Коновницына за то, что он жертвовал жизнью подчиненных «по семейным обстоятельствам», а Дохтурова — за то, что в годину лишений и бедствий его волновал вопрос о наградах. Но наши претензии к людям из другой эпохи — не историчны. И Ермолов, и Коновницын, и Дохтуров не хуже и не лучше, чем в «реальности» Толстого: они — другие. Следовательно, и Наполеон — другой, и отношение к нему — другое...

Двоюродный брат Ермолова, «язвительный и желчный» генерал Н. Н. Раевский (тоже весьма нелюбимый Л. Н. Толстым), так оценил силы противоборствующих сторон в начале Отечественной войны 1812 года: «Он должно быть нас несколько сильней, но гораздо искусней, мы его сто раз храбрей, но гораздо глупей... Превосходство гения и славы Наполеона и ничтожество Баркляя сделало его (Баркляя. — *Л. И.*) совершенно робким в действиях»¹³. Впрочем, последующие события военной кампании породили в нашем генерале новые разочарования, к которым он вообще был склонен по своей природе: «Великий Наполеон, став весьма маленьким, бежит менее, чем со ста тысячами человек <...>. Наш дорогой человек спустился с ходуль — вот они, великие люди. Они мельчают при ближайшем рассмотрении»¹⁴.

Следует отметить, что и Ермолов, и Раевский принадлежали к старшему поколению военных, занимавших в русской армии высшие командные должности. У «екатерининского орла» М. И. Кутузова и у «орлят» помоложе, таких как князь П. И. Багратион, М. А. Милорадович, не было ни страха, ни чрезмерного преклонения перед гением Наполеона. Герои «времен Очакова и покоренья Крыма» даже чувствовали себя его соперниками. «Как ему не узнать меня, — говорил своему окружению про императора Франции Кутузов. — Я старше его по службе...» Вместе с тем они не сомневались в военных дарованиях «первого солдата всех времен». Традицию признавать воинские способности своего противника заложил еще А. В. Суворов, с восторгом наблюдавший за первыми шагами великого полководца: «О, как ша-

гает этот юный Бонапарт! Он герой, он гигант, он колдун! Он побеждает и природу, и людей. <...> О, как он шагает! Лишь только вступил на путь военачальничества, как уж он разрубил Гордиев узел тактики. <...> У него военный совет в голове. <...> В действиях свободен он, как воздух, которым дышит. <...> Пока генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем; великие таланты военные достались ему в удел. Но ежели, несчастье свое, бросится он в вихрь политический, ежели изменит единству мысли, — он погибнет»¹⁵. Под «политическим вихрем» Суворов конечно же не подразумевал императорскую корону, но, предугадывая вероятный поворот судьбы волевой и целеустремленной личности, «Российский Марс» судил о своем возможном сопернике в правильном направлении. «Обломки екатерининского царствования», видевшие могущественных фаворитов императрицы, помнили, что ни один из них не протянул руку к ее короне, избрав своей добродетелью повиновение. Старшее поколение русских военных сурово осуждало Наполеона за «преступное самовластье». Для них он навсегда остался «генералом Буонапарте». Вопрос о происхождении его власти был для них вопросом даже не политики, а нравственности. Узнав из перехваченной эстафеты о заговоре генерала Мале в Париже, русский главнокомандующий поделился с окружающими своим мнением: «Я думаю, собачьему сыну эта весточка не по нутру будет, вот что значит не законная, а захваченная власть»¹⁶. Рассказывая молодым офицерам о временах Екатерины II, Кутузов намекал на неблагоприятные новые времена, когда корсиканский дворянин стал императором Франции, а русский император признал в Тильзите его права: «В наше время слепо повиновались начальству». Из всего этого Кутузов делал вывод: «Варварство началось в войне от вырождков французской революции и от Бонапарта». Здесь его суждения полностью совпадали с «Мыслями вслух на Красном крыльце» его злейшего недоброжелателя московского генерал-губернатора графа Ф. В. Ростопчина: «Революция — пожар, Франция — головешки, а Бонапарте — кочерга»¹⁷. Мнение Кутузова и Раевского о трагическом для неприятеля ис-

ходе кампании 1812 года почти полностью совпадают: «Сегодня я много думал о Бонапарте, и вот что мне показалось. Если вдуматься и обсудить поведение Бонапарта, то станет очевидным, что он никогда не умел, или никогда не думал, чтобы покорить судьбу»¹⁸. Резюме своих размышлений по этому поводу Кутузов изложил Ермолову: «Голубчик! Если бы кто два или три года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу!»¹⁹ Но как полководец для фельдмаршала Наполеон по-прежнему на высоте: «Мы имеем дело с Наполеоном! А таких воинов, как он, нельзя остановить без ужасной потери»²⁰.

Младшее поколение русских офицеров было менее сдержанно в выражении своего восторга перед гением величайшего полководца всех времен. «С отплытием Наполеона к берегам Египта, мы следили за подвигами нового кесаря; мы думали его славой; его славой расцветала для нас новая жизнь. Верх желаний наших был тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. Не одни мы так думали и не одни к этому стремились. Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом», — вспоминал С. Н. Глинка. Тем не менее генерал Тучков 4-й, погибший при Бородине, признавался после своей поездки во Францию в 1804 году, что его насторожил и разочаровал факт превращения «гражданина республики» в императора Франции: «А. А. Тучков был в Париже и в трибунате в тот неисповедимый час, когда пожизненного консула избрали в императоры. Казалось, говорил он, что трибун Карно выразительную речь свою произнес под штыками Наполеона. Мрачно было лицо его, но голос его гремел небоязненно»²¹. Ф. В. Булгарин, напротив, признавал, что в российской армии сохранилось немало поклонников французского генерала, добывшего корону острием шпаги: «С наслаждением читали мы прокламации Наполеона к его войску! Это совершенство военного красноречия! Не много таких полководцев, как Наполеон и Суворов, которые бы, подобно им, умели двигать сердцами своих подчиненных, каждый в духе своего народа»²².

В числе наиболее пылких приверженцев основателя новой европейской династии был поэт-партизан Д. В. Давыдов. Тяжкие впечатления после кровопролития при Прейсиш-Эйлау, поражения под Фридландом, позор Тильзитского мира не остановили предприимчивого офицера в его намерении во что бы то ни стало увидеть «великого человека». Князь Багратион, не испытывая приязненных чувств к «узурпатору трона», тем не менее представил своему адъютанту осуществить пламенное желание, отправив Давыдова в Тильзит с донесением государю. И вот «певец-гусар» увидел перед собой императора Франции: «Я уже говорил, что был весьма поражен сходством стана Наполеона со всеми печатными, и тогда везде продаваемыми, изображениями его. Не могу того же сказать о чертах его лица. Все, виденные мною до того времени портреты его, не имели ни малейшего с ним сходства. Доверяясь им, я полагал Наполеона с довольно большим и горбатым носом, черными глазами и волосами, словом — истинным типом италийской физиономии. Ничего этого не было. Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин и шести вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда только тридцать семь лет от роду, и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности. Я увидел человека, державшегося прямо, без малейшего напряжения, что, впрочем, есть принадлежность всех почти людей малого роста. Но вот что было его собственностью: какая-то благородно-воинственная сановитость, происходившая, без сомнения, от привычки господствовать над людьми, чувства нравственного над ними превосходства; он был не менее замечателен непринужденным и свободным обращением и безыскусственной и натуральной ловкостью в самых пылких и быстрых приемах своих, на ходу и стоя на месте. Я увидел человека лица чистого, смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого была приметна весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черные, но темно-русые, брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос, а глаза голубые, — это при черных его ресницах придавало

его взору чрезвычайную приятность. Наконец, сколько раз ни случилось мне видеть его, я ни разу не приметил тех нахмуренных бровей, коими одаряли его тогдашние портретчики-памфлетисты»²³.

Другой кавалерист — В. И. Левенштерн был менее восторженным и увлекающимся, и внешность Наполеона его, скорее, разочаровала: «Я увидел, наконец, этого замечательного человека — и признаюсь, он не произвел на меня ожидаемого впечатления. Его лицо было мне знакомо по портретам; но я нашел, что он был полнее, нежели его обыкновенно изображали. Его походка была неграциозна, он держал себя слишком просто, в его поступи было мало достоинства. Он находился постоянно в движении, не мог ни минуты простоять на месте, но говорил очень мало; часто нюхал табак и, как будто сгорая от нетерпения, то закладывал руки за спину, то скрещивал их на груди. Не знаю, подражал ли он Фридриху Великому или просто был нетерпелив, но я видел, что он брал табак из кармана, не трудясь достать для этого табакерку»²⁴.

Но одно дело созерцать «властителя дум» той эпохи, а другое дело с ним беседовать. Такая возможность выпала на долю князя А. Г. Щербатова, силою обстоятельств сдавшегося в плен под Данцигом с соизволения своего государя, узнавшего о безвыходном положении генерала. По заключении мира пленник получил свободу от самого императора Франции: «Я позван был в кабинет. Наполеон принял меня с веселым и ласковым лицом, спросил, по какой причине я не захотел оставить Данциг с войсками и воспользоваться капитуляцией столь почетною? (выхваляя при том нашу защиту крепости). Я отвечал, что не мог решиться в мои лета оставаться в бездействии целый год, но, отдавшись в плен, я имел надежду быть в продолжение войны выменену и тем возвращенным к чести и славе служить Отечеству. Наполеон приятным выражением лица одобрил мой ответ и сказал, что он говорил обо мне с нашим Государем, который мною доволен, и оправдал меня пред ним в пустых слухах на мой счет, потом, поговоря еще немного насчет нашей армии и Данцига, отпустил. Я спросил позволения отправиться в Петербург, на что

он отвечал, что я совершенно свободен и что он меня никогда не почитал пленным. Выйдя из его кабинета и увидя генерала Коленкура, я просил его объяснить мне слова Наполеона, что он оправдал меня перед императором Александром в пустых на мой счет слухах. На что генерал Коленкур сказал мне, что в Тильзите некто из приближенных императора Александра спросил у него, правда ли, что я, будучи призван в Данциге Наполеоном, отказался прийти, сказав: «Мне не пристало идти к этому человеку», на что он отвечал, что удивляется, кто мог такую бессмысленность выдумать, и в то же время известил о том Наполеона, который приказал ему объявить кому следует, что ничего похожего сим слухам быть не могло и потому даже, что он меня не призывал. Вероятно, что и сам Наполеон при свидании с императором Александром что-нибудь о сем сказал: и так загадка объяснилась»²⁵. Продолжительных бесед с Наполеоном удостоивался флигель-адъютант Александра I полковник А. И. Чернышев до той поры, пока «распорядитель судеб Европы» не догадался, что перед ним вкрадчивый и ловкий шпион.

Естественно, что «война национальная» заставила русских офицеров совершенно иначе взглянуть на их недавнего кумира. «Где же высокие достоинства гения, не предусмотревшего обстоятельств и твердость мужества войск, поддавшихся оным легко: когда обыкновенная случайность времени года могла задуть метелями своими и мечтательные замыслы первого, столь ошибочно Москву вожделенным пределом положившего и многочисленные полки народов, называвшихся непобедимым им предводимые?...» — вопрошал Д. В. Душенкевич²⁶. Вид госпиталей в Вильно, наполненных жертвами «русского похода», произвел гнетущее впечатление на многих очевидцев, переживания которых выразил А. В. Чичерин: «Чувствительные души, не знающие предела благородной чуткости, последуйте за мной, побудьте со мной в течение суток среди страшных зрелищ, и вы испытаете чувства, которые можно счесть проявлением слабости. Но что я говорю! Это вы должны прийти сюда, честолюбцы, опустошающие землю, вы, чьи прихоти стоили жизни тысячам лю-

дей, вы, кто, командуя великолепными армиями, думает только о своих победах и лаврах! И ты, гордый завоеватель, обездоливший всю Европу, ты, Наполеон, войди сюда со мной! Приди, полюбуйся на плоды дел твоих — и пусть ужасное зрелище, которое предстанет твоим глазам, будет частью возмездия за твои преступления»²⁷. Следующая обличающая завоевателя запись в дневнике окончилась неожиданно: «Наполеон стремился к славе. Убийства, несправедливые войны, угнетение — вот средства, коими он надеялся ее достичь. Наконец, он вошел в Москву гордым победителем, казалось, он поднялся выше всех, завоевал весь мир. Но я не завидую ему: что должен был он чувствовать в те минуты, когда оставался наедине со своей совестью или когда проезжал по полям, покрытым трупами тех, кто пали жертвой его честолюбия?»²⁸

Каким бы негодованием ни кипели души русских военных, однако мало кто допускал в душе возможность «вероломного» убийства предводителя неприятельской армии. Мысль прокрасться во вражеский стан, чтобы убить Наполеона, покарав врага Отечества, даже в тех обстоятельствах представлялась не аристократичной, недопустимой с точки зрения военной чести. Явно ее высказал в апреле 1814 года лишь М. Б. Барклай де Толли, после вступления русских войск в Париж отправивший московскому генерал-губернатору графу Ростопчину следующее письмо: «Мы в Париже; Наполеон уже более не на троне французов, но он еще в числе живых, и я бы желал, чтобы он уже лучше не существовал; все надеюсь, что во время его переезда найдется какой-нибудь герой, который изгладит с лица земли этого бича человечества»²⁹. По-видимому, Барклай и помыслить не мог о том, что для сохранения жизни низложенного императора Франции русский генерал граф П. А. Шувалов специально переседет в его карету, наденет знаменитую серую шинель и отправится в путь по той самой дороге, где «узника трех монархов» поджидали убийцы! Мысль о банальном убийстве «бича человечества» в 1812 году явно застала врасплох Кутузова и Ермолова, когда к ним с подобным предложением явился знаменитый партизан А. С. Фигнер. И

произошло это событие во время пребывания французов в Москве. «Измученный предложением Фигнера Алексей Петрович начал зорко вглядываться в отважного самоотверженца и испытывать его разными вопросами, чтобы из ответов увериться, в здравом ли уме Фигнер <...>? Ермолов решился в полночь, по отвратительной дороге, в непогоду, идти к Кутузову <...>. “Что ты, Алексей Петрович? — спросил Кутузов вошедшего Ермолова... — Все ли благополучно у нас?” <...> Пока Алексей Петрович рассказывал, Михаил Илларионович <...> начал ходить по избе, заложивши назад руки, и спросил: “Фигнер не сумасшедший ли?” Проходили минуты в молчании. Кутузов поглядывал в окно на зарево над горевшей столицей и искашавшее военачальника армии в войне XIX века. Он взглядывал вопросительно на Ермолова и, наконец, спросил: “А ты, как думаешь?..” Патриот, как каждый русский в это время, ответил: “Как вам угодно приказать...” Продолжая ходить, главнокомандующий, как бы рассуждая сам с собою, проговорил вслух: “На чем основаться? Ведь в Риме, во время войны между Фабрицием и Пирром, предложили однажды первому, чтобы разом покончить войну, отравить последнего, — Фабриций отослал предлагавшего это доктора, как изменника, к Пирру”. — “Да, это было так в Риме, давно уже”, — ответил Ермолов. Кутузов взглянул в окно на зарево и продолжал рассуждение вслух: “Как разрешить! Если бы я или ты стали лично драться с Наполеоном явно... Но ведь тут выходит тоже как бы явно разрешить из-за угла пустить камнем в Наполеона...”»³⁰ Опять молчание, опять вопрос Ермолову «как ты думаешь?» и опять прежний на это ответ «как угодно приказать». Мы подробно приводим этот диалог, чтобы показать, что и «реальный» Кутузов сильно отличался от толстовского вымысла. Русский полководец, рассматривавший народную войну «в категориях античного единоборства», — этот психологический тип остался за пределами романа «Война и мир». А ведь стремление к античным образам — это лицо эпохи Наполеоновских войн, ее визитная карточка, особенность мировоззрения, в равной степени присущая и русским, и французам, как ни одному европейскому народу той поры.

«Русский барин» взял верх в Кутузове, который в конце концов уступил чувству мести при виде зарева над Москвой: Фигнер отправился в Москву с неопределенным распоряжением Кутузова взять «осьмерых казаков на общем положении о партизанах». Вероятно, светлейший не особенно верил в успех этой «миссии». После оставления неприятелем Москвы чувство мести стихло. В беседе с английским эмиссаром сэром Р. Т. Вильсоном Кутузов заявил: «Я вовсе не убежден, будет ли великим благодеянием для вселенной совершенное уничтожение императора Наполеона и его армии»³¹. Намекнув на алчность союзников, светлейший счел уместным назвать Наполеона императором.

Как ни парадоксально, но властолюбивый Наполеон был, по-видимому, более понятен русским военным, чем их собственный император с его абстрактным стремлением к «всеобщему благу». По мнению Дениса Давыдова, слова «люблю всех» на деле означали «не люблю никого». После вступления русских войск в Париж ожесточение стало сменяться все более явными симпатиями к поверженному противнику. И. М. Казков, самозабвенно обожавший Александра I, тем не менее³² признавался: «Я был поклонником Наполеона I, его ума и всеобъемлющих способностей; а Франция, как пустая женщина и кокетка, изменила ему, забыв его услуги, — что он, уничтожив анархию, возродил всю нацию, возвеличил и прославил ее своими удивительными победами и реорганизацией администрации, чем справедливо заслужил титул: *Le Grand Napoléon!*» Так, С. Г. Волконский вспоминал: «Восторженный Наполеоновым бытом в истории, я возымел желание иметь полное собрание его портретов, начиная от осады Тулона до отречения в Фонтенбло, и просил книгопродавца Артория мне это собрать. Но это как-то встревожило австрийскую полицию, и Меттерниху был на меня донос, а он довел эти сведения до Государя, а от этого мне головомойка»³³. С этими портретами у 27-летнего генерала были связаны его личные переживания, ощущения собственной причастности к истории, а «Наполеонов быт» — со стремлением к подвигу и самопожертвованию на благо Отечества. Александра I не могло

не тревожить сочувствие русских офицеров к Наполеону, явно преобладавшее над их привязанностью к союзникам — англичанам, австрийцам, пруссакам. Александр I постоянно подмешивал в диалог между русской армией и Наполеоном третьи лица — союзников, но в этом вопросе взгляды русского монарха и его подданных не совпадали: в армии недолюбливали австрийцев со времен последних походов Суворова 1799 года, пруссаков не любили никогда, англичан основательно подозревали в стремлении «загрести жар чужими руками». Отношения же к французам за долгие годы боевых действий развились в родственные чувства: «И подлинно, пусть укажут нам из всех сражавшихся с Наполеоном народов хотя на один, который бы более русского благоговел перед величием его деяний, даже в такое время, когда земля наша стонала под бременем полчищ вооруженной Европы!»³⁴ Благоговение, однако, порождало дух соперничества, стремление отличиться, что и привело в конечном счете русских в Париж. А в Париже многое переменилось: после долгожданной реставрации Бурбонов выяснилось, что за годы «Наполеонова быта» от них отвыкли не только французы. Как оказалось, русские офицеры ожидали большего! Денис Давыдов писал о настроениях в русской армии: «Мы начали разочаровываться, увидя внезапный упадок духа, обнаружившийся в французских войсках и во французской нации при первом неблагоприятном обороте войны, после первой неудачи Наполеона в России и на полях Лейпцига. Наше разочарование достигло наибольших размеров при вступлении нашем во Францию. Для нас, русских, еще так недавно испытавших вторжение многочисленного неприятеля в самые недра государства, воспрянувшего на защиту свою, малодушие французов было непостижимо. <...> Французы, имея лишь в виду сохранение тряпья, рухляди и спокойствия <...> предали своего диктатора на произвол судьбы. Измена восторжествовала, частные имущества спасены, спокойствие государства не нарушено, союзники в Париже, а Наполеон на острове Эльбе... Где же поприще, на котором ей (Франции. — Л. И.) возможно возвратить если не все утраченное, то, по крайней мере, известность и

внимание к себе мира. <...> Когда Наполеон с сердцем, обогранным кровью, бросился в ее объятия, призывая ее <...> на битвы, <...> она, бесстыдная, не вняв его призыву, вторично выдала его союзникам»³⁵.

В период «Ста дней» многие русские офицеры уже точно знали, с кем они сердцем. Воспоминания о тех днях князя Волконского очень красноречивы: «Я потом не раз ходил к Тюльерийскому дворцу, перед которым ежедневно толпился народ <...>. Наполеон выходил на балкон в сопровождении Бертрана, этого преданного друга <...>. Прогуливаясь по бульвару, мы встречали Лабедойера, известного в эту эпоху переходом с командуемым им полком к Наполеону в Гренобле <...>. При встрече с нами он сказал: “Что скажете вы, господа, о современных обстоятельствах, народном энтузиазме к императору? Я тоже участвовал немного в этом возвращении, но я могу вас уверить, что, если император вздумает сделаться опять тираном Франции, я первый убью его”. Это я сообщаю, как доказательство чистоты чувств этого лица, вскоре павшего жертвою за то, что с ним разделяла вся Франция»³⁶. Далее Волконский сообщает: «Вообще все приверженцы Наполеона надевали тогда букет фиалок в бутоньерках, что сделал также и я...» После второго отречения Наполеона горестей у русских офицеров прибавилось: «...Приговорили к смертной казни того, которого Франция и армия величала названием “храбрый из храбрых” (маршала М. Нея. — *Л. И.*)... Невольно выскажу, что непонятно мне, как нашлись французские солдаты, которые могли согласиться стрелять в того, который столь часто водил их к победам? <...> При этом еще скажу, что хотя и взвалили на Нея, что он будто обещал привезти Наполеона в клетке, но это ложный вымысел; он принял командование войском, посланным против Наполеона, при заверении, что Наполеон не имеет общей поддержки в народе, в армии, чему противное оказалось. Ему оставалось или оставить врученное ему поручение, или прикнуть к общему желанию. Он выбрал долг гражданина...»³⁷ Русские офицеры посещали судебные процессы над маршалом Неем и полковником Лабедуайером, открыто выражая им свое сочувствие. Они надеялись, что

вмешательство царя предотвратит исполнение смертного приговора над соратниками Наполеона. Но Александр I велел передать князю Волконскому, что за приверженность к Наполеону он будет расстреливать; но чего, собственно, добивался русский император от своих офицеров после того, как на обеде у генерала А. Колленкура сам вручил маршалу Нею рескрипт, признавший за ним титул князя Москворецкого?

Для русских офицеров, прошедших с боями до Парижа, мир как будто опустел со смертью Наполеона. Они заговорили об этом в полный голос, не скрывая сожалений об утрате. Победители щедро воздавали должное своему противнику, уже не поминая с гневом о сожженном Смоленске, о пожаре Москвы. «Подвиги Императора Франции Наполеона Бонапарта и военная его слава есть чрезвычайное происшествие в мире! По невеликому его происхождению, не будучи предопределен по природе царствовать, он в воспитании своем видел одну только военную славу, и так все его способности получили развитие искусного полководца» — так судил о Наполеоне Г. П. Мешетич³⁸. Его собрату по оружию И. Т. Родожницкому таланты ушедшего из жизни императора Франции представлялись более широко: «Каков был Наполеон, о том все знают и много писали. Большая часть черни-писателей бранили его без милосердия и лаяли, как Крылова моська на слона; между тем полководцы, министры и законодатели парламента перенимали от него систему войны, политики и даже форму государственного управления. Он был врагом всех наций Европы, стремясь поработить их своему самодержавию, но он был гений войны и политики: гению подражали, а врага ненавидели. Слава подвигов Наполеона заставила забыть о корсиканце. Устрашенная Европа взирала с трепетом на великого Императора французов»³⁹. По прошествии лет Родожницкий уже не упрекает Наполеона ни в безмерном честолюбии, ни в «династическом безумии». Напротив, стремления императора Франции стали представляться умеренными и понятными: «Сразив последние усилия Германии, он мог бы, казалось, стереть с лица Европы престолы некоторых держав; но победитель предпочел лучше об-

лагородить свое племя вступлением в родство с древнейшей династией императоров Германии. Завоевать у сильного царя дочь было всегда целью героев в романах и сказках. Наполеон исполнил это, и к своему роману прибавил новую статью: посадил младенца на престол Римских цезарей и назначил ему в наследство — мечту обладания миром». Г. П. Мешетич уже не сомневался в том, что все беды происходили в Европе по вине... союзников: «Но, покоривши оных, не желал их ожесточать лишением престолов; остался доволен одним их повиновением, считая, что в знак благодарности останутся ему верными: но это была большая ошибка его!» Русские офицеры упрямо «титуют» низложенного повелителя Франции императором, вопреки решениям Венского конгресса, вопреки воле собственного монарха.

Если бы разжалованный из императоров «узник трех монархов» мог знать, какие чувства и мысли он унес с собой, сколько людей сердцем скорбело о нем в той самой России, где «кончилось его счастье!» Победителям хотелось в меру своих сил запечатлеть на бумаге эпоху, в которую им выпало жить, удержать ее в памяти, остаться в ней навсегда. Впрочем, может быть, он об этом и догадывался. «Время славы и восторга» закончилось; военных стали упрекать в ограниченности, недальновидности, пренебрежении к общественному благу. На эти многочисленные упреки в адрес ушедшей эпохи Денис Давыдов отвечал так: «Грустно было нашему воинственному, но невежественному поколению быть вынужденным отстраниться <...>. Многие убеждены, что усилия ратоборцев настоящей эпохи клонятся лишь к пользе общей, к доставлению человечеству наибольшей суммы благосостояния, свободы, просвещения! Нисколько! И тогда, и ныне на человечество смотрели, как на собрание цифр, которым решались и решаются задачи личных честолюбий и корыстолюбий <...>. Но польза благосостояний, истинная свобода нравов должны, по-видимому, вечно оставаться распятыми на кресте между двумя разбойниками, честолюбием военным и честолюбием гражданским, никогда не обнаруживающими ни малейшего раскаяния...»⁴⁰

Глава двадцатая
«ОБЗОР С КАЗАЧЬЕГО СЕДЛА»

«И вы сожжете Париж?» — «Не знаю». — «Пожалуйста, не жгите Парижа; вам стыдно будет...»

И. Т. Родожицкий. Походные
записки артиллериста

Название этой главы заимствовано из записок С. Г. Волконского, на наш взгляд, довольно удачно определившего особенности дорожных впечатлений русских офицеров, оказавшихся по воле случая в чужих землях. Для большинства наших малоимущих героев война была единственной возможностью отправиться в странствие по Европе. Они сознавали, что в силу опасности воинского ремесла каждый день их скитаний в чужеземных краях мог оказаться последним, но даже это чувство не в силах было погасить природного «скифского любопытства», с которым они вглядывались в обычаи и нравы других народов. И. Т. Родожицкий живо передал в записках радостные ожидания своих сослуживцев, впервые покидавших пределы Российской империи: «Офицеру быть в первый раз за границами своего Отечества столько же лестно, как кадету получить прапорщичий чин. <...> Вот и мы за границую, думал я; теперь старые товарищи не будут хвастать, что только они одни и видели свет, иную землю, иных людей»¹.

Не будем забывать, что описание дорожных впечатлений — это дань времени и литературной традиции конца XVIII — начала XIX века. Среди «читающих» офицеров было немало поклонников литературного таланта Н. М. Карамзина. С живейшим интересом они листали «Письма русского путешественника», слог которых может показаться несколько сухим и скучным современному читателю. Но для той эпохи «Письма» являлись весьма занимательным чтением, и русские офицеры нередко отождествляли себя с литературным героем произведения. Так, М. М. Петров вспоминал о начале не-

удачной кампании 1805 года: «На привале первого от Нарвы перехода батальонный командир наш майор Тургенев созвал к себе всю благородную тосковавшую молодежь, и как сам он страдал тож от занозы сердца рыцарского, то долгом почел, как бы приор ордена героев, ободрить унылых своих сподвижников для предстоящего иного геройства следующей речью: “Друзья, юные любимцы Марса! <...> Прочь все вздохи, недостойные геройских сердец! Слушайте мой командирский и дружеский завет: чур не писать к любимым в Нарву прежде прибытия нашего на Рейн. Прибыв туда, и мы напишем по-карамзински: ‘Милые, милые! Уж мы на Рейне. Льем кровь врагов Отечества и стреляем дупелей в виноградниках берегов величественного Рейна’ ”»². Правда, Н. М. Карамзин ни словом не обмолвился в своем произведении о «врагах Отечества» и «дупелях в виноградниках»... После поражения при Аустерлице М. М. Петров при случае напомнил своему начальнику об «обольщениях честолюбия», обернувшихся большой неудачей для русского воинства: «Когда вступили мы в штаб-квартиру полка в городе Пернов, то я, увидя майора Тургенева на городской площади и окруженного офицерами, подошел к нему и сказал: “Лев Антипович! Не забудьте снабдить молодых рыцарей разрешением писать в Нарву к любезным: ‘Милые-милые! Уж мы на зимних квартирах — в Пернове!’ ” Все и сам майор Тургенев от души посмеялись худому событию нашей геройской мечты; но этот смех наш отозвался тяжким стоном страдавшего честолюбия нашего»³. Забегая вперед отметим, что у этой «карамзинской» истории длиною в четыре военных кампании (с 1805 по 1813 год) был счастливый и славный конец: «Мы прискакали в Таль. Квартира для генерала и меня нанята была посланным еще в ночи из Мунтербаура офицером нашим на самой набережной Рейна. Все жители городка этого, ожидавшие прибытия нашего, увидев нас, кричали “ура” все время, пока мы не нагляделись на Рейн и Кобленц <...>. Хозяин наш, богатый торговый гражданин Талья, встретил нас со всем его семейством на крыльце, а когда мы вошли в комнаты, то <...> спросил генерала, чем может он угостить гостей — спасителей Европы?

Генерал Карпенков сказал ему: “Всего приятнее будет нам, когда подадите воды Рейна!” Он понял наше желание, поклонился низко и бросился сам с хрустальным кубчаном на берег, почерпнул и принес воды, которую, налив в семь больших бокалов, подал генералу и офицерам — его спутникам, причем все семейство его и он низко кланялись. Поздравля друг друга, мы выпили до суха наши кубки как нечто наиприятнейшее... И именно так: это вода священного Рейна, к которой древние рыцари германские с великим торжеством приходили крестить новорожденных своих сынов с упованием, что погружение в этой воде давало детям их непобедимость. Вот и мы, сыны России и благословенного Александра, достигли по чреде многочисленных побед наших Рейна... <...>. Благословляю вас, наипрекраснейшие минуты моей жизни!»⁴

В 1813 году русские воины выступили в Заграничные походы в новом для Европы качестве — победителей Наполеона в жестокой войне, в которой они отстаивали независимость своего государства. Теперь офицеры российской императорской армии совершенно иначе воспринимали окружавший их мир, завоевав право без стыда смотреть в глаза европейским народам: «Войска России, дошедши до своих границ, расположились на малое время для отдыха; совершенное успокоение их Отечества и свобода Европы требовали похода в чуждые страны». В прежних войнах с Наполеоном русские офицеры как будто и не замечали зарубежных достопримечательностей. На это была веская причина: военных отправляли за границу для славы и чести русского оружия. Следовательно, в случае военных неудач им не пристало делиться впечатлениями с соотечественниками о пребывании за границей. Теперь же русские военные делали это с особой охотой. Вспомним, что в те времена не было ни фотографии, ни телевидения: сравнительно многотиражные гравюры с видами зарубежных городов русский офицер мог увидеть в столичных книжных лавках, но не приобрести, принимая во внимание скудность жалованья. Поэтому многие офицеры во время Заграничных походов, стремясь запечатлеть увиденное, вели дорожные журналы, дневники

или отправляли на родину письма, содержавшие «пространные» описания достопримечательностей по пути следования русских войск. Эти «путевые заметки» легли в основу воспоминаний русских воинов, где, как и в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина, переплелись два начала — информативное и лирическое. Маршрут движения «Путешественника» и «детей Марса» зачастую совпадал, но внутренний мир существенно отличался. Герой Карамзина отправился в Западную Европу на рубеже двух столетий, полный оптимистических надежд на будущее: «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали <...>, что люди, уверяясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове *тишины и спокойствия*...» Однако вместо действия «законов чистого разума» люди испытали на себе превратности «законов войны». Было ли это случайностью, когда один из приказов Кутузова по армии заканчивался словами: «Идем вперед! С нами Бог! Перед нами разбитый неприятель! Да будет за нами *тишина и спокойствие!*»? Итак, в Европу отправились тысячи «русских путешественников» в мундирах, которые, ощутив себя орудием Провидения, возвращали народам силой оружия вожделенную «мирную сень». Но, оказавшись в другой роли и в иной исторической эпохе, наши героини все-таки обращались памятью к любимому литературному произведению, искренне «поверяя» свои дорожные впечатления милыми сердцу «Письмами русского путешественника». На основании всего этого можно составить своеобразный сводный «офицерский» путеводитель по Европе, отражающий внутренний мир «человека войны».

Один из самых образованных офицеров-гвардейцев А. В. Чичерин насмешливо извинялся за бессистемный рассказ перед воображаемыми читателями, мысленно представляя себе их укоры: «Он изобразил все уголки Плоцка, описал в подробностях силезскую деревню Бюллоу, показал нам Розу и Доротею, — и обошел молчанием Дрезден, Прагу, Теплиц. Что делать, так мы двигались»⁵. Когда повествованию не хватало под-

робностей, то он объяснял этот недостаток так: «Вчера, например, мы вышли в два часа пополудни. Пройдя две мили по трудной дороге среди отрогов горного хребта, замыкающего этот край, мы вошли в Теплиц, когда уже спускалась ночь. Я увидел превосходные здания, прекрасные улицы, широкие площади, множество народу, сады, гульбище, — и ничего об этом не рассказываю. Неужели возможно, скажете вы, чтобы путешественник отказался дать картину интереснейших мест того края, по которому он проходит только потому, что его лошади натерло седлом спину? Ему следовало остановиться, оглядеться, нанять экипаж, задержаться на несколько дней... А я, совсем наоборот, тащусь за колонной, ибо обстоятельства не дают мне возможности ознакомиться с этим городом»⁶.

Первые дорожные наблюдения русских офицеров были связаны с пребыванием в сопредельной Польше, именовавшейся в согласии со статьями Тильзитского соглашения герцогством Варшавским: «Город Варшава, столица тогдашнего герцогства, довольно многолюдный, обширный и шумный, имеет много громадных красивых строений и с окрестностями над рекою Вислою по покатости берега составляет прекрасную картину. <...> Народ, угнетенный частыми воинскими наборами, разными налогами и порабощением иноземным правительством, он был недоволен своей страной и как будто не находил в оной уже своего пристанища. Знатнейшие, видя попеременно чуждых народов в своей стране, имели привычку сообразовываться с своими обстоятельствами и, как казалось, принимали русских чистосердечно»⁷. Там, где подпоручик Г. П. Мешетич увидел лишь пагубные последствия союза поляков с Наполеоном, «вельможный» генерал екатерининского времени князь Д. М. Волконский с удовольствием отмечал «приятности» походной жизни. Орфография и пунктуация его «Журнала» выдает человека, привыкшего в свете говорить по-французски; в том случае, если военные старшего поколения прибегали в быту к русскому языку, то, как правило, они изъяснялись языком «девичьей»: «Февраль. 1-го, проходил я с корпусом чрез имение княгини Радзивиловой, что наша стацдама (статс-

дама. — Л. И.), я был у нее в местечке Неборове со всем моим штабом и генералами, она давала завтракать, потом водила по ранжереям, у нее удивительные померанцевые деревья, коих более 150-ти по обеим сторонам ужасной толщины, также всякия растения. Оттуда мы поехали в ея карете с конвоем до ея же деревни Аркадия, где великолепно отделаны покои и собрание мрамора и реткостей. Я старался всемерно сохранить ея имение и оказывать ей всякую благосклонность и в проходе войск наших»⁸.

Пока князь Д. М. Волконский любовался «реткостями», юный гвардеец А. В. Чичерин настойчиво предостерегал воображаемых читателей: «Честолюбцы, избегайте Плоцка, вам не удастся блистать здесь; талантов здесь не ценят; я видел, как зрители восхищались балетом, который исполняла одна-единственная актриса в домашнем коричневом платье».

<...> Я не видел тут ни одной женщины моложе 50 лет; госпожа Нейфельд собирается снова выйти замуж, а ей, по ее признанию, 42 года; молодые особы все безобразны, так что избегайте этого города, молодые щеголи, не приближайтесь сюда вы, пестрые мотыльки, заполняющие бульвары и театры, порхающие туда и сюда в погоне за безделицами, одна ничтожнее другой, пока суровость погоды не заставит вас искать приюта; вы, бесполезные люди, не являйтесь сюда. Тут все спокойно, рассчитано, все занимаются каким-то делом»⁹. Напротив, вступление российских войск в Силезию оставило в душе Чичерина отрадные впечатления: «Силезия представляет собой сплошной сад. Дороги прекрасные сами по себе, украшаются еще аллеями плодовых дерев. В селах фруктовые сады, окруженные живыми изгородями, представляют очаровательную картину; каждый уголок украшен трудами рук человеческих; видишь, как повсюду жители стремятся усовершенствовать природу»¹⁰. Безусловно, не последнюю роль в ощущениях русских офицеров играло то обстоятельство, что в Силезии, в отличие от Польши, их встречали как союзников и освободителей.

Внимание Я. О. Отрощенко «в немецких землях» было в особенности привлечено картиной нравов и сис-

темой воспитания, разительно отличавшихся от российской действительности: «Союзы супружеские не тверды, и весьма легко допускается развод. Жена почитается как друг, не претендуя друг на друга за стороннюю свободу: одно благоразумие только скрепляет союзы в высшем классе людей, в нижнем необходимость, потому что земледельцу нужна помощница в доме. Ссор и драк мужа с женой мне никогда не доводилось видеть в продолжение двух лет»¹¹. К этому наблюдению русский офицер счел нужным добавить не менее важные подробности из повседневной жизни союзного народа: «Каждый ремесленник одним своим ремеслом занимается, не мешая друг другу; тот, который делает лопаты, не станет делать метлы, и наоборот». Однако самое сильное впечатление на Отрощенко произвели взаимоотношения между детьми и родителями, в особенности там, где дело касалось образования. Напомним, что наш герой получил «начальные сведения» в родительском доме от своего отца. Причем не последнее место в его «умственном формировании» сыграли сказки о ведьмах и русалках и конечно же польская азбука, которую счел необходимым преподать своему сыну строгий отец. Очевидно, русский офицер с детства испытывал некоторые сомнения в качестве своего образования, а пребывание за границей превратило эти сомнения в уверенность: «С детьми в младенческих летах поступают ласково; но чтобы заставить их учиться, первоначально дают им для игры косточки с литерами и требуют, чтобы косточки он называл по литерам; таким образом, играя косточками, он затверживает литеры. Сверх этого не рассказывают им небылиц, не внушают страхов и не населяют их нежного воображения ни ведьмами, ни упырями, ни домовыми, ни чертями, как у нас водится. У немцев не так, они без всякого гнева и шуток удовлетворяют ребенка, изъясняя ему точные понятия о вещи»¹².

Обстоятельства на театре военных действий сложились так, что русские войска надолго задержались в Саксонии, обладание которой представляло значительные стратегические выгоды как для Наполеона, так и для войск коалиции. Кроме того, враждующие сторо-

ны заключили между собой Плейсвицкое перемирие, которое должно было продолжаться с апреля до середины июня, но фактически продлилось до самого августа. Пока молчали пушки и договаривались между собой дипломаты, русские офицеры с азартом исследовали местные достопримечательности, к внешнему описанию которых они нередко прибавляли собственные умозаключения, основанные на богатом житейском опыте многолетних войн. Именно в таком духе составил довольно подробный «этнографический» очерк о саксонцах Г. П. Мешетич: «В Саксонии вообще города все красивы, везде чистота и опрятность и удивительная приятность в одеянии, особенно женского полу. Поселяне живут вообще в изобилии, земли их плодородны и не обременяют их многим обрабатыванием, много есть виноградников, дающих им хорошее красное вино, имеют в домах своих по два жилища, одно нижнее, а другое верхнее, любят в воскресные дни гуляния и веселятся. Народ красивый, ласковый, гостеприимный, рослый, любящий свою страну, но не привыкший к большим трудам и к перенесению нужд военных, а от сего павших в России много было видно их голубых шинелей тонкого сукна на русских воинах»¹³. Артиллерист И. Т. Родожицкий пережил в «саксонской земле» настоящее потрясение: «...Девушка носила кушанье... Она была так прекрасна и благородна, что я сошелся принимать услуги от этой милой особы, которой сам охотно желал бы прислуживать. Это не простая была служанка, но дочь самого хозяина. Таким образом, во всей Саксонии прислуживали нам за обедом милые девушки, хозяйские дочери или воспитанницы. За всякое приносимое блюдо я вставал со стула, благодарил ее, извинялся в том, что неволью явился незванным гостем, говорил комплименты...»¹⁴ Каким бы скромным ни было воспитание О. Я. Отрощенко, какими бы случайными ни оказались сведения, преподанные ему отцом, но подполковник 14-го егерского полка, как оказалось, от рождения обладал недюжинными способностями к музыке. Благодаря таланту, который он не стал зарывать в землю, он имел за границей безусловный успех: «В селении, где мы остановились, так коротко обходи-

лись с нами жители, что когда однажды я начал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать»¹⁵. Следует признать: не всякий путешественник пользовался за границей симпатией и вызывал неподдельный интерес у местных жителей, в то время как военные в ту эпоху находились в особом положении. Да и сами военные, странствуя по дорогам войны, вступали с местными жителями в контакты более живые и непринужденные, чем иной путешественник, специально отправившийся взглянуть на чужие края. Подчас на пути следования русских войск случались досадные недоразумения, в ходе которых становилось очевидным, что наши путешественники — люди военные: «В лесу, прилегавшем к берегу Эльбы, посажены были между лесных деревьев садовые, и посередине этого обширного леса устроен зверинец. Управляющий лесничий, опасаясь, чтобы войска пришедшие не стали брать зверей из зверинца, и для сбережения выпустил всех на свободу. Мы, не зная ничего о зверинце, начали стрелять зайцев, коз и лосей, и поохотились вволю, пока дошла о том жалоба графу Воронцову»¹⁶.

Офицер квартирмейстерской части А. А. Щербинин, привыкший обзирать местность с целью выбора позиций, вносил в свои дневники сведения о ландшафте и «способах производства», не отвлекаясь на памятники культуры: «8 апреля. Чем больше углубляешься в Саксонию, тем приметнее для путешественника плоды промышленности и торговли, тем населенность больше, тем города лучше выстроены, обширнее и богаче. Город Герлец имеет суконные фабрики и довольно просторную торговлю. Король Саксонский ежегодно жертвует некоторую сумму, единственно для украшения города и содержания его. Строения соответствуют сей попечительности. Предместия обширны. Дома их выстроены просто, но везде видны чистота и хозяйственность. Местоположения Герлица весьма разнообразны; выезжая из городу, открываются прекраснейшие виды. В местечке Рейхенбах обитают отставные солдаты и ремесленники. От случившихся пожаров они все весьма обеднели, и местечко сие составляет неприятную противоположность с соседними городами»¹⁷. Однако дли-

тельное созерцание «разнообразных местоположений» в Саксонии в конце концов настроило пытливого свитского офицера на лирический лад: «10 апреля. 1813. Местоположение по дороге от Рейхенбаха весьма живописное. С левой стороны цепь Богемских гор, покрытых густым лесом. На подошве гор и в тени их разбросанные селения, из коих отличается Хохкирх. Белизна домов и красный цвет крышек делают прекрасную противоположность с густою зеленью растущего на горах лесу. В правой стороне теряется глаз в бесчисленности селений и разнообразии местоположения. По мере отдаления синеют предметы, потом ослабевают цветом и наконец сливаются с голубым эфиром неба»¹⁸.

Среди русских офицеров было немало тех, кто в первую очередь стремился увидеть художественные редкости (те самые, которые в свое время обозревал «Путешественник» Карамзина). В их числе был И. Т. Роджицкий, посетивший в Дрездене все знаменитые памятники культуры. Судя по его «Походным запискам» среди русских офицеров было немало благодарных и даже восторженных зрителей, что вполне соответствовало психологическому контексту той поры: «Отсюда поехали мы в Пантеон скульптуры, где любовались изящными произведениями искусного резца. Мрамор одушевлялся в изображениях Аякса и Патрокла, в Лаконе с детьми, в Тезеевой голове; но особенно обратил на себя наше внимание Аполлон Бельведерский. Какая анатомическая правильность в мускулах! Естественность выражения! Чистота в отделке! Какое грозное и вместе прекрасное лицо возмужалого юноши, пустившего стрелу в Пифона! <...> Нас остановила гораздо более перед собою стыдливая Венера Медицейская: сколько совершенства в ее округлостях!.. Стоило бы только каплю кармина развести на ней, и она казалась бы оживленною: мрамор дышит жизнью; кажется, груди ее тихо колеблются; кажется, веет аромат ее дыхания; кажется... Известно, как пылко воображение молодых людей: оно далеко заводит в мечтания. Чтобы не раздражить своей чувствительности, мы с товарищами отошли от этой очаровательницы к другой Венере, смотрящейся через плечо назад, и в этой встретили не

менее привлекательности. Здесь представилось новое изящество творческой силы резца: он дал столь естественную гибкость ее членам, особенно шейке, ручкам и груди, что не знаешь, которой из двух Венер отдать преимущество: одна пленительна в европейском, а другая в азиатском вкусе... Амур и Психея весьма мило обнимались; особенно ласки Психеи, касающейся правую руку подбородка своего любезного и смотрящей ему с улыбкою в глаза, изображены прелестно. Мы не могли довольно всем налюбоваться. «Жаль, что столько прекрасных существ не воскресают из очаровательного окаменения», — сказал я почтенному немцу-смотрителю. Он улыбнулся за комплимент и отвечал, что тут осталось только посредственное, а все лучшее перевезено в крепость Кенигштейн»¹⁹.

Не менее любознательны, чем артиллеристы, были офицеры 1-го егерского полка. «В остаток этого дня мы осмотрели в Дрездене королевский дворец с знаменитой картинною галереєю, оружейную палату и кунсткамеру, придворную католическую церковь великолепного римского образца с огромными колоннами снаружи и внутри под обширным, пологим до дерзновения куполом ее. Правда, важнейшие редкости этой столицы — из опасения — вывезены были давно правительством в неприступную крепость Кенигштейн, но все-таки оставалось их и в Дрездене немалое число. Вечеру посмотрели и послушали славную Дрезденскую оперу», — рассказывал М. М. Петров²⁰. На И. Т. Роджицкого посещение театра не произвело сильного впечатления: «Итак, вечером, пошел я в театр. Чтобы позабавить русских, режиссер вздумал сыграть для смеха оперу Рохус Помперникель, наполненную дурачествами. Арии в ней были набранные, и музыка составная из разных пьес. Рохус, в зеленом мундире с красным воротником, явился на сцену верхом; потом, увешанный колбасами и сосисками, плетью гонял от себя мальчиков, дразнивших его будто бы на лице, в городе, куда он приехал. Рохус много дурачился, как наши паяцы на качелях, пел довольно замысловатые арии, и одну даже невежливую, в которой женскую красоту (конечно, национальную) сравнивал с картофелем. Смысл песни

заклучался в насмешках над непрочностью женской красоты, над ветреностью, непостоянством женщин и проч., так, что рондо каждого куплета оканчивалось картофелем. Однако немногим из русских зрителей нравилось дурачество Рохуса, который, впрочем, играл лучше других актеров. После оперы представляли жалкий балет, в котором две малютки прыгали и вертелись как попало. Я ни мало не ожидал увидеть столь дурную игру на Дрезденском театре...»²¹

Отрадные впечатления остались в сердце русских офицеров после посещения Богемии, соседствовавшей с Саксонским королевством. П. С. Пущин записал в дневнике: «Многие обычаи в Богемии схожи с нами: например закуска так же в ходу, как и в России. Прежде чем сесть за стол, подают водку, называемую сливовица, которую мы пили в память наших общих предков с большим удовольствием, тем более что мы, несчастные, промокли до костей»²². Неугомонные офицеры 1-го егерского полка сразу обнаружили в Богемии достойный их пытливого ума предмет: «После того ездили мы два раза в Богемию, по дороге от Ландсгута на Кениген-Грец, на половину другой мили, чтобы посмотреть там Адерсбах, или каменный лес, уже не простую игрушку природы, а вычурные гримасы ее <...>. Фигуры скал разнообразны: иные пирамидные, а наиболее колонные — с заострившимися верхушками чрез разрушение от мокрот и пригревов солнца. Есть несколько имеющих подобие сахарных голов, стоящих на усеченных остроконечьях <...>. В энциклопедическом лексиконе происхождение скал Адерсбаха приписывается стремлению вод ливней дождевых и таявших снегов. Но снега везде тают и ливни падают, следовательно, такие сплошные скалы были бы ежели не на всех каменных и меловых местах, там и у нас... В бытность мою в Галле я спрашивал профессоров Августа Лафонтена и старшего Немеера о теории Адерсбаха, но и они не умели ничего сказать мне более, как то, “что он не что иное, как хвастливая показная гримаса природы, о которой и самый глубокомысленный геогност Вернер не мог положить полной догадки”»²³. Заметим, что в этом случае офицеры 1-го егерского полка, посетившие знамени-

тые Адерсбахские каменоломни (округ Браунау, на границе Богемии с Шлезией), чувствовали себя настоящими первооткрывателями, ввиду того, что этот феномен природы не упоминается в «Письмах русского путешественника». Вероятно, по этой причине М. М. Петров решил сам доискаться («доведать») до научных объяснений этому загадочному явлению. Самым радикальным средством добраться до истины в те времена считалось — поговорить с умным человеком. Русский офицер нашел его в городе Галле в Саксонии после взятия Парижа, на обратном пути в Россию: «... Я посетил знаменитого писателя романов и историй каноника Лафонтена Августа, жившего тогда в загородном его садовом доме. Он пребывал там как философ и каноник; домашний родственник его круг состоял из пожилой двоюродной сестры и прекрасной, умной ее дочери Луизы, обрученной тогда невесты молодого профессора прав Антония Немеера. От них пытался я тогда доведать о теории Богемского Адерсбаха, но тщетно, ибо он никому не дается на отгад в его происхождении»²⁴. Вообще, традиции «Путешественника» сыграли злую шутку над западными знаменитостями: «То он посещает развалины заброшенного старинного замка, чтобы без помехи предаться там мечтам и блуждать мыслью во тьме прошедших веков; то он является в дом к знаменитым писателям»²⁵. Даже тогда в те времена известный немецкий писатель Х. М. Виланд встретил «Путешественника» довольно неприветливо: «Ныне в Германии вошло в моду путешествовать и описывать путешествия. Многие переезжают из города в город и стараются говорить с известными людьми только для того, чтобы потом все слышанное от них напечатать»²⁶. Намерения русских офицеров были гораздо скромнее: им достаточно было побывать у знаменитости с визитом, не имевшим иной цели, кроме как засвидетельствовать почтение. Могло случиться так, что посетитель был совершенно не осведомлен о научных или литературных трудах лица, на встречу с которым он явился. Достаточно было просто услышать известное имя от своих сослуживцев, чтобы последовать их примеру. Впрочем, опыт «Русского путешественника» также был заразите-

лен для наших героев: «Узнав, что Гердер, наконец, дома, пошел я к нему». Тема для беседы в этом случае была делом второстепенным. Можно себе представить изумление великого И. В. Гёте, проживавшего в творческом уединении в Веймаре, к которому русские военные следовали непрерывным потоком как «по начальству»! В те времена каждому было известно, что с писателем беседовал сам Наполеон и его посетил сам русский император (вслед за которым явились М. Б. Барклай де Толли, Ф. П. Уваров, Н. Г. Репнин-Волконский и многие другие).

В Веймаре особое внимание русских офицеров привлекли исторические места, связанные с именем Мартина Лютера. Если «дикие окрестности Эйзенаха» были лишь вскользь упомянуты в произведении Карамзина, то наши герои обошли их вдоль и поперек. Думается, их интерес к судьбе знаменитого проповедника был отчасти связан с наличием в русской армии значительного числа офицеров-остзейцев лютеранского исповедания, охотно выполнявших в этом случае роль гидов. Посещения достопамятных мест остались в памяти Я. О. Отрощенко на долгие годы, что явствует из его «пространного» рассказа о протестантской вере: «Религия господствует лютеранская, распространенная Мартином Лютером, который был прежде римско-католической службы монах, жестоко оскорблен начальством и, видя злоупотребления, допускаемые папой под покровом религиозных правил, решил отделиться от римской церкви, решился, и твердой волей преодолевая все гонения, составил в новом порядке понятий религию, которая оторвала от папской власти великую массу людей. Но его последователи не почитают его святым, а только умным человеком. Он уверил своих последователей, что все святые были подобные нам люди, что они сами молились Богу, и он внимал усердным молитвам их. Следовательно, и теперь всякий человек может без посредников просить о том, чего он желает»²⁷. Г. П. Мешетич поведал о неудачной попытке своих сослуживцев добраться в непогоду до замка Вартбург: «...Невдалеке за городом видна гора, любопытная не по обширности оной, а по высоте в виде закругленного

сверху шпиля <...>. Русские офицеры полюбопытствовали взойти на оную, оставя лошадей у подошвы горы, сами, по крутизне оной, едва после нескольких отдыхов могли взойти на верх горы; облака, казавшиеся над оною, закрыли их, и они оттуда в солнечный день вниз ничего не могли видеть и возвратились оттуда измокшими»²⁸. А вот целеустремленность офицеров 1-го егерского полка, во главе со своим командиром храбрым полковником М. И. Карпенковым, достигшим вершины, не может не вызвать восхищения: «Приезд наш в Эйзенах случился в день бурной с холодным дождем, но как можно не посмотреть убежища Мартина Лютера — замка Вартбурга <...>. От порывистой бури с дождем и по слабости сил наших после ран трудно было нам взобраться на крутизну Вартбургского шпиля, а остаться ночевать в Эйзенахе, чтобы переждать бурю, мы и подумать не умели, ибо честолюбие наше трепетало от мысли опоздать в соучастии боевой переправы чрез Рейн! Соединясь в плотную гурьбу около своего храброго генерала, мало знакомого с “нельзя”, крикнувшего и тут: “За мной, друзья, ура!” мы, преодолев с ним, как и везде, и бурю и крутизну осклизлого восхода, взобрались по 200 ступеням, вырубленным в каменной почти отвесной отлогости, одетым дерном, в выгнутом расположении, суживающимся вверху, у предвратной площадки шпилевого замка, имеющей над собою бойницы стародавнего образа фортификации»²⁹.

Упорство в достижении цели было вознаграждено сполна. В «рыцарской столовой зале» русские офицеры увидели на стенах «во множестве надписи посетителей Вартбурга», в том числе Гёте, Шиллера, Лафатера, Виланда и Лоуренса Стерна, автора «Сентиментального путешествия». Имена великих людей были «окружены предохранительными чертами», а прочие «столплены, как сволочь зевак толкучего рынка». Однако коллекция рыцарских доспехов вызвала в наших путешественниках настоящий восторг: «По обеим продольным стенам и близ их расставлены и развешаны в несколько рядов разные антические доспехи древних рыцарей германских, как то: мечи, фламеи, копыя, палицы, щиты, кольчуги, шлемы и латы сильных могучих богатырей и

дебелых коней с их металльными покровами спин и наголовниками — необходимостями давнего рукопашного военного ремесла. Многие из них собраны в полные остовы всадников, поставленных в конные фрунты дружин, украшены золотыми и серебряными насечками и чеканными прокладками. <...> Выставленные копья и взмахнутые ими мечи чувствительным образом предубеждают всякого обыклого воина, что вот-вот забушует свалка Роландов, Святославов и Цимисхиев»³⁰. Но средневековая живопись не вызвала у наших «обыклых воинов» эмоционального сопереживания: «Есть там и несколько картин большого размера, но они не заслуживают никакого уважения ни по своему художеству, ни по значению, ибо представляют, червонным суздальским колоритом, легенды давних католических бредов, дарственных духовными пройдохами слепоте людской. Как, например: вот, на противоположной входу поперечной стене толпа рыцарей в каком-то осажденном городе, томимых смертельным голодом, принимает от явившейся святой жены букеты роз, которые обращаются в небесный хлеб и спасают их от голодной смерти, и тому подобные бредни»³¹.

Тем временем другие русские офицеры восхищались достопримечательностями другой «части пределов Веймарского герцогства»: Дворцовым ансамблем в городе Касселе, откуда незадолго до этого был изгнан брат Наполеона — Жером Бонапарт, король Вестфалии. «Обворожительные картины» передал в своих «Исторических записках» Г. П. Мешетич: «От города версты на три идет из тополе в два ряда по обеим сторонам перспектива к дворцу королевскому, который расположен на высоте, и вид от оногo на город весьма приятный. Позади дворца находятся искусственные каскады, славящиеся и поныне своею чрезвычайностию в Европе! <...> На верху самой высоты поставлена довольно обширная башня, и на верху оной поставлен из тонкой бронзы Геркулес в виде опершегося на дубину человека. У подошвы высоты он представляется ростом в виде обыкновенного человека, но, приближаясь по ступеням в верх башни к нему, самая тончайшая часть ноги около сустава имеет в диаметре окружности около

аршина; по сей пропорции можно судить об его росте и о расположении прочих частей. <...> Когда поднимутся машины, удерживающие внутри башни воду, то в ту же минуту каменные статуи под фронтоном начинают играть, каждая на своем инструменте, чрезвычайно гармонически и приятно. Вода начинает показываться под фронтонами из стен башни фонтанами, потом из полу вверх, и с этим вместе начинает быть слышен полной оркестр невидимой в стенах музыки, фонтаны в великом множестве увеличиваются, и шум воды мешался уже с оркестром музыки и ревом падающей оной по ступеням горы. Эти минуты для любопытствующих делаются обворожительны.

· Не в дальнем расстоянии от дворца представляется весьма древнего вкуса замок. Подойдя к нему ближе, можно явственно видеть искусственно обработанную его древность. Внутренность замка также соответствует его древности, везде видны древние картины, тканые обои с многосложною резьбою, мебель и прочее. В оном есть также музей рыцарских доспехов, вооружений и самих рыцарей, сидящих на лошадях в полном одеянии рыцарского времени, вооруженных и в закрытых касках, довольно искусственно обработанных. В птичнике находятся чрезвычайной красоты фазаны»³².

Калейдоскоп самых разнообразных дорожных впечатлений представлен на страницах дневника П. С. Пущина. Наконец-то офицер-гвардеец П. С. Пущин не отказал себе в удовольствии побывать в Веймарском театре: «...Ставили маленькую оперу “Доктор и аптекарь”, прекрасно исполненную. <...> Город Веймар, в сущности, только плохо укрепленное местечко, но, несмотря на это, я его покинул только поздно вечером...» В герцогстве Мейнингском он заметил интересную «этнографическую» подробность: «Простонародье носит блузы, а женщины — картонные кирасы». В эрцгерцогстве Вюрцбургском сделано следующее наблюдение за бытом местных крестьян: «...они живут не в таком довольстве, как население других саксонских провинций, за исключением обилия вин». Благодаря пристрастию Пущина к театру мы можем составить представление об особенностях репертуара и возможностях актер-

ских трупп многих европейских городов. Так, во Франкфурте в те времена, с точки зрения офицера столичного гарнизона, «театральный зал был довольно хорош, артисты посредственные, оркестр хорош». В Дармштадте он побывал на постановке оперы «Цампа», которая произвела фурор на всех, кроме нашего искусственного театрала: «...Я нашел в опере только много перемен декораций, ни музыка, ни театр, ни артисты не доставили большого наслаждения. Впрочем, вкусы разные...» Однако сам вид города удовлетворил капризный вкус русского офицера: «Это первый германский город, который я мог сравнить с Петербургом. Экзерциргауз замечательный по своим размерам, по его образцу построен первый в России». В одном из населенных пунктов Пущин с удивлением обнаружил все еще громкие отголоски Религиозных войн между католиками и протестантами, потрясавших Французское королевство в XVI веке: «...Я считаю нужным дать понятие о Пальмбахе. Это французская колония, набранная из эмигрантов, которых Нантский эдикт заставил удалиться из своего Отечества. Все старики говорят на французском и немецком языках, но предпочитают последний. Зло забывается с таким трудом, что после большого промежутка времени эти люди ненавидят даже язык своих гонителей, который когда-то был их родным наречием»³³.

Зима 1813 года застала российских воинов на берегах «величественного Рейна», откуда до Франции было уже рукой подать. Некогда грозные средневековые твердыни, все чаще встречавшиеся на пути следования российских войск, напоминали о былых военных столкновениях в Западной Европе: «На нескольких верстах беспрестанно являются запустелые, разваливающиеся по обоим берегам реки каменные замки, представляющие отдаленность времен рыцарских, превратность фортуны и непостоянство образа жизни человека. По местному положению видно, что в сих замках живущие при спокойных обстоятельствах приятно чрез реку веселились, а при ссорах и несогласиях с одного берега на другой одни в других стреляли и нападали»³⁴. Конечно же настоящие военные всех армий и во все времена свято почитали чужую доблесть: «...Следуя большой до-

рогой, идущей сюда от Раштадта, мы по приказанию генерала Милорадовича прошли церемониальным маршем мимо памятника, воздвигнутого на этом месте, где был убит великий Тюренн (в 1675 году. — *Л. И.*). Здесь показывают ядро, попавшее в него». Прах знаменитого французского полководца в 1800 году, по распоряжению Наполеона, был перенесен в Дом инвалидов в Париже, но русские офицеры уже почти не сомневались, что тем, кто останется в живых, удастся побывать на могиле героя³⁵.

Отметим, что первые впечатления от пребывания на французской территории были довольно безотрадны. «Жителей Франции мы нашли на несравненно низшей степени образованности, нежели немцев, а потому удивление почти всех наших офицеров, надеявшихся, по внушениям своих гувернеров, найти во Франции Эльдorado, было неописано при виде повсеместных в деревнях и в городах бедности, неопрятности, невежества и уныния. Французы со времени революции испытали столько несчастий, что при нашем нашествии они не знали, радоваться ли им или печалиться, несем ли мы с собою окончание их бедствиям или продолжим еще на долгое время злополучия их», — рассказывал А. И. Михайловский-Данилевский³⁶. В то же время Г. П. Мешетич не испытывал предубеждения против французов, которое подчас присутствовало в высказываниях будущего известного военного историка. Его нетерпеливое ожидание увидеть своими глазами «прекрасную Францию», о которой были так наслышаны русские офицеры, было вполне вознаграждено: «Города во Франции довольно красивы, многолюдны и достаточно изобильны, из них первый Нанси — довольно обширный город, имеет красивую, с хорошими строениями площадь, университет и каменный театр, на котором во время прохода русских войск представлялись пиесы и не печальные». Хотя и он отметил несравненно более низкий уровень жизни в деревнях по сравнению с соседями: «Но в деревнях во многих местах видна была бедность, поселяне живут неопратно, мужеский пол вообще сверх камзолов носит свои синие рубашки, женщины носят свои деревянные башмаки, и вооб-

ще далеко были отставши в приятности образа жизни от германских народов»³⁷. Однако житейские неудобства не отвлекали от созерцания исторических достопримечательностей. Так, «проходя город Сен-Мишель, русские имели возможность удивляться произведению одного скульптора (Лижье Ришье, XVI век. — Л. И.). В городском тамошнем костеле, в приделе, находится тринадцать фигур в обыкновенный рост человека, высеченные из одного дикого камня, изображающие положение Иисуса Христа в гроб, черты лиц каждой фигуры чрезвычайно живо изображают их чувства, и мастер занимался сим изделием тридцать лет»³⁸.

Впрочем, повсюду внимательные взоры российских офицеров находили немало любопытного и даже отрадного для глаз. Например, И. Т. Родожницкий произвел сравнительный анализ женской красоты и подвел итог своим «физиогномическим» наблюдениям: «...В первой встрече француженки показались мне весьма милыми, ловкими; я видел много прекрасных. Все вообще имеют пленительные, быстрые черные глазки, в которых выражается пламенное чувство сладострастия; в чертах лица, в голосе, в словах и взорах их видна любовь; казалось, они движутся и дышат этой страстью. Здесь я мог рассмотреть, как отлична физиогномия француженок от немок!»³⁹ Посетив театр в Нанси, И. Т. Родожницкий покинул его полный новых впечатлений, которые могли появиться только у офицера русской армии: «Французы, будучи от природы шутливы и ветрены, ходят теперь с поникшими головами и в крепкой думе, конечно, о предстоящем бедствии; но мальчишки довольно говорливы. Забравшись в первый ряд кресел, я бы сидел уединенно, если бы не подошли ко мне мальчишки во фраках, засунув в карманы руки, по общему обыкновению, и с шляпами на головах; они свободно разваливались передо мною на балюстраде, и в антрактах пьесы часто обращались ко мне с вопросом, сначала о театре, как он нравится, потом о городе; наконец, один спросил у меня: “Неужели вы думаете быть в Париже?” — “Непременно, так же как ваши войска были в Москве”. — “И вы сожжете Париж?” — “Не знаю”. — “Пожалуйста, не жгите Парижа; вам стыдно будет...” Занавесь поднялась.

Я не столько смотрел на пьесу, как на малюток, занимающихся политикою и судьбою своего Отечества»⁴⁰. По дороге к Реймсу — городу, где короновались французские короли, Родожичский заметил местную достопримечательность — «на верховом почтальоне деревянные ботфорты, которые прикреплены к седлу и охраняют его при падении с лошади от ушиба, хотя бы он скакал во всю ночь».

Выше уже отмечалось, что все памятные места, связанные с величайшими событиями мировой истории, вызывали особо благоговейные чувства в офицерах 1-го егерского полка. В городе Реймсе они решили во что бы то ни стало осмотреть знаменитый собор «по уважению к нему особенно венчания там Девой Орлеана (Жанной д'Арк) на царство короля французского Карла VII». Местный житель, в благодарность русским офицерам, предотвратившим разграбление Реймса «безмерно злыми» на французов пруссаками, вызвался вместе с женой показать им «внутренности собора». Он в подробностях поведал «сынам Севера», как происходило некогда «царевенчание», и показал все, что там было «изящного». Благодарные слушатели, которым на следующий день предстояло вступить в кровопролитное сражение, сожалели только об одном: «...День был пасмурен, и потому находящаяся над главным порталом во фронте общей капитальной арки розетта — произведения удивительного по оптическому вымыслу из разноцветных пластин хрусталя, имеющая диаметр около 20 аршин, — не показала нам полной прелести своей обаятельною игрою радужных цветов ее, разливающихся при падении солнечных лучей на нее...»⁴¹

Самым ярким и незабываемым впечатлением русских офицеров была победная весна 1814 года в покоренном Париже, «когда удалилась, со скрежетом зубов, кровожадная война, и пришествием утреннего света озарилось радостью унылое человечество». Этот город поистине не обманул общих восторженных чаяний. «Офицеры рассеялись повсюду и с первого дня своего пребывания обратили внимание на примечательные заведения, находившиеся в Париже. Картинные галереи, собрания древностей, библиотеки,

мастерские знаменитых художников были наполнены русскими»⁴².

П. С. Пущин записал в дневнике: «Я ходил осматривать Лувр и Музей. Один и другой многим обязаны Наполеону. Архитектура Лувра будет вечным памятником этому необыкновенному человеку, и достопримечательные предметы, привезенные в последнее время из всех стран Европы, представляют все, что только есть на свете замечательного. Здесь я видел статуи Аполлона Бельведерского, Венеры Медицинской, Лаокоона, Преображение Господне Рафаэлевой работы и пр[очее]. Я любовался новейшими образцами искусства и охотно провел бы весь день в созерцании всех этих прелестей, если бы не встретил нескольких приятелей, которые отвлекли меня от моего увлечения и потащили с собой в Пале-Рояль, более простое и чудесное, но не менее интересное место. Вечером я был в театре “Варьете”, должен сознаться, что острофы Брино доставили мне большое удовольствие»⁴³. Конечно же русский офицер ни дня не мог прожить без посещения театров: «Сейчас же после обеда я ушел из гостиной, чтобы идти во Французский театр (Комеди франсез). Обе комедии разыграны в совершенстве. Государь присутствовал на спектакле и, выражая одобрение исполнителям, вынуждал публику аплодировать, на что Париж так восприимчив. Особенно бурные и единодушные аплодисменты раздались в антракте, когда на спущенном занавесе появился древний французский герб, цветы лилии, нарисованные на листе бумаги. “Да здравствует Александр, наш избавитель! Да здравствует король!” — раздалось тогда со всех сторон, и шляпы с белыми кокардами вошли в моду»⁴⁴. Каждый новый день приносил любителю театрального действия новые впечатления: «Вечером, по обыкновению, я появился в театре. Сегодня я был в “Водевиле”. Последняя из трех пьес — “Женщины-тираноманки” очень непристойна и вызвала негодование публики. Свистали до крайности, а автор в ярости от такого приема позволил себе оскорбить одного из свистунов, что послужило поводом к страшному скандалу, прекратившемуся только после ареста автора. Такие происшествия — обыкновенное явление в парижских театрах»⁴⁵.

В отличие от Пущина А. И. Михайловский-Данилевский побывал на первом театральном представлении, которое удостоил своим посещением российский монарх: «Ничто не может сравниться с приемом, сделанным Государю, когда Его Величество изволил быть в первый раз в оперном театре два дня спустя по вступлении в Париж. Объявлено было представление “Траяново торжество”. Когда публика собралась, то вошел актер Деривис и сказал: “Его Императорскому Величеству не угодно принять на свой счет похвал, коими исполнено торжество Траяново, но Его Величеству послали доложить, что парижане желают сей оперы, почему теперь ожидают ответа Государя Императора”. Через несколько минут объявили, что представляют “Весталку”. Можно удобнее вообразить, нежели описать, сколь велико было стечение народа. До появления Императора и Короля прусского публика поминутно требовала, чтобы оркестр играл национальную песню: “Да здравствует Генрих Четвертый”. Монархи прибыли в девять часов; восклицания, которые, казалось, потрясли все огромное здание, продолжались более четверти часа, в течение представления они почти непрерывно повторялись. <...> Женщины бросали из лож белые банты, которые мужчины надевали в ту же минуту. Многие голоса требовали, чтобы сняли орла, напоминавшего царствование Наполеона, но как сего в скорости нельзя было исполнить, то его завесили белым покрывалом. Во время между действиями зрители, не довольствуясь, что музыканты играли народную песню Генриха Четвертого, желали, чтобы известный актер Лаис ее пропел»⁴⁶.

Из воспоминаний М. М. Петрова явствует, что некоторые российские военачальники следили за тем, чтобы их подчиненные не теряли времени впустую, поэтому водили их за собой по музеям, театрам, библиотекам и паркам с тем же пылом, как в атаку на неприятеля: «Генерал Эмануэль, как человек высокого образования, любивший познания в себе самом и других, собрав многих штаб- и обер-офицеров отряда своего, повел нас в Сент-Клудский дворец, оставленный за несколько суток пред тем императрицею Марией-Луизой и малолетним ее сыном, королем Римским, незадолго до уда-

ления их к Орлеану при угрожавшей опасности Парижу. От подъезда до зал и гостиных с великолепными диванами, обстановки внутренних украшений изумительны. Там, можно сказать, каждый аршин места напихан прелестью вымысла и отделки до удивления. Полы покрыты драгоценными гобеленовскими коврами, трюмо, камин и карнизы уставлены фарфорами Севрской мануфактуры, а стены и плафоны — удивительною живописью, барельефами, статуями, зеркалами и люстрами»⁴⁷.

«Экскурсионный маршрут» офицеров русской армии действительно со всей полнотой обозначен в рассказе М. М. Петрова, с удовольствием возвращавшегося памятью в ту поистине незабываемую весну: «Мы были более десяти раз в Музее живописи и скульптуры, который был тогда первейшее диво Парижа и всего света; два раза — в Бюффонском кабинете натуральной истории, имеющем при себе чрезвычайный ботанический сад с прудами и бассейнами, наполненными разными водожителями, и зверинец, содержащий знатных животных всех материков света. С почтением взглянули на огромную библиотеку, состоящую из 400 тысяч книг и 150 тысяч манускриптов, папирусовых, пергаментных и бумажных; механический магазин моделей и настоящих машин числом 52 тысячи видов. Осмотрели не раз Национальный французский музей, устроенный в бывшем до революции Августинском монастыре старанием одного благонамеренного парижанина — Ренуара. <...> Видели пышные убранства луврских, тюльерийских и люксембургских палат; Пантеон великих мужей Франции с гробами-надгробками, урнами праха и громкими надписями; Дом военных инвалидов, увенчанный огромным, как жар, горящим в высоте куполом, позолотою с огня, под которым в церкви благоухает памятью славных, безукоризненных дел и нравов прах великого Тюренна. Посещали Большую Оперу и так называемый Французский театр, где изумлены были превосходным искусством оркестра, совершенством перспективы декораций, а всего более — дивною игрою театральных артистов Тальмы, Лаиса и других, равно и живостию танцев, пантомим молодого Вистриса и

давнего нам знакомого Дюпора. Всечувственно извели роскошный Пале-Рояль со всеми его подблачными и подземельными обителями. <...> И везде стаи удалых прелестниц рыщут и нападают с изощренным там их оружием на каждого, ища своих завоеваний, сражая всякое геройство наповал»⁴⁸. Впрочем, судьба офицеров 1-го егерского полка, как всегда, складывалась так, что у них была «эксклюзивная» возможность приобщиться к историческим местам, поражающим воображение: «Прибыв в Париж с адъютантом Клугеном и штаб-лекарем Леонтовичем, я нашел там моего полкового командира генерала Карпенкова, занявшего квартиру близ булевар в улице Темпель, напоминающей о бывшем там некогда пышном подворье храмовых рыцарей, исчезнувших при папе Клименте V и короле Филиппе Пригожем, сожегших, согласясь, последнего гроссмейстера их ордена — знаменитого добродетелями старца Иакова Молле»⁴⁹.

От восхитительных художественных редкостей и волнующих исторических преданий русские офицеры отправились обозреть достопримечательности другого рода: «Мы с генералом Карпенковым и адъютантами пошли осматривать Бюфонов кабинет натуральной истории, находившийся у левой оконечности Аустерлицкого железного моста, пред большою набережною площадью Сены. Еще далеко не дошед правой оконечности моста, упирающегося в булеварный проспект, услышали мы пред собою рев и рыкания зверей. Перейдя мост и площадь, мы вступили в Ботанический сад, которого парадные ворота и ограда чрез все протяжение набережной площади состоит из звеньев железной решетки с вызолоченными чрез огонь арабесками и вазами на гранитных полированных столбах, части разделяющих. Когда подошли мы к клеткам зверей, то увидели одного из шести африканских львов, самца, шагающего взад и вперед в три ступени по его жилищу с теми рыканиями, какие встретили нас, не доходя Аустерлицкого моста. Мы спросили пристава: “Не от голоду ли этот зверь ревет?” И он ответил, что их кормят изобильно и всегда чуть свет, предвеляя появление публики; а ревет он от страдания стесненной его быстрой

природы, сродной иметь движения чрез круги мильные, а не шестишаговые, как здесь.

Сытые эти львы так благодетельны и незлобны, что пристав протягивал к ним руку, гладил их гривы и морды, причем они смотрели на него и на всех предстоявших взорами смиренными и даже приятными. С одним из них — самцом — жила тогда беленькая шавочка. Пристав уверял нас — по опытам, — что время жизни того льва, жившего с собачкою уже три года, зависит также и от жизни его друга — собачки, чему были многие опыты. Тут же почти находится смрадная каменная казарма, занятая десятью породами обезьян, зачиная от орангутанга, сходя до крошечного пифика; а на противной стороне сквозных сеней — казармы мартышек, направо — просторная светлица, приятная по всему, усаженная многими попугаями разных пород»⁵⁰.

Подполковнику Я. О. Отрощенко особенно запомнилось посещение Тюильрийского дворца: «В новом здании над каждым окном высечена литера N. В этом здании помещен музей и картинная галерея: первый в нижнем этаже, а последняя в верхнем. В первой зале на середине группа Лаокоона, греческого жреца с двумя сыновьями, борющегося с двумя змеями, обвинившимися вокруг него. Эта статуя весьма древняя, высокой греческой работы. У Лаокоона отломлена часть руки; за приделку ее назначена значительная сумма, однако же до сего времени никто из новых художников не взялся»⁵¹. П. С. Пущин с интересом посетил резиденцию императрицы Жозефины: «Под Рюели находится маленький замок Мальмезон, последнее убежище императрицы Жозефины; хотя это жилище недостаточно просторно для императрицы, тем не менее оно очень красиво; особенно замечательна своей древностью маленькая статуя, привезенная Наполеоном из Египта; уверяют, что она существует более 4000 лет». Однако и в Париже не всегда можно было избежать огорчений: «Сегодня в 4 часа я был свидетелем очень тяжелой сцены — казни фальшивомонетчика, совершенной на Гревской площади. Обыкновенно гильотина собирается за несколько часов до казни и убирается немедленно после ее совершения. Несчастливого привез жандарм на повоз-

ке. Он не взошел на эшафот, его понесли, так как он был без сознания»⁵².

Некоторые русские офицеры приложили немало усилий, чтобы стать свидетелями древнего обряда коронования французских королей, в их числе был И. С. Жиркевич: «Несмотря на приказ “находиться безотлучно при своих частях”, многие русские офицеры “в гражданском платье” отправились смотреть на церемонию въезда в Париж короля Людовика XVIII. Над самой моей головой, через улицу, была перетянута из окон двух насупротив лежащих домов из искусственных цветов цепь и на оной, посреди улицы, утверждена была, из цветов же, корона. На крышах и в окнах выставлены были флаги и знамена белые с вышитыми лилиями, а с балконов спускались разноцветные ковры. По обеим сторонам улицы стояли под ружьем национальные гвардейцы. Король проехал мимо этого места часу во втором. Он ехал в большой открытой коляске, запряженной цугом, в восемь лошадей, в мундире национальной гвардии и в голубой ленте ордена Святого Духа, без шляпы, кланяясь приветливо на все стороны. Рядом с ним сидела герцогиня Ангулемская, а напротив их, впереди, старик принц Конде, тоже без шляпы. Когда коляска поравнялась с висевшей в воздухе короной, она спустилась в коляску, а цветная цепь повисла по бокам ее. Впереди коляски, прежде всех ехали жандармы, за ними три или четыре взвода легкой кавалерии, потом два взвода гренадер бывшей императорской гвардии. Весьма заметно было, что с концов фалд мундиров их и с сумок сняты были орлы, но ничем другим не были еще заменены. Перед самою коляскою, в буквальном смысле, тащились, в белых платьях с белыми поясами, с распустившимися от жару и поту волосами, 24 каких-то привидения! В программе церемониала выезда эти несчастные названы: “девицами высшего сословия”, чему трудно было поверить. Около коляски ехали французские маршалы и десятка два генералов, тоже французских. Ни русских, ни других иностранных войск при этом не было»⁵³.

Свидетелем трогательной сцены стал П. С. Пущин: «Сын графа д'Артуа, племянник короля герцог Беррий-

ский, совершил свой въезд в Париж. Он был встречен самым радушным образом, и, когда он вошел в Тюильри, толпа хлынула в сад, требуя, чтобы принц показался на балконе; наконец, он появился со своим отцом, который поцеловал его сердечно ко всеобщему восторгу, и это послужило сигналом к овации. Я обратил особенное внимание на одну старую даму, хватавшую меня за руки со слезами на глазах, которая не переставала кричать: «Эти добрые принцы, эти дорогие принцы». После я узнал, что это была некая госпожа Аверн, когда-то придворная дама, которую лишила всего революция, она пришла сюда с толпой, чтобы прославлять принцев, которых она так хорошо знала и которых необыкновенные события возвратили во дворец их предков»⁵⁴.

Однако «добрый принц» вскоре проявил себя самым недобрый для парижан образом: «Мне хотелось осмотреть Богатель, английский сад в Булонском лесу, но герцог Беррийский, посещавший его почти ежедневно, запретил пускать туда, кроме понедельника и пятницы, и, кроме того, надо было застись билетом. Вследствие чего, я, будучи верхом, должен был проехать под стеной и посмотреть сад через стену, не имея возможности войти внутрь. Впрочем, мне показалось, что Богатель в действительности — безделица...»⁵⁵

И. Р. Дрейлинг, как всегда веселый и беззаботный, уместил свои парижские переживания всего в один абзац текста, из которого тем не менее явствует, что наш юный герой не терял времени даром. Он все видел, все успел: «Целый хаос новых впечатлений, удовольствий и наслаждений всякого рода, которых и описать невозможно. Прелестные француженки очаровательны! Я знакомлюсь с очаровательной обитательницей бельэтажа. 21 апреля имел место знаменитый въезд короля Людовика XVIII и принцессы Ангулемской, дочери несчастного короля Людовика XVI. Тюльери. *Salle des Mrechaux*. Сад Тюльери. Большая опера. Балет. Палле-Руаяль. *Very* в Ротонде. *Café de mille colonnes*. *La belle limonadiere*. *Museum Napoléon*. *Luxembourg*. *Jardin des plants*. *Bovily* прекрасная бронзовая колонна на Вандомской площади. Игорные дома <...>. Затем у нас получи-

лось пресыщение от всех удовольствий, и мы даже обрадовались, когда настало время отъезда из Парижа»⁵⁶. Действительно, все вдруг как-то затосковало, разом ощутив: пора возвращаться домой после двухлетних скитаний по Европе. Многочисленные «русские путешественники» в военных мундирах рассуждали совсем как литературный герой Карамзина за двадцать лет до них: «Берег! Отечество! Благословляю вас! Я в России...»

Итак, эпоха воинской славы подошла к концу. Европа устала от войн, и это было очевидно каждому. Для русских офицеров незаметно наступила пора жить воспоминаниями. Будущий «Российский Гомер» и «летописец русской славы» А. И. Михайловский-Данилевский в дневнике подвел итог ратным свершениям своих соотечественников: «К довершению двухлетних побед недоставало нам только быть в Париже; до сей желанной минуты не наслаждались мы еще в полной мере плодами побед наших и чувствовали, что мы без цели сражались в кровопролитных битвах, брали крепости, ниспровергали царства, восстанавливали Государей и видели разорение России; каждый шаг, от оного нас отделявший, не позволял в полной мере вкусить цены торжества Отечества нашего»¹. Действительно, большего уже нельзя было и желать.

Чем закончился для многих русских офицеров славный поход? После грандиозного и незабываемого для всех его участников и зрителей парада в Вертю император Александр I собрал своих «любезных сослуживцев» за обеденным столом. Причем праздничное застолье было не менее торжественным и длилось целых три дня: «Во все время пребывания нашего в Вертю были обеденные столы у Государя в саду, в котором палатки, украшенные гирляндами и разноцветными огнями, устроены были нарочно славным архитектором Фонтеном. Странная игра

судьбы! Архитектор сей был любимец Наполеона, который с ним нередко беседовал и советовался о сооружении памятников, которые должны были увековечить царствование его. В первый день угощали иностранцев (Император Франц, эрцгерцог Людвиг-Максимилиан, фельдмаршал князь Шварценберг, князь Лихтенштейн, прусский король, наследный принц, принц Мекленбург-Стрелицкий, генералы Гнейзенау, Цитен, Вольцоген, герцог Веллингтон, лорд Кэткарт, адмирал сэр Сидней Смит, принц Оранский, герцог Ришелье, герцог Кобургский и т. д.).

На следующий день приглашены были к обеду русские генералы, а в последний, когда иностранцы отправились обратно в Париж, были, кроме наших генералов, командиры полков и артиллерийских рот и корпусные обер-квартирмейстеры; за столом находилось более трехсот особ. Я не видел никогда почтеннее собрания, в нем заключалось могущество и слава России, коей сии офицеры были достойные представители. Бурные последние годы соединяли их вместе, они делили труды и победы, они презирали голод и непогоды, проходили горы, реки и царства, где предки их никогда не бывали. Теперь, благодаря подвигам своим, они расстаются на долгое время. На лицах сих отличных мужей начертана была радость, что каждый из них исполнил обет свой. Государь перед столом и после оного подходил почти к каждому из подвижников своих, благодарил их от искреннего сердца и в таких выражениях, которые каждому останутся незабвенны. У многих были на глазах слезы; воин, сохранивший посреди рассеянности станов и между громов сражений чувствительность, будет в дни мира примерным гражданином. Покойтесь на лаврах ваших, русские офицеры! Вы одни могли совершить то, чему вселенная изумляется. Гордитесь содеянным вами, поздние потомки будут повествовать о вас. Да будет на всю жизнь воспоминание минувших дней залогом вашего щастия!»²

Какими возвратились наши герои в Россию после военного десятилетия, прожитого ими, по выражению М. И. Цветаевой, «в одной невероятной скачке»? Средний возраст победителей — 25—32 года (среди них не-

мало генералов в возрасте около 30 лет). Большинство из них — кавалеры ордена Святой Анны 3-й и введенной в Париже 4-й степени, а также Святого Владимира 4-й степени с бантом, прусского ордена «За достоинство»; самые храбрые и удачливые — награждены георгиевским оружием «За храбрость», орденом Святого Владимира 3-й степени, Святого Георгия 4-й степени. Они верили в Бога и государя. Невольники чести. Их образование, как мы выяснили, ниже среднего. Они действительно в большинстве своем не слишком начитаны, но многое видели, слышали, пережили; следовательно, как все военные поколения, «все на свете понимали». Презирали трусость, ложь и предательство; дружили до гробовой доски. Верили в любовь! Но семейная любовь и любовь-страсть для них — разные понятия, весьма редко смешиваемые. Влюблялись во француженок, актрис, модисток, но никогда на них не женились, стремясь на старости лет иметь верную подругу и прочный семейный быт, для которого подходили русские и немки.

С этим жизненным багажом многие из них впервые за долгие годы, проведенные у бивачных костров и на казенных квартирах, переступили порог собственного дома. Никто не смог описать этой минуты более прочувствованно, чем это сделал И. Р. Дрейлинг: «Все предметы, когда-то такие близкие, хорошо знакомые, показались мне теперь какими-то чужими, лишенными своего содержания. Вот дом, который когда-то занимал отец... Посещение это вызвало во мне грустное настроение — печально стоял я. Все было такое же и — все-таки иное! ...Оказалось, что отец живет на берегу Двины, вправо от моста. Семь лет продолжалось мое отсутствие; за это время разыгралась и кончилась эта пагубная война, я подвергался неоднократным опасностям — теперь я опять стоял на пороге отчего дома. Юнкером покинул я его — ротмистром, награжденным знаками отличия, здоровым и невредимым, возвращался я в него. Я вошел в дом! Нет слов, какими возможно было бы описать то невыразимо счастливое чувство, которое испытываешь при таком свидании. Любящая мать, братья и сестры, добрейшая тетя Вавочка — все окру-

жили меня, все стремились обнять, и все молчали, потрясенные радостью. Сзади всех стоял мой дорогой уважаемый отец — больной, слабый, с обнаженной седой головой. Молча, в нетерпеливом ожидании протягивал он ко мне свои дрожащие руки. Слезы радости и счастья, наконец, всем развязали язык. Так вот он, наконец, явился долгожданный любимец, радость постаревших родителей. Не раз проливали они об нем слезы, беспокоясь за его участь. И вот он вернулся опять в круг семьи, с полем ужаса и смерти, целый и невредимый, достойный их любви»³.

А один из наших героев кратко записал в своем дневнике: «Надо сказать правду: война — прекрасная штука, когда с нее вернешься»⁴.

* Автор этих строк Николай Дмитриевич Дурново погиб 18 сентября 1828 года в боях с турками под Варной в чине генерал-майора.

ПРИМЕЧАНИЯ

Введение

¹ *Отрощенко Я. О.* Записки генерала Отрощенко (1800—1830 гг.). М., 2006. С. 13.

² *Дурова Н. А.* Избранные сочинения кавалерист-девицы Н. А. Дуровой. М., 1988. С. 70.

³ *Душенкевич Д. В.* Из моих воспоминаний от 1812-го года до <1815-го года> // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 120—121.

⁴ Из бумаг Аполлона Никифоровича Марина и материалы к его биографии // *Марин С. Н.* Полн. собр. соч. Летописи. Кн. 10. М., 1948. С. 496. (Далее — *Марин С. Н.*)

⁵ *Махлаюк А. В.* Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность. СПб., 2006. С. 20.

⁶ *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII—начало XIX века). СПб., 1994.

⁷ *Махлаюк А. В.* Указ. соч. С. 17.

⁸ *Про А.* Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 165—166.

⁹ *Конан Дойль А.* Белый отряд // Собр. соч. В 8 т. М., 1991. Т. 5. С. 376.

¹⁰ *Михайловский-Данилевский А. И.* Мемуары. 1814—1815. СПб., 2001. С. 31.

Глава первая

СОЛДАТАМИ РОЖДАЮТСЯ!

¹ *Петров М. М.* Рассказы служившего в 1-м егерском полку... // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 115.

² *Зайцев А.* Воспоминания о кампании 1812 года в рассказах русского офицера. М., 1853. С. 3—4.

³ Генерал Багратион. Сборник документов. М., 1945. С. 147.

⁴ 1812—1814. Секретная переписка генерала П. И. Багратиона... М., 1992. С. 182.

⁵ *Вяземский В. В.* «Журнал». 1812 г. // 1812 год. Военные дневники. М., 1990. С. 185.

⁶ *Давыдов Д. В.* Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. СПб., 1895. Т. I. С. 81.

⁷ Там же. С. 98.

⁸ *Дурова Н. А.* Указ. соч. С. 34.

⁹ Цит.: *Целорунго Д. Г.* Офицеры русской армии — участники Бородинского сражения. М., 2002. С. 51.

¹⁰ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 116—117.

¹¹ *Дурова Н. А.* Указ. соч. С. 42—43.

¹² Там же. С. 57.

¹³ Там же. С. 61.

¹⁴ Там же. С. 541.

¹⁵ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 115.

¹⁶ Там же. С. 116.

- ¹⁷ Глинка С. Н. Записки. М., 2004. С. 35.
- ¹⁸ 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 180.
- ¹⁹ Жиркевич И. С. Записки И. С. Жиркевича // Русская старина. 1874. Т. 1. С. 213.
- ²⁰ Граббе П. Х. Из памятных записок // Русский архив. 1873. Кн. 2. Стб. 798.
- ²¹ Целорунго Д. Г. Указ. соч. С. 104.
- ²² Марин С. Н. С. 479—480.
- ²³ Там же. С. 484.
- ²⁴ Глинка С. Н. Указ. соч. С. 41.
- ²⁵ Тамсинов В. А. Временщик. М., 1996. С. 16—17.
- ²⁶ Отрощенко Я. О. Записки (1800—1830). М., 2006. С. 3.
- ²⁷ Там же. С. 12.
- ²⁸ Там же. С. 13.
- ²⁹ Там же. С. 15.
- ³⁰ Лорер Н. И. Мемуары декабристов. М., 1988. С. 318.
- ³¹ Воспоминания о светлейшем князе Голенищеве-Кутузове // Русский архив. 1866. Кн. 1. Стб. 287.
- ³² Местр Ж, де. Петербургские письма. 1803—1817. СПб., С. 87.
- ³³ Волконский С. Г. Записки. СПб., 1902. С. 4.
- ³⁴ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 78.
- ³⁵ Миркович Ф. Я. 1789—1866. Его жизнеописание, составленное по собственным его запискам, воспоминаниям близких людей и подлинным документам. СПб., 1889. С. 19. (Далее — Миркович Ф. Я.)
- ³⁶ Там же. С. 20.
- ³⁷ Щербатов А. Г. Мои воспоминания. СПб., 2006. С. 34.
- ³⁸ Левенитерн В. И. Записки генерала // Русская старина. 1900. Т. 3. С. 267—268.
- ³⁹ Там же. С. 268—269.
- ⁴⁰ Там же. С. 272.
- ⁴¹ Там же. С. 273.
- ⁴² Дрейлинг И. Р. Воспоминания участника войны 1812 года // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. С. 362.
- ⁴³ Петров М. М. Указ. соч. С. 118.
- ⁴⁴ Там же. С. 122—123.

Глава вторая ОБРАЗОВАНИЕ

- ¹ Цит.: Целорунго Д. Г. Указ. соч. С. 112.
- ² Эйдельман Н. Я. Обреченный отряд. М., 1987. С. 8.
- ³ Там же. С. 8.
- ⁴ Муравьев Н. Н. Записки // Русский архив. 1885. Кн. 9. С. 73.
- ⁵ Тучков С. А. Записки. СПб., 1908. С. 6—7.
- ⁶ Там же.
- ⁷ Благовещенский И. М. Из воспоминаний. 1859. Воспоминания участника войны 1812 года. 1820 // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 413.
- ⁸ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 3.
- ⁹ Там же.

- ¹⁰ Глинка С. Н. Указ. соч. С. 29—31.
- ¹¹ Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 33—34.
- ¹² Волконский С. Г. Указ. соч. С. 3.
- ¹³ Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1987. С. 255.
- ¹⁴ Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1813 года // 1812 год... Военные дневники. М., 1990. С. 314.
- ¹⁵ Летописи. Кн. 10. М., 1948. С. 474—475.
- ¹⁶ Петров М. М. Указ. соч. С. 120.
- ¹⁷ Там же. С. 127.
- ¹⁸ Петров М. М. Указ. соч. С. 126.
- ¹⁹ Миркович Ф. Я. С. 8.
- ²⁰ Бутенев А. П. Воспоминания о 1812 годе. Дипломат при армии князя Багратиона. М., 1911. С. 64—65.
- ²¹ Левенштерн В. И. Записки генерала В. И. Левенштерна // Русская старина. 1900. Т. 3. С. 487.
- ²² Батюшков К. Н. Воспоминания о Петине // Батюшков К. Н. Избранная проза. М., 1988. С. 187.
- ²³ РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1407. Л. 25.
- ²⁴ Грибанов В. К. Багратион в Петербурге. Л., 1979. С. 126.
- ²⁵ Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001. С. 640.
- ²⁶ Целоруно Д. Г. Указ. соч. С. 115.
- ²⁷ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 108.
- ²⁸ Тучков С. А. Указ. соч. С. 6—7.
- ²⁹ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 130.
- ³⁰ Мелентьев В. Д. Кутузов в Петербурге. Л., 1986. С. 36.
- ³¹ Там же. С. 44.
- ³² Глинка С. Н. Указ. соч. С. 69—70.
- ³³ Там же. С. 72.
- ³⁴ Там же. С. 123.
- ³⁵ Там же. С. 79.
- ³⁶ Там же. С. 138.
- ³⁷ Жиркевич И. С. Указ. соч. С. 216.
- ³⁸ Глинка С. Н. Указ. соч. С. 147.
- ³⁹ Там же. С. 147.
- ⁴⁰ Глинка С. Н. Указ. соч. С. 42—43.
- ⁴¹ Марин С. Н. С. 480.
- ⁴² Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 121.
- ⁴³ Жиркевич И. С. Указ. соч. С. 214—215.
- ⁴⁴ Там же.
- ⁴⁵ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 122.
- ⁴⁶ Там же. С. 113.
- ⁴⁷ Жиркевич И. С. Указ. соч. С. 214.
- ⁴⁸ Там же. С. 213.
- ⁴⁹ Марин С. Н. С. 481—482.
- ⁵⁰ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 149.
- ⁵¹ Миркович Ф. Я. С. 16.
- ⁵² Там же. С. 17.
- ⁵³ Там же. С. 18.
- ⁵⁴ Фельдмаршал Кутузов. Документы, дневники, воспоминания. М., 1995. С. 183.

- ⁵⁵ Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX века. СПб., 2007. С. 62.
⁵⁶ Целорунго Д. Г. Указ. соч. С. 118.
⁵⁷ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 108.
⁵⁸ Граббе П. X. Из памятных записок // Русский архив. 1873. Кн. 3. Стб. 798.
⁵⁹ Цит.: Целорунго Д. Г. Указ. соч. С. 126.
⁶⁰ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 107—108.
⁶¹ Жиркевич И. С. Указ. соч. С. 218—219.

Глава третья **ВЕРА И ВЕРНОСТЬ**

- ¹ Митаревский Н. Е. Воспоминания о войне 1812 года. М., 1871. С. 81.
² Благовещенский И. М. Указ. соч. С. 417.
³ «К чести России». Из частной переписки 1812 года. М., 1988. С. 36.
⁴ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 39.
⁵ Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников. С. 108.
⁶ Сегюр Ф., де. Поход в Россию. С. 94—95.
⁷ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 374.
⁸ Петров М. М. Указ. соч. С. 72—73.
⁹ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 72—73.
¹⁰ Цит.: Мельникова Л. В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху Наполеоновских войн. М., 2007. С. 52.
¹¹ Мильчина В. «И все ж не видел мир досель чудес так много!» Жозеф де Местр о России // Родина. 1992. № 6—7. С. 160—161.
¹² Дурова Н. А. Указ. соч. С. 66.
¹³ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 22.
¹⁴ Там же. С. 4.
¹⁵ Земцов В. Н. Искусство правильно умирать // Родина. Россия и Наполеон. 2008. № 8. С. 26.
¹⁶ Мешетич Г. П. Исторические записки войны россиян с французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. 1818 г. // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 54.
¹⁷ Кн. М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письма к дочери гр. Е. М. Тизенгаузен // Русская старина. 1874. Т. 6. С. 342.
¹⁸ Там же. С. 340—341.
¹⁹ Чичерин А. В. Дневник Александра Чичерина. 1812—1813. М., 1966. С. 19.
²⁰ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 380.
²¹ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 43.
²² Туркул А. В. Дроздовцы в огне. Нью-Йорк: Посев, 1990. С. 46.
²³ Марин С. Н. С. 493.
²⁴ Петров М. М. Указ. соч. С. 175.
²⁵ «К чести России». С. 41.
²⁶ Петров М. М. Указ. соч. С. 115.
²⁷ Мельникова Л. В. Указ. соч. С. 45—56.
²⁸ Там же. С. 190.
²⁹ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 120.

³⁰ Михайловский-Данилевский А. И. С. 53—54.

³¹ Там же. С. 60.

³² Жиркевич И. С. // Русская старина. 1874. Т. 11. С. 656—657.

³³ Михайловский-Данилевский А. И. С. 67—68.

Глава четвертая ГОСУДАРЬ И АРМИЯ

¹ Цит.: Боханов А. Н. Самодержавие. М., 2002. С. 255.

² Давыдов М. А. «Оппозиция его величества». Дворянство и реформы в начале XIX века. М., 1994. С. 19.

³ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 360—361.

⁴ Арндт Э. М. Из воспоминаний о 1812 годе // Русский архив. 1871. Кн. 9. Стб. 0107—0108.

⁵ Глинка С. Н. Указ. соч. С. 44.

⁶ Там же. С. 29.

⁷ Там же. С. 20.

⁸ Петров М. М. Указ. соч. С. 172—173.

⁹ Лорер Н. И. Указ. соч. С. 322.

¹⁰ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 30.

¹¹ Наполеон в России. Воспоминания современников. Кн. I. М., 2004. С. 29.

¹² Местр Ж, де. Указ. соч. С. 174.

¹³ Жиркевич И. С. Указ. соч. С. 658.

¹⁴ Фельдмаршал Кутузов. С. 432.

¹⁵ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 59—60.

¹⁶ Чарторыйский А, кн. Мемуары. М., 1912. С. 114.

¹⁷ России двинулись сыны. Записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 164.

¹⁸ Беннигсен Л. Л. Записки о кампании 1812 года // Русская старина. 1909. Т. 3. С. 216.

¹⁹ Давыдов Д. В. Материалы для истории современных войн. (1806—1807 гг.) // Соч. Т. I. СПб., 1895. С. 125—126.

²⁰ Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 32.

²¹ Фельдмаршал Кутузов. С. 323.

²² Вандаль А. Наполеон и Александр I. Т. II. СПб., 1995. С. 46.

²³ Фельдмаршал Кутузов. С. 216.

²⁴ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 199.

²⁵ Давыдов Д. В. Указ. соч. Т. I. С. 306—307.

²⁶ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 78.

²⁷ Вяземский П. А. Мемуарные заметки. М., 1999. С. 399—400.

²⁸ Казаков И. М. Поход во Францию 1814 г. // Русская старина. 1908. Т. 1. С. 528.

²⁹ Там же. С. 540.

³⁰ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 136—137.

³¹ Марин С. Н. Указ. соч. С. 301.

³² Волконский С. Г. Указ. соч. С. 70—71.

³³ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 31.

³⁴ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 88—89.

- ³⁵ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 173—174.
- ³⁶ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 92.
- ³⁷ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 48.
- ³⁸ «К чести России». С. 46.
- ³⁹ Там же. С. 56.
- ⁴⁰ *Шшишков А. С.* Кто исчислит бедственные следствия... // России двинулись сыны... С. 141.
- ⁴¹ «К чести России». С. 108.
- ⁴² *Вяземский В. В.* Указ. соч. С. 211.
- ⁴³ Фельдмаршал Кутузов. С. 216.
- ⁴⁴ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 20.
- ⁴⁵ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 204.
- ⁴⁶ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 88.
- ⁴⁷ *Глинка С. Н.* Указ. соч. С. 315.
- ⁴⁸ *Марин С. Н.* Указ. соч. С. 484.
- ⁴⁹ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 62.
- ⁵⁰ *Щербинин А. А.* Военный дневник. С. 298.
- ⁵¹ *Михайловский-Данилевский А. И.* Дневники. С. 239.
- ⁵² Там же. С. 28.
- ⁵³ *Михайловский-Данилевский А. И.* Мемуары, 1814—1815. СПб., 2001. С. 36—37.
- ⁵⁴ России двинулись сыны... С. 609.
- ⁵⁵ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 161.
- ⁵⁶ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 35.
- ⁵⁷ Там же. С. 89.
- ⁵⁸ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 265.
- ⁵⁹ *Богданчиков М. А.* Мое воспоминание. Из рассказов дедушки моего, прапорщика С. Я. Богданчикова. 1911 // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. С. 451.
- ⁶⁰ *Ульянов Н.* Александр I— император, актер, человек // Родина. 1992. С. 146.
- ⁶¹ Там же.
- ⁶² *Преснов В. А.* «Театр Ростопчина». Социально-культурный контекст эпохи // Эпоха Наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы науч. конф. в музее-панораме «Бородинская битва». М., 1999. С. 54.
- ⁶³ Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 годах. Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 1845. Т. I. С. IV.
- ⁶⁴ *Розен А. Е.* Мемуары декабристов. М., 1988. С. 81.

Глава пятая ЧИН И ОРДЕН

- ¹ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 367.
- ² *Щепелев Л. Е.* Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 19—20.
- ³ Цит.: *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). С. 47.
- ⁴ Там же.
- ⁵ *Волков С. В.* Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 30.
- ⁶ *Местр Ж, де.* Указ. соч. С. 56.

⁷ Там же. С. 78.

⁸ *Давыдов М. А.* «Оппозиция Его Величества». Дворянство и реформы в начале XIX века. М., 1994. С. 18.

⁹ *Волконский Д. М.* Указ. соч. С. 168—169.

¹⁰ *Ланжерон А. Ф.* Записки о войне с Турцией 1806—1812 гг. // Русская старина. 1908. Т. 2. С. 673.

¹¹ *Дубровин Н. Ф.* Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (1807—1829). М., 2006. С. 17.

¹² Цит.: *Дубровин Н. Ф.* Русская жизнь в начале XIX века. СПб., 2007. С. 367.

¹³ Там же. С. 368.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Ермолов А. П.* Записки А. П. Ермолова 1798—1826. М., 1991. С. 148.

¹⁶ Письма героев Отечественной войны 1812 года // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники, историография. К 200-летию Отечественной войны 1812 г. Труды ГИМ. М., 2005. Вып. 147. С. 121—122.

¹⁷ *Щербатов А. Г.* Указ. соч. С. 36—37.

¹⁸ *Волконский Д. М.* Указ. соч. С. 168.

¹⁹ *Марин С. Н.* С. 328.

²⁰ Там же. С. 333.

²¹ *Попов А. И.* Львиное отступление. М., 2007.

²² *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. I. С. 153.

²³ *Баталин М. А.* Письмо к А. В. Висковатому с воспоминаниями о Барклае де Толли // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 138.

²⁴ *Сеславин А. Н.* «Великодушие. Барклай в 1812-м году» // 1812 год в воспоминаниях современников. С. 138.

²⁵ *Дубровин Н. Ф.* Отечественная война в письмах современников (1812—1815). М., 2006. С. 237—240.

²⁶ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 46.

²⁷ Наполеон в России глазами русских. М., 2004. С. 47.

²⁸ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 51.

²⁹ *Вильмот Е.* Письма из России в Ирландию (1805—1807) // Русский архив. 1873. Кн. 10. Стб. 1877—1878.

³⁰ РГВИА. Ф. 29. Оп. 153в. Д. 126. Л. 245.

³¹ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 139.

³² Там же. С. 91.

³³ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 95.

³⁴ Там же. С. 135.

³⁵ *Жиркевич И. С.* Записки И. С. Жиркевича // Русская старина. 1874. Т. 11. С. 657—658.

³⁶ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. II. С. 153.

³⁷ *Щербатов А. Г.* Указ. соч. С. 99.

³⁸ *Волков С. В.* Русский офицерский корпус. С. 189.

³⁹ Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004. С. 185.

⁴⁰ Письма Д. С. Дохтурова к его супруге. 1805—1814 // Русский архив. 1874. Кн. 5. Стб. 1091—1092.

⁴¹ РГВИА. Ф. 29. Оп. 153г. Д. 1. Св. 2. Ч. 1. Л. 56 об.

⁴² *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 97.

⁴³ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 79.

⁴⁴ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 185.

⁴⁵ *Левенштерн В. И.* Бородино в воспоминаниях современников. СПб., 2001. С. 68—69.

⁴⁶ Бородино. Документальная хроника. М., 2004. С. 298—299.

⁴⁷ РГВИА. Ф. 103. Оп. 208а. Св. 0. Д. 16. Л. 80.

⁴⁸ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 231—232.

⁴⁹ Там же. С. 296—300. См. также: Бумаги П. И. Шукина, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. 1904. Т. VII. С. 163—169.

⁵⁰ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 125.

⁵¹ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 96.

⁵² *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 175—176.

Глава шестая **«ПОЛКИ ЛИХИЕ...»**

¹ Миркович Ф. Я. С. 19.

² *Граббе П. Х.* Из памятных записок... // Русский архив. 1873. Кн. 3. Стб. 845.

³ *Потоцкий П.* История гвардейской артиллерии. СПб., 1896. С. 155.

⁴ *Норов А. С.* Воспоминания // России двинулись сыны. С. 356—357.

⁵ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 3—4.

⁶ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 181.

⁷ *Толстой Л. Н.* Война и мир. М., 1983. Т. 1—2. С. 314.

⁸ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 68.

⁹ Там же. С. 68—69.

¹⁰ Там же. С. 69—70.

¹¹ *Давыдов Д. В.* Сочинения. СПб., 1895. Т. I. С. 109—110.

¹² Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. С. 220.

¹³ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 175.

¹⁴ Там же. С. 226.

¹⁵ *Дурова Н. А.* Записки Александра (Дуровой). Добавление к «девице-кавалерист». М., 1839. С. 178.

¹⁶ Там же. С. 180.

¹⁷ *Дурова Н. А.* Записки кавалерист-девицы. С. 231.

¹⁸ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 223.

¹⁹ *Богданчиков М. А.* Указ. соч. С. 449—450.

²⁰ Бородино. Документальная хроника. М., 2004. С. 236—237.

²¹ *Дуров В. А.* Золотое оружие «За храбрость» // Родина. 2002. № 8. С. 117.

²² *Петров М. М.* Указ. соч. С. 169.

²³ *Родожницкий И. Т.* Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 г. М., 1835. Т. II. С. 158.

²⁴ *Скобелев И. Н.* Переписка и рассказы русского инвалида. Сочинения генерала от инфантерии И. Н. Скобелева. СПб., 1844. Ч. I. С. 217.

²⁵ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 16.

²⁶ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 145.

²⁷ *Паскевич И. Ф.* «Походные записки» // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 76—77.

- ²⁸ *Пуштин П. С.* Указ. соч. С. 49.
²⁹ Там же. С. 50.
³⁰ Там же. С. 50—52.
³¹ Там же. С. 52—53.
³² Там же. С. 77—78.
³³ Там же. С. 93.
³⁴ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 174.
³⁵ *Местр Ж, де.* Указ. соч. С. 29.
³⁶ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 64.
³⁷ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 175.
³⁸ *Левенштерн В. И.* Указ. соч. Т. III. С. 392.
³⁹ *Кацура А.* Дуэль в истории России. М., 2006. С. 76.
⁴⁰ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 62—63.
⁴¹ Летописи. Кн. 10. С. 385.
⁴² *Кацура А.* Указ. соч. С. 73.
⁴³ *Марин С. Н.* С. 293.
⁴⁴ *Кацура А.* Указ. соч. С. 73—74.
⁴⁵ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 228—229.
⁴⁶ *Вандалъ А.* Наполеон и Александр I. СПб., 1995. Т. II. С. 218—219.
⁴⁷ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 157—158.
⁴⁸ Записки графа А. Х. Бенкендорфа. 1813 год. Неизвестные страницы // Эпоха Наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы IX Международной научной конференции в музее-панораме «Бородинская битва». М., 2006. С. 64.
⁴⁹ РГВИА. Ф. 29. Оп. 153в. Д. 126. Л. 100 об.
⁵⁰ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 150—151.
⁵¹ Там же. С. 139.

Глава седьмая **ПАРАДЫ И СМОТРЫ**

- ¹ Фельдмаршал Кутузов. С. 315.
² *Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 32.
³ Архив князя Воронцова. М., 1891. Кн. 37. С. 1.
⁴ *Валлоттон А.* Александр I. М., 1991. С. 32.
⁵ *Потоцкая А.* Мемуары (1794—1820). СПб., б. г. С. 16.
⁶ *Местр Ж, де.* Указ. соч. С. 68.
⁷ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 136.
⁸ *Марин С. Н.* С. 282.
⁹ Там же.
¹⁰ Там же. С. 313.
¹¹ *Вандалъ А.* Указ. соч. С. 94.
¹² Там же. С. 97—98.
¹³ *Самовер Н. В.* «Русские крестоносцы»...// Эпоха Наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы II научной конференции в Музее-панораме «Бородинская битва». М., 1999. С. 115.
¹⁴ *Жиркевич И. С.* Указ. соч. С. 218.
¹⁵ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 37.
¹⁶ *Вандалъ А.* Указ. соч. С. 234.
¹⁷ *Местр Ж, де.* Указ. соч. С. 94.

- ¹⁸ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 39.
¹⁹ Вандаль А. Указ. соч. С. 467—468.
²⁰ Жиркевич И. С. Записки...// Русская старина. 1874. Т. 9. С. 228—229.
²¹ Миркович Ф. Я. С. 24—25.
²² Местр Ж., де. Указ. соч. С. 171.
²³ Дурново Н. Д. 1812 год... Военные дневники. М., 1990. С. 49—50.
²⁴ Чичерин А. В. Указ. соч. С. 188.
²⁵ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 99.
²⁶ Там же. С. 100.
²⁷ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 364.
²⁸ Там же. С. 365.
²⁹ Петров М. М. Указ. соч. С. 129—130.
³⁰ Там же.
³¹ Отроценко Я. О. Указ. соч. С. 47—48.
³² Там же. С. 48—49.
³³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 59.
³⁴ Там же. С. 66.
³⁵ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 153.
³⁶ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 72.
³⁷ Там же. С. 80.
³⁸ Пуцин П. С. Указ. соч. С. 93.
³⁹ Родожницкий И. Т. Указ. соч. С. 178.
⁴⁰ Пуцин П. С. Указ. соч. С. 122.
⁴¹ Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 250.
⁴² Жиркевич И. С. Записки...// Русская старина. 1874. Т. 12. С. 658.
⁴³ Там же. С. 266.
⁴⁴ Там же. С. 267.
⁴⁵ Отроценко Я. О. Указ. соч. С. 92—93.
⁴⁶ Там же. С. 93.
⁴⁷ Мешетич Г. П. Указ. соч. С. 77.
⁴⁸ Отроценко Я. О. Указ. соч. С. 94.
⁴⁹ Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 267.
⁵⁰ Отроценко Я. О. Указ. соч. С. 104.

Глава восьмая

ДНИ МИРА

- ¹ «Читайте книги, господа...» Публикация А. П. Капитонова // Цейхгауз, 2001. № 4 (16). С. 11.
² Вандаль А. Указ. соч. Т. II. С. 122.
³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 57.
⁴ Там же. С. 49—50.
⁵ Фельдмаршал Кутузов. С. 248.
⁶ Чайковская О. Г. «Как любопытный скиф...» Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. М., 2001. С. 35.
⁷ Местр Ж., де. Указ. соч. С. 31—32.
⁸ Там же. С. 87.
⁹ Муравьев Н. Н. Указ. соч. С. 77.
¹⁰ Муравьев Н. Н. Указ. соч. С. 74.
¹¹ Целорунго Д. Г. Указ. соч. С. 101.

- ¹² Волконский С. Г. Указ. соч. С. 130—132.
- ¹³ Там же. С. 133—135.
- ¹⁴ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 58—59.
- ¹⁵ Миркович Ф. Я. С. 26—27.
- ¹⁶ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 176—177:
- ¹⁷ Марин С. Н. С. 306.
- ¹⁸ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 53.
- ¹⁹ Там же. С. 314.
- ²⁰ Там же. С. 282.
- ²¹ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 376.
- ²² Миркович Ф. Я. С. 24.
- ²³ Петров М. М. Указ. соч. С. 169.
- ²⁴ Марин С. Н. С. 289.
- ²⁵ Там же. С. 189.
- ²⁶ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 227.
- ²⁷ В кн.: Жихарев С. П. Записки современника. Л., 1989. С. 4.
- ²⁸ Чичерин А. В. Указ. соч. С. 138.
- ²⁹ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 103.
- ³⁰ Там же. С. 53.
- ³¹ В кн.: Жихарев С. П. Указ. соч. С. 15.
- ³² Граббе П. X. Из памятных записок... // Русский архив. 1873. Кн. 2. Стб. 800.
- ³³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 88.
- ³⁴ «К чести России». С. 32.
- ³⁵ Отечественная война 1812 года в письмах современников (1812—1815). СПб., 1882. С. 464.
- ³⁶ Вандаль А. Указ. соч. Т. II. С. 137.
- ³⁷ Там же. С. 142—143.
- ³⁸ Там же. С. 144.
- ³⁹ Сб. ИРИО. 1893. Т. 88. С. 136.
- ⁴⁰ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 365.
- ⁴¹ Там же. С. 365.
- ⁴² Вандаль А. Указ. соч. С. 233.
- ⁴³ Сб. ИРИО. 1893. Т. 88. С. 397.
- ⁴⁴ Русский архив. 1908. Кн. 2. С. 8.
- ⁴⁵ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 61—62.
- ⁴⁶ Левенитерн В. И. Записки... // Русская старина. 1900. Т. 4. С. 107—108.
- ⁴⁷ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 171.
- ⁴⁸ Коленкур А, де. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Смоленск, 1991. С. 62.
- ⁴⁹ Там же. С. 138.
- ⁵⁰ Захарова О. Ю. История русских балов. М., 1999. С. 58.
- ⁵¹ Штейнгель В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. I. С. 119—120.
- ⁵² Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1997. С. 155—156.
- ⁵³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 48.
- ⁵⁴ Жиркевич И. С. Записки... // Русская старина. 1874. Т. 9. С. 241.
- ⁵⁵ Там же. С. 241.
- ⁵⁶ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 374—375.

- ⁵⁷ *Левенитерн В. И.* Записки... // Русская старина. 1901. Т. 1. С. 379.
- ⁵⁸ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 140—141.
- ⁵⁹ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 129.
- ⁶⁰ Там же. С. 124.
- ⁶¹ *Дурова Н. А.* Указ. соч. С. 122—123.
- ⁶² *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 363.
- ⁶³ Там же. С. 365.
- ⁶⁴ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 8.
- ⁶⁵ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 606.
- ⁶⁶ *Граббе П. Х.* Записки... // Русский архив. 1873. Кн. 1. Стб. 833—836.
- ⁶⁷ *Глинка С. Н.* Указ. соч. С. 245.
- ⁶⁸ *Левенитерн В. И.* Указ. соч. С. 276.
- ⁶⁹ *Жиркевич И. С.* Записки... // Русская старина. 1874. Т. 9. С. 224—225.
- ⁷⁰ *Дурова Н. А.* Указ. соч. С. 103—104.
- ⁷¹ Там же. С. 122—123.
- ⁷² *Петров М. М.* Указ. соч. С. 131.
- ⁷³ Там же. С. 165—167.
- ⁷⁴ Русский архив. 1898. Кн. 2. С. 29.
- ⁷⁵ Миркович Ф. Я. С. 25.
- ⁷⁶ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 361.
- ⁷⁷ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 148—149.

Глава девятая ПЕРЕД ВОЙНОЙ

- ¹ *Вяземский П. А.* Мемуарные заметки // Державный сфинкс. М., 1999. С. 471.
- ² *Граббе П. Х.* Из памятных записок... // Русский архив. 1873. Кн. 3. Стб. 856.
- ³ *Левенитерн В. И.* Из памятных записок... // Русская старина. 1900. Т. 4. С. 331.
- ⁴ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 11.
- ⁵ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 363.
- ⁶ Миркович Ф. Я. С. 25.
- ⁷ *Марин С. Н.* С. 483.
- ⁸ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 364.
- ⁹ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 81.
- ¹⁰ Там же. С. 90—91.
- ¹¹ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 2.
- ¹² *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 150—151.
- ¹³ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 32—33.
- ¹⁴ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 171—172.
- ¹⁵ *Благовещенский И. М.* Указ. соч. С. 416.
- ¹⁶ *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 58.
- ¹⁷ Там же. С. 62.
- ¹⁸ Там же. С. 63.
- ¹⁹ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 30.
- ²⁰ *Бутенев А. П.* Указ. соч. С. 11.
- ²¹ Там же. С. 64.
- ²² *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 90.

- ²³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 65.
²⁴ Там же. С. 65—66.
²⁵ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 153—154.
²⁶ Миркович Ф. Я. С. 35.
²⁷ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 68.
²⁸ Там же.
²⁹ Миркович Ф. Я. С. 36.
³⁰ Там же.
³¹ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 69.
³² Миркович Ф. Я. С. 38.
³³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 73—76.
³⁴ Родожницкий И. Т. Указ. соч. Т. 1. С. 30—34.
³⁵ Шербатов А. Г. Указ. соч. С. 41.
³⁶ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 3—4.
³⁷ Миркович Ф. Я. С. 39.
³⁸ Шишков А. С. «Кто исчислит бедственные следствия...» С. 123—124.
³⁹ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 151.
⁴⁰ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 109.
⁴¹ Петров М. М. Указ. соч. С. 175.

Глава десятая ПОХОД

- ¹ Сегюр Ф., де. Поход в Россию. М., 2002. С. 19.
² Миркович Ф. Я. С. 42—43.
³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 78.
⁴ Коленкур А., де. Указ. соч. С. 76.
⁵ Благовещенский И. М. Указ. соч. С. 427.
⁶ Беннигсен Л. Л. Записки о кампании 1812 года // Русская старина. 1909. Т. 3. С. 517.
⁷ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 77.
⁸ Коленкур А., де. Указ. соч. С. 93.
⁹ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 369.
¹⁰ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 161.
¹¹ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 366.
¹² Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 21—22.
¹³ Там же. С. 16.
¹⁴ «К чести России». С. 286.
¹⁵ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 45.
¹⁶ Два приказа военного министра графа А. А. Аракчеева // Труды Государственного исторического музея. Сб. Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. М., 2002. С. 202.
¹⁷ Вяземский В. В. Указ. соч. С. 191.
¹⁸ Там же. С. 197.
¹⁹ Петров М. М. Указ. соч. С. 176—177.
²⁰ 1812—1814. Секретная переписка генерала П. И. Багратиона... М., 1992. С. 52.
²¹ Граббе П. Х. Из памятных записок...// Русский архив. 1873. Кн. 2. Стб. 426—427.
²² «К чести России». С. 50.

- ²³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 81—82.
- ²⁴ Муравьев Н. Н. Указ. соч. С. 94.
- ²⁵ Паскевич И. Ф. «Походные записки». С. 84.
- ²⁶ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 370.
- ²⁷ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 216.
- ²⁸ Граббе П. Х. Указ. соч. Стб. 438.
- ²⁹ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 371.
- ³⁰ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 44—45.
- ³¹ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 153.
- ³² Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 19.
- ³³ Коншин А. М. Записки // Исторический вестник 1884. № 17. С. 280.
- ³⁴ Граббе П. Х. Указ. соч. Стб. 439.
- ³⁵ Ермолов А. П. Записки. М., 1991. С. 166.
- ³⁶ Там же. С. 166.
- ³⁷ «К чести России». С. 49.
- ³⁸ Паскевич И. Ф. Указ. соч. С. 90.
- ³⁹ «России двинулись сыны...» С. 283.
- ⁴⁰ Жиркевич И. С. Записки...// Русская старина. 1874. Т. 2. С. 646.
- ⁴¹ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 372.
- ⁴² Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 18.
- ⁴³ Пуццин П. С. Указ. соч. С. 56.
- ⁴⁴ Граббе П. Х. Указ. соч. Стб. 455.
- ⁴⁵ Там же. Стб. 454—455.
- ⁴⁶ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 176—177.
- ⁴⁷ Фельдмаршал Кутузов. С. 358.
- ⁴⁸ Там же. С. 166.
- ⁴⁹ Чичерин А. В. Указ. соч. С. 18.
- ⁵⁰ Фельдмаршал Кутузов. С. 387.
- ⁵¹ Волконский Д. М. Указ. соч. С. 142—143.
- ⁵² Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 115—117.
- ⁵³ Там же.
- ⁵⁴ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 377.
- ⁵⁵ Муравьев Н. Н. Указ. соч. С. 130.
- ⁵⁶ Граббе П. Х. Указ. соч. Стб. 471.
- ⁵⁷ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 116.
- ⁵⁸ Клаузевиц К. 1812 год. М., 1997. С. 89.
- ⁵⁹ Шербинин А. А. Записки. С. 30.
- ⁶⁰ Петров М. М. Указ. соч. С. 190.
- ⁶¹ Шербатов А. Г. Указ. соч. С. 77.
- ⁶² Вяземский В. В. Указ. соч. С. 213.
- ⁶³ Там же. С. 215.
- ⁶⁴ Шербинин А. А. Записки. С. 29.
- ⁶⁵ Липранди И. П. Выписка из дневника // 1812 год... Военные дневники. С. 238—240.
- ⁶⁶ Фельдмаршал Кутузов. С. 392.
- ⁶⁷ «К чести России». С. 95.
- ⁶⁸ Шербинин А. А. Записки. С. 30.
- ⁶⁹ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 145.
- ⁷⁰ Сегюр Ф, де. Указ. соч. С. 143—145.
- ⁷¹ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 226.
- ⁷² «К чести России». С. 149—150.

- ⁷³ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 118.
⁷⁴ Евреинов М. Память о 1812 годе // Русский архив. 1874. № 1. С. 98.
⁷⁵ «К чести России». С. 156.
⁷⁶ Там же. С. 158.
⁷⁷ Вильсон Р. Т. Указ. соч. С. 85.
⁷⁸ Сегюр Ф. Указ. соч. С. 184—185.
⁷⁹ Петров М. М. Указ. соч. С. 202.
⁸⁰ «К чести России». С. 175.
⁸¹ Чичерин А. В. Указ. соч. С. 47.
⁸² Петров М. М. Указ. соч. С. 203.
⁸³ «Бедственная переправа французской армии через р. Березину при бегстве Наполеона из Москвы в 1812-м году» // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 137—138.
⁸⁴ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 65.
⁸⁵ Пуцин П. С. Указ. соч. С. 72.
⁸⁶ Благовещенский И. М. Указ. соч. С. 421.
⁸⁷ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 104.
⁸⁸ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 145.
⁸⁹ Мешетич Г. П. Указ. соч. С. 54.
⁹⁰ Чичерин А. В. Указ. соч. С. 167.
⁹¹ Волконский Д. М. Указ. соч. С. 155.
⁹² Петров М. М. Указ. соч. С. 212.
⁹³ Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1985. С. 177—178.
⁹⁴ Пуцин П. С. Указ. соч. С. 77.

Глава одиннадцатая
«В ДЫМНОМ ПОЛЕ, НА БИВАКЕ...»

- ¹ Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. М., 2004. С. 22.
² Архив князя Воронцова. М., 1890. Кн. 36. С. 82.
³ Родожницкий И. Т. Указ. соч. Т. II. С. 9.
⁴ Петров М. М. Указ. соч. С. 159.
⁵ Жиркевич И. С. Указ. соч. С. 639.
⁶ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 592—593.
⁷ Родожницкий И. Т. Указ. соч. Т. I. С. 38—39.
⁸ Бутенев А. П. Указ. соч. С. 17.
⁹ Наполеон. Воспоминания и военные произведения. Б. м., б. г. С. 591—592.
¹⁰ Бутенев А. П. Указ. соч. С. 18.
¹¹ Муравьев Н. Н. Указ. соч. С. 95.
¹² Родожницкий И. Т. Указ. соч. Т. I. С. 64.
¹³ Левенитерн В. И. Записки...// Русская старина. 1900. Т. 4. С. 338—339.
¹⁴ Муравьев Н. Н. Указ. соч. С. 94—95.
¹⁵ Бутенев А. П. Указ. соч. С. 28—29.
¹⁶ Миркович Ф. Я. С. 51.
¹⁷ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 33—34.
¹⁸ Бутенев А. П. Указ. соч. С. 30.
¹⁹ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 371—372.
²⁰ Родожницкий И. Т. Указ. соч. Т. I. С. 131—132.
²¹ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 55—56.

- ²² России двинулись сыны... С. 348.
- ²³ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 111.
- ²⁴ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 49.
- ²⁵ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 376.
- ²⁶ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 81.
- ²⁷ *Мальшикин С. А.* Человек в Бородинской битве: опыт историко-культурологического исследования // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы VII Всероссийской научной конференции. Бородино, 1999. С. 112.
- ²⁸ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 185.
- ²⁹ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 26.
- ³⁰ *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 94.
- ³¹ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 144.
- ³² *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 95.
- ³³ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 96—97.
- ³⁴ *Душенкевич Д. В.* Указ. соч. С. 117.
- ³⁵ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 94—95.
- ³⁶ *Левенитерн В. И.* Записки... // Русская старина. 1901. Т. 1. С. 108.
- ³⁷ *Щербинин А. А.* Военный дневник. С. 247.
- ³⁸ Там же. С. 97—101.
- ³⁹ Там же. С. 110.
- ⁴⁰ Там же. С. 117—118.
- ⁴¹ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 194.
- ⁴² *Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 212.
- ⁴³ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 140.
- ⁴⁴ *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 95.
- ⁴⁵ *Фельдмаршал Кутузов.* С. 221—222.
- ⁴⁶ Там же. С. 405.
- ⁴⁷ Там же. С. 406.
- ⁴⁸ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 194.
- ⁴⁹ *Давыдов Д. В.* Собр. соч. Т. 2. С. 72—73.
- ⁵⁰ *Душенкевич Д. В.* Указ. соч. С. 118—119.
- ⁵¹ «К чести России». С. 152—153.
- ⁵² *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 39.
- ⁵³ Там же.
- ⁵⁴ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 133—134.
- ⁵⁵ *Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 226.
- ⁵⁶ Там же. С. 228.
- ⁵⁷ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 39—40.
- ⁵⁸ Там же. С. 41.
- ⁵⁹ *Зотов Р. М.* Рассказы о походах 1812 года // России двинулись сыны. М., 1988. С. 485.
- ⁶⁰ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 71.
- ⁶¹ *Казиков И. М.* Указ. соч. С. 526—527.
- ⁶² *Петров М. М.* Указ. соч. С. 160—161.
- ⁶³ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 182.
- ⁶⁴ Там же. С. 182—183.
- ⁶⁵ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. Т. 2. С. 182—184.
- ⁶⁶ *Душенкевич Д. В.* Указ. соч. С. 123.
- ⁶⁷ *Богданчиков М. А.* Мое воспоминание... С. 446—447.
- ⁶⁸ *Щербинин А. А.* Военные дневники. С. 285.

- ⁶⁹ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 127.
⁷⁰ Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 38.
⁷¹ Пуцин П. С. Указ. соч. С. 153.
⁷² Казаков И. М. Указ. соч. С. 537.
⁷³ Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 105.
⁷⁴ Петров М. М. Указ. соч. С. 296.
⁷⁵ Чичерин А. В. Указ. соч. С. 22.
⁷⁶ Там же. С. 27.

Глава двенадцатая СРАЖЕНИЯ

- ¹ Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001. С. 184.
² Дурново Н. Д. Дневник 1812 года // 1812 год... Военные дневники. М., 1991. С. 75.
³ Мешетич Г. П. Указ. соч. С. 41.
⁴ Левенитерн В. И. Записки...// Русская старина. 1900. Т. 3. С. 486.
⁵ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 66.
⁶ Давыдов Д. В. Указ. соч. Т. II. С. 277—278.
⁷ Давыдов Д. В. Указ. соч. С. 121.
⁸ Давыдов Д. В. Военные записки. С. 51—52.
⁹ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 62.
¹⁰ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 16—18.
¹¹ Петров М. М. Указ. соч. С. 142—143.
¹² Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вильно, 1903. Вып. 1. С. 20.
¹³ Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 97—98.
¹⁴ Сегюр Ф, де. Указ. соч. С. 69.
¹⁵ Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М., 1993. С. 314.
¹⁶ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 27—28.
¹⁷ Мельникова Л. В. Указ. соч. С. 55.
¹⁸ Петров М. М. Указ. соч. С. 148.
¹⁹ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 33.
²⁰ Дрейлинг И. Р. Указ. соч. С. 371.
²¹ Там же. С. 375.
²² Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 127—128.
²³ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 110—111.
²⁴ Цит.: Попов А. И. Война 1812 года. Хроника событий. Львиное отступление. М., 2007. С. 53.
²⁵ Там же. С. 46.
²⁶ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 111—112.
²⁷ Паскевич И. Ф. Указ. соч. С. 90.
²⁸ Бутенев А. П. Указ. соч. С. 34—35.
²⁹ Там же. С. 35—36.
³⁰ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 112.
³¹ Там же. С. 113.
³² Мешетич Г. П. Указ. соч. С. 44.
³³ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 166.
³⁴ Там же. С. 166.

³⁵ «К чести России». С. 62.

³⁶ Там же. С. 63.

³⁷ Лейтенант С. Рюппел, Гв. Шволежерский полк, 24-я бригада легкой кавалерии генерала Хаммерштайна, при 24-й пехотной дивизии генерала А. Л. Окса, Вестфальский корпус генерала Жюно (цит.: *Попов А. И.* Действия вестфальского корпуса под Смоленском // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XIII Всероссийской научной конференции. Бородино, 5—7 сентября 2005 года. М., 2006. С. 198—201.

³⁸ *Батюшков К. Н.* Избранная проза. М., 1988. С. 188.

³⁹ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 599—600.

⁴⁰ России двинулись сыны... С. 597—599.

⁴¹ *Марин С. Н.* С. 494—495.

⁴² *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. II. С. 257.

⁴³ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 61.

⁴⁴ Бородино в воспоминаниях современников. СПб., 2001. С. 134.

⁴⁵ *Марин С. Н.* С. 495.

⁴⁶ *Левенштерн В. И.* Указ. соч. С. 578—579.

⁴⁷ *Миркович Ф. Я.* С. 57.

⁴⁸ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 62.

⁴⁹ Там же. С. 64—65.

⁵⁰ *Щербинин А. А.* Военные дневники. С. 289.

⁵¹ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 384—385.

⁵² *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 226.

⁵³ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. Кн. III. С. 29.

⁵⁴ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 62.

⁵⁵ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 128.

⁵⁶ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 66.

⁵⁷ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 37.

⁵⁸ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 66.

⁵⁹ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 249.

⁶⁰ *Душенкевич Д. В.* Указ. соч. С. 129.

⁶¹ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. II. С. 229—230.

⁶² *Петров М. М.* Указ. соч. С. 261—263.

⁶³ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 134—135.

Глава тринадцатая **БОЛЕЗНИ И РАНЫ**

¹ «К чести России». С. 22.

² *Греч Н. И.* Записки // Русский архив. 1873. Кн. 4. Стб. 688—689.

³ *Прейсман А. Б.* Московская медико-хирургическая академия. М., 1961. С. 84.

⁴ *Кузьмин Н. К.* Лекции по истории русской медицины. Медики в Отечественную войну 1812 года. М., 1963. С. 30.

⁵ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 98—99.

⁶ 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 158.

⁷ *Преснов В. А.* «Театр Ростопчина». Социально-культурный контекст эпохи. С. 54.

⁸ *Лажечников И. И.* Походные записки русского офицера. СПб., 1820. С. 210—212.

- ⁹ *Жиркевич И. С.* Записки...// Русская старина. 1874. Т. 11. С. 430.
- ¹⁰ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 122—123.
- ¹¹ *Благовещенский И. М.* Указ. соч. С. 425.
- ¹² Там же. С. 433.
- ¹³ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 38—39.
- ¹⁴ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 158.
- ¹⁵ Там же. С. 40.
- ¹⁶ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 52.
- ¹⁷ Там же. С. 53.
- ¹⁸ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 163.
- ¹⁹ *Майер И. Ф.* Искусный эконоом или хозяйственная книга, расположенная по алфавиту в пользу и употребление всякого состояния и обоего пола людям. М., 1794. С. 255—256.
- ²⁰ Там же. С. 37—39.
- ²¹ *Кузьмин Н. К.* Указ. соч. С. 23.
- ²² *Бутенев А. П.* Указ. соч. С. 23.
- ²³ *Душенкевич Д. В.* Указ. соч. С. 115.
- ²⁴ России верные сыны... С. 359—367.
- ²⁵ Там же. С. 368—370.
- ²⁶ Русские мемуары. 1800—1825. М., 1989. С. 119.
- ²⁷ Там же. С. 126—129.
- ²⁸ Там же. С. 129.
- ²⁹ Там же. С. 94.
- ³⁰ Там же. С. 77—79.
- ³¹ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 57.
- ³² *Глинка Ф. Н.* Письма русского офицера. М., 1985. С. 55.
- ³³ Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. М., 1897. Т. I. С. 83.
- ³⁴ «Отца послало Провиденье...» / Публикация А. П. Капитонова // Цейхгауз. 2002. № 2(18). С. 19.
- ³⁵ *Миркович Ф. Я.* С. 63—65.
- ³⁶ России верные сыны... С. 427—430.
- ³⁷ Цит.: *Кузьмин Н. К.* Указ. соч. С. 70—71.
- ³⁸ Там же. С. 69.
- ³⁹ *Росточин Ф. В.* Записки о 1812 году // Ох, французы! М., 1992. С. 300.
- ⁴⁰ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 231.
- ⁴¹ РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153а. Д. 3127—3159. Св. 21. Л. 763.
- ⁴² Там же. Л. 33—34.
- ⁴³ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 231.
- ⁴⁴ *Щербинин А. А.* Военные дневники. С. 277—278.
- ⁴⁵ Труды ГИМа. Вып. 132. Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. М., 2002. С. 215.

Глава четырнадцатая СЛУГА ЦАРЮ

¹ *Булгарин Ф. В.* Воспоминания. С. 491.

² *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 57—58.

³ Рассказ о Бородинском сражении унтер-офицера Тихонова, записанный в 1830 году. М., 1872. С. 118.

- ⁴ *Марин С. Н.* С. 474—475.
- ⁵ *Всеволодов И. В.* Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990. С. 109.
- ⁶ *Благовещенский И. М.* Указ. соч. С. 422.
- ⁷ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. II. С. 292—293.
- ⁸ *Местр Ж, де.* Письма Жозефа де Местра из Петербурга в Италию // Русский архив. 1871. Кн. 9. Стб. 93.
- ⁹ Там же. Стб. 100, 113.
- ¹⁰ *Глинка Ф. Н.* Очерки Бородинского сражения // Письма русского офицера. М., 1985. С. 158.
- ¹¹ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. I. С. 128—129.
- ¹² *Беннигсен Л. Л.* Записки о кампании 1812 года // Русская старина. 1909. Т. 3. С. 216.
- ¹³ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 132.
- ¹⁴ *Глинка Ф. Н.* Указ. соч. С. 86—87.
- ¹⁵ *Бутенев А. П.* Указ. соч. С. 12.
- ¹⁶ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 38.
- ¹⁷ *Вильсон Р. Т.* Указ. соч. С. 265, 285.
- ¹⁸ *Ланжерон А. Ф.* Записки о войне с Турцией 1806—1812 гг. // Русская старина. 1908. Т. 2. С. 672—673.
- ¹⁹ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. I. С. 226—227.
- ²⁰ Там же. С. 137—139.
- ²¹ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 456—457.
- ²² *Баталин М. А.* Письмо к А. В. Висковатову с воспоминаниями о М. Б. Барклае де Толли // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 156—157.
- ²³ *Отроценко Я. О.* Указ. соч. С. 45.
- ²⁴ *Местр Ж, де.* Петербургские письма. С. 223.
- ²⁵ *Крузе Д.* Монархическая власть и таинство смысла... // Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей. М., 2001. С. 111.
- ²⁶ *Фельдмаршал Кутузов.* С. 327.
- ²⁷ Там же. С. 403.
- ²⁸ Там же. С. 408.
- ²⁹ Там же. С. 430.
- ³⁰ *Соллогуб В. А.* Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. СПб., 1993. С. 80.
- ³¹ «К чести России». С. 59.
- ³² *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 125.
- ³³ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 157.
- ³⁴ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 182—183.
- ³⁵ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 122.
- ³⁶ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 142—150.
- ³⁷ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 168.
- ³⁸ *Левенштерн В. И.* Указ. соч. Т. IV. С. 341.
- ³⁹ *Граббе П. Х.* Указ. соч. № III. Стб. 826—828.
- ⁴⁰ *Пыляев М. И.* Замечательные чудачки и оригиналы. М., 1990. С. 6.
- ⁴¹ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 135—136.
- ⁴² *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 191—192.
- ⁴³ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 227.

- ⁴⁴ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 150—152.
⁴⁵ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 15.
⁴⁶ Там же. С. 106—107.
⁴⁷ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 139—140.
⁴⁸ *Дурова Н. А.* Избранные сочинения... С. 168.
⁴⁹ *Щербинин А. А.* Военные дневники. С. 270—271.
⁵⁰ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 63.
⁵¹ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 174.
⁵² *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 66—68.
⁵³ Там же. С. 108.

Глава пятнадцатая **ДРУЖБА**

- ¹ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 124.
² *Марин С. Н.* С. 128.
³ Там же. С. 123.
⁴ Журнал боевых действий отряда князя П. И. Багратиона в Италии и Швейцарии в 1799 г. СПб., 1909. С. 10—11.
⁵ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 190.
⁶ *Вандаль А.* Указ. соч. С. 380.
⁷ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 283—284.
⁸ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 143.
⁹ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 177.
¹⁰ Там же. С. 178—179.
¹¹ Там же. С. 179.
¹² Там же. С. 180.
¹³ Там же. С. 598—599.
¹⁴ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 124—125.
¹⁵ *Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 40.
¹⁶ *Жиркевич И. С.* Указ. соч. С. 214.
¹⁷ Там же. С. 448.
¹⁸ *Глинка С. Н.* Указ. соч. С. 230—231.
¹⁹ *Муравьев Н. Н.* Указ. соч. С. 91.
²⁰ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 366—367.
²¹ Там же. С. 376.
²² Там же. С. 378.
²³ Там же. С. 394.
²⁴ Там же. С. 389.
²⁵ Там же. С. 391.
²⁶ *Давыдов Д. В.* Собр. соч. Т. 1. С. 286—287.
²⁷ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 58—59.
²⁸ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 181.
²⁹ Летописи. Кн. 10. М., 1948. С. 5.
³⁰ Там же. С. 281.
³¹ Там же. С. 301.
³² Там же. С. 296.
³³ Там же. С. 319—321.
³⁴ Там же. С. 299.
³⁵ Там же. С. 312.
³⁶ Там же. С. 323.

³⁷ Легописи. Кн. 10. М., 1948. С. 325.

³⁸ Там же. С. 326.

³⁹ Там же. С. 310.

⁴⁰ *Граббе П. Х.* Из памятных записок... // Русский архив. 1873. Кн. 1. Стб. 836.

⁴¹ Там же. С. 330.

Глава шестнадцатая ЛЮБОВЬ

¹ *Давыдов Д. В.* Собр. соч. Т. II. С. 68.

² *Чичерин А. В.* Дневник. С. 23.

³ Там же. С. 216—217.

⁴ Там же. С. 204—205.

⁵ *Вигель Ф. Ф.* Записки. Т. 2. С. 23.

⁶ *Вяземский В. В.* «Журнал». С. 212.

⁷ Там же. С. 204.

⁸ *Вандаль А.* Указ. соч. Т. II. С. 236.

⁹ Там же. С. 236.

¹⁰ *Левенитерн В. И.* Записки... // Русская старина. 1900. Т. 4. С. 107—108.

¹¹ *Миркович Ф. Я.* С. 40.

¹² *Арцыбашев И. П.* Самоубийцы в эпоху Наполеона // Воен.-ист. альманах «Император». 2005. № 7. С. 29.

¹³ *Михайловский-Данилевский А. И.* Мемуары. С. 159—160.

¹⁴ *Отроценко Я. О.* Указ. соч. С. 8.

¹⁵ Там же. С. 8—10.

¹⁶ Там же. С. 88.

¹⁷ Там же. С. 102.

¹⁸ *Лорер Н. И.* Мемуары. С. 474—475.

¹⁹ *Арцыбашев И. П.* Указ. соч. С. 29.

²⁰ *Дурова Н. А.* Указ. соч. С. 236.

²¹ *Муравьев Н. Н.* Записки. С. 77.

²² Там же. С. 87.

²³ *Жиркевич И. С.* Записки... // Русская старина. 1874. Т. 12. С. 663—664.

²⁴ *Елец Ю. Л.* Кульнев. СПб., 1912. С. 138—139.

²⁵ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 124—125.

²⁶ *Давыдов Д. В.* Собр. соч. Т. II. С. 68—69.

²⁷ *Литвин А. А.* Записки графа А. Х. Бенкендорфа. 1813 год. Неизвестные страницы // Эпоха Наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы IX Международной научной конференции в музее-панораме «Бородинская битва». М., 2006. С. 63—64.

²⁸ *Волконский С. Г.* Записки. С. 77.

²⁹ Там же. С. 64—65.

³⁰ *Левенитерн В. И.* Записки... // Русская старина. 1900. Т. 3. С. 495—501.

³¹ Там же. С. 502.

³² Там же. Т. 4. С. 107.

³³ Там же. С. 265.

³⁴ *Шербатов А. Г.* Воспоминания. С. 38.

³⁵ Там же. С. 63.

³⁶ Там же. С. 65—67.

³⁷ *Марин С. Н.* С. 317.

³⁸ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. Т. II. С. 151—152.

³⁹ *Дурова Н. А.* Избранные сочинения... С. 122.

⁴⁰ *Марин С. Н.* С. 321.

⁴¹ Там же. С. 323.

⁴² «К чести России». С. 30.

⁴³ *Марин С. Н.* С. 301.

⁴⁴ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 362.

⁴⁵ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 192.

⁴⁶ РПБ. Ф. 608. Оп. 1. Ед. хр. 4635. Л. 1.

⁴⁷ *Левенитерн В. И.* Записки... // Русская старина. 1900. Т. 4. С. 108—109.

⁴⁸ *Дурново Н. Д.* Дневник. С. 50.

⁴⁹ Там же. С. 72.

⁵⁰ Там же. С. 74.

⁵¹ Там же. С. 76.

⁵² Там же. С. 78.

⁵³ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 369.

⁵⁴ Там же. С. 387.

⁵⁵ Там же. С. 390.

⁵⁶ Там же. С. 394.

Глава семнадцатая **ВОЙНА И МОДА**

¹ *Пачулидзе С. А.* История Кавалергардов. Т. 1—4. СПб., 1912. Т. 4. С. 122.

² *Глинка В. М.* Русский военный костюм XVIII — начала XX века Л., 1988. С. 5.

³ 1812 год. 1912. № 7. С. 236.

⁴ Цит.: *Глинка В. М.* Указ. соч. С. 7.

⁵ *Вандаль А.* Указ. соч. С. 157.

⁶ *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 182.

⁷ Там же. С. 171.

⁸ *Марин С. Н.* С. 482.

⁹ Там же. С. 227.

¹⁰ *Давыдов Д. В.* Записки, в России цензурою не пропущенные. Лондон, 1863. С. 6.

¹¹ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 28.

¹² *Давыдов Д. В.* Сочинения. Т. I. С. 305—306.

¹³ *Давыдов Д. В.* Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 1845. Т. 1. С. 9.

¹⁴ *Розен А. Е.* Записки декабриста. СПб., 1907. С. 17.

¹⁵ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 6.

¹⁶ *Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 210.

¹⁷ *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 103.

¹⁸ *Митаревский Н. Е.* Указ. соч. С. 99.

¹⁹ Там же. С. 176.

²⁰ Цит.: *Кибовский А. В.* Кавалергарды и Конная гвардия в 1812—1814 // Цейхгауз. 1998. № 8.

²¹ *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 105.

- ²² Дурново Н. Д. Указ. соч. С. 105.
- ²³ Казаков И. М. Поход во Францию 1814 г. // Русская старина. 1908. Т. 1. С. 538.
- ²⁴ Пачулидзе С. А. Указ. соч. С. 122.
- ²⁵ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 199.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ Розен А. Е. Указ. соч. С. 42.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Пачулидзе С. А. Указ. соч. С. 126.
- ³⁰ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 10.
- ³¹ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 66—67.
- ³² Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 17.
- ³³ Волконский С. Г. Указ. соч. С. 67.
- ³⁴ Петров М. М. Указ. соч. С. 235.
- ³⁵ Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 76.
- ³⁶ Цит.: Глинка В. М. Указ. соч. С. 20.
- ³⁷ Казаков И. М. Указ. соч. С. 524.
- ³⁸ Левенитерн В. И. Записки... // Русская старина. 1900. Т. 8. С. 265.
- ³⁹ Дурова Н. А. Записки Александрова (Дуровой). С. 182.

Глава восемнадцатая
ЮМОР В ВОЕННОЙ СРЕДЕ

- ¹ Дурова Н. А. Записки Александрова (Дуровой). С. 182.
- ² Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения // В кн.: Письма русского офицера. М., 1985. С. 39.
- ³ Там же. С. 155.
- ⁴ Потоцкая А. Мемуары графини Потоцкой (1794—1820). СПб., б. г. С. 80.
- ⁵ Napoleon. The Final Verdict. London, 1998. P. 301.
- ⁶ Дютур Ж. Марбо, или Великое счастье // Ист. обозрение «Орел». СПб., 1991. С. 19.
- ⁷ Местр Ж, де. Петербургские письма. С. 115.
- ⁸ Марин С. Н. С. 327.
- ⁹ Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999. С. 592.
- ¹⁰ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII—XIX). СПб., 1994. С. 230.
- ¹¹ Маевский С. И. Из воспоминаний С. И. Маевского // Бородино. Документы, письма, воспоминания. М., 1962. С. 372.
- ¹² Дневник Павла Пущина. 1812—1814. Л., 1987. С. 102.
- ¹³ Пушкин А. С. Table-talk // Собр. соч. В 7 т. М., 1976. Т. 7. С. 176.
- ¹⁴ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 102.
- ¹⁵ Русский литературный анекдот конца XVIII—начала XIX века. М., 1990. С. 210.
- ¹⁶ Там же. С. 103.
- ¹⁷ Родожницкий И. Т. Указ. соч. Ч. 1—2. С. 120.
- ¹⁸ Харкевич В. И. Указ. соч. С. 25.
- ¹⁹ Милорадович М. А. «О сдаче Москвы» // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 60.
- ²⁰ Душенкевич Д. В. Указ. соч. С. 134.

- ²¹ Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе // Русский архив. 1873. Кн. 3. С. 450.
- ²² Дурова Н. А. Избранные сочинения... С. 118—119.
- ²³ Пушкин А. С. Table-talk. С. 185.
- ²⁴ Там же.
- ²⁵ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 167.
- ²⁶ Онегинская энциклопедия. М., 1999. Т. I. С. 440.
- ²⁷ Там же. С. 441.
- ²⁸ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 92.
- ²⁹ Отрощенко Я. О. Указ. соч. С. 28.
- ³⁰ Там же. С. 29.
- ³¹ Русский литературный анекдот... С. 104.
- ³² Богданчиков М. А. Указ. соч. С. 448.
- ³³ Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 274.
- ³⁴ Петров М. М. Указ. соч. С. 279.
- ³⁵ Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 401—402.
- ³⁶ Русский литературный анекдот... С. 98.
- ³⁷ Местр Ж, де. Указ. соч. С. 120.
- ³⁸ Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 29.
- ³⁹ Из «дневника генерал-адъютанта графа Петра Петровича Коновницына» // Генерал Петр Петрович Коновницын. Псков, 2002. С. 157.
- ⁴⁰ Дурова Н. А. Указ. соч. С. 233.
- ⁴¹ Митаревский Н. Е. Указ. соч. С. 44.
- ⁴² Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч. С. 29—30.
- ⁴³ Записки А. А. Шербинина // Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вильно, 1900. Ч. II. С. 43—44, 50.
- ⁴⁴ Там же.
- ⁴⁵ Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806—1812 гг. // Русская старина. 1908. Т. 7. С. 424—425.
- ⁴⁶ Там же.

Глава девятнадцатая

НАПОЛЕОН ГЛАЗАМИ ОФИЦЕРОВ РУССКОЙ АРМИИ

- ¹ Харкевич В. И. Указ. соч. Вып. 1. С. 51.
- ² Давыдов Д. В. Сочинения. Т. 3. С. 129.
- ³ Булгарин Ф. В. Указ. соч. Ч. 2. С. 130—131.
- ⁴ Родожницкий И. Т. Указ. соч. С. 373.
- ⁵ Проблемы изучения истории Отечественной войны 1812 года. Материалы Всероссийской научной конференции. Саратов, 2002. С. 101.
- ⁶ Эйдельман Н. Я. Записки Беннигсена // Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М., 1993. С. 314.
- ⁷ Давыдов Д. В. Указ. соч. С. 320.
- ⁸ Булгарин Ф. В. Указ. соч. Т. 4. С. 166—167.
- ⁹ Ермолов А. П. Указ. соч. С. 69—70.
- ¹⁰ Там же. С. 32.
- ¹¹ Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Шукиным. М., 1904. Ч. 8. С. 122.
- ¹² Русский архив. 1874. Кн. 1. Стб. 1099.

- ¹³ 1812 год. М., 1992. С. 216.
¹⁴ Там же. С. 241.
¹⁵ А. В. Суворов. Письма. С. 312.
¹⁶ Русская старина. 1874. Т. 8. С. 422.
¹⁷ *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! М., 1992. С. 151
¹⁸ Фельдмаршал Кутузов. С. 248.
¹⁹ *Ермолов А. П.* Указ. соч. С. 258.
²⁰ Фельдмаршал Кутузов. С. 424—425.
²¹ *Глинка С. Н.* Указ. соч. С. 230.
²² *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 203.
²³ *Давыдов Д. В.* Сочинения. Т. I. С. 317.
²⁴ *Левенштерн В. И.* Указ. соч. Кн. III. С. 508—509.
²⁵ *Щербатов А. Г.* Указ. соч. С. 60.
²⁶ *Душенкевич Д. В.* Указ. соч. С. 120.
²⁷ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 71.
²⁸ Там же. С. 114.
²⁹ Русский архив. 1871. Кн. 1. С. 167.
³⁰ Родина. 2002. № 8. С. 48.
³¹ Фельдмаршал Кутузов. С. 420.
³² *Казаков И. М.* Указ. соч. С. 540.
³³ *Волконский С. Г.* Записки. С. 333.
³⁴ *Давыдов Д. В.* Сочинения. Т. 2. С. 129.
³⁵ Там же. С. 130—131.
³⁶ *Волконский С. Г.* Указ. соч. С. 361.
³⁷ Там же. С. 381—382.
³⁸ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 39—40.
³⁹ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. С. 13—14.
⁴⁰ *Давыдов Д. В.* Указ. соч. С. 203—205.

Глава двадцатая
«ОБЗОР С КАЗАЧЬЕГО СЕДЛА»

- ¹ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. С. 9.
² *Петров М. М.* Указ. соч. С. 135.
³ Там же. С. 139.
⁴ Там же. С. 244—245.
⁵ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 224.
⁶ Там же.
⁷ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 55.
⁸ *Волконский Д. М.* Указ. соч. С. 160.
⁹ *Чичерин А. В.* Указ. соч. С. 129.
¹⁰ Там же. С. 181.
¹¹ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 70.
¹² Там же. С. 71.
¹³ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 56.
¹⁴ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. Т. II. С. 70.
¹⁵ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 77.
¹⁶ Там же. С. 75.
¹⁷ *Щербинин А. А.* Военные дневники. С. 263.
¹⁸ Там же. С. 266.

- ¹⁹ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. Т. II. С. 65.
²⁰ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 223.
²¹ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. Т. II. С. 71.
²² *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 117.
²³ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 222—223.
²⁴ Там же. С. 292.
²⁵ *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. М., 1982.
С. 18.
²⁶ Там же. С. 121.
²⁷ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 70.
²⁸ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 65.
²⁹ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 239—240.
³⁰ Там же. С. 241—242.
³¹ Там же.
³² *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 64—65.
³³ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 130—137.
³⁴ Там же. С. 66—67.
³⁵ Там же. С. 139.
³⁶ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 128.
³⁷ *Мешетич Г. П.* Указ. соч. С. 67.
³⁸ Там же. С. 67.
³⁹ *Родожницкий И. Т.* Указ. соч. Т. 3. С. 35—36.
⁴⁰ Там же. С. 40—41.
⁴¹ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 257.
⁴² *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 43.
⁴³ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 156.
⁴⁴ Там же. С. 155.
⁴⁵ Там же. С. 158—159.
⁴⁶ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 56.
⁴⁷ *Петров М. М.* Указ. соч. С. 266.
⁴⁸ Там же. С. 269—270.
⁴⁹ Там же. С. 268.
⁵⁰ Там же. С. 273—274.
⁵¹ *Отрощенко Я. О.* Указ. соч. С. 86.
⁵² *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 162.
⁵³ *Жиркевич И. С.* Указ. соч. С. 654.
⁵⁴ *Пуцин П. С.* Указ. соч. С. 157—158.
⁵⁵ Там же. С. 162.
⁵⁶ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 389.

Вместо послесловия

- ¹ *Михайловский-Данилевский А. И.* Указ. соч. С. 41.
² Там же. С. 271.
³ *Дрейлинг И. Р.* Указ. соч. С. 392—393.
⁴ *Дурново Н. Д.* Указ. соч. С. 111.

БИБЛИОГРАФИЯ

Аглаилов С. П. Отечественная война 1812 г. Исторические материалы лейб-гвардии Семеновского полка. Полтава, 1912.

Ардт Э. М. Из воспоминаний Э. М. Ардта о 1812 годе // Русский архив. 1871. № 9.

Архив князя Воронцова. М., 1890. Кн. 36.

Батюшков К. Н. Избранная проза. М., 1988.

Беннигсен Л. Л. Записки графа Л. Л. Беннигсена о кампании 1812 года // Русская старина. 1990. № 9.

Благовещенский И. М. Из воспоминаний. 1859 // Воспоминания участника войны 1812 года. 1820 // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991.

Богданчиков М. А. Мое воспоминание. Из рассказов дедушки моего, прапорщика С. Я. Богданчикова. 1911 // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991.

Бородино. Документальная хроника. М., 2004.

Бородино. Документы, письма, воспоминания. М., 1962.

Бородино в воспоминаниях современников. СПб., 2001.

Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. М., 1904. Т. 7—8.

Бутенев А. П. Воспоминания о 1812 годе. Дипломат при армии князя Багратиона. М., 1911.

Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001.

Вандаль А. Наполеон и Александр I. СПб., 1995. Т. II.

Вильмот Е. Письма из России в Ирландию (1805—1807) // Русский архив. 1873. №10. С. 1877—1878.

Вильсон Р. Т. Дневник и письма. 1812—1813. СПб., 1995.

Валков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993.

Волконский Д. М. Дневник. 1812—1814 гг. // 1812 год... Военные дневники. М., 1990.

Волконский С. Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). СПб., 1902. С. 3.

Воспоминания о светлейшем князе Голенищеве-Кутузове // Русский архив. 1866. Кн. 1.

Всеволодов И. В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990.

Вяземский В. В. «Журнал». 1812 г. // 1812 год... Военные дневники. М., 1990.

Вяземский П. А. Мемуарные заметки // Державный сфинкс. М., 1999.

Генерал Багратион: Сборник документов и материалов. М., 1945.

Глинка С. Н. Записки. М., 2004.

Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения // Письма русского офицера. М., 1985.

Граббе П. X. Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе // Русский архив. 1873. Кн. I.

Греч Н. И. Записки // Русский архив. 1873. Т. 4.
Гулевич С. А. История лейб-гвардии Финляндского полка. 1806—1906. СПб., 1909.

Давыдов Д. В. Записки, в России цензурою не пропущенные. Лондон, 1863.

Давыдов Д. В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. СПб., 1895. Т. I—IV.

Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982.

Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества. Дворянство и реформы в начале XIX века. М., 1994.

Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. М., 2004.

Дохтуров Д. С. Письма Д. С. Дохтурова к его супруге // Русский архив. 1874. Кн. I.

Дрейлинг И. Р. Воспоминания участника войны 1812 года. 1820 // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991.

Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX века. СПб., 2007.

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников. (1812—1815 гг.) М., 2006.

Дурново Н. Д. Дневник 1812 г. // 1812 год... Военные дневники. М., 1990.

Дурова Н. А. Избранные сочинения кавалерист-девицы Н. А. Дуровой. М., 1988.

Дурова Н. А. Записки Александрова (Дуровой). Добавление к «девице-кавалерист». М., 1839.

Душенкевич Д. В. «Из моих воспоминаний от 1812-го года до <1815-го года>» // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995. С. 105—136.

Ермолов А. П. Записки А. П. Ермолова 1798—1826. М., 1991.

Жиркевич И. С. Записки И. С. Жиркевича // Русская старина. 1874. Кн. I—II.

Жихарев С. П. Записки современника. М., 1989. Ч. I—II.

Зайцев А. Воспоминания о кампании 1812 года в рассказах русского офицера. М., 1853.

История лейб-гвардии Егерского полка за сто лет. 1796—1896. СПб., 1896.

«К чести России». Из частной переписки 1812 года. М., 1988.

Казаков И. М. Поход во Францию 1814 г. // Русская старина. 1908. Кн. I.

Клаузевиц К. 1812 год. М., 1997.

Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Смоленск, 1991.

Кузьмин Н. К. Лекции по истории русской медицины. Медики в Отечественную войну 1812 года. М., 1963.

Кутузов М. И. Кн. М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письма к дочери гр. Е. М. Тизенгаузен // Русская старина. 1874. Кн. II.

Лажечников И. И. Походные записки русского офицера. СПб., 1820. С. 210—212.

Ланжерон А. Ф. Записки о войне с Турцией 1806—1812 гг. // Русская старина. 1908. Кн. II.

Левенштерн В. И. Записки генерала В. И. Левенштерна // Русская старина. 1900. Кн. II—IV.

Лорер Н. И. Мемуары декабристов. М., 1988.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII— начало XIX века). СПб., 1994.

Махлаюк А. В. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность. СПб., 2006.

Мельникова Л. В. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху Наполеоновских войн. М., 2007.

Местр Ж, де. Письма Жозефа де Местра из Петербурга в Италию // Русский архив. 1871. № 9.

Местр Ж, де. Петербургские письма. 1803—1817. СПб., 1995.

Мешетич Г. П. Исторические записки войны россиян с французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов. 1818 г. // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991.

Миркович Ф. Я. 1789—1866. Его жизнеописание, составленное по собственным его запискам, воспоминаниям близких людей и подлинным документам. СПб., 1889.

Митаревский Н. Е. Воспоминания о войне 1812 года. М., 1871.

Михайловский-Данилевский А. И. «Журнал 1813 года» // 1812 год.. Военные дневники. М., 1990.

Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары. 1814—1815. СПб., 2001.

Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году. М., 2008.

Муравьев Н. Н. Записки // Русский архив. 1885. № 9.

Наполеон. Воспоминания и военные произведения. Б. м., б. г.

Наполеон в России. Воспоминания современников. М., 2004. Кн. I.

Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004.

Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Сб. материалов конференций в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. 1993—2007.

Отрощенко Я. О. Записки генерала Отрощенко (1800—1830 гг.). М., 2006.

Пачулидзе С. А. История кавалергардов. СПб., 1912. Т. 1—4.

Паскевич И. Ф. «Походные записки». [1837—1838 гг.] С. 72—75 // 1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995.

Петров М. М. Рассказы служившего в 1-м егерском полку полковника Михаила Петрова о военной службе и жизни своей и трех род-

ных братьев его, зачавшейся с 1789 года. 1845 // 1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991.

Пестриков Н. С. История лейб-гвардии Московского полка. СПб., 1903—1904. Т. I—II.

Попов А. И. Война 1812 года. Хроника событий. Львиное отступление. М., 2007.

Потоцкая А. Мемуары графини Потоцкой, 1794—1820. М., 2005.

Потоцкий П. П. История гвардейской артиллерии. СПб., 1896.

Прейсман А. Б. Московская медико-хирургическая академия. М., 1961.

Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000.

Пушкин П. С. Дневник Павла Пущина. 1812—1814. Л., 1987.

Пыляев М. И. Замечательные чудачки и оригиналы. М., 1990.

Родина. Российский исторический иллюстрированный журнал. 1992. № 6—7; 2002. № 8.

Родожицкий И. Т. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 г. М., 1835. Ч. 1—3.

России двинулись сыны: записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988.

Сборник биографий кавалергардов. СПб., 1901—1908. Т. 1—4.

Сегюр Ф, де. Поход в Россию. Мемуары адъютанта. М., 2002.

Скобелев И. Н. Переписка и рассказы русского инвалида. Сочинения генерала от инфантерии И. Н. Скобелева. СПб., 1844. Ч. I.

Скобелев И. Н. Солдатская переписка 1812 года // 1812 год в воспоминаниях и рассказах современников. М., 2001.

Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. СПб., 1993.

Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.

Теплов Б. М. Ум полководца (опыт психологического исследования). М., 1990.

Тихонов. Рассказ о Бородинском сражении унтер-офицера Тихонова, записанный в 1813 году // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1872. Кн. I.

Тамсинов В. А. Временщик. М., 1996.

Фельдмаршал Кутузов. Документы, дневники, воспоминания. М., 1995.

Целорунго Д. Г. Офицеры русской армии — участники Бородинского сражения. М., 2002.

Чайковская О. Г. «Как любопытный скиф...» Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. М., 2001.

Чарторижский А. Мемуары. М., 1998.

Чичерин А. В. Дневник Александра Чичерина. 1812—1813. М., 1966.

Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991.

Шмидт С. О. Общественное самосознание российского благородного сословия. XVII— первая треть XIX века. М., 2002.

Щербинина А. А. «Военный журнал 1813 года» // 1812 год... Военные дневники. М., 1990.

Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. М., 1975.

Эйдельман Н. Я. Обреченный отряд. М., 1987.

Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1997.

Эпоха Наполеоновских войн: люди, события, идеи. Сб. материалов научн. конф. в музее-панораме «Бородинская битва». 1994—2007.

1812—1814. Секретная переписка генерала П. И. Багратиона. Личные письма генерала Н. Н. Раевского... М., 1992.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	6
<i>Глава первая. СОЛДАТАМИ РОЖДАЮТСЯ!</i>	13
<i>Глава вторая. ОБРАЗОВАНИЕ</i>	40
<i>Глава третья. ВЕРА И ВЕРНОСТЬ</i>	79
<i>Глава четвертая. ГОСУДАРЬ И АРМИЯ</i>	97
<i>Глава пятая. ЧИН И ОРДЕН</i>	132
<i>Глава шестая. «ПОЛКИ ЛИХИЕ...»</i>	163
<i>Глава седьмая. ПАРАДЫ И СМОТРЫ</i>	202
<i>Глава восьмая. ДНИ МИРА</i>	233
<i>Глава девятая. ПЕРЕД ВОЙНОЙ</i>	277
<i>Глава десятая. ПОХОД</i>	300
<i>Глава одиннадцатая. «В ДЫМНОМ ПОЛЕ, НА БИВАКЕ...»</i>	357
<i>Глава двенадцатая. СРАЖЕНИЯ</i>	401
<i>Глава тринадцатая. БОЛЕЗНИ И РАНЫ</i>	439
<i>Глава четырнадцатая. СЛУТА ЦАРЮ</i>	474
<i>Глава пятнадцатая. ДРУЖБА</i>	512
<i>Глава шестнадцатая. ЛЮБОВЬ</i>	541
<i>Глава семнадцатая. ВОЙНА И МОДА</i>	581
<i>Глава восемнадцатая. ЮМОР В ВОЕННОЙ СРЕДЕ</i>	595
<i>Глава девятнадцатая. НАПОЛЕОН ГЛАЗАМИ ОФИЦЕРОВ РУССКОЙ АРМИИ</i>	613
<i>Глава двадцатая. «ОБЗОР С КАЗАЧЬЕГО СЕДЛА»</i>	630
<i>Вместо послесловия</i>	659
<i>Примечания</i>	663
<i>Библиография</i>	690

Ивченко Л. Л.

И 17 Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года / Лидия Ивченко. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 695[9] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03107-4

В эпоху 1812 года ремесло военных считалось в России самым почетным; русский офицер — «дворянин шпаги» — стоял в глазах общества чрезвычайно высоко, можно сказать, был окружен атмосферой всеобщего обожания.

Именно о «детях Марса», до конца дней живших дорогими для них воспоминаниями о минувших боях и походах, об их начальниках, сослуживцах, друзьях, павших в сражениях, эта книга. Автор не старался строго придерживаться хронологии в рассказе о событиях, потому что книга не о событиях, а о главном предмете истории — людях, их судьбах, характерах, образе мыслей, поступках, привычках, о том, как определялись в службу, получали образование, зачислялись в полки, собирались в поход, сражались, получали повышения в чине и награды, отдыхали от бранных трудов, влюблялись, дружили, теряли друзей на войне и на дуэлях, — о том, из чего складывалась повседневная жизнь офицеров эпохи 1812 года.

Особое внимание автор уделяет письмам, дневникам и воспоминаниям участников Отечественной войны 1812 года, так как именно в этом виде источников присутствует сильное личностное начало, позволяющее увидеть за далью времен особый тип военных той эпохи.

УДК 94(47)+355.342.2-055.1

ББК 63.3(2)521+68.49(2Рос)23

Ивченко Лидия Леонидовна

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА ЭПОХИ 1812 ГОДА

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **И. В. Черников**

Художественный редактор **Е. В. Кошелева**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Сдано в набор 25.09.2008. Подписано в печать 20.11.2008. Формат 84x108/₃₂. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 36,96+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 84575.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dsej@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03107-4

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ
БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

*Мемуары и эпистолярное наследие
известных писателей, философов, художников,
музыкантов, театральных деятелей,
представителей творческой богемы*

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Герцык
«ЛИКИ И ОБРАЗЫ»

Т. Маврина
«ЦВЕТ ЛИКУЮЩИЙ.
ДНЕВНИКИ 1930—1990 ГГ.»

Н. Матвеева
«МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ»

М. Нестеров
«О ПЕРЕЖИТОМ. ВОСПОМИНАНИЯ»

С. Дурьлин
«В СВОЕМ УГЛУ»

О. Гильдебрандт-Арбенина
«ДЕВОЧКА, КАТЯЩАЯ СЕРСО...»

А. Тахо-Годи
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА: ВОСПОМИНАНИЯ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://mg.gvardiya.ru> dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Глаголева

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КОРОЛЕВСКИХ МУШКЕТЕРОВ**

С. Зегидур

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПАЛОМНИКОВ В МЕККЕ**

Ж. Эргон

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЭТРУСКОВ**

И. Курукин, Е. Никулина

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ**

Н. Будур

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КОЛДУНОВ И ЗНАХАРЕЙ
В РОССИИ XVIII-XIX ВЕКОВ**

Г. Андреевский

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
МОСКВЫ НА РУБЕЖЕ
XIX-XX ВЕКОВ**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://mg.gvardiya.ru>. dse1@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Д. Меекс, К. Фавар-Меекс
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЕГИПЕТСКИХ БОГОВ**

Ж. Мартино
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ
ПРИ НАПОЛЕОНЕ**

Ж. Монгредьен
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КОМЕДИАНТОВ
ВО ВРЕМЕНА МОЛЬЕРА**

М. Брион
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕНЫ ВО ВРЕМЕНА
МОЦАРТА И ШУБЕРТА**

О. Елисеева
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БЛАГОРОДНОГО СОСЛОВИЯ
В ЗОЛОТОЙ ВЕК ЕКАТЕРИНЫ**

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://mg.gvardiya.ru> dssel@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

М. Чертанов
«КОНАН ДОЙЛ»

С. Варга
«ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»

А. Варламов
«МИХАИЛ БУЛГАКОВ»

С. Коваленко
«АННА АХМАТОВА»

В. Сысоев
«АННА КЕРН»

К. Костантини
«ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ»

М. Левитин
«ТАИРОВ»

И. Вишневецкий
«ПРОКОФЬЕВ»

С. Федякин
«МУСОРГСКИЙ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://mg.gvardiya.ru> dsel@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Русакова
«СЕРЕБРЯКОВА»

М. Нюридсани
«САЛЬВАДОР ДАЛИ»

Д. Арно
«НАВУХОДОНОСОР II»

И. Князький
«КАЛИГУЛА»

Е. Морозова
«ШАРЛОТТА КОРДЕ»

Ж. Тюлар
«НАПОЛЕОН»

А. Филюшкин
«АНДРЕЙ КУРЬСКИЙ»

Д. Олейников
«БЕНКЕНДОРФ»

В. Федюк
«КЕРЕНСКИЙ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://mg.gvardiya.ru>. dset@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

А. Ю. Бондаренко
МИЛОРАДОВИЧ

Книга военного журналиста и историка Александра Бондаренко рассказывает о судьбе графа Михаила Андреевича Милорадовича (1771—1825) — военачальника, озарившего славой побед два царствования, кумира солдат. Она освещает один из наиболее интересных и романтических периодов в истории России, предельно насыщенный событиями, среди которых Швейцарский поход Суворова, Аустерлицкое сражение, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов... Милорадович был деятельным участником многих из них, ярким и блистательным исполнителем воли государя в мирное время или главнокомандующего во время войны — порой, при совершенно невозможных обстоятельствах, так что судьба России несколько раз воистину оказывалась в его руках. Легенды, анекдоты и сплетни тесным кольцом окружили имя Милорадовича и в огромном количестве осели на страницах не только мемуарной, но и научной, исторической литературы. Автор книги, представляя различные точки зрения на героя и события со стороны как современников, так и историков, дает возможность читателю самому разобраться в хитросплетениях его судьбы и особенностях его личности.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59

При издательстве работает

книжный магазин:

8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> dset@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

А. Н. Варламов
МИХАИЛ БУЛГАКОВ

В русской литературе есть писатели судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков — из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на страшное поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59

При издательстве работает

книжный магазин:

8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> dset@gvardiya.ru

Всех любителей
гуманитарной литературы
приглашаем посетить
новый специализированный
магазин-салон

КНИЖНАЯ СЛОБОДА



открытый при издательстве «Молодая гвардия»



**В продаже самый широкий ассортимент
биографических изданий,
книги по истории, философии, психологии
и другим отраслям гуманитарных знаний.**

**Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)
или «Новослободская».**

**Телефоны: 8(499) 972-05-41, 8(495) 787-64-77.
<http://mg.gvardiya.ru> E-mail: mol_gvard@mail.ru**







СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

Г. Андреевский
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
МОСКВЫ
В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ.
(В 2 ТОМАХ)

Н. Будур
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
КОЛДУНОВ И ЗНАХАРЕЙ

Ф. Данинас
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЦРУ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ.
1947–2007

Д. Меекс, К. Фавар-Меекс
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЕГИПЕТСКИХ БОГОВ

М. Брион
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕННЫ ВО ВРЕМЕНА
МОЦАРТА И ШУБЕРТА

ISBN 978-5-235-03107-4



9 785235 031074 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ